ГЕРМАН ГЕССЕ

ИГРА В БИСЕР



Игра в бисер
Герман Гессе

Аннотация
Герман Гессе. Игра в бисер
Предисловие
ИГРА В БИСЕР. Опыт жизнеописания Магистра Игры Йозефа Кнехта с приложением оставшихся от него сочинений
  Игра в бисер:. Опыт общепонятного введения в её историю
  Призвание
  Вальдцель
  Годы студенчества
  Два ордена
  Миссия
  Magister Ludi
  В должности
  Два полюса
  Беседа
  Приготовления
  Послание
  Легенда
Собственные сочинения Йозефа Кнехта
  Стихи школяра и студента

Три жизнеописания
Заклинатель дождя
Исповедник
Индийское жизнеописание

Аннотация

Последний и главный роман немецко-швейцарского писателя Германа Гессе, над которым он работал с 1931 по 1942 год (книга была закончена 29 апреля 1942 года). Полностью на немецком языке роман впервые был опубликован 18 ноября 1943 года. В 1946 году Гессе получил Нобелевскую премию по литературе, в том числе и за это произведение.

Язык вымышленной игры в бисер — комбинация музыки и математики. Роман Гессе — это философское эссе, замаскированное под утопический роман социально-интеллектуальной направленности. Роман породил острые дискуссии и множество толкований.

Герман Гессе
Игра в бисер

Предисловие

Герман Гессе и его роман «Игра в бисер»

Уже в названии этой книги умная и горькая ирония. «Игра в бисер». Не дело, а игра в пустые стекляшки. Ведь не что иное, как духовные устремления учёных и художников, их штудии, их занятия теорией, науками и искусствами, автор осмелился назвать игрой. Что же такое эти устремления? — как бы задаёт вопрос Гессе. Действительно, всего лишь игра или жизненная необходимость? А может быть, разновидность новой религии для интеллектуалов? Чему должна служить духовная деятельность, чтобы не превратиться в пустую игру? Как связаны хранители высшей духовной культуры с теми, кто создаёт материальные ценности? Какова основа и роль истинной «духовности» в наш век?

Перед нами глубокое философское произведение одного из крупнейших немецких писателей XX столетия, раздумья его о судьбах мира и цивилизации, о судьбах того, что ему особенно близко, — о судьбах искусства. И это не холодные размышления: за внешне спокойным повест-

вованием скрывается сокровеннейший вопрос: «Что же будет с духовностью, что же будет с искусством в современном мире?» А значит, и с человеком, ибо для гуманиста Гессе судьба наук и искусств неразрывно связана с судьбой человека, с условиями развития человеческой личности.

Как большинство честных писателей своего времени, Гессе глубоко осознал враждебность буржуазного общества XX века развитию человека и художника. На протяжении более чем полувекового творческого пути он по-своему искал выход из тупика, в котором оказалось общество. Своеобразным итогом этих поисков явился роман «Игра в бисер», в котором перед читателем предстаёт удивительное создание Гессе — страна Касталия, страна интеллектуалов — духовной элиты будущего, самозабвенно предающейся Игре в бисер.

Название Касталия происходят от мифологического Кастальского ключа на Парнасе, у чистых вод которого, согласно преданию, бор Аполлон водил хороводы с девятью музами, Гессе сам указывал на связь своей Касталии с «Педагогической провинцией» Гёте, которая фигурировала и романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821). Тем самым Гессе подчёркивал своё

глубокое почтение к Гёте — классику и корифею немецкой культуры прошлого — и свою преемственность по отношению к этой культуре. Ибо Гёте, Моцарт и другие великие художники прошлого были для Гессе олицетворением той подлинной «духовности», о судьбе которой он скорбел.

В центре произведения Гессе — подробная история жизни некоего Магистра Игры, сначала достойнейшего представителя и героя Касталии, а затем её отступника. Недаром под названием «Игра в бисер» есть ещё подзаголовок: «Опыт жизнеописания Йозефа Кнехта, Магистра Игры, с приложением собственных его сочинений». Вся книга написана якобы от имени касталийского историка из далёкого будущего и лишь «издана Германом Гессе». Известный приём «отстранения», когда автор скрывается под маской издателя (в немецкой литературе к нему прибегали ещё Жан Поль Рихтер, Карл Иммерман, Гофман и др.), помогает Гессе создавать иллюзию документальности, даже научной точности при описании людей, событий, стран и эпох, созданных его воображением.

Название «роман» применимо к «Игре в бисер» весьма условно, даже учитывая изменения,

которые претерпела эта традиционная форма в нашем столетии. Несомненно, «Игра в бисер» не утопия» обычном смысле этого слова, о чём неоднократно напоминал сам Гессе, не попытка каким-то образом предвидеть будущее, как это свойственно современным писателям-фантастам. Вернее всего, это — «роман-притча», «роман-иносказание», и в литературе XX века его правильнее всего поставить рядом с некоторыми произведениями Томаса Манна, художника, во многом близкого Гессе. «Я уже год работаю над „Фаустусом“, — писал Т. Манн Гессе, прочитав „Игру в бисер“, — …невозможно представить себе ничего более отличного, и в то же время сходство поразительно, как это часто бывает между братьями».

Но «Игра в бисер» — это также целый конгломерат жанровых форм в рамках одного произведения. Здесь и политический памфлет, и историческое сочинение, вставные стихи и новеллы, легенда и житие, немецкий «роман о воспитании». Большей частью эти традиционные формы используются со значительной долей пародийности, с элементом «игры». В то же время Гессе оживляет и продолжает какие-то очень старинные традиции: столь ценимой им

просветительской повести XVIII века (Вольтер, Свифт), немецкого романа-жизнеописания XVII столетия (Гриммельсгаузен) и другие. Творение Гессе кажется нарочито архаичным и удивительно современным.

Сложность построения, богатство символики, игра именами, терминами и понятиями из многих и многих областей духовной жизни — всё это может поначалу ошеломить читателя. Но налицо и единство, удивительная продуманность этого большого произведения. Разнообразные мотивы как бы сливаются под рукой мастера-дирижёра а стройную симфонию. Кстати сказать, критика не раз отмечала сходство композиции «Игры в бисер» с композицией музыкального произведения, в котором история Кнехта проходит как бы главной музыкальной темой. При этом в ней оживает вся «духовная история самого писателя, его поиски, его раздумья о самом главном для негр и его современников.

«Игра в бисер» создавалась в мрачные годы фашизма в Германии и была завершена в 1943-м — переломном году второй мировой войны. В одном из писем в январе 1955 года Гессе сам говорил, что Касталия была его отповедью фашизму, попыткой восславить духовность в «чумном,

отравленном мире». В то же время Гессе ставил вопрос о необходимости спасения «духа», о том, что ради этого спасении интеллигенция должна покинуть свою изолированную Касталию (иными словами, всё ту же пресловутую «башню из слоновой кости») и обрести своё «служение» в мире практики.

Издана «Игра в бисер» была в нейтральной Швейцарии, где жил Гессе. Интерес к новому большому произведению признанного писателя и мыслителя был чрезвычайно велик. Роман породил противоречивые толкования и острые дискуссии; не всеми, по разным причинам, он был понят и принят, но взволновал он всех читателей. Споры вокруг «Игры в бисер» не утихали и после войны, когда роман впервые стал доступен немецкой публике: значительная противоречивость, несомненно, давала почву для разных толкований. Но вместе с тем пришло широкое признание. Об «удивительном подарке», который Гессе сделал интеллектуальному миру и ему лично своим «великолепно зрелым и богатым романом-монументом», писал Герману Гессе в начале 1945 года его друг Томас Манн. В 1946 году Гессе присудили Нобелевскую премию.

Герман Гессе (1877-1962) родился в неболь-

шом швабском городке Кальв, в скромной семье пиетистского проповедника. Его второй родиной стала Швейцария, где он в детстве прожил несколько лет. Гессе был привязан к своим родителям, особенно к матери, но его тяготил царивший в семье дух церковного благочестия, и он закалял свой характер в борьбе с ним. Пятнадцати лет он сбежал из Маульброннской семинарии, где готовили теологов, — это была единственная возможность для бедного и способного юноши получить образование на казённый счёт. Но такая будущность не устраивала юного Гессе, и против воли родителей он начал самостоятельную жизнь.

Гессе порвал с домом и с Маульбронном, но в своём воображении он создал другой, идеализированный Маульбронн, прибежище духа, где, вдали от мирских треволнений, благочестивые старцы и их преданные ученики ищут бога и истину. Он всю жизнь стремился туда — в этот свой «монастырь», в свой Маульбронн — и всю жизнь уходил оттуда к людям.

После побега Гессе переменил ряд городов и профессий, усердно занимался самообразованием, много читал. Больше всего юношу привлекали Гёте, Шиллер, Жан Поль Рихтер, романтики. Он

стал рано пробовать писать сам в духе распространённого тогда в Германии неоромантизма.

Несколько лет молодой Гессе прожил в Тюбингене, работая служащим в книготорговой фирме, а с 1899 года поселился в Базеле, где начал печатать свои первые прозаические и стихотворные произведения. В том же году он дебютировал небольшим сборником стихов «Романтические песни». Стихи и проза соседствовали в его творчестве всю жизнь, дополняя друг друга, но главенствовала проза. После выхода в свет в 1901 году типично неоромантического произведения «Герман Лаушер», объединившего в своём составе прозаические отрывки, стихи и даже дневниковые записи героя, одарённого юношу заметил известный берлинский книгоиздатель Фишер и сам предложил Гессе опубликовать у него следующее произведение.

Этим произведением оказалась повесть «Петер Каменцинд» (1904), сразу принёсшая Гессе известность и материальную независимость. Повесть привлекла своим страстным призывом к человечности, простоте и правде, одухотворёнными описаниями природы, красотой и народностью языка. Уже в те годы Гессе чрезвычайно волнует проблема взаимоотношений общества и

художника, определение роли искусства в жизни людей. После многих исканий и разочарований герой приходит к некоему условно благополучному финалу: возвращается в родную деревушку и становится там трактирщиком, ибо проникся убеждением, что жить следует среди простых людей и только там может возникнуть подлинное искусство.

Каменцинд близок романтическому мечтателю Лаушеру из предыдущей книги, но более, чем тот, наделён плотью и кровью, перенесён в более достоверное окружение. Если ранее преобладающим тоном Гессе была меланхолия, то теперь в описании господствует юмор, хотя и не лишённый горечи. При этом в произведении Гессе прослеживается главным образом не внешняя, а «внутренняя» биография героя, идейное развитие которого автобиографично и во многом повторяет путь самого писателя (увлечение Каменцинда Гёте, Шиллером и романтиками, открытие Готфрида Келлера, влияние на героя идей Франциска Ассизского и т. д.). Своими учителями в то время Гессе справедливо называл Гёте, Эйхендорфа и Келлера, особенно часто последнего, творчество которого, несомненно, оказало самое благотворное влияние на процесс становления

Гессе-реалиста.

Типично реалистическим произведением является следующая повесть Гессе — «Под колёсами» (1906), с характерной для немецкой литературы начала века темой школы. Впервые в его творчестве здесь прозвучали трагические ноты — мальчик Ганс Гибенрат, ученик Маульбронн-ской семинарии, а затем подмастерье, гибнет, как бы попав «под колёса» огромной бездушной машины. Он не способен приспособиться. В его истории много автобиографического, хотя автору в этой повести, пожалуй, ближе другой образ — бунтарь и беглец Гейльнер.

Гессе выступает здесь в защиту ребёнка — «естественного человека», — против порочной, антигуманистической системы воспитания в кайзеровской Германии. Социальная критика в этом произведении заметно углубляется, Гессе понимает, что реакционная немецкая школа не является независимым явлением, а служит реакционному государству, поставляя ему верноподданных; при описании почтенных бюргеров, «наставников» молодёжи, писатель становится едким сатириком. В будущем, отталкиваясь от этой столь ненавистной ему системы «ломки воли» и «стрижки под одну гребёнку», Гессе будет

поистине вдохновенно описывать близкие его сердцу педагогические принципы воображаемой Касталии: осторожное развитие способностей, раскрытие возможностей, заложенных в самой природе ребёнка.

После первых литературных успехов Гессе смог осуществить свою мечту об идиллической жизни на лоне природы — с женой, с друзьями, — о занятиях искусствами, о страстно увлекавшем его музицировании и т.п. Он поселился в деревушке Гайенхофен на берегу Бодонского озера, но уже через несколько лет деревенская идиллия стала заметно тяготить его, и он снова затосковал по странствиям и переменам, по сутолоке больших городов. Он всё чаще покидает деревню. Его влечёт к себе общественная жизнь, в то время писатель неоднократно выступает в прессе, а начиная с 1907 года в течение некоторого времени сам издаёт (вместе с демократическим баварским журналистом и сатириком Людвигом Тома) журнал «Март», оппозиционный по отношению к режиму Вильгельма II.

Созданные в предвоенные годи романы «Гертруда» (1910) и «Росхальде» (1914) были посвящены им той же теме искусства и одиночества художника. Гессе продолжал писать и лириче-

ские стихи, немудрёные по форме, часто похожие на народные песни, создал несколько циклов рассказов о маленьких городках и их чудаках-обитателях. В стихах и рассказах писатель неоднократно возвращается к прославлению путешествий, к поэтическому, почти фольклорному образу бродяги, странствующего подмастерья, который всегда противопоставляется ни оседлому мещанину-приобретателю, человеку сугубо трезвому и практичному. Своё завершение эта тема нашла в образе бродяги Кнульпа из одноимённой книги, вышедшей уже в 1915 году.

Гессе привлекало в Кнульпе романтическое бегство от буржуазной повседневности: Кнульп — «перекати-поле», человек без профессии, он зарабатывает на хлеб, музицируя на деревенских праздниках. В то же время писатель с трезвым юмором описывал все злоключения героя, которого подстерегают старость, болезнь, одиночество. Перед смертью Кнульп мучается сомнениями: не была ли вся его жизнь прожита напрасно, бесполезно.

Позже, в одном из высказываний 1935 года, Гессе прямо свяжет трагедию Кнульпа с неправильным устройством общества. В его касталийцах, свободных от всяких связей и «бесполезных», в

его лёгком на подъём и всегда готовом в путь Йозефе Кнехте в какой-то степени воскреснет старый бродяга Кнульп.

Гессе покончил наконец с тяготившей его оседлостью в 1911 году, когда совершил своё путешествие в Индию. Он ещё в детстве бывал очарован, слушая рассказы об этой удивительной стране, в которой его дед и дядя со стороны матери когда-то были миссионерами. Это обстоятельство в значительной степени определило глубокий и всё возраставший интерес Гессе к Востоку, нашедший отражение в ряде его произведений, и прежде всего в романе «Игра в бисер». На протяжении многих лет он изучал религии и философские системы, весь комплекс идей, созданных замечательными древними цивилизациями Индии и Китая. Гессе был глубоким знатоком буддизма, писателя увлекала в нём мудрая созерцательность, слияние с природой, любовь ко всему живому, но он никогда полностью не принимал для себя его пассивности, его призыва к отказу от деятельности и мира. Особенно ясно это стало ему самому после соприкосновения с живым, реальным Востоком: об этом свидетельствуют его записки «Об Индии» (1913) и более поздняя повесть «Сиддхарта» (1922).

После возвращения из путешествия писатель поселился вблизи Берна, и с тех пор он навсегда остался в Швейцарии. С 1919 года он обосновался в Монтаньоле, близ Лугано, построил себе дом в собственном вкусе и прожил там до самой смерти. В 1923 году Герман Гессе принял швейцарское подданство. На закате дней его часто называли «мудрецом из Монтаньолы».

Хотя Гессе невозможно представить себе вне немецкой литературы и немецкой литературной традиции, вне передовой немецкий интеллигенции, швейцарское окружение и идеи многих здешних идеологов об «особом пути» этой страны наложили отпечаток на мировоззрение и творчество Гессе. Жизнь в Швейцарии способствовала появлению в нём некой «отстраненности» при рассмотрении борьбы и противоречий в западноевропейском обществе XX века. В годы первой мировой войны и позже, в годы фашизма, Швейцария представлялась ему «убежищем», «страной, дающей приют». Она стала для него «родиной по выбору» — при этом Гессе мало вникал в её внутренние проблемы. Швейцария, несомненно, помогла также рождению самого образа Касталии, маленькой мирной провинции внутри большого и беспокойного государства.

Решающей причиной переселения Гессе в Швейцарию стала первая мировая война, а затем растущее недовольство писателя послевоенной Германией. 1914 год потряс Гессе, война показалась ему безумием, массовым психозом, поставила иод угрозу всё его существование, всё, что он любил в жизни, все достижения цивилизации. Он был одним из тех немногих буржуазных интеллигентов, которых не коснулся угар шовинизма, охвативший в то время Германию и другие воюющие державы. И в первые же дни войны он мужественно выступил в защиту своих убеждений.

Его статья в «Нойе цюрихер цантунг» называлась «Друзья, не надо этих звуков» (слова из Девятой симфонии Бетховена, предваряющие знаменитую шиллеровскую «Оду к радости»). Гессе призывал интеллигенцию всех вступивших в войну стран сохранять верность принципам, гуманизма и совместно, общими силами спасать культуру. Эта статья вызвала большое количество откликов: Писатель после своего выступления сразу оказался в изоляции и надолго стал для официальной немецкой прессы «предателем отечества». Зато он обрёл в эти трудные дни немногих верных друзей, среди них был и Ромен

Роллан, который откликнулся на статью Гессе дружеским письмом.

За первой статьёй последовали другие. Гессе стоял тогда на позициях пацифизма, только пацифизма, но выступал в его защиту горячо, с темпераментом борца. Годы 1917–1919 были годами наибольшей политической активности в его жизни — впоследствии он недаром назвал этот период своим «пробуждением».

Война и связанные с нею переживания, напряжённая общественная деятельность в военные годы, а также тяжёлые личные утраты — потеря любимого сына, развод с женой — привели его в конце концов к нервному переутомлению и затянувшемуся на несколько лет творческому кризису. Этот период стал заметным рубежом в его жизни. Характерно, что в начале 20-х годов писатель терпеть не мог своих ранних произведений — они представлялись ему чересчур безмятежными (лишь позже он признал, что и в них в какой-то степени «всё уже было»).

Он не мог более писать по-старому. Всё созданное им прежде казалось ему облегчённым, казалось уходом от самых главных проблем, от самой глубокой правды, а следовательно, ложью, слабостью, потаканием внешней форме и красо-

те. И он мучительно ищет для себя новую форму, исходит из положения, что «истина важнее красоты», требует от своего искусства мучительной, предельной искренности и глубины.

Главной темой писателя всё больше становится показ обнажённых, неразрешимых конфликтов в окружающем обществе и а душе человека, который теряет в этом обществе самого себя. Путь писателя-гуманиста Гессе вёл от неясных романтических порывов к всё более глубокому познанию действительности и людей, к защите человечности.

В поисках выхода из этих неразрешимых противоречий, в стремлении обрести «позитивную» истину Гессе отдал дань многим философским исканиям своего времени, таким «властителям дум» западной интеллигенции 20-х годов, как Шопенгауэр, Шпенглер, Фридрих Ницше, «мифологи» и др. Он обращается попеременно и к «материнскому праву» Бахофена, и к «восточной мудрости», и к знакомому ему с детства пиетистскому благочестию. Всё это находит отражение в его творчестве, отовсюду он заимствует какие-то мотивы, иногда чисто внешние. По Гессе умеет «освоить» и переварить все эти теории, не став слепым адептом одного какого-нибудь учения,

будучи для этого слишком зорким художником и своеобразным мыслителем. Читатель, несомненно, почувствует это при чтении «Игры в бисер».

Особо следует обратить внимание на увлечение Гессе психоанализом. Через завоевавшие известность труды швейцарского философа К.-Г. Юнга (1875–1961), одного из последователей Зигмунда Фрейда, Гессе заинтересовывается так называемой «глубинной психологией», учением о власти бессознательного в жизни людей. Некоторое время персонажи его книг ищут выхода из жизненных противоречий исключительно в постижении собственной скрытой сущности, глубин своей души. Гессе называет это «путём внутрь». Надолго он не смог этим ограничиться, «юнгианцем» в полном смысле слова он не стал. Из встречи с юнгианством он вынес требование для художника бесстрашно и честно заглядывать внутрь себя, ничего не прикрашивая и не скрывая, но он отказался от «пути внутрь» как единственного спасения и от эгоцентризма Юнга.

Гессе чрезвычайно волнует судьба молодёжи, послевоенного поколения. В 1919–1923 годах он даже принимает участие в издании журнала, обращённого к молодым, — «Vivos voco» — «Зову

живых». Этой же аудитории были адресованы в первую очередь произведения писателя 20-х годов. Началом этого нового этапа можно считать роман «Демиан» (1919).

Произведение это было опубликовано под псевдонимом Эмиль Синклер, от имени которого ведётся повествование, и восторженно встречено критически настроенной молодёжью. Роман был написан на едином дыхании и о «самом главном». В то же время здесь более всего было ощутимо влияние на Гессе Юнга и Ницше, зрелая критика переплеталась со смущавшей читателя зыбкостью идеалов, субъективистскими тенденциями.

Целому поколению молодых интеллигентов были близки духовная опустошённость молодого Синклера и его поиски нового жизненного содержания. Герой с детства ощутил пропасть между лицемерной моралью, которую ему проповедовали церковь, семья и школа, и реальным буржуазным миром с его «волчьими» законами. Путь к спасению, к обретению равновесия указал Синклеру его друг Демиан, его второе «я», выдающаяся и таинственная личность, порвавшая с установлениями общества ради «новой истины». Только избранные одиночки, рассеянные среди людей и отмеченные «печатью Каина», то есть

отверженности, идут путём Демиана, который заключается прежде всего в познании своего скрытого «я» и в бескомпромиссном следовании ему. Это и является средством для создания новой человеческой общности. Характерно, что именно в этом произведении Гессе обращается к мистическим мотивам, не имеющим ничего общего с фантастикой его более поздних книг.

Непосредственно о немецкой современности 20-х годов Гессе написал в своём следующем этапном романе — «Степной волк» (1927), который был, по словам самого писателя, «отчаянным предостережением», протестом против завтрашней войны, против позиции невмешательства. В этом произведении значительно углубляется осуждение буржуазной лжекультуры и лжеморали, которое так гневно прозвучит впоследствии со страниц «Игры в бисер». Герой «Степного волкаx, писатель Гарри Галлер (прототипом его является сам Герман Гессе), — интеллигент-одиночка, противник милитаризма и войны. Он не может смириться с окружающей его ложью. Это Галлера автор называет „степным волком“, одиноким зверем, не приемлющим стадных законов, по которым живут обыватели.

Герой валяется волком ещё и в другом смысле:

Галлеру приходится бороться не только с обществом, но и с самим собой, с «человеком-зверем», который таится в душе каждого и постепенно сдаёт свои позиции «человеку дула».

И общество, и жизнь в изоляции одинаково могут довести Галлера до безумия. Герой мечется, он ищет выхода из одиночества. Таинственным образом он попадает в «магический театр» («вход только для сумасшедших»), воображаемое пространство, в котором происходят самые удивительные вещи, в результате чего завершается воспитание героя и приобщение его к жизни. Развёрнутая аллегория с «магическим театром» помогает Гессе с ловкостью опытного психоаналитика разложить на части и снова собрать всю жизнь общества и души Гарри Галлера. В конце произведения фантастический и реальный план сливаются, их трудно разделить: Гёте, Моцарт и прочие «бессмертные», сошедшие с высот человеческого духа, своей возвышенной весёлостью возвращают к жизни Галлера, убившего возлюбленную, спасают его от отчаяния и посылают к людям.

Роман «Степной волк» во многом предвосхищает «Игру в бисер». Писатель Гессе выступает здесь в роли издателя записок Гарри Галлера и встав-

ной анонимной книжицы «Трактат о степном волке». Все идеи этого трактата наглядно демонстрируются в действе с «магическим театром». Здесь введение фантастического плана ни в коей мере не является бегством от действительности. Для Гессе вполне применима удачная характеристика современной фантастики, данная критиком: «Она охотно вбирала в себя знания, накопленные человечеством. Она не игнорировала законов, управляющих жизнью, — и отходила от реальности, как правило, для того, чтобы разобраться в этой реальности, угадать её скрытые движущие силы и перспективы её развития».

Зрелому Гессе в высшей степени присуще чувство ответственности перед читателем. Писатель как бы приобщает его к своим поискам, к неразрешимым дилеммам, в путах которых он бьётся, к своим сомнениям и самоиронии. Романтические мотивы и устремления удивительным образом сочетаются в его творчестве с интеллектуализмом и ироничностью — чертами, свойственными многим крупным реалистам XX столетия.

Крайне своеобразна роль юмора у Гессе — он сам неоднократно говорит об этом в ряде произведений и писем. Именно юмор должен помочь страдающему индивидуалисту — герою Гессе —

перебросить мост от «идеала» к ненавистной ему бюргерской обыденности. Юмор должен удержать от отчаяния, помочь сохранить рассудок и веру в человека. Конечно, подобное преодоление противоречий с помощью юмора было весьма иллюзорным даже в глазах самого писателя.

Критика неоднократно отмечала, что во многих произведениях Гессе рядом поставлены два героя, не столько отрицающие, сколько дополняющие друг друга. Это не только борьба разных сторон личности, но и олицетворение двух возможных позиций по отношению к обществу: бегство от него и деятельность внутри него. Намёком на такую пару были уже мальчики Гибенрат и Гейльнер в ранней повести «Под колёсами»; затем — Сиддхарта и Говинда из повести «Сиддхарта»; писатель Гарри Галлер и его антагонист и друг — джазист Пабло из романа «Степной волк»; средневековый мыслитель, аскет Нарцисс, и художник Гольдмунд из повести «Нарцисс и Гольдмунд» (1930). Гессе понимал ограниченность обеих этих позиций. Уже в «Степной волке» он ясно высказал мысль о необходимости для одинокого созерцателя человека духа (а другого героя Гессе не знал) выйти из изоляции. Но трагедий Гессе заключалась в том, что он не видел

никаких реальных возможностей для своих героев действовать в рамках буржуазного общества, которое было для него олицетворением Общества как такового. Отсюда метафизический, внеисторический смысл его программных образов и концепций. Другого общества, небуржуазного, он не представлял, сознательно исключил его из своего поля зрения. Своё отвращение к буржуазной политике он перенёс на политику вообще и чурался даже самого этого слова.

Томас Манн с удивительной прозорливостью уловил слабость этого большого писателя в постоянном противопоставлении «духа» и «политики», Т. Манна не пугали некоторые фетиши, перед которыми останавливался автор «Игры в бисер». «Я полагаю, что ничто живое не существует сегодня вне политики, — писал Т. Манн Гессе в 1945 году. — Отказ от неё — тоже политика, которая тем самым играет на руку злому делу». В сущности, утверждает Т. Манн, произведения Гессе тоже причастны политике. Ведь если под его любимым понятием «дух» понимать силу, стремящуюся к добру и справедливости, то оно тоже причастно к политике, хочет того Гессе или не хочет.

Сам Гессе, прославленный и признанный, жил в Монтаньоле всё более уединённо, вне партий и

литературных группировок. Об его «отшельничестве» создавались легенды, но надо помнить, что при всём его пресловутом «отказе от политики» общественная позиция Гессе обычно прогрессивна, его конкретные политические высказывания отличаются большой зрелостью.

Когда в 1931 году через Томаса Манна ему было передано приглашение вновь стать членом Прусской академии искусств, из которой он ранее демонстративно вышел, писатель аргументировал свой отказ прежде всего своим глубоким недоверием к Веймарской республике — «этому бездушному и беспочвенному государству, которое возникло из пустоты, из всеобщей усталости после войны». Далее он пишет: «В 1918 году я был всеми своими симпатиями на стороне революции, но с тех пор мои надежды на немецкую республику, которую можно было бы принимать всерьёз, давно разрушены. Германия упустила время свершить свою революцию и найти свою собственную политическую форму».

В годы фашизма Гессе с самого начала был убеждён в непрочности и временности победы Гитлера. При этом, несмотря на все ужасы фашистской диктатуры, она не была для него неким мистическим наваждением, как для мно-

гих буржуазных интеллигентов того времени, а явилась закономерным порождением западного общества. Естественно, что для нацистов Гессе с самого начала был «нежелательным» писателем.

В 30-е годы Гессе напряжённо работал над «Игрой в бисер». Мы уже упоминали, что это было его итогом, его «кредо», отповедью фашизму. Своеобразным эскизом и прологом к этому большому произведению явилась аллегорическая повесть «Паломничество в страну Востока» (1931), которую вместе с «Игрой в бисер» можно считать вершиной мастерства писателя.

«Восток» в этом произведении — не географическое понятие, в названии есть иронический намёк на распространённые в то время описания путешествий. «Страна Востока» Гессе — это страна романтики, которая везде и нигде, это — страна духовности, красоты и добра в душе человека.

Сюжет повести фантастичен.

Удивительное паломничество ведёт читателя по родным для Гессе местам: по южной Германии, Швейцарии, северной Италии. Знакомые пейзажи переходят в условный ландшафт, родственный, например, описаниям немецкого романтика Эйхендорфа. Но это ещё и путеше-

ствие во времени — мы вдруг оказываемся в средневековье, попадаем в страну сказок или в детские и юношеские воспоминания автора. Удивительны и сами путешественники, пилигримы, «братья по вере и по духу», члены удивительного Ордена и прямые предтечи касталийцев из «Игры в бисер». Среди них Дон-Кихот, и близкие Гессе романтики Брентано и Гофман, и герой Гофмана архивариус Линдхорст, и Генрих фон Офтердинген из романа Новалиса, и Тристрам Шенди из романа английского писателя Лоренса Стерна. Здесь и современник Гессе швейцарский художник Пауль Клее, и сам рассказчик — музыкант Г.Г., в котором мы без труда узнаём Германа Гессе, и его собственные литературные герои из прежних книг — Сиддхарта, Клингзор, Гольдмунд. Членов этого союза объединяет человечность, естественность, любовь к людям. Им чужд индивидуализм, разочарованность и сухой рассудок. Им противопоказано себялюбие. Служение людям — вот что, по мысли писателя, должно спасти их от отчаяния. Лео — скромный слуга, готовый каждому помочь, оказывается в итоге Верховным Магистром Ордена. Лео — это второе «я» автора, его свершение.

* * *

«Игра в бисер» имеет посвящение — «Паломникам в страну Востока»: автор как бы отсылает читателя к своему предыдущему произведению, подчёркивает их родство.

Имя главного героя «Кнехт» означает «слуга», герои трёх вставных новелл — жизнеописаний, якобы принадлежащих перу самого Кнехта, — это вариации того же образа в разные века и в разных странах, как бы подчёркивающие его «вневременной» смысл. Это вариации того же служения — в «разных одеждах», с разным финалом, Продолжая сравнение с музыкой, можно сказать, что основной «мотив» как бы несколько раз «проигрывается» в различных тональностях.

«Игра в бисер» требует внимательного, вдумчивого прочтения, многое в ней зашифровано, глубоко спрятано. Писатель обращается в своём произведении к идеям и образам разных народов: касталийцы восприняли европейское средневековье с его символикой, для них живы древний Китай, Индия с её йогической мудростью, им близки математические знаки, музыкальные обозначения и т.д. Перебирание духовных ценностей, накопленных человечеством,

не становится, однако, для автора самоцелью, той бессмысленной и безрезультатной, хотя и виртуозной, требующей колоссальной подготовки и эрудиции Игрой в бисер, которой занимаются жители его Касталии. Спокойная и внешне отстранённая манера изложения, ироничность и любимая Гессе интонация бесстрастного историка прикрывает блестящий критический анализ, умение писателя различить и зафиксировать симптомы неизлечимой болезни своей эпохи и в то же время непонимание глубинных причин этой болезни, внутреннюю неуверенность и противоречивость.

Роман состоит из трёх, неравных по объёму частей: вводного трактата — «популярного» очерка истории Касталии и Игры в бисер, жизнеописания главного героя и произведений самого Кнехта — стихов и трёх прозаических опусов, имеющих, в свою очередь, форму жизнеописаний.

Прежде чем обратиться к истории знаменитого касталийца Кнехта, летописец возвращается к далёкому прошлому — предыстории и истории возникновения Касталии. Якобы с позиций далёкого будущего в романе даётся сокрушительная критика общества XX века и его вырождающейся культуры, критика эпохи, которую касталийский

историк называет «фельетонистической»[1] (от немецкого значения термина «фельетон», что означает «газетная статья развлекательного характера»). Надо сказать, что эти страницы Гессе нисколько не утеряли своей злободневности и в наши дни, если употреблять более современные термины, критика фельетонизма есть критика так называемой «массовой культуры» буржуазного мира.

«Духовность» всё больше и больше деградирует в «фельетонистическую эпоху». На смену серьёзным занятиям науками и искусствами, самоотверженным поискам, открытию новых законов и связей, созданию подлинных произведений человеческого гения пришла пустопорожняя болтовня о науке и искусстве. «Газетное чтиво» становится знамением эпохи. Учёные и художники изменяют своему призванию, продаются, так как их манят деньги и почести. Они более не служат своим убеждениям, а развлекают и

---

[1] Примечания: [1]

Фельетонистическая эпоха. — Критика этой эпохи, охватывающей декаданс буржуазного мира в XIX–XX вв., составляет весьма важный элемент в многосложном целом книги Гессе. Следует, однако, помнить, что эта критика, носящая весьма серьёзный и выстраданный характер, всё же преподносится Гессе не от своего имени, но от лица некоего анонимного касталийца, составляющего жизнеописание Кнехта: отсюда чрезмерно уравновешенный тон всезнающего превосходства, естественный для далёкого потомка, заглядывающего во мрак веков.

— главное — отвлекают своих читателей. Армия интеллигенции трудится над писанием всякого рода печатного хлама. Котируются анекдоты и мелкие происшествия из жизни знаменитых людей или паукообразные сочинения, вроде: «Фридрих Ницше и дамские моды в семидесятые годы девятнадцатого столетия», «Роль комнатных собачек в жизни знаменитых куртизанок» и т.п. Не наука, а профанация науки, проституция духовного творчества. Слово обесценилось, наступила инфляция слова. За ней скрывается ужасающая духовная пустота и кризис морали, страх перед будущим, перед неизбежностью новой войны, перед всесилием «хозяев».

В «фельетонистическую эпоху» много талантливых людей, одарённых мыслителей. Этот век не является безыдейным, но, по словам Гессе, он не знает, что делать со своими идеями, ибо в глубине всего таятся страх и чувство обречённости. «Они прилежно учились управлять автомобилем, играть в замысловатые карточные игры и мечтательно отдавались разгадке кроссвордов, ибо перед лицом смерти, страха, боли, голода они были почти вовсе беспомощны… Люди, читавшие столько фельетонов, слушавшие столько докладов, не изыскивали времени и сил для того,

чтобы преодолеть страх, побороть боязнь смерти, они жили судорожно, они не верили в будущее». Гессе приходит к убеждению, что подобная цивилизация исчерпала себя и стоит на пороге крушения, и ничто не сможет её спасти.

Эти угрожающие симптомы вызывали в «эпоху фельетонизма» разную реакцию, рассказывает летописец Касталии в романе Гессе. Одни всё отрицали и не желали ничего видеть, другие заняли циничную позицию — «после нас хоть потоп», третьи впали в глубокий пессимизм, и только одиночки стали добровольными, верными жрецами-хранителями лучших традиций духовности. Интеллектуальная элита выделилась впоследствии, смогла основать «государство в государстве» — Касталию — и создать Игру в бисер.

Гессе как бы спрашивает: как спасти личность и духовное начало в период распада и крушения культуры. Может быть, одним из путей спасения могло бы стать бегство от общества, уход поэтов и учёных в мир «чистого искусства» и поисков «вечной истины»? Для демонстрации и оценки этого пути Гессе создаёт свою умозрительную экспериментальную Педагогическую провинцию.

Касталия Гёте и Касталия Гессе — как мало,

в сущности, между ними сходного! Две разные эпохи — заря и закат эры капитализма. Гёте воплощает в Педагогической провинции мечты художника, в чём-то опережающего время, — об обществе, преодолевшем противоречия — будущем бесклассовом обществе. Касталия Гессе — иная, здесь предусматривается не всестороннее, а только духовное развитие. Если касталийцы Гёте мечтали о переделке мира, то новые касталийцы удалились от мира.

Как и «страна Востока», Касталия существует лишь в воображении, хотя в её пейзажах вновь оживает родная Гессе южно-немецкая и швейцарская природа. Касталию часто называют утопией, по нет в её строе, в её укладе, в технике ничего утопичного, связанною для нас с обществом будущего. Наоборот, на каждом шагу встречаются странные анахронизмы. Жизнь городков внутри Касталии как бы застыла в своей средневековой патриархальности, жизнь за пределами Касталии кипит ключом — развитие промышленности, борьба партий, парламент, пресса. Состязания по Игре в бисер передаются по радио, а ездят по Касталии на лошадях. То же смешение старины я утончённой современности ощутимо и в построении, и в языке «Игры в бисер».

Сам автор писал: «Имеется множество людей, для которых Касталия реальна так же, как для меня». В другом случае он объяснял: Касталия — «не будущее, а вечная, платоновская, в различных степенях уже давно открытая и увиденная на земле идея». Неоднократные ссылки на универсальную платоновскую академию, где занимались всеми науками своего времени, мы встречаем и в самом тексте романа. Таким образом, Касталия для автора — абстракция, сложный символ, приют чистой созерцательной духовности, в отличие от мира, поражённого «фельетонизмом». Касталия напоминает «модель», построенную учёным, всесторонне и критически рассмотренную «вероятность».

Все касталийцы принадлежат к Ордену служителей духа. Они полностью оторваны от жизненной практики. Здесь парит строгая почти средневековая иерархия (двенадцать Магистров, Верховная, Воспитательная и прочие Коллегии и т.д.), хотя места распределяются только в зависимости от способностей. Для пополнения своих рядов касталийцы находят и отбирают одарённых мальчиков по всей стране, а затем обучают их в своих школах, развивают их ум и чувство прекрасного, приобщают к математике, музыке,

философии, а главное, учат размышлять, сопоставлять, наслаждаться «духовными играми». После окончания школ юноши попадают в университеты, где обучение не регламентировано жёстким сроком, а затем посвящают себя занятиям науками и искусствами, педагогической деятельности или Игре в бисер. В Касталии нет ограничивающей специализации в формировании учёных и служителей муз, здесь достигнут некий высший синкретизм науки и искусства.

Как относится сам Гессе к придуманной им Касталии? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Вместе со своим героем Кнехтом Гессе понимает, что у Касталии нет прочных корней в реальной жизни, что, если она не переменится и не откажется от своей замкнутости, ей грозит неминуемая гибель. Вместе с Кнехтом Гессе любит и нежно оплакивает эту удивительную страну, которая под его пером буквально оживает для читателя. Гессе можно с полным правом назвать наследником и продолжателем лучших традиций немецкой прозы («традиционалистом», как он сам себя с гордостью называл). При всём внешнем спокойствии повествования стиль Гессе глубоко эмоционален.

Как реален и убедителен Эшгольц — школь-

ный городок, в который мы попадаем вместе с Кнехтом; как великолепны горы, в которых Кнехт странствует на каникулах, направляясь к Магистру музыки; как тепло описан Вальдцель — столица Касталии — с его средневековой архитектурой, бородатыми бюргерами и их весёлыми дочками, охотно позволяющими любить себя касталийским студентам. Касталийцы живут в прекрасном окружении, Гессе собрал вокруг них всё самое ему дорогое. И в то же время они живут вдали от реального мира с его тревогами и угрозами.

В Касталии «духовность» отделена наконец от буржуазного «процветания» — то, о чём всегда мечтал Гессе, но его касталийцы принесли в связи с этим целый ряд тяжких жертв. Они отказались не только от собственности, семьи, от счастья индивидуального авторства (так, юношеские стихи Кнехта — в Касталии непростительный грех), но даже и от своеобразия собственной личности, ибо уход от жизни, пребывание в атмосфере чистой духовности губительно действуют на индивидуальность. Касталийцы отказались от творчества как такового: от новаторства, от поисков и движения, от развития, пожертвовав ими ради гармонии, равновесия и «совершенства». Они

отказались от деятельности ради созерцания. Все их занятия бесплодны. Они не создают нового, а лишь занимаются толкованием и варьированием старых мотивов. Их развитие приводит к созданию людей типа Тегуляриуса, типичных отщепенцев, гениев-одиночек, которые в своём увлечении изощрённостью и формальной виртуозностью пренебрегают столь важной для касталийцев «медитацией» — созерцанием.

Медитация — некое фантастическое занятие, подробно описанное в романе Гессе, — представляет собой последовательность дыхательных упражнений и волевых приёмов сосредоточения и самопогружения, напоминающих приёмы йогов. К медитации все касталийцы обязаны прибегать периодически, а также в моменты особого напряжения или волнений, ибо это разрядка, гигиена умственной и психической деятельности. Но медитация в романе, несомненно, имеет и более глубокий смысл: она дарует не только полное отдохновение и овладение собой, но и временное погружение в «ничто», полную отрешённость от суетного, от «майя», что необходимо человеку для обретения способности к духовной самодисциплине, к объективному взгляду на вещи и к хладнокровному осмыслению своей

деятельности. Пренебрегая медитацией, касталийцы полностью утрачивают свою способность к служению и сознание долга, они становятся окончательно бесполезными.

Касталийцы обречены, ибо они аристократы, каста. Сословие аристократов духа, замкнутое в себе и не служащее обществу, неизбежно приходит к вырождению и гибели, считает писатель. Недаром самое почитаемое занятие в Касталии, её высшее достижение, основа и смысл её существования — это таинственная Игра в бисер, самый многозначный и сложный символ в этом творении Гессе.

Писатель даёт Игре в бисер, иначе Игре стеклянных бус (оба перевода немецкого *Glasperlenspiel*, на наш взгляд, имеют право на существование и дополняют друг друга), по видимости точное, а в сущности ничего не определяющее определение: «Игра стеклянных бус есть игра со всеми смыслами и ценностями нашей культуры, мастер играет ими, как в эпоху расцвета живописи художник играл красками своей палитры». Так же неопределённо и загадочно стихотворение Кнехта, посвящённое Игре. В основе этого символа лежит давняя мечта философов и учёных о всеобъемлющей системе, об универсальном языке, способном

выразить и сопоставить все открытые «смыслы», весь духовный мир человечества. Игра — это и религия, и философия, и искусство, всё в целом и ничто в частности. Это и символическое обозначение утончённой духовности, прекрасной интеллектуальной деятельности как таковой, поисков абстрактного смысла — квинтэссенции истины. Для писателя Гессе близко также понимание Игры как занятия литературой; во всяком случае, это касается сугубо современных литературных форм, проникнутых интеллектуализмом, недаром один из главных мастеров Игры носит имя Томас фон дер Траве[2] (намёк на Томаса Манна, родившегося в Любеке на реке Траве).

Гессе с видимой достоверностью описывает происхождение этого фантастического занятия. На заре Касталии некий Перро из Кальва — родного города Гессе — использовал на семинарах по теории музыки придуманный им прибор со стеклянными бусинами. В дальнейшем этот прибор был усовершенствован. Скорее всего, он похож на некую электронную машину, где бусины стали кодом, знаками универсального языка, с помощью которого можно без конца сопоставлять

[2] Примечания: [2]

Томас фон дер Траве — стилизованный портрет Томаса Манна, с которым Гессе поддерживал близкие дружеские отношения.

различные смыслы и категории.

Около 2200 года Магистром Игры стал мастер Игры, не знающий равных, — Йозеф Кнехт. Кнехт — любимый герой Гессе — прошёл весь тот путь, который проходят касталийцы. Способного мальчика рано отобрали в «элитарную школу». Ему повезло — на самой заре своего развития он встретился и сблизился с Магистром музыки — человеком, воплотившим в себе наиболее привлекательные черты Касталии: равновесие, ясность, упоительную весёлость (сродни «бессмертным» из «Степного волка»). Встреча с Магистром музыки сделала разлуку с прежней жизнью таинством, посвящением. Только смутно, по реакции окружающих, мальчик догадывается, что уход в Касталию, в разреженную атмосферу чистой духовности, — не только возвышение, но и потеря.

Позже, от самого Магистра музыки, Кнехт узнает, что не так уж легко досталась тому пресловутая касталийская ясность. «Истина должна быть пережита, а не преподана», — говорит учитель своему любимому ученику. И далее: «Готовься к битвам, Йозеф Кнехт…»

Путь Кнехта состоит из этапов, изображаемых Гессе как ряд ступеней, уводящих всё выше и

выше. Лишь на время герой обретает желанную гармонию, но наступает «пробуждение», и он вновь готов рвать связи, «преступать пределы» и отправляться в дорогу, ибо:

Не может кончиться работа жизни…
Так в путь – и всё отдай за обновленье!

(Из стихов Йозефа Кнехта)

Чем дальше, тем труднее даётся Кнехту переход со ступени на ступень, тем резче ощущает он скрытые диссонансы касталийской действительности. Встреча Кнехта с «мирянином» Плинио Дезиньори, его другом-врагом, их диспут-поединок, о котором Кнехт, по желанию преподавателей, выступает в роли апологета Касталии, дальнейшие соприкосновения с настоящим, реальным миром, — волнуют и тревожат Кнехта. Недаром звучит в его юношеских стихах:

Рассудок, умная игра твоя –
Струенье невещественного света,
Легчайших эльфов пляска, – и на это
Мы променяли тяжесть бытия.

Кнехт с радостью приемлет всё лучшее в Касталии, он поистине наделён даром ученичества и служения, но он интуитивно старается избегнуть

касталийской ограниченности. Все его склонности влекут его к Игре, к тому, чтобы стать её величайшим адептом, но герой избирает к ней окольные, затяжные пути, ничего не принимая как данное, желая самостоятельно и критично пройти весь тот путь, что она прошла. Для этого ему приходится углубиться в изучение многих сложных вопросов, и один из этапов этого пути — его пребывание в домике Старшего Брата, в мире «старых китайцев». Старший Врат особенно ярко демонстрирует Кнехту одну из сторон мировоззрения Касталии — добровольное самоограничение, отказ от универсальности и развития ради ограниченного совершенства минувших времён.

Но важнейшее значение для развития Кнехта имеет его миссия в бенеднктинской обители Мариафельс. Гессе не религиозен, христианство, в лучшем смысле этого слова, для него категория общечеловеческая и этическая, он воспринимает его как «историю и совесть». Монастырь Мариафельс показан не как оплот религии, а как одни из последних оплотов духовности в «миру», как лучшее место для касталийца за пределами Провинции. Здесь начинается ученичество Кнехта

у историка — отца Иакова[3]. Прообразом этого героя послужил швейцарский историк культуры Якоб Буркхардт (1818–1898), идеи которого оказали влияние на самого Гессе, но значение образа патера Иакова много больше, чем просто отражение факта из биографии писателя. Под влиянием Иакова Кнехт впервые задумывается об историзме, о соотношении истории государства и истории культуры, впервые постигает, что живая история вовсе не подчиняется абстрактно-логическим законам разума и не исчерпывается историей идей. «Пусть тот, кто занимается историей, наделён самой трогательной детской верой в систематизирующую силу нашего разума и наших методов, но, помимо этого и вопреки этому, долг его — уважать непостижимую правду, реальность, неповторимость происходящего», — учит Йозефа отец Иаков. Гессе приходит здесь к при-

---

[3] Примечания: [3]

Отец Иаков — стилизованный и идеализированный образ швейцарского историка Якоба Буркхардта (1818–1897).

Гессе не только много изучал труды Буркхардта, но и имел перед собой некий живой образ его личности; хотя он и не был непосредственно знаком с ним, но в годы юности в Базеле застал ещё атмосферу «присутствия» знаменитого учёного, беседовал с людьми, лично его знавшими, слушал рассказы о нём и до конца жизни любил вставлять в дружеские письма обороты, заимствованные из обихода Буркхардта. В трудах Буркхардта Гессе привлекало соединение верности классическому гуманизму Гёте и Шиллера с трагическим осознанием исторического развития.

знанию необходимости исторического взгляда на вещи, хотя и не идёт дальше этого признания.

Итак, с помощью занятий историей Кнехт увидел истинное место Касталии, её временность и относительность, потому что отчуждение её от мира — трагическая ошибка. «Игра игр» — всего лишь игра, имеющая в лучшем случае педагогическое значение. Страна интеллекта — крошечная частица вселенной, пусть даже самая драгоценная и любимая. Касталия была создана когда-то и должна погибнуть, поскольку она почти перестала выполнять даже то немногое, ради чего её создали, — свою педагогическую миссию. Писатель не приемлет отрыва духовной элиты от жизни общества. Он критикует Касталию устами «идеального касталийца», и эта критика вновь обращена к нашей современности.

Наука и искусство хиреют и чахнут в изоляции от живой жизни, без осмысления и смысла, какой бы утончённости и виртуозности ни достигли их представители. Более того, самое их существование оказывается под угрозой. Пока касталийцы затворнически трудятся в своих библиотеках и архивах, играют в свои великолепные игры, общество, от которого они уходят всё дальше, может счесть свою Касталию бесполезной роско-

шью. «Игра в бисер» — роман-предостережение всей западной цивилизации XX века. Ещё в юношеском стихотворении вставало перед Кнехтом страшное видение — последний мастер Игры:

Но нет их больше, нет ни тайн, ни школ,
Ни книг, былой Касталии… Старик
Покоится, прибор держа в руке,
И, как игрушка, шарики сверкают,
Что некогда вмещали столько смысла…

Дом уже горит, утверждает Кнехт в своём послании членам Коллегии, и наш долг «не заниматься анализом музыки или уточнением правил Игры, но поспешить туда, откуда валит дым». При этом, говорит дальше Кнехт, ни в коем случае нельзя допустить предательства по отношению к лучшему в Касталии — по отношению к духовности, интеллектуальной честности, к поискам смысла. «Трусом назовём мы того, кто уклоняется от трудов, жертв и опасностей, выпавших на долю его народа, — говорится в том же послании. — Но трусом и предателем вдвойне будет тот, кто изменит принципам духовной жизни ради материальных интересов, кто, например, согласится

предоставить власть имущим решать, сколько будет дважды два».

Кнехт напоминает Коллегии, что «*Magister Ludi*» означает не только «Магистр Игры», но и просто «школьный учитель». Самая важная задача, считает Кнехт, а вместе с ним Гессе, — это воспитание молодого поколения, и не в Касталии, не среди элиты, а в «миру». Передача молодым людям благородных традиций, наделение их подлинной духовностью — вот путь к спасению страны интеллекта. Кнехт покидает Касталию, которую он так горячо любит.

Йозеф Кнехт — программный герой, он и духовен и деятелен. В нём одном воплотились все «пары» героев Гессе: Галлер и Пабло, Нарцисс и Гольдмунд и другие. Кнехт слишком богат и многосторонен, чтобы удовлетвориться призрачным существованием в Касталии. Я жажду действительности, говорит Кнехт, я не только касталиец, но и человек. Кнехт становится наставником сына Дезиньори, ибо, по его мнению, воспитание даже одного настоящего, способного действовать человека важнее прекрасной, но бесполезной Игры в бисер.

Конец Кнехта — самая живая, полнокровная часть всего жизнеописания, здесь этот герой

более всего убедителен и человечен. Однако характерно, что касталийский летописец не приемлет такого конца — для него это всего лишь «легенда». Гессе не видит для Кнехта другого поля деятельности, кроме воспитания одиночки. Он вообще не показывает нам Кнехта в реальной жизни. Резким диссонансом обрывается музыкальная тема — путь Кнехта, герой бессмысленно погибает в водах горного озера. В сущности, мы не знаем даже, добился ли бы он успехов на своём поприще. А Касталия в романе Гессе не погибает, вопреки предсказаниям Кнехта, ибо это её будущий историк восстанавливает для потомства жизнь величайшего Магистра.

Как же понимать Гессе, опровергающего самого себя? Писатель как будто бы заканчивает роман знаком вопроса. Отвергает он или принимает Касталию? Несомненно, ответ Гессе в достаточной мере противоречив, он, как это обычно для него, ставит проблему и призывает читателя размышлять вместе с ним. В сущности, он сам сознаёт, что воспитание одиночек — недостаточное средство для радикального изменения общества. «Я не являюсь представителен готового, уже сформулированного учения, я человек становления и развития», — говорил Гессе ещё в 1930 году.

Очень важен для понимания замысла писателя эпиграф к «Игре в бисер». Гессе сам его сочинил, переведя затем на средневековую латынь и приписав его авторство вымышленному Альбертусу Секундусу (вполне в духе придуманной им Игры). В эпиграфе говорится, что, вопреки мнениям дилетантов, вещи несуществующие много труднее изображать, чем существующие, и необходимо, но и очень трудно описывать их так, чтобы они как бы существовали и могли оказывать влияние на действительность. «Страна Касталия» Гессе — именно такое «несуществующее понятие», призванное влиять на действительность. «Духовность» не должна исчезнуть, она должна облагородить и преобразить жизнь — вот, по-видимому, один из выводов Гессе.

Три вариации, три истории одного и того же человека «в разных исторических одеждах» заключают книгу и также дают ключ к постижению смысла произведения. Герой первого «жизнеописания», «Заклинатель дождя», по имени Слуга, — благородный носитель духовности первобытного племени. Продолжая путь своего предшественника, он неутомимо добывает и копит всё новые знания об окружающем мире и с помощью этих знаний стремится служить

людям. Вокруг него стена непонимания. Кажется, окружающие дикость и мракобесие вот-вот загасят этот светильник разума. Но дело Слуги не погибает, он приносит себя в искупительную жертву ради того, чтобы не угасла во тьме искра духовности, чтобы люди успокоились, образумились, чтобы его ученик и сын Туру смог продолжить его дело.

Во втором жизнеописании раннехристианский отшельник, исповедник Иосиф Фамулус (по-латыни «слуга») по-своему служит людям, с редкой добротой, кротостью и участием выслушивая их признания в грехах и тем облегчая их душу. Он разочаровывается в этом своём служении, видя ограниченность своих сил и своего разумения и неспособность возвыситься над житейской суетностью. Иосиф бежит «со своего поста» и встречает другого, старейшего исповедника, который осуществлял своз служение иначе, творя суд и налагая кару, а теперь тоже во всём разочаровался и направляется за поддержкой к Иосифу. Эта встреча даёт силы старшему из двоих возвратиться и продолжать свою деятельность, сделав младшего учеником и преемником, ибо каждый должен оставить в мире ученика, посадить дерево и дождаться его плодов, считает писатель.

«Индийское жизнеописание» — третья вариация той же судьбы, по-своему близкая сердцу писателя. Здесь итог бурной жизни Ласы (что тоже значит «слуга») — не принесение себя в жертву и не «продолжение службы», а бегство в лес, к старому йогу, уход в нирвану, признание всего в жизни иллюзией, «майей», то есть тот же уход в Касталию.

Какой же из трёх путей избирает автор для своего программного героя Йозефа Кнехта? Первый — принесение себя в жертву ради будущего. Кнехт погибает ради того, чтобы могла существовать Касталия — страна разума и духовности. Своим отчаянным прыжком в ледяные воды озера он потрясает и пробуждает к новой жизни своего необузданного ученика. «Да, смерть Кнехта допускает, естественно, много толкований, — пояснял Гессе. — Для меня главным был мотив жертвы, которую он приносит смело и радостно.

И этим, как я это понимаю, он не прервал, а выполнил свою педагогическую миссию».

Было бы неправильно считать конец «Игры в бисер» пессимистичным. Кнехт погиб, но остался молодой Дезиньори, разбуженный и навсегда покорённый великолепной личностью своего воспитателя. В этом прозвучала надежда. Гессе

был убеждён, что какими-то, пусть неизвестными ему путями человечество всё же придёт к созданию более гармонического общества, чем Европа середины XX века.

Произведения Гессе переведены сейчас почти на все языки мира. Его читают, о нём спорят. Широко издают и изучают Гессе в ГДР. В наши дни, когда ряд модных философов на Западе категорически утверждает примат практицизма над «духовностью», его «Игра в бисер» приобретает особую актуальность.

Гессе — хранитель и продолжатель лучших традиций культуры прошлого — был «служителем нового» (как назвал его тот же Томас Манн), он старался сохранить для этого нового всё то, что он любил и почитал в прошлом. Советские читатели, несомненно, с интересом приобщатся к тревожным раздумьям автора «Игры в бисер».

Е. Маркович

ИГРА В БИСЕР
Опыт жизнеописания Магистра Игры Йозефа Кнехта с приложением оставшихся от него сочинений

Паломникам в страну Востока[4]

---

[4] Примечания: [4]

Посвящение намекает на появившуюся десятилетием раньше повесть Гессе «Паломничество в страну Востока» и имеет по меньшей мере троякий смысл. Во-первых, оно апеллирует к той утопии интимного духовного братства, которая является темой обеих книг. Прекрасно зная, насколько фальсифицированы в окружающем его обществе массовые связи между людьми, как легко против воли стать частью всеискажающей литературной промышленности, Герман Гессе личным, почти заговорщическим жестом кладёт книгу в руки «своему» читателю, своему «собрату по Ордену», который поймёт его с полуслова. Во-вторых, автор подчёркивает единство содержания обеих книг; и в том, и в другом случае речь идёт о проблематике соотношения между духовностью и жизнью, о диалектике веры, сохраняющей свою бодрость при всех разочарованиях и вопреки им. В-третьих, чисто литературно, «Игра в бисер» продолжает линию, намеченную «Паломничеством в страну Востока». Прозрачность и одухотворённость образной системы, господствующая в обеих книгах, нисколько не исключает выпуклой пластичности образов. В обоих случаях место действия, говоря словами самого Гессе, — «это не страна или некое географическое понятие, но родина и юность души, то, что повсюду и нигде, тождество всех времён». Вторая необычная черта, характеризующая литературную технику обеих книг Гессе и часто наталкивающаяся на непонимание, — непрестанная подвижность точки зрения, при которой почти каждая последующая фраза даёт предмет изображения в иной смысловой перспективе, чем предыдущая, а конечный «итог» остаётся намеренно многозначным. Так, «Паломничество в страну Востока» рисует некое Братство, которое потерпело крушение, распалось и забыто, и только

его бывший член Г.Г. хочет писать историю этого некогда высокого начинания; незаметно всё сдвигается, и становится ясно, что все эти годы, проведённые Г.Г. в горестном разочаровании, Братство продолжало совершать свой путь, и только один Г.Г. по слабости отпал от него; и в конце концов отчаявшемуся, но честному члену Братства предстоит узнать что и сам он на более глубоком уровне своего бытия неизменно сохранял верность своему служению. Соответственно и в «Игре в бисер» смысл колеблется между возвеличением «касталийского» идеала духовности и преодолением этого идеала. Напоминая о близости той и другой книги, посвящение стремится сделать их более понятными друг через друга.

Игра в бисер: Опыт общепонятного введения в её историю

…non entia enim licet quodammodo levibusque horninibus facilius alque incuriosius verbis reddere quam entia, verumtamen pio diligentique rerum scriptori plane aliter res se habet: nihil tantum repugnat ne verbis illustretur, at nihil adeo necesse est ante hominum oculos proponere ut certas quasdam res, quas esse neque demonstrari neque probari potest, quae contra eo ipso, quod pii diligentesque viri illas quasi ut entia tractant, enti nascendique facultati paululum appropinquant.

***Albertus Secundus tract. de cristall. spirit., ed. Clangoret Collof., lib. I, cap. 28*[5]**

Рукописный перевод Йозефа Кнех-

---

[5] Примечания: [5]

Альберт Второй, трактат о кристалл. духе, изд. Клангор и Коллоф., кн. 1, гл. 28 (лат.).

та:[6]

...и пусть люди легкодумные полагают, будто несуществующее в некотором роде легче и безответственней облечь в слова, нежели существующее, однако для благоговейного и совестливого историка всё обстоит как раз наоборот: ничто так не ускользает от изображения в слове и в то же время ничто так настоятельно не требует передачи на суд людей, как некоторые вещи, существование которых недоказуемо, да и маловероятно, но которые именно благодаря тому, что люди благоговейные и совестливые видят их как бы существующими, хотя бы на один шаг приближаются к бытию своему, к самой возможности рождения своего.

В настоящем труде мы намерены предать гласности то немногое, что нам посчастливилось

---

[6] Примечания: [6]

Эпиграф принадлежит Гессе, а его перевод на схоластическую латынь выполнен друзьям писателя — филологами Шаллем и Файнхальсом. Измышленное имя автора текста «Альберт Второй» намекает на известного средневекового схоласта Альберта Великого (1193–1280), учителя Фомы Аквинского. **Альберт Великий**, прозванный современниками «Универсальным Доктором», стремился ко всеобъемлющему духовному синтезу и к стройному упорядочению всей суммы интеллектуальных ценностей своей эпохи, то есть к тому идеалу, о которой идёт речь и в романе Гессе и который он воплотил в образе Игры в бисер.

собрать о жизни Йозефа Кнехта, именуемого в архивах Игры в бисер, или иначе — Игры стеклянных бус, как Ludi Magister Josephus III[7]. Мы не можем закрывать глаза на то, что подобное начинание в некотором роде противоречит или кажется противоречащим законам и обычаям Касталии. Ведь именно изгнание индивидуального и возможно более полное включение личности в иерархию Воспитательной Коллегии и научного мира есть один из высших принципов нашей духовной жизни. И принцип этот укоренился и стал традицией столь давно, что теперь крайне затруднительно, а зачастую даже и невозможно выяснить подробности жизни и черты характера отдельных лиц, имеющих перед этой иерархией особые заслуги; порой не удаётся установить даже имён! Но такова уж отличительная черта духовной жизни нашей Провинции, что её иерархическая организация исповедует идеал безымянности и в значительной мере приблизилась к осуществлению этого идеала.

Если мы всё же упорствуем в нашем намерении обнародовать кое-какие подробности биографии Магистра Игры Йозефа III и хотя бы вчерне воссо-

---

[7] Примечания: [7]
Магистр Игры Йозеф III (лат.)

здать его образ, черты его личности, то поступаем мы так отнюдь не из приверженности к культу великих людей и не из непокорности обычаям, — напротив, мы убеждены, что служим тем самым истине и науке. Старинное правило гласит: чем чётче и непреклоннее мы формулируем тезис, тем неумолимей он требует своего антитезиса. Мы одобряем и уважаем идею, положенную в основу безымянности наших Коллегий и нашей духовной жизни. Однако достаточно бросить беглый взгляд на предысторию её, особенно на развитие Игры в бисер, как мы бесповоротно убеждаемся: каждая фаза этого развития, всякое расширение и изменение Игры, любое существенное вторжение в её основы — прогрессивного или консервативного толка, — хотя и не указывает прямо на своего единственного и главного инспиратора, всё же наиболее ярко предстаёт перед нами именно в самой личности преобразователя, личности того, кто был лишь неким инструментом данного изменения и усовершенствования.

Правда, сегодня само понятие личности весьма расходится с тем, что под этим подразумевали биографы и историки прежних времён. Для них, и особенно для авторов тех эпох, когда преобладал интерес к биографиям, существенным казалось

отклонение личности от нормы, аномалии, неповторимость, нередко прямо-таки патологическое, в то время как мы сегодня выдающейся почитаем личность лишь тогда, когда встречаем человека, который, не впав в оригинальничание и избегнув всяких причуд, сумел возможно более совершенно найти себя в общности, возможно совершеннее служить сверхличному. Взглянув на это пристальней, мы увидим, что уже древность знала подобный идеал: возьмём хотя бы образ «Мудреца» или «Совершенного» в древнем Китае или же идеал Сократова учения о добродетелях — ведь это почти неотличимо от нашего сегодняшнего идеала; да и не одна великая духовная организация, как то Римская церковь во времена своего расцвета, утверждала те же принципы, и не один великий образ её истории, как то святой Фома Аквинский, предстаёт перед нами, подобно скульптурам греческой архаики, скорее как идеальный представитель некоего типа, нежели как индивидуальность. Тем не менее в период, предшествовавший реформации всей духовной жизни, начало которой, было положено в двадцатом столетии и наследниками которой мы являемся, этот неискажённый древний идеал был почти полностью утрачен. Мы диву даёмся,

обнаружив в какой-нибудь биографии того времени обстоятельный рассказ о братьях и сёстрах героя, о том, какие душевные рубцы оставило в нём прощание с детством, переходный возраст, борьба за признание, тоска по любви. Нас, ныне живущих, интересует не патология или семейные связи, не бессознательная жизнь, пищеварение или сон героя; даже его духовная предыстория, его становление под воздействием любимых занятий и любимых книг представляются нам не столь уж важными. Для нас лишь тот — герой, лишь тот представляет интерес, кто благодаря своим задаткам и своему воспитанию оказался способным почти без остатка подчинить свою индивидуальность иерархической функции, не утратив при этом силы, свежести, удивительной энергии, составляющих суть и смысл всякой личности. Если же личность приходит в конфликт с иерархией, мы рассматриваем именно эти конфликты как некий пробный камень, на котором проверяются достоинства личности. Сколь мало мы склонны одобрять мятежника, порвавшего под влиянием страстей и прихотей с порядком, столь же глубоко мы чтим память о жертвах, о подлинно трагическом.

Впрочем, когда речь заходит об истинном герое,

с которого и впрямь стоит брать пример, то интерес к индивидуальности, к имени, к облику и жесту представляется нам естественным и оправданным, ибо в самой совершенной иерархии, в самой налаженной организации мы усматриваем отнюдь не машину, собранную из мёртвых и не представляющих интереса частей, но живое тело, где каждый член, каждый орган своим бытием и своей свободой участвует в таинстве, имя которому жизнь. Этим мы и руководились, разыскивая сведения о жизни Магистра Игры Йозефа Кнехта, и прилагали особую ревность к обнаружению всего, им самим написанного; в конце концов нам удалось отыскать несколько рукописей, представляющих, как мы полагаем, интерес для читателя.

Членам Ордена и прежде всего мастерам Игры всё или часть того, что мы в состоянии сообщить о жизни и личности Кнехта, вероятно, известно, и уже потому книга наша предназначена не только для этого круга, но мы надеемся найти вдумчивого читателя и за его пределами.

Для первого, более узкого круга книга не нуждалась бы во введении или комментариях. Но коль скоро мы взялись заинтересовать жизнью и трудами нашего героя читателя вне Ордена, перед

нами встаёт достаточно трудная задача предпослать книге небольшое общедоступное введение, толкующее как смысл, так и историю Игры в бисер. Мы подчёркиваем — общедоступное, ибо введение это ни в коей мере не претендует на разбирательство тех вопросов и проблем Игры и её истории, о которых никогда не утихают споры в рамках самого Ордена. Для объективного освещения этой темы время ещё не пришло.

Итак, напрасно было бы требовать от нас изложения всей истории и теории Игры: подобная задача не по плечу и куда более искушённым и достойным авторам. Решение её — удел будущего, если, разумеется, к тому времени сохранятся как источники, так и духовные предпосылки. Ещё того менее наш труд может служить учебником Игры — таковой вообще никогда не будет написан. Правила этой Игры игр усваиваются только обычным, предписанным путём, на что уходят годы, и никому из посвящённых не придёт на ум упрощать или облегчать процесс их усвоения.

Эти правила, язык знаков и грамматика самой Игры суть не что иное, как высокоразвитая тайнопись, в создании которой участвуют многие науки и искусства, в особенности же математика и музыка (соответственно музыковедение), и ко-

торая способна выразить и связать друг с другом смыслы и результаты почти всех научных дисциплин. Таким образом, наша Игра стеклянных бус есть игра со всеми смыслами и ценностями нашей культуры, мастер играет ими, как в эпоху расцвета живописи художник играл красками своей палитры. Всем, что в свои творческие эпохи человечество создало в сфере познания, высоких мыслей, искусства, всем, что в последующие столетия было закреплено в научных понятиях и стало, в результате, общим интеллектуальным достоянием, — всем этим неимоверно богатым духовным материалом мастер Игры владеет, как органист своим органом, и орган этот обладает почти непредставимым совершенством, его клавиатура и педали воспроизводят весь духовный мир, его регистры почти неисчислимы, теоретически на таком инструменте можно проиграть всё духовное содержание вселенной. Эта клавиатура, педали и регистры строго зафиксированы, их число и распорядок могут быть усовершенствованы разве что в теории: обогащение языка самой Игры через внесение в неё новых смыслов подлежит строжайшему контролю верховного руководства Игры. Напротив, в рамках этого остова, или, чтобы продолжить наше сравнение,

в рамках сложной механики гигантского органа, перед мастером открываются безграничные возможности и комбинации: среди тысяч строго по правилам сыгранных партий нельзя обнаружить две хотя бы внешне схожих одна с другой. Предположим даже, что два мастера избрали содержанием своих партий одну и ту же узкую тематику, но и тогда обе игры могут решительно отличаться друг от друга образом мыслей, характером, настроением, виртуозностью игроков, а соответственно этому различную окраску обретает и самый ход Игры.

В конце концов каждый историк волен относить начало и предысторию Игры в бисер к тому времени, к какому ему заблагорассудится. Подобно всем великим идеям, у Игры по сути нет начала, её идея жила вечно. Как идею, как некое предчувствие или желанный идеал мы находим прообраз Игры ещё в древности, например у

Пифагора[8], затем на закате античной культуры — в гностических кругах эллинизма[9], не реже у китайцев, ещё позднее — в периоды наивысших подъёмов духовной жизни арабско-мавританского мира, после чего следы её предыстории ведут через схоластику и гуманизм к математическим академиям семнадцатого и восемнадцатого столетий, вплоть до философов романтизма и рун из магических мечтаний Новалиса. В основе всякого движения духа к вожделенной цели — *universitas litterarum*,[10] в основе всякой платоновской академии[11], всякого общения интеллектуальной элиты, всякой попытки сблизить точные и гуманитарные науки, примирить науку и искусство или же науку и религию, мы видим одну и ту же вечную идею, которая обрела для нас конкретные

---

[8] Примечания: [8]

Греческий философ VI в. до н.э. привлекает к себе внимание Гессе как инициатор духовной традиции, фиксировавшей своё содержание в разработанной системе музыкально-математико-космологичсских символов (аналог Игры в бисер).

Во многом близкий к Гессе Томас Манн замечает о Пифагоре: «Число и соотношения чисел, как созидающий принцип бытия и нравственного достоинства — сколь поразительно и торжественно сливалось здесь прекрасное, точное, нравственное в идею авторитета…» (Т. Манн, Собр. соч., М. 1960, т. 5, стр. 123).

[9] Примечания: [9]

Гностические вероучение, распространённые к началу нашей эры в городах эллинизированного Ближнего Востока и являвшие собой соединение греческой философии и восточной мистики, были её времён работы над романом «Демиан», то есть с конца 10-х гг., предметом

живейшего интереса со стороны Гессе (ср. образ гностика-астролога в новелле «Исповедник», входящей в настоящую книгу).

В гностицизме Гессе привлекала попытка схватить целостность бытия в её извечной двуполярности, привести к противоречивому синтезу рациональное и иррациональное, идею порядка и её отрицание и т.п.

[10] Примечания: [10]

Содружество, целокупность наук (лат.).

[11] Примечания: [11]

Платоновская академия. — Слово «академия» исторически возникло в приложении к школе Платона, заседания которой происходили в роще Академа возле Афин. Эта школа, просуществовавшая около восьми веков, наряду с философией культивировала математические, астрономические и музыкальные штудии (по преданию, над её входом было написано: «Да не входит сюда никто, не учившийся геометрии»), а также аскетический образ жизни: созерцание порядка в отношениях чисел и движении звёзд должно было научить упорядоченности духа. Позднее «Платоновской Академией» именовался философский кружок, учреждённый в XV в. во Флоренции, и некоторые другие интеллектуальные сообщества.

черты в Игре в бисер. Такие выдающиеся умы, как Абеляр, Лейбниц, Гегель, очевидным образом лелеяли мечту о вмещении духовного универсума в концентрические системы, о слиянии живой красоты духовности и искусства с магией формул, с лаконизмом точных дисциплин. Когда музыка и математика почти одновременно переживали свой классический период, часто можно было видеть дружественное сближение и взаимное обогащение обеих сфер. А за два столетия до этого у Николая Кузанского[12] мы наталкиваемся на мысли, порождённые подобными же стремлениями: «Дух усваивает форму потенциальности, дабы всё измерить в статусе потенциальности, и форму абсолютной необходимости, дабы всё измерить в статусе единства и простоты, как это делает бог; и форму необходимости во взаимо-

[12] Примечания: [12]

Николай Кузанский (1401–1464) — теолог, философ и крупный учёный позднего средневековья. В центре его учения стоит диалектическая идея о тождестве противоположностей; это тождество осуществляется в боге, понятом как идея предельной общности, как «бесконечная сфера, центр коей повсюду, а поверхность — нигде». Под знаком этого абсолютного Тождества исчезает расколотость человечества на вероучения и исповедания: согласно Николаю Кузанскому, «все народы исповедуют единую веру под видом различных культов». Своё учение Николай охотно излагает при посредстве математических символов: так, бог для него есть одновременно бесконечный круг и бесконечный треугольник, что проясняется чертежами и выкладками; Отец, Сын и Дух Святой соотносятся как Единство, Равенство и Сопряжение и т.п.

связи, дабы всё измерить в его самобытности, и наконец усваивает форму детерминированной потенциальности, дабы всё измерить в отношении к его существованию. Однако дух измеряет и символически, через сравнение, как то: пользуясь числом, геометрическими фигурами и ссылаясь на них как на подобия». По нашему убеждению, не одна эта мысль Николая Кузанского перекликается с нашей Игрой в бисер, иначе говоря, соответствует близкому направлению фантазии и проистекает от него; у Кузанца можно найти много подобных созвучий. Его любовь к математике и его умение, даже страсть, при определении теолого-философских понятий прибегать к фигурам и аксиомам геометрии Эвклида как к поясняющим подобиям, кажутся нам весьма близкими умственному строю нашей Игры; порой и его особая латынь (вокабулы её нередко представляют собой его свободное изобретение, и тем не менее ни один латинист не затруднится схватить их смысл) напоминает вольную пластику языка Игры в бисер.

С не меньшим основанием к праотцам Игры следует причислить Альбертуса Секундуса, о чём свидетельствует хотя бы наш эпиграф. Мы полагаем также, хотя и не в состоянии подкре-

пить это цитатами, что идея Игры владела и теми учёными-композиторами шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого столетий, которые клали в основу своих композиций математические умозрения. В литературах прошлого нередко наталкиваешься на легенды о мудрых и волшебных играх, рождавшихся и живших в кругу учёных, монахов или же при дворе какого-нибудь просвещённого князя, например, особые шахматы, фигуры и поля которых, кроме обычных значений, имели ещё и другое, тайное. Общеизвестны также те сообщения, сказания и саги младенческой поры всех культур, в которых музыке приписывают, помимо её художественного воздействия, магическую власть над душами людей и народов и превращают её в тайную законодательницу или правительницу людей и их государств. Мысль об идеальной, небесной жизни людей под гегемонией музыки играла свою роль от древнего Китая до сказаний греков. С подобным культом музыки («и в пресуществлениях вечных напева тайная власть въяве нас окликает» — Новалис) самым тесным образом связана и Игра в бисер.

Однако, хотя мы и признаём идею Игры вечной и потому жившей и возвещавшей о себе задолго

до своего реального осуществления, всё же в известной нам форме она имеет свою определённую историю, о важнейших этапах которой мы и попытаемся теперь вкратце рассказать.

Идейное течение, в число последствий которого входят основание Ордена и Игра в бисер, берет своё начало в том историческом периоде, который со времён основополагающих трудов историка словесности Плиния Цигенхальса носит введённое последним обозначение **фельетонистическая эпоха**[1]. Подобные названия соблазнительны, однако и опасны; они толкают к несправедливой оценке миновавшего состояния жизни человечества и вынуждают нас оговориться: *фельетонистическая эпоха* отнюдь не была бездуховной или хотя бы бедной духом. И всё же, опять-таки согласно данным Цигенхальса, век этот не знал, что делать со своей духовностью, или, вернее, не знал, как определить подобающее духу место в структуре

[1] Примечания: [1]

Фельетонистическая эпоха. — Критика этой эпохи, охватывающей декаданс буржуазного мира в XIX–XX вв., составляет весьма важный элемент в многосложном целом книги Гессе. Следует, однако, помнить, что эта критика, носящая весьма серьёзный и выстраданный характер, всё же преподносится Гессе не от своего имени, но от лица некоего анонимного касталийца, составляющего жизнеописание Кнехта: отсюда чрезмерно уравновешенный тон всезнающего превосходства, естественный для далёкого потомка, заглядывающего во мрак веков.

жизни и государства. Признаться, мы плохо знаем эту эпоху, хотя именно на её почве возросло всё то, что ныне стало характерным для нашей духовной жизни. Согласно Цигенхальсу, эпоха эта была в высокой степени «бюргерской», заплатившей немалую дань далеко заходящему индивидуализму, и если мы, стремясь передать её атмосферу, всё же отваживаемся, прибегнув к Цигенхальсу, набросать некоторые её черты, то делаем это в уверенности, что они не фиктивны, не преувеличены и не искажены, ибо великий исследователь подтверждает их подлинность множеством литературных и иных документов. В оценке этой эпохи мы вполне сходимся с этим учёным, кстати, единственным, подвергшим *фельетонистическую эпоху* серьёзному изучению, и притом стремимся не забывать, что весьма легко, но и весьма неразумно морщить нос, натыкаясь на ошибки и заблуждения былых времён.

Начиная от исхода средневековья, духовная жизнь Европы обнаружила две основные тенденции: освобождение мысли и веры от власти любых авторитетов, иначе говоря, борьба осознавшего себя полноправным и суверенным рассудка против господства Римской церкви, и, с другой стороны, тайная, но настоятельная

потребность рассудка в узаконении этой его свободы, в новом, исходящем из него самого и адекватном ему авторитете. Обобщая, можно утверждать: в целом дух одержал верх в этой, иногда причудливо противоречивой, борьбе во имя двух принципиально противоположных целей. Стоила ли эта победа бесчисленных жертв, принесённых во имя её, достаточно ли совершенен нынешний порядок духовной жизни, долго ли он продержится, чтобы оправдать все страдания, судороги и аномалии — от процессов против еретиков и сжигания ведьм до впавших в безумство пли наложивших на себя руки «гениев», — заниматься подобным вопросом нам не дозволено. Прошлое прошло: было ли оно удачным или лучше бы его и вовсе не было, признаём ли мы за ним какой-то «смысл» или не признаём, — всё это в равной мере лишено значения. Отгремели и вышеупомянутые бои за «свободу» духа; полностью сбросив опеку церкви, а частично и государства, дух в конце фельетонистической эпохи обрёл неслыханную и для него самого невыносимую свободу, однако он так и не нашёл им самим сформулированного и уважаемого закона, нового авторитета, истинной легитимности так и не обрёл. Право, удивительны приводимые

Цигенхальсом примеры продажности, самоуничижения духа в те далёкие времена.

Однозначной дефиниции того продукта, по которому мы именуем всю эпоху, то есть «фельетона», мы, откровенно говоря, дать не в состоянии. Создаётся впечатление, что «фельетоны», как особо популярный вид публикаций в ежедневных газетах, изготовлялись миллионами и являли собой основную духовную пищу жаждущей образования публики, что они трактовали, или, лучше сказать, «болтали» о всевозможных предметах знаний и, как нам кажется, умнейшие из фельетонистов сами потешались над своей работой. Цигенхальс, например, признаётся, что в своих исследованиях наталкивался на такие труды, которые следует рассматривать как издёвку автора над собой, в противном случае они вообще не поддаются толкованию. Мы действительно склонны допустить мысль, что к этим изготовленным в массовом порядке статьям примешана большая доза иронии и самоиронии, для понимания которых ещё предстоит подобрать ключ. Производители подобной мишуры частью состояли в редакциях газет, частью были свободными художниками, порой их именовали даже поэтами: предположительно, многие из них

принадлежали к учёному сословию, нередко это были профессора высших учебных заведений со славным именем. Излюбленный материал подобных статей составляли анекдоты из жизни и переписки знаменитых людей обоего пола, и возможны были такие заголовки: «Фридрих Ницше и дамские моды в семидесятые годы девятнадцатого столетия», «Любимые блюда композитора Россини» или «Роль комнатных собачек в жизни знаменитых куртизанок» и т.д. и т.п. Большой любовью пользовались также псевдоисторические опусы на актуальные темы светских бесед, например: «Мечта об искусственном изготовлении золота и видоизменения её в ходе веков» или «Попытки химико-физического воздействия на погоду» и т.п. Просматривая приводимые Цигенхальсом заголовки таких разглагольствований, мы дивимся не столько тому, что находились люди, ежедневно глотавшие подобное чтиво, сколько тому, что авторы с именем, влиянием и недюжинным образованием помогали, как это тогда называлось, «обслуживать» неимоверный спрос на занимательный вздор; термин этот обозначал, между прочим, и тогдашнее отношение человека к машине. В некоторые периоды фельетонисты увлекались всевозможными интервью

с известными людьми на злободневные темы, чему Цигенхальс посвящает отдельную главу. Знаменитого химика или пианиста спрашивали, например, каково его мнение о тех или иных политических событиях; популярным актёрам, балеринам, спортсменам, лётчикам, а то и поэтам задавали вопрос о преимуществах и недостатках холостого образа жизни, о причинах финансовых кризисов и т.п. Единственно важным при этом полагалось сочетание громкого имени с актуальной темой: у Цигенхальса мы находим разительные тому примеры, он приводит их сотни. Как уже отмечалось, к подобным стараниям, вероятно, примешивалась добрая доля иронии, то была демоническая ирония, ирония отчаяния, нам трудно понять всё это; что же касается множества непосвящённых, которые в те времена были на редкость привержены к чтению, то они всё принимали за чистую монету. Если какая-нибудь знаменитая картина меняла владельца, если с молотка продавалась ценная рукопись, если сгорал старинный замок или отпрыск знатного рода оказывался замешанным в скандальной истории, во многих тысячах фельетонов читателю не только сообщались эти факты, но в этот же день или назавтра ему преподносили уйму анекдотического,

исторического, психологического, эротического и прочего материала на эту тему, каждое злободневное происшествие вызывало к жизни поток всевозможной писанины, причём манера преподнесения этих материалов всецело несла печать наспех и безответственно изготовленного массового товара. Далее, нам представляется, что к сфере фельетонизма следует причислить и некоторые игры, к которым приглашались и без того перенасыщенные познавательным материалом читатели, о чём свидетельствует пространный экскурс Цигенхальса об удивительном феномене — «кроссвордах». Многие тысячи тяжело трудившихся и нелегко живших в ту пору людей в часы досуга, оказывается, сидели, склонившись над квадратами и крестами, и заполняли их, соответственно правилам игры, определёнными буквами. Поостережёмся, однако, смотреть на это как на смехотворную и сумасбродную затею, воздержимся и от насмешек. Людей, игравших в эти детские игры-загадки, читавших эти фельетоны, ни в коем случае нельзя назвать наивными детьми или охочими до всяких забав феакийцами, отнюдь нет. Они жили в вечном страхе среди политических, экономических и моральных потрясений, вокруг них всё кипело, они вынес-

ли несколько чудовищных войн, в том числе и гражданских, и игры их никоим образом не были весёлым, бессмысленным ребячеством, но отвечали глубокой потребности: закрыть глаза, убежать от нерешённых проблем и ужасающих предчувствий гибели в возможно более безобидный мир видимости. Они прилежно учились управлять автомобилем, играть в замысловатые карточные игры и мечтательно отдавались разгадке кроссвордов, ибо перед лицом смерти, страха, боли, голода они были почти вовсе беспомощны, церковь не дарила им утешение и дух — советов. Люди, читавшие столько фельетонов, слушавшие столько докладов, не изыскивали времени и сил для того, чтобы преодолеть страх, побороть боязнь смерти, они жили судорожно, они не верили в будущее.

Читались тогда и публичные лекции, мы обязаны коротко остановиться и на этой несколько более благородной разновидности фельетонизма. Как специалисты, так и интеллектуальные проходимцы всех мастей предлагали бюргерам тех времён, по-прежнему приверженным к потерявшему свой былой смысл понятию «образование», помимо статей, ещё и бесчисленные публичные лекции: не только в виде отдельных речей по

случаю того или иного торжества, а в массовом порядке, наперебой конкурируя друг с другом. В городе средних размеров каждый бюргер или его супруга имели тогда возможность раз в неделю прослушать какой-нибудь доклад, в крупных же городах такая возможность выпадала чуть ли не ежедневно; докладчики распространялись перед слушателями о какой-нибудь теории, разглагольствовали о художественных произведениях, поэтах, учёных, исследователях, кругосветных путешествиях, и присутствующие оставались при этом совершенно пассивными, в то время как предполагалось, что они имеют какое-то отношение к содержанию докладываемого или, по крайней мере, знакомы с темой, готовы к восприятию её, хотя в большинстве случаев это было не так. Читались тогда занимательные, темпераментные или остроумные лекции, например о Гёте, — как он голубом фраке выскакивал из дилижанса и соблазнял страсбургских или вецларских девиц; или лекции об арабской культуре, в которых ряд модных интеллектуальных словечек перемешивался наподобие игральных костей, и всякий был беспредельно рад, узнав хотя бы одно из них. Люди ходили на лекции о поэтах, произведения которых они никогда не

читали, да и не собирались читать, смотрели при этом диапозитивы и так же, как при чтении фельетонов, продирались через груды лишённых всякого смысла обрывков знаний и научных ценностей. Короче говоря, человечество находилось тогда на пороге того чудовищного обесценивания слова, которое, сперва в очень узком кругу и в полной тайне, породило противоборствующее — героико-аскетическое течение, вскоре мощно выявившееся как начало новой духовной самодисциплины и духовного достоинства.

Зыбкость и фальшь духовной жизни того времени, отмеченной в некотором смысле даже величием и энергией, мы, нынешние жители, рассматриваем как симптомы ужаса, охватившего дух, который на закате эпохи мнимого процветания и мнимых побед внезапно оказался перед пустотой, перед тяжкой материальной нуждой, перед полосой политических и военных бурь и перед стремительно растущим недоверием к самому себе, к своей силе и достоинству, наконец к собственному существованию. Но в этот час отчаяния и ужаса мы наблюдаем и весьма импозантные взлёты духа, например, рождение науки о музыке, благодарными наследниками которой мы являемся. Однако, как ни легко разложить по

полочкам любые отрезки прошлого, настоящее не способно определить себе место, а посему именно тогда среди интеллектуалов стали распространяться ужасающая неуверенность и апатия, стремительно упали до весьма скромного уровня духовные потребности и достижения. Люди, видите ли, сделали открытие (со времени Ницше кое-кто уже догадывался об этом), что молодость и творческий период нашей культуры остались позади, что пришла старость, сумерки; это почувствовали все, и многие даже весьма резко сформулировали, а затем этим же стали объяснять многочисленные и столь пугающие знамения времени: мертвящую механизацию жизни, глубокое падение морали, безверие народов, неподлинность искусства. Как в одной причудливой китайской сказке, повсюду вокруг звучала «музыка гибели», подобно басовому регистру органа; она лилась и замирала многие десятилетия, просачиваясь в школы, журналы, академии, вдруг поражённые распадом, вызывая у мало-мальски серьёзных художников, критиков своего времени, меланхолию или душевные заболевания, а порой и захлёстывая всё и вся кругом неистовым и дилетантским перепроизводством во всех искусствах. По отношению к этому раз

возникшему и отныне неистребимому врагу люди вели себя по-разному. Некоторые лучшие умы молча признавали горькую правду и стоически несли её бремя. Кое-кто искал спасения во лжи, тем более что литературные провозвестники учения о закате культуры давали оппонентам немало удобных поводов для критики. Тот, кто поднимался на борьбу против этих грозящих пророков, обретал слушателей и влияние среди бюргеров, ибо утверждение, будто культура, которую ещё вчера причисляли к своему достоянию и которой так гордились, вдруг перестала существовать, будто столь милые сердцу бюргера образование и искусство превратились в поддельное образование и в поддельное искусство, — казалось не менее наглым и невыносимым, чем волны инфляции или угроза капиталам со стороны революций. В предчувствии заката была возможна и циническая позиция: люди отправлялись танцевать и объявляли всякую заботу о будущем старомодной глупостью. В прочувствованных фельетонах журналисты возвещали близкий конец искусства, науки, языка, со сладострастием самоубийц провозглашали инфляцию понятий и полную деградацию духа в ими же сфабрикованном бумажном мире фельетона и

с притворно циническим равнодушием или же в экстазе вакхантов созерцали, как не только искусство, дух, этика, честность, но и Европа, и «весь мир» идут к закату[13]. Среди лучших людей воцарился молчаливо-мрачный, среди худших — злорадствующий пессимизм, и прежде чем культура вновь обрела способность к реальной самооценке, прежде чем она нашла своё истинное место, должно было быть снесено всё отжившее, выработана новая мораль, перекроен весь мир, но к этому пришли лишь после долгой политической борьбы и войн.

Надо сказать, что сама культура в эти переходные десятилетия не спала летаргическим сном: в период своего упадка и мнимого самоотрицания, приписываемого ей художниками, профессорами, фельетонистами, она породила в сердцах отдельных людей особую бдительность и подвергала себя тщательному самоконтролю. Даже в пору расцвета фельетонизма то тут, то там встречались отдельные группы, исполненные решимости хранить верность духу и сделать всё от них зависящее, дабы в целости и сохранно-

[13] Примечания: [13]

Явный намёк на книгу культур-философа О. Шпенглера (1880–1936) «Закат Европы», мрачные прогнозы которой были одной из важных интеллектуальных сенсаций начала 20-х годов XX века.

сти пронести через это лихолетье зерно доброй традиции, дисциплины, методики интеллектуальной честности. Пытаясь понять эти процессы уже в наше время, мы приходим к выводу, что процесс самоиспытания, самопознания и сознательного сопротивления упадку протекал в основном в двух группах. Совесть учёных толкала их к исследованиям и к методам обучения, которые были известны и применялись в истории музыки, ведь именно эта наука бурно расцветала тогда, и два прославившиеся семинара в пору расцвета фельетонизма разработали отменный и безупречный со всех точек зрения рабочий метод. И как если бы судьба желала вознаградить усилия малочисленной, но мужественной когорты, среди безвременья произошло всем известное отрадное чудо, по сути своей случайность, но подействовавшее как божественное знамение: были обнаружены одиннадцать рукописей Иоганна Себастьяна Баха, некогда принадлежавшие его сыну Фридеману! Вторым центром сопротивления упадку было Братство паломников в страну Востока, сочлены которого заботились не столько о культивировании интеллекта, сколько о культивировании души, о воспитании благоговения и благочестия — отсюда наша современная

форма духовности и Игра в бисер восприняли важные импульсы, особенно это касается приёмов контемпляции — созерцания. В развитие новых взглядов на самую суть нашей культуры и возможности её дальнейшего существования паломники в страну Востока тоже внесли свою лепту, впрочем, не столько благодаря своим успехам в аналитической науке, сколько благодаря своей способности, развитой старинными тайными приёмами, магически входить в минувшие эпохи и состояния духа. Встречались среди них, например, музыканты и певцы, которые, по уверениям источников, обладали даром исполнять музыкальные пьесы ранних эпох, например, сочинения композиторов 1600 или 1650 годов, так, будто они вовсе не знали утончённых и виртуозных приёмов, вошедших в моду в более поздние века. А это ведь было чем-то неслыханным для тех времён, когда среди музыкантов царила мания динамики и экспрессии и когда за дирижёрской техникой и «концепцией» чуть ли не забывали о самом произведении. Рассказывают, что когда оркестр паломников в страну Востока впервые публично исполнил сюиту догенделевских времён без характерного крещендо и декрещендо, с наивностью и целомудрием,

свойственным иным временам и другому миру, — слушатели или вообще ничего не поняли, или же, насторожившись, решили, что впервые в своей жизни услышали музыку. А один сочлен Братства построил в знаменитом зале заседаний паломников — между Бремгартеном и Морбио[14] — баховский орган, совершенно такой же, какой создал бы себе сам Иоганн Себастьян Бах, будь у него на то средства и возможности. В соответствии с господствовавшими в Братстве обычаями этот искусник сохранил своё имя в тайне, назвавшись Зильберманом по своему предшественнику из восемнадцатого столетия.

Мы подошли к истокам, из которых родилось наше нынешнее понимание культуры. Одним из них, причём важнейшим, были самые молодые науки — история музыки и музыкальная

---

[14] Примечания: [14]

Очередной заговорщический намёк одновременно на реалии приватной жизни писателя и на детали повести «Паломничество в страну Востока».

Бремгартен — замок в Щвейцарии, владелец которого Макс Вассмер был другом Гессе и гостеприимным хозяином, умевшим собирать вокруг себя близких по духу людей; Гессе обессмертил эти сборища в «Паломничестве в страну Востока», сообщив им сказочно преображённый облик.

Морбио Инфериоре — реально существующее глубокое ущелье между швейцарскими озёрами Комо и Лугано; Гессе сделал его сценой, где разыгрываются драматические события, приводящие к мнимому крушению Братства паломников в страну Востока.

эстетика, вторым — вскоре воспоследовавший подъём математики, к этому прибавилась капля священного елея, воспринятого из преданий паломников в страну Востока, и затем, в теснейшей связи с новым пониманием и осмыслением музыки, некое мужество в подходе к вопросу об одряхлении культур, столь же бодрое, сколь и отмеченное резиньяцией.

Нет нужды пускаться здесь в обстоятельные рассуждения об этом; упомянутые материи известны каждому. Главным итогом новой позиции или, вернее сказать, нового подчинения ритму культурного процесса был далеко заходящий отказ от создания новых произведений искусства, постепенный отход служителей культуры от мирской предприимчивости и, что не менее важной как бы венчает всё, — рождение Игры в бисер, или Игры стеклянных бус.

Безусловно, на само возникновение Игры огромное влияние оказали большие успехи науки о музыке, достигнутые ею вскоре после 1900 года, то есть ещё в самый расцвет фельетона. Мы, преемники этой науки, полагаем себя лучшими знатоками великих творческих эпох, особенно музыки семнадцатого и восемнадцатого столетий, в некотором смысле мы даже лучше её

понимаем, чем понимали её во все прежние времена, включая и эпоху самой классической музыки. Разумеется, у нас, потомков, сложилось совсем иное отношение к классической музыке, чем у представителей творческих эпох; наше одухотворённое и не всегда в достаточной мере свободное от резиньирующей меланхолии почитание подлинной музыки есть нечто совсем иное, нежели наивно-радостное музицирование тех веков, порой вызывающее нашу зависть, когда музыка заставляла на время позабыть об условиях и судьбах, под знаком которых она возникла. Ведь мы уже на протяжении многих поколений усматриваем великое и непреходящее достижение той эпохи, которая лежит между концом средневековья и нашими днями, не в философии или в поэзии, как то делал ещё почти весь двадцатый век, но в математике и в музыке. С тех пор как мы в основном отказались от соревнования на ниве творчества с мастерами прежних эпох, с тех пор как мы отказались от культа и приоритета гармонии и чувственной динамики в музицировании, которые царили среди музыкантов-исполнителей примерно два столетия, начиная от Бетховена и первых шагов романтики, — с тех пор мы убеждены,

что чище и благороднее — разумеется, на наш манер, в нашем нетворческом, эпигонском, но благоговейном духе! — понимаем и толкуем ту культуру, наследниками которой являемся. Нам, лишённым расточительной творческой энергии тех времён, трудно постигнуть, каким образом в пятнадцатом и шестнадцатом веках на протяжении столь долгого времени сохранились в такой непорочной чистоте музыкальные стили, почему в огромном потоке сочиняемой тогда музыки, как нам представляется, вообще нельзя найти ничего дурного и почему даже восемнадцатое столетие, столетие начавшейся деградации, породило ещё целый фейерверк стилей и школ, правда быстротечных в своём сиянии и самонадеянных. Однако мы верим, что в музыке, ныне называемой классической, мы постигли тайну, дух, добродетель и благочестие тех поколений и восприняли их как пример. Так мы придерживаемся невысокого мнения о теологии и церковной культуре восемнадцатого столетия или о философии Просвещения, но усматриваем в кантатах, «Страстях» и прелюдиях Баха предельную сублимацию христианской культуры.

Между прочим, для характеристики отношения нашей культуры к музыке, мы могли бы

сослаться на весьма древний и почтенный пример. Игра в бисер отдаёт ему дань уважения. Мы припоминаем, что у китайцев, в сказочной стране «древних императоров», в государстве и при дворе музыке была отведена ведущая роль, благоденствие музыки считалось равнозначным благоденствию всей культуры и этики, даже всего царства, и капельмейстерам вменялось в обязанность строго следить за соблюдением и чистотой «древних тональностей». Упадок музыки рассматривался как верный признак упадка правления и всего государства. Поэты рассказывали страшные сказки о дьявольских, отторгнутых небом запретных тональностях, например о тональности Цинь Шаня и Цин Цзы, о музыке гибели, ибо стоило ей, греховной, зазвучать, как над императорским двором сгущались тучи, содрогались и рушились стены, государь и вся империя гибли. Не будем утруждать читателя перечислением высказываний древних авторов, приведём лишь несколько отрывков из главы о музыке книги Ли Бу-вей «Весна и осень»:

«Истоки музыки лежат далеко. Она рождается из меры, и корни её в великом Едином. Великое Единое рождает два полюса: они рождают силу тёмного и силу светлого.

Когда на земле мир, когда все вещи в состоянии покоя и все в своих превращениях следует своему Верховному началу, музыка может быть завершённой. Если страсти не толкают на неверный путь, она достигает совершенства. Совершенная музыка имеет свои истоки. Она возникает из равновесия. Равновесие рождается из справедливости, а справедливость рождается из смысла вселенной. Поэтому о музыке можно говорить только с человеком, постигшим смысл вселенной.

Музыка зиждется на гармонии неба и земли, на соразмерности тёмного и светлого.

Государства, находящиеся в состоянии упадка, и люди, созревшие для гибели, тоже имеют свою музыку, но музыка их не бывает ясной. Потому: чем неистовее музыка, тем меланхоличнее люди, тем большая опасность нависла над государством, тем ниже опускается государь. Так утрачивается суть музыки.

Все священные государи ценили в музыке её ясность. Тираны Гиэ и Чжоу Спи увлекались неистовой музыкой. Сильные звуки ласкали их слух, а воздействие этих звуков на массы они полагали интересным. Они стремились к новым, странным звукосочетаниям, к звукам, которых

никто никогда ещё не слышал; они пытались превзойти один другого и утратили меру и цель.

Причиной упадка государства Чжоу было изобретение волшебной музыки. Подобная музыка и впрямь опьяняет, на самом же деле она удалилась от сути музыки. А так как она удалилась от самой сути собственно музыки, то эта музыка не радостна. Когда музыка не радостна, народ ропщет, и жизни наносится урон. Всё это возникает оттого, что неверно толкуют самоё суть музыки и наивысшим полагают неистовые звукосочетания.

Поэтому музыка благоустроенной эпохи спокойна и радостна, а правление — уравновешенно. Музыка смутного времени беспокойна, мрачна, его правление противоестественно. Музыка государства, пришедшего в упадок, сентиментальна и уныла, правление его под угрозой».

Итак, слова этого китайца довольно определённо указывают на давно забытый смысл всякой музыки. Подобно танцу и любому другому искусству, музыка в доисторические времена была волшебным средством, одним из старых и основных атрибутов магии. Начиная с ритма (хлопанье в ладоши, притоптывание, удары деревяшек, первобытное искусство барабанного боя), она служила могучим и испытанным

средством «настройки» многих на один лад, сообщая сердцам и дыханию единый ритм, наделяя людей готовностью к призыванию и заклятию вечных сил, к танцу, к состязанию, к походу, к священнодействию. И эту изначальную, чистую и первозданную природу, природу волшебства, музыка сохранила гораздо дольше, чем все другие искусства, достаточно вспомнить многочисленные высказывания историков и поэтов о музыке, начиная от греков и кончая Гёте в его «Новелле». Практически ни марши, ни танец никогда не теряли своего значения… Однако пора вернуться к нашей основной теме!

О начатках Игры в бисер мы расскажем очень кратко и только самое примечательное. Как нам представляется, она возникла одновременно в Германии и Англии, и в обеих странах в виде упражнений для членов узкого круга музыковедов и музыкантов, занимавшихся в новых семинарах по теории музыки. Сравнивать первоначальное состояние Игры с более поздним и нынешним — то же самое, что нотную рукопись 1500 года (с её примитивными нотными знаками, где даже отсутствуют разделяющие такт чёрточки) сравнивать с партитурой восемнадцатого и даже девятнадцатого веков с множеством

сложных обозначений динамики, темпа, фразировки и так далее, так что печатанье подобных партитур зачастую превращалось в сложную техническую проблему.

На первых порах Игра была не более, нежели хитроумным упражнением памяти и комбинирующей способности, бывшим в ходу среди студентов и музыкантов; играли в неё, как уже сказано, и в Германии, и в Англии, ещё до того, как в Кёльнской высшей музыкальной школе она была «изобретена» и получила своё имя, которое носит и поныне, хотя давно уже не имеет ничего общего со стеклянными бусинами — с бисером. Стеклянные бусинки использовал изобретатель игры Бастиан Перро из Кальва[15], несколько чудаковатый, однако умный, общительный и любящий людей музыковед, который заменил буквы, цифры, ноты и другие графические знаки стеклянными шариками-бусинками. Перро, кстати, написавший трактат «Расцвет и упадок контрапункта», застал в кёльнском семинаре

---

[15] Примечания: [15]

Бастиан Перро — имя ремесленника из *Кальва* (родины Гессе), в учениках которого состоял подростком будущий писатель. Характерно, что опыт ремесленной ручной работы был осмыслен Гессе как духовный опыт, благодаря чему скромная фигура швабского мастера оказалась вознесённой в его фантазии на интеллектуальные вершины Игры в бисер.

довольно детально разработанный метод Игры: один из участников её возглашал в сокращённых формулах своей дисциплины любую тему или начало мотива классической композиции, а партнёр, или тот, к кому он обращался, должен был либо продолжить пьесу, либо, что почиталось за лучшее, ответить в более высокой или более низкой тональности, а то и контрастирующей антитемой. Такие или подобные им упражнения памяти и способности к импровизации (если и не закреплённые в формулах, то применявшиеся на практике: при игре на клавесине, лютне, флейте и даже в пении) имели, возможно, хождение среди тех, кто вдумчиво изучал музыку и контрапункт во времена Шютца, Пахельбеля и Баха. Бастиан Перро, большой любитель всевозможных ремёсел, своими руками построивший несколько роялей и клавикордов по чертежам старых мастеров, скорей всего тоже был одним из паломников в страну Востока, о нём рассказывают, будто он умел играть на скрипке изогнутым смычком с ручной регуляцией натяжения волоса в старинной, забытой после 1800 года, манере. Перро, взяв за образец наивные детские счёты, соорудил рамку, натянул на неё несколько дюжин проволочек, а на них нанизал стеклянные

бусины различной величины, формы и цвета. Проволочки соответствовали нотным линейкам, бусины — значениям нот, и Перро таким образом строил из стеклянных шариков целые музыкальные фразы, развивал им самим сочинённые темы, изменял, транспонировал их, преобразовывал и противопоставлял им другие.

В подобной технике сначала усматривали лишь забаву, но ученикам она пришлась по вкусу, очень скоро ей стали подражать, она вошла в моду, в том числе и в Англии. Некоторое время эта музыкальная игра-упражнение практиковалась в таком мило-забавном виде. Впоследствии, как оно часто бывает, нововведение, которому суждено было прожить долгую жизнь и сыграть весьма значительную роль, получило своё название по давно забытому пустяку. И поныне то, во что превратилась игра членов семинара и нанизанный на проволоку примитивный бисер Перро, носит ставшее уже народным и общеизвестным наименование — Игра в бисер, или Игра стеклянных бус.

Не прошло и двух или трёх десятилетий, как Игра утратила свою популярность среди студентов, изучавших музыку, но тем большую приобрела среди математиков; на протяжении

длительного периода характерной чертой истории Игры было как раз то, что её перенимали и развивали предпочтительно те науки, или наука, которые переживали свой расцвет или своё возрождение. У математиков Игра приобрела чрезвычайно большую гибкость и утончённость и даже какое-то подобие осознания самой себя и своих возможностей, — процесс, протекавший параллельно общему развитию культурного самосознания, которое к тому времени преодолело великий кризис и, как пишет Плиний Цигенхальс, «со скромной гордостью приняло свой удел — принадлежать поздней культуре, как, например, принято говорить о поздней античности, веке александрийского эллинизма».

Таковы слова Цигенхальса. Мы же попытаемся теперь закончить беглый обзор истории Игры. Перейдя из музыкальных семинаров в математические (переход этот совершился во Франции и Англии, пожалуй, даже раньше, чем в Германии), Игра была уже настолько развита, что при помощи особых знаков и аббревиатур могла выражать математические процессы; мастера, развивая эти знаки, передавали друг другу абстрактные формулы, сообщали эволюционные ряды и варианты развития своих дисциплин. Эта

математико-астрономическая игра в формулы требовала большого внимания и предельной сосредоточенности; среди тогдашних математиков репутация хорошего мастера Игры ставилась весьма высоко и была тождественна репутации отличного математика.

Почти все науки в разные периоды перенимали Игру и подражали ей, то есть приспосабливали её к своему предмету знаний, что особо засвидетельствовано для областей классической филологии и логики. Аналитический разбор музыкальных значений привёл к тому, что музыкальные фразы удалось выразить в физических и математических формулах. Несколько позднее и филология стала прибегать к подобному методу, обозначая языковые образования особыми формулами, как физика обозначает процессы, происходящие в природе; затем этот же метод подхватила эстетика изобразительных искусств, где архитектуру и математику давно уже связывали подобные узы. Полученные таким образом абстрактные выражения позволяли вскрывать всё новые и новые взаимосвязи, аналогии и соответствия. Приспосабливая для себя Игру в бисер, каждая наука создавала свой язык Игры, состоящий из формул, аббревиатур и всевозможных комбинаций того

и другого. Элита интеллектуальной молодёжи облюбовала Игры с рядами и диалогами формул. Игра была не только отдыхом и упражнением — она рождала концентрированное ощущение дисциплины духа; особенно математики отличались аскетической и спортивной виртуозностью и строгостью формы в Игре, находя в ней истинное наслаждение, что в немалой степени помогло им тогда уже отказаться от мирских радостей и стремлений. Таким образом, Игра стеклянных бус имела большое значение для полного и окончательного преодоления фельетонизма, а также для пробуждения той новой радости чётких и виртуозных упражнений интеллекта, которой мы обязаны возникновением новой дисциплины духа прямо-таки монашеской строгости. Мир преобразился. Духовную жизнь века фельетона можно сравнить с выродившимся растением, растратившим все свои соки на гипертрофированные наросты, последующие же попытки исправить положение — со срезанием растения до самого корня. Молодые люди, намеревавшиеся посвятить себя интеллектуальным занятиям, понимали теперь под этим не стремление поскорее нахватать обрывки знаний в высшем учебном заведении, где именитые и весьма ве-

леречивые, но лишённые какого бы то ни было авторитета профессора преподносили им остатки того, что некогда называлось высшим образованием; теперь учиться им приходилось столь же упорно, пожалуй, ещё упорней и с ещё большей методичностью, чем некогда инженерам в политехнических учебных заведениях. Теперь им предстояло подниматься по крутой тропе знаний, они должны были очистить и отточить свои мыслительные способности при помощи математики и схоластических упражнений по Аристотелю, сверх того должны были научиться полному отречению от всех благ, столь заманчивых для целого ряда поколений учёных, как то: от быстрого и лёгкого добывания денег, от славы и общественных почестей, от похвалы газет, от браков с дочерьми банкиров и фабрикантов, от материальных благ, изнеженности и роскоши. Поэты, издающиеся огромными тиражами, обладатели Нобелевских премий и загородных вилл, знаменитые врачи, увешанные орденами и пользующиеся услугами ливрейных лакеев, члены академий с богатыми жёнами и блестящими салонами, химики, состоящие членами наблюдательных советов промышленных предприятий, философы — владельцы фельетонных

фабрик, читавшие зажигательные доклады в переполненных аудиториях, срывавшие аплодисменты и принимавшие букеты, — все эти фигуры исчезли и доныне не возвращались. Необходимо признать, что и теперь встречается немало одарённых молодых людей, которые завидуют вышеперечисленным, однако путь к общественному признанию, почёту, славе и комфорту ведёт теперь не через аудитории, семинары и докторские диссертации: низко павшие интеллектуальные профессии обанкротились тогда в глазах всего мира, но зато вновь обрели безоговорочно-аскетическую преданность духу. Тем талантам, что стремились к блеску и поклонению, пришлось отвернуться от постылой и неблагодарной духовности и посвятить себя другим видам деятельности, где их уделом стало добывание денег и благополучия.

Подробный рассказ о том, каким образом дух, после своего очищения, утвердился и в государстве, завёл бы нас чересчур далеко. Опыт показал, что достаточно было немногим поколениям проявить беспринципность и расхлябанность в духовной сфере, как это сразу нанесло чувствительный урон практике, всё реже и реже стали встречаться подлинное мастерство и созна-

ние ответственности среди интеллектуальных профессий, в том числе и технических, так что пестование духа в государстве и среди народа, и прежде всего всю систему образования, пришлось постепенно монополизировать интеллектуальной элите. Недаром и ныне почти во всех странах Европы образование, коль скоро оно не осталось под опекой Римской церкви, перешло в руки тех анонимных орденов, члены которых рекрутируются из этой элиты. И как бы порой ни претили общественному мнению строгость и пресловутое высокомерие этой касты, как бы отдельные лица ни ополчались против неё — руководство её непоколебимо, и держится оно не только благодаря своей целостности, отказу от всех благ и прерогатив, кроме духовных, но и благодаря давно уже ставшему всеобщим пониманию: столь строгая школа неизбежна и необходима для самого существования цивилизации. Теперь уже все знают, во всяком случае догадываются: если мысль утратила свою чистоту и остроту, если духу не воздаётся должное, то вскоре и автомобиль не тронется с места, и корабль собьётся с курса, лишатся своего авторитета как счётная линейка инженера, так и банки или биржи, наступит хаос. Однако прошло немало времени, прежде

чем пробило себе дорогу убеждение в необходимости и для внешней стороны цивилизации, для техники, промышленности, торговли — единой основы в виде интеллектуальной нравственности и честности.

В то время Игре стеклянных бус недоставало одного: универсальности, способности парить над факультетами. Астрономы, эллинисты, латинисты, схоласты, консерваторцы играли в свои духовно упорядоченные игры, но каждый факультет, каждая дисциплина и её ответвления имели свой язык Игры и свою систему правил. Понадобилось не менее полувека, прежде чем был сделан первый шаг к преодолению столь узких рамок. Причины подобной медлительности были скорее морального порядка, чем формального и технического: средства для преодоления таких барьеров нашлись бы, но строгая этика вновь утвердившейся интеллектуальности порождала пуританский страх перед allotria[16], перед смешением дисциплин и категорий, глубокий и вполне оправданный страх перед возвратом к греху верхоглядства и фельетонизма.

---

[16] Примечания: [16]

Побочные, не относящиеся к делу занятия, пустячки (греч.).

Allotria — термин, вошедший в лексикон гуманистической образованности для обозначения дилетантизма.

То был поистине подвиг, подвиг одного человека, чуть ли не сразу же приведший Игру в бисер к осознанию своих возможностей, а вместе и на порог универсальности. И на сей раз Игра оказалась обязанной подобным успехом своей связи с музыкой. Один швейцарский музыковед и притом страстный любитель математики придал Игре совершенно новый поворот, открыв для неё возможность наивысшего расцвета. Гражданское имя этого великого человека уже невозможно установить — в его время культ великих людей в сфере духа давно уже был преодолён, в историю же швейцарец вошёл под именем *Lusor* (или: *Joculator*) *Basiliensis*.[17] Изобретение его, как и всякое изобретение, безусловно, было его личным достижением и благодатью, однако возникло оно отнюдь не из приватных побуждений и потребностей, оно родилось благодаря воздействию куда более сильных импульсов. В его времена среди людей духа повсюду жила настоятельная потребность в средствах выражения для новых смыслов: тосковали по философии, по синтезу, почитавшаяся доселе за счастье полная сосредоточенность на своей дисциплине пере-

[17] Примечания: [17]
Мастер Игры (или: Жонглёр) из Базеля (лат.).

стала удовлетворять, то один, то другой учёный прорывал цеховые рамки и пытался выйти к общезначимому. Распространялась мечта о новом алфавите, о новом знаковом языке, который позволил бы закреплять и сообщать другим новый интеллектуальный опыт. Особенно ярким свидетельством этого представляется нам труд одного парижского учёного, вышедший в те годы под заголовком «Увещание из Китая». Автор этого сочинения, при жизни многими почитавшийся за некоего Дон-Кихота, впрочем видный учёный в своей области — китайской филологии, указывает, какие опасности навлекают на себя наука и духовная культура при всей их стойкости, если они отказываются от разработки международного языка знаков, — языка, который, подобно китайским иероглифам, позволил бы, не изгоняя личную фантазию и изобретательность, графически изображать самое сложное содержание и вместе с тем был бы доступен пониманию учёных всего мира. Важнейший шаг к удовлетворению этого требования и совершил Joculator Basiliensis. Он разработал для Игры стеклянных бус основы нового языка знаков и формул, в котором в равной мере уделялось внимание математике и музыке и который позволял сочетать астроно-

мические и музыкальные символы, приводя, так сказать, математику и музыку к единому знаменателю. И хотя процесс развития этим отнюдь не завершился, однако основание для всего того, что произошло позднее в истории дорогой нашему сердцу Игры, заложил уже тогда базельский аноним.

С тех пор Игра, служившая некогда специфическим развлечением то математиков, то филологов, то музыкантов, стала подчинять своей власти всех истинных служителей духа. Именно тогда немало старинных академий, орденских организаций и особенно древнейшее Братство паломников в страну Востока обратились к Игре. Несколько католических орденов усмотрели в ней новое духовное веяние и пленились ею; здесь прежде всего следует назвать некоторые бенедиктинские аббатства, которые уделяли Игре в бисер столько внимания, что уже тогда, как зачастую и впоследствии, встал вопрос: надлежит ли Церкви и Курии терпеть, поощрять или запретить Игру.

После подвига, совершённого базельцем, Игра очень скоро обрела свою полную силу и достигла того, чем она является ныне: средоточием

духовного и мусического[18], высоким культом, мистическим единением всех разобщённых членов *universitas litterarum*. В наши дни она переняла частью роль искусства, частью роль спекулятивной философии, и характерно, что во времена Плиния Цигенхальса её нередко обозначали выражением, происходящим ещё из словесности *фельетонистической эпохи* и для этой эпохи знаменовавшей заветную цель не одного чуткого к будущему ума, а именно «магический театр».

Хотя Игра стеклянных бус технически и тематически бесконечно разрослась и, с точки зрения требований, предъявляемых к играющим, превратилась в высокое искусство и строгую науку, при жизни великого базельца ей всё же недоставало весьма существенного. Каждая партия была тогда неким нанизыванием, противопоставлением и группировкой сконцентрированных представлений из многих областей интеллектуального и эстетического, быстрым извлечением из памяти надвременных ценностей и форм, виртуозным и быстротечным полётом через царство духа. Лишь существенно позже из ду-

---

[18] Примечания: [18]
Мусический (греч. musikos) — принадлежащий музам.

ховного инвентаря воспитательной традиции, и в особенности из обычаев и преданий паломников в страну Востока, в Игру было привнесено понятие контемпляции. Всеми было признано нежелательным положение, при котором фокусники-мнемотехники, не обладавшие никакими другими достоинствами, виртуозно разыгрывали блистательные партии, поражая и сбивая других участников быстротой бесконечных перечислений. Со временем подобная виртуозность была подвергнута строгому запрету, а созерцание стало одним из важнейших условий Игры; более того, для слушателей и зрителей Игры созерцание превратилось в нечто основное. Это был поворот к религиозному. Теперь задача заключалась не только в том, чтобы чисто интеллектуальным образом следить за последовательностью идей и всей духовной мозаикой Игры с гибкой внимательностью и натренированной цепкостью памяти, но возникло и требование более глубокой и более душевной самоотдачи. Содержание, происхождение, смысл каждого знака, объявленного руководителем Игры, должны были подвергаться длительному и строгому осмыслению, что побуждало каждого играющего интенсивно и органически его воспринимать. Технические

навыки процесса созерцания члены Ордена и игровых братств выносили из школ элиты, где искусству контемпляции и медитации обучали с великим тщанием. Это, вероятно, и спасло иероглифы Игры от опасности превращения в простые буквы.

Кстати, до той поры Игра в бисер, несмотря на свою распространённость, оставалась для учёных приватным упражнением. Играли в одиночку, вдвоём, группами, хотя особенно глубокомысленные, удачно скомпонованные Игры фиксировались, становясь затем известными в других городах и даже странах, где ими порой восхищались, а порой и критиковали. И только теперь, причём весьма медленно, Игра обогатилась новой функцией — она стала общественным празднеством. Однако и ныне каждый волен играть в неё частным порядком, чем особенно увлекается молодёжь. Всё же, слыша сейчас слова «Игра в бисер», «Игра стеклянных бус», прежде всего представляют себе торжественные публичные Игры. Во всём мире они проводятся под руководством опытнейших мастеров, возглавляемых в каждой стране своим Магистром Игры, при благоговейном молчании приглашённых и напряжённом внимании слушателей; некоторые

из таких Игр длятся несколько дней или недель и в продолжение всего торжества играющие и слушатели живут по строгим предписаниям, простирающимся даже на время сна, аскетической и отрешённой жизнью абсолютного самоуглубления, похожей на ту строго упорядоченную подвижническую жизнь, какую ведут исполнители духовных упражнений святого Игнатия.

Нам остаётся мало что добавить. Под сменяющейся гегемонией различных наук и искусств Игра игр развилась до некоего универсального языка, посредством которого оказывается возможным выражать ценности духа в осмысленных знаках и сопрягать их между собой. Во все времена Игра была тесно связана с музыкой и в большинстве случаев велась она по музыкальным и по математическим правилам. При этом назывались одна, две, три темы, затем их разыгрывали, варьировали, развивая подобно теме фуги или музыкальной фразе концерта. Игра могла, например, отправляться от определённой астрономической конфигурации или от темы баховской фуги, от фразы Лейбница или Упанишад, далее же, в зависимости от намерения и способностей играющего, вызванная к жизни главная мысль могла развиваться и шириться

или обогащаться в своей выразительности через отзвуки родственных ей представлений. Если начинающему удавалось, например, в знаках Игры установить параллели между классической музыкой и формулой физического закона, то у искушённого мастера Игра, начиная с исходной темы, развивалась свободно в безграничных комбинациях. Большой любовью у одной из школ Игры долгое время пользовались сопоставления, противопоставления и, наконец, гармонические сочетания враждебных друг другу тем или идей, например, закона и свободы, индивидуума и общности, причём особое внимание уделялось тому, чтобы обе эти темы или оба тезиса развивались на абсолютно равных правах, беспристрастно, и из тезиса и антитезиса в наивозможно чистом виде был бы выведен синтез. Вообще говоря, если не считать гениальных исключений, Игры, оканчивающиеся негативным или пессимистическим, дисгармоничным аккордом, не пользовались любовью; по временам на них налагался даже запрет, что диктовалось смыслом, какой приобрела Игра на гребне славы для своих приверженцев. Она означала изысканную, символически многозначительную форму исканий совершенства, высокую алхимию, приближение к единому в

себе и превыше всех образов и множеств духу, стало быть — к богу. Как благочестивые мыслители более ранних времён представляли жизнь сотворённой вселенной в устремлении к богу и видели множественность мира явлений завершённой и до конца продуманной лишь внутри божественного единства, так строились, музицировали и любомудрствовали фигуры и формулы Игры стеклянных бус на вселенском языке, вскормленном всеми науками и искусствами, в танце устремляясь к Совершенству, к чистому Бытию, к глубокой, полной Действительности. Среди мастеров было в ходу словечко «реализовать», и действия свои они рассматривали как путь от становления к бытию, от возможного к действительному. Да будет нам позволено в этом месте ещё раз напомнить вышеприведённое высказывание Николая Кузанского.

Кстати говоря, понятия христианской теологии, постольку, поскольку они были классически сформулированы и тем самым представлялись общим культурным достоянием, естественным образом вошли в язык Игры; в него с одинаковой лёгкостью включались как основные понятия веры, библейское речение, высказывание святого или латинская цитата из мессы, так и геометри-

ческая аксиома или же мелодия Моцарта. Мы не впадём в преувеличение, если осмелимся заявить: для узкого круга истинных мастеров Игра была почти равнозначна богослужению, хотя от создания собственной теологии она уклонялась.

В борьбе за своё существование посреди враждебных мирских сил Игра в бисер и Римская церковь слишком явно оказывались союзниками, чтобы можно было допустить их столкновение, хотя поводов для этого имелось более чем достаточно. Ибо и там и здесь интеллектуальная честность и нелицемерное стремление к чёткой односмысленной формулировке толкали к разладу. Но он так и не произошёл. Рим то благоволил Игре, то порицал её и тем довольствовался; мало того, в конгрегациях и среди высшего духовенства самые светлые головы были прикосновенны к Игре. Да и сама Игра, с тех пор как Игры стали открытыми и был назначен *Magister Ludi*, находилась под покровительством Ордена и Воспитательной Коллегии, а тот и другой по отношению к Риму всегда являли собой воплощение рыцарской вежливости. Папа Пий XV, который в бытность свою кардиналом прослыл опытным и прилежным мастером Игры, став папой, не только, подобно своим предшественникам, навсегда

распростился с Игрой, но и попытался вступить с нею в борьбу; дело едва не дошло до запрета католикам участвовать в Играх. Но папа умер прежде, чем было вынесено окончательное решение, и одна известная биография этого незаурядного человека рисует его отношение к Игре как глубокую страсть, которую он, уже будучи папой, надеялся подавить в себе, сделавшись её врагом.

Характер общественного института Игра, — в которую прежде свободно играли одиночки или товарищества и которая задолго до того уже пользовалась благоволительным содействием Воспитательной Коллегии, — приобрела сперва во Франции и Англии, а затем, довольно скоро, и в других странах. Тогда-то в каждой стране были созданы Комиссии Игры в бисер и назначены верховные руководители со званием Магистра, а официальные Игры, проходившие под личным руководством Магистра, были возведены в ранг духовного празднества. Разумеется, Магистр, как и все высокие и высшие функционеры интеллектуальных сфер, сохранял анонимность; за исключением нескольких приближённых лиц, никто не знал его гражданского имени. Радио и другие международные средства связи использовались лишь во время официальных

крупных Игр, за которые отвечал сам *Magister Ludi*. Помимо руководства публичными Играми, в обязанности Магистра входило попечение о мастерах и школах Игры и, главное, строжайший надзор за развитием самой Игры. Только всемирная Комиссия Магистров решала вопрос (ныне это уже редко встречающийся случай), принять или не принять новые знаки или формулы в состав языка Игры, расширить ли список правил, желательно или нежелательно включить в неё новые области знаний. Если рассматривать Игру как некий всемирный язык интеллектуалов, то игровые Комиссии отдельных стран под руководством своих Магистров являют собой в совокупности подобие академии, которая наблюдает за составом, развитием и чистотой этого международного языка. В каждой стране имеется Архив Игры, то есть списки всех доселе проверенных и допущенных символов и кодов, число которых давно уже превзошло число старинных китайских иероглифов. Как правило, достаточной подготовкой для мастера Игры считается выпускной экзамен высшей школы, особенно школы элиты, однако — так оно было раньше, так молчаливо предполагается и теперь — необходимы также и более чем средние успехи в одной из

ведущих отраслей наук или же в музыке.

Почти каждый из пятнадцатилетних учеников школы элиты мечтает когда-нибудь стать членом Комиссии Игры или даже Магистром Игры. Но уже среди докторантов лишь ничтожная часть тешит себя честолюбивой мечтой активно служить Игре и её дальнейшему развитию. Зато все эти приверженцы Игры прилежно упражняются в теории, в медитации, а во время «больших Игр» составляют тот тесный круг благоговейных и преданных Игре участников, которые и придают публичным Играм торжественный характер, предохраняя их от превращения в некое декоративное действо. Для этих подлинных знатоков и ценителей Игры *Magister Ludi* — некий государь или первосвященник, чуть ли не божество.

Но для каждого самостоятельного мастера и тем паче для Магистра Игра стеклянных бус есть прежде всего музицирование, примерно в духе тех слов, которые сказал однажды Йозеф Кнехт относительно сущности классической музыки:

«Мы почитаем классическую музыку за некий экстракт и средоточие нашей культуры, ибо она есть наиболее отчётливый и характерный жест последней. В этой музыке мы видим наследство античности и христианства, дух светлого и му-

жественного благочестия, непревзойдённую рыцарскую этику. Ведь в конце концов каждое классическое самовыражение культуры есть свидетельство определённой этики, есть доведённый до пластической выразительности прообраз человеческого поведения. Между 1500 и 1800 годами сочинялась всякая музыка, стили и средства её были весьма различны, однако дух или, вернее, этическое содержание её было одним и тем же. Позиция человека, нашедшая своё выражение в классической музыке, повсюду одна и та же, она основана на одном и том же виде познания жизни, стремится к одному и тому же виду превосходства над случайным. Основные черты классической музыки: знание о трагизме человеческого бытия, приятие человеческого удела, мужество и ясность! Будь то грация менуэта Генделя или Куперена, или сублимированная до нежного жеста чувственность, как у многих итальянцев или у Моцарта, или тихая, сосредоточенная готовность к смерти, как у Баха, — это неизменно некое противление, некая неустрашимость, некое рыцарство, и во всём этом отзвук сверхчеловеческого смеха, бессмертной ясности. Да прозвучит это и в наших играх, во всей нашей жизни, во всём, что мы творим и претерпеваем».

Слова эти были записаны одним из учеников Кнехта. Ими мы и завершаем наш опыт об Игре в бисер.

Призвание

О происхождении Йозефа Кнехта нам ничего не удалось узнать. Подобно многим другим ученикам элитарных школ, он или рано осиротел, или же был изъят из неблагоприятной среды и усыновлён Воспитательной Коллегией. Как бы то ни было, судьба избавила Кнехта от конфликта между семьёй и школой, тяжким бременем ложащегося на юношеские плечи высокоодарённых молодых людей, затрудняя им вступление в Орден, а порой и наделяя упрямым и своеобычным характером. Кнехт был одним из счастливцев, словно рождённых и предопределённых для Касталии, для Ордена, для службы в Воспитательной Коллегии, и хотя он и сталкивался со сложными проблемами духовной жизни, трагедию, которую суждено пережить всем посвящённым, он пережил без надрыва. Впрочем, не трагедия эта сама по себе соблазнила нас посвятить личности Йозефа Кнехта столь обстоятельные изыскания, но скорей — та тихая, просветлённая, лучащаяся ясность, с какой он творил свою судьбу, осуществлял свой дар, своё назначение. Как и у всякого выдающегося человека, был и

у него свой daimonion[19], свой amor fati, однако его amor fati предстаёт свободным от мрачности и фанатизма. Разумеется, не дано заглянуть в сокровенное, и мы не должны забывать: даже самый беспристрастный, предельно объективный летописец — всегда поэт, а история, изложенная на бумаге, — всегда поэзия, её третье измерение есть вымысел. Мы ведь совершенно не знаем, радостно или мучительно жилось, если взять самые прославленные примеры, — Иоганну Себастьяну Баху или Вольфгангу Амадею Моцарту. Моцарт являет нам необычайно трогательное, поражающее до глубины души обаяние рано созревшего гения, Бах же — воспитующе утешительное приятие страданий и смерти как отеческой воли бога. Но ведь всё это мы усматриваем не из их биографий или переданных нам современниками фактов их личной жизни, но единственно из их произведений, из их музыки. Более того, к тому Баху, чья биография нам известна и чей образ мы составили себе по его музыке, мы непроизвольно

[19] Примечания: [19]

Демон, гений — хранитель (греч.). В такой форме слово ассоциируется с рассказами Платона и Ксенофонта о Сократе, который признавался, что часто и притом в самых важных случаях действует по иррациональному, подсознательному побуждению, в котором сам философ и его ученики усматривали голос персонифицированной личной судьбы человека, его «демона».

прилагаем и его посмертную судьбу: в нашем воображении он как бы ещё при жизни знал и молча улыбался тому, что сразу после смерти все его творения будут забыты, его рукописи погибнут как макулатура, что вместо него один из его сыновей станет «великим Бахом» и стяжает успех, что после своего возрождения его музыка окажется объектом варварских недоразумений *фельетонистической эпохи,* и так далее. Равным образом склонны мы приписывать или примышлять Моцарту ещё при жизни и в средоточии его столь щедрого и здорового творчества некоторое знание о своей укрытости в руке смерти, некое предвосхищение своей обречённости. Там, где историк располагает произведениями искусства и научными трудами, он не может иначе, — он рассматривает их слитно с жизнью их создателя, как неразрывные части некоего живого единства. Так мы поступаем с Моцартом или Бахом, так мы поступаем и с Кнехтом, хотя он принадлежит нашей, в сущности своей нетворческой эпохе и не оставил после себя «творений» наподобие тех великих Мастеров.

Предпринимая попытку описать жизнь Йозефа Кнехта, мы неизбежно даём и опыт её истолкования, и если мы, как летописцы, глубоко

сожалеем, что о последних годах его нет никаких достоверных сведений, то именно легендарность заключительного периода его жизни и придала нам мужество для нашего начинания. Мы перенимаем эту легенду и внутренне с ней согласны, представляет ли она благочестивый вымысел или нет. Так же, как мы ничего не знаем о рождении и генеалогии Кнехта, ничего не известно нам и о его конце. Но у нас нет ни малейших оснований предполагать, что конец этот был случайным. Жизнь Йозефа Кнехта, в той мере, в какой она нам известна, представляется отчётливо построенной последовательностью поднимающихся ступеней, и если в наших домыслах о его конце мы добровольно присоединяемся к легенде и благоговейно её принимаем, то делаем это потому, что поведанное легендой являет собой завершающую ступень его жизни, строго соответствующую предыдущим. Мы признаём даже, что уход этой жизни в легенду кажется нам органичным и закономерным, подобно тому как у нас не вызывает сомнений существование «зашедшего», исчезнувшего из глаз светила. В том мире, в каком мы, автор и читатель, живём, Йозеф Кнехт достиг и свершил наивысшее: как *Magister Ludi,* он был вождём и образцом для адептов и поклон-

ников духовной культуры, он образцово хранил и приумножал воспринятое духовное наследие как первосвященник того храма, который свят для каждого из нас. Но он не только возвысился до уровня Магистра, поднялся до пространств на вершине нашей иерархии, — он их превзошёл и перерос в том измерении, о котором мы можем лишь благоговейно догадываться, и именно потому нам кажется вполне подобающим и соответствующим всей его жизни выход его биографии за рамки обычных измерений и в конце своём превращение её в легенду. Мы склоняемся перед чудом подобного факта, радуемся ему и не намерены углубляться в истолкование его. Но в той мере, в какой жизнь Кнехта есть история, а она такова до совершенно определённого дня, мы её как таковую и будем рассматривать, прилагая старания к точной передаче предания таким, каким оно нам представилось во время наших розысков.

О детстве Йозефа Кнехта, то есть о годах до поступления в школу элиты, нам известно только одно событие, однако важное, имеющее символическое значение, ибо оно свидетельствует о первом зове духа, о первом акте его призвания, и характерно, что первой призвала его не наука, а

музыка. Как почти всеми воспоминаниями о личной жизни Кнехта, мы обязаны и этим одному из его учеников по классу Игры в бисер, преданному его почитателю, записавшему много речений и рассказов своего великого учителя.

В ту пору Кнехту было двенадцать или тринадцать лет, и он был учеником классической гимназии в городке Берольфинген, что у отрогов Цабервальда, где он, по всей вероятности, родился. Хотя мальчик уже длительное время числился стипендиатом, и коллегия учителей, особенно учитель музыки, два или три раза рекомендовали его высшей инстанции для перевода в школу элиты, сам он ничего не знал об этом и ни с кем из элиты, не говоря уже о Магистрах Воспитательной Коллегии, не встречался. И вдруг учитель музыки (Йозеф брал тогда уроки игры на скрипке и лютне) сообщает ему, что в ближайшие дни в Берольфинген, на предмет инспекции музыкальных занятий, в гимназию прибудет Магистр музыки, и пусть он, Йозеф, прилежно упражняется, чтобы не поставить себя и своего учителя в неприятное положение. Новость эта глубоко взволновала мальчика, ибо он, разумеется, хорошо знал, кто такой Магистр музыки, знал, что тот не просто приходит из

высших сфер Воспитательной Коллегии, как инспекторы, дважды в год посещавшие гимназию, нет, Магистр один из двенадцати полубогов, из двенадцати руководителей этой самой достопочтимой Коллегии и высшая инстанция во всех музыкальных вопросах для всей страны. Итак, *Magister musicae*, собственной персоной, посетит Берольфинген! Во всём мире для Йозефа существовал только один человек, быть может, ещё более таинственный и непостижимый, — Магистр Игры. Перед ожидаемым Магистром музыки Йозеф заранее трепетал от неимоверного благоговения, он представлял себе его то неким королём, то неким волшебником, то как бы одним из двенадцати апостолов или великих мастеров классических времён, наподобие Михаэля Преториуса, Клаудио Монтеверди, И.И. Фробергера или Иоганна Себастьяна Баха, и он столь же глубоко радовался, сколь страшился той минуты, когда наконец глазам явится это светило. Что один из полубогов и архангелов, один из таинственных и всемогущих правителей духовного мира во плоти явится им здесь в городке и школе, что он, Йозеф, сам увидит его, что Магистр, быть может, заговорит с ним, станет экзаменовать, пожурит или похвалит — всё это было чем-то огромным

и важным, подобным чуду и необыкновенному небесному явлению, да и учителя говорили, что впервые за много десятилетий *Magister musicae* посещал Берольфинген и его гимназию. Мальчику рисовалась одна картина чудесней другой и прежде всего пышное торжество, встреча, какую он видел однажды при вступлении в должность нового бургомистра: с духовым оркестром и знамёнами, может быть, даже фейерверком. Товарищи Кнехта тоже представляли себе приезд Магистра не иначе. Правда, радость Йозефа несколько омрачалась при мысли, как бы он сам не оказался в чересчур опасной близости к этому великому человеку и не опозорился перед таким знатоком своими ответами, своей игрой. Однако страх этот был не только мучителен, он был и сладок, ибо в глубине души, даже самому себе не признаваясь, он считал ожидаемый Праздник со всеми знамёнами и фейерверком далеко не столь прекрасным, волнующим, важным и вопреки всему не столь удивительно радостным, сколь то обстоятельство, что он, маленький Йозеф Кнехт, увидит этого человека совсем вблизи, так что Магистр приедет в Берольфинген немножко и ради него, Йозефа. Ведь он приедет проверять преподавание музыки, а учитель музыки явно считает

возможным, что экзаменовать будут и Кнехта.

Но скорей всего… ах, нет! по всей вероятности, до этого дело не дойдёт, да и не может дойти, у Магистра есть заботы поважнее, чем выслушивать пиликание мальчишки, он отправится в старшие классы, там ученики играют куда лучше. С такими мыслями Кнехт ожидал обетованного дня, и день этот в конце концов настал и сразу же принёс разочарование: на улицах не играли оркестры, на домах не было ни знамён, ни венков, нужно было, как в любой другой день, собирать учебники и тетради и отправляться на привычный урок, даже в классе он не увидел никаких признаков торжества. Всё было как обычно.

Урок начался, на учителе был его обычный повседневный сюртук, и он ни единым словом не упомянул о прибытии почётного гостя.

Но на втором или третьем уроке всё же это случилось: раздался стук в дверь, вошёл служитель, поздоровался с учителем и сообщил, что ученику Йозефу Кнехту надлежит, вымыв предварительно руки и вычистив ногти, через четверть часа явиться к преподавателю музыки. Побледнев от волнения, Кнехт неверными шагами покинул класс, вбежал в интернат, сложил учебники, умылся, причесался, дрожащими руками схва-

тил футляр со скрипкой и тетрадь с нотами и, не в силах проглотить комок в горле, зашагал к флигелю, где помещались музыкальные классы. На лестнице к нему подбежал кто-то из одноклассников и, волнуясь, проговорил: «Вот тут тебе велели ждать, пока не вызовут», — и указал на музыкальный класс.

Прошло не так много времени, но для Йозефа это была целая вечность, пока не пришло избавление. Никто его так и не вызвал, просто в класс вошёл незнакомый человек, совсем старый, как ему сперва показалось, невысокого роста, седой, с прекрасным просветлённым лицом и проницательно глядевшими голубыми глазами, взгляда которых можно было бы испугаться, однако он был не только проницательным, но также и ясным, весёлым — не смеющейся и улыбчивой, а тихо лучащейся весёлостью. Старик подал мальчику руку, кивнул, задумчиво опустился на табурет перед старым школьным клавиром и сказал:

— Тебя зовут Йозеф Кнехт? Учитель тобою доволен, мне кажется, он неплохо к тебе относится. Садись, давай немного помузицируем вместе.

Кнехт ещё до этого вынул скрипку из футляра, старик взял ноту «ля», мальчик настроил ин-

струмент, затем робко вопрошающе взглянул на Магистра.

— Что бы тебе хотелось сыграть? — спросил тот.

Но ученик не в силах был ответить, его переполняло благоговение к старику, никогда ещё не видел он такого человека. Он нерешительно взял ноты и протянул их Магистру.

— Не надо,– сказал Магистр,– мне хотелось бы, чтобы ты сыграл что-нибудь наизусть, не упражнение, а что-нибудь очень простое, что ты знаешь наизусть, может быть, песню, которая тебе нравится.

Йозеф смешался, это лицо, эти глаза заворожили его, он не мог говорить, он очень стыдился своего замешательства, но не мог вымолвить ни слова. Магистр не торопил. Одним пальцем он проиграл начало какой-то мелодии и взглянул на ученика, тот кивнул и тут же радостно заиграл эту мелодию — старинную песню, которую они часто пели в школе.

— Ещё раз! — сказал Магистр, Кнехт повторил мелодию, а старец сыграл на фортепиано второй голос. На два голоса звучала теперь в пустом классе старая песня. — Ещё раз!

Кнехт повторил первый голос, а Магистр сыграл

сразу и второй, и третий. На три голоса звучала в классе прекрасная старая песня.

— Ещё раз! — И Магистр сыграл сразу три голоса. — Прекрасная песня, — тихо произнёс он. — А теперь сыграй ещё раз в альте.

Кнехт послушно заиграл. Магистр задал ему первую ноту и теперь играл все три дополнительных голоса сразу. Вновь и вновь старик повторял: «Ещё раз!», и с каждым разом слова эти звучали веселей. Кнехт играл мелодию в теноре, под аккомпанемент двух или трёх противопоставленных голосов. Так они несколько раз проиграли старинную песню; в пояснениях теперь уже не было нужды, — с каждым новым повтором песня как бы сама собой обогащалась украшениями и расцвечивалась. Маленькая пустая комната, освещённая весёлым утренним солнцем, празднично звучала в ответ.

Немного спустя старик вдруг оборвал игру, спросив:

— Может быть, хватит?

Кнехт покачал головой и сразу же вновь заиграл, к нему тут же присоединились светлые звуки трёх голосов, и четыре голоса протянули свои тонкие, ясные линии, перекликались друг с другом, поддерживали друг друга, взаимно

пересекались и описывали друг возле друга весёлые дуги и фигуры, а мальчик и старик, забыв обо всём на свете, отдавались этим прекрасным, сроднившимся линиям и фигурам, возникавшим из переплетений, отдавались в плен этих невидимых тенёт, музицировали, тихо раскачиваясь, словно повинуясь незримому капельмейстеру. Так продолжалось, покуда Магистр, закончив мелодию, не повернул головы и не спросил:

— Понравилось тебе, Йозеф?

Глаза мальчика сияли благодарностью, — не только глаза, он весь сиял, но ни слова произнести не мог. Магистр спросил:

— Может быть, ты уже знаешь, что такое фуга?

Кнехт поднял брови. Он не раз слышал фуга, но на уроках они их ещё не разбирали.

— Хорошо, — сказал Магистр. — Тогда я сыграю тебе фугу. Но лучше всего ты поймёшь, что это такое, если мы с тобой сами сочиним фугу. Итак, для фуги прежде всего необходима тема, но тему мы не будем придумывать, мы просто возьмём её из нашей песни.

Он сыграл несколько нот, отрывок мелодии, прозвучавший очень странно, какой-то обрубок без головы и хвоста. Потом сыграл тему ещё раз и дальше, вот уже послышалось первое вступ-

ление, второе совершило переход из квинты в кварту, третье повторило первое на октаву выше, четвёртое повторило второе и разрешилось в тональности доминанты. Вторая разработка свободно модулировала в другие тональности, третья, с тяготением в субдоминанту, завершилась переходом в основной тон. Мальчик смотрел на умные белые пальцы, видел, как на сосредоточенном лице тихо отражалось течение музыки, пока глаза покоились под полуопущенными веками. Сердце мальчика буйно колотилось от восхищения, от любви к Магистру, его слух впитывал фугу, и ему казалось, что он впервые слушает музыку; он угадывал за возникающим сочетанием звуков дарующую счастье гармонию закона и свободы, служения и власти, он вверял себя и приносил клятву верности этому Магистру, он видел в те минуты, как он сам и его жизнь, как весь мир ведом, упорядочен и осмыслен духом музыки, и когда игра обрела конец, он смотрел, как его кумир, его волшебник и король, ещё несколько мгновений слегка склонялся над клавишами, с полуприкрытыми глазами и тихо светящимся изнутри лицом, и мальчик не знал, ликовать ли ему от блаженства этих мгновений или горько плакать оттого, что они уже минова-

ли. Затем старик медленно поднялся с табурета, проницательно и вместе несказанно ласково взглянул на него своими весёлыми голубыми глазами и проговорил:

— Нигде люди так быстро не делаются друзьями, как музицируя. Это чудесно. Надеюсь, что мы останемся друзьями, ты и я. Может статься, ты и сам научишься сочинять фуги, Йозеф.

С этими словами старец протянул ему руку и направился к выходу, но в дверях обернулся, приветствуя Йозефа на прощанье ещё раз взглядом и лёгким учтивым наклоном головы.

Многие годы спустя Кнехт рассказывал одному из своих учеников: когда он вышел из флигеля, то увидел город и мир куда более преображёнными и зачарованными, чем если бы их украсили знамёна, венки, гирлянды и фейерверк. Кнехт только что пережил акт своего призвания, которое с полным правом можно назвать таинством: он лицезрел раскрывшийся ему мир духовного, до этого известный только с чужих слов или по страстным мечтаниям. Этот мир не только существовал где-то вдали, в прошлом или будущем, нет, он был рядом и действовал, излучал свет, посылал своих вестников, апостолов, посланцев, таких, как этот старый Магистр, впрочем, казав-

шийся теперь Йозефу не таким уже старым. И именно этот мир прислал одного из своих досточтимых вестников, дабы окликнуть и призвать его, маленького гимназиста! Таково было значение этой встречи, и прошли недели, прежде чем Йозеф осознал и убедился, что магическому событию, свершившемуся в тот священный час его призвания, соответствовало определённое событие и в реальном мире, что призвание его было не только благодатью и зовом в душе и совести его, но также даром и зовом к нему земных сил.

Ведь долго не могло оставаться в тайне, что визит Магистра музыки был не случайностью и не обычной инспекцией. Уже несколько лет имя Кнехта, на основании сообщений его учителей, значилось в списках учеников, признанных достойными включения в элиту или, во всяком случае, рекомендованных к тому Верховной Коллегией. Поскольку же Кнехта хвалили не только за успехи в латыни и добрый нрав, но особенно его рекомендовал и хвалил учитель музыки. Магистр не преминул воспользоваться служебной поездкой и на несколько часов заехал в Берольфинген, чтобы самому взглянуть на рекомендованного ученика. При этом для него не столь важны были успехи в латыни или

беглость пальцев (тут он целиком полагался на отметки учителей, на уроках которых он всё же побывал), сколько убеждение в том, что мальчик действительно обладает даром музыканта в высшем смысле этого слова, даром вдохновения, даром подчинения высшему, даром смирения и службы культу. Вообще говоря, учителя, с полным к тому основанием, вовсе не были щедры на рекомендации учеников для элиты, но всё же случалось, что они отдавали предпочтение какому-нибудь гимназисту, руководясь недобросовестными побуждениями. Нередко кто-нибудь из преподавателей по недостатку проницательности упорно рекомендовал своего любимца, у которого, кроме прилежания, честолюбия и умения приноравливаться, ничего не было за душой. Таких Магистр решительно не выносил и очень быстро, каким-то особым чутьём, угадывал, сознаёт ли испытуемый, что сейчас решается его судьба и будущность; и горе тому кандидату, который выступал чересчур уж спокойно, самонадеянно и умно, или, ещё того хуже, начинал заискивать — таких Магистр отвергал ещё до начала испытаний.

Ученик Кнехт понравился старому Магистру, даже весьма понравился, он с удовольствием

вспоминал о нём и тогда, когда он давно уже покинул Берольфинген; записей или отметок он никаких в своей тетради не сделал, но запомнил искреннего и скромного мальчугана и сразу по прибытии собственноручно занёс его в список, куда вносились ученики, проэкзаменованные одним из членов Верховной Коллегии и признанные достойными.

Об этом списке — гимназисты называли его «Золотой книгой», но иногда проскальзывало и презрительное «Каталог честолюбцев» — Йозефу приходилось слышать в гимназии и всякий раз на иной лад. Когда список упоминал учитель, хотя бы только для того, чтобы упрекнуть ученика: такому, мол, нечего и думать о занесении в «Золотую книгу», тогда в голосе его слышались торжественные нотки, что-то весьма уважительное, но было при этом и какое-то важничание. Но когда, случалось, сами ученики заговаривали о «Каталоге честолюбцев», то делали они это развязно, с несколько преувеличенным безразличием. А однажды Йозеф из уст одного юнца услышал и следующее: «Чего там, плевал я на этот идиотский список! Настоящему парню туда не попасть, это я уж точно говорю. Учителя заносят в него только зубрилок да подхалимов».

Странное настало время для Йозефа Кнехта после чудесной встречи с Магистром. Сначала он ничего не знал о том, что отныне он причислен к *electi*,[20] к *flos juventutis*,[21] как в Ордене именовали учеников элитарных школ. Он и не думал ни о каких практических результатах и ощутимых последствиях той встречи, которые отразились бы на его судьбе, на его повседневной жизни, и в то время как для учителей он был избранным, как бы уже уходящим, сам он отнёсся к акту своего призвания как к чему-то происшедшему только в глубине его души. Но и так это был резкий перелом в его жизни. Если в час, проведённый с волшебником, и свершилось или приблизилось нечто, что сердце его уже предчувствовало, то всё же именно этот час отделял вчерашнее от сегодняшнего, прошлое от настоящего и грядущего. И это было похоже на то, как пробудившийся, даже проснувшись среди обстановки, увиденной им во сне, всё же не усомнится, что видит её наяву. Есть много различных форм, в каких нам открывается призвание, но ядро и смысл этого события всегда одни и те же: это пробуждение души, преобра-

[20] Примечания: [20]
Избранные (лат.).

[21] Примечания: [21]
Цвет юношества (лат.).

жение или пресуществление её; вместо снов и предчувствий, идущих изнутри, вдруг возникает и вторгается призыв извне, частица действительности. Перед Йозефом действительность предстала в образе Магистра. Известный ему доселе лишь как далёкий и глубоко почитаемый полубог, как архангел с верховных эмпиреев, он явился вдруг во плоти, смотрел на него всеведущими голубыми глазами, сидел на табуретке перед школьным клавиром, музицировал с ним, удивительно музицировал, почти без слов показал, что есть собственно музыка, благословил его и исчез. Но как будет дальше, об этом Кнехт не мог и думать, он всё ещё был весь во власти непосредственного внутреннего отклика на это событие, поглотившего его целиком. Подобно молодому растению, безмолвно и робко развивающемуся, но вдруг начинающему полнее дышать и буйно расти, как будто в час свершившегося чуда ему открылся закон собственного образа и отныне оно устремляет все свои силы на исполнение этого закона, — подобно этому и Йозеф, едва рука волшебника прикоснулась к нему, быстро и стремительно начал набирать силы, напряг их, сразу ощутив себя изменившимся, буйно растущим, живо воспринимая новые гармонии

и новые диссонансы с внешним миром. В иные часы, на уроках музыки, латыни, математики, он мог решать задачи, до которых его сверстникам было ещё далеко, мнил себя способным свершить необычайное, и в то же время в другие часы забывал всё на свете, с какой-то неведомой ранее нежностью и самоотдачей погружался в мечты, слушал дождь и ветер, не отрываясь смотрел на бегущие воды реки или разглядывал цветок, ничего не понимая, всё угадывая, охваченный любопытством, волей к пониманию, влекомый от собственного «я» — к ближнему, к миру, к тайне и таинству, к мучительно прекрасной игре явлений.

Так, родившись внутри и разрастаясь до встречи и взаимного подтверждения внутреннего и внешнего, свершилось призвание Кнехта в кристально чистом виде. Он прошёл все его ступени, вкусил всё его счастье, изведал все его страхи. Благородный процесс не был нарушен нескромными вторжениями, преждевременными открытиями, — то была предыстория, юность всякого подлинно благородного ума; в гармоничном согласии трудились и росли навстречу друг другу — то, что было внутри, и то, что должно было прийти извне. Когда же в конце этого процесса Кнехт

осознал своё положение и свою внешнюю судьбу, когда учителя стали обращаться с ним, как с равным, даже как с почётным гостем, который с минуты на минуту должен уйти, а сверстники стали смотреть на него полудивясь, полузавидуя, когда кое-кто уже начал избегать его, относиться с подозрением, а некоторые противники с издёвкой, даже с ненавистью, когда друзья стали всё дальше отдаляться и покидать его, — тогда в душе его такой же процесс отрыва и уединения давно уже завершился. Теперь учителя всё более и более превращались в товарищей, прежние друзья — в спутников, отставших на каком-то отрезке пути, теперь он ни в школе, ни в городке уже не находил себе равных, чувствовал себя не на месте, ибо всё было пронизано каким-то скрытым умиранием, флюидом уже миновавшего, нереального. Всё стало чем-то преходящим, похожим на изношенное платье, из которого он уже давно вырос. И это вырастание из такой гармоничной и любимой родины, отход от ставшей чужой и несозвучной ему формы жизни, эта прерываемая часами наивысшего блаженства, пьянящим чувством собственного достоинства жизнь человека, уже прощающегося, уже отозванного, в конце концов превратилась для него в муку, в невыно-

симый гнёт и страдания, ибо всё уже покинуло его. А вдруг это он сам покинул всё? Вдруг он сам виновен в этом отчуждении, в умирании такого привычного и милого его сердцу мира, виновны его честолюбие, высокомерие, его измена, малая любовь его. Ведь среди мук, что приносит с собой подлинное призвание, — эти наигорчайшие. Тот, кто приемлет его, приемлет не только дар, не только приказ, но и некоторую долю вины, как это бывает с солдатом, которого вызвали из строя, где он стоял рядом с другими, и назначили офицером, и такое назначение тем справедливее, чем большим чувством вины, даже нечистой совести он расплачивается за это перед товарищами.

Впрочем, на долю Кнехта выпало счастье пережить этот процесс без всяких помех и в полном неведении: когда педагогический совет сообщил ему об отличии и скором его переводе в школу элиты, то в первое мгновение он был поражён, но уже в следующее эта новость, обрушившаяся на него столь неожиданно, представилась ему как нечто давно известное и ожидаемое. Только тогда он вспомнил, что уже несколько недель ему как насмешку бросали вслед: «electus» или «элитный мальчик». Он, правда, слышал эти слова, но больше краем уха, и воспринимал их

именно только как насмешку. Не «избранником» хотели его назвать, а как бы кричали: «Эй ты, что в высокомерии воображаешь, что ты electus!» Порой он тяжко страдал от подобных взрывов чувства отчуждения между собой и своими товарищами, сам же на себя никогда не смотрел как на «избранника», в своём призвании он не видел повышения в ранге, для него оно прозвучало как внутренний оклик и ободрение. И всё же, несмотря ни на что, разве он не знал этого прежде, не предчувствовал, не ощущал тысячу раз? И вот оно созрело, его восторги подтверждены и узаконены, муки его не были напрасны, невыносимо тесное старое платье можно наконец сбросить, для него уже готово новое.

С принятием в элиту жизнь Кнехта оказалась как бы пересаженной в другую сферу, первый решающий шаг в его развитии был сделан. Отнюдь не у всех учеников элиты официальный перевод совпадает с внутренним ощущением призвания. Подобное совпадение — благо, или, говоря банально, счастливый случай. Жизнь того, с кем это происходит, имеет определённое преимущество, как жизнь тех людей, которые благодаря счастливому случаю наделены особыми телесными или душевными качествами. Правда, большинство

учеников элиты, даже почти все, воспринимают своё избрание как великое счастье, как некое отличие, которым они гордятся, многие из них задолго до этого горячо жаждали его. И всё же переход из обычной, родной школы в школы Касталии большинство избранных переживает куда тяжелей, чем они сами ожидали, он приносит с собой не одно разочарование. Для тех учеников, детство которых протекало счастливо и которые в семье были окружены любовью, переход этот подобен тяжёлой разлуке, некоему отречению, что влечёт за собой, особенно в первые два года, возвращение немалого числа учеников в обычную школу. И происходит это вовсе не из-за недостатка таланта или прилежания, а из-за невозможности примириться с жизнью в интернате, и главное, с мыслью о том, что в будущем предстоит порывать одну связь за другой: с родиной, с семьёй, и что в конце концов он не будет знать уже никаких уз, кроме уз Ордена. Есть и другой тип учеников — эти, напротив, избавление от родительского дома и от опостылевшей школы рассматривают как главную цель перехода: уйдя из-под надзора строгого отца и ненавистного учителя, они вздыхают свободно, однако ждут от этой перемены столь больших и

невероятных изменений во всей своей жизни, что скоро наступает разочарование. Равным образом подлинные честолюбцы и первые ученики-педанты не часто удерживаются в Касталии; не то чтобы они отставали в науках, но в школах элиты придают значение не только отметкам и урокам, — здесь добиваются воспитательных и мусических целей, а в этом не всякий способен преуспеть. Впрочем, в четырёх больших школах элиты с их многочисленными отделениями и ответвлениями вполне достаточно простора для самых разных талантов, и усердному математику или филологу, если у него действительно имеются задатки настоящего учёного, незачем опасаться отсутствия у себя музыкальных или философских способностей. Более того, история Касталии знала периоды, когда преобладали весьма сильные тенденции к культивированию чистой, трезвой цеховой науки, и поборники этих тенденций не только были настроены критически и насмешливо по отношению к «фантастам», то есть к друзьям музыки и муз, но порой в своём кругу поистине отрекались от всего мусического, и особенно от Игры в бисер.

Так как жизнь Кнехта, насколько она известна нам, вся протекала в Касталии, в самом тихом

и приветливом уголке нашей гористой страны, который ранее обозначали также выражением, заимствованным у поэта Гёте, — «Педагогическая провинция»[22], то, сообщая давно известное и рискуя наскучить читателю, всё же вкратце опишем эту прославленную Касталию и структуру её школ. Школы эти, ради краткости называемые элитарными, являют собой мудрую и гибкую систему отбора, при посредстве которой руководство (так называемый Учёный совет из двадцати советников, десяти от Воспитательной Коллегии и десяти от Ордена) отбирает во всех частях и школах страны наиболее одарённых учеников для Ордена и для всех важнейших постов воспитательной и научной организации. Разбросанные по стране обычные школы, гимназии и т.п., будь

---

[22] Примечания: [22]

Здесь Гессе сам называет классический прообраз своей Касталии из «Годов странствий Вильгельма Мейстера».

Между Педагогической провинцией, как она изображена у Гёте, и гессевской Касталией действительно существует некоторое сходство: и здесь и там мудрые и жрецески преданные своему служению наставники работают над кропотливым выявлением и всесторонним культивированием задатков своих подопечных; и здесь и там господствует настроение некоего нецерковного «благочестия» — почтительного вживания в космический ритм бытия, что облекается в формы своеобразной обрядности (ср. у Гёте систему ритуальных жестов, соответствующих долгу «троякого благоговения» — перед высшим, перед равным и перед низшим). Но утопия Гессе отмечена большей меланхолией, нежели утопия Просвещения: если перед адептами Педагогической провинции Гёте «открываются неизмери-

мые поприща деятельности», то служители Касталии добровольно замыкаются в границы культурного микрокосмоса.

они гуманитарного или естественно-технического направления, для более чем девяти десятых нашей обучающейся молодёжи не что иное, как подготовка к так называемым свободным профессиям. Обучение в них завершается выпускным экзаменом, дающим право поступить в высшую школу, где студенты проходят курс соответствующей специальности. Таков традиционный, всем известный процесс обучения, и школы, как обычная, так и высшая, предъявляют к учащимся требования средней строгости, по возможности отметая вовсе неспособных. Но наряду с этими школами или над ними существует и система элитарных школ, в которые принимаются — непременно с испытательным сроком — только ученики выдающихся способностей и незаурядного характера. Доступ в эти школы регламентируется не экзаменами: учеников для элиты отбирают учителя по своему усмотрению и рекомендуют Коллегиям Касталии. Когда мальчику исполняется одиннадцать-двенадцать лет, ему в один прекрасный день объявляют, что в следующее полугодие он может перейти в одну из касталийских школ и должен серьёзно подумать, чувствует ли он себя для этого призванным и готовым. Если по истечении поставленного срока

ученик ответит утвердительно, причём требуется безоговорочное согласие обоих родителей, то его переводят на проверку в одну из элитарных школ. Руководители и старшие педагоги этих школ (ни в коем случае не университетские профессора) составляют так называемую «Воспитательную Коллегию», руководящую всеми педагогическими и интеллектуальными организациями в стране. Кто раз вошёл в элиту, в случае, если он не обнаружит на одном из курсов обучения свою непригодность и не будет возвращён в обычную школу, не должен и помышлять о специальности и заработке. Из учеников элиты рекрутируется Орден и иерархия всех учёных Коллегий — от школьного учителя до самых высоких должностей: двенадцати директоров, или Магистров, и руководителя Игры в бисер — Магистра Игры. Обычно к двадцати двум — двадцати пяти годам курс обучения в элитарной школе заканчивается принятием обучающегося в Орден. С этого дня перед бывшими учениками элиты открыты двери всех учебных заведений и исследовательских институтов Ордена и Воспитательной Коллегии: в их распоряжении высшие элитарные школы, библиотеки, архивы, лаборатории и тому подобное, вкупе с целым штабом учителей, а также все

органы Игры. Если во время обучения подросток проявит особую одарённость в какой-либо специальной области — в лингвистике, философии, математике или в чём-либо другом, то его на одной из высших ступеней элитарной школы переводят на тот курс, который обеспечивает наиболее полное развитие его способностей; большинство таких учеников становятся впоследствии преподавателями специальных дисциплин в общедоступных школах и высших учебных заведениях и, даже покинув пределы Касталии, пожизненно остаются членами Ордена. Это означает, что они обязаны соблюдать строгую дистанцию между собой и «обычными» (то есть в элитарных школах не обучавшимися) и никогда не могут — разве что они выйдут из Ордена — стать представителями «свободных профессий»: врачами, адвокатами, инженерами и тому подобное. В течение всей жизни они подчиняются правилам Ордена, к которым прежде всего относятся безбрачие и отказ от собственности; полупрезрительно-полууважительно народ прозвал их «мандаринами». Именно таким образом большинство бывших учеников элиты находят своё окончательное призвание. Однако самая малая часть их, избранные среди избран-

ных из касталийских школ, посвящают себя без ограничения срока свободным научным занятиям, прилежно-созерцательной духовной жизни. Некоторые из высокоодарённых молодых людей, по причине неуравновешенного характера или из-за физических недостатков не подходящие для роли учителя, для ответственных должностей в низших или высших учебных заведениях Воспитательной Коллегии, продолжают свои штудии, изыскания и сбор материала и являются пенсионерами Коллегии; польза, которую они приносят обществу, заключена в их научных трудах. Иные при этом состоят консультантами при словарных комиссиях, при архивах, библиотеках и так далее, другие предаются занятиям под девизом *«l'art pour l'art»*,[23] и уже не один касталиец посвятил свою жизнь весьма отвлечённым и подчас диковинным трудам, как то: небезызвестный *Lodovicus Crudelis*,[24] переведший за тридцать лет все дошедшие древнеегипетские тексты на греческий язык и равным образом на

[23] Примечания: [23]
Искусство для искусства (франц.).

[24] Примечания: [24]
Людовик Жестокий (лат.) — латинизация прозвища «Луи Жестокий», которое Гессе дал своему другу, живописцу Луи Мулье (под таким прозвищем он фигурирует, между прочим, в повести «Последнее лето Клингзора», относящейся к 1920 г.).

санскрит, или же чудаковатый *Chattins Calvensis II,*[25] оставивший после себя четыре объёмистых рукописных фолианта, озаглавленных «Произношение латыни в высших школах южной Италии в конце XII столетия». Труд этот был задуман как первая часть «Истории произношения латыни от XII до XVI веков», однако, несмотря на объём в тысячу рукописных страниц, остался фрагментом и никем не был продолжен. Вполне понятно, что по поводу учёных занятий подобного рода в ходу было немало острых словечек, однако же подлинная ценность подобных занятий для будущего науки и для всего народа не поддаётся учёту. Ведь сама наука, так же как в былые времена искусство, нуждается, так сказать, в просторном пастбище, и бывает, например, что исследователь

---

[25] Примечания: [25]

Хатт II из Кальва (лат.). — **Хатты** — латинское название древнегерманского племени, с которым связано наименование земли Гессен, а также появление фамилий типа «Гесс», «Гессе», «Гессен» и т.п. По воспоминаниям Гессе, гимназический учитель-латинист, оставивший у писателя на всю жизнь благодарную память, в шутку именовал маленького Германа «Chattus» (ср. написанный между 1944 и 1950 гг. очерк «Прерванный урок»). Кальв — родной город Гессе: значит, Хатт II из Кальва — двойник самого писателя. Эта биографичность подготовлена тем, что перед этим только что был поименован близкий друг Гессе «Луи Жестокий». (См. комм. выше.) Соблазн «чудаковатой» отрешённости от суеты мира и замыкания в бескорыстно-бесполезных играх духа — это соблазн, пережитый самим автором и описываемый им в тонах исповеди.

какой-нибудь темы, которой никто, кроме его, не интересуется, накапливает знания, могущие сослужить его коллегам-современникам хорошую службу, подобно некоему словарю или архиву. В той мере, в какой это было возможно, такие труды даже печатались. Учёным предоставлялась почти полная свобода как для занятий, так и для игр, и никому не казалось предосудительным, например, что некоторые работы явно не приносили никакой непосредственной пользы народу и обществу, более того, должны были казаться профанам расточительной забавой. Не один из этих учёных особенностями своих занятий вызывал улыбку, однако никто никогда не порицал этих людей и не лишал привилегий. То, что народ уважал, а не только терпел это учёное Братство, хотя немало потешался над ним, было связано с теми жертвами, которые оно приносило во имя своей духовной свободы. В такой жизни было много приятного: учёные всегда имели хлеб насущный, одежду, кров; в их распоряжении были отличные библиотеки, всевозможные коллекции и лаборатории, но зато они раз и навсегда отказались от жизни в достатке, от брака и семьи и, подобно монашескому братству, полностью выключились из общей конкуренции, которой жил мир. Они

не знали собственности, титулов и наград, а что касается материальных благ — обязаны были довольствоваться чрезвычайно простой и скромной жизнью. Пожелай кто-нибудь посвятить себя расшифровке одной-единственной старинной надписи — его никто не стал бы удерживать, напротив, ему бы всячески помогали; но если бы он вздумал претендовать на широкий образ жизни, изысканную одежду, богатство и почести, то тотчас натолкнулся бы на строжайшие запреты. Тот, кто не в силах был умерить подобные аппетиты, обычно ещё в молодые годы возвращался в «мир», делался учителем на жалованье или давал частные уроки, посвящал себя журналистике или вступал в брак и вообще устраивался по своему усмотрению.

Когда для Йозефа Кнехта настала пора расставания с Берольфингеном, на вокзал проводил его только учитель музыки. Прощание с ним причинило некоторую боль, а когда вдали скрылся побелённый фронтон старинного замка с уступчатой крышей, сердце Йозефа сжалось от чувства одиночества и неуверенности. Другие ученики отправляются в подобную поездку, исполненные куда более сильных чувств, оробев и в слезах. Но Йозеф всей душой был уже там и потому отъезд

перенёс сравнительно легко. Да и само путешествие длилось недолго.

Его направили в школу Эшгольц. Снимки этой школы он не раз видел в кабинете ректора. Эшгольц был самый большой и самый молодой школьный городок Касталии, здания все современные, поблизости никаких городов, только небольшая деревушка, утопающая в зелени, за ней широко, ровно и приветливо раскинулся прямоугольник учебных и жилых корпусов, в середине которого, расположенные как пятёрка на игральной кости, росли пять мамонтовых деревьев, вздымая высоко в небо свои тёмно-зелёные конусообразные кроны. На обширной площади были разбиты газоны, чередовавшиеся с площадками, посыпанными песком; там же виднелись два плавательных бассейна с проточной водой, к которым сбегали широкие, низкие ступени. У входа на эту залитую солнцем площадь стоял учебный корпус — единственное высокое строение с двумя флигелями, каждый из которых имел свой портик с пятью колоннами. Все остальные здания, с трёх сторон сплошным полукольцом окружавшие площадку, были похожи одно на другое — низкие, плоские, без всяких украшений. У каждого корпуса виднелись крылечки, беседки

с несколькими ступеньками, и почти во всех беседках стояли горшки с цветами.

По касталийскому обычаю, приезжего встретил не школьный служитель, и никто не повёл его к ректору или в учительскую; его встретил один из школяров, рослый, красивый юноша, одетый в костюм из голубого полотна, на несколько лет старше Йозефа, который протянул ему руку и сказал:

— Я Оскар, старший в корпусе «Эллада», где ты будешь жить, и мне поручено приветствовать тебя и познакомить с нашими порядками. В школе тебя ждут только завтра, у нас есть время осмотреться, ты быстро привыкнешь. Причём прошу тебя, первое время, пока ты ещё не прижился, считать меня своим другом и наставником, если хочешь, даже защитником, на случай, если кто-нибудь из товарищей вздумает тебя обидеть. Ведь некоторые считают нужным немного помучить новичка. Ничего страшного, это я могу тебе обещать. А теперь я для начала отведу тебя в «Элладу», сразу и посмотришь, где будешь жить.

В такой, ставшей традиционной, манере Оскар, назначенный советом корпуса в наставники Йозефу, приветствовал новичка, стараясь отлично выполнить данное ему поручение. Обычно

подобная роль импонирует старшеклассникам, а уж если пятнадцатилетний юноша постарается завоевать расположение тринадцатилетнего доверительным обращением и покровительственным тоном, ему это, как правило, удаётся. С Йозефом в первые дни наставник обращался как с дорогим гостем, который, если ему уже завтра пришлось бы уехать, должен был увезти с собой прекрасное впечатление о доме, где он гостил, и о его хозяине.

Прежде всего Йозефу показали спальню, где, кроме него, размещались ещё два мальчика, угостили его сухарями и стаканом фруктового сока, провели по всему дому «Эллада» — одному из жилых корпусов большого прямоугольника. Показали, где в душевых должно висеть его полотенце, и в каком углу ставить горшки с цветами, если он пожелает их разводить; затем ещё до наступления темноты сводили в прачечную к кастеляну, где примерили и отобрали для него костюм из голубого полотна. Йозеф и впрямь почувствовал себя хорошо в Эшгольце и охотно принял предложенный ему Оскаром тон; в его поведении почти незаметно было робости, хотя он и смотрел на своего юного наставника, давно уже прижившегося в Касталии, как на полубога.

Нравилось ему и некоторое бахвальство и рисовка в Оскаре, когда, например, тот вплетал в разговор какую-нибудь изысканную греческую цитату и тут же спешил извиниться: новичок, мол, ещё понять этого не может, да разве мыслимо и требовать от него такого!

Впрочем, в интернатской жизни для Кнехта не было ничего нового, и он безболезненно включился в неё. Очевидно, до нас не дошли многие важные события эшгольцских лет Кнехта; впрочем, страшный пожар в школьном корпусе, должно быть, вспыхнул уже после него. Отметки, поскольку их удалось обнаружить, говорят об отличных успехах в занятиях музыкой и латинским языком, в математике и греческом эти успехи чуть выше средних. В дневнике «Эллады» нам удалось разыскать несколько записей о Кнехте, примерно следующего рода: *«ingenium valde capax, studia non angusta, mores probantur»*[26] или *«ingenium felix et profectuum avidissimum, moribus placet officiosis»*.[27] Каким наказаниям он подвер-

[26] Примечания: [26]

«Ум весьма восприимчив, занятия не скудны, поведение заслуживает похвалы» (лат.).

[27] Примечания: [27]

«Ум одарённый и чрезвычайно жадный до новых успехов, снискивает расположение своей обязательностью» (лат.).

гался, установить уже нельзя — книга записей наказаний сгорела со многими другими во время большого пожара. Один из его соучеников уже гораздо позднее уверял, будто за все четыре года Кнехта наказали всего один-единственный раз (его лишили права участия в субботней прогулке) за то, что он упрямо отказывался назвать имя товарища, совершившего какой-то проступок. Рассказ этот представляется нам правдоподобным, несомненно, Кнехт всегда был хорошим товарищем и никогда не заискивал перед вышестоящим, но, что это наказание действительно единственное за все четыре года, маловероятно.

Ввиду того что у нас почти нет документов о первых годах жизни Кнехта в школе элиты, мы процитируем здесь запись одной из его лекций об Игре в бисер, прочитанной, разумеется, много позднее. К сожалению, собственных записей Кнехта к этим лекциям, прочитанным перед начинающими любителями Игры, не существует; их застенографировал один из учеников Магистра по его свободной импровизации. Кнехт говорит в этом месте об аналогиях и ассоциациях в Игре и различает среди последних «узаконенные», то есть общепонятные, и «частные», или же субъективные ассоциации. «Чтобы привести

вам пример этих частных ассоциаций, — говорит он, — вовсе не теряющих для частного лица своего значения оттого, что они категорически запрещены в Игре, я расскажу вам об одной такой ассоциации, возникшей у меня самого, когда я ещё ходил в школу. Мне было тогда лет четырнадцать, и произошло это ранней весной, в феврале или марте. Однажды после полудня товарищ позвал меня пойти с ним нарезать веток бузины — он хотел сделать из них трубки для маленькой водяной мельницы. Итак, мы отправились, и, должно быть, выдался особенно хороший день, или у меня на душе было как-то особенно хорошо, ибо день этот запечатлелся в моей памяти, являя собой небольшое, однако важное событие. Снег уже сошёл, поля стояли влажные, вдоль ручьёв и канав кое-где уже пробивалась зелень, лопающиеся почки и первые серёжки на голых кустах окутали всё в зеленоватую дымку, воздух был напоён всевозможными запахами, запахом самой жизни, полным противоречий: пахло сырой землёй, прелым листом и молодыми побегами, казалось, вот-вот услышишь и запах фиалок, хотя для фиалок было ещё рановато. Мы подошли к кустам бузины, усыпанным крохотными почками, листики ещё не проклюнулись,

а когда я срезал ветку, мне в нос ударил горьковато-сладкий резкий запах. Казалось, он вобрал в себя, слил воедино и во много раз усилил все другие запахи весны. Я был ошеломлён, я нюхал нож, руку, ветку… Это был запах сока бузины, неудержимо распространявшийся вокруг. Мы не произнесли ни слова, однако мой товарищ долго и задумчиво смотрел на ветку и несколько раз подносил её к носу: стало быть, и ему о чём-то говорил этот запах. У каждого подлинного события, рождающего наши переживания, есть своё волшебство, а в данном случае моё переживание заключалось в том, что когда мы шагали по чавкающим лугам, когда я вдыхал запахи сырой земли и липких почек, наступившая весна обрушилась на меня и наполнила счастьем, а теперь это сконцентрировалось, обрело силу волшебства в фортиссимо запаха бузины, став чувственным символом. Даже если бы тогдашнее моё маленькое приключение, переживания мои на этом бы и завершились, запаха бузины я никогда не мог бы забыть; скорее всего, каждая новая встреча с ним до последних дней моих будила бы во мне воспоминания о той первой встрече, когда я впервые сознательно пережил этот запах. Но тут прибавилось ещё кое-что. Примерно в то

же самое время я увидел у своего учителя музыки старую нотную тетрадь с песнями Франца Шуберта, которая чрезвычайно меня заинтересовала. Как-то, дожидаясь начала урока, я перелистывал её, и в ответ на мою просьбу учитель разрешил мне взять на несколько дней ноты. В часы досуга я испытывал блаженство первооткрывателя, ибо до этого никогда ещё не слыхал Шуберта, и теперь был всецело им захвачен. И вот, то ли в день нашего похода за бузиной, то ли на следующий, я вдруг натолкнулся на „Весенние надежды“ Шуберта. Первые же аккорды аккомпанемента ошеломили меня радостью узнавания: они словно пахли, как пахла срезанная ветка бузины, так же горьковато-сладко, так же сильно и всепобеждающе, как сама ранняя весна! С этого часа для меня ассоциация — ранняя весна — запах бузины — шубертовский аккорд — есть величина постоянная и абсолютно достоверная, стоит мне взять тот аккорд, как я немедленно и непременно слышу терпкий запах бузины, а то и другое означает для меня раннюю весну. В этой частной ассоциации я обрёл нечто прекрасное, чего я ни за какие блага не отдам.

Однако сама ассоциация, непременная вспышка двух чувственных переживаний при мысли

«ранняя весна» — это моё частное дело. Разумеется, я могу рассказать об этом другим, как рассказал только что вам. Но передать её вам я не в силах. Я могу объяснить вам, растолковать, какая возникает у меня ассоциация, но я не в силах сделать так, чтобы моя частная ассоциация вызвала хотя бы у одного из вас точно такую же, стала своего рода механизмом, который бы по вашему вызову срабатывал абсолютно так же и всегда одинаково».

Другой соученик Кнехта, впоследствии дослужившийся до первого Архивариуса Игры стеклянных бус, рассказывал, что Йозеф Кнехт был мальчиком склонным к тихой весёлости. Порой во время музицирования лицо его приобретало до странности самозабвенное или блаженное выражение, резким или порывистым его видели чрезвычайно редко, разве что за ритмической игрой в мяч, которую он очень любил. Но несколько раз этот приветливый и здоровый мальчик всё же обращал на себя внимание, вызывая насмешку или же озабоченность. Случалось это обычно после удаления какого-нибудь ученика из элитарной школы, что бывает довольно часто необходимым, особенно на начальной ступени. Когда в первый раз случилось, что один

из товарищей по классу не пришёл на занятия, не было его и на играх, а на другой день пошли разговоры, что он вовсе не болен, но отчислен, уже уехал и никогда не вернётся, Кнехт не просто опечалился, но целый день ходил сам не свой. Многие годы спустя он объяснил это следующим образом: «Когда из Эшгольца отчисляли сверстников, я всякий раз воспринимал это как смерть человека. Если бы меня спросили о причине моего горя, я ответил бы, что я глубоко сочувствую несчастным, по легкомыслию и лености погубившим своё будущее. К этому моему чувству, пожалуй, примешивался и страх, страх перед тем, как бы и со мной не приключилось подобного. Лишь после того, как я пережил это несколько раз и, по сути, уже не верил, что подобный удар судьбы может постигнуть и меня, я начал смотреть несколько глубже. Я стал воспринимать исключение сотоварища не только как несчастье и кару: я ведь уже знал, что отчисленные иногда и сами охотно возвращались домой. Теперь я чувствовал, что дело не только в суде и каре, жертвой которых становится легкомыслие, но что мир где-то за пределами Касталии, из которого мы, *electi*, некогда пришли сюда, вовсе не перестал существовать в той степени, как мне

казалось, и что для некоторых он был подлинной и великой реальностью, влекущей их и в конце концов отзывающей их. И быть может, этот „мир“ был таким вовсе не для одиночек, а для всех, и не установлено, что далёкий этот мир влечёт только слабых и недостойных. Быть может, это мнимое падение, которое они якобы претерпели, отнюдь не падение, а прыжок, смелый поступок: быть может, именно мы, добронравно остающиеся в Эшгольце, и есть слабые и трусливые». Ниже мы увидим, что подобные мысли не покидали его и впоследствии.

Большую радость приносили Кнехту встречи с Магистром музыки. Раз в два или три месяца тот приезжал в Эшгольц, бывал на уроках музыки, нередко гостил по нескольку дней у одного из тамошних педагогов, с которым его связывала дружба. А однажды он даже лично руководил последними репетициями вечерни Монтеверди. Однако основное внимание он уделял особо одарённым ученикам, и Кнехт был одним из тех, кого он удостоил своей отеческой дружбы. Каждый свой приезд он многие часы проводил с Йозефом за инструментом, вместе с ним разучивал произведения своих любимых композиторов или же разбирал упражнения из старинных

учебников композиции. «Вместе с магистром построить канон или слушать, как он приводит *ad absurdum*[28] дурно построенный, таило в себе некую ни с чем не сравнимую торжественность или даже весёлость, порой я с трудом удерживал слёзы, порой не в силах был унять смех. После приватного музицирования с ним у меня бывало ощущение, будто я возвращался после купания или массажа».

Когда годы в Эшгольце подошли к концу, Кнехту и примерно десятку других учеников предстоял перевод в школу следующей ступени. Ректор произнёс перед кандидатами традиционную речь, в которой он ещё раз разъяснил смысл и законы касталийских школ, и от имени Ордена указал собравшимся дальнейший путь, в конце которого они обретут право сами Вступить в Орден.

Эта торжественная речь была как бы частью праздника, который школа устраивала в честь своих выпускников и на котором учителя и однокашники обращались с ними как с дорогими гостями. В этот день исполняются тщательно подготовленные концерты — на сей раз пели большую кантату семнадцатого столетия, и сам

---

[28] Примечания: [28]
К абсурду (лат.).

Магистр музыки явился её послушать. После речи ректора, когда все переходили в празднично украшенную столовую, Кнехт подошёл к Магистру и спросил:

— Ректор рассказал нам, как живут и учатся в обычных и высших школах вне Касталии. Он говорит, что выпускники там, поступив в университет, выбирают себе «свободную» профессию. Насколько я понял, это в основном такие профессии, которых мы в Касталии совсем не знаем. Как это понимать? И почему они называются «свободными»? Почему мы, касталийцы, не имеем права выбирать их?

Magister musicae взял юношу под руку и остановился под одним из мамонтовых деревьев. Чуть лукавая улыбка собрала возле глаз сетку морщин, когда он ответил:

— Ты зовёшься «Кнехт», что значит «слуга», возможно потому слово «свободный» имеет для тебя столько очарования. Не принимай этого так близко к сердцу! Когда некасталийцы говорят о свободных профессиях, слова эти, может быть, и звучат серьёзно, даже возвышенно. Но мы произносим их иронически. Свобода этих профессий состоит лишь в том, что учащийся сам себе их избирает. Это и создаёт видимость свободы, хотя в

большинстве случаев не столько ученик, сколько его родители делают за него выбор, и есть немало отцов, готовых скорее откусить себе язык, нежели предоставить сыну действительную свободу выбора. Но всё это, возможно, и клевета, и потому откинем этот довод! Предположим, свобода эта действительно существует, но тогда она ограничена одним актом выбора профессии. На этом она и кончается. Находясь в высшей школе, будущий врач, юрист, инженер обучаются по строгой и весьма узкой программе, заканчивающейся несколькими экзаменами. Выдержав их, студент получает диплом и теперь якобы свободно посвящает себя избранной профессии. На самом же деле он превращается в раба низменных сил: он зависит от успеха, денег, от своего честолюбия, жажды славы, от того, нравится он людям или нет. Он должен подчиняться церемонии выборов, зарабатывать деньги, он участвует в борьбе различных каст, семей, партий, газет, борьбе, не знающей пощады. Но зато он свободен завоевать себе успех, достаток и стяжать ненависть тех, кто этого успеха не стяжал, и наоборот. С учеником школ элиты, который становится членом Ордена, ничего подобного не случается. Он не «избирает» себе специальности. Он не мнит себя способным

лучше разобраться в своих талантах, нежели его учителя. В иерархии его ставят на то место, которое для него избирают вышестоящие, они же определяют его функции, если, разумеется, всё это не происходит в обратном порядке, то есть свойства, способности и ошибки ученика сами не заставляют учителей ставить его на тот или иной пост. Но при этой мнимой несвободе каждый electus, пройдя первый курс, обладает предельной свободой: в то время как человек «свободно» избранной профессии вынужден проходить весьма негибкий курс наук с негибкой системой экзаменов, для него, как только он начинает учиться самостоятельно, свобода простирается весьма далеко. Имеются многие студенты, которые по своей воле всю жизнь посвящают самым немыслимым и даже сумасбродным занятиям, и никто не чинит им препятствий, если они не преступают границ морали.

Проявивший педагогический дар используется как педагог, воспитатель по призванию, как таковой; переводчик — как переводчик, каждый находит себе место, где он может служить и в своём служении чувствовать себя свободным. К тому же он на всю жизнь избавлен от той «свободы», которая на деле означает столь страшное

рабство. Он ничего не знает о погоне за деньгами, о борьбе за славу, за власть, он не знает ни партий, ни раздвоенности между личностью и должностью, между частным и общественным, не знает зависимости от успеха. Итак, ты видишь, сын мой: когда говорят о свободных профессиях, то слово «свобода» звучит довольно курьёзно.

Прощание с Эшгольцом далось Кнехту нелегко. Если прожитое им до той поры можно назвать счастливым детством, радостным и гармоническим подчинением, почти не знающим сомнений, то теперь наступил период борьбы, развития и сомнений. Кнехту было около семнадцати лет, когда ему сообщили, что вскоре его, вместе с несколькими однокашниками, переведут в школу следующей ступени, и, конечно же, начиная с этого мгновения, для избранников не было более важного и более часто обсуждаемого вопроса, чем вопрос о том, куда каждого из них переведут. В соответствии с традицией, им сообщили о переводе только за несколько дней до отъезда, а период между выпускным праздником и самим отъездом считался каникулами. Именно в эти каникулы с Кнехтом произошло нечто прекрасное: Магистр музыки пригласил Йозефа к себе в гости, предложив совершить это небольшое

путешествие пешком. То была редкая и большая честь. Вместе с другом выпускником — ибо Кнехт ещё числился в Эшгольце, а ученикам этой ступени не разрешалось путешествовать в одиночку — он отправился в одно прекрасное раннее утро навстречу лесам и горам, и когда наконец, после трехчасового подъёма по лесистой тропинке, они достигли открытого плато на одной из вершин, то как на ладони увидели далеко внизу свой маленький Эшгольц, который легко можно было узнать по темнеющей группе исполинских деревьев и прямоугольнику газонов с зеркалами прудов, по высокому зданию школы, подсобным корпусам, по деревушке и знаменитой ясеневой роще[29]. Долго оба юноши смотрели вниз; многие из нас ещё помнят этот чарующий вид, ведь тогдашний не очень отличался от нынешнего, ибо здания восстановлены после большого пожара почти без изменений, а из пяти деревьев три не пострадали. Юные путешественники видели под собой родную школу, с которой им предстояло распроститься навсегда, и у обоих защемило сердце.

— Мне кажется, я никогда не знал, как это красиво, — произнёс наконец спутник Йозефа. — А

---

[29] Примечания: [29]
«Эшгольц» (нем.) и значит «ясеневая роща».

может быть, это просто оттого, что я впервые вижу нечто, с чем мне предстоит расстаться, что я должен покинуть?

— Ты прав, — ответил Кнехт, — то же самое происходит со мной. Но, по-моему, если мы даже и уедем отсюда, это не значит, что мы на самом деле покинем Эшгольц. По-настоящему его покинули только те, что ушли от нас навсегда, как тот Отто, который сочинял такие смешные латинские стихи, или наш Шарлемань[30], умевший так долго плавать под водой, и все другие. Те-то распростились по-настоящему, ушли навсегда. Я уже давно не вспоминал о них, а сейчас вот вспомнил. Ты волен смеяться, но в этих отпавших от нас для меня есть что-то привлекательное, как в мятежном ангеле Люцифере есть что-то величавое. Может быть, они и сделали ложный шаг, вернее, их шаг вне всякого сомнения ложен, и всё же они нечто сделали, совершили, осмелились на прыжок, а для этого нужна отвага. А мы, все остальные,

---

[30] Примечания: [30]

Отто, Шарлемань. — Характерная для Гессе игра в имена.

Покинувшие Касталию ученики наделены именами императоров раннего средневековья. **Шарлемань** — по-французски имя Карла Великого; что касается имени **Отто**, то это весьма обычное немецкое имя в комбинации с «Карлом Великим» вызывает в памяти многочисленных «Оттонов» на императорском троне, давших имя «Оттоновской эпохе» (X–XI вв.).

— мы были терпеливы, прилежны, разумны, но мы ничего не совершили, не прыгнули!

— Не знаю, — заметил спутник, — некоторые из них ни на что не осмелились и ничего не сделали, а просто-напросто лентяйничали, пока их не исключили. Но, может быть, я не так тебя понял? Что ты, собственно, имел в виду, когда говорил о «прыжке»?

— Я имел в виду способность оторваться по-настоящему, решиться на что-то всерьёз, ну, понимаешь, взять да и прыгнуть! Я вовсе не мечтаю прыгнуть назад, в мою прежнюю родину, в мою прежнюю жизнь, она меня не привлекает, да я её и забыл совсем. Но вот чего я действительно хотел бы — это, когда настанет час и надо будет оторваться и прыгнуть, прыгнуть не назад, не вниз, а вперёд, в более высокое.

— Что же, к нему-то мы и направляемся. Эшгольц — первая ступень, следующая будет более высокой, и в конце концов нас ждёт принятие в Орден.

— Да, ты прав. Но я не о том. В путь, *amice,*[31] шагать так приятно, моя хандра и пройдёт. А то мы с тобой что-то приуныли.

---

[31] Примечания: [31]
Друг (лат.).

Этими словами и этими настроениями, о которых нам поведал его тогдашний спутник, возвещала о себе бурная пора юности Кнехта.

Два дня шли юные путешественники, прежде чем добрались до тогдашнего местожительства Магистра музыки, расположенного высоко в горах Монпора, где Магистр как раз вёл в стенах бывшего монастыря курс для капельмейстеров. Спутника Йозефа поместили в гостевой, а Кнехту отвели маленькую келью в жилище Магистра. Не успел Йозеф скинуть рюкзак и умыться с дороги, как хозяин уже вошёл к нему. Почтенный старик протянул юноше руку и с лёгким вздохом опустился на стул, несколько мгновений он сидел, закрыв глаза, как всегда, когда очень уставал, а затем, ласково посмотрев на Йозефа, проговорил:

— Извини, пожалуйста, я плохой хозяин. Ты ведь с дороги, вероятно, устал. Честно говоря, я тоже, день у меня сегодня перегружен, но если ты ещё не хочешь спать, мне хотелось бы часок посидеть с тобой. Тебе разрешено провести здесь два дня, а завтра ты можешь пригласить отобедать с нами и своего товарища, но, к сожалению, много времени я не смогу тебе уделить, надо постараться выкроить хотя бы несколько часов. Ну как, сразу и начнём?

Он повёл Кнехта в просторную сводчатую келью, в которой не было ничего, кроме старого фортепиано и двух стульев. На них они оба и сели.

— Скоро тебя переведут в школу следующей ступени, — начал Магистр, — там ты узнаешь много нового и очень интересного, так сказать, пригубишь и Игры стеклянных бус. Всё это очень хорошо и важно, но одно важнее прочего: ты научишься медитации. Иногда кажется, что всё это умеют, но ведь не всегда удаётся проверить. Мне хотелось бы, чтобы ты научился этому особенно хорошо, так же хорошо, как музыке, всё остальное придёт тогда само собой. Поэтому я намерен первые несколько уроков преподать тебе сам, это и было целью моего приглашения. Итак, сегодня, завтра и послезавтра мы с тобой по часу посвятим медитации и притом — о музыке. Сейчас тебе подадут кружку молока, чтобы голод и жажда тебя не отвлекали, а поужинаем мы с тобой позднее.

В дверь постучали, в келью внесли кружку молока.

— Пей медленно, глоток за глотком, — предупредил старик, — не торопись и ничего не говори.

И Кнехт очень медленно, по одному глотку пил холодное молоко, а напротив сидел глубоко чтимый им старик. Он снова прикрыл глаза, лицо его казалось совсем старым, но приветливым: оно было исполнено умиротворённости, светилось внутренней улыбкой, учитель погрузился в собственные мысли, как усталый путник погружает ноги в воду. От него исходил покой. Кнехт чувствовал это и сам понемногу успокаивался.

Но вот Магистр повернулся к инструменту и опустил руки на клавиши. Сыграв тему, он, варьируя, стал её развивать, кажется, это была пьеса кого-то из итальянских мастеров. Юному гостю Магистр велел представить себе эту музыку как танец, как непрерывную цепь упражнений на равновесие, как последовательность меньших или больших шагов от центра некой оси симметрии и всё своё внимание сосредоточить на том, какие фигуры образуют эти шаги. Он ещё раз сыграл тему, затем умолк, словно задумавшись над ней, проиграл её снова и замер с полуопущенными веками, опустив руки на колени, как бы мысленно повторяя мелодию и вслушиваясь в неё. Ученик тоже прислушивался к мелодии в своей душе, видел перед собой обрывки нотных линий, видел, как нечто движется, мерно сту-

пает, кружится в танце и зыблется. Он старался распознать эти движения и прочитать их, как читают замысловатые круги, описываемые птицей в полёте. Но фигуры путались, терялись, он должен был начать сначала, на мгновение его оставила сосредоточенность, и он сразу рухнул в пустоту, в замешательстве посмотрел вокруг, увидел тихое, самоуглублённое лицо учителя, невесомо мерцающее в сумерках, почувствовал себя возвращённым в те духовные пространства, из которых было выпал. И снова полилась музыка, он отмерял её шаги, видел линии её движения, смотрел и мысленно устремлялся вослед ногам незримых танцоров…

Йозефу показалось, что прошли многие, часы, прежде чем он опять потерял нить, снова почувствовал, что сидит на стуле, увидел циновку на каменном полу, последний отблеск сумерек за окном. Вдруг он ощутил на себе чей-то взгляд, поднял голову и встретился глазами с Магистром, внимательно смотревшим на него. Магистр еле заметно кивнул, проиграл одним пальцем пианиссимо последнюю вариацию итальянской пьесы и поднялся.

— Оставайся здесь, — сказал он, — я скоро вернусь. Найди эту тему ещё раз в себе, внимательно

следи за фигурами. Но не принуждай себя, это всего лишь игра. Если ты заснёшь при этом, тоже не беда.

И он ушёл, ему надо было ещё сделать что-то оставшееся от переполненной программы трудового дня, работу не лёгкую и не очень приятную, не такую, какую бы он себе пожелал. Среди слушателей курса попался даровитый, но тщеславный и заносчивый человек, с ним-то и надо было побеседовать, заставить его отказаться от дурных замашек, доказать ему его неправоту, выказать ему свою заботу, но и своё превосходство, любовь, но и авторитет. Магистр вздохнул. И почему это невозможно — раз и навсегда навести порядок в этом мире, почему никто не в силах избежать давно известных заблуждений! И почему всё вновь и вновь надо сражаться с одними и теми же ошибками, выпалывать одни и те же сорняки! Талант без нравственной основы, виртуозность без иерархии, то, что некогда, в *фельетонистическую эпоху* господствовало над музыкальной жизнью, то, что было искоренено и преодолено движением музыкального ренессанса, — всё это снова зеленело и пускало ростки.

Когда Магистр вернулся, чтобы вместе с Йозефом приступить к вечерней трапезе, тот сидел

тихий, однако ничуть не уставший и очень довольный.

— Как хорошо было! — воскликнул Йозеф мечтательно. — Сама музыка при этом ушла от меня, она пресуществилась.

— Не мешай ей отзвучать в тебе, — сказал Магистр и повёл его в небольшую комнату, где на столике уже были приготовлены фрукты и хлеб. Вместе они утолили свой голод, и Магистр пригласил Йозефа назавтра присоединиться к слушателям курса капельмейстеров. Прежде чем уйти, он проводил гостя в отведённую ему келью и сказал:

— Во время медитации ты нечто увидел, музыка явилась тебе в виде некой фигуры. Если у тебя есть охота, попробуй нарисовать её.

В своей келье Кнехт обнаружил на столе лист бумаги и карандаш и тут же принялся рисовать фигуру, в которую пресуществилась музыка. Начертив прямую линию, он через определённые ритмические промежутки провёл к ней косые линии, получилось что-то похожее на порядок расположения листьев на ветви. Это не удовлетворило Йозефа, однако у него явилось желание попытаться ещё и ещё раз, и уже под самый конец он, увлёкшись, нарисовал круг, от которого

лучами расходились косые линии, как цветы в венке. Потом он лёг в постель и быстро заснул. Во сне он увидел себя на вершине холма, где они с товарищем накануне устраивали привал, и снова внизу показался родной Эшгольц, и покуда Йозеф смотрел на видневшийся вдали прямоугольник, образованный школьными корпусами, тот постепенно вытянулся в эллипс, эллипс превратился в круг, в венок, и венок этот медленно начал вращаться, вращался всё быстрей и быстрей, под конец бешено завертелся, разорвался и разлетелся сверкающими звёздами.

Проснувшись, Йозеф ничего не помнил, но когда во время утренней прогулки Магистр спросил, видел ли он что-нибудь во сне, у Йозефа возникло такое ощущение, будто ему приснилось что-то дурное или тревожное, он силился вспомнить — и вспомнил свой сон, рассказал его и удивился его безобидности. Магистр внимательно слушал.

— Надо ли обращать внимание на сны? — спросил Йозеф. — Можно ли их толковать?

— На всё надо обращать внимание, ибо всё можно толковать, — кратко ответил Магистр, посмотрев ему в глаза. Но, пройдя несколько шагов, он отеческим тоном спросил:

— В какую школу тебе больше всего хотелось

бы?

Йозеф покраснел.

— Мне кажется, в Вальдцель.

Магистр кивнул.

— Так я и думал. Тебе, наверное, известно старинное изречение: *gignit autem artificiosam…*

– *Gignit autem artificiosam lusorum gentem Cella Silvestris,* — дополнил, всё ещё краснея, Кнехт хорошо известные каждому ученику слова. В переводе они значат: «Вальдцель же порождает искусное племя играющих». Старик тепло взглянул на него.

— Скорее всего это и есть твоя дорога, Йозеф. Тебе должно быть известно, что не все приемлют Игру. Говорят, будто она есть суррогат искусства, а мастера Игры суть беллетристы, их нельзя рассматривать как служителей духа в настоящем смысле слова, но приходится видеть в них именно художников, дилетантов и фантастов. Тебе предстоит узнать, справедливо ли это. Быть может, ты и сам уже думал об Игре и ждёшь от неё большего, чем она может дать, а возможно, и наоборот. Что верно, то верно, в этой Игре таится не одна опасность. Но за это мы её и любим, в безопасный путь посылают только слабых. Никогда не забывай, что я тебе так часто говорил: наш

долг — правильно распознавать противоречия, во-первых, как противоречия, а во-вторых, как полюсы некоего единства. Так оно обстоит и с нашей Игрой. Художнические натуры влюблены в неё, потому что она даёт простор воображению; строгие учёные-специалисты, да и некоторые музыканты презирают её — им недостаёт в ней как раз той меры строгости, какой они способны достигнуть в отдельных отраслях наук. Итак, ты сам познаешь эти противоречия, а со временем тебе откроется: противоречия эти лежат не в объекте, но в субъекте, ибо художник, отдающийся полёту фантазии, не потому избегает чистой математики или логики, что он постиг в них что-то и мог бы высказать, а потому, что инстинктивно склоняется в другую сторону. По таким порывистым симпатиям и антипатиям ты безошибочно распознаешь менее возвышенную душу. В действительности, то есть в великих душах и высоких умах, подобные страсти не существуют. Каждый из вас — только человек, только попытка, только переход. Переходить же надлежит туда, где обитает совершенство, должно стремиться к центру, а не к периферии. Запомни: можно быть строгим логиком или грамматиком и при этом исполненным фантазии и музыки.

Можно быть музыкантом или мастером Игры и при этом полностью отдавать себя служению закону и упорядоченности. Человек, как мы его понимаем, к какому мы стремимся, каким мы хотим, чтобы он стал, должен быть готовым в любой день сменить свою науку или искусство на любую другую науку или искусство, он должен выявлять в Игре кристальнейшую логику, а в грамматике полёт фантазии. Такими мы должны стать, чтобы в любой час нас можно было без сопротивления и замешательства перевести на другой пост.

— Кажется, я понял вас, — произнёс Кнехт. — Но разве же тот, кто так сильно ненавидит или предпочитает одно другому, не просто более страстный по своей природе человек, а другой — более спокойный и более мягкий?

— Нам представляется, что это именно так, и всё же это не так, — воскликнул Магистр, смеясь. — Если хочешь всегда быть на высоте, во всём отвечать наивысшим требованиям, нужен, разумеется, не недостаток душевных сил, размаха, тепла, но их избыток. То, что ты называешь страстью, есть не душевная энергия, а трение между душой и внешним миром. Где господствует страсть, там не ищи силы воли и устремлённо-

сти, там всё направлено к достижению частной и ложной цели, отсюда напряжённость и духота атмосферы. Тот, кто направит всю силу к центру, навстречу подлинному бытию и совершенству, тот, возможно, представляется нам более спокойным, нежели страстная натура, потому что не всегда виден его внутренний огонь, потому что, скажем, на диспуте он не размахивает руками, не кричит. Но я говорю тебе: он должен гореть, должен пылать!

— Ах, если бы стать знающим! — воскликнул Кнехт. — Если бы существовало некое учение, нечто, во что можно было бы верить! Кругом только одни противоречия, всё разбегается в разные стороны, нигде нет ничего определённого. Всё можно истолковать так, а можно и наоборот. Можно толковать всемирную историю как развитие и прогресс, а можно видеть в ней только упадок и бессмыслицу. Неужели не существует истины? Неужели не существует истинного и непреложного учения?

Никогда Магистр не слыхал от Йозефа таких пылких слов. Молча он прошёлся взад и вперёд, потом проговорил: «Истина существует, дорогой мой! Но „учения“, которого жаждешь ты, абсолютного, совершенного, единственного,

умудряющего учения, не существует. Да и не следует тебе мечтать о совершенном учении, друг мой, стремись к совершенствованию самого себя. Божественное в тебе, а не в понятиях и книгах. Истина должна быть пережита, а не преподана. Готовься к битвам, Йозеф Кнехт, я вижу, они уже начались!»

В те дни Йозеф впервые увидел любимого Магистра в повседневной жизни и за работой и поразился, хотя видел лишь небольшую часть его ежедневных трудов. Но больше всего Магистр покорил его тем, что был к нему так внимателен, что пригласил его к себе, что человек, порой выглядевший таким усталым, невзирая на бремя обязанностей, выкраивал для него часы своего драгоценного времени, да и не только часы! И если его введение в медитацию произвело на Кнехта такое глубокое и длительное впечатление, то, как он понял позднее, не благодаря особо тонкой и своеобразной технике, а только благодаря самой личности Магистра, его примеру. Учителя, с которыми Кнехт сталкивался впоследствии и которые обучали его медитации все следующие годы, больше упирали на указания, без конца объясняли, контролировали гораздо строже, больше спрашивали, чаще поправляли.

Магистр музыки, уверенный в своей власти над юношей, почти совсем не говорил, не поучал, собственно, он только ставил темы и сам подавал пример. Кнехт видел, что Магистр, придя таким согбенным, измученным, садится и, прикрыв глаза, погружается в себя, и вдруг взгляд его становится спокойным, радостным, приветливым, излучает силу; ничто не могло так глубоко убедить в верности пути к истокам, пути от суеты к покою, как этот его взгляд. А то, что Магистр хотел передать ему словами, — он передавал как бы мимоходом, во время кратких прогулок или же за трапезой.

До нас дошло также, что Кнехт тогда получил от Магистра первые указания и напутствие к Игре в бисер, однако никаких записей не сохранилось. На Йозефа произвело также впечатление очевидное желание хозяина приветить и его юного спутника, чтобы у того не возникло ощущение, будто он всего какой-то довесок. Как видно, ни о чём не забывал этот человек!

Краткое пребывание в Монпоре, три урока медитации, присутствие на курсе для капельмейстеров, несколько бесед с Магистром — всё это много дало Йозефу. Мастер весьма умело выбрал момент для своего краткого, однако действен-

ного вмешательства. Цель его приглашения в основном заключалась в том, чтобы приохотить юношу к медитации, но не менее важным приглашение было и само по себе, как отличие, знак особого внимания и веры в него. То была вторая ступень призвания. Кнехту как бы дали заглянуть во внутренние сферы; если кто-нибудь из двенадцати Магистров так близко подпускал к себе ученика этой ступени, то это означало не только личную благосклонность. То, что делает Магистр, всегда имеет не только личное значение.

При расставании оба ученика получили небольшие подарки. Йозефу досталась нотная тетрадь с двумя хоральными прелюдиями Баха, а его спутнику — изящное карманное издание Горация. Прощаясь с Кнехтом, Магистр сказал:

— Через несколько дней ты узнаешь, в какую тебя переведут школу. Туда я не смогу так часто наведываться, как в Эшгольц, но и там мы, пожалуй, свидимся, коли мне позволит здоровье. Если хочешь, можешь писать мне одно письмо в год, особенно меня интересуют твои успехи в музыке. Не запрещено тебе также критиковать своих учителей, однако не увлекайся этим. Тебя ждёт многое: уверен, что ты оправдаешь возлагаемые на тебя надежды. Наша Касталия ведь не только

отбор, это прежде всего иерархия, некое здание, каждый камень которого получает свой смысл и назначение от целого. Из этого здания нет выхода, и тот, кто поднимется выше, кому поручат более трудную миссию, не обретёт большей свободы, на него лишь ляжет большая ответственность. До свиданья, мой друг, рад был тебя повидать.

Оба ученика тронулись в обратный путь, оба в пути были веселее и разговорчивей, чем по дороге в Монпор; несколько дней, проведённых в другом окружении, среди других образов, знакомство с совершенно иной жизнью подбодрило их, словно бы освободили от эшгольских прощальных настроений, удвоив интерес к предстоящим переменам, к будущему. На привалах в лесу или где-нибудь над пропастью в горах под Монпором они вытаскивали из дорожных мешков свои деревянные флейты и играли песни на два голоса. А когда они снова добрались до высоты, с которой так хорошо был виден Эшгольц с его корпусами и деревьями, то разговор, состоявшийся не так давно на этом самом месте, показался им обоим чем-то очень далёким, давно минувшим. Всё обрело какую-то иную окраску, ни тот, ни другой не проронил ни слова, и в молчании этом было что-то от стыда за тогдашние чувства и за ска-

занные тогда слова, так скоро потерявшие свой вес и смысл.

Уже на второй день по возвращении в Эшгольц оба узнали, куда их переведут. Кнехту предстояло отправиться в Вальдцель.

Вальдцель

«Вальдцель же порождает искусное племя играющих», — гласит старинное речение об этой знаменитой школе. По сравнению с другими касталийскими школами той же ступени, здесь более всего царствовали музы, и если в остальных школах, как правило, преобладала какая-нибудь наука, например, в Койпергейме — классическая филология, в Порте — логика Аристотеля и схоластов, в Планвасте — математика, то в Вальдцеле, напротив, по традиции господствовала тенденция к универсальности, и соединению братскими узами науки и искусства, и наивысшим воплощением этого была Игра в бисер.

Правда, и здесь, как и во всех других школах, её не преподавали официально, нигде она не была обязательной дисциплиной; зато почти все ученики Вальдцеля посвящали ей своё свободное время, к тому же городок Вальдцель был, так сказать, официальной столицей Игры и всех её учреждений: здесь находилась знаменитая зала, где проводились торжественные Игры, здесь же помещался огромный Архив Игры, здесь же располагалась и резиденция Магистра Игры.

Несмотря на то что все эти институты были совершенно самостоятельны и вальдцельская школа никак не была с ними связана, всё же дух Игры чувствовался во всей атмосфере городка, в нём всегда витало что-то от священнодействия публичных Игр. Городок и впрямь гордился не только школой, но и Игрой. Учеников школы жители называли студентами, а обучающихся в школе Игры и их гостей «лузерами» (искажённое *«lusores»*[32]). Кстати, вальдцельская школа была самой малочисленной из всех касталийских школ, редко когда в ней одновременно обучалось более шестидесяти учеников, и, конечно же, это обстоятельство придавало ей характер чего-то исключительного, аристократического. Создавалось впечатление, будто школа эта отличается от других, являясь как бы элитой среди элиты; да и то сказать, за последние десятилетия из стен этой достойнейшей из школ вышли многие Магистры и все Магистры Игры. Следует, однако, отметить, что слава эта далеко не для всех была неоспоримой, кое-где высказывалось мнение о вальдцельсах как о надменных эстетах, избалованных принцах, ни к чему, кроме Игры, не

[32] Примечания: [32]
Игроки (лат.).

пригодных; наступали времена, когда в других школах о Вальдцеле ходили весьма суровые и горькие отзывы, но ведь именно острота и резкость подобных нападок говорят о наличии причин для зависти. Как бы то ни было, а перевод в Вальдцель являлся неким отличием; Йозеф Кнехт знал это и, хотя был лишён вульгарного честолюбия, принял это отличие с радостью и даже гордился им.

Вместе с несколькими товарищами он прибыл в Вальдцель пешком. Исполненный нетерпеливых ожиданий, он миновал южные ворота и сразу же был покорён древним городком и широко раскинувшимися постройками цистерцианского монастыря, в котором теперь размещалась школа. Так и не скинув дорожного платья, только легко перекусив в привратницкой, Йозеф один отправился на прогулку открывать свою новую родину, довольно скоро обнаружил тропинку, бегущую вдоль берега по развалинам старинной городской стены, ненадолго задержался на сводчатом мосту, послушал шум плотины, доносившийся со стороны мельницы, спустился по липовой аллее мимо погоста и за высокой изгородью увидел и сразу признал маленькое обособленное селение посвятивших себя Игре:

торжественную залу, Архив, лекционные и гостевые помещения, а также домики учителей. Из дверей одного из них вышел человек в одежде мастера Игры, и Йозеф подумал, что здесь, должно быть, и есть какой-нибудь легендарный *lusor,* а может быть, и сам *Magister Ludi.* Подобно волшебству, окутала пришельца эта атмосфера, всё здесь было таким древним, полным достоинства, на всём лежала печать давних традиций, всё было словно освящено, и здесь ты был ближе к центру, чем в Эшгольце. Возвращаясь из сферы притяжения Игры, Йозеф ощутил воздействие ещё и других чар, быть может, менее возвышенных, но не менее волнующих. То был маленький городок, частица низменного мира со всем его житьём-бытьём: собачками и детскими колясками, запахами лавок и ремёсел, бородатыми бюргерами и толстыми торговками за прилавком, играющими и плачущими ребятишками и насмешливо поглядывающими девицами. Многое напоминало здесь ещё доисторические времена, Берольфинген, а он-то думал, что давным-давно всё уже позабыл. Теперь какие-то глубинные пласты его души отзывались на всё это — на картины, на запахи, на звуки. Здесь ему предстояло узнать не такой тихий, однако более

богатый и разнообразный мир, чем тот, который он познал в Эшгольце.

Сами занятия сначала были прямым продолжением эшгольцских, разве что прибавилось несколько новых предметов. Подлинно новыми оказались только упражнения в медитации, правда, и к ним Йозеф после первых уроков Магистра музыки тоже в какой-то степени уже приобщился. Он охотно посещал эти уроки, видя в них прежде всего приятную, снимающую напряжение игру. И лишь немного поздней — мы ещё вспомним об этом — он на самом себе познал истинное и высокое значение медитации. Директором школы в Вальдцеле был некий оригинал по имени Отто Цбинден, уже тогда перешагнувший за шестой десяток и внушавший ученикам некоторый страх; кстати, его темпераментным и очень красивым почерком сделано несколько уцелевших до наших дней записей об ученике Йозефе Кнехте. Впрочем, на первых порах не столько учителя, сколько соученики вызывали интерес и любопытство новичка. Особенно часто общался он с двумя, причём общение это было довольно оживлённым, о чём имеются многочисленные свидетельства. Тому, с которым он сошёлся в первые же месяцы (его звали Карло

Ферромонте[33], и впоследствии он как заместитель Магистра музыки занял вторую по важности должность в Коллегии), было столько же лет, сколько и Кнехту. Ему мы обязаны, между прочим, созданием истории стилей игры на лютне в шестнадцатом веке. В школе его прозвали «поедателем риса», ценили в нём приятного товарища по играм. Дружба его с Йозефом, начавшись с разговора о музыке, продолжалась многие годы. Вместе они разучивали пьесы, вместе играли упражнения, о чём нам стало известно благодаря чрезвычайно содержательным письмам Кнехта к Магистру музыки, правда, малочисленным. В одном из первых этих писем Кнехт отзывается о Ферромонте как о «специалисте и знатоке музыки богатого орнамента, украшений, трелей и т.п.»; он играл с ним Куперена, Перселла и других композиторов семнадцатого и восемнадцатого веков. В другом письме мы находим оценку этих упражнений и этой музыки, «где в некоторых пьесах почти каждая нота имеет знак украшений», Кнехт продолжает: «После того как ты

---

[33] Примечания: [33]

Карло Ферромонте — итальянская форма имени и фамилии Карла Изенберга, немецкого музыковеда-фольклориста, друга и родственника Гессе. По собственному признанию писателя, образ Ферромонте — наиболее портретный образ во всём романе.

несколько часов подряд ничего другого не делал, как разучивал форшлаги, трели и морденты, у тебя пальцы словно заряжены электричеством».

В музыке Йозеф Кнехт делал действительно большие успехи. На второй и третий год пребывания в Вальдцеле он довольно бегло играл и читал с листа ноты, ключи, сокращения, басовые обозначения всех веков и стилей и обжился в царстве западноевропейской музыки в той мере, в какой она сохранилась до наших времён, с её законами рукомесла, почитанием и пестованием как чувственного, так и технического, дабы можно было овладеть самим её духом. Именно его стремление схватить чувственный момент, его жажда через чувственное, через звук, через необычное для слуха в различных музыкальных стилях проникнуть в дух музыки довольно долго препятствовали ему начать предварительное изучение Игры. В своих лекциях, прочитанных, разумеется, гораздо позднее, Кнехт следующим образом сформулировал это: «Кто знает музыку только по экстрактам, извлечённым из неё Игрой стеклянных бус, может быть, и не плохой мастер Игры, но далеко ещё не музыкант и, вероятно, не историк. Музыка состоит не только из тех чисто духовных колебаний и фигур, которые мы

из неё извлекли — в течение многих веков она была прежде всего эмоциональной радостью, радостью выдоха, отбивания такта, радостью, рождающейся при слиянии голосов, совместном звучании инструментов, радостью красок, трений и раздражений. Бесспорно, дух — это главное, и не менее бесспорно, что изобретение новых инструментов, изменение старых, введение новых тональностей и новых композиционных и гармонических правил, а также наложение запретов — всего лишь внешнее явление, подобно тому как наряды и моды народов являются чем-то внешним. Однако необходимо эмоционально охватить и вкусить эти внешние и чувственные признаки, чтобы, исходя из них, постигнуть эпохи и их стили. Музыка создаётся не одним мозгом, а руками и пальцами, горлом и лёгкими, и тот, кто умеет читать ноты, но не владеет в совершенстве каким-нибудь инструментом, пусть лучше не рассуждает о музыке. Следовательно, и историю музыки нельзя понять, исходя только из абстрактной истории стилей: например, периоды упадка музыки вообще останутся непостижимыми, если мы не распознаем в них всякий раз преобладания чувственного и количественного над духовным».

Одно время казалось, что Кнехт решил стать музыкантом. Всеми факультативными занятиями, в том числе и введением в Игру, он настолько манкировал ради музыки, что директору в конце первого семестра пришлось вызвать его на беседу. Но ученик Кнехт не дал себя запугать, он упрямо ссылался на свои ученические права. Сообщают, будто бы он заявил директору: «Если я отстану по какому-нибудь обязательному предмету, вы вправе порицать меня; но для этого я не давал вам повода. Напротив, я вправе распоряжаться остающимся у меня временем и посвящать три четверти его и даже все четыре — музыке. Мне достаточно сослаться на устав».

У директора хватило ума не настаивать, но, разумеется, он взял на заметку строптивого ученика и долгое время обращался с ним холодно и строго.

Более года, предположительно даже полтора года, тянулся этот несколько странный период ученичества Кнехта: обычные, отнюдь не блестящие баллы, тихое и, как нам кажется, после его разговора с директором немного упрямое уединение, никаких заметных дружеских связей, зато необыкновенное и страстное усердие в музыке, забвение ради неё почти всех необязательных

дисциплин, даже Игры. Некоторые черты этого юношеского портрета — несомненно черты переходного возраста. С другим полом он в этот период сталкивался только случайно, испытывая большое недоверие, мы предполагаем в нём даже (это свойственно многим выпускникам Эшгодьца, если у них не было сестёр) большую долю робости. Читал он много, особенно увлекался немецкими философами: Лейбницем, Кантом, романтиками, из которых наибольшее влияние оказал на него Гегель.

Здесь следует несколько подробнее остановиться на фигуре того соученика Кнехта, который сыграл решающую роль в его вальдцельской жизни, — на вольнослушателе Плинио Дезиньори. Как уже сказано, он был вольнослушателем, те есть обучался в школах элиты как некий гость, не намереваясь впоследствии вступить в Орден и навсегда остаться в Педагогической провинции. Таких вольнослушателей время от времени можно было встретить в школах элиты, не очень часто, правда, так как Воспитательная Коллегия не дорожила подготовкой учеников, которые по окончании школы возвращались домой и тем самым в «мир». Но в стране имелось несколько старинных патрицианских родов, сослуживших

Касталии в годы её основания немалую службу; обычно они посылали одного из своих сыновей, если он был достаточно одарён, в Касталию для воспитания в элитарной школе, право это тоже сохранялось за ними по традиции. Хотя вольнослушатели во всех отношениях подчинялись тем же правилам, что и остальные ученики, они всё же были среди сверстников исключением, хотя бы потому, что с каждым годом не отдалялись всё более от родины и семьи, да и все каникулы проводили дома. Однокашники же считали их гостями и чужаками, так как нравы и образ их мыслей определялись семьёй, родиной. Их ждал родительский кров, светская карьера, определённая профессия, брак и лишь весьма редко случалось, что такой гость, захваченный духом Провинции и в согласии со своим семейством, оставался в Касталии и вступал в Орден. Зато мы знаем в истории нашей страны несколько государственных деятелей, которые, будучи в юности такими вольнослушателями, самым решительным образом защищали элитарную школу и Орден, когда по тем или иным причинам общественное мнение было настроено против них.

Именно таким вольнослушателем был Плинио Дезиньори, и с ним-то Йозеф Кнехт — годами

немного моложе — столкнулся в Вальдцеле. То был юноша высокоодарённый, блиставший своим красноречием и умением вести спор, темпераментный и несколько беспокойный, причинявший немало забот директору Цбиндену. Ибо хотя Плинио учился хорошо и в этом смысле его ни в чём нельзя было упрекнуть, он не прилагал никаких стараний к тому, чтобы забыть своё исключительное положение, не лезть на глаза и скромно повиноваться, но, напротив, открыто и задорно провозглашал свои антикасталийские, мирские взгляды. Неминуемо эти двое юношей должны были столкнуться: оба были талантливы, оба призванные, это делало их братьями, в то время как во всём остальном они были полной противоположностью друг другу. Лишь постигнув самую сущность подобного противоречия и сняв его по всем правилам диалектики, учитель оказался бы в состоянии решить встающую здесь задачу и добиться необходимого синтеза. Для этого нужна была немалая прозорливость и высокое педагогическое мастерство. Но хотя данных и желания у директора имелось вдоволь (он не принадлежал к тем учителям, которые терпеть не могут учеников, отмеченных гением), у него всё же отсутствовало важнейшее условие:

доверие обоих учеников. Плинио, уже вошедший в роль одиночки и бунтаря, держался по отношению к директору всегда настороже; а с Йозефом у Отто Цбиндена отношения разладились из-за факультативных занятий, так что за советом к нему Йозеф никогда бы не обратился. Но, на счастье Кнехта, существовал ещё Магистр музыки. У него-то Кнехт и попросил поддержки, а мудрый старец, отнесясь ко всему весьма серьёзно, мастерски сыграл эту игру, как мы увидим ниже. В его руках величайшее искушение в жизни юного Кнехта, опасность, грозившая ему, обернулась увлекательной задачей, а сам он оказался её достойным. Канва этой дружбы-вражды между Йозефом и Плинио, или композиция на две темы, или диалектическая игра между двумя умами выглядела примерно следующим образом.

Как и следовало ожидать, Йозеф первым обратил внимание на своего будущего партнёра Дезиньори и даже увлёкся им. И не только потому, что Плинио был старше, что он был красивым, темпераментным и красноречивым юношей, но прежде всего потому, что он был «оттуда», из внешнего мира, что он был некасталийцем, человеком, у которого были мать, отец, дяди, тёти, сёстры и братья, человеком, для которого

Касталия со всеми её законами, традициями и идеалами была всего лишь одним из этапов, отрезком пути, временным пристанищем. Для этой белой вороны Касталия вовсе не означала всего мира, Вальдцель для Плинио был школой, как многие другие, а возвращение в «мир» не несло с собой позора и кары. Его не ожидало вступление в Орден, ему предстояли карьера, брак, политическая борьба, короче — та «реальная жизнь», о которой каждый касталиец втайне жаждал бы узнать побольше, ибо «мир» представлялся касталийцу, как он некогда представлялся кающемуся грешнику или монаху, чем-то неполноценным и запретным, однако от этого не менее таинственным, соблазнительным и влекущим. А Плинио ничуть не скрывал своей принадлежности к этому миру, не стыдился её, напротив, он был горд ею. С мальчишеским полунаигранным рвением он сознательно подчёркивал свою обособленность, пользуясь любым поводом, чтобы противопоставить свои мирские воззрения и мерки — касталийским, выдавая свои за лучшие, более правильные, естественные и человечные. При этом он часто ссылался на «природу» и «здравый смысл», противопоставляя их искажённому и чуждому жизни «духу школы», не скупился на

громкие слова и ярлыки, однако у него хватало вкуса и ума не прибегать к грубым провокациям и по мере сил не переступать обычных для Вальдцеля правил ведения диспутов. Защищая «мир» и наивную жизнь от «высокомерной схоластической духовности» Касталии, он стремился доказать, что способен добиться успеха оружием самого противника; он отнюдь не желал играть роль дикаря, «который в слепоте своей топчет цветник» интеллектуального образования.

В то время часто можно было наблюдать, как Йозеф Кнехт, держась где-нибудь в задних рядах, внимательно слушал ораторствующего Дезиньори. Любопытство, удивление и страх охватывали Йозефа, когда Плинио уничтожал всё свято чтившееся в Касталии, всё ставил под сомнение, высмеивал то, во что он, Кнехт, верил. Но Йозеф замечая также, что далеко не все присутствовавшие относились серьёзно к подобным речам, многие слушают Плинио только потехи ради, как слушают базарного крикуна. Не раз при нём и возражали Плинио, то иронизируя над его нападками, то опровергая их. Однако вечно около этого вольнослушателя кто-нибудь да толкался, вечно он привлекал внимание; и был у него под рукой противник или нет, всегда что-то притягивало

к Дезиньори, всегда он вводил в соблазн. Йозеф, должно быть, чувствовал то же, что и остальные ученики, толпившиеся около оратора, встречая его тирады порой смехом, а порой и удивлением, но, несмотря на робость, даже страх, нападавший на него, когда он слышал подобные речи, Йозеф одновременно ощущал и их чудовищную притягательную силу, и не только потому, что они развлекали его, — нет, они захватывали его куда глубже. Разумеется, внутренне он не соглашался ни с какими мыслями смелого оратора, нет, но имелись определённые сомнения, о существовании которых или даже о возможности существования которых достаточно было знать, чтобы они уже причиняли боль. Вначале боль эта не очень беспокоила: что-то задевало его, что-то тревожило, рождая неопределённые чувства, — нечто среднее между буйным стремлением куда-то и нечистой совестью.

Вот почему должен был настать час, и он настал, когда Дезиньори заметил, что среди слушателей есть один, для которого речи его нечто большее, нежели занятная или предосудительная забава или просто утоление страсти к спорам. Это был молчаливый светловолосый юнец в тонкими чертами, немного робкий на

вид, он краснел и конфузился, скупо отвечая на его, Плинио, доброжелательные расспросы. «Должно быть, мальчишка давно уже следит за мной», — подумал Плинио, решив вознаградить его каким-нибудь приветливым жестом и тогда уже полностью завоевать; он пригласил Кнехта после полудня к себе в комнату в гости. Однако к этому стеснительному и суховатому юноше не так-то легко было подступиться! К удивлению своему, Плинио заметил, что юнец сторонится его, не вступает в разговор, а приглашение прийти в гости даже не принял. Это, в свою очередь, раззадорило старшего, и он тут же начал обхаживать Йозефа, сначала побуждаемый только самолюбием, а затем и всерьёз, ибо почувствовал в нём достойного противника, возможно, будущего друга или, наоборот, врага. Не раз он видел Йозефа неподалёку от себя, тот напряжённо слушал, но тут же отступал, как только Плинио хотел подойти к нему.

Такое поведение Йозефа имело свои резоны. Давно уже понял он, что в лице этого вольнослушателя и чужака его ждёт что-то важное, быть может, прекрасное, какое-то расширение горизонта, открытие, познание нового, но, может быть, и опасный соблазн, во всяком случае, нечто,

перед лицом чего ему надо было выстоять. Своими первыми сомнениями, вызванными встречей с Плинио, он поделился с Ферромонте, но Карло не обратил на них никакого внимания, считая Плинио самонадеянным и много воображающим о себе малым, которого незачем и слушать, — и сразу же снова погрузился в свои музыкальные упражнения. Что-то подсказывало Йозефу: пойди к директору, поделись с ним своей тревогой, своими сомнениями, но после того памятного разговора у Йозефа не осталось и следа приязни к Цбиндену. Он не мог пойти к нему и всё рассказать, боясь, что его не поймут, или ещё того хуже: разговор о бунтаре директор воспримет как некий донос. И вот, смущённый попытками Плинио дружески сблизиться с ним, он обращается к своему доброжелателю и доброму гению, Магистру музыки, и посылает ему подробное письмо, к счастью, сохранившееся до наших дней. «Я ещё не уяснил себе, — пишет он, — надеется ли Плинио в моём лице приобрести единомышленника или ему нужен собеседник. Надеюсь на второе. Ведь стремление обратить меня в свою веру означало бы попытку толкнуть меня на предательство, попытку разрушить всю мою жизнь, неразрывно связанную теперь с Кастали-

ей. За её пределами у меня нет ни родителей, ни друзей, к которым я мог бы вернуться, если бы у меня когда-нибудь возникло такое желание. Но если дерзкие речи Плинио не имеют целью обратить меня или оказать на меня определённое влияние, они всё же очень смущают меня. Хочу быть с вами, уважаемый Магистр, предельно откровенным: образ мыслей Плинио несёт в себе нечто такое, что я не могу отмести простым „нет“; он взывает к какому-то голосу во мне, который склонен порой согласиться с ним. Скорей всего это голос самой природы, вступающий в противоречие с моим воспитанием и свойственными нам взглядами. Когда Плинио именует наших учителей и Магистров жреческой кастой, а нас, учеников, послушным стадом выхолощенных баранов, то это, разумеется, грубые и нарочитые слова, но какая-то правда, быть может, всё же в них есть, ведь иначе они бы меня не тревожили? Плинио способен высказывать поразительные и обескураживающие вещи. Например, так: Игра, по его мнению, — рецидив *фельетонистической эпохи,* пустая и безответственная игра с буквами, в которой мы растворили язык различных видов искусства и науки; вся она состоит из одних ассоциаций, играет с одними аналогиями. Или вот

ещё пример: доказательством бессмыслицы всего нашего духовного образования и отношения к жизни является наше сознательное бесплодие. Например, вы анализируете, говорит он, законы, стили и технику всех музыкальных эпох, а сами не создаёте никакой новой музыки. Вы читаете и толкуете Пиндара и Гёте, говорит он, и стыдитесь сами сочинять стихи. Всё это такие упрёки, от которых я не в силах отделаться смешком. И они ещё не самые страшные, не те, что ранят меня больнее всего. Хуже, когда он, например, утверждает будто мы, касталийцы, живём наподобие искусственно выведенных певчих птиц, не зарабатывая себе на хлеб, не зная горестей и борьбы за существование, не зная и не желая знать о той части человечества, на труде и бедности которой зиждется наша комфортабельная жизнь». Письмо заканчивается словами: «Глубокочтимый Магистр, быть может, я злоупотребил Вашей добротой и вниманием, — я готов услышать из Ваших уст упрёк. Побраните меня, наложите на меня епитимью, буду только благодарен Вам. Право, я нуждаюсь в Вашем совете. Некоторое время я ещё выдержу это состояние, но повернуть всё в нужную сторону — для этого я слишком слаб и неопытен, и самое плохое, что я не могу

довериться нашему директору, разве что Вы мне это строго прикажете. Вот почему я докучаю Вам тем, что постепенно становится для меня всё более тяжким бременем».

Ах, какую неоценимую услугу оказал бы нам ответ Магистра, держи мы его, чёрным по белому, в наших руках! Но ответ был дан устно. Вскоре после того, как Йозеф отправил письмо, Магистр музыки посетил Вальдцель, чтобы принять экзамен, и в первый же день своего пребывания наилучшим образом позаботился о своём юном друге. Мы знаем об этом из рассказов самого Кнехта. Магистр отнюдь не облегчил ему задачи. Он начал с тщательной проверки школьных отметок Кнехта и в особенности его приватных занятий, каковые Магистр нашёл чересчур односторонними. В этом он согласился с директором, настояв, чтобы Йозеф сам во всём признался последнему. Относительно того, как Йозефу вести себя с Дезиньори, он оставил весьма определённые указания и уехал не ранее, чем обсудил всё с Цбинденом. Последствием был не только примечательный и незабываемый для всех, кто был тому свидетелем, поединок между Дезиньори и Кнехтом, но также и совершенно новые отношения между Кнехтом и директором.

Правда, они и теперь не были задушевными и таинственными, как в случае с Магистром музыки, но они прояснились, и напряжённость исчезла.

Новая роль, выпавшая на долю Йозефа Кнехта, надолго определила всю его жизнь. Ему было дозволено принять предложенную Плинио дружбу и, так сказать, с открытым забралом встретить его атаки, причём учителя не должны были вмешиваться или контролировать их. Главная задача, поставленная Магистром, заключалась в следующем: Кнехту вменялось в обязанность защищать Касталию от её критиков, а весь диспут вести на самом высоком уровне; это повлекло за собой, между прочим, необходимость активного усвоения всех законов, существовавших в Ордене и Касталии, отчётливого их осознания. Прошло немного времени, и диспуты между подружившимися противниками приобрели известность, ученики боялись пропустить хотя бы один из них. Агрессивный, иронический тон Дезиньори утратил свою прежнюю грубость, формулировки его стали осторожней и ответственней, критика более конкретной. До этого на стороне Плинио были почти все преимущества: он прибыл из «мира», обладал его опытом, его методами и средствами нападения, да и в нём самом было

что-то от бездушности этого мира; из разговоров, ведшихся взрослыми в доме Дезиньори, ему было известно примерно всё, что этот мир имел против Касталии. Но возражения Кнехта заставили его теперь понять: хоть он и знал свой мир недурно, лучше любого касталийца, зато Касталию, её дух «он знал куда хуже, нежели те, для кого она была родным домом, одновременно родиной и судьбой. Он стал понимать и постепенно даже признавать, что он здесь гость, а не абориген, и что не только там, в его мире, но и здесь, в Педагогической провинции, имеется вековой опыт и кое-какие достижения, и здесь имеются традиции, даже своя «природа», которую он знал только частично и которая теперь, через своего глашатая Йозефа Кнехта, требовала к себе уважения. А Кнехт, чтобы лучше справляться с ролью апологета, вынужден был путём занятий, медитации и самовоспитания всё яснее, всё глубже усваивать то, что ему предстояло защищать. В риторике Дезиньори всегда одерживал верх, здесь, помимо темперамента и честолюбия, свойственных ему от природы, ему помогали некоторый светский опыт и знание жизни; даже терпя поражение, он никогда не забывал о слушателях и обеспечивал себе достойное или, во всяком случае, остроумное

отступление, в то время как Кнехт, припёртый противником к стене, мог, например, сказать: «Об этом мне надо ещё подумать. Подожди несколько дней, Плинио, я тебе тогда напомню».

Если отношения двух юношей и обрели теперь достойную форму, а их диспут стал непременным атрибутом тогдашней вальдцельской жизни, то для Кнехта ни сама его беда, ни весь конфликт ничуть не сделались легче. Благодаря высокому доверию и ответственности, возложенной на него, он справился с задачей, и доказательством силы и здоровья его натуры служит то, что он достиг этого без видимого вреда для себя. Но в душе он очень страдал. Ведь дружеские чувства, которые он испытывал к Плинио, предназначались не только обаятельному и остроумному, светскому и бойкому на язык товарищу, но в не меньшей мере тому чужому миру, который его друг и противник представлял, который Кнехт угадывал и познавал в образе Дезиньори, в его словах и жестах; тому, так называемому «реальному миру», где существовали нежные матери и дети, голодающие люди и приюты для бедных, газеты, избирательная борьба; тому примитивному и вместе изысканному миру, куда Плинио ездил на каникулы, чтобы навестить родителей,

братьев и сестёр, поухаживать за девушками, посетить собрания рабочих или развлечься в фешенебельном клубе, в то время как он, Йозеф Кнехт, оставался в Касталии, ходил в походы с однокашниками, купался, разбирал ричеркары Фробергера[34] или читал Гегеля.

Что сам он полностью принадлежит Касталии и должен жить касталийской жизнью, жизнью без газет, без семьи, без кое-каких легендарных развлечений, но и без нужды и голода,– кстати, ведь и Плинио, столь яростно обзывавший учеников элиты трутнями, никогда не голодал и ни разу не заработал себе на кусок хлеба, — в этом Кнехт ни минуты не сомневался. Нет, мир Плинио вовсе не был наилучшим из миров, не был он и более разумно устроен. Но он существовал, он был здесь, и, как было известно из всемирной истории, существовал всегда и всегда был примерно таким же, как теперь. Многие народы никакого другого мира не знали, они даже не догадывались о существовании элитарных школ и Педагогической провинции, Ордена, Магистров

---

[34] Примечания: [34]

Ричеркар — музыкальное произведение полифонического склада, имевшее распространение в западноевропейской музыке XIV–XVII вв. **Фробергер** Иоганн Якоб — немецкий композитор и органист XVII в. Все имена композиторов в романе подлинные.

и Игры. Великое множество людей на земле жило иной жизнью, чем жили в Касталии, проще, примитивней, опасней, незащищенней, беспорядочней. И этот примитивный мир был для людей родным, да Кнехт и сам чувствовал какой-то его след в собственном сердце, подобие любопытства, тоски по нему и даже жалости к нему. Отдать ему должное, отвести ему место в собственном сердце, но не поддаться ему — вот задача. Ибо рядом с ним и выше его существовал другой мир, мир Касталии, мир духа, искусственно созданный, упорядоченный и охраняемый, однако нуждающийся в постоянном надзоре и воссоздании себя, мир иерархии. Служить Касталии, не попирая и тем более не презирая и другой мир, и притом не поглядывать на него исподтишка, с неясными желаниями, с тоской по родине — да, это было бы вернее всего! Ведь маленькая Касталия служит большому миру, она поставляет ему учителей, книги, разрабатывает научные методы, заботится о чистоте духовных функций и морали и всегда, как некая школа и прибежище, открыта для небольшого числа людей, предназначенных посвятить свою жизнь духу и истине. Но почему же оба мира не живут в полной гармонии и братстве рядом друг с другом, проникая друг в друга?

Почему нельзя объединить и тот и другой в своём сердце и оба лелеять?

Случилось так, что один из приездов Магистра музыки совпал с периодом, когда Йозеф, уставший и измученный возложенной на него задачей, с превеликим трудом сохранял душевное равновесие. Магистр понял это по некоторым намёкам юноши, но гораздо отчётливее свидетельствовал о том же его переутомлённый вид, беспокойный взгляд, какая-то рассеянность. Магистр задал несколько наводящих вопросов, натолкнулся на упрямое нежелание отвечать, перестал спрашивать и, озабоченный состоянием Йозефа, повёл его в класс фортепиано, якобы намереваясь сообщить ему о некоем открытии музыкально-исторического характера. Он попросил Кнехта принести клавикорды, настроить их и мало-помалу втянул его в разговор о происхождении сонаты, покуда ученик в конце концов в какой-то мере не забыл о своих бедах, не увлёкся и, уже сбросив с себя напряжение, благодарно внимал словам и игре Магистра. А тот не торопил его, спокойно дожидаясь, когда придёт готовность к восприятию, которой Йозефу так недоставало. И когда она пришла, Магистр закончил своё сообщение, сыграв одну из сонат Габриэли, затем

поднялся и, медленно расхаживая по небольшому классу, стал рассказывать.

— Многие годы тому назад соната эта меня очень занимала. То были годы моего студенчества, ещё до того, как меня назначили учителем, а затем Магистром музыки. В то время я носился с честолюбивой мечтой написать историю сонаты с новых позиций, и тут наступил для меня период, когда мне не только не удавалось подвинуться ни на шаг вперёд, но меня охватывали сомнения, имеют ли вообще какой-то смысл все эти музыковедческие и исторические исследования и изыскания, действительно ли они нечто большее, нежели забава праздных людей, мишурный духовный заменитель подлинно переживаемой жизни. Короче, мне предстояло преодолеть один из тех кризисов, когда всякая наука, всякое духовное напряжение, всякая идея вообще кажутся нам сомнительными, не имеющими никакой цены, когда мы склонны завидовать крестьянину, шагающему за плугом, влюблённой парочке, гуляющей по вечерам, птице, поющей в листве, и каждой цикаде, звенящей летом на лугу, ибо жизнь их представляется нам наполненной до краёв и такой естественной, такой счастливой — ведь о нуждах их, о тяготах,

опасностях и страданиях мы ничего не ведаем! Одним словом, я потерял всякое равновесие и должен признаться, что приятным такое состояние никак не назовёшь, мне, право, было очень тяжело. Я придумывал самые диковинные варианты бегства и освобождения, помышлял о том, чтобы стать бродячим музыкантом и кочевать со свадьбы на свадьбу[35], и если бы, как это описывается в старинных романах, мне в ту пору явился чужестранный вербовщик и предложил надеть мундир, вступить в любое войско и принять участие в любой войне, я бы не отказался. В конце концов, как оно и бывает в таких случаях, я настолько растерялся, что сам уже ничего не понимал, и мне крайне необходима была помощь со стороны.

На мгновение Магистр остановился, лёгкая улыбка скользнула по его лицу. Затем он продолжал:

— Разумеется, был у меня, как оно и положено, руководитель моих учёных занятий, и, конечно

---

[35] Примечания: [35]

Образ нищего музыканта, со времён шубертовского «Шарманщика» органично входящий в образную систему немецкой романтической традиции, был с очень большой непосредственностью пережит самим Гессе в период рассказов о Кнульпе (см. предисловие). Таким образом, эта фраза Магистра музыки есть прощание Гессе с меланхолически безответственной мечтой, когда-то близкой ему самому.

же, наиболее разумным и правильным, даже долгом моим было бы обратиться именно к нему. Но так уж, Йозеф, всё устроено: именно когда ты попадаешь в трудное положение, сбиваешься с пути и тебе более всего нужна поддержка, у тебя возникает необоримое отвращение к самому простому и нормальному выходу, к просьбе о самой обыкновенной помощи. Моему руководителю не понравился мой квартальный отчёт, и он сделал мне несколько веских замечаний, а я-то думал, что на всех парах несусь к новым открытиям, новым концепциям, и потому немного обиделся на него за эти упрёки. Словом, у меня не было никакого желания обращаться к нему; я вовсе не хотел идти с повинной и признавать, что он оказался прав. Своим товарищам я тоже не мог довериться, но был у нас там по соседству один чудак, о котором я знал только понаслышке, специалист по санскриту, прозванный «йогом». И вот в минуту, когда я уже не в силах был выносить своё состояние, я отправился к этому человеку, чья одинокая и странная фигура столь же часто вызывала у меня улыбку, сколь и тайное восхищение. Я зашёл в келью, намереваясь обратиться к нему, но застал его в состоянии самоуглубления, в ритуальной индийской позе, и дозваться

его оказалось невозможным: с тихой улыбкой на устах он витал где-то в ином мире. Мне не оставалось ничего другого, как ждать подле дверей, покамест он очнётся. Ждал я долго, может быть, час, может быть, два, и под конец так устал, что невольно соскользнул на пол и остался сидеть, прислонившись к стене. Но вот мой чудак начал постепенно пробуждаться, чуть повернул голову, расправил плечи, медленно вытянул скрещённые ноги и, собираясь встать, увидел меня. «Что тебе?» — спросил он. Я поднялся и, не раздумывая, даже не сознавая, что, собственно, говорю, сказал: «Это сонаты Андреа Габриэли». Тут он выпрямился, посадил меня на свой единственный стул, сам присел на краешек стола и спросил: «Габриэли? Что же он тебе сделал своими сонатами?» Тогда я пустился рассказывать ему о себе и своём состоянии, и получилось у меня нечто вреде исповеди. А он принялся расспрашивать и стал вдаваться в такие подробности, что мне это показалось педантизмом: о всей моей жизни, о занятиях, о Габриэли и его сонатах, он непременно пожелал знать, когда я встаю, как долго читаю, сколько часов музицирую, когда принимаюсь за трапезу и когда отхожу ко сну. А я ведь уже доверился ему, даже как-то навязал себя, и теперь вынужден

был терпеливо сносить эти вопросы, отвечать на них; мне стало стыдно, а он расспрашивал всё беспощаднее, подвергая, по сути говоря, всю мою духовную и нравственную жизнь тщательному анализу. И вдруг он умолк, этот йог, а когда я и после этого ничего не понял, он пожал плечами и сказал: «Разве ты не видишь сам, в чём твоя ошибка?» Нет, я не видел. Тогда он поразительно точно воспроизвёл всё, о чём до этого расспрашивал, вплоть до первых признаков усталости, отвращения и умственного застоя, доказав мне, что всё это могло случиться только от слишком свободного и бездумного увлечения занятиями и мне давно пора с чужой помощью восстановить потерянные силы и контроль над собой. Раз уже я отважился отказаться от регулярных занятий медитацией, мне надлежало, по крайней мере, при первых неблагоприятных симптомах восполнить это упущение. И он был решительно прав. Я и впрямь уже довольно длительное время не прибегал к медитации, не находя для неё досуга, был как-то рассеян и раздражителен или слишком увлечён и возбуждён занятиями; мало того, по прошествии непродолжительного срока я даже перестал осознавать свой грех, и нужно же было, чтобы теперь, на пороге полного

краха и отчаяния, мне вдруг напомнил об этом другой! Поистине мне стоило тогда большого труда, собравшись с духом, победить в себе подобную распущенность, вернуться к школьным начальным упражнениям по медитации, чтобы постепенно вновь обрести способность к концентрации и самопогружению.

Вздохнув, Магистр закончил свою прогулку по комнате следующими словами:

— Таково-то мне пришлось, и я до сих пор немного стыжусь говорить об этом. Но так бывает всегда, Йозеф, чем большего мы требуем от себя и чем большего требуют от нас доставленные перед нами задачи, тем в большей степени мы зависим от источника силы — медитации, вновь и вновь дарящей нам примирение ума и сердца. Я мог бы привести тому немало примеров: чем интенсивнее увлекает нас стоящая перед нами задача, то возбуждая и возвышая, то утомляя и подавляя, тем легче мы забываем об этом источнике, подобно тому как при погружение в умственную работу мы часто забываем о своём теле и о необходимости заботиться о нём. Истинно великие люди всех времён и народов сами практиковали медитацию или, по крайней мере, бессознательно нащупывали тот путь, куда она ведёт. Осталь-

ные же, даже самые талантливые и сильные, в конце концов терпели поражение, потому что их задача или их честолюбивая мечта одерживала над ними верх, превращая в одержимых, и они уже не могли оторваться от сегодняшнего дня, соблюсти дистанцию. Ну, ты ведь знаешь это ещё из первых уроков. Это непреложная истина. Но в непреложности её убеждаешься только, когда сам собьёшься с пути.

Рассказ Магистра так глубоко запал в душу Йозефа, что он наконец почувствовал опасность, грозившую ему, и с удвоенным рвением предался медитации. Большое впечатление произвело на него и то, что Магистр впервые как бы приоткрыл перед ним свою личную жизнь, рассказал о своей юности, годах студенчества; впервые Йозеф осознал, что и полубог, Магистр, когда-то тоже был молодым человеком и тоже заблуждался. С благодарностью Кнехт думал о том великом доверии, какое оказал ему своим признанием Досточтимый. Значит, возможно было ошибаться, впадать в отчаяние, нарушать правила и инструкции, шагать по неверному пути и всё же, одолев свои ошибки и собравшись с силами, вновь вернуться на верную стезю и даже стать Магистром. И Йозеф поборол кризис.

В течение двух-трёх вальдцельских лет, покуда длилась дружба между Плинио и Йозефом, вся школа наблюдала за развёртывающейся перед ней драмой — дружбой-враждой Плинио и Йозефа. В этой драме в какой-то мере принимали участие все — от директора до самого юного ученика. Два мира, два принципа нашли своё воплощение в Дезиньори и Кнехте, каждый из них как бы возвышал другого, превращая любой спор в торжественный и представительный поединок, который волновал всех. И если Плинио после каждых каникул возвращался, словно прикоснувшись к матери-земле, исполненный свежих сил, то Йозеф черпал свежие силы в каждом размышлении, в каждой внимательно прочитанной книге, в каждой медитации, в каждой встрече с Магистром музыки и делался всё лучшим адвокатом и представителем Касталии. Когда-то давно, почти ещё ребёнком, он пережил своё первое призвание. Теперь он познал второе, и именно эти годы выковали из него совершенного касталийца. Он давно уже прошёл первый курс Игры в бисер и теперь, в каникулы, под наблюдением опытного руководителя стал набрасывать свои первые самостоятельные партии. Здесь ему открылся один из самых щедрых источников

радости и внутреннего отдохновения; со времени его ненасытных упражнений на клавесине и клавикордах с Карло Ферромонте ничто так не освежало его, так благодатно не действовало на него, ни в чём он не находил такого подтверждения самого себя, такого счастья, как в этих первых проникновениях в звёздный мир Игры.

Теми годами датированы и стихи Йозефа Кнехта, сохранившиеся до наших времён благодаря копиям Ферромонте; можно предположить, что их было гораздо больше, возможно также, что именно эти стихи, самые ранние из которых родились ещё до приобщения Кнехта к Игре, немало способствовали выполнению порученной ему роли и преодолению кризиса тех памятных лет. Каждый, кто прочтёт эти строфы, обнаружит в них следы потрясения, пережитого тогда Кнехтом под влиянием Плинио. Некоторые строки, несомненно, являются выражением глубокой тревоги, принципиальных сомнений в себе самом и в смысле жизни, покамест мы в конце концов в стихотворении «Игра стеклянных бус» не находим, по нашему мнению, удачное и благодетельное их разрешение. Между прочим, в самом факте написания этих стихов и в том, что он показывал некоторые из них товарищам, мы

видим уже некоторую уступку миру Плинио, определённый элемент бунтарства против законов Касталии. Ибо ежели Касталия и вообще отказалась от создания художественных произведений (в том числе и музыкальных — там приемлют лишь сочинение очень строгих по стилю и форме упражнений), то сочинительство стихов почиталось вовсе немыслимым и даже позорным. Итак, забавой, досужей безделицей эти стихи не назовёшь, понадобилось высокое давление, чтобы полились эти строки, изрядная доля упрямого мужества, чтобы высказать такое.

Нельзя не отметить также, что и Плинио Дезиньори под влиянием своего оппонента претерпел значительные перемены, и не только в смысле воспитания в нём достойных и честных методов борьбы. Шли школьные годы, оба сражаясь, дружили; Дезиньори видел, как его партнёр шаг за шагом вырастал в примерного касталийца, в образе друга всё зримей и живей представал перед ним самый дух Педагогической провинции. И подобно тому как он, Плинио, вызвал в Йозефе определённое брожение, привив ему нечто от атмосферы своего мира, он и сам вдыхал касталийский воздух, подпадая под его влияние и чары. Настал последний год его пребывания в

Вальдцеле, и вот однажды, по окончании двухчасового диспута об идеалах монашества и его опасностях, который они провели в присутствии старшего курса отделения Игры, Дезиньори увлёк Йозефа с собой на прогулку, чтобы сделать ему признание, которое мы цитируем по письму Ферромонте.

«Я, разумеется, давно уже знаю, Йозеф, что ты далеко не тот правоверный мастер Игры и святой касталиец, роль которого ты так блистательно играешь. Каждый из нас обоих сражается на том месте, на которое поставлен, и каждый из нас прекрасно знает, что то, против чего он борется, имеет право на существование и неоспоримую ценность. Ты стоишь на стороне высшей культуры духа, я отстаиваю естественную жизнь. В ходе нашей борьбы ты научился выслеживать и брать на мушку опасности этой естественной жизни; твой долг указывать на то, как естественная, наивная жизнь, лишённая духовной узды, заводит нас в трясину и непременно сталкивает к животному существованию и ещё ниже. А мой долг — не уставая, повторять, сколь проблематична, опасна и, наконец, бесплодна жизнь, зиждущаяся на одном лишь духе. Ну, хорошо, пусть каждый защищает то, в примат чего он верует: ты — дух,

я — природу. Однако не сетуй на меня, порой мне кажется, будто ты и в самом деле в наивности своей принимаешь меня за врага вашего касталийского духа, за человека, для которого ваши занятия, упражнения и игры — одна лишь мишура, хотя сам он по тем или иным причинам какое-то время и принимает в них участие. Что ж, дорогой мой, ты основательно ошибаешься, если действительно думаешь так! Должен тебе признаться: я испытываю к вашей иерархии нечто похожее на безумную любовь, часто она приводит меня в восторг, искушает меня как само счастье. Должен тебе признаться также, что несколько месяцев назад, находясь дома, я в разговоре с отцом добился от него разрешения остаться в Касталии и вступить в Орден, если в конце учения я сохраню это своё желание; и я был поистине счастлив, получив наконец его согласие. С недавних пор я твёрдо знаю: я им не воспользуюсь. И не потому, что у меня пропало желание! Нет, но с каждым днём я вижу всё ясней: остаться у вас было бы для меня бегством, вполне приличным, даже благородным, но всё же бегством. Поэтому я решил вернуться в мир. Но я навсегда останусь благодарным вашей Касталии и впредь намерен практиковать некоторые ваши

упражнения, а каждый год непременно буду принимать участие в большой торжественной Игре».

С глубоким чувством Кнехт передал это признание Плинио своему другу Ферромонте. А тот в цитируемом письме добавляет: «Для меня, человека музыки, это признание Плинио, к которому я не всегда бывал справедлив, было как бы музыкальным переживанием. Из противоречия „мир — дух“ или „Плинио — Йозеф“, из столкновения двух непримиримых принципов на моих глазах вырос синтез — концерт».

По окончании четырехгодичного курса обучения в Вальдцеле, когда Плинио уже предстояло возвращение в отчий дом, он передал директору школы письмо отца, в котором содержалось приглашение Йозефу Кнехту провести у них каникулы. Это был беспрецедентный случай. Хотя отпуска для путешествий и посещений мест за пределами Педагогической провинции и предоставлялись, главным образом с познавательной целью, и даже не так уж редко, однако всякий раз это было исключением, а не правилом, и такой возможностью располагали только студенты, а никак не ученики. Всё же директор Цбинден счёл приглашение, исходящее от главы столь высоко-

чтимого дома, достаточно важным и не решился отклонить его сам, а предложил рассмотреть комиссии Воспитательной Коллегии, которая очень скоро и ответила на него лаконичным отказом. Для друзей настала пора расставания.

— Подождём немного и попробуем им снова вручить приглашение, — заметил Плинио, — когда-нибудь да добьёмся своего. Ты обязательно должен познакомиться с родителями, всеми нашими, увидеть и понять, что все мы живые люди, а не просто сброд светских бездельников и деляг. Мне тебя будет недоставать. А ты, Йозеф, позаботься, чтобы оказаться на вершинах твоей хитроумной Касталии. Что и говорить, тебе как нельзя более подходит роль члена иерархии, но, сдаётся мне, роль бонзы больше, чем роль фамулуса[36], вопреки твоему имени. Я пророчу тебе великое будущее, в один прекрасный день ты станешь Магистром и тебя причислят к светлейшим.

Йозеф с грустью посмотрел на него.

— Тебе хорошо издеваться, — сказал он, пытаясь проглотить комок в горле. — У меня ведь нет и половины твоего честолюбия, и если я ко-

---

[36] Примечания: [36]
Слуга (лат.).

гда-нибудь и займу важный пост, то ты к тому времени давно уже будешь президентом или бургомистром, федеральным советником или университетским профессором. Но ты всё же не поминай нас лихом, Плинио, и всю Касталию не забывай? Ведь и у вас, там в миру, должны быть люди, которые знают о Касталии нечто большее, чем анекдоты, столь охотно о нас распространяемые…

Они пожали друг другу руки, и Плинио уехал. Последний вальдцельский год прошёл для Йозефа как-то очень тихо, его такая тяжёлая и утомительная обязанность, можно сказать, роль общественного лица, неожиданно отпала, Касталия более не нуждалась в защитнике.

Свой досуг он в тот год посвятил Игре, всё сильней увлекавшей его. Чудом дошедшая до нас записная книжка, в которую он тогда заносил свои замечания о теории и значении Игры, начинается словами: «Вся наша жизнь, как физическая, так и духовная, есть некий динамический феномен, из полноты которого Игра схватывает лишь эстетическую сторону и притом преимущественно в виде ритмических процессов».

Годы студенчества

Йозефу Кнехту было теперь около двадцати четырёх лет. С уходом из Вальдцеля завершились его ученические годы и наступила вольная пора студенчества; если не считать беззаботных детских лет, проведённых в Эшгольце, годы студенчества были, пожалуй, самыми светлыми и счастливыми в его жизни. Поистине, в свободных поисках юноши, впервые сбросившего школьную узду, в его жажде открыть и завоевать всё и вся, в его стремительном движении к бесконечным горизонтам духовного мира есть нечто трогательное, прекрасное, нечто от подлинного чуда, ибо ещё не развеялась в прах ни одна иллюзия, не возникло сомнений ни в своей способности к безграничной самоотдаче, ни в безграничности духовного мира. Именно для таких дарований, как Йозеф Кнехт, для людей, по натуре своей стремящихся к цельности, к синтезу и к универсальности, не влекомых отдельной ярко выраженной способностью к ранней концентрации на одном каком-нибудь поприще, — для таких натур весна студенческой вольности бывает часто порой глубокого опьяняющего

счастья; однако без дисциплины, вынесенной из школы элиты, без душевной гигиены медитативных упражнений, без тактичного контроля со стороны Воспитательной Коллегии подобная свобода представляла бы для упомянутых дарований большую опасность и сыграла бы для многих роковую роль, как оно и случалось с огромным числом талантливых молодых людей до установления наших порядков в докасталийские века.

В те архаические времена высшие учебные заведения в иные периоды бывали переполнены юными натурами фаустовского типа, которые на всех парусах мчались в открытое море науки и академической свободы, неизбежно претерпевая все кораблекрушения необузданного дилетантизма; ведь и сам Фауст есть первообраз гениального дилетанта со всем присущим последнему трагизмом. В Касталии же духовная свобода студента бесконечно шире, чем в университетах прежних эпох, да и возможности для исследования куда богаче, к тому же Касталия не знает никакого воздействия материальных условий, здесь не играют роли честолюбие, страх, бедность родителей, забота о заработке и карьере и тому подобное. В академиях, семинарах, библиотеках, архивах, лабораториях Педагогической провинции все

студенты, какого бы они ни были происхождения, имеют безусловно равные возможности; их назначения на различные ступени иерархии определяются исключительно данными интеллекта и характера. И напротив, большая часть вольностей, соблазнов и опасностей, подстерегающих молодых людей в мирских университетах — как в области духа, так и в материальной сфере — в Касталии не существует вовсе. Разумеется, и здесь есть свои опасности, своё безумие и ослепление, да и где человечество избавлено от них? И всё же не одна возможность крушения, разочарования и гибели для касталийского студента закрыта. Не может он, например, предаться пьянству, не растратит он свою молодость на участие в шумливых и заговорщических сообществах, столь характерных для нескольких поколений студентов прошлых времён, не может он вдруг открыть, что его студенческий диплом явная ошибка, что в его школьной подготовке зияют уже невосполнимые пробелы; от всего этого его оберегают касталийские порядки. Опасность растратить свои силы на увлечение спортом или женщинами тоже не велика. Что касается женщин, то касталийский студент не знает ни опасностей и искушений брака, ни ханжества

прежних эпох, толкавших студента к аскетизму либо в объятия женщин, в большей или меньшей степени продажных, и просто девок. Поскольку для касталийских студентов не существует брака, то не существует для них и морали любви, связанной с институтом брака. Поскольку же у касталийца нет денег и, по сути говоря, никакой собственности, то для него не существует и продажной любви. В Педагогической провинции распространён обычай не выдавать бюргерских дочек слишком рано замуж, и потому до свадьбы студент или учёный для них самый подходящий любовник: этот уж никогда не спросит о происхождении и о доходах родителей, он давно привык по меньшей мере приравнивать духовные способности к материальным, в большинстве случаев обладает недюжинным воображением и доброй долей юмора, а поскольку денег у него не водится, он должен расплачиваться личными доблестями. Подруга касталийского студента не знает вопроса: а женится ли он на мне? Нет, он не женится. Правда, бывали и такие случаи: кто-нибудь из студентов элиты, женившись, возвращался в мир и отказывался от Касталии и Ордена. Однако эти немногочисленные случаи отступничества в истории школ и Ордена столь

редки, что обычно рассматриваются как курьёз.

Поистине степень свободы и самоопределения, предоставляемая ученикам элиты после выпуска из подготовительных школ во всех областях знаний, весьма велика. Ограничиваются они, если только дарование и интересы с самого начала их не сужают, обязанностью для каждого представлять план своих занятий на семестр, выполнение которого Коллегия контролирует весьма мягко. Многосторонне одарённые студенты, обладающие широкими интересами, — а к ним относился и Кнехт, — благодаря этой очень широкой свободе воспринимают первые студенческие годы как нечто удивительно заманчивое и радостное. И именно студентам с многосторонними интересами, если они не вовсе бездельники, Коллегия предоставляет почти райскую свободу. По своему желанию и выбору студент может заглядывать в любые науки, смешивать любые отрасли, одновременно увлекаться шестью или восемью предметами или же с самого начала ограничиться более узкой специальностью. Помимо выполнения общих для всей Провинции и Ордена правил поведения, от него ничего не требуется, лишь раз в год он обязан предъявлять карточки, где отмечены посещаемость лекций

и прочитанные студентом книги, а также прохождение практики в различных институтах. Более детальная проверка успехов начинается с посещения специальных курсов и семинаров, к которым относятся курсы Игры и консерватория; в этих случаях — и это само собой разумеется — студенты обязаны держать официальные экзамены и выполнять все задания, предложенные руководителем семинара. Но никто им не навязывает посещения этих курсов; студент может, если желает, годами просиживать в библиотеках или только слушать лекции. Тем студентам, которые не торопятся выбрать одну какую-нибудь науку, несколько оттягивая своё вступление в Орден, никто не мешает совершать длительные странствия по самым различным областям знания, напротив, их всячески поддерживают. Помимо моральной чистоты, от них требуют подачи один раз в год вымышленного «жизнеописания». Этой старой и столь часто высмеиваемой традиции мы и обязаны тремя жизнеописаниями, сочинёнными Кнехтом в студенческие годы. Речь в данном случае идёт не о добровольном и неофициальном литературной труде, в какой-то мере тайном, даже запретном, результатом которого были написанные в Вальдцеле стихи, а о вполне обычной

и официальной работе. Ещё на заре Касталии родился обычай обязывать младших студентов (ещё её принятых в Орден) писать особого рода новеллы или стилистические упражнения — так называемые «жизнеописания», представлявшие собой воображаемые биографии, отнесённые к любой из прошлых эпох. Перед студентом ставилась задача мысленно перенестись в окружение и культуру, духовную атмосферу какой-нибудь исторической эпохи и придумать себе соответствующую той обстановке жизнь. В зависимости от времени и моды это были: императорский Рим, Франция семнадцатого или Италия пятнадцатого веков, Афины эпохи Перикла или же Австрия времён Моцарта, а у филологов к тому же утвердилось правило составлять романы о своей жизни на языке и в стиле соответствующей страны и эпохи. Сохранились в высшей степени виртуозно сочинённые автобиографии в куриальном стиле папского Рима 1200 года, автобиографии, написанные на монашеской латыни, автобиографии, на итальянском языке «Ста новелл»[37], на французском Монтеня, в сти-

[37] Примечания: [37]

«Сто новелл», или «Новеллино» — составленный на рубеже XIII и XIV вв. сборник новелл, являющий собой первый образец итальянской повествовательной прозы.

ле немецкого барокко Мартина Опица[38] и т.п. В этом вольном и игровом жанре сохранились отголоски древнеазиатской веры в последующее возрождение и переселение душ; среди педагогов и среди учеников было распространено представление о том, что нынешней жизни, возможно, предшествовала другая, в другом обличии, в другие времена, в другой среде. Разумеется, это нельзя было назвать верой в строгом смысле слова, в ещё меньшей степени это было учением; лучше всего назвать это своего рода игрой, упражнением, полётом фантазии, попыткой представить себе своё собственное «я» в ином окружении и в иной обстановке. Так же, как в стилистических семинарах, а часто и в Игре, студенты в данном случае учились бережно приподнимать завесу над минувшими эпохами культуры, временами и странами, привыкали рассматривать себя как некую маску, временное обличье энтелехии. У подобной традиции есть своя прелесть, есть и свои преимущества, иначе он бы так долго не сохранился. Кстати, было довольно много студентов, в большей или меньшей степени веривших не только в идею возрожде-

[38] Примечания: [38]

Мартин Опиц (1597–1639) — важнейший представитель немецкой придворной поэзии XVII в.

ния душ в ином обличии, но и в правдоподобие ими самими созданных автобиографий. Конечно же, большинство этих воображаемых жизней не было просто стилистическим упражнением или историческим экскурсом, — нет, это была своего рода мечта, так сказать, идеальный или идеализированный автопортрет: студенты описывали себя, как правило, в тех костюмах, наделяли себя такими характерами, в каких им хотелось бы щеголять и какие они хотели бы иметь в идеале. Добавим, что эти жизнеописания представляли собой недурной педагогический приём, некую вполне официальную отдушину для потребности в поэзии, столь свойственной юношескому возрасту. Прошли уже многие поколения с тех пор, как истинное и серьёзное стихотворство было осуждено: частью его заменили науками, а частью Игрой в бисер. Однако жажда художественного творчества, жажда, столь свойственная молодости, полностью не была этим утолена. В сочинении воображаемых биографий, которые порой разрастались до целых повестей, молодым людям предоставлялось вполне дозволенное и просторное поле деятельности. Возможно, при этом кое-кто и совершал свои первые шаги на пути к самопознанию. Случалось, между прочим,

— и учителя взирали на это благосклонно, — что студенты в таких жизнеописаниях обрушивались на нынешнее состояние дел в мире и на Касталию с критикой и высказывали бунтарские мысли. Помимо всего прочего, сочинения эти очень многое говорили учителям о моральном и духовном состоянии авторов как раз в то время, когда студенты пользовались наибольшей свободой и не находились под пристальным контролем.

До нашего времени дошли три таких жизнеописания, сочинённых Йозефом Кнехтом, и все три мы приведём от слова до слова, полагая их наиболее ценной частью нашей книги. Написал ли Кнехт только эти три вымышленные автобиографии, не потерялась ли какая-нибудь ещё — об этом возможны самые различные предположения. Определённо мы знаем только, что после того, как Кнехт сдал третью, «индийскую», биографию, канцелярия Воспитательной Коллегии рекомендовала ему для следующей выбрать более близкую историческую эпоху, о которой сохранилось больше документальных свидетельств, и обратить внимание на исторические детали. Из рассказов и писем мы знаем: Кнехт действительно занялся сбором материалов для

новой такой биографии, где хотел изобразить себя в восемнадцатом столетии; он намеревался выступить в роли швабского теолога[39], который оставляет церковную должность, дабы целиком посвятить себя музыке; кстати, этот теолог — ученик Иоганна Альбрехта Бенгеля[40], друг Этингера[41] и некоторое время гостит в общине Цинцендорфа[42]. Нам известно также, что в ту пору Кнехт прочитал и законспектировал много трудов, частью весьма редких, о церковных уставах, пиетизме и о Цинцендорфе, о литургиях и старинной церковной музыке. Дошло до нас и то, что Кнехт был поистине влюблён в образ прелата — мага Этингера, да и к магистру Бенгелю испытывал подлинную любовь и глубокое чувство благоговения: он даже переснял его портрет,

---

[39] Примечания: [39]

Это жизнеописание, перемещающее касталийскую проблематику в обстановку пиетистской Швабии первой пол. XVIII в., было наполовину написано Гессе в 30-е гг. и посмертно издано в 1965 г. Сын ремесленника Кнехт, унаследовавший от отца чувственно-художническую музыкальную одарённость, а от матери — вкус к теологической «духовности», ищет подлинного служения духу, изучает теологию и претерпевает сильное воздействие личности Бенгеля[40], однако устаёт от интеллектуализма и тоскует по музыке, по скромному предметному творчеству.

[40] Примечания: [40]

И. А. Бенгель (1687–1752) — швабский теолог пиетистского направления.

Сочинения Бенгеля причудливо сочетают в себе фантастические чаяния конца света с незаурядными историко-филологическими

исследованиями: он осуществил первое — в истории филологии научно-критическое издание греческого оригинала Нового завета, а его мистические догадки о диалектике истории повлияли на концепции Гамана, Шеллинга, Гегеля и др. философов. Духовный мир швабского пиетизма, отмеченный одновременно тонкой культурой самоуглубления и сектантской узостью, был знаком Гессе ещё по атмосфере родительского дома.

[41] Примечания: [41]

Этингер Фридрих Кристиан (1702–1782) — швабский теолог, лютеранский церковный деятель и мистик. Искания Этингера носили подчас неортодоксальные черты: он был почитателем народного философа — мистика Бёме и другом знаменитого «духовидца» Сведенборга. Философская система Этингера была направлена на синтез мира природы и мира духа.

[42] Примечания: [42]

Цинцендорф Николай Людвиг (1700–1760) — швабский теолог, религиозный деятель и поэт. В своём творчестве апеллировал к жизненно — эмоциональным сторонам человеческой сущности против просветительского рационализма.

который в течение длительного времени можно было видеть у него на письменном столе. Кнехт предпринимал серьёзные попытки прийти к объективной оценке Цинцендорфа, в равной мере и привлекавшего и отталкивавшего его. В конце концов, так и не завершив, Йозеф отложил эту работу, довольный уже тем, что успел познать. Одновременно он объявил себя не в состоянии создать на этом материале биографию, ибо чересчур увлёкся частностями. Именно это высказывание и даёт нам окончательное право усматривать в трёх сохранившихся жизнеописаниях — вовсе не полагая при этом умалить их — скорее труд поэтической и благородной натуры, нежели работы учёного.

Для Кнехта обретённая свобода была не только свободой научного познания, — она означала также мощную разрядку. Он ведь был не просто воспитанником, как все остальные, его тяготили не только строгие школьные правила, чёткий распорядок дня, тщательный контроль и наблюдение учителей — немалое время, выпадающее на долю ученика элиты. Отношения с Плинио Дезиньори возложили на плечи Кнехта ещё большую тяжесть, потребовавшую предельного напряжения умственных и душевных сил: ведь

то была роль весьма активная и представительная, и ответственность по сути превышала его силы, была ему явно не по возрасту. Со всем этим он справлялся только благодаря избытку силы воли и таланта, и всё же без поддержки издалека, поддержки Магистра музыки, он, разумеется, не смог бы довести дело до конца. Двадцатичетырехлетнего Кнехта мы видим в конце его вальдцельских ученических лет, хотя и не по годам созревшим и несколько переутомлённым, но, как это ни удивительно, без внешних признаков нанесённого ему вреда. Однако сколь глубоко было потрясено всё его существо этой ролью и этим бременем, сколь близок он был к полному истощению, — хотя тому и нет прямых свидетельств, — мы можем заключить из того, как воспользовался сей молодой человек столь горячо желанной свободой. Кнехт, в последние школьные годы стоявший на виду и в некотором роде уже принадлежавший общественности, немедленно и решительно от всего устранился. Более того, если проследить всю его тогдашнюю жизнь, то складывается впечатление, что больше всего ему хотелось стать невидимкой: никакое окружение, никакая компания не казались ему достаточно тихими, никакая жизнь достаточно

уединённой. На первые, весьма пространные и бурные, письма Дезиньори он отвечал очень кратко и неохотно, а затем и вовсе перестал писать. Знаменитый ученик Кнехт словно в воду канул; только в Вальдцеле слава его не меркла и со временем приобрела легендарный характер.

Именно поэтому он в первые студенческие годы избегал Вальдцель, что повлекло за собой даже временный его отказ от посещения старших и высших курсов Игры.

И несмотря на это, — хотя поверхностному наблюдателю должно было броситься в глаза поразительное пренебрежение к Игре, — мы знаем: весь ход его свободных занятий, кажущийся таким беспорядочным, бессвязным, во всяком случае — необычным, целиком определялся Игрой, возвращал его к Игре и к службе ей. Мы останавливаемся на этом несколько подробнее, ибо черта эта характерна. Йозеф Кнехт воспользовался свободой своих научных занятий самым удивительным, даже, казалось бы, сумасбродным и юношески гениальным образом. В Вальдцеле он, как и все, прослушал введение в Игру и соответствующий повторный курс. Захваченный притягательной силой этой Игры игр, он, которого в последнем учебном году среди друзей уже

называли хорошим игроком, закончил ещё один курс и, хотя числился только учеником элиты, был принят во вторую ступень адептов Игры, а это считалось редким отличием.

Одному из товарищей по повторному курсу, своему другу и впоследствии помощнику, Фрицу Тегуляриусу, он спустя несколько лет поведал о случае, который не только определил его решение стать адептом Игры, но и оказал огромное влияние на его научные исследования в годы студенчества. Письмо это сохранилось. Кнехт пишет:

«Я хочу тебе напомнить один определённый день и одну весьма определённую Игру того времени, когда мы оба, назначенные в ту же группу, с таким рвением трудились над дебютами наших первых партий. Руководитель подал нам несколько идей и предложил на выбор разные темы, мы как раз достигли щекотливого перехода от астрономии, математики и физики к филологии и истории, а руководитель наш был великий мастер в устройстве нам, нетерпеливым новичкам, всевозможных ловушек, в заманивании нас на скользкую почву недопустимых абстракций и аналогий. Он подсовывал нам заманчивые игры-безделушки из области сравнительно-

го языкознания и этимологии и забавлялся сверх меры, если один из нас попадал в ловко расставленные сети. До умопомрачения мы подсчитывали длину греческих слогов, и вдруг нам, самым беззастенчивым образом сбив нас с толку, вместо метрического, неожиданно предлагали заняться ударным скандированием. Формально он преподавал блестяще и вполне корректно, хотя вся манера подобного преподавания претила мне: он демонстрировал нам ошибочные ходы, соблазнял на ложные умозаключения, хотя и с похвальным намерением обратить наше внимание на подстерегающие нас опасности, но в какой-то мере и ради того, чтобы посмеяться над зелёными юнцами и наиболее восторженным привить побольше скепсиса. Но именно на его уроках, во время его издевательских экспериментов с ловушками и подтасовками, когда мы, робея, ощупью пытались набросать маломальски приемлемую партию, меня внезапно, всколыхнув всю мою душу, охватило сознание смысла и величия нашей Игры. Мы кромсали в то время какую-то языковедческую проблему и как бы вблизи лицезрели блистательные взлёты языка, проходя с ним за несколько минут путь, на который ему понадобились многие столетия. При

этом меня особенно поразила картина бренности всего сущего: на наших глазах такой сложный, древний, многими поколениями шаг за шагом созданный организм сначала расцветал, уже неся в себе зародыш гибели, а затем это мудро возведённое здание постепенно приходило в упадок — один за другим в нём появлялись признаки вырождения, вот-вот оно рухнет совсем. Но тут меня озарила радостная, ликующая мысль: ведь падение и смерть этого языка не завели в пустоту, в ничто, ибо юность его, расцвет и даже упадок сохранились в нашей памяти, в наших знаниях о нём и его истории, он продолжает жить в знаках и формулах науки, в тайнописи Игры стеклянных бус, а потому в любое время может быть восстановлен. Неожиданно я понял, что в языке нашей Игры (во всяком случае, по идее) каждый знак поистине всеобъемлющ, каждый символ и каждая комбинация символов ведёт не куда-нибудь, не к отдельно взятому примеру, эксперименту или доказательству, но к центру, к тайне тайн мира, к основе всех знаний. В озарении той минуты мне открылось, что каждая модуляция из мажора в минор в сонате, каждое превращение мифа или культа, каждая классическая формулировка или высказывание художника — при истинном

медитативном рассмотрении — суть не что иное, как непосредственный путь к тайнам мира, где между вдохом и выдохом, между небом и землёй, между Инь и Ян[43] вечно свершается святое. Хотя я уже тогда как слушатель присутствовал на нескольких хорошо проведённых играх и при этом пережил несколько возвышенных минут и сделал не одно счастливое открытие, я всё же до той поры был склонен к сомнениям в истинной ценности и значимости нашей Игры. В конце концов каждая удачно решённая математическая задача может доставить духовное наслаждение, всякая хорошая музыкальная пьеса, когда её слушаешь, и ещё больше, когда её играешь, способна возвысить душу, приобщить к великому, а каждая проникновенная медитация успокоит твоё сердце, настроит его в унисон со вселенной. Именно поэтому, нашёптывал мне червь сомнения, Игра — только формальное искусство, сноровка ума, уменье остроумно комбинировать, а потому не лучше ли бросить играть в неё и заняться чистой математикой или хорошей музыкой? Но именно тогда, впервые для меня, прозвучал внутренний голос самой Игры,

---

[43] Примечания: [43]
Инь и Ян — древнекитайский символ двуполярности бытия.

меня до мозга костей пронизал её сокровенный смысл, и с того часа я уверовал: царственная наша Игра — поистине lingua sacra, священный и божественный язык. Тебе нетрудно вспомнить это мгновение, ведь ты тогда сам заметил, как я внутренне преобразился: я услышал зов. Сравнить его я могу только с тем незабываемым призывом, который преобразил и возвысил душу мою и жизнь, когда я ещё мальчиком встретился с *Magister musicae* и он призвал меня в Касталию. Ты всё заметил, и я это почувствовал, хотя ты и не проронил ни слова; мы и ныне не будем больше говорить об этом. Ну, так вот, у меня есть к тебе просьба, и чтобы пояснить её, я должен тебе рассказать кое-что, чего никто ещё не знает и не должен узнать и впредь. Мои нынешние занятия — не прихоть, они не продиктованы случайным настроением, в основе их — строго продуманный план. Ты, должно быть, хотя бы в общих чертах, ещё помнишь ту учебную партию, которую мы, будучи на третьем курсе, построили под руководством учителя и во время которой я услышал тот самый голос и пережил своё призвание. Эту учебную партию (она начиналась с ритмического анализа темы для фуги, в середине её ещё помещалось изречение, приписываемое

Конфуцию) я изучаю и теперь, то есть прорабатываю каждую фразу и перевожу её с языка Игры на первоначальный язык — математический, орнаментальный, китайский, греческий и т.д. Я хочу, хоть один раз в жизни, по-настоящему проследить и сам достроить всё содержание одной партии. Первую часть я уже одолел, мне понадобилось на это два года; вероятно, придётся потратить ещё несколько лет. Но раз уже в Касталии нам дана свобода занятий, я решил воспользоваться ею именно таким образом. Все возражения мне известны. Большинство наших учителей заявило бы: понадобилось несколько столетий для изобретения и усовершенствования Игры как некоего универсального метода и универсального языка: понадобилось несколько столетий, чтобы выразить с помощью знаков этого языка все духовные ценности и понятия. И вот являешься ты и хочешь проверить, правильно ли это! Тебе нужна будет для этого вся жизнь, и ты раскаешься. Нет, неправда, для этого не нужна вся жизнь, и я не раскаюсь. Теперь о моей просьбе: ты ведь сейчас работаешь в Архиве Игры, а я, по вполне основательным причинам, ещё некоторое время хотел бы не показываться в Вальдцеле. Потому прошу тебя ответить на некоторые во-

просы, то есть сообщить мне в несокращенном виде официальные коды и знаки различных тем, хранящихся в Архиве. Я рассчитываю на тебя, а также на то, что, когда я тебе понадоблюсь, ты тоже будешь располагать мною».

Быть может, именно здесь уместно привести ещё одну выдержку из писем Кнехта, касающуюся Игры, на этот раз — из письма Магистру музыки, хотя оно и написано на год или два позднее вышеприведённого.

«Я думаю, — пишет Кнехт своему покровителю, — что можно быть вполне хорошим, виртуозным мастером Игры, даже способным Магистром, и не догадываться о подлинной тайне Игры, о сокровенном её смысле. Более того, человек, догадывающийся о нём или познавший его, став виртуозом Игры или даже возглавив её, способен нанести ей куда больший вред, нежели тот, кто ничего о ней не ведает. Ибо внутренняя, эзотерическая сторона Игры, как и всякая эзотерика, направлена во всеединство, в глубины, туда, где в вечном вдохе и выдохе только вечное дыхание повелевает самим собой. Того, кто до конца проник в сокровенный смысл Игры, уже не назовёшь собственно играющим, ему чуждо множество, он не способен к радости изобретения, составления

и комбинирования, ибо он познал иные желания и радости. Поскольку же я мню себя близким к самому смыслу Игры, для меня и для других будет лучше, если я не сделаю Игру своей профессией, а посвящу себя музыке».

Должно быть, Магистра музыки, вообще-то не щедрого на письма, встревожило это признание, и он поспешил в своей обычной дружеской манере предостеречь своего питомца: «Хорошо, что ты не требуешь от своего руководителя Игры „эзотеричности“ в твоём понимании этого слова, ибо я надеюсь, что в твоих словах не было иронии. Руководитель Игры или учитель, обеспокоенный более всего тем, достаточно ли он приблизился к „сокровенному смыслу“, был бы плохим педагогом. Откровенно признаюсь, на всём своём долгом веку я никогда не говорил своим ученикам о „смысле“ музыки; если таковой и существует, во мне он не нуждается. И напротив, я всегда придавал большое значение тому, чтобы мои ученики умели как следует отсчитывать восьмые и шестнадцатые. Будешь ли ты учителем, учёным или музыкантом — благоговей перед „смыслом“, но не воображай, будто его можно преподать. Одержимые желанием преподать „смысл“, философы истории некогда испортили половину мировой

истории, положили начало *фельетонистической эпохе* и в немалой степени повинны в потоках пролитой крови. Равным образом, если бы мне предстояло познакомить учеников с Гомером или греческими трагиками, я не пытался бы внушить им понимание поэзии как формы божественного, а все свои усилия направил бы на раскрытие им поэзии через достоверные знания её языковых и метрических средств. Дело учителя и учёного изучать эти средства, хранить традиции и чистоту методов, а вовсе не возбуждать и ускорять те, уже не могущие быть выраженными, переживания, которые доступны только избранным или, что зачастую то же самое, страдальцам и жертвам».

Переписка Кнехта тех лет не обильна, хотя, возможно, многие письма затерялись; во всяком случае, об Игре и «эзотерическом» толковании её нигде более не упоминается; наибольшее число сохранившихся писем, а именно из переписки с Ферромонте, почти без исключения посвящены музыкальным проблемам и анализу музыкальных стилей.

Таким образом, в многолетних зигзагах, наблюдаемых нами в студенческие годы Кнехта, мы обнаруживаем точное воспроизведение и прослеживание схемы одной-единственной партии,

то есть — весьма определённый замысел, а также желание настоять на своём. Дабы усвоить содержание одной-единственной партии, которую они когда-то учениками упражнения ради сочинили за несколько дней и которую на языке Игры можно было прочитать за четверть часа, он год за годом просиживал в аудиториях и библиотеках, изучал Фробергера и Алессандро Скарлатти, построение сонаты и фуги, математику и китайский язык, проработал систему звуковых фигур и теорию Фойстеля о соответствии шкалы цветов определённым музыкальным тональностям. Мы задаёмся вопросом, зачем он ступил на этот трудный, своевольный и, главное, такой одинокий путь, ведь конечная цель его (вне Касталии сказали бы: выбор профессии) была, несомненно, Игра в бисер. Если бы он, ни к чему себя не обязывая, поступил вольнослушателем в один из институтов *Vicus lusorum* — вальдцельское Селение Игры, — то изучать все специальные предметы, связанные с Игрой, оказалось бы гораздо легче. В любое время он мог бы тогда рассчитывать на поддержку, на совет, и, кроме того, там он мог бы предаваться своим занятиям в окружении товарищей и единомышленников, а не мучиться в одиночку, частенько даже в добровольном

изгнании. Что ж, он шёл своим путём. Как мы полагаем, он избегал Вальдцеля не только ради того, чтобы вытравить из памяти — как своей, так и других, — какую роль он там играл, но и для того, чтобы в общине адептов Игры не оказаться снова в подобной роли. Ибо, должно быть, уже тогда он ощутил в себе некоторое предназначение к руководству и представительству и делал всё возможное, дабы избежать этой навязываемой ему роли. Он предугадывал тяжесть ответственности, уже тогда чувствовал её перед учениками Вальдцеля, которые восхищались им и которых он так старательно избегал. Особенно остро он чувствовал её перед Тегуляриусом, инстинктивно догадываясь, что тот ради него готов броситься в огонь и в воду. Именно в то время Кнехт стал искать уединения, созерцания, а судьба толкала его вперёд, на люди. Таким мы примерно представляем себе его тогдашнее состояние. Но была ещё одна важная причина, отпугнувшая его от выбора нормального курса обучения в высшей школе Игры и толкавшая к одиночеству, а именно: неодолимый исследовательский порыв, скрытой пружиной которого были всё те же сомнения в самой Игре.

Разумеется, он познал и ощутил, что Игре в

бисер можно придавать высший и священный смысл, но он видел также, что большинство играющих и учеников, даже часть руководителей и учителей, нельзя было назвать адептами Игры в том, высшем смысле; они воспринимали её язык не как lingua sacra, а лишь как остроумный вид стенографии, в самой же Игре видели интересную и занимательную специальность, некий интеллектуальный спорт или арену борьбы честолюбий. Как нам говорит письмо к Магистру музыки, он уже имел кое-какое представление о том, что, возможно, достоинства играющего не всегда определяются поиском сокровенного смысла, что Игре также необходима эзотеричность и она одновременно есть и техника, и наука, и общественный институт. Одним словом, продолжались сомнения и разлад. Проблема игры стала кровным вопросом, великой проблемой его жизни, и он вовсе не хотел, чтобы его борьба была облегчена вмешательством благосклонных пастырей или низведена до безделицы приветливо-снисходительными улыбками учителей.

Среди десятков тысяч уже сыгранных партий или среди миллионов возможных он, разумеется, мог выбрать любую для своих исследований. Он хорошо сознавал это и остановился на той

случайной, составленной его товарищами и им самим схеме. Это была игра, во время которой его впервые захватил смысл всех игр, и он понял, что призван стать адептом Игры в бисер. В те годы он ни на минуту не расставался с сокращённой записью схемы этой партии. В ней значились: формула астрономической математики, принцип построения старинной сонаты, изречение Конфуция, и тому подобное — всё на языке Игры, в знаках, шифрах, аббревиатурах и сигнатурах. Читателю, возможно, незнакомому с нашей Игрой, мы рекомендуем представить себе подобную схему примерно как схему партии в шахматы, но только и сами значения фигур, и варианты их взаимоотношений, а также возможности их воздействия друг на друга необходимо мысленно умножить во много раз и каждой фигуре, каждой позиции, каждому ходу приписать определённое символическое содержание, выраженное именно этим ходом, этой позицией, этой фигурой и так далее.

Ну, так вот, свои студенческие годы Кнехт посвятил не только детальному изучению приведённых в схеме содержаний, принципов, произведений и систем, но и в процессе этого изучения решил сам совершить путь через все

эти культурные эпохи, науки, языки, виды искусств, века. Не менее важной своей задачей, не известной ни одному из учителей, он считал тщательную проверку систем и средств искусства Игры на данных объектах.

Забегая вперёд, мы сообщим о результате его трудов: кое-где он обнаружил пробелы, отдельные недостатки, но в целом наша Игра, должно быть, выдержала его суровое испытание, в противном случае он в конце концов не вернулся бы к ней.

Если бы мы сочиняли культурно-исторический очерк, то многие сцены из студенческой жизни Кнехта, места, которые он в те годы посещал, были бы достойны более подробного описания. Он предпочитал, например, поскольку к этому представлялась возможность, такие места, где мог работать в одиночестве или вместе с немногими коллегами; к некоторым из этих мест он сохранил благодарную привязанность. Несколько раз он бывал в Монпоре, иногда в качестве гостя старого Магистра, иногда как член семинара по истории музыки. Дважды мы застаём его в Хирсланде, резиденции Ордена, как участника «великих бдений» — двенадцатидневного поста и медитации. С особой радостью и даже нежностью

он впоследствии рассказывал своим близким о чудесной Бамбуковой роще, уединённом уголке, где он изучал «И-цзин»[44]. Здесь, повинуясь предчувствию или наитию, он не только пережил и познал нечто решающее, но и нашёл для себя единственное в своём роде окружение и необыкновенного человека, так называемого «Старшего Брата», создателя и жителя китайского эрмитажа — Бамбуковой рощи. Нам представляется уместным несколько подробнее остановиться на описании этого примечательного эпизода студенческих лет Кнехта.

К изучению китайского языка и классиков Кнехт приступил в знаменитом Восточноазиатском институте, испокон веку находившемся в селении классической филологии Сан-Урбане.

---

[44] Примечания: [44]

«И-цзин» — памятник древнекитайской прозы (1 тысячелетие до н.э.). Это оракульская книга, предназначенная для гадания по «гуа», то есть чертежам, состоящим из трёх черт — цельных или прерывистых. Цельная черта символизирует Инь, прерывчатая — Ян. Одна из восьми комбинаций обозначает соответственно небо, землю, гром, воду, гору, ветер, огонь, водоём. Комбинируясь по две, триграммы складываются в шестьдесят четыре гексаграммы, каждой из которых соответствует афористическая словесная формула более или менее загадочного содержания, требующая особой интерпретации (вроде тех, которые фигурируют у Гессе). Особый интерес к «И-цзину» проявлял известный швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг (1875–1962), оказавший влияние на творчество Гессе. Юнг усматривал в чертежах и речениях древнекитайской книги фиксацию извечных структур человеческого бессознательного (так наз. архетипов). Нетрудно усмотреть сходство между принципом «И-цзин» и идеей гессевской «Игры», которая также

›››

является собой некий калейдоскоп символов.

Там он быстро преуспел в чтении и письме, познакомился с несколькими китайцами и уже выучил наизусть несколько песен из «Ши-цзин»[45], когда на второй год обучения заинтересовался «И-цэйн», «Книгой перемен». В ответ на его настояния китайцы, правда, давали ему всевозможные справки, но никто не брался прочитать ему вводный курс, ибо учителя для этого в Восточноазиатском институте не было. Лишь после того, как Кнехт уже в который раз явился с просьбой выделить ему учителя для основательных занятий «Книгой перемен», ему рассказали о Старшем Брате и его отшельничестве. Кнехт давно уже обратил внимание на то, что, заинтересовавшись этой книгой, он натолкнулся на область, от которой в Восточноазиатском институте всячески открещивались. Тогда он стал осторожнее в своих расспросах и, пытаясь побольше разузнать о Старшем Брате, выяснил, что сей отшельник хотя и пользуется некоторым уважением и даже славой, однако это скорее слава чудаковатого одиночки, нежели учёного. В конце концов, решив, что ему не на кого рассчитывать, кроме

[45] Примечания: [45]

«Ши-цзин» («Книга песен») — классическая антология древнекитайской песенной лирики, составленная, по преданию, самим Конфуцием.

как на самого себя, Кнехт поспешно закончил очередную семинарскую работу и отбыл. Пешком он отправился в ту местность, где таинственный Старший Брат некогда заложил свою бамбуковую рощу, прослыв не то мудрецом и учителем, не то шутом. Узнал Кнехт о нём примерно следующее: двадцать пять лет назад это был один из подающих самые большие надежды студентов китайского отделения. Казалось, сама природа предопределила его к этому факультету, и скоро он превзошёл лучших учителей, даже природных китайцев как в технике письма кисточкой, так и в расшифровке старинных свитков. Однако он несколько озадачивал всех тем, что всякими способами стремился и внешне походить на китайца. Например, ко всем учителям, от руководителя семинара до Магистра, он упорно обращался не так, как это делали все студенты — по титулу и на «вы», а называя каждого «мой старший брат» (насмешливое прозвище это пристало к нему навсегда). Особое внимание Старший Брат уделял оракульской игре «И-дзин», в которую мастерски играл при помощи традиционных стеблей тысячелистника. Наряду со старинными комментариями к книге оракулов, любимым его

чтением была книга Чжуан Цзы[46]. Очевидно, строго рационалистический конфуцианский дух, царивший на китайском отделении Восточно-азиатского института (с этим позднее столкнулся и Кнехт), ощущался и тогда, ибо Старший Брат неожиданно покинул институт, который весьма охотно сохранил бы его как преподавателя специальной дисциплины, и пустился в странствия, прихватив лишь кисточку, черепок для туши и две-три книги. Он побывал на юге страны, навестил братьев по Ордену, должно быть, всё чего-то искал, и в конце концов нашёл место для своего схимничества; с большой настойчивостью письменно и устно он добивался и добился от светских властей и Ордена разрешения поселиться здесь и засадить это место. С тех пор он жил идиллической жизнью в древнекитайском стиле, в мире с собой и окружающим, стяжая то насмешки, как чудак, то почёт и уважение, как своего рода жрец,

---

[46] Примечания: [46]

Чжуан Цзы — древнекитайский мыслитель Чжуан Чжоу, живший, по преданию, в IV–III вв. до н.э., парадоксалист, высмеивавший рационалистическую этику Конфуция и стремившийся постигнуть диалектическое тождество истины и иллюзии, добра и зла, морали и аморализма; его идеал — отказ от вмешательства в самоущий распорядок бытия. Книга Чжуан Цзы даёт образ чудаковатого юродивого мудреца, который насмехается над претензиями государства к человеку, попирает общепринятые нормы и облекает свою мудрость в нарочито причудливые внешние формы. Именно этот образ мудреца важен в данном случае для Гессе.

и поскольку у него оставалось время от ухода за бамбуковой рощей, которая защищала аккуратно разбитый китайский садик от северных ветров, коротал свои дни в медитации и переписке старинных свитков.

В те края и отправился Йозеф Кнехт, часто давая себе роздых и любуясь ландшафтом, который после перехода через перевалы, открылся ему на юге лазурной дымкой, пленяя ароматом залитых солнцем террасных виноградников, бурыми скалами со шныряющими по ним ящерицами, шатрами могучих каштанов, всей пряной прелестью южных гор. День уже клонился к вечеру, когда Кнехт достиг бамбуковой рощи; он вошёл в неё и, поражённый, увидел посреди причудливого сада китайский домик; источник стекал с деревянного жёлоба по выложенной камнем канавке к бассейну, из трещин которого пробивалась буйная зелень; в тихой прозрачной воде плавали золотые рыбки. Над крепкими стволами мирно шелестели метёлки бамбука, газон кое-где прерывался каменными плитами, на которых можно было прочесть надписи в классическом стиле. Склонившийся над клумбами тощий человек, одетый в жёлто-серое полотняное платье, в очках, через которые выжидающе смотрели

голубые глаза, выпрямился и медленно зашагал навстречу гостю, без всякой неприязни, но с какой-то неловкой робостью, присущей замкнуто живущим людям. Он вопрошающе взглянул на Кнехта и стал ждать, что тот ему скажет. Кнехт произнёс китайские слова, приготовленные им для этого случая:

— Юный ученик осмеливается засвидетельствовать своё почтение Старшему Брату.

— Благовоспитанному гостю — добро пожаловать, — ответствовал Старший Брат, — юного коллегу рад видеть за чашкой чая и радушной беседой, а ежели он того пожелает, то для него найдётся и ночлег.

Кнехт сделал «котао» и поблагодарил. Затем его ввели в китайский домик, попотчевали чаем, показали садик, каменные плиты с надписями, бассейн с золотыми рыбками, назвав их возраст. До вечерней трапезы хозяин и гость сидели под шелестящей листвой бамбука, обменивались любезностями, стихами и речениями из классических текстов, созерцали цветы и услаждались розовым сиянием вечера, отцветавшего над цепью гор. Потом они снова вернулись в домик. Старший Брат подал хлеб и фрукты, испёк на крохотном очаге отличные лепёшки для себя и

для гостя, а когда трапеза закончилась, студенту был задан вопрос о цели его путешествия и притом по-немецки, по-немецки же тот отвечал, как добрался сюда, с чем пришёл, то есть с намерением остаться столько, сколько Старший Брат дозволит быть его учеником.

— Об этом — завтра, — заметил отшельник и предложил гостю ложе для ночлега.

Встав утром, Кнехт вышел в садик, присел на краю водоёма и залюбовался золотыми рыбками. Долго он глядел в этот маленький и прохладный мир из темноты и света и колдовски играющих красок, где в зелёно-голубом, а то и в чернильном мраке колыхались золотые тела, и как раз тогда, когда весь мир казался заколдованным, уснувшим навек, чтобы никогда не восстать из грёз, они плавно, эластичным и всё же пугающим движением разбрызгивали хрустальные и золотые блёстки по всему сонному царству. А Кнехт продолжал смотреть, погружаясь в себя всё больше и больше, скорее грезя, чем созерцая, и даже не заметил, как из китайского домика лёгкими шагами вышел Старший Брат, остановился и долго наблюдал за своим погруженным в грёзы гостем. Когда Кнехт, стряхнув с себя оцепенение, наконец поднялся, Старший Брат уже исчез, но

очень скоро Кнехт услышал из домика его голос, звавший гостя к чаю. Они обменялись кратким приветствием, выпили по чашке и долго сидели в утренней тишине, слушая звенящий плеск источника, мелодию вечности. Отшельник встал и принялся хлопотать по хозяйству в несимметрично построенном помещении, временами поглядывая сощуренными глазами на Кнехта, и неожиданно спросил:

— Готов ли ты надеть сандалии и удалиться отсюда?

Помедлив, Кнехт ответил:

— Если надо, я готов.

— А если случится так, что ты сможешь побыть здесь, готов ли ты проявлять послушание, быть тих и нем, как золотая рыбка?

И снова студент сказал, что готов.

Покуда Кнехт с великим любопытством и не меньшим почтением смотрел на Старшего Брата, «тих и нем, как золотая рыбка», тот достал из деревянного сосуда, похожего на колчан, набор палочек — высушенные стебли тысячелистника. Внимательно пересчитав их, он снова положил несколько палочек в колчан, одну отодвинул в сторону, а оставшиеся разделил на две равные части; держа половину в левой руке и доставая

тонкими чувствительными пальцами правой несколько палочек из второй половины, он считал их и откладывал, покуда не осталось совсем немного палочек, которые он зажал между двумя пальцами левой руки. После этого ритуального счёта, когда от половины осталось две-три палочки, он повторил ту же процедуру с другой половиной. Отсчитанные палочки он отложил, перебрал вновь обе половины, одну за другой пересчитал, снова взял оставшиеся между двух пальцев, всё это проделывая с какой-то экономной, тихой быстротой, что выглядело как некая тайная, тысячу раз игранная и доведённая до виртуозности игра. Так он сыграл несколько раз, и в конце концов осталось три небольших, кучки палочек, по числу их он и определил знак, который нанёс тоненькой кисточкой на листок бумаги. Затем весь сложный ритуал повторился, палочки делились на две небольшие кучки, их пересчитывали, несколько — откладывали, зажимали между пальцев, покуда в конце концов опять не остались три небольшие кучки и не был записан второй знак. В каком-то таинственном, ни разу не нарушенном ритме палочки, тихо постукивая друг о друга, передвигались, пританцовывая, меняли свои места, составляли кучки,

их разделяли и вновь пересчитывали. В конце каждого тура пальцы записывали очередной знак, так что в результате положительные и отрицательные знаки стояли в шесть строчек друг над другом. После этого палочки были аккуратно собраны и вновь уложены в колчан. Сам же маг сидел на тростниковой циновке и долго молча рассматривал результат вопрошания оракула на своём листочке.

— Это знак Мон, — произнёс он наконец. — Знак именуется: безумство молодости. Наверху гора, внизу вода, наверху Инь, внизу Кань. У подножия горы бьёт источник, символ юности. Толкование гласит:

Безумство юности удачливо.
Не я ищу юного безумца, Юный безумец ищет меня.
На первый вопрос оракул ответит.
Докучать расспросами – это назойливо.
Назойливому я ничего не скажу.
Настойчивость благотворна.

От напряжения Кнехт затаил дыхание. В наступившей тишине послышался вырвавшийся у него вздох. Он не смел расспрашивать. Но ему казалось, что он понял: юный безумец прибыл, ему

разрешено остаться. Ещё в то время, когда пальцы и палочки двигались подобно марионеткам, они заворожили его какой-то осмысленностью, и хотя смысл этот невозможно было уловить, результат уже был налицо. Оракул изрёк приговор, он решил дело в его пользу.

Мы не стали бы описывать этот эпизод с такими подробностями, если бы Кнехт не рассказывал его столь часто своим друзьям и ученикам, притом не без очевидного удовольствия. А теперь вернёмся к нашему повествованию.

Многие месяцы провёл Кнехт в Бамбуковой роще и овладел действом с палочками из тысячелистника, проделывая все церемонии почти так же искусно, как и его учитель. Последний каждодневно упражнялся с ним в пересчёте палочек, посвятил его в грамматику и символику языка оракулов, заставил выучить наизусть и записать шестьдесят четыре знака, а в особенно удачные дни рассказывал одну из историй Чжуан-Цзы.

В свободное время ученик ухаживал за садом, мыл кисти, растирал тушь, научился варить и суп, приготавливать чай, собирать хворост, следить за погодой, читать китайский календарь. Но редкие его попытки во время немногословных бесед заговорить об Игре, о музыке не приносили

успеха. Казалось, он обращается к глухому.

Иногда от этих вопросов Старший Брат отделывался снисходительной улыбкой или же отвечал изречением вроде: «Густые тучи — нет дождя», «Благородный безупречен». Но когда Кнехт выписал из Монпора небольшие клавикорды и ежедневно по часу стал играть на них, хозяин не препятствовал ему в этом. В один прекрасный день Кнехт признался своему учителю, что очень хотел бы включить систему «И-цзин» в Игру. Старший Брат рассмеялся:

— Попробуй, — воскликнул он, — сам увидишь, к чему это приведёт. Посадить и вырастить в этом мире приятную маленькую бамбуковую рощу ещё можно. Но удастся ли садовнику вместить весь мир в эту свою рощу, представляется мне всё же сомнительным.

Однако довольно об этом. Мы упомянем лишь, что Кнехт, много лет спустя, будучи уже весьма уважаемой персоной в Вальдцеле, предложил Старшему Брату взять на себя преподавание специального предмета, но тот так ему и не ответил.

Неоднократно Йозеф Кнехт отзывался о месяцах, проведённых в Бамбуковой роще, как об особенно счастливом периоде своей жизни, часто

называя его «началом пробуждения», да и вообще с тех пор слово «пробуждение» не раз встречается в его высказываниях. Сходный, хотя и не вполне одинаковый смысл он до этого придавал слову «призвание». Следует предположить, что «пробуждаться» означало не что иное, как мгновенно осознать самого себя, своё место внутри касталийского и общечеловеческого мира. Однако нам кажется, что постепенно акцент смещается в сторону самопознания, ведь Кнехт всё глубже проникался чувством своего особого, неповторимого положения и назначения, в то время как понятия и категории устоявшейся общей и специально касталийской иерархии становились для него относительными.

С отъездом из Бамбуковой рощи Кнехт не оставил изучения Китая, а продолжал эти занятия, уделяя особое внимание старинной китайской музыке. Почти у всех древних китайских авторов Кнехт наталкивался на восхваление музыки как одного из источников всякого порядка, морали, красоты и здоровья. Такое широкое и нравственное восприятие музыки давно уже было близко ему благодаря Магистру музыки, который с полным правом мог бы считаться её олицетворением. Никогда не отступая от основного плана своих

занятий, известного нам из письма к Тегулярiусу, Кнехт, едва нащупав что-либо существенное для себя, едва почуяв, куда ведёт «пробуждение», смело и энергично продвигался вперёд. Одним из положительных результатов пребывания у Старшего Брата оказалось преодоление страха перед Вальдцелем; теперь он каждый год посещал какие-нибудь высшие курсы Игры и даже, не понимая, собственно, как это произошло, скоро стал в *Vicus lusorum* человеком, на которого посматривали с интересом и признанием. Он вошёл в самый узкий и чувствительный орган всей Игры — в анонимную группу опытных мастеров, в чьих руках, по сути, находилась её судьба или, по крайней мере, судьба того или иного направления, того или иного стиля Игры. Членов этой группы — в неё входили, хотя и не преобладали, также служители отдельных институций Игры — чаще всего можно было застать в отдалённых и тихих помещениях Архива, занятых критическим разбором отдельных партий, ратующих за вовлечение в Игру новых тематических областей или настаивающих на запрете каких-либо тем. Они постоянно вели споры «за» или «против» меняющихся вкусов и направлений Игры — это касалось и её формы, и внешних приёмов, и даже

спортивного элемента. Каждый из вошедших в этот круг виртуозно владел Игрой, каждый другого видел насквозь, знал его способности, характер, подобно тому как это бывает в коллегиях какого-нибудь министерства или в узком кругу аристократического клуба, где встречаются и знакомятся завтрашние и послезавтрашние правители и лидеры. Здесь всегда царил приглушённый, изысканный тон; все пришедшие сюда были честолюбивы, не выставляя этого напоказ, преувеличенно внимательны и критичны. В этой элите молодого поколения из *Vicus lusorum* многие касталийцы, да и кое-кто за пределами Провинции, видели последний расцвет касталийских традиций, сливки аристократической духовности, и не один юноша годами лелеял честолюбивую мечту когда-нибудь стать членом этого клана. Напротив, для других этот изысканный круг претендентов на высшие должности в иерархии Игры был чем-то ненавистным и упадочным, кликой задирающих нос бездельников, заигравшихся гениев, лишённых вкуса к жизни и чутья реальности, высокомерным и по сути паразитическим обществом щёголей и честолюбцев, чьей профессией и содержанием всей жизни была забава, бесплодное самоуслаждение духа.

Кнехт был невосприимчив как к первому, так и ко второму взгляду; ему было безразлично, восхваляла ли его студенческая молва как небывалую диковину или высмеивала как выскочку и честолюбца. Важны для него были только его занятия, которые теперь всё вращались в сфере Игры. И ещё для него был важен, может быть, только один вопрос, а именно: вправду ли эта Игра есть наивысшее достижение Касталии и стоит ли она того, чтобы посвятить ей жизнь? Ведь углубление в Игру и в сокровенные тайны её законов и возможностей, освоение извилистых лабиринтов её Архива и запутанного внутреннего мира игровой символики — всё это вовсе не устраняло сомнений; он по опыту знал, что вера и сомнения неотделимы; что они взаимно обусловлены, как вдох и выдох, и потому с каждым шагом его проникновения во все области микрокосма Игры возрастала и его прозорливость, его восприимчивость ко всему сомнительному в самой Игре. Недолго идиллия в Бамбуковой роще успокаивала его или, если угодно, сбивала с толку; пример Старшего Брата показал ему, что из всей этой совокупности проблем существовали различные выходы. Можно было, например, превратиться в китайца, замкнуться за своей

садовой изгородью и жить так в прекрасном, но ограниченном совершенстве. Можно было стать, пожалуй, и пифагорейцем, или монахом и схоластом, но ведь всё это было бы бегством, выходом возможным и дозволенным лишь для немногих, отказом от универсальности, от сегодняшего и завтрашнего дня ради чего-то совершенного, однако минувшего. Это было бы возвышенным видом дезертирства, и Кнехт вовремя почувствовал, что это не его путь. Но каков же его путь? Он знал, что, помимо больших музыкальных способностей и дара к Игре, в нём дремали ещё нетронутые силы, какая-то внутренняя независимость, упрямство в высоком смысле этого слова, которое ни в коей мере не затрудняло и не запрещало ему служить и подчиняться, но требовало от него служения лишь наивысшему. И эти его силы, эта независимость, это упрямство не были лишь определённой чертой его внутреннего «я», — они были направлены вовне и действовали также и на окружающих. Ещё в школьные годы, и особенно со времени его соперничества с Плинио Дезиньори, он часто замечал, что многим сверстникам, и особенно более молодым из соучеников, он не только нравился, но они искали его дружбы, были склонны встать под его начало, прислу-

шивались к его совету, охотно подчинялись его влиянию, и это его наблюдение впоследствии довольно часто подтверждалось. Было что-то очень приятное, лестное в этом наблюдении, оно тешило его честолюбие, укрепляло его уверенность в себе. Но была и другая, совсем другая сторона, мрачная и страшная. Ведь было нечто запретное и отвратительное уже в этой склонности свысока смотреть на своих товарищей, слабых и ищущих чужого совета, руководства и примера, лишённых уверенности и чувства собственного достоинства, а тем более в возникавшем порой тайном желании сделать из них послушных рабов. К тому же, со времени диспутов с Плинио, он хорошо знал, каким напряжением, какой ответственностью, даже душевным бременем приходится расплачиваться за каждый видный и блестящий пост. Знал и то, как тяжко было иногда Магистру музыки сносить своё положение. Приятно и даже соблазнительно властвовать над людьми, блистать перед другими, но был в этом и некий демонизм, опасность, недаром же всемирная история пестрит именами властителей, вождей, полководцев, авантюристов, которые все, за редчайшими исключениями, превосходно начинали и очень плохо кончали, которые все,

хотя бы на словах, стремились к власти добра ради, а потом уже, одержимые и опьянённые властью, возлюбили власть ради неё самой. Надо было освятить и употребить во благо данную ему от природы власть, поставив её на службу иерархии, и это всегда разумелось для него само собой. Но где, в каком месте приложить свои силы, дабы они служили наилучшим образом, были бы плодотворны? Способность привлекать к себе, оказывать большее или меньшее влияние на людей, особенно на молодых, имела бы ценность для офицера или политика; здесь, в Касталии, она ни к чему, здесь в таких способностях, по правде говоря, нуждался разве только учитель или воспитатель, а такого рода деятельность отнюдь не привлекала Кнехта. Если бы это зависело только от него, он предпочёл бы вести жизнь независимого учёного или же адепта Игры. И вот перед ним вновь всё тот же старый и мучительный вопрос: есть ли эта Игра высшее из высших, царица ли она в духовном царстве? Не есть ли она, вопреки всему, в конце концов, только забава? Достойна ли она полного самопожертвования, того, чтобы служить ей всю жизнь? Начало этой достославной Игры было положено много поколений тому назад, как некой замене

искусства, а теперь, во всяком случае для многих, она постепенно превращалась в своего рода религию, возможность для незаурядных умов к сосредоточению и благоговейной молитве. Таким образом, в груди Кнехта разгорался старый спор между этическим и эстетическим. Никогда до конца не высказанный, но никогда и не умолкающий вопрос, глухо и грозно прозвучавший в его ученических стихах в Вальдцеле, был всё тем же: речь шла не только об Игре, а о всей Касталии.

Как-то раз, в тот период, когда все эти проблемы особенно досаждали ему и во сне он часто видел себя дискутирующим с Дезиньори, Кнехт, переходя через один из просторных дворов вальдцельского Селения Игры, услышал вдруг, как кто-то громко его окликнул, причём голос, хотя он ему и показался знакомым, он узнал не сразу. Кнехт обернулся и увидел высокого молодого человека с небольшой бородкой, бурно приветствовавшего его. Это был Плинио, и под внезапным наплывом воспоминаний и нежности Кнехт радушно ответил на приветствие. Они тут же договорились встретиться вечером. Плинио давно уже окончил курс обучения в мирских университетах, был уже чиновником и воспользовался отпуском для участия в курсах Игры, точно таких, в каких он

участвовал несколько лет до этого. Но вечерняя встреча вскоре привела обоих друзей в смущение. Плинио был здесь в гостях, его терпели как дилетанта из другого мира, и хотя он с должным рвением проходил соответствующий курс, но ведь то был курс для вольнослушателей и любителей, так что дистанция оказалась чересчур велика. Против него сидел знаток своего дела, посвящённый, который одним своим бережным отношением и вежливым вниманием к заинтересованности друга в Игре, по существу, давал ему понять, что имеет дело не с равным, не с коллегой, а с ребёнком, забавляющимся где-то на периферии науки, которая другим, посвящённым, была знакома до сокровеннейших глубин. Кнехт предпринял попытку увести беседу от Игры, попросил Плинио рассказать о его работе и жизни там, вне Касталии. Здесь уже Йозеф оказался отставшим, ребёнком, который задавал наивные вопросы, а Дезиньори бережно поучал его. Плинио стал юристом, стремился обрести политическое влияние, вот-вот должна была состояться его помолвка с дочерью одного из партийных лидеров, он говорил на языке, почти уже непонятном касталийцу; многие часто приводимые Плинио выражения ничего

не значили для Йозефа, казались лишёнными всякого смысла. Но всё же он понял, что там, вне Касталии, Плинио уже приобрёл кое-какой вес, недурно разбирался в делах, лелеял честолюбивые замыслы. Однако эти два мира, которые в лице двух юношей десять лет назад с любопытством и не без симпатии соприкоснулись, теперь оказались чужими и несовместимыми, их разделяла пропасть. Правда, сразу же бросалось в глаза, что этот светский человек и политик сохранил какую-то привязанность к Касталии, он уже второй раз жертвовал своим отпуском ради Игры; но ведь, в конце концов, думал Йозеф, это то же самое, как если бы я вдруг явился в мир Плинио в качестве любознательного гостя и попросил бы разрешения посетить заседание суда, фабрику или благотворительное учреждение. Обоих охватило разочарование. Кнехт нашёл своего бывшего друга в чём-то грубее, в нём появилось много бьющего на эффект, а Дезиньори обнаружил в товарище ученических лет высокомерие, проявлявшееся в его исключительной интеллектуальности и эзотеричности: поистине очарованный самим собой и своим спортом «чистый дух». Но оба прилагали немалые усилия, чтобы преодолеть преграды, к тому же у Дези-

ньори было что рассказать о своих студенческих годах, экзаменах, поездках в Англию и на юг, о политических собраниях, о парламенте. А один раз у него выскользнула фраза, прозвучавшая как угроза или предостережение. «Вот увидишь, — сказал он, — скоро наступят тревожные времена, может быть, разразится война, и не лишено вероятия, что само существование Касталии снова будет поставлено под вопрос».

Однако Йозеф не очень серьёзно отнёсся к этому, он только спросил:

— А ты, Плинио, ты будешь «за» или «против» Касталии?

— Да что там я, — ответил Плинио с натянутой улыбкой, — вряд ли кого-нибудь интересует моё мнение. Разумеется, я — за Касталию, и за Касталию без какого бы то ни было вмешательства извне, иначе я не приехал бы сюда. Но всё же, как ни скромны ваши требования в смысле материальном, Касталия стоит стране в год хорошенькую сумму.

— Да уж, — рассмеялся Йозеф, — сумма эта, как мне говорили, составляет примерно, одну десятую той, которую наша страна во времена воинственного столетия расходовала на оружие и снаряжение солдат.

Они встретились ещё несколько раз, и чем ближе подходил отъезд Плинио, тем старательнее они ухаживали друг за другом. И всё же оба почувствовали облегчение, когда по прошествии трёх недель Плинио покинул Педагогическую провинцию.

Магистром Игры был в то время Томас фон дер Траве[2], человек широкоизвестный, много путешествовавший, знавший свет, обходительный и полный учтивейшей внимательности к любому, но во всём, что касалось Игры, проявлявший неумолимую аскетическую строгость. Притом он был великий труженик, о чём и не подозревали те, кто знал его только с внешней стороны, например, в торжественном облачении верховного руководителя публичных Игр или же на приёмах делегаций. Ходила молва, будто он человек рассудка, чересчур спокойный, даже холодный, поддерживающий с музами лишь отношения вежливости. Среди молодых, полных энтузиазма приверженцев Игры можно было услышать даже отрицательные суждения о нём — ошибочные суждения, ибо если он и не был энтузиастом и вовремя больших публичных Игр скорее избегал

---

[2] Примечания: [2]

Томас фон дер Траве — стилизованный портрет Томаса Манна, с которым Гессе поддерживал близкие дружеские отношения.

ставить большие и будоражащие темы, то всё же сыгранные им, блистательно построенные и формально непревзойдённые партии говорят о его большой близости к сокровенным проблемам Игры.

В один прекрасный день Магистр вызвал Кнехта: он принял его на частной квартире, в домашнем платье и спросил, не сможет ли Кнехт и не доставит ли ему удовольствие в ближайшие дни проводить у него здесь по полчаса, примерно в это же время дня. Кнехт, ещё ни разу не видевший Магистра с глазу на глаз, с немалым удивлением подчинился этому приказу. На первый день Магистр предложил ему познакомиться с объёмистой рукописью, содержащей одно из бесчисленных предложений (на этот раз оно поступило от вальдцельского органиста), рассмотрение которых входило в обязанности верховной инстанции Игры. В большинстве своём это были ходатайства о включении в Архив Игры нового материала. Изучил, например, кто-нибудь пристально историю мадригала и обнаружил в его развитии особую кривую — он спешит выразить её посредством геометрических и музыкальных обозначений, чтобы она могла занять место в словарном запасе Игры. Другой ис-

следовал латынь Юлия Цезаря в её ритмических аспектах и нашёл в ней поразительное сходство с результатами хорошо известных исследований интервалов в византийских церковных песнопениях. Или некий мечтатель изобрёл уже не в первый раз кабалу для нотного письма пятнадцатого столетия. Мы уж не говорим о пламенных письмах чудаковатых экспериментаторов, ухитрявшихся из сопоставления гороскопов Гёте и Спинозы делать самые поразительные выводы и сопровождавших свои послания красиво выполненными в красках геометрическими чертежами, притом вполне убедительными.

Кнехт довольно рьяно принялся изучать поступившее в тот день предложение, у него самого в голове бродило не одно такое, хотя ему никогда не приходило на ум посылать их Магистру. Каждый ревностный адепт мечтает о постоянном расширении сферы Игры, покуда она не охватит весь мир, вернее, он сам производит это расширение в уме и в своих частных партиях, и те, которые кажутся ему удачными, он надеется увидеть включёнными не только в его частный, но и в официальный Архив. В том-то и заключается подлинное изящество игры опытных мастеров, что они настолько овладели выражающими,

именующими и формообразующими возможностями игровых правил, что способны любой игре с объективными и историческими ценностями придать совершенно индивидуальные и единственные в своём роде черты. Один из видных ботаников как-то шутки ради сказал об этом: «Для Игры всё должно быть возможно, даже то, что некое растение станет беседовать с господином Линнеем по-латыни».

Итак, Кнехт помогал Магистру анализировать предложенную органистом схему; полчаса пролетели незаметно. На следующий день он вновь явился точно в указанное время и затем приходил в течение двух недель и работал наедине с Магистром. После первых же встреч он обратил внимание на то, что Магистр заставлял его тщательно прорабатывать даже самые нелепые предложения, никчёмность которых сразу же бросалась в глаза. «Хватает же у Магистра времени на такие пустяки!» — думал он, но в конце концов всё же сообразил: дело здесь вовсе не в услуге Магистру, не в помощи ему, а в том, что эти занятия — прежде всего повод для учтивой, но весьма тщательной проверки самого молодого человека. С Кнехтом повторялось примерно то же, что произошло с ним когда-то в мальчише-

ские годы после встречи с Магистром музыки: он вдруг заметил это по отношению к нему товарищей, в них появилась какая-то робость, они стали соблюдать, так сказать, дистанцию, порой обращаясь к нему с иронической почтительностью. Он понял: готовится перемена, но уже не мог быть так счастлив, как тогда, прежде.

По окончании последних совместных занятий Магистр Игры сказал своим немного высоким вежливым голосом, с присущей ему чёткостью интонации и без всякой торжественности:

— Хорошо, завтра можешь больше не приходить, дела мы с тобой пока закончили, однако через некоторое время я буду вынужден снова просить тебя поработать со мной. Благодарю за помощь, она была очень кстати. Полагаю, между прочим, что тебе пора подать заявление о приёме в Орден; не думаю, чтобы там возникли какие-нибудь препятствия, я уже говорил там о тебе. Надеюсь, ты не против? — Поднявшись, он добавил: — Ещё два слова: скорей всего и ты, как большинство хороших адептов Игры в свои молодые годы, склонен рассматривать нашу Игру как некий инструмент для философствования. Одни мои предостережения не отвадят тебя от этого, и всё же я выскажу их. Философствуя, следует

прибегать к тем средствам, которые для этого годны, а именно к средствам философии. Наша Игра — не философия и не религия, она самостоятельная дисциплина и по характеру своему ближе всего к искусству, она есть искусство sui generis[47]. Ты добьёшься большего, если сразу будешь придерживаться этого, а не придёшь к тому же итогу, потерпев сотни неудач. Философ Кант — его теперь мало знают, но это большой ум — говорил о теологическом философствовании как «о волшебном фонаре призраков ума». Мы не имеем права превращать нашу Игру в нечто подобное.

Для Йозефа всё это было так неожиданно, что от едва сдерживаемого волнения он чуть не пропустил мимо ушей последнее предостережение. Мгновенно его поразила мысль: конец твоей свободе, конец студенческим годам, тебя примут в Орден, и очень скоро ты займёшь место в касталийской иерархии. Низко поклонившись, он поблагодарил Магистра и вскоре после этого зашёл в вальдцельскую канцелярию, где и впрямь увидел себя в списке Кандидатов, подлежащих зачислению в Орден. Как и все студенты его ступе-

[47] Примечания: [47]
В своём роде (лат.).

ни, он уже хорошо знал устав и тут же вспомнил пункт, в соответствии с которым любой член Ордена, занимающий высокий пост, имел право совершить обряд приёма. Он попросил, чтобы церемонию его принятия совершил Магистр музыки, получил пропуск и краткосрочный отпуск и на следующий же день отбыл к своему покровителю и другу в Монпор. Досточтимого старого господина он застал не вполне здоровым, однако был принят радостью.

— Ты приехал как нельзя вовремя, — сказал Магистр. — Ещё немного — и я лишился бы права принять тебя как юного брата в Орден. Я намерен оставить свою должность, моя отставка уже одобрена.

Сама церемония оказалась очень простой. На второй день Магистр музыки, как того и требовал устав, пригласил двух свидетелей из числа братьев Ордена и предложил Йозефу статью из устава как задание для медитации. Статья гласила: «Если Коллегия призывает тебя занять определённый пост, то знай: каждая следующая ступень — это не шаг к свободе, а новое обязательство. Чем выше пост, тем больше обязательство. Чем больше власть, тем строже служение. Чем сильнее личность, тем предосудительнее про-

извол».

Они собрались в музыкальной келье Магистра, той самой, где Кнехт был впервые посвящён в искусство медитации; в честь торжественного события Магистр потребовал исполнения прелюдии к хоралу Баха, затем один из свидетелей зачитал краткое изложение устава, а Магистр сам задал все связанные с ритуалом вопросы и принял у своего юного друга обет. После церемонии они ещё около часа провели вместе в саду, и Магистр напутствовал Кнехта дружескими пожеланиями, как лучше всего усвоить правила Ордена и как жить по ним.

— Хорошо, что ты вступаешь именно сейчас, — сказал он, — ты заполнишь брешь, когда я уйду, как если бы у меня вдруг появился сын, который вместо меня повёл бы дела. — Заметив печаль на лице Йозефа, старик добавил: — Не грусти, пожалуйста, видишь — я не грущу. Я порядком устал и рад досугу, который мне теперь дано вкусить и коротать который мы не раз будем вместе с тобой. При следующей встрече обращайся ко мне на «ты». Я не имел права предложить тебе это, покуда был связан должностью. — Он отпустил Йозефа с той душевной и такой располагающей улыбкой, которую Йозеф знал вот уже двадцать

лет.

Кнехт скоро вернулся в Вальдцель — отпуск ему дали только на три дня. Не успел он снять дорожное платье, как его уже вызвал Магистр Игры, встретивший его приветливо, как коллегу, и поздравивший со вступлением в Орден.

— Чтобы стать вполне коллегами и сотоварищами по занятиям, — продолжил он, — нам недостаёт только твоего включения в структуру нашей иерархии.

Йозеф вздрогнул: конец свободе!

— Я надеюсь, — сказал он робко, — что меня назначат на какое-нибудь скромное место. Должен признаться вам, что мечтал ещё некоторое время посвятить себя свободным исследованиям.

Магистр пристально посмотрел на него своими умными глазами, и чуть ироническая улыбка скользнула по его губам.

— Ты сказал «некоторое время», а сколько это?

— Право, не знаю, — ответил Кнехт, сконфузившись.

— Так я и думал, — согласился с ним Магистр.

— Речь твоя — речь студента, и понятия твои — понятия студента, Йозеф Кнехт. Так оно и должно быть, но очень скоро это уже не будет так, ибо ты нам нужен. Тебе, вероятно, известно, что и позд-

нее, когда ты уже будешь занимать высокий пост в нашей иерархии, ты сможешь получить отпуск для исследовательской работы, если тебе удаётся убедить Коллегию в ценности твоих занятий. Мой предшественник и учитель, например, уже будучи Магистром Игры и убелённым сединами старцем, просил и получил годичный отпуск для работы, в лондонских архивах. Но он получил его не «на некоторое время», а на весьма определённое число, месяцев, недель и дней. Вот с этим и тебе придётся смириться. А теперь я намерен сделать тебе предложение. Для выполнения особой миссии нам нужен человек, хорошо знающий, что такое ответственность, но малоизвестный за пределами нашего круга.

Поручение заключалось в следующем: бенедиктинский монастырь Мариафельс, один из старейших очагов просвещения в стране, поддерживавший дружественные отношения с Касталией и особенно благосклонный к Игре, просил прислать молодого учителя для прочтения вводного курса в Игру, а также для занятий с несколькими продвинувшимися учениками. Выбор Магистра пал на Йозефа Кнехта. Отсюда и проистекали как пристальная проверка, так и ускоренное принятие его в Орден.

Два ордена

В некотором смысле Йозеф Кнехт чувствовал себя в то время примерно так же, как некогда в гимназии после приезда Магистра музыки. Навряд ли он задумывался над тем, что назначение его в Мариафельс есть большое отличие и первый, крупный шаг по ступеням иерархии; однако, приобретя теперь уже известный опыт, он ясно видел это по изменившемуся обращению своих *commilitones.*[48] Хотя с некоторых пор он и так принадлежал внутри элиты к самому узкому избранному кругу, всё же необычайное поручение словно бы наложило на него особую печать: начальство отметило его и намерено использовать по своему усмотрению. Не то чтобы вчерашние товарищи отвернулись от него или перестали дарить своим дружеским расположением, — для этого в столь высоком аристократическом кругу все были слишком благовоспитанны, — но возникла определённая дистанция; вчерашний товарищ послезавтра легко мог стать начальником, а на подобные от-

---

[48] Примечания: [48]
Товарищи (лат.).

тенки и тонкости иерархических отношений сей круг реагировал чрезвычайно чутко и находил им должное выражение.

Исключение составлял Фриц Тегуляриус, которого мы можем назвать, наряду с Ферромонте, самым верным другом Йозефа Кнехта. Этому человеку, который был по своим способностям как бы предназначен к самому высокому, но тяжко страдал от недостатка здоровья, равновесия и веры в себя, было столько же лет, сколько Кнехту, и, следовательно, в пору, когда того принимали в Орден, — тридцать четыре года. Впервые они встретились на одном из курсов Игры, и Кнехт тогда же почувствовал, как сильно влечёт к нему этого тихого и несколько меланхоличного юношу. Благодаря своему чутью на людей, которое он бессознательно проявлял уже тогда, Кнехт понял и характер этой привязанности: то было чувство дружбы, готовой к безоговорочной преданности и послушанию, и поклонение, проникнутое огнём почти религиозной экзальтации, но сдерживаемое и омрачаемое внутренним благородством и предчувствием душевной трагедии. Только что пережив потрясение, связанное с Дезиньори, и став из-за этого особенно легко ранимым, Кнехт не подпускал к себе Тегуляриуса, хотя и самого

Кнехта влекло к этому интересному и необычному студенту. Для характеристики его приведём страничку из секретной записи Кнехта, сделанной им многие годы спустя и предназначенной для информации Верховной Коллегии. В ней говорилось:

«Тегуляриус. Состоит с автором этих строк в личной дружбе. Неоднократно отличавшийся в Койпергейме ученик, превосходный знаток классической филологии, выказывает серьёзные философские интересы, занимался Лейбницем, Больциано, позднее Платоном. Самый талантливый и блистательный знаток Игры, которого я знаю. Это был бы провидением избранный *Magister Ludi*, если бы его характер в сочетании с хрупким здоровьем не был решительно к тому непригоден. Т. нельзя допускать ни к какой руководящей, представительствующей или организаторской должности, это было бы бедой и для него, и для дела. Болезненность его выражается в припадках депрессии, периодах бессонницы и нервических болях, нападающей на него меланхолии, резко выраженном желании остаться одному, страхом перед долгом и ответственностью. Возможно, и в мыслях о самоубийстве. С помощью медитации и удивительной

самодисциплины этот столь отягощённый недугами человек держится так превосходно, что большинство окружающих его людей и не подозревают о тяжести его страданий. В лучшем случае замечают лишь необыкновенную робость и замкнутость. Если, стало быть, Т. прискорбным образом непригоден для замещения высоких должностей, то для *Vicus lusorum* он являет собой жемчужину, совершенно незаменимое сокровище. Техникой нашей Игры он владеет, как великий музыкант владеет своим инструментом, с первого взгляда он угадывает самые тонкие нюансы и как педагог заслуживает всяческой похвалы. Я не представляю себе, как бы я смог обойтись без него на старших и высших повторных курсах — для младших мне жаль тратить его силы; то, как он анализирует учебные партии новичков, не обескураживая их, как он раскрывает их уловки, с первого взгляда безошибочно распознаёт и обнажает всякого рода подражательные или декоративные решения, каким образом в превосходно обоснованной, однако неуверенно и сбивчиво построенной партии выявляет истоки ошибок и тут же демонстрирует их, словно речь идёт об отличнейших анатомических препаратах, — всё это нечто единственное в своём роде!

Его неподкупная проницательность при разборе и выправлении чужих работ, собственно, и стяжала ему уважение учеников и коллег, которое могло бы оказаться под вопросом из-за его неуверенной и неровной, застенчиво-боязливой манеры держать себя. Сказанное мною о совершенно уникальной гениальности Т. как мастера Игры я хотел бы пояснить примером. В самом начале нашего с ним знакомства, когда в смысле знания техники нам обоим курсы уже мало что могли дать, он в какой-то час особого доверия и расположения позволил мне заглянуть в некоторые игры, им тогда сочинённые. При первом же беглом взгляде я убедился, сколь блистательны они по идее, сколь новы и оригинальны по стилю, и тут же выпросил у него несколько схем для внимательного изучения, обнаружив вскоре, что и сама композиция этих партий — подлинная поэма, нечто столь удивительное и своеобразное, что я не могу умолчать о ней в этой своей записи. Они походили на маленькие драмы, состоящие из одного монолога и отображающие индивидуальную, болезненную и вместе гениальную духовную жизнь их автора, как отображает их мастерски выполненный автопортрет. В них не только спорили друг с другом и диалектиче-

ски перекликались разные темы и группы тем, на которых основывалась партия и последовательность и противопоставление которых были весьма остроумны, но и синтез и гармонизация противоположных голосов были решены не в обычной классической манере. Гармонизация эта претерпевала несколько изломов, каждый раз в изнеможении и отчаянии словно задерживалась перед самым своим разрешением и наконец заканчивалась, замирая в сомнениях и неразрешённых вопросах. Благодаря этому партии Т. обретали не только некий волнующий и, по моему разумению, никем не достигнутый хроматизм, но и становились воплощением трагических сомнений и отречения, образной констатацией того, сколь сомнительно всякое духовное усилие. При этом по своей одухотворённости, по совершенству своей технической каллиграфии они были столь необычайно красивы, что над ними можно было расплакаться. Каждая из его игр столь искренне и глубоко стремилась к своему решению и в конце концов с такой благородной резиньяцией отказывалась от него, что это становилось как бы совершенно построенной элегией на бренность, присущую всему прекрасному, и на проблематичность, отмечающую в конце концов

все высокие устремления человеческого духа. *Item*,[49] рекомендую Тегуляриуса, в случае если ему суждено пережить меня или моё пребывание в должности, как чрезвычайно нежную и драгоценную и в то же время всегда находящуюся под угрозой жемчужину. Ему необходимо предоставлять как можно больше свободы, к его совету необходимо прислушиваться во всех серьёзных вопросах Игры. Однако ему никогда не следует препоручать самостоятельного воспитания учеников».

Этот своеобразный человек с течением лет действительно стал другом Йозефа Кнехта. К Кнехту, в котором он, помимо его духовности, восхищался чем-то похожим на властность, он относился с трогательной преданностью, и очень многое из того, что мы знаем о Кнехте, передано им. В узком кругу молодых адептов Игры он был, пожалуй, единственным, кто не завидовал порученной его другу миссии, и единственным, для кого отъезд Кнехта на столь неопределённый срок означал столь глубокую, почти невыносимую боль и потерю.

Сам Йозеф, преодолев первый испуг перед

---

[49] Примечания: [49]
Также (лат.).

внезапной утратой любимой свободы, воспринял новое своё назначение с радостью, у него возникло желание попутешествовать, жажда деятельности и любопытство к чужому миру, куда его посылали. Впрочем, нового члена Ордена так сразу не отпустили в Мариафельс; предварительно его на три недели упрятали в «полицию». Так студенты называли один из небольших отделов Воспитательной Коллегии, который следовало бы определить как его политическое отделение или министерство внешних сношений, если бы это не звучало чересчур уж громко для дела столь малого масштаба. Здесь Кнехту преподали правила поведения члена Ордена в миру, и чуть не каждый день господин Дюбуа, начальник этого отдела, целый час сам уделял Йозефу. Этому добросовестному человеку показалось сомнительным избрание столь неопытного и вовсе не знающего свет юноши для такого поручения; он и не утаивал, что скептически относится к решению Магистра Игры и потому прилагал удвоенные усилия к тому, чтобы самым вежливым образом указать юному члену Ордена на опасности внешнего мира и на способы их преодоления. Отеческая забота господина Дюбуа, чистота его помыслов так счастливо сочетались с

желанием молодого человека почерпнуть у него как можно больше, что в конце концов, учитель, вводя ученика в правила общения с чуждым ему миром, полюбил его, проникся к нему доверием и, вполне успокоившись, отпустил Йозефа выполнять ответственную миссию. Скорей по благорасположению, нежели руководясь политическим расчётом, он решил доверить ему, уже от своего имени, ещё одно поручение. Господин Дюбуа, будучи одним из немногих «политиков» Касталии, входил в ту очень небольшую группу чиновников, мысли и трудны которых в основном были посвящены государственно-правовому и экономическому положению Касталии, её отношениям с внешним миром и её зависимости от него. Большинство касталийцев, чиновники в не меньшей мере, чем учёные и студенты, воспринимали свою Педагогическую провинцию как некий вечный и стабильный мир, о котором они, разумеется, знали, что он не всегда существовал, что и он когда-то родился, и родился в эпоху тягчайшей нужды, что за него велись ожесточённые бои, и он возник в конце воинственной эпохи столь же из героико-аскетического самосознания и самоопределения людей духа, сколь и из глубокой потребности измученных, обескровленных

народов в упорядоченности, в нормах, в разуме, законе и мере. Это они понимали, понимали они также функцию и назначение всех подобных Орденов и Провинций на земле: отказ от власти, от погони за ней, но зато сохранение и обеспечение постоянства и долговечности духовных основ всех мер и законов. И всё же касталийцы не знали, что такой порядок вещей вовсе не был само собой разумеющимся, что предпосылка его — определённая гармония между миром и духом, нарушить которую так легко и так возможно; что всемирная история в целом отнюдь не стремится к желаемому, разумному и прекрасному, не способствует им, а в лучшем случае время от времени терпит их в виде исключения. Глубинная, скрытая проблематичность самого их касталийского существования не осознавалась почти никем из касталийцев, это было, так сказать, делом вышеназванных немногих политических умов, одним из которых и являлся господин Дюбуа. Именно у него, завоевав доверие, Кнехт почерпнул первые общие сведения о политических основах Касталии, поначалу показавшиеся ему скорее отталкивающими и неинтересными, как и большинству его братьев по Ордену, но вдруг заставившие вспомнить

когда-то обронённое Дезиньори замечание об опасности, нависшей над Провинцией, а вместе и, казалось бы, давно забытый и преодолённый горький привкус юношеских споров с Плинио, после чего всё неожиданно приобрело чрезвычайную важность и превратилось в очередную ступень на его пути к пробуждению. В конце последней встречи Дюбуа сказал:

— Думаю, что могу теперь отпустить тебя. Строго придерживайся порученного тебе досточтимым нашим Магистром Игры и не менее строго тех правил поведения, которые мы преподали тебе здесь. Мне доставило некоторое удовольствие оказать тебе помощь; ты сам убедишься, что три недели, которые мы продержали тебя здесь, прошли не без пользы. И если у тебя появится желание выразить своё удовлетворение нашей информацией и нашим знакомством, то я укажу тебе к тому путь. Ты отправляешься в бенедиктинский монастырь и, проведя там некоторое время, возможно, заслужишь доверие святых отцов. По всей вероятности, тебе в кругу этих уважаемых господ и их гостей доведётся услышать политические разговоры, и ты легко поймёшь, каковы их политические настроения. Если при случае ты сообщишь мне о них, я буду

тебе признателен. Пойми меня правильно: ты никоим образом не должен смотреть на себя как на некое подобие шпиона или злоупотреблять доверием, которое окажут тебе *patres*[50]. Ты не должен посылать мне ни единого сообщения, которое обременило бы твою совесть. А что подобную информацию мы принимаем к сведению и используем только в интересах Ордена и Кастилии, за это я тебе ручаюсь. Ведь подлинными политиками нас не назовёшь, у нас нет никакой власти, однако и мы должны считаться с тем миром, который в нас нуждается или нас терпит. При известных обстоятельствах для нас могло бы представлять интерес сообщение, например, о том, что некий государственный деятель посещал монастырь, что говорят о болезни папы, что в список будущих кардиналов включены новые имена. Мы не зависим от твоей информации, у нас имеются и другие источники, но приобрести ещё один, хотя бы небольшой, нам не повредит. А теперь ступай, я истребую от тебя сегодня же решительного ответа на моё предложение. Сейчас ни о чём другом не думай, кроме возложенной на тебя миссии, и не осрами нас перед святыми

---

[50] Примечания: [50]
Отцы (лат.).

отцами. Итак, в добрый путь!

В «Книге перемен», которую Кнехт запросил перед отъездом, предварительно проделав всю церемонию со стеблями тысячелистника, он натолкнулся на иероглиф «Лю», означавший «Странник», и на суждение «От малого к удаче. Страннику благотворна настойчивость». Он отыскал шестёрку на втором месте, открыл толкование и прочёл:

> *Странник приходит в приют.*
>
> *Всё его достояние при нём.*
>
> *Молодой служка домогается его внимания.*

Прощание не было ничем омрачено, лишь последний разговор с Тегуляриусом оказался тяжким испытанием для обоих. Фриц силой поборол себя и словно застыл, облачившись в ледяной панцирь: с уходом друга он терял лучшее, что у него было. Характер Кнехта не допускал столь страстной и исключительной привязанности к одному-единственному другу, на худой конец он мог обойтись и вовсе без друга, не колеблясь направить тепло своих чувств на новые объекты и новых людей. Для Кнехта это прощание не было особенно мучительной потерей, но он уже тогда

хорошо знал друга и понимал, какое потрясение, какое испытание оно означало для последнего, и потому испытывал озабоченность. Не раз Кнехт задумывался над этой дружбой, как-то даже заговорил о ней с Магистром музыки и в какой-то мере постиг искусство объективно, критически смотреть на собственные переживания и чувства. При этом он осознал, что, по сути, не только и не столько большой талант Тегуляриуса привлекал его и пробуждал в нём некую любовь, но как раз сочетание таланта со столь крупными недостатками, с такой немощью, осознал также, что однобокость и исключительность любви, которой дарил его Тегуляриус, имела не только хорошую, но и опасную сторону, ибо в ней таилось искушение; дать почувствовать слабейшему силами, но не любовью свою власть. В этой дружбе Йозеф считал себя обязанным до конца проявлять определённую самодисциплину и сдержанность. Как ни любил Кнехт Тегуляриуса, но тот не сыграл бы в его жизни значительной роли, если бы дружба с этим нежным юношей, обворожённым своим более сильным и самоуверенным другом, не открыла бы Йозефу, что он наделён притягательной силой и властью над людьми. Он знал: эта власть, этот дар при-

влекать других и оказывать на них влияние в значительной мере есть дар учителя и воспитателя, но в нём таится не одна опасность, он возлагает определённую ответственность. Ведь Тегуляриус не был исключением. Кнехт видел, что на него направлены многие искательные взоры. Одновременно он всё явственней ощущал крайнюю напряжённость всей обстановки, которая его окружала в последний год, проведённый в Селении Игры. Он входил там в официально не значащийся, однако строго ограниченный круг, или сословие, избранных кандидатов и репетиторов Игры, в круг, из которого время от времени того или другого привлекали для выполнения различных поручений Магистра, Архивариуса или же для ведения курсов Игры, но из которого уже не отбирали низших и средних чиновников или учителей. То был как бы резерв для замещения руководящих должностей. Здесь все друг друга знали хорошо, даже очень хорошо, здесь никогда не ошибались относительно способностей, характера и достижений друг друга. И именно потому, что здесь, среди этих репетиторов Игры и кандидатов на высшие должности, каждый обладал талантами выше среднего уровня, каждый по своим успехам, знаниям был лучшим

из лучших, именно поэтому всякая черта и оттенок характера, предопределявшие будущего повелителя, человека, которому сопутствует успех, играли особенно большую роль и за ними неотступно и пристально следили. Избыток или недостаток честолюбия, небольшие плюсы или минусы — в манерах, росте, внешности, наличие или отсутствие личного обаяния, преимущество, выражающееся в большем влиянии на молодёжь и на Коллегию или просто в любезности, — всё имело здесь вес и могло оказаться решающим в борьбе конкурентов. И если Тегуляриус входил в этот круг только как аутсайдер, некий гость, которого терпели, не подпуская близко, ибо у него не было никаких данных вождя и повелителя, то Йозеф Кнехт был полноправным членом самого узкого кружка. Должно быть, какая-то особая свежесть и юношеская привлекательность, кажущаяся недоступность страстям, бескорыстие и в то же время что-то от ребяческой безответственности, какое-то целомудрие влекли к нему молодёжь, завоёвывали поклонников. Вышестоящих же к нему притягивала другая сторона этого целомудрия: почти полное отсутствие тщеславия и карьеризма.

В самое последнее время воздействие его лич-

ности сперва по нисходящей, а затем медленно, но верно и по восходящей линии, было осознано и самим молодым человеком, и когда он с этой позиции пробудившегося вглядывался назад, он видел обе линии как бы проходящими через всю его жизнь и определяющими её, начиная с самого детства: с одной стороны, это была искательная дружба, которой его дарили товарищи и младшие школьники, с другой — благосклонное внимание начальства. Бывали, правда, и исключения, как, например, в случае с директором Цбинденом, но зато и такие отличия, как благоволение Магистра музыки, а теперь, совсем недавно, господина Дюбуа и даже самого Магистра Игры. Это было очень заметно, и всё же Кнехт раньше никогда ничего не замечал, не хотел замечать. Скорей всего, то и был предназначенный ему путь: словно бы само собой, безо всяких усилий с его стороны, повсюду попадать в избранные, в элиту, окружать себя обожающими друзьями и высокопоставленными покровителями, но это был путь, не позволяющий останавливаться у подножия иерархии, а приказывавший неустанно подниматься к вершине, к свету, осеняющему её. Нет, ему не суждено оставаться ни субалтерном, ни вольным учёным, он призван повелевать. И как раз то, что он это заме-

тил позднее, чем другие, находящиеся в равном с ним положении, и придавало ему то неуловимое очарование, ту самую ноту целомудрия. Но почему он заметил это так поздно, испытав при этом такое неприятное чувство? Да потому, что повелевать не было его потребностью, не доставляло ему никакого удовлетворения, потому что сам он жаждал созерцательной жизни, а не активной, и был бы весьма доволен, если бы ему удалось ещё несколько лет оставаться никем не замеченным студентом, любознательным и благоговейным паломником, посещающим святыни прошлого, соборы музыки, сады и леса мифологии, языков и идей. Теперь же, видя, что его неумолимо толкают к *vita activa*,[51] он гораздо острей, чем прежде, ощутил всю напряжённость конкурентной борьбы честолюбий в своём кругу, почувствовал, что его целомудрию грозит опасность, что ему более не удастся его сохранить. И тогда он понял, что всё предначертанное и указанное, хотя и нежеланное, он должен теперь желать и признавать, иначе ему не избавиться от ощущения пленничества и тоски по утраченной свободе последних десяти лет, а так как он внутренне ещё не был

[51] Примечания: [51]
Деятельная жизнь (лат.).

готов для этого, то воспринял своевременное расставание с Вальдцелем, с Провинцией и путешествие в «мир» как некое спасение.

Монастырь Мариафельс за многие столетия своего существования стал неотделим от истории Западной Европы, вместе с ней пережил и выстрадал её; видывал он периоды расцвета и упадка, нового подъёма и нового хирения, в иные времена и он блистал и славился в самых различных областях. Некогда оплот схоластической премудрости и искусства диспута, и ныне ещё числивший среди своих богатств огромную библиотеку по средневековой теологии, он после целой полосы прозябания и инертности вновь обрёл прежний блеск, на сей раз, благодаря своему вниманию к музыке, знаменитому своему хору и сочинённым святыми отцами и ими же исполняемым мессам и ораториям; с тех пор в Мариафельсе хранили прекрасные музыкальные традиции, а также и полдюжины ларцов орехового дерева, набитых рукописными нотами, и лучший орган во всей стране. Затем настал политический период, после него также сохранились некоторые традиции и обычаи. Во времена жестокого одичания, порождённого войнами, Мариафельс не раз был как бы островком разу-

ма и успокоения, где лучшие умы враждующих сторон осторожно прощупывали друг друга, изыскивая пути примирения, а однажды — то был последний взлёт в его истории — Мариафельс стал местом, где был заключён мир, на некоторое время утоливший тоску измученных народов. Когда затем наступили новые времена и была основана Касталия, монастырь занял выжидательную и даже отрицательную позицию, по всей вероятности, предварительно запросив Рим. Ходатайство Воспитательной Коллегии о разрешении для одного из учёных изучать схоластическую литературу в библиотеке монастыря было вежливо отклонено, как и приглашение прислать представителя на съезд историков музыки. Только с правлением аббата Пия, который, правда, уже в пожилом возрасте, живо заинтересовался Игрой, было положено начало некоему общению и обмену, и с тех пор установились если не очень живые, то, во всяком случае, дружественные отношения. Происходил обмен книгами, представители обеих сторон принимались как желанные гости. Покровитель Кнехта, Магистр музыки, в свои молодые годы несколько лет провёл в Мариафельсе, переписывая редкие ноты, играл на знаменитом органе. Йозеф знал об

этом и заранее радовался возможности побывать в таком месте, о котором Досточтимый рассказывал ему с видимым удовольствием.

Вопреки ожиданиям Кнехта, его встретили весьма учтиво, даже с почётом, что не могло не смутить его. Всё же Касталия впервые присылала в монастырь, причём без ограничения срока, учителя Игры и к тому же человека из элиты. Господин Дюбуа наставлял его, чтобы он, особенно первое время, вёл себя не как Йозеф Кнехт, а только как представитель Касталии и на всякие любезности и, напротив, некоторый холодок реагировал бы не более как посланник. Это и помогло Кнехту преодолеть первоначальную скованность. Он справился и с чувством отчуждённости, робости и лёгкого волнения, охватившего его в первые ночи на новом месте, когда сон не шёл к нему. Поскольку же аббат Гервасий встретил его с добродушным и тёплым благоволением, Кнехт быстро освоился с новой обстановкой. Здесь радовали его новизна сурового ландшафта, могучие горы, отвесные скалы и зеленевшие между ними сочные луга, где пасся тучный скот. Он был счастлив видеть мощь и величие старинных зданий монастыря, на которые многовековая его история наложила свою печать,

понравились ему и уютные, скромные комнаты, отведённые для него на верхнем этаже гостевого флигеля; он сразу же пристрастился к долгим прогулкам по благоустроенному монастырскому двору с двумя церквами, галереями, архивом, библиотекой, покоями настоятеля, несколькими двориками, обширными хозяйственными постройками, где содержалось много упитанного скота, струящимися фонтанчиками, огромными подвалами для вина и фруктов, двумя трапезными, знаменитым залом заседаний капитула, ухоженными садами — всё в отличном порядке, а также мастерскими бельцов: бочарней, сапожной, портновской, кузницей, и тому подобными, как бы образовавшими отдельное селение вокруг самого большого двора. Вскоре Кнехта допустили и в библиотеку, а органист показал ему изумительный орган, разрешив поиграть на нём; не меньше привлекали его и заветные ларцы, где, как он знал заранее, его ожидало немалое количество неопубликованных, а частью вообще ещё неизвестных музыкальных рукописей прошлых эпох.

Казалось, в монастыре никто не ожидает с нетерпением начала официальной деятельности Кнехта. Прошли дни, прошли и многие недели,

прежде чем монастырское начальство как бы вспомнило о действительной цели прибытия Кнехта. Правда, с первых же дней приезда Йозефа некоторые святые отцы, и особенно сам настоятель, охотно беседовали с ним об Игре, однако о лекциях и вообще систематических занятиях речь так и не заходила. Кнехт обратил внимание на незнакомый ему до сих пор темп жизни, проявлявшийся здесь во всём: в обращении друг с другом, в манерах, — на какую-то достойную медлительность, неиссякаемое и доброжелательное терпение, свойственное всем здешним святым, отцам, в том числе и тем, которые вовсе не отличались флегматичностью. Таков был самый дух их Ордена, тысячелетнее дыхание старинного, привилегированного, сотни раз испытанного и в счастье, и в бедствиях порядка и общины, членами которой все они являлись и судьбу которой разделяли, подобно тому, как каждая пчела разделяет судьбу своего улья, живёт его жизнью, спит его сном, страдает его страданиями, дрожит его дрожью. По сравнению с касталийским, этот бенедиктинский стиль жизни на первый взгляд казался менее одухотворённым, менее подвижным и целенаправленным, менее активным, зато и более невозмутимым, не подверженным

внешним влияниям, в чём-то старше, испытаннее, словно здесь царили давно уже вошедшие в плоть и в кровь дух и смысл. Исполненный любопытства и великого интереса, а также немалого удивления, Кнехт окунулся в эту монастырскую жизнь, которая почти в таком же виде, как сейчас, существовала уже тогда, когда касталийцев ещё не было на свете, — она насчитывала уже более полутора тысяч лет — и которая превосходно отвечала созерцательному характеру его натуры. Он был здесь гостем, его чествовали, чествовали куда больше, чем ему подобало и чем он мог бы ожидать, но он хорошо понимал: таковы здешний порядок и обычаи, всё это не имеет никакого отношения ни к нему лично, ни к духу Касталии, ни к Игре — просто это проявление царственной вежливости древней и могучей державы по отношению к более молодой. К подобному приёму он был только отчасти подготовлен и, по прошествии некоторого времени, несмотря на всё благополучие его жизни в обители, почувствовал себя так неуверенно, что запросил у Верховной Коллегии более подробные инструкции о том, как вести себя в дальнейшем. Магистр Игры лично прислал ему краткое письмо, где значилось: «Не жалей времени для изучения жизни

бенедиктинцев. Используй каждый день, учись, старайся понравиться, будь полезным, насколько это возможно там, но не навязывайся, никогда не проявляй большего нетерпения, большей торопливости, нежели твои хозяева. Даже если они целый год не изменят своего обращения и будут вести себя так, словно ты первый день гостишь у них, принимай это как должное, как будто тебе безразлично, ждать ли ещё год или десять лет. Отнесись к этому как к испытанию в выдержке и терпении. Не забывай о медитации! Если досуг начнёт отягощать тебя, занимайся несколько часов в день, не более четырёх какой-нибудь работой, например, изучай рукописи, переписывай их. Но старайся не производить впечатления, будто тебя отрывают от работы, пусть у тебя всегда будет вдоволь времени для каждого, кто пожелает с тобой поговорить».

Кнехт внял совету и вскоре почувствовал себя куда вольней. До этого его грызла забота о данном ему поручении, о курсе лекций для интересующихся Игрой и любителей её, что ведь и было целью его поездки в Мариафельс. Святые же отцы смотрели на него больше как на посланника дружественной державы, которому надо угождать. А когда настоятель Гервасий на-

конец вспомнил в цели приезда Кнехта и свёл его с несколькими братьями, уже знакомыми с начатками Игры, с которыми Кнехту теперь надлежало продолжить занятия, то тут его поначалу постигло тяжкое разочарование, ибо обнаружилось, что культура благороднейшей Игры в этой столь гостеприимной обители носила чрезвычайно поверхностный и дилетантский характер, и что, по всей видимости, здесь довольствовались весьма скромными о ней сведениями. Но в результате подобного вывода он пришёл в к следующему: не искусство Игры, не обучение ему святых отцов причина отправки его в Мариафельс. Лёгкой, чересчур уж лёгкой была задача немного обучить элементарным правилам Игры симпатизирующих ей святых отцов, дабы доставить им удовлетворение скромного спортивного успеха; с этим справился бы любой другой адепт Игры, даже далёкий от элиты. Не могло, значит, эти уроки быть целью его миссии в Мариафельс. И тогда Кнехт начал понимать, что послали его сюда не столько ради того, чтобы учить, сколько ради того, чтобы учиться.

Впрочем, как раз тогда, когда ему показалось, что он проник в замысел своей Коллегии, его авторитет неожиданно возрос, а тем самым и его

уверенность в себе, ведь порой, несмотря на всё удовольствие, которое он испытывал во время этой гастроли, он стал смотреть на своё пребывание в монастыре как на своего рода ссылку. И вот в один прекрасный день в беседе с настоятелем он совершенно случайно обронил замечание об «И-цзин». Аббат насторожился, задал несколько вопросов и, увидев, что гость, сверх ожиданий, столь сведущ в китайском и «Книге перемен», не мог скрыть своей радости. Гервасий питал пристрастие к «И-цзин», и хотя он и не знал китайского языка и знакомство его с книгой оракулов и другими китайскими тайнами носило беспечный и поверхностный характер, каким, пожалуй, вообще довольствовались тогдашние жители монастыря почти в каждой науке, — всё же нетрудно было заметить, что умный и, по сравнении со своим гостем, столь искушённый в жизни человек действительно имеет некоторое отношение к самому духу древнекитайской государственной и житейской мудрости. Между гостем и хозяином состоялась необычайная беседа, впервые нарушившая строго официальные отношения между ними и приведшая к тому, что Кнехта попросили дважды в неделю читать почтенному настоятелю лекции об «И-цзин».

В то время как отношения Кнехта с аббатом, поднявшись на новую ступень, стали гораздо живей, как росла и крепла дружба с органистом и Кнехт всё ближе узнавал маленькое религиозное государство, где теперь жил, начали постепенно сбываться и предсказания оракула, запрошенного ещё до отъезда из Касталии. Ему, страннику, у коего всё достояние было при себе, обещали не только приют, но и «внимание молодого служки». Поистине то, что пророчество это сбывалось, странник мог принять как добрый знак, как знак того, что он и впрямь носит «всё достояние при себе», что и вдали от школы, учителей, товарищей, покровителей и помощников, вне родной атмосферы Касталии, его никогда не покидают силы и дух, окрылённый которым он идёт навстречу деятельной и полезной жизни. Обещанный «служка» явился ему в образе послушника по имени Антон, и хотя этот молодой человек сам не играл никакой роли в жизни Кнехта, но причудливо двойственные настроения, сопутствовавшие первому периоду пребывания Кнехта в монастыре, придали его появлению характер некоего указания. Кнехт воспринял его как вестника нового и более великого, как глашатая грядущих событий. Антон, ожидавший пострижения, молчаливый,

однако темпераментный и талантливый юноша, в чём можно было убедиться с первого взгляда, довольно часто попадался на глаза приезжему мастеру Игры, само появление и искусство которого казались ему столь таинственными. Небольшая группа остальных послушников, размещённая в недоступном для гостя флигеле, была Кнехту почти незнакома, их явно не допускали к нему, участвовать в изучении Игры им не дозволялось. Антон же несколько раз в неделю помогал в библиотеке подносить книги; здесь-то Кнехт и встретил его, как-то заговорил и вскоре стал замечать, что молодой человек с чёрными горящими глазами под густыми тёмными бровями явно воспылал к нему той мечтательной и самоотверженной, юношеской, ученической любовью, с какой ему приходилось сталкиваться уже не раз; в ней он давно уже распознал важный и животворный элемент всякого ордена, хотя и испытывал каждый раз большое желание от неё уклониться.

Здесь, в монастыре, он принял твёрдое решение быть сдержанным вдвойне: оказывать влияние на юношу, ещё проходящего религиозное обучение, значило бы для него злоупотребить гостеприимством; к тому же Кнехт хорошо знал,

сколь строг обет целомудрия, даваемый здесь всеми, и из-за этого мальчишеская влюблённость могла стать ещё опасней. Во всяком случае, он должен был избегать даже малейшей возможности соблазна и соответственно этому поступал.

В библиотеке, единственном месте, где он часто встречал этого самого Антона, Кнехт познакомился и с человеком, которого он сначала из-за его неприметной внешности чуть было не проглядел, но со временем сошёлся с ним короче и полюбил всей душой, всю жизнь глубоко чтя его, как чтил разве что Магистра музыки. То был отец Иаков[3], пожалуй, самый значительный из историков-бенедиктинцев, в то время лет шестидесяти от роду, сухощавый старик с ястребиной головой на длинной жилистой шее и лицом, если смотреть на него прямо, имевшим что-то безжизненное, потухшее, особенно потому, что

---

[3] Примечания: [3]

Отец Иаков — стилизованный и идеализированный образ швейцарского историка Якоба Буркхардта (1818–1897).

Гессе не только много изучал труды Буркхардта, но и имел перед собой некий живой образ его личности; хотя он и не был непосредственно знаком с ним, но в годы юности в Базеле застал ещё атмосферу «присутствия» знаменитого учёного, беседовал с людьми, лично его знавшими, слушал рассказы о нём и до конца жизни любил вставлять в дружеские письма обороты, заимствованные из обихода Буркхардта. В трудах Буркхардта Гессе привлекало соединение верности классическому гуманизму Гёте и Шиллера с трагическим осознанием исторического развития.

он редко кого дарил открытым взглядом. Зато его профиль со смелой линией лба, глубокой впадиной над резко очерченным горбатым носом и несколько коротковатым, однако чистым и приятным подбородком, несомненно указывал на яркую и самобытную личность. Пожилой, тихий человек, который, между прочим, при более близком знакомстве мог выказывать и незаурядный темперамент, сидел в небольшом внутреннем помещении библиотеки за столом, вечно заваленным книгами, рукописями и географическими картами. В этом монастыре с его бесценными книжными сокровищами отец Иаков был, по-видимому, единственным серьёзно работавшим учёным. Кстати, именно послушник Антон, безо всякого намерения со своей стороны, привлёк к нему внимание Кнехта. Йозеф давно уже приметил, что комнатка в глубине библиотеки, где стоял стол учёного, рассматривалась как некий частный кабинет, и доступ в него имели лишь очень немногие из посетителей читальни, вступая туда на цыпочках и только в случае крайней необходимости, хотя трудившийся там человек вовсе не производил впечатления, будто его легко отвлечь. Разумеется, Кнехт немедленно и строжайшим образом стал

следовать этим неписаным правилам, и потому трудолюбивый старик долгое время оставался вне поля его зрения. Но вот однажды учёный приказал Антону принести какие-то книги, и когда послушник вышел из рабочего кабинета, Кнехт обратил внимание, что тот остановился на пороге и долго смотрел на погрузившегося в свои занятия монаха, с выражением мечтательного обожания, смешанного с тем почти нежным вниманием и готовностью помочь, какими порой преисполнены доброжелательные юноши к недугам и немощам старости. Сначала Кнехт обрадовался этой картине, кстати сказать, прекрасной самой по себе, к тому же это явилось лишним доказательством, что Антон вообще склонен к обожанию старших без какой бы то ни было влюблённости. Но затем ему пришла на ум ироническая мысль, в которой он постыдился признаться даже самому себе: до чего же скудно в этих стенах представлена подлинная наука, если на единственного, серьёзно работающего учёного молодёжь взирает с изумлением, как на диковину и сказочное существо! И всё же этот исполненный нежности взгляд восторженного почитания, каким Антон смотрел на старика, в какой-то мере заставил Кнехта внимательней

взглянуть на учёного, с того дня он стал чаще присматриваться к нему и вскоре открыл для себя его римский профиль, а затем постепенно обнаружил те или иные черты, указывающие на незаурядный ум и характер отца Иакова. А что это был историк и один из самых глубоких знатоков прошлого Ордена бенедиктинцев, стало Кнехту известно до этого.

Как-то отец Иаков сам заговорил с Йозефом; в его манерах не было ничего от широкой, подчёркнуто-доброжелательной манеры, напоминающей манеру доброго дядюшки, от выставляемого напоказ отличного настроения, что, должно быть, вообще являлось стилем обхождения с людьми в Мариафельсе. Он пригласил Йозефа после вечерни навестить его.

— В моём лице, — произнёс он тихим, почти робким голосом, но изумительно чётко выговаривая слова, — вы отнюдь не встретите знатока истории Касталии и ещё менее любителя Игры, но поскольку наши два столь различных Ордена, как я полагаю, сходятся всё ближе, я не хотел бы оказаться в стороне и потому тоже намерен извлечь кое-какую выгоду из вашего присутствия здесь.

Он говорил вполне серьёзно, но этот тихий

голос и старое, такое умное лицо придавали его сверхвежливым словам ту изумительную многозначность, в которой сливались серьёзность и ирония, благоговение и тихая насмешка, пафос и игра, как это можно было бы ощутить, присутствуя при встрече двух святых или князей церкви и наблюдая их нескончаемые поклоны, церемониал учтивого долготерпения. Подобное замеченное им у китайцев сочетание превосходства и насмешки, мудрости и причудливой церемонности подействовало на Кнехта весьма отрадно; он подумал о том, что этой манеры (Магистр Томас владел ею мастерски) он давно уже не наблюдал, и с радостной благодарностью принял приглашение. Когда в тот же вечер он отправился разыскивать отдалённые покои отца Иакова, расположенные в конце тихого флигеля, и остановился в нерешительности, не зная, в какую дверь постучать, до его слуха неожиданно донеслись звуки клавира. Он прислушался и узнал: то была соната Перселла, исполняемая без всяких претензий и без виртуозности, но чисто и строго; тепло и приветливо звучала просветлённая музыка с её нежными трезвучиями, напоминая ему о вальдцельских временах, когда он такие же пьесы разыгрывал со своим другом

Ферромонте. Слушая и наслаждаясь, он стоял и ждал, покуда не окончилась соната, звучавшая в тихом сумеречном коридоре так одиноко и отрешённо, так дерзновенно и целомудренно, так по-детски и вместе с таким неизъяснимым превосходством, как звучит всякая хорошая музыка среди немоты этого мира. Он постучал. Послышалось: «Войдите!», и отец Иаков встретил его со скромным достоинством; на небольшом рояле ещё горели две свечи. Да, ответил отец Иаков на вопрос Кнехта, он каждый вечер играет по полчаса, а то и по часу, труды свои он заканчивает с наступлением темноты и перед сном никогда не пишет и не читает. Они заговорили о музыке, о Перселле, Генделе, о старых музыкальных традициях бенедиктинцев, об этом вовсе не чуждом муз Ордене, с историей коего Кнехт выразил готовность познакомиться ближе. Беседа оживилась, говорили о тысяче вопросов, познания старика в истории оказались поистине феноменальными, однако он не отрицал, что история Касталии, самой касталийской мысли и касталийского Ордена мало его занимала; он не умолчал также о своём весьма критическом отношении к этой самой Касталии, Орден которой он склонен рассматривать как подражание

христианским конгрегациям, кощунственное подражание, ибо касталийский Орден не опирается ни на религию, ни на бога, ни на церковь. Кнехт с почтительным вниманием выслушал эти критические замечания, позволив себе отметить: что касается религии, бога и церкви, то, помимо бенедиктийского и римско-католического толкования, возможны ведь и другие, да они и существовали, и никто не станет отрицать чистоту их помыслов и глубокий след, который они оставили в духовной жизни.

— Несомненно, — согласился отец Иаков. — Вы, должно быть, имеете в виду протестантов. Но они не сумели сохранить ни религии, ни церкви, хотя в своё время проявили незаурядное мужество и выдвинули из своей среды весьма достойных людей. В моей жизни были годы, когда я уделял немалое внимание изучению всякого рода попыток примирения враждующих христианских вероисповеданий и церквей, особенно меня интересовало время около тысяча семисотого года, когда жили такие люди, как философ и математик Лейбниц и этот удивительный фантастический граф Цинцендорф, не жалевшие сил, чтобы вновь соединить враждующих братьев. И вообще, восемнадцатое столетие, как бы нам порой ни

казалось, что тогда царил дух поверхностный и дилетантский, в смысле истории духовной культуры необыкновенно интересно и многогранно, и именно протестанты этого века не раз занимали меня. Однажды я обнаружил среди них филолога, педагога и воспитателя крупного дарования, между прочим, швабского пиетиста, человека, нравственное влияние которого можно проследить в течение двух последующих столетий, — однако мы отвлеклись, вернёмся лучше к вопросу о закономерности и об исторической миссии орденских организаций.

— Нет, позвольте, — воскликнул Кнехт, — прошу вас хоть ещё немного рассказать мне об этом педагоге, о котором вы только что упомянули. Мне сдаётся, что я догадываюсь, о ком речь.

— О ком же?

— Сначала я подумал, что о Франке из Галле[52], но ведь вы сказали, он — шваб, и тут уж речь могла идти только об Иоганне Альбрехте Бенгеле. Раздался смех, лицо учёного засияло радостью. — Вы поражаете меня, дорогой! — воскликнул

---

[52] Примечания: [52]

Франке Август Герман (1663–1727) — немецкий теолог-пиетист, профессор университета в г. Галле. Создал с филантропическими целями комплекс образовательных учреждений для народа, устроенных по последнему слову педагогической науки того времени. Много занимался теорией воспитания.

он живо. — И впрямь, я имел в виду Бенгеля. Но откуда вы-то знаете о нём? Или в вашей удивительной Провинции почитается за правило знать столь давние события и забытые имена? Смею вас уверить, спросите всех святых отцов, наставников и послушников нашей обители, добавьте к ним ещё два поколения, и никто не назовёт вам этого имени.

— В Касталии его тоже мало кто знает, вероятно, никто, кроме меня и двух моих друзей. Некоторое время для своих сугубо частных целей я занимался изучением восемнадцатого столетия и пиетизма, тогда-то я и натолкнулся на двух швабских богословов, вызвавших моё великое удивление и даже преклонение, и из них именно Бенгель показался мне тогда идеалом педагога и наставника молодёжи. Я так увлёкся этим человеком, что даже попросил переснять из старинной книги его портрет, и он долго украшал мой письменный стол.

Отец Иаков всё ещё улыбался.

— В таком случае наша встреча произошла под необыкновенным знаком, — сказал он. — Поражает уже одно то, что оба мы натолкнулись на этого всеми забытого человека. Однако, пожалуй, вызывает ещё большее удивление, каким

образом этому швабскому протестанту удалось почти одновременно оказать своё влияние на бенидиктинского монаха и мастера Игры из Касталии. Между прочим, я представляю себе вашу Игру как некое искусство, нуждающееся в богатом воображении, и потому весьма удивлён, что столь трезво мыслящий человек, как Бенгель, мог привлечь ваше внимание.

Теперь и Кнехт рассмеялся.

— Ну что ж, стоит вам только вспомнить многолетнее изучение Бенгелем Откровения Иоанна Богослова и его систему толкования пророчеств этой книги, как вы согласитесь, что нашему другу не было чуждо и то, что противоположно трезвости.

— Согласен, — весело подтвердил отец Иаков. — Ну, а как же вы объясните подобное противоречие?

— Если вы позволите мне ответить шуткой, то я сказал бы: Бенгель, сам того не сознавая, страстно искал и жаждал обрести одно — Игру в бисер. Я причисляю его к тайным предтечам и праотцам нашей Игры.

Отец Иаков, вновь став серьёзным, осторожно проговорил:

— Несколько смело включать именно Бенгеля

в родословную вашей Игры. Чем вы докажете вашу мысль?

— Я, разумеется, пошутил, но шутка эта такова, что можно и настоять на ней. Ещё в свои молодые годы, ещё до того, как он занялся Библией, Бенгель поведал одному из своих друзей о плане энциклопедического труда, где все отрасли знаний, известные в некоем его время, были соразмерно и наглядно сведены под одним углом зрения в определённый бы порядок. А это и есть как раз то, что делает наша Игра.

— Но ведь это та самая идея энциклопедии, с которой носился весь весемнадцатый век! — воскликнул отец Иаков.

— Именно она, — ответил Кнехт. — Но Бенгель стремился не только, так сказать, к синоптической рядоположеності всех областей знания и исследований, но и к сопряжению их внутренней сущности, к некоему органическому порядку. Он был на пути к поискам общего знаменателя, а это одна из основных мыслей Игры. Скажу более: окажись у Бенгеля под рукой что-нибудь похожее на систему нашей Игры, он, возможно, и избежал бы своей крупнейшей ошибки с пересчётом пророческих чисел и возвещением Антихристова пришествия и тысячелетнего цар-

ства. Бенгель ведь так и не сумел вполне обрести желанное общее направление для приложения своих многочисленных дарований. Вот почему его математический талант в сочетании с его прозорливостью как филолога и породил то смешение точности и фантастики, каким является его «Система времён», которой он посвятил не один год своей жизни.

— Хорошо, что вы не историк, — заметил Иаков, — у вас поистине большая склонность к фантазиям. Однако я понял, что вы имеете в виду; педант я только в своей узкой специальности.

Беседа оказалась плодотворной, стала неким узнаванием друг друга, рождением чего-то похожего на дружбу. Учёному-бенедиктинцу представлялось не случайным или, по крайней мере, исключительным случаем то обстоятельство, что оба они — он в своём бенедиктинском мире, а молодой человек в своём касталийском — сделали эту находку, открыв бедного монастырского учителя из Вюртемберга, одновременно мягкосердечного и необыкновенно стойкого, мечтательного и трезво мыслящего человека; что-то, должно быть, связывало их обоих, раз на них подействовал один и тот же неприметный магнит. И действительно, с того вечера, начав-

шегося сонатой Перселла, это «что-то», эта связь сделалась явью. Отец Иаков наслаждался общением с таким развитым и в то же время таким открытым для всего нового юным умом, подобная радость не часто выпадала на его долю; а Кнехт смотрел на беседы с историком, на учение, у него начавшееся, как на новую ступень к «пробуждению», каковым он считал всю свою жизнь. Одним словом, благодаря отцу Иакову он приобщился к исторической науке, познал закономерности и противоречия изучения истории и исторических трудов, а в последующие годы, сверх того, научился смотреть на современность и на собственную жизнь как на историческую реальность.

Беседы их порой разрастались до подлинных диспутов, атак и самооправданий; притом нападающей стороной поначалу чаще бывал отец Иаков. Чем больше ему раскрывалось умонастроение юного друга, тем больше он сожалел о том, что столь многообещающий молодой человек не прошёл школы религиозного воспитания, а получил лишь мнимое воспитание в атмосфере интеллектуально-эстетической духовности. Всё, что он порицал в образе мыслей Кнехта, он приписывал именно этим «новшествам» касталийского духа, его полному отрыву от действительности,

его склонности к игре в абстракцию. А в тех случаях, когда он с удивлением обнаруживал у Кнехта взгляды и суждения, близкие к своим, он праздновал победу здорового начала в душе юного друга над касталийским воспитанием. Йозеф весьма спокойно воспринимал критику касталийских порядков, а в случаях, когда отец Иаков, увлечённый своим темпераментом, заходил чересчур далеко, он хладнокровно отражал его нападки. Кстати, среди уничижительных выпадов старого учёного против Касталии бывали и такие, с которыми Йозефу приходилось отчасти соглашаться, и в одном случае он за время пребывания в Мариафельсе полностью переменил своё мнение. Речь идёт об отношении касталийской мысли к всемирной истории, о том, что отец Иаков называл «полным отсутствием исторического чувства». Обычно он говорил: «Вы, математики и lusores, выдумали себе на потребу какую-то дистиллированную историю, состоящую только из истории искусства; ваша история бескровна, лишена всякой реальности: вы превосходно разбираетесь в этапах упадка латинского синтаксиса во втором или в третьем веках нашей эры и никакого понятия не имеете об Александре, Цезаре или Иисусе Христе. Вы обращаетесь со всемирной истори-

ей, как математики с математикой, в которой существуют только теоремы и формулы, но нет никакой реальной действительности, нет добра и зла, нет времени, нет ни прошлого, ни будущего, а есть только вечное, плоское математическое настоящее».

— Но скажите, как же заниматься исторической наукой, не стремясь внести в историю какой-то порядок, систему? — спросил Кнехт.

— Разумеется, необходимо вносить в историю порядок, — разражался в ответ отец Иаков, — всякая наука — это прежде всего систематизация, упорядочение и в то же время упрощение, некоторое переваривание для духа того, что непереваримо. Мы полагаем, что нам удалось вскрыть в истории некоторые закономерности, и мы пытаемся при раскопках исторической правды опираться на них. Анатом, вскрывающий тело, не обнаруживает в нём ничего для себя неожиданного, а видит под эпидермой органы, мышцы, связки, кости, вполне подтверждающие ту схему, которая ему заранее известна. Но если анатом видит уже только свою схему и из-за этого пренебрегает единственной в своём роде индивидуальной реальностью, то тогда он касталиец, lusor, он прилагает математические мерки к са-

мому не подходящему для этого объекту. Пусть тот, кто занимается историей, наделён самой трогательной детской верой в систематизирующую силу нашего разума и наших методов, но, помимо этого и вопреки этому, долг его — уважать непостижимую правду, реальность, неповторимость происходящего. Нет, дорогой мой, историческая наука — это не забава и не безответственная игра. Историческое исследование предполагает в нас понимание того, что мы стремимся к чему-то невозможному, и всё же необходимому и чрезвычайно важному. Историческое исследование означает: погрузиться в хаос и всё же сохранить в себе веру в порядок и смысл. Это очень серьёзная задача, молодой человек, быть может, даже трагическая.

Среди высказываний отца Иакова, о которых Кнехт сообщил тогда же в письмах своим друзьям, приведём ещё одно характерное замечание.

— Для молодёжи великие мужи не что иное, как изюминки в пироге всемирной истории. Да, они безусловно входят в её субстанцию, но не так-то уж легко и просто, как это кажется, отделить истинно великих от мнимо великих. Мнимо великим придаёт величие сам исторический момент, его угадывание и использование. Исто-

риков и биографов, не говоря уже о журналистах, которым подобное угадывание и использование исторического момента, иначе говоря, сам мимолётный успех уже представляется признаком величия, — хоть пруд пруди. Любимые фигуры подобных историков: капрал, за день ставший диктатором, или куртизанка, которой на время удалось стать владычицей настроений императора. Возвышенно мыслящие юноши, напротив, преклоняются перед трагическими неудачниками, мучениками, теми, кто опоздал всего на несколько минут или чересчур уж поспешил. Что до меня, являющегося прежде всего историком нашего Ордена бенедиктинцев, то в мировой истории я никогда не считал самыми притягательными, поражающими и достойными изучения отдельные личности и перевороты, успешные или неудавшиеся; нет, моя любовь и ненасытное любопытство направлены на явления, аналогичные нашей конгрегации, на те очень долговечные организации, которые пытаются отбирать людей с душой и разумом, воспитывать их и преображать не с помощью евгеники, а с помощью воспитания, создавать из них аристократов по духу, а не по крови, одинаково способных как служить, так и повелевать.

В истории Греции, например, меня пленили не созвездия героев и не назойливые крики на агоре, а опыты пифагорейцев и платоновой академии. У китайцев меня прежде всего заинтересовала длительность существования системы Конфуция, в истории Европы — христианская церковь и служащие ей и входящие в неё орденские организации, именно они представляются мне историческими объектами первой величины. То, что авантюристу может улыбнуться счастье и он завоюет или создаст целую империю, которая будет существовать двадцать, пятьдесят, а то и сто лет; то, что доброжелательный мечтатель с короной на голове постарается проводить честную политику или предпримет попытку претворить в жизнь какую-нибудь культуртрегерскую мечту; то, что в исключительных условиях народ (или другая общность людей) способен совершить и претерпетъ невиданное, — всё это для меня не так интересно, как вновь и вновь предпринимаемые опыты создания институтов, подобных нашему Ордену, из которых иные продержались тысячу и даже две тысячи лет. О святой церкви я не говорю, она для нас, верующих, вне всякой дискуссии. Но то, что конгрегации бенедиктинцев, доминиканцев, а позднее и иезуитов существуют

несколько столетий и после многовековой своей истории, наперекор всему, что происходило вокруг — всяким искажениям, приспособлениям и насилию, чинимому над ними, — сохранили своё лицо и голос, свой облик, свою неповторимую душу, — вот в чём для меня самый удивительный и достойный преклонения исторический феномен.

Даже когда в гневе своём отец Иаков бывал несправедлив, Иосиф не мог не поражаться ему. При всём том он в то время и не подозревал, кто таков на самом дела отец Иаков, видя в нём только солидного, даже гениального учёного, а не историческую личность, которая сама сознательно творила историю, ведущего политика своей конгрегации, знатока политической истории и политических вопросов современности, — недаром же к нему со всех сторон спешили за советами, разъяснениями, просьбами о посредничестве. Около двух лет, до первого своего отпуска, Кнехт общался со святым отцом только как с учёным, зная лишь одну, обращённую к нему сторону его жизни, трудов, славы и влияния. Этот муж умел молчать, молчать даже с друзьями, а его братья-монахи тоже это умели, и даже лучше, чем Кнехт мог предположить.

По истечении двух лет Кнехт настолько освоил-

ся с жизнью в монастыре, насколько это доступно было гостю и вообще чужому человеку. Время от времени он помогал органисту руководить мотетным хором — этой тоненькой нитью древнейшей традиции. Он сделал несколько находок в нотном архиве монастыря, выслал копии старинных пьес в Вальдцель и с особым удовольствием в Монпор. Он собрал небольшую группу начинающих любителей Игры, в которую, как один из ревностных учеников, вошёл и вышеназванный Антон. Впрочем, аббата Гервасия он так и не научил китайскому, однако преподал ему обращение со стеблями тысячелистника и лучший метод медитации над речениями книги оракулов. Аббат постепенно привык к Йозефу и давно оставил попытки пристрастить гостя к винопитию. Сообщения, которые он посылал в Вальдцель в ответ на полугодовые официальные запросы Магистра Игры (довольны ли в Мариафельсе Кнехтом), содержали только похвалу. В Касталии же, куда более внимательно, нежели эти отчёты, изучали темы лекций и списки баллов, выставленных Кнехтом участникам курсов Игры. Изучив же, находили, что общий уровень весьма скромен, но были довольны уже тем, как молодой учитель приспособился к подобному уровню и к нравам и

духу обители. Наибольшее же удовлетворение, и весьма неожиданное, касталийское руководство испытало, и словом не намекнув об этом своему представителю, при известии о частом, доверительном и почти дружеском общении Кнехта со знаменитым отцом Иаковом.

Общение это принесло многие плоды, о которых, несколько забегая вперёд в нашем повествовании, да будет нам дозволено рассказать уже сейчас, во всяком случае, об одном, пришедшемся Кнехту более всех по душе. Плод этот созревал медленно, очень медленно, прорастал так же настороженно и недоверчиво, как прорастают семена высокогорных деревьев, пересаженные на тучные поля долины: они унаследовали настороженность и недоверие своих предков, и медленный рост — одно из их наследственных свойств. Так и мудрый старик, привыкший недоверчиво контролировать малейшую возможность влияния на себя, позволял лишь очень медленно и в малых дозах укореняться в себе тому, что юный друг и коллега с противоположного полюса преподносил ему от касталийского духа. И всё же постепенно зароненное зерно проросло, и из всего хорошего, что Кнехт пережил в обители, лучшим и самым дорогим для

него было это скупое, робко развивающееся из безнадёжных ростков доверие и самораскрытие многоопытного старика, его медленно зреющее и ещё медленней осознаваемое им уважение не только к личности своего младшего почитателя, но и к тому, что было в нём типично касталийской чеканки. Шаг за шагом младший из них, казалось, только ученик и слушатель, жаждущий поучиться, подводил отца Иакова, ранее произносившего слова «касталийский» или «lusor» не иначе как с иронией, а то и как бранные, — сперва к терпимому отношению, а затем и к признанию, уважению и этого образа мыслей, и этого касталийского Ордена, и этой попытки создания аристократии духа. В конце концов отец Иаков перестал сетовать на молодость касталийцев, которые со своими неполными двумя столетиями, разумеется, отставали в этом смысле от бенедиктинцев с их полуторатысячелетней историей; перестал он и смотреть на Игру как на некий эстетический дендизм, перестал считать невозможной в будущем дружбу и заключение некоторого подобия союза между неравными по возрасту Орденами. Сам Кнехт ещё долгое время и не подозревал, что Коллегия видела в этом частичном обращении отца Иакова, на которое

Йозеф смотрел как на личную удачу, наивысшее достижение его мариафельсской миссии. Время от времени он тщетно ломал себе голову над тем, чего он, собственно, добился в монастыре, исполнил ли он своё поручение, приносит ли пользу и не есть ли его приезд сюда, казавшийся вначале неким отличием и повышением, которому завидовали сверстники, какой-то бесславной отставкой, неким отгоном в тупик. Ну что же, думал он, научиться чему-нибудь можно везде, почему же не поучиться и здесь? Хотя, с касталийской точки зрения, эта обитель, исключая разве только отца Иакова, была не бог весть каким вертоградом и образцом учёной премудрости; и не закоснел ли он, Кнехт, пребывая в такой изоляции среди самодовольных дилетантов, не начал ли уже отставать в Игре? Побороть подобные настроения помогало ему полное отсутствие у него всякого карьеризма и в ту пору уже довольно прочно укоренившийся amor fati. В общем-то его жизнь здесь, в этом старинном монастыре, жизнь гостя и скромного преподавателя специальной дисциплины, была, пожалуй, приятнее, чем последнее время пребывания в Вальдцеле, среди тамошних честолюбцев, и ежели судьба навсегда забросит его на этот маленький колониальный

пост, он, возможно, и попытается кое в чём изменить свою здешнюю жизнь, например, попробует перетащить сюда одного из своих друзей, или же, по крайней мере, испросит себе хороший ежегодный отпуск в Касталию, а в остальном будет довольствоваться тем, что есть.

Читатель этих биографических записок скорее всего ожидает отчёта ещё об одной стороне монастырской жизни Кнехта — о религиозной. Но тут мы отважимся лишь на весьма осторожные предположения. Судя по более поздним его высказываниям и по всему его поведению, Кнехт, соприкоснувшись с ежедневной практикой христианства, возможно и даже вероятно вошёл в Мариафельсе в более близкие отношения с религией. Однако вопрос о том, стал ли он там христианином, и если да, то в какой мере, придётся оставить открытым — эта сфера недоступна нашим исследованиям. Помимо обычного для касталийца уважения ко всякой религии, в нём самом жило некое благоговение, которое мы назвали бы благочестивым; ещё в школах, особенно занимаясь церковной музыкой, он почерпнул глубокие сведения о христианском учении и его классических формах, таинство мессы и обряд литургии он знал превосходно. Не

без почтительного удивления познакомился он у бенедиктинцев с живой религией, известной ему до этого лишь теоретически и исторически; он неоднократно присутствовал на богослужениях, а когда он изучил несколько трактатов отца Иакова и подвергся воздействию его бесед, перед ним с полной отчётливостью предстал феномен этого христианства, которое в течение веков столько раз объявлялось несовременным и превзойдённым, устаревшим, неподвижным, и всё же, вновь припав к своим истокам, обновлялось, оставляя далеко позади то, что ещё вчера мнило себя передовым и победоносным. Он не возражал и на неоднократные высказывания о том, что сама касталийская культура — лишь преходящая, секуляризованная ветвь европейской христианской культуры, и в своё время она вновь растворится в этой культуре и перестанет существовать. Пусть будет всё, как утверждает отец Иаков, заявил ему как-то Кнехт, но ведь его, Кнехта, место, его служение — в касталийской иерархии, а не бенедиктинской, там он и должен показать себя, приложить свои силы, не заботясь о том, имеет ли иерархия, членом которой он пребывает, право на вечное или только временное существование; переход в

другую веру он может рассматривать только как недостойное бегство. Так некогда и досточтимый Иоганн Альбрехт Бенгель служил лишь малой и преходящей церкви, не поступаясь при этом своим служением вечному. Благочестие, иными словами, окрыление верой, служение и верность вплоть до полагания своей жизни, возможно во всяком вероисповедании и на каждой ступени, и единственной мерой искренности и ценности всякого личного благочестия можно признать лишь это служение и эту верность.

Однажды, это было после того, как Кнехт уже провёл среди *patres* около двух лет, в монастырь явился некий гость, которого тщательно держали в отдалении от него, не позволив даже беглого знакомства. Разгоревшееся от подобной таинственности любопытство Кнехта заставило его внимательно следить за приезжим (который, впрочем, несколько дней спустя отбыл) и строить разнообразные догадки. Духовное облачение гостя показалось Кнехту маскарадом. С настоятелем и отцом Иаковом неизвестный имел несколько длительных бесед за закрытыми дверями; за время его пребывания в монастыре к нему являлись экстренные курьеры, и он тут же их отправил назад. Кнехт, наслышанный о

политических связях и традициях монастыря, предположил, что неизвестный является высоким должностным лицом, прибывшим с тайной миссией, или же путешествующим инкогнито государем. Подводя итог своим наблюдениям, он вспомнил, что и до этого в монастырь прибывали посетители, которые теперь, когда он стал припоминать их, тоже казались ему таинственными или значительными личностями. При этом он вдруг подумал о начальнике «полиции», приветливом господине Дюбуа, и его просьбе — всегда, и при случае особенно, пристально следить в монастыре именно за подобными визитами. И хотя Кнехт и теперь не испытывал ни охоты, ни призвания к такого рода отчётам, совесть всё же напомнила ему, что он давно уже не писал этому столь благожелательному человеку и, по всей вероятности, сильно разочаровал его. Он отправил господину Дюбуа пространное письмо, попытался в нём объяснить своё молчание и, дабы письмо не прозвучало чересчур голословно, рассказал кое-что о своих отношениях с отцом Иаковом. Он и не догадывался, сколь тщательно и кем только не изучалось это его послание.

Миссия

Первое пребывание Кнехта в монастыре длилось около двух лет; в то время, о котором сейчас идёт речь, ему шёл тридцать седьмой год. В конце этого своего пребывания в обители Мариафельс, примерно месяца два после того, как он написал подробное письмо господину Дюбуа, его однажды утром вызвали в приёмную аббата. Решив, что общительный Гервасий желает побеседовать с ним о китайских премудростях, Кнехт, не мешкая, отправился засвидетельствовать ему своё почтение. Гервасий встретил его с каким-то письмом в руках.

— Я удостоен чести, глубокочтимый друг, обратиться к вам с поручением, — сияя, воскликнул он в своей отечески благоволительной манере и тут же перешёл на иронический, поддразнивающий тон, возникший как результат ещё не вполне определившихся дружественных отношений между бенедиктийским и касталийским Орденами и введённый в обиход, собственно, отцом Иаковом. — Однако же ваш *Magister Ludi* достоин восхищения. Письма он писать мастер! Мне он, бог весть почему, написал по-латыни; у

вас, касталийцев, ведь никогда не разберёшь, где вы изысканно вежливы, а где насмехаетесь, где почитаете, а где поучаете. Итак, ко мне сей уважаемый *dominus*[53] обратился по-латыни, и должен признаться — на такой латыни, какой никто не владеет в нашем Ордене, за вычетом разве что отца Иакова. Она как будто бы вышла из школы самого Цицерона, но чуть-чуть приправлена тщательно отмеренной понюшкой нашей церковной латыни, причём опять же неведомо, задумана ли приправа эта чистосердечно, как приманка для нашей поповской братии, или в ироническом смысле, или просто родилась из неудержимой потребности играть, стилизовать и декорировать. Ну так вот, Досточтимый пишет мне: в тамошних краях полагают желательным повидать вас и заключить в свои объятия, а возможно, и в какой-то мере проверить, не подточило ли столь длительное пребывание среди нас, варваров, вашу мораль и ваш стиль. Короче, если я правильно понял и истолковал сей пространный литературный шедевр, вам предоставлен отпуск, а меня просят отпустить вас на неограниченный срок в родной вам Вальдцель, но не насовсем:

---

[53] Примечания: [53]
Господин (лат.).

ваше скорое возвращение к нам, поскольку мы не без удовольствия взираем на него, вполне отвечает намерениям и вашего начальства. Прошу извинить меня, я бессилен должным образом передать все тонкости его письма, да Магистр Томас вряд ли этого от меня ожидает. Вот это письмецо мне поручено передать вам, а теперь я вас более не задерживаю и прошу решить, едете ли вы, и когда именно. Нам будет недоставать вас, мой дорогой; если вы чересчур задержитесь, мы не преминем заявить о своих претензиях Верховной Коллегии.

В письме, переданном настоятелем Кнехту, Коллегия кратко сообщала, что для отдыха и переговоров с руководством ему предоставлен отпуск и что его в ближайшее время ожидают в Вальдцеле. С тем, что курс Игры не завершён, он может не считаться, разве что аббат настоит на этом. Бывший Магистр музыки передаёт ему привет.

Прочитав эти последние слова, Йозеф насторожился: с какой стати отправителю письма, Магистру Игры, поручили передать этот привет, не очень-то уместный в столь официальном послании. Должно быть, состоялась конференция всех Коллегий с участием всех Магистров, даже

ушедших на покой. Ну что ж, в конце концов, какое ему дело до всевозможных конференций? Однако странное чувство возбудила в нём эта весточка, и как-то необычайно дружески прозвучал этот привет. О чём бы ни говорилось на этой конференции, привет, переданный в письме, доказывал, что высшее руководство при этом говорило и о нём, Йозефе Кнехте. Неужели его ожидает какое-то новое назначение и его отзовут из Мариафельса? Будет ли это повышением или наоборот? Но ведь в письме говорится только об отпуске. Да, отпуску он искренне рад и охотнее всего уехал бы уже завтра утром. Но надо хотя бы попрощаться с учениками, дать им задание на время своего отсутствия. Должно быть, Антон будет огорчён. Да и с некоторыми святыми отцами он обязан проститься лично. Тут он подумал об отце Иакове и, к своему удивлению, ощутил лёгкую боль в душе — свидетельство того, что он привязался к Мариафельсу больше, нежели подозревал об этом. Многого, к чему он привык, что любил, недоставало ему здесь, и когда он глядел отсюда, с чужбины, Касталия казалась ему ещё прекрасней. Но в эту минуту он понял: в отце Иакове он теряет нечто невозместимое, его будет ему не хватать даже в Касталии. Тем

самым он как бы лучше осознал, что именно он почерпнул, чему научился в Мариафельсе, и только теперь, думая о поездке в Вальдцель, о встрече с друзьями, об Игре, о каникулах, он мог полностью отдаться чувству радости и надежды. Однако радость эта была бы куда меньшей, если бы он не был уверен, что вернётся в обитель.

Как-то вдруг он решился и пошёл прямо к отцу Иакову; рассказал ему о полученном письме, об отпуске и о своём удивлении по поводу того, что радость его в связи с поездкой на родину и предстоящими встречами была бы неполной, если бы он уже заранее не радовался своему возвращению сюда, и особенно новой встрече с ним, глубокоуважаемым учёным, к которому он привязался всем сердцем и теперь, осмелев, намерен обратиться с просьбой: он хотел бы, вернувшись в Мариафельс, поступить к святому отцу в ученики и просит уделить ему хотя бы час или два в неделю. Отец Иаков, рассмеявшись, замахал руками и тут же стал отпускать прекраснейшие иронические комплименты по поводу такой многосторонней, непревзойдённой системы касталийского образования, коей он, скромный черноризец, может только дивиться и в изумлении качать головой. Но Йозеф уже

заметил, что отказано ему не всерьёз, и когда он, прощаясь, подал отцу Иакову руку, тот сказал ему дружелюбно, что по поводу его просьбы пусть не беспокоится, он охотно сделает всё от него зависящее, и затем душевно простился с ним.

С лёгким, радостным чувством отправился Кнехт в родные края, на каникулы, теперь уже твёрдо уверенный в полезности своего пребывания в монастыре. Уезжая, он вспомнил отроческие годы, но тут же осознал, что он уже не мальчик и не юноша: это подсказало ему ощущение стыда и какого-то внутреннего сопротивления, появлявшегося у него всякий раз, когда он каким-нибудь жестом, кличем, каким-нибудь иным ребячеством пытался дать выход чувству вольности, школярскому каникулярному счастью. Нет, то, что когда-то было само собой разумеющимся, торжеством освобождения — ликующий клич навстречу птицам в ветвях, громко пропетая маршевая мелодия, лёгкая приплясывающая походка — всё это стало невозможным, да и вышло бы натянутым, наигранным, каким-то глупым ребячеством. Он ощутил, что он уже взрослый человек, с молодыми чувствами и молодыми силами, но уже отвыкший отдаваться минутному настроению, уже несвободный,

принуждённый к постоянной бодрственности, связанный долгом, но каким, собственно? Своей службой здесь? Обязанностью представлять в обители свою страну и свой Орден? Нет, то был сам Орден, то была иерархия, с которой он в эту минуту мгновенного самоанализа почувствовал себя неизъяснимо сросшимся, то была ответственность, включение в нечто общее и надличное, от чего молодые нередко становятся старыми, а старые — молодыми, нечто крепко охватывающее, поддерживающее тебя и вместе с тем лишающее свободы, словно узы, что привязывают молодое деревце к тычине, — нечто, отнимающее твою счастливую невинность и одновременно требующее от тебя всё большей ясности и чистоты.

В Монпоре он навестил старого Магистра музыки, который сам в свои молодые годы гостил в Мариафельсе, изучая там музыку бенедиктинцев, и который теперь принялся его подробно расспрашивать обо многом. Кнехт нашёл старого учителя хотя несколько притихшим и отрешённым, но, по видимости, здоровее и бодрее, чем при последней, их встрече, усталость исчезла с его лица: уйдя на покой, он не помолодел, но стал привлекательнее и тоньше. Кнехту бросилось в

глаза, что он спрашивал о знаменитом органе, ларцах с нотами, о мариафельсском хоре, даже о деревце в галерее, стоит ли оно ещё, однако к тамошней деятельности Кнехта, к курсу Игры, к цели его отпуска он не проявил ни малейшего любопытства. И всё же перед расставанием старик дал ему поистине ценный совет.

— Недавно я узнал, — заметил он как бы шутя, — что ты сделался чем-то вроде дипломата. Собственно, привлекательным поприщем это не назовёшь, но говорят, тобою довольны. Что ж, дело, разумеется, твоё. Но если ты не помышляешь о том, чтобы навсегда избрать этот путь, то будь начеку, Йозеф, кажется, тебя хотят поймать в ловушку. Но ты противься, это твоё право. Нет, нет, не расспрашивай меня, я не скажу ни слова более. Сам увидишь.

Несмотря на это предупреждение, застрявшее, словно заноза, у него в груди, Кнехт при возвращении в Вальдцель испытывал такую радость свидания с родиной, как никогда прежде. Ему казалось, что Вальдцель — не только его родина и самый красивый уголок в мире, но что этот уголок за время его отсутствия стал ещё милей и заманчивей. Или он сам взглянул на него новыми глазами и обрёл обострённую способность

видеть? И это относилось не только к воротам, башням, деревьям, реке, дворикам и залам, знакомым фигурам и исстари привычным лицам, но и ко всей вальдцельской духовности, к Ордену и Игре у него родилось то чувство повышенной восприимчивости, возросшей проницательности и благодарности, как это свойственно вернувшемуся на родину страннику, ставшему в своих скитаниях умнее и зрелее.

— У меня такое ощущение, — сказал он своему другу Тегуляриусу, в заключение пылкого похвального слова Вальдцелю и Касталии, — у меня такое ощущение, будто я все проведённые здесь годы жил во сне, счастливо, но не сознавая этого, и будто я только теперь пробудился и вижу всё остро, чётко, убеждаясь в реальности своего счастья. Подумать только, два года, что я провёл на чужбине, могут так обострить зрение!

Отпуск вылился для него в праздник, особенно игры и дискуссии с товарищами в кругу элиты *Vicus lusorum*, встреча с друзьями, вальдцельский *genius loci*.[54] Но только после первого приёма у Магистра Игры это высокое упоение смогло осуществиться сполна, а до тех пор к радости Кнехта

[54] Примечания: [54]

Гений места, дух места (лат.) — в римской религии дух-покровитель того или иного конкретного места (деревни, горы, отдельного дерева).

примешивалась доля боязни.

Magister Ludi задал ему меньше вопросов, чем Кнехт ожидал; едва упомянул о начальном курсе Игры и о работе Йозефа в музыкальном архиве, и только об отце Иакове, казалось, мог слушать без конца, всё вновь и вновь расспрашивая о нём самым подробным образом. Им и его миссией у бенедиктинцев довольны, даже очень довольны — Кнехт заключил это не только по чрезвычайной ласковости Магистра, но, пожалуй, ещё более по встрече с господином Дюбуа, к которому Магистр отправил его сразу по окончании приёма.

— Дело своё ты сделал отлично, — заявил тот и, усмехнувшись, добавил: — Поистине, я не проявил тогда должного чутья, когда не советовал посылать тебя в монастырь. Тем, что ты, кроме аббата, привлёк на нашу сторону великого отца Иакова и заставил его изменить к лучшему мнение о Касталии, ты достиг многого, очень многого, больше, чем кто-либо смел надеяться.

Спустя два дня Магистр Игры пригласил Кнехта вместе с господином Дюбуа и тогдашним директором вальдцельской элитарной школы, преемником Цбиндена, к обеду, а во время беседы после трапезы как-то незаметно явился и новый Магистр музыки, затем Архивариус Ордена, ещё

два члена Верховной Коллегии, один из которых после того, как все разошлись, пригласил Йозефа зайти в дом для гостей и долго беседовал с ним. Именно это приглашение впервые зримо для всех выдвинуло Кнехта в самый узкий круг претендентов на высшие должности и создало между ним передним слоем элиты барьер, который он, Кнехт, внутренне пробуждённый, стал весьма явственно ощущать. Пока, впрочем, ему предоставили четырехнедельный отпуск и официальное разрешение останавливаться во всех гостиницах Провинции, обычно выдаваемое касталийским чинам. Хотя никаких поручений на него не возложили, не обязав даже отмечаться, он всё же заметил, что сверху за ним наблюдают, ибо, когда он действительно совершил несколько поездок и небольших путешествий, в том числе в Койпергейм, Хирсланд и в Восточноазиатский институт, его повсюду немедленно приглашали к высшим должностным лицам. Он и в самом деле за эти несколько недель перезнакомился со всеми членами руководства Ордена, большинством Магистров и преподавателей курсов. Не будь этих весьма официальных приёмов и знакомств, поездки Кнехта означали бы для него поистине возвращение в мир студенческой

вольности. Но он ограничил себя, прежде всего ради Тегуляриуса, тяжело переживавшего каждый отнятый у него час, а также и ради Игры, ибо ему было весьма важно принять участие в новейших упражнениях и познакомиться с новыми проблемами, в чём Тегуляриус оказывал ему неоценимые услуги. Другой его близкий друг, Ферромонте, принадлежал теперь к окружению нового Магистра музыки, и с ним Кнехту за все каникулы удалось повидаться всего два раза; он застал его увлечённым своей работой, ушедшим в решение важной музыковедческой задачи, касавшейся греческой музыки и её новой жизни в танцах и песнях балканских народов. Ферромонте охотно рассказывал другу о своих последних открытиях и находках: они относились к эпохе постепенного упадка барочной музыки, примерно с конца восемнадцатого столетия, и к проникновению нового музыкального материала из славянских народных мотивов.

Однако большую часть праздничного каникулярного времени Кнехт уделил Вальдцелю и Игре; с Фрицем Тегуляриусом он проштудировал его записи семинарских занятий, проведённых Магистром на двух последних семестрах для особенно одарённых студентов, и снова, после

двухгодичного перерыва, вживался в благородный мир Игры, магия которой представлялась ему столь же неотъемлемой от его жизни, как магия музыки.

Только в самые последние дни отпуска Магистр Игры снова заговорил о миссии Йозефа в Мариафельсе о том, что ждёт его в ближайшем будущем, о его задачах. Сначала в тоне непринуждённой беседы, затем всё серьёзней и настойчивей рассказывал ему Магистр о плане Коллегии, которому большинство Магистров и господин Дюбуа придают особое значение, а именно: об учреждении в будущем постоянного представительства Касталии при Апостолическом Престоле в Риме.

— Ныне настал, — так начал Магистр Томас, строя одну за другой свои убедительные и закруглённые фразы, — или, во всяком случае, приблизился исторический момент, когда необходимо перекинуть мост через пропасть, исстари разделявшую Рим и Орден, ибо, вне всяких сомнений, враг у них общий, им предстоит вместе встретить грядущие опасности, судьбы их неразделимы, они союзники по природе своей, а положение, существовавшее до сих пор, немыслимо, даже недостойно. Две мировые державы, историческая задача которых хранить и пестовать духовность

и мирный порядок, живут раздельно, почти в отчуждении. Римская церковь, наперекор потрясениям и кризисам последнего военного периода и тяжёлым потерям, устояла, очистилась и обновилась, в то время как многие светские институты прежнего времени, долженствующие печься о развитии образования и наук, сгинули в водовороте крушения культуры; на их развалинах возникли Орден и Касталия. Уже это одно, а также столь почтенный возраст Римской церкви дают ей право на преимущества: она старшая годами, более досточтимая, более испытанная в бурях сила. Сейчас прежде всего речь идёт о том, чтобы и в Риме пробудить и поддержать сознание родственности обеих сил, их зависимости друг от друга во всех предстоящих кризисах.

«Вон оно в чём дело, — подумал Кнехт, — они хотят меня послать в Рим, возможно навсегда!» — и, памятуя о предостережении старого Магистра музыки, внутренне приготовился к отпору. Магистр Томас продолжал. Важным шагом в этом уже давно желанном для касталийской стороны ходе событий явилась миссия Кнехта в Мариафельсе. Миссия эта — сама по себе всего лишь попытка, жест вежливости — без всяких задних мыслей была задумана в ответ на приглашение

партнёра, в противном случае для неё не избрали бы несведущего в политике адепта Игры, а скорее всего прибегли бы к услугам кого-нибудь из молодых людей, подчинённых господину Дюбуа. Но этот опыт, это незначительное поручение дало неожиданный результат: благодаря ему один из ведущих умов сегодняшнего католицизма, отец Иаков, ближе познакомился с самым духом Касталии и получил о нём более благоприятное представление, хотя до сих пор относился к Касталия резко отрицательно. Орден благодарен Йозефу Кнехту за роль, которую он при этом сыграл. Таков, собственно, и был истинный смысл его миссии, в этом её успех, используя его, следует продолжать шаги к сближению, в подобном же аспекте необходимо рассматривать всю дальнейшую деятельность и миссию Кнехта. Ему предоставлен отпуск, который, возможно, будет несколько продлён, если Кнехт того пожелает, с ним здесь довольно подробно беседовали, его познакомили с большинством членов Коллегии, все они выказали доверие Кнехту, а теперь поручили ему, Магистру, вновь отправить Кнехта с особым поручением и широкими полномочиями в Мариафельс, где, к счастью, его ожидает радушный приём.

Магистр остановился, как бы предлагая собеседнику задать вопрос, но тот ограничился вежливым жестом признательности, долженствующим дать понять, что он весь обратился в слух и готов выполнить порученное ему задание. Магистр продолжал:

— Итак, поручение, которое мне надлежит тебе передать, заключается в следующем: мы намерены рано или поздно учредить постоянное представительство нашего Ордена при Ватикане, буде возможно, на взаимных началах. Как младшие, мы готовы выказать Риму хотя и не раболепное, но весьма почтительное отношение, мы охотно удовольствуемся вторым местом и предоставим ему первое. Быть может, — мне это известно столь же мало, сколь и господину Дюбуа, — папа уже теперь примет наше предложение; чего нам следует избежать во что бы то ни стало, так это прямого отказа. Ну так вот, есть человек, чей голос имеет огромный вес в Риме, и к нему у нас недавно открылся доступ: это отец Иаков. Итак, тебе поручается, возвратясь в бенедиктинскую обитель, жить так, как ты сам до сих пор жил, уделяя и впредь должное время своим исследованиям, курсу Игры, но всё своё внимание, причём самое пристальное, ты

должен обратить на отца Иакова, дабы привлечь его на нашу сторону и заручиться его поддержкой в наших планах относительно Рима. Таким образом, на сей раз цель твоего поручения точно очерчена. Сколько тебе понадобится времени для достижения её — не суть важно, мы полагаем, что год или два, а возможно, и более. Тебе хорошо знаком тамошний ритм жизни, и ты научился приспосабливаться к нему. Ни в коем случае нельзя создавать впечатление, будто мы спешим и торопим, дело это должно созреть само, только тогда и следует говорить о нём, не так ли? Надеюсь, что ты согласен с таким предложениям, и прошу тебя высказать все твои сомнения, ежели они у тебя имеются. Если хочешь, могу также дать тебе несколько дней на размышление.

Кнехт заявил, что не нуждается в отсрочке, некоторые предшествовавшие этому разговоры уже подготовили его к подобному предложению, и он с готовностью берётся исполнить возложенную на него задачу, однако тут же добавил:

— Вам должно быть известно, что такого рода поручения удаются лучше всего тогда, когда исполнитель их не вынужден подавлять внутреннее сопротивление. Против самой миссии я ничего не имею, вполне сознаю, важность её и

надеюсь справиться с ней. Но кое-какие опасения у меня возникают в связи с моим будущим. Прошу вас, *magister,* выслушать моё весьма личное эгоистичное признание и просьбу. Как вы знаете, я адепт Игры и, гостя у святых отцов, пропустил полных два года, ничему новому в Игре не научившись и частично утратив своё умение, а теперь к этим двум годам прибавится по меньшей мере ещё один, а возможно, и два. Но мне не хотелось бы вновь отставать. Поэтому я прошу вас о предоставлении мне краткосрочных отпусков для поездок в Вальдцель и об установлении регулярной радиосвязи для слушания докладов и занятий вашего семинара адептов Игры.

— Охотно даю своё согласие, — воскликнул Магистр, и в тоне его чувствовалось, что он считает разговор оконченным. Но Кнехт всё же высказал и другие свои опасения, а именно: как бы, в случае, если поручение в Мариафельсе будет выполнено, его не отправили в Рим для использования на дипломатической службе.

— А подобная перспектива, — закончил он, — оказала бы на меня угнетающее действие и препятствовала бы успешному выполнению вашего поручения. Тянуть дипломатическую лямку — нет, это меня не устраивает.

Магистр сдвинул брови и в осуждение поднял палец:

— Ты говоришь о «дипломатической лямке» — неудачное ты избрал слово. Право, никто и не думал заставлять тебя тянуть какую-то «лямку», речь идёт скорее об отличии, о повышении. Я не уполномочен давать разъяснения или обещания по поводу того, как намерены использовать тебя в дальнейшим. Однако в какой-то мере я могу понять твою тревогу и надеюсь, что окажусь в состоянии помочь тебе, если твои опасения оправдаются. А теперь выслушай меня: ты обладаешь определённым даром завоёвывать симпатии и любовь, недоброжелатель мог бы тебя назвать *charmeur*[55]. Возможно, этот твой дар и побудил Коллегию дважды направлять тебя в Мариафельс. Однако не злоупотребляй им, Йозеф, не стремись набивать себе цену. Когда тебе действительно удастся завоевать отца Иакова, тогда и настанет самая подходящая минута для оглашения твоей просьбы к Коллегии. Сейчас для этого не время. Сообщи мне, когда ты отправляешься в путь.

Молча внимал Йозеф словам Магистра, более

---

[55] Примечания: [55]
Чаровник (франц.).

прислушиваясь к скрытому за ним доброжелательству, чем к звучавшему в них выговору, и скоро после этого разговора отбыл в Мариафельс.

Там уверенность, какую порождает чётко поставленная задача, сказалась на нём весьма благотворно. К тому же важная и почётная задача эта в одном отношении совпадала с сокровенным желанием самого исполнителя: как можно ближе сойтись с отцом Иаковом и завоевать его дружбу. То, что к миссии его относятся серьёзно, что и сам он как бы повышен в ранге, доказывало ему изменившееся отношение монастырского начальства, особенно настоятеля; оно было весьма любезно, как и до этого, и всё же на какую-то ощутимую долю уважительней. Теперь он уже был не просто гостем без титула и ранга, которого жалуют ради места, откуда он прибыл, и из благорасположения к нему лично, теперь его принимали как высокое должностное лицо Касталии, примерно как полномочного посла. Кнехт уже не был слеп к таким вещам и сделал свои заключения.

Однако в манерах отца Иакова он не обнаружил перемен: Йозефа глубоко тронули приветливость и радушие, с какими встретил его учёный, без напоминаний заговоривший о совместных за-

нятиях. Соответственно этому распорядок дня Кнехта выглядел несколько иначе, чем прежде. Теперь в его планах курс Игры занимал далеко не первое место, а о его занятиях в музыкальном Архиве, а также о товарищеском сотрудничестве с органистом вообще более не заходила речь. Превыше всего теперь ставились уроки отца Иакова, посвящённые одновременно нескольким дисциплинам исторической науки, ибо патер вводил своего любимца не только в начальную историю ордена бенедиктинцев, но и в источниковедение раннего средневековья, помимо того уделяя не менее часа чтению старинных хронистов в оригинале. Должно быть, ему пришлись по душе и настойчивые просьбы Кнехта разрешить юному Антону участие в этих совместных занятиях, но он без труда убедил Йозефа в том, что даже самое доброжелательное третье лицо обременит подобного рода частные уроки, и Антон, ничего не подозревавший о заступничестве Кнехта, был приглашён только на чтение хронистов, что исполнило его счастьем и благодарностью. Несомненно, эти занятия доставили юному послушнику, о дальнейшей судьбе которого нам ничего не известно, подлинное наслаждение, являясь вместе с тем высоким отличием и сти-

мулом: два самых светлых и оригинальных ума своего времени удостоили его чести принять участие в их трудах, присутствовать при их беседах. В ответ на уроки святого отца Кнехт, сразу же после занятий источниковедением и эпиграфикой, посвящал его в историю и структуру Касталии и знакомил с основными идеями Игры, при этом ученик превращался в учителя, а уважаемый педагог во внимательного слушателя, чьи вопросы и суровая критика могли кого угодно поставить в тупик. Недоверие отца Иакова ко всему касталийскому никогда на затихало. Не видя в основе касталийского духа подлинной религиозности, он вообще сомневался в способности Касталии создать тип человека, который можно было бы принять всерьёз, хотя в лице Кнехта перед ним был благородный образец именно подобного воспитания. После того, как, благодаря их общим занятиям, с отцом Иаковом произошло нечто похожее на обращение (если вообще о таком можно говорить) и он давно уже решил способствовать сближению Касталии с Римом, недоверие его всё ещё не исчезло полностью: заметки Кнехта, сделанные сразу же после состоявшихся бесед, полны разительных примеров тому. Приведём один из них:

Отец Иаков: «Вы, касталийцы, великие виртуозы по части учёности и эстетики, вы измеряете весомость гласных в старинном стихотворении и соотносите её формулу с орбитой какой-нибудь планеты. Это восхитительно, но это — игра. Не что иное, как игра есть и ваша тайна тайн, и ваш символ — Игра в бисер. Готов признать, что вы пытаетесь превратить эту милую Игру в некое подобие таинства или хотя бы в средство духовного возвышения. Однако ж таинства не возникают из тайных усилий, и Игра остаётся игрой».

Йозеф: «Вы полагаете, святой отец, что нам недостаёт теологической основы?»

Отец Иаков: «Да что там, о теологии мы уж лучше помолчим, вы далеки от неё. Неплохо было бы вам обзавестись фундаментом попроще, антропологическим, например, — жизненным учением и жизненными знаниями о человеке. Нет, не знаете вы человека, не знаете ни в его скотстве, ни в его богоподобии. Вы знаете только касталийца, особый вид, искусственно выведенный опытный экземпляр».

Для Кнехта это был, разумеется, счастливый случай: совместные занятия давали ему самые широкие возможности привлечь отца Иакова на сторону Касталии и убедить его в ценности

союзничества. Более того, создалась обстановка, настолько соответствовавшая самым заветным его желаниям, что очень скоро в нём заговорила совесть. Ему стало казаться постыдным и недостойным, что этот столь уважаемый человек сидит, доверившись ему, сидит тут рядом, гуляет взад и вперёд по галерее, ничего и не подозревая о том, что сделался объектом и целью тайных политических планов и действий. Кнехт уже не мог более мириться с подобным положением и только было принялся придумывать форму, в которую он облечёт своё признание, как старик, к его величайшему удивлению, опередил его.

— Дорогой друг, — сказал он однажды, как бы невзначай, — поистине мы с вами придумали себе в высшей степени приятный и, я надеюсь, плодотворный вид общения. Оба рода деятельности, которые на протяжении всей моей жизни были самыми любимыми для меня — учиться и учить, — превосходно сочетаются в наших совместных занятиях, и для меня они оказались совсем кстати, ибо я начинаю стареть и не мог бы придумать себе более целительной и бодрящей терапии, нежели наши занятия. Итак, что касается меня, то я при этом обмене, во всяком случае, остаюсь в выигрыше. Но я вовсе не уверен, что и

вы, мой друг, вернее, те, кто послал вас сюда и на службе у кого вы состоите, извлекут из происходящего те выгоды, какие они, быть может, надеются извлечь. Мне хотелось бы предупредить возможное разочарование, к тому же я не хочу, чтобы между нами возникли какие-нибудь неясности, а потому позвольте мне, старому практику, задать один вопрос: сколь меня ни радует ваше пребывание в нашей любезной обители, оно, конечно, не раз приводило меня в недоумение. До недавнего времени, короче, до вашего отпуска, я полагал, что цель и смысл вашего присутствия здесь для вас самих по меньшей мере не вполне ясны. Справедливы ли мои наблюдения?

Кнехт подтвердил, и отец Иаков продолжал:

— Отлично. Но после вашего возвращения из отпуска произошли перемены. Вас более не мучают ни мысли, ни заботы о цели вашего приезда сюда, вы её уже знаете. Так это? Отлично. Следовательно, я на верном пути. По всей вероятности, и мои догадки о цели вашего пребывания здесь также верны. Вы выполняете дипломатическое поручение, и касается оно не монастыря и не нашего настоятеля, оно касается меня… Теперь вы видите, что от вашей тайны уже мало что осталось. Дабы полностью прояснить положение,

я советую вам сообщить мне до конца всё остальное. Итак, каково ваше поручение?

Кнехт вскочил и в замешательстве, в смущении, почти в отчаянии стоял перед стариком. Затем он воскликнул:

— Вы правы! Впрочем, облегчив моё положение, вы в то же время пристыдили меня, опередив в моих намерениях. С некоторых пор я ломаю себе голову над тем, каким образом сообщить нашим отношениям ту ясность, которой вы только что столь быстро добились. К счастью, моя просьба о помощи и ваше согласие ввести меня в вашу науку последовали до моего отпуска, а то ведь и впрямь могло показаться, что это всего лишь дипломатическая уловка с моей стороны и наши совместные занятия — только предлог.

Старик дружески успокоил его:

— Моей единственной целью было помочь нам обоим выйти из затруднительного положения. Чистота ваших намерений не нуждается в доказательствах. Если я опередил вас и не сделал ничего такого, что не было бы желательным и для вас, то, стало быть, всё в порядке.

О характере данного Кнехту поручения, которое теперь тут же было раскрыто, отец Иаков заметил:

— Ваши касталийские господа являют собой хотя и не слишком гениальных, однако же вполне сносных дипломатов, и притом удача на их стороне. О вашем поручении я должен не спеша поразмыслить, и мой выбор будет отчасти зависеть от того, в какой мере вам удастся ввести меня в мир касталийских установлений и идей, да ещё сделать их для меня приемлемыми. Спешить мы не будем.

Видя, что Кнехт всё ещё не вполне пришёл в себя, он с резким смешком прибавил:

— Если угодно, можете усмотреть в моём поведении и особый род урока. Мы с вами два дипломата, а каждая встреча таковых есть борьба, хотя бы и в сколь угодно дружественных формах. И в этой нашей борьбе я временами оказывался слабейшим, инициатива ускользала из моих рук, вы знали больше, чем я. Теперь положенне выравнялось. Мой шахматный ход был удачным, а стало быть, верным.

Если Кнехту представлялось важным и ценным завоевать отца Иакова для целей касталийской Коллегии, то всё же существенно важнее было для него возможно большему научиться у патера и, со своей стороны, явиться для этого учёного и влиятельного человека умелым про-

водником в касталийский мир. Кнехт был во многих отношениях предметом зависти для многих своих друзей и учеников, как постоянно незаурядные люди вызывают зависть не только своим внутренним величием, но и своей мнимой удачливостью, своей по видимости счастливой судьбой. Меньший видит в большем то, что он способен видеть, а уж путь Кнехта к вершинам всякому наблюдателю в самом деле представляется необыкновенно блистательным, быстрым и как будто бы незатрудненным; о той поре его жизни так и хочется сказать: да, счастье улыбалось ему! Не будем пытаться объяснять это «счастье» с точки зрения рацио или морали, как каузальное следствие внешних обстоятельств или как некую награду за особые добродетели. Счастье не имеет ничего общего ни с разумом, ни с этикой, оно в самой сущности своей — нечто магическое, принадлежащее архаическим, юношеским ступеням человечества. Наивный счастливец, одарённый феями, баловень богов — не предмет для рационального рассмотрения, в том числе и биографического, он — своего рода символ и находится за пределами личного и исторического. И всё же встречаются выдающиеся люди, из жизни которых никак не вычеркнешь «счастья»,

пусть всё оно заключается лишь в том, что они и посильная им задача встречаются исторически и биографически, что они родились не слишком рано и не слишком поздно; именно к таким, пожалуй, и следует причислить Йозефа Кнехта. Жизнь его, во всяком случае, на определённом отрезке, производит впечатление, будто всё им желаемое снизошло на него словно манна небесная. Не станем отрицать и замалчивать этот аспект, хотя мы могли бы вполне рационально объяснить его лишь через посредство такого биографического метода, который чужд нам и вообще нежелателен и недозволен в Касталии, то есть разрешая себе бесконечные экскурсы о самом что ни на есть личном и приватном — о здоровье и недугах, о колебаниях и волнах в жизнеощущении и самоутверждении.

Мы убеждены, что подобный, для нас немыслимый вид биографии, привёл бы вас к усмотрению полнейшего равновесия между счастьем и страданиями Йозефа Кнехта всё же исказил бы и его облик, и его жизнь.

Довольно отклонений. Мы говорили о том, что Кнехт служил предметом зависти для многих знавших его или хотя бы слышавших о нём. Однако, пожалуй, ничто в его жизни не вызыва-

ло у людей меньшего масштаба такой зависти, как его отношения со старым бенедиктинским учёным, где он был одновременно и учеником и учителем, и берущим и дающим, завоёванным и завоевателем, где счастливо сочетались дружба и интимное рабочее содружество. Да и самого Кнехта ни одно его завоевание со времени Старшего Брата в Бамбуковой роще не наполняло большим счастьем, ни одно не порождало такого ощущения отличия и вместе стыда, награды и призыва к новым делам. Едва ли не всеми его близкими учениками засвидетельствовано, с какой радостью, сколь часто и охотно он рассказывал впоследствии об отце Иакове. У него Кнехт научился тому, что в тогдашней Касталии он вряд ли смог бы почерпнуть. Он приобрёл не только некоторое представление о методах и средствах исторического познания и исследования и первый свой опыт применении их, но и гораздо большее: он понял и пережил историю не как область знаний, а как реальность, как жизнь, что с необходимостью повлекло за собой пресуществление и его собственного личного бытия в субстанцию истории. У обыкновенного учёного он этому не смог бы научиться. Отец Иаков, в придачу к своей солидной учёности,

был не только мудрым созерцателем, но и деятельным созидателем; он использовал место, на которое его поставила судьба, не для того, чтобы услаждаться уютом созерцательного существования, но отворил свою учёную келью всем ветрам мира и открыл своё сердце бедам и чаяниям своей эпохи, он сам был участник событий своего времени, он нёс свою долю вины и ответственности за них; он не только трудился над обозрением, упорядочением, осмыслением давно минувшего и имел дело не только с идеями, но и преодолевал строптивое сопротивление материи и людей. Отца Иакова вместе с его соратником и соперником, недавно умершим иезуитом, не без причины считали теми, кто заложил основы дипломатической и моральной мощи, высокого политического авторитета, которые вновь обрела после периода бездействия и великой скудости Римская церковь.

Если во время бесед учителя с учеником редко когда заходила речь о политической современности — тому препятствовали не только умение отца Иакова молчать и воздерживаться от замечаний, но в не меньшей мере страх более молодого собеседника перед вовлечением в сферу дипломатии и политики, — то всё

же политический вес и деятельность бенедиктинца настолько сказывались в его экскурсах во всемирную историю, что каждая его мысль, каждый взгляд, проницающий переплетение мировых сил, выдавал практического политика, однако не честолюбивого интригана от политики, не правителя и не вождя, равным образом и не властолюбца, но советчика и примирителя, государственного мужа, чья активность и стремление вперёд смягчались мудростью и глубоким проникновением в несовершенство и многосложность человеческой природы, которому его великая слава, его опытность, его знание людей и обстоятельств и, не в последнюю очередь, его бескорыстие и личная безупречность давали немаловажную власть. Обо всём этом Кнехт, прибыв впервые в Мариафельс, не имел никакого представления, он не знал даже имени святого отца. Большинство касталийцев пребывали в такой политической невинности и слепоте, как разве что некоторые представители учёного сословия более ранних эпох; активных политических прав и обязанностей они не имели, газеты редко кто читал, и если такова была позиция и таковы привычки среднего касталийца, то ещё больший страх перед актуальностью, политикой,

газетой испытывали адепты Игры, любившие смотреть на себя как на подлинную элиту, сливки Педагогической провинции и очень пёкшиеся о том, чтобы окружавшая их весьма разреженная и прозрачная атмосфера интеллектуально-артистического существования ничем не была бы омрачена. Ведь при своём первом появлении в обители Кнехт не имел дипломатического поручения, он прибыл туда как учитель Игры и не обладал другими политическими сведениями, кроме тех, что сообщил ему господин Дюбуа за две-три недели, предшествовавшие отъезду из Вальдцеля. По сравнению с тем временем он знал теперь гораздо больше, однако ж ни в коей мере не изменил неприязни вальдцельца к занятиям политикой. И хотя в этом отношении он много почерпнул из общения с отцом Иаковом, но не потому, что чувствовал какую-нибудь потребность (как это было с историей, до которой он был поистине жаден), нет, это случилось само собой, незаметно и неизбежно.

Дабы пополнить свой арсенал и успешно решить почётную задачу, читая святому отцу лекции *de rebus Castaliensibus*[56], Кнехт захватил

[56] Примечания: [56]
О делах касталийских (лат.).

из Вальдцеля книги о строе и истории Педагогической провинции, о системе школ элиты и о становлении Игры в бисер. Некоторые из этих книг сослужили ему хорошую службу двадцать лет назад в спорах с Плинио Дезиньори (с тех пор он их в руки не брал); другие, в то время ему ещё недоступные, так как были предназначены лишь для должностных лиц Касталии, он сам прочитал только теперь. Вот и получилось, что в то самое время, когда область познании и интересов его так расширилась, он был вынужден пересмотреть и свой собственный духовный и исторический багаж, ибо нуждался в осознании и укреплении его. Стараясь как можно яснее и проще представить отцу Иакову самую сущность Ордена и всей касталийской системы, он, как это и следовало ожидать, очень скоро обнаружил самую слабую сторону своего собственного, а потому и всего касталийского образования; выяснилось, что представление его об исторической обстановке, создавшей в своё время предпосылки для возникновения Ордена и всего, что за этим последовало, более того, сделавшей это возникновение необходимым, было весьма бледным и схематичным, оставлявшим многое желать в смысле наглядности и стройности. Отца Иако-

ва можно было назвать кем угодно, только не пассивным учеником, что и привело к весьма плодотворным коллегиальным занятиям, к живому общению: в то время как Йозеф излагал святому отцу историю касталийского Ордена, старый учёный в каком-то смысле помогал ему самому впервые увидеть и пережить эту историю в правильном освещении, прослеживая её корни в общей истории мира и государств. Ниже мы убедимся в том, как этот интенсивный, а порой, благодаря темпераменту святого отца, выливающийся в бурные диспуты обмен мнениями продолжал оказывать влияние на Кнехта и многие годы спустя, вплоть до его последних дней. С другой стороны, всё последующее поведение отца Иакова свидетельствует о том, как внимательно он слушал лекции Кнехта и в какой мере он сам, в результате этих совместных занятий, узнал, а затем и признал Касталию. Этим двум людям мы обязаны сохранившимся до нынешнего дня согласием между Римом и Касталией, которое началось с благожелательного нейтралитета и обмена от случая к случаю результатами научных исследований, а временами доходило до сотрудничества и союза. В конце концов, отец Иаков пожелал, — а ведь сперва он с улыбкой отказался

от этого, — чтобы его познакомили и с теорией Игры; должно быть, он почувствовал, что именно в Игре скрыта тайна Ордена, так сказать, вера его и религия, и коль скоро он решил проникнуть в этот, до сих пор лишь понаслышке знакомый ему и мало для него привлекательный мир, он со всей присущей ему энергией и хитростью двинулся в самый его центр, и если так и не стал мастером Игры — для этого он был просто слишком стар, — то гений Игры и Ордена навряд ли приобретал когда-нибудь вне Касталии более серьёзного и ценного друга, нежели великий бенедиктинец.

Время от времени, когда Кнехт прощался с Иаковом после очередных занятий, тот давал ему понять, что вечером будет для него дома, напряжение занятий и пыл диспутов сменялись спокойным музицированием, для которого Йозеф обычно приносил клавикорды или скрипку, после чего старик садился за клавир в мягком сиянии свечи, сладковатый запах которой наполнял маленькую келью вместе с музыкой Корелли, Скарлатти, Телемана или Баха, каковых они играли вместе или поочерёдно. Старик рано отходил ко сну, между тем как Йозеф, освежённый этой маленькой музыкальной молитвой, трудился потом до глубокой ночи, насколько это дозволялось

монастырским распорядком.

Помимо ученичества и преподавания у отца Иакова, не слишком строго поставленного курса Игры и время от времени китайского коллоквиума с настоятелем Гервасием, Кнехт был занят ещё одним довольно обширным трудом: пропустив два года, он теперь принимал участие в ежегодных состязаниях вальдцельской элиты. На заданные три-четыре главных темы необходимо было разработать проекты Игры, причём особое внимание обращалось на новые дерзновенные и оригинальные комбинации тем (при условии величайшей формальной точности и корректности), и в этом единственном случае конкурентам дозволялось выходить за рамки канонов, иначе говоря, пользоваться новыми, ещё не вошедшими в официальный кодекс и алфавит Игры шифрами. Благодаря этому подобные состязания, наряду с ежегодной публичной Игрой, превращались в самое волнующее событие *Vicus lusorum* — соревнование кандидатов, имевших наибольшие шансы ввести новые знаки Игры, а наивысшее отличие, чрезвычайно редкое, между прочим, состояло не только в том, что партия победителя разыгрывалась публично; но предложенные им дополнения к грамматике и языковому богатству

признавались официально, а затем включались в архив и язык Игры. Когда-то, примерно лет двадцать пять назад, этой редкой чести удостоился великий Томас фон дер Траве[57], нынешний *Magister Ludi*, за его новые аббревиатуры алхимических Значений знаков Зодиака, да и вообще в дальнейшем Магистр Томас многое сделал для познания и освоения алхимии как весьма поучительного тайного языка. На сей раз Кнехт отказался от использования новых игровых значений, которых у него, как у всякого кандидата, имелся определённый запас, не воспользовался он и возможностью выказать свою приверженность психологическому методу Игры, чего, собственно, следовало от него ожидать. Он построил партию хотя и весьма современную и своеобычную по своей структуре и тематике, однако прежде всего поражающую своей прозрачной и ясной классической композицией и строго симметричным, скупым на орнаментовку, старомодно-изящным исполнением. Возможно, причиной тому послужила его отдалённость от Вальдцеля и Архива Игры, но, возможно, и занятость историческими штудиями, а может быть,

[57] Примечания: [57]

Возможно, намёк на ту роль, которую играют алхимические символы в романе Т. Манна «Волшебная гора».

он сознательно или бессознательно руководился желанием так стилизовать свою партию, как это более всего отвечало бы вкусу его учителя и друга, отца Иакова. Мы этого не знаем.

Выше мы употребили выражение «психологический метод Игры», которое, может быть, не будет понято всеми читателями, однако во времена Кнехта это было ходовое словечко. Должно быть, во все периоды среди посвящённых в Игру существовали различные течения, моды, шла борьба между разными взглядами и толкованиями, а в ту эпоху можно выделить два основных воззрения на Игру, вокруг которых и разгорались основные споры и дискуссии. Тогда различали два типа Игры — формальный и психологический, и нам известно, что Кнехт, как и Тегуляриус, избегая спорить из-за слов, принадлежали, однако, к сторонникам и поборникам второго, только Кнехт предпочитал говорить не о «психологическом», а о «педагогическом» типе Игры. Формалисты от Игры все свои старания прилагали к тому, чтобы из предметных тем каждой партии, математических, языковых, музыкальных и тому подобное, создать сколь возможно плотную, закруглённую, формально совершенную целостность и гармонию. Напротив, психологическая школа

добивалась единства и гармонии, космической законченности и совершенства не столько через выбор, систематизацию, переплетение, сопряжение и противопоставление тем, сколько через следующую за каждым этапом игры медитацию, на которую здесь переносились главные акценты. Подобная психологическая, или, как Кнехт любил говорить, педагогическая, Игра не создавала внешнего впечатления совершенства, но направляла играющего посредством ряда точно предписанных медитаций к восчувствованию совершенного и божественного.

«Игра, какой я её вижу, — писал как-то Кнехт старому Магистру музыки, — замыкает в себе играющего после завершённой медитации, как поверхность сферы свою сердцевину, и под конец заставляет его почувствовать, что некий безупречно стройный и гармонический мир принял его в себя и изъял из мира случайного и запутанного».

Но та партия, которую Кнехт представил на суд, по структуре своей была формальной, не психологической. Возможно, он тем самым хотел доказать руководству, да и самому себе, что, находясь в Мариафельсе и занятый своей дипломатической миссией, он нисколько не утратил

остроты, гибкости, элегантности, виртуозности игровых навыков, и, надо признать, он доказал это: Последнюю отделку и чистовую запись своего проекта Игры, которую можно было выполнить только в самом Вальдцеле, в Архиве, он поручил своему другу Тегуляриусу, кстати говоря, тоже участнику состязаний. Йозеф сам передал все материалы другу, тщательно обсудив с ним проект, просмотрел он и проект Тегуляриуса — ему удалось заполучить Фрица на три дня в обитель, на сей раз Магистр Томас исполнил эту просьбу Кнехта, которую тот повторял дважды. Но как ни радовался Тегуляриус встрече, сколько ни надеялся потешить своё любопытство, он, житель островной Касталии, чувствовал себя в монастыре чрезвычайно неуютно; более того, этот нервозный человек чуть не заболел от обилия непривычных впечатлений, попав внезапно в среду людей приветливых, но простых, здоровых и несколько грубоватых, из коих ни для одного мысли, заботы, проблемы, мучившие Тегуляриуса, решительно ничего не значили.

— Ты живёшь на чуждой планете, — поделился он с другом, — и я могу только недоуменно восхищаться тобой, выдержавшим здесь целых три года. Твои *patres* весьма учтивы со мной, но

всё меня здесь отталкивает, ничто не приемлет, ничто не даётся, само собой, ничто не устраивается без мук и сопротивления; прожить здесь две недели было бы для меня адом.

Кнехту нелегко было с ним, он впервые с неприязнью, как бы со стороны, наблюдал эту отчуждённость двух Орденов, двух миров, и понимал, что его сверхчувствительный друг своей робкой беспомощностью производит здесь дурное впечатление. Но оба свои проекта Игры им удалось подробно обсудить; они сделали друг другу много критических замечаний, и, отправляясь после такой совместной работы в другой флигель, к отцу Иакову, или в трапезную, Кнехт испытывал ощущение, будто он из родной страны внезапно переносился в иные края, где земля и воздух, климат и звёзды — всё было другим.

Когда Фриц уехал, Йозеф вызвал отца Иакова на откровенный разговор о нём.

— Надеюсь, — ответил монах, — что большинство касталийцев похоже на вас, а не на вашего друга. В его лице, видите ли, вы представили нам чуждую, вырождающуюся, слабую и, как я опасаюсь, высокомерную породу людей. Позвольте мне и в дальнейшем иметь дело с вами, не то я стал бы несправедлив к касталийцам. Из-за этого

несчастного, чувствительного, сверхумного, издёрганного человека мне может опротиветь вся ваша Провинция.

— Что ж, — сказал Кнехт, — в течение столетий, очевидно, и среди бенедиктинцев попадались болезненные, физически слабые, но зато духовно полноценные люди, каков и мой друг. Вероятно, было неразумно с моей стороны приглашать его сюда, где все его недостатки подмечают, очень зорко, а достоинств не видит никто. Мне он своим приездом оказал большую дружескую услугу.

И он рассказал отцу Иакову о своём решении участвовать а состязании. Патеру было приятно, что Кнехт заступается за друга.

— Ваша взяла! — воскликнул он, смеясь. — Однако, сдаётся мне, что вы подбираете себе друзей, с которыми не так-то легко ладить. — Минуту он наслаждался замешательством Кнехта, а потом, как ни в чём не бывало, заявил: — На сей раз я имею в виду другого. Вы ничего нового не слышали о своём друге Плинио Дезиньори?

Удивлению Кнехта не было конца; потрясённый, он попросил разъяснений. Дело обстояло следующим образом: в одной из своих политических статей Дезиньори высказал резко антиклерикальные взгляды и при этом весьма

энергично нападал и на отца Иакова. Святой отец запросил у своих друзей в католической печати сведения о Дезиньора, из которых узнал о его ученических годах, проведённых в Касталии, и всем известных отношениях, связывавших вольнослушателя с Кнехтом. Йозеф тут же выпросил статью Плинио для ознакомления, после чего и состоялся его первый разговор с отцом Иаковом на актуальную политическую тему, каких вообще-то у них велось очень немного. Кнехт писал об этом Ферромонте: «Странным и почти пугающим это было для меня: вдруг увидеть на подмостках мировой политики фигуру нашего Плинио, и качестве некой придачи к ней свою собственную. Аспект, о возможности которого я доселе не помышлял». Впрочем, отец Иаков отозвался о полемической статье Дезиньори скорее с похвалой, во всяком случае безо всякого раздражения, похвалил стиль и заметил, что довольно легко распознать в нём влияние касталийской школы; обычно в периодической печати приходится довольствоваться куда более скромным духовным уровнем.

В это же примерно время друг Ферромонте выслал Кнехту копию первой части своего обретшего широкую известность труда «Использование и переработка славянской народной музыки в

творчестве немецких композиторов, начиная от Йозефа Гайдна». В ответном послании Кнехта, между прочим, говорится: «Из твоих занятий, в которых некоторое время мне было дозволено быть твоим соратником, ты извлёк разумные выводы: обе главы о Шуберте, особенно та, где ты пишешь о квартетах, пожалуй, самое солидное из всего, что я знаю, в современной музыковедческой литературе. Прошу тебя иногда вспоминать обо мне, мой урожай намного скромнее твоего. Как бы я ни был доволен своей здешней жизнью — моя миссия в Мариафельсе, кажется, выполняется не без успеха, — я всё же время от времени ощущаю подавленность: слишком уж длителен отрыв от нашей Провинции, вальдцельского круга, к которому я принадлежу. Учусь я здесь многому, очень многому, но от этого возрастает не моя уверенность и профессиональная пригодность, а мои сомнения. Правда, и мой горизонт расширяется. Что касается моей неуверенности, чувства отчуждённости, недостатка в радости, в доверии к себе и других пороков, от которых я страдал особенно первые два года, проведённые здесь, — то теперь я спокойнее. Недавно заезжал Тегуляриус, но как он ни радовался встрече со мной, как ни разбирало его любопытство

повидать Мариафельс, он уже чуть ли не на второй день готов был бежать без оглядки, так мучительно завладела им здесь угнетённость и ощущение чужбины. Поскольку же монастырь в конце концов являет собой достаточно ограждённый, уютный мир, приверженный к духовности, отнюдь не тюрьму, не казарму или фабрику, я заключаю из этого переживания, что все мы в нашей любезной Провинции куда более избалованы и чувствительны, нежели сами об этом подозреваем».

Как раз около того времени, когда было отправлено это письмо к Карло, Кнехт добился от отца Иакова, чтобы тот в кратком послании касталийскому Ордену ответил утвердительно на известный вопрос; от себя же старый учёный приписал просьбу, чтобы «любимого здесь мастера Игры в бисер Йозефа Кнехта», удостоившего его *privatissimum de rebus Castaliensibus*[58], оставили ещё на некоторый срок в Мариафельсе.

Разумеется, в Вальдцеле сочли за честь удовлетворить эту его просьбу. Кнехт, недавно сетовавший на то, что так далёк от «сбора урожая», получил подписанное руководством Ордена и

[58] Примечания: [58]

Специальные занятия с целью посвящения в касталийские дела (лат.).

господином Дюбуа письмо с выражением признательности и благодарности за выполненное поручение. Самым важным в этом чрезвычайно официальном послании и доставившим ему наибольшую радость (он с торжеством сообщал об этом Фрицу) была короткая фраза следующего содержания: «Магистр Игры довёл до сведения Ордена о желании адресата возвратиться в *Vicus lusorum*, и Орден согласился, по выполнении поручения, удовлетворить ходатайство», то место Йозеф прочитал даже отцу Иакову, признавшись, сколь оно радует его и как он страшился, что его навсегда лишат возможности жить в Касталии и отправят в Рим. *Pater* со смехом ответил:

— Да, уж таково свойство орденских организаций, мой друг, охотнее пребываешь в лоне их, нежели на периферии, или — упаси бог — в изгнании. Советую вам поскорее забыть то немногое, что вы узнали о политике, в чьей опасной близости вы здесь очутились, для неё у вас нет никаких данных. Однако ж истории не изменяйте, хотя бы она и оставалась для вас лишь побочным и любительским занятием. Для историка, надо признать, у вас есть всё. А теперь давайте-ка, покуда вы ещё в моём распоряжении, поучимся друг у друга.

Разрешением чаще бывать в Вальдцеле Кнехт,

по-видимому, так и не воспользовался; но он слушал по радио занятия семинара и некоторые доклады, а также передачу целых партий Игры. Сидя в старинной гостиной монастыря, он как бы присутствовал в торжественном зале *Vicus lusorum*, принимал участие в празднестве, когда там объявлялись результаты состязаний. Он отослал в Вальдцель не слишком своеобычную и не производящую переворота, однако солидную и весьма изящную партию, которой он сам знал цену, а потому ожидал похвального упоминания или же третьей, может быть, даже второй премии. К своему удивлению, он услышал, что ему присудили первую, и ещё не успел этому обрадоваться, как глашатай Магистра Игры своим красивым низким голосом назвал и второго призёра — Тегуляриуса. Поистине тут было от чего прийти в восторг: оба они рука об руку вышли победителями из этого состязания. Не слушая далее, он вскочил и побежал вниз по лестнице и через гулкий коридор — на волю. В письме старому Магистру музыки, написанном в те дни, мы читаем: «Я очень счастлив, Досточтимый, как ты, вероятно, и сам представляешь себе. Сначала успех моей миссии и почётное признание его руководством Ордена, вкупе со столь важной

для меня перспективой скорого возвращения домой, к друзьям, к Игре, вместо дальнейшего использования на дипломатической службе, — а потом и первое место, и премия в состязаниях за партию, к которой я, что касается формальной стороны, приложил немалые старания, но которая, по вполне основательным причинам, вовсе не исчерпывает всего, что я мог бы дать. И сверх того, радость разделить этот успех с другом — и впрямь, слишком много для одного раза. Я счастлив, да, но не смел бы утверждать, что мне легко. За столь краткое время или за время, которое показалось мне кратким, всё это свалилось на меня слишком внезапно и не в меру щедро; к чувству благодарности примешивается некий страх, словно бы достаточно добавить одну лишь каплю в наполненный до краёв сосуд, и всё опять будет поставлено под сомнение. Но прошу тебя, смотри на это так, как если бы я этого не говорил, здесь каждое слово лишнее».

Нам предстоит увидеть, что этому наполненному до краёв сосуду вскоре суждено было принять куда более, чем одну каплю. Однако до этого Йозеф Кнехт отдался своему счастью и примешанному к нему страху так всецело и безусловно, как если бы уже предугадывал скорое наступ-

ление больших перемен. Для отца Иакова эти несколько месяцев тоже оказались счастливыми и пролетели очень быстро. Ему жаль было потерять такого коллегу и ученика, и он пытался во время самих уроков в ещё того более — в свободных беседах передать ему как можно больше из того Проникновения в высоты и бездны человеческого бытия и истории народов, которое довелось ему приобрести за свою жизнь труженика и мыслителя. Порой он заводил речь о цели и результатах миссии Кнехта, о возможности и ценности дружбы и политического согласия между Римом и Касталией, рекомендуя Йозефу изучить ту эпоху, результатом которой явилось основание касталийского Ордена, а также постепенное возрождение и новый подъём Рима после периода унизительных испытаний. Он посоветовал ему ознакомиться с двумя произведениями о Реформации и церковной схизме в шестнадцатом столетии, горячо рекомендовал ему всегда предпочитать непосредственный анализ источников и всемерное ограничение обозримыми конкретными темами чтению разбухших всемирно-исторических трудов, причём не скрывал своего глубокого недоверия к любому роду философии истории.

Magister Ludi

Свой окончательный отъезд в Вальдцель Кнехт решил перенести на весну, когда обычно происходила большая публичная Игра — *Ludus anniversarius*, или *sollemnis*.[59] Хотя пора расцвета этих Игр давно уже миновала, навсегда уйдя в прошлое, — пора, когда ежегодная Игра длилась многие недели, когда со всех концов света на неё съезжались высокопоставленные и представительствующие лица, — всё же весенние съезды в их торжественной Игрой, продолжавшейся от десяти до четырнадцати дней, были для касталийцев крупнейшим праздничным событием года, праздником, не лишённым высокого религиозного и этического значения, ибо он объединял представителей всех, отнюдь не всегда единодушных направлений и тенденций Касталии, как бы устанавливая мир между себялюбиями отдельных дисциплин и пробуждая воспоминания о единстве, возвышавшимся над их множественностью. Для верующих праздник обладал таинственной силой подлинного посвя-

[59] Примечания: [59]
Ежегодная, или торжественная Игра (лат.).

щения, для неверующих был, по меньшей мере, заменой религиозного обряда, и для тех, и для других — омовением в чистейших источниках прекрасного. Так некогда «Страсти» Иоганна Себастьяна Баха (не столько в пору их создания, сколько в то столетие, которое последовало за их возвращением миру) были для участников и слушателей отчасти подлинным религиозным действом и таинством, отчасти благоговейным созерцанием и заменой веры, для всех же вместе — торжественной манифестацией искусства и *creator spiritus.*[60]

Кнехту не стоило большого труда получить одобрение своего плана как у монастырских инстанций, так и у своей Коллегии. Он ещё не мог реально представить себе, каково будет его положение после приезда в маленькую республику *Vicus lusorum,* однако он предполагал, что очень скоро на него возложат почётное бремя какой-нибудь должности или поручения. Покамест же он радовался возвращению, встрече с друзьями, предстоящему празднику, наслаждался последними совместными занятиями с отцом Иаковом, с достоинством и не без удовольствия принимая

[60] Примечания: [60]
Творческий дух (лат.).

всевозможные знаки благорасположения, каковыми настоятель и капитул сочли необходимым осыпать его при проводах. Затем он отправился в путь, не без щемящего чувства расставания с полюбившимся местом и с пройденным отрезком жизни, однако в результате созерцательных упражнений, предназначенных для подготовки к ежегодной Игре (он проделал их без руководителя и без товарищей, но строго придерживаясь предписаний), у него появилось и предпраздничное настроение. Оно не ухудшилось оттого, что ему не удалось уговорить отца Иакова принять давно уже последовавшее приглашение Магистра Игры и поехать вместе с ним на праздник: Кнехту была вполне понятна сдержанность старого антикасталийца, сам же он на некоторое время почувствовал себя освободившимся от всех стеснявших его обязанностей и полностью отдался предвкушению ожидаемых торжеств.

У праздников свои законы. Полностью провалиться настоящий праздник никогда не может, даже при неблагосклонном вмешательстве высших сил; для твёрдого в вере крестный ход и под ливнем сохраняет свою торжественность, его не обескуражит и подгоревшее праздничное угощение, а потому для адепта Игры каждый

годичный Ludus есть праздник и в некотором роде священнодействие. Тем не менее, как все мы хорошо знаем, бывают праздники и Игра, когда всё особенно ладится, одно окрыляет и возвышает другое, это случается и с музыкальными, и с театральными представлениями, которые без явно видимых причин, словно по волшебству, достигают необычайных вершин, оставляя в душе участников глубокий след, в то время как другие, ничем не хуже подготовленные, остаются не более чем добросовестной работой. Поскольку рождение подобного возвышенного чувства зависит в какой-то мере и от душевного состояния участника, следует признать, что Кнехт был наилучшим образом подготовлен: никакие заботы не угнетали его; он с почётом возвращался с чужбины и пребывал в радостном ожидании грядущего.

Однако на сей раз *Ludus sollemnis* не было суждено стать осенённым чудом, особо освящённым и сияющим праздником. Ежегодная Игра была на этот раз безрадостной, поразительно несчастливой, чуть что не полностью провалившейся. Хотя многие из присутствовавших испытали возвышенные чувства и благоговение, но, как и всегда в таких случаях, собственно устроители

и ответственные лица особенно остро ощутили сгустившуюся над всем праздником тягостную атмосферу неудачи, непрестанных помех и просто невезения. Но Кнехт не был среди тех, кто особенно болезненно переживал всё это, хотя, разумеется, и он испытал некоторое разочарование в своих возвышенных ожиданиях; тем не менее ему, не бывшему непосредственным участником и не нёсшему никакой ответственности, удалось в те дни, несмотря на то что торжество не было осенено благодатью истинной святости, проследить благоговейно за всей весьма остроумно построенной Игрой и без помехи дать отзвучать в себе медитации, ощутить в благодарном порыве знакомую всем гостям этих Игр атмосферу празднества и жертвоприношения, мистического слияния всей общины слушателей воедино у ног божества, что торжественная Игра способна внушить даже тогда, когда она для самого узкого круга устроителей «провалилась». Но и он не остался нечувствительным к роковому предопределению, тяготеющему над этим празднеством. Сама игра, план её и структура были без изъяна, как и все игры Магистра Томаса, более того, эта игра была одной из самых впечатляющих, самых наивных и непосредственных его игр. Но испол-

нение её преследовал злой рок, и в Вальдцеле до сих пор о ней не забыли.

Когда Кнехт за неделю до начала торжества прибыл в Вальдцель, чтобы отметиться в канцелярии Селения Игры, его принял не Магистр, а его заместитель Бертрам, который хотя и весьма любезно приветствовал его, однако довольно сухо и несколько рассеянно сообщил, что досточтимый Магистр на днях заболел, а он, Бертрам, недостаточно информирован о миссии Кнехта. Посему он не может принять у него отчёт, а просит Кнехта отправиться в Хирсланд, доложить о себе руководству Ордена, там же официально отметить своё возвращение и ожидать дальнейших приказаний. То ли голосом, то ли каким-нибудь жестом Кнехт выдал своё недоумение по поводу холодного и чересчур уж краткого приёма, и Бертрам поспешил извиниться. Да простит его коллега, если он его разочаровал, но пусть он поймёт необычайность данной ситуации: Магистр прикован к одру болезни — и это накануне ежегодной Игры, и никто не в состоянии сказать, сможет ли Магистр ею руководить или это придётся сделать ему, его заместителю. Болезнь Досточтимого не могла нагрянуть в более затруднительный и щекотливый момент. Он, ра-

зумеется, всегда готов исполнить официальные обязанности Магистра, но в столь краткий срок достойным образом подготовиться к большой Игре и взять на себя руководство ею — это, как он опасается, будет свыше его сил.

Кнехту было жаль этого явно убитого неожиданным оборотом дела и несколько потерявшего равновесие человека; не в меньшей мере он сожалел и о том, что в таких руках будет сосредоточена вся ответственность за успех торжества. Слишком уж долгое время Кнехт провёл вне Касталии и потому не мог знать, сколь обоснованны опасения Бертрама, ибо тот — и это самое скверное, что может стрястись с заместителем, — с некоторых пор лишился доверия элиты, так называемых репетиторов, и положение его действительно можно было назвать затруднительным. С грустью Кнехт думал о верховном мастере Игры, безупречно владевшим классической формой и иронией, об этом совершенном Магистре и рыцаре; Йозеф ведь так предвкушал встречу с ним, так надеялся, что тот выслушает его и вновь введёт в маленькую общину адептов Игры, быть может, даже в какой-нибудь ответственной должности. Присутствовать при том, как Магистр Томас величаво дирижирует торже-

ственной Игрой, трудиться под наблюдением его зорких глаз, прилагать старание, дабы заслужить его похвалу, всегда было горячим желанием Кнехта: теперь же, узнав, что болезнь закрыла ему доступ к Магистру и его, Кнехта, передали другим инстанциям, он испытывал горькую боль и разочарование. Правда, в какой-то мере это компенсировалось почтительной доброжелательностью, более того, даже дружественностью, с какими его приняли и выслушали секретарь Ордена и господин Дюбуа. Из первой же беседы с ними он узнал, что в римском проекте его не намерены более использовать и что его желание вернуться в Вальдцель и к Игре удовлетворено. Для начала ему предложили занять квартиру в доме для приезжих *Vicus lusorum* и несколько освоиться, а также присутствовать при ежегодной Игре.

Вместе с другом Тегуляриусом он посвятил оставшиеся до празднества дни посту и упражнениям в медитации и принял благоговейное и благодарное участие в той необычной Игре, которая оставила после себя столь неутешительные воспоминания.

Странная это должность — заместителя Магистра, которого иногда называют «тенью»,

особенно когда речь идёт о заместителе Магистра музыки или Магистра Игры. У каждого Магистра есть заместитель, его не назначает Верховная Коллегия, а Магистр сам выбирает его из небольшого круга кандидатов, неся полную ответственность за все его поступки и подпись. Для кандидата это великое отличие и знак высшего доверия, если Магистр изберёт его своим заместителем, тем самым делая его своим ближайшим сотрудником, как бы правой рукой; всякий раз, когда сам Магистр по каким-либо причинам отсутствует, заместитель исполняет его обязанности, правда, не все: так, при голосовании в Верховной Коллегии он имеет право выступать только в роли передатчика мнения своего шефа, но ему не разрешено участвовать в прениях, вносить предложения и тому подобное. И всё же, хотя назначение кандидата заместителем всемогущего Магистра ставит его на высокий пост, порою весьма представительный, оно означает тем не менее что-то вроде преждевременной отставки, ибо в рамках официальной иерархии заместитель представляет собой некий обособленный случай: ему поручают выполнение весьма важных функций, оказывают почёт, но в то же время лишают некоторых прав и возмож-

ностей, которыми пользуются все остальные. Два обстоятельства характеризуют его исключительное положение: заместитель не отвечает за свои действия в должности, и путь вверх по дальнейшим ступеням иерархии ему раз и навсегда заказан. Правда, это закон неписаный, но его легко вычитать в истории Касталии: не было ни одного случая, чтобы после смерти или низложения Магистра место это заняла бы его «тень», которая так часто заменяла его при жизни и само существование которой, казалось бы, предопределяло её в наследники. Подобная практика как бы умышленно подчёркивает непреодолимость рубежа, представляющегося весьма непрочным и подвижным: граница между Магистром и его заместителем выступает как некий символ границы между должностью и личностью. Итак, касталиец, вступая на высокий пост заместителя, окончательно прощается с перспективой самому когда-нибудь стать Магистром, слиться с облачением и регалиями, которые так часто, представляя Магистра, носит на себе, но вместе с тем он получает странное и двусмысленное право перекладывать вину за совершённые ошибки на плечи своего Магистра, который один должен отвечать за него. И действительно, бывали случаи,

когда Магистр становился жертвой избранного им заместителя и из-за грубого упущения, совершённого последним, вынужден был уходить в отставку. Прозвище, которым в Вальдцеле наградили заместителя Магистра Игры, вполне оправдывается его странным положением: как его связью, почти идентичностью с Магистром, так и призрачностью его официального существования, как бы лишённого субстанции. Его именуют, как уже сказано, «тенью».

Уже многие годы роль «тени» при Магистре Томасе фон дер Траве исполнял человек по имени Бертрам, которому недоставало скорее удачи, нежели одарённости или доброй воли. Это был отличный мастер Игры, что, собственно, само собой разумелось, по меньшей мере неплохой учитель и добросовестный чиновник, бесконечно преданный своему Магистру; тем не менее он в последние несколько лет потерял всякое расположение должностных лиц и восстановил против себя подрастающее поколение элиты, поскольку же в нём не было ничего от рыцарства его повелителя, он лишился всякой уверенности и покоя. Магистр не расстался с ним, а все эти годы всячески оберегал его от столкновения с элитой, всё реже и реже использовал его для пуб-

личных выступлений, поручая ему заниматься в Канцелярии и Архиве. Вот этот-то незапятнанный, но нелюбимый или ставший нелюбимым человек, которому счастье явно отказывало в благосклонности, из-за болезни своего Магистра неожиданно стал во главе *Vicus lusorum,* и в случае, если бы ему действительно пришлось руководить торжественной Игрой, во время празднества оказался бы на самом видном посту во всей Педагогической провинции. Справиться с подобной задачей он мог только, если бы ему оказали доверие и поддержку большинство мастеров Игры или, по меньшей мере, репетиторы, а это, к сожалению, не имело места. Вот и случилось, что на сей раз *Ludus sollemnis* стала для Вальдцеля тяжким испытанием, почти катастрофой.

Только за один день до официального начала Игры было объявлено, что Магистр серьёзно болен и не в состоянии взять на себя руководство. Неизвестно, входила ли задержка этого известия в намерения самого больного, который, возможно, до последней минуты надеялся, собрав все силы, всё же возглавить Игру, но, вероятно, болезнь его была чересчур серьёзной, чтобы он мог лелеять подобные надежды, а «тень» совершила ошибку, оставив Касталию до последнего часа в неведе-

нии об истинном положении дел в Вальдцеле. Впрочем, была ли подобная задержка ошибкой — вопрос спорный. Если он её и совершил, то, несомненно, с благой целью, не желая заранее умалять значение торжества и отпугнуть почитателей Магистра Томаса от поездки в Вальдцель. И если бы действительно всё шло гладко, если бы между вальдцельской общиной адептов и Бертрамом существовало согласие, «тень» — и это было бы вполне вероятно — обрела бы всё достоинство подлинного заместителя, и отсутствие Магистра мало бы кто заметил. Бесполезно высказывать по этому поводу дальнейшие предположения; нам просто казалось необходимым отметить, что Бертрам вовсе не был столь безусловно неспособным и ещё того менее недостойным, как, считало тогда общественное мнение Вальдцеля. Нет, он был жертвой в гораздо большей мере, чем виновником.

Как и во все предыдущие годы, в Вальдцель стали съезжаться гости, чтобы присутствовать на больших торжествах. Многие ничего не подозревали, другие были озабочены состоянием Магистра Игры и полны нерадостных предчувствий. Повсюду, как в самом Вальдцеле, так и в окружающих его селениях, встречались незна-

комые лица, почти в полном составе прибыло руководство Ордена и Воспитательной Коллегии. Многочисленные празднично настроенные гости съехались из отдалённых уголков страны и из-за рубежа, заполнив все гостиницы. Как обычно, праздник начался ещё накануне официального открытия медитацией, во время которой, начиная с первого удара колокола, вся праздничная публика погрузилась в благоговейное молчание. На следующее утро прозвучали концерты и была провозглашена первая часть Игры, а также объявлены медитации на обе музыкальные темы этой первой части. Бертрам в торжественном облачении Магистра Игры держался с достоинством, владел собой, только выглядел очень бледным и день ото дня казался всё более переутомлённым, нездоровым, впавшим в резиньяцию, а в последние дни и впрямь стал походить на тень. Уже на второй день официальных торжеств распространился слух, будто бы состояние здоровья Магистра Томаса ухудшилось, его жизни угрожает опасность, и в тот же вечер среди посвящённых постепенно стала рождаться легенда о больном Магистре и его «тени».

Легенда эта, возникшая в самом узком кругу репетиторов, утверждала, будто Магистр не только

хотел, но и мог взять на себя руководство Игрой, однако, дабы утешить честолюбие своей «тени», принёс эту жертву и передал бразды правления Бертраму. Теперь же, в связи с тем, что Бертрам явно не справляется с возложенной на него высокой обязанностью и вся Игра грозит обернуться разочарованием, больной Магистр, сознавая свою ответственность за «тень» и за её провал, чувствует необходимость взять на себя расплату за чужие грехи; именно это, а не что-нибудь иное, и является причиной ухудшения его здоровья и скачка температуры. Разумеется, то был не единственный вариант легенды, но его придерживалась элита, утверждая недвусмысленно, что она, элита, это честолюбивое подрастающее поколение, воспринимает сложившуюся обстановку как трагическую и не намерена принимать в расчёт никаких уклончивых и половинчатых объяснений, замазываний и приукрашивания этой трагедии.

Почёт, которым пользовался Магистр, и неприязнь к его «тени» взаимно уравновешивались. Бертраму вслед неслись проклятия и пожелания всяческих бед, невзирая на то, что пострадать от этого должен был сам Магистр. Днём позже из уст в уста передавался рассказ о том, будто Ма-

гистр призвал к своему одру заместителя и двух старост элиты, заклиная их хранить мир, чтобы не сорвать праздник, ещё через день поползла молва, будто бы Магистр продиктовал завещание и сообщил Верховной Коллегии имя человека, которого он желал бы видеть своим преемником. Назывались даже имена. С каждым днём, вместе с известиями об ухудшении состояния больного, множилось и число слухов, и как в торжественном зале, так и в гостиницах заметно падало настроение, хотя никто не позволил себе, не дождавшись окончания Игры, покинуть Вальдцель. Над праздником нависла мрачная туча, однако, несмотря на это, внешне всё развивалось по заранее намеченному плану, хотя о радостном подъёме, столь характерном для ежегодных Игр и обычно ожидаемом всеми присутствующими, разумеется, уже не могло быть и речи. А когда в предпоследний день Игры создатель её, Магистр Томас, навеки закрыл глаза, Верховной Коллегии не удалось избежать распространения этого известия, и, как ни странно, кое-кто из участников с облегчением воспринял подобное разрешение запутанной ситуации. Ученика Игры и особенно элита, хотя им и не было дозволено до окончания Ludus sollemnis надеть траурные одежды и пре-

рвать строго предписанное чередование игровых действий и медитаций, единодушно отметили, последний торжественный акт и праздничный день как день траура по усопшему, окружив Бертрама, измученного бессонницей, бледного и всё же продолжающего с полуприкрытыми глазами руководить Игрой, атмосферой ледяного недоброжелательства и одиночества.

Йозеф Кнехт, связанный через Тегуляриуса с элитой и как опытный мастер Игры чрезвычайно остро ощущавший подобные течения и настроения, всё же не поддался им и, начиная с четвёртого или пятого дня, даже запретил своему другу Фрицу отягощать его сообщениями о болезни Магистра. Отлично понимая и чувствуя, какая трагическая тень легла на празднество, он с глубокой скорбью думал о Магистре, со всё возраставшей неприязнью, однако и с сочувствием, — о его «тени», словно бы осуждённой умереть вместе со своим повелителем; но в то же время он стойко противился всякому воздействию на себя как правдивых, так и вымышленных сообщений, никому не позволял нарушить свою предельную концентрацию и с радостью отдался течению прекрасно построенной Игры, переживая торжество, вопреки всем треволнениям и мрачным слухам,

в состоянии серьёзном и возвышенном. «Тень» — Бертрам, к счастью, был избавлен от непременного в подобных случаях приёма поздравителей и официальных лиц, традиционный День Радости студентов Игры также был отменён. Как только отзвучал последний такт торжественного музыкального финала, Верховная Коллегия объявила о смерти Магистра, и в *Vicus lusorum* начались дни траура, которого строго придерживался и живущий в гостевом флигеле Йозеф Кнехт.

Обряд похорон Магистра Томаса, чью память и поныне глубоко чтят потомки, был совершён с обычной для Касталии скромностью. «Тень» — Бертрам, напрягая последние силы, до конца сыграл свою немалотрудную роль. Осознав своё положение, он испросил себе отпуск и удалился в горы.

В селении адептов Игры, да и во всём Вальдцеле, воцарился траур. Можно предположить, что никто не поддерживал близких, определённо дружественных отношений с покойным Магистром, но его превосходство, чистота и благородство помыслов, вкупе с выдающимся умом и совершенным чувством формы сделали из него правителя, какие в демократически устроенной Касталии не так уж часто встречаются. Им можно

было гордиться. По видимости чуждый страстям, любви, чувству дружбы, он с тем большим правом мог служить идеалом для юношества, и его достоинство, княжеская осанка, кстати, принёсшая ему ласково-ироническое прозвище «сиятельство», обеспечили ему с годами, несмотря на известный отпор, несколько особое положение в Высшем Совете и на заседаниях Воспитательной Коллегии. Разумеется, в Вальдцеле сразу же разгорелись споры о кандидате на высокий пост, и нигде они не велись так горячо, как среди элиты. После отъезда «тени», падения которой так добивался и в конце концов добился этот круг, элита, проголосовав, временно разделила функции Магистра среди трёх лиц, разумеется, только функции, касающиеся внутренних дел *Vicus lusorum,* а никак не официальные, являющиеся прерогативой Воспитательной Коллегии. В соответствии с обычаями, пост Магистра Игры не должен был оставаться незамещённым более трёх недель. В случаях, когда умерший или убывающий Магистр оставлял после себя уже определённого преемника, не имеющего соперников, пост его замещался немедленно после первого же пленарного заседания Верховной Коллегии. Однако на сей раз дело грозило затянуться.

Во время траура Йозеф Кнехт несколько раз заговаривал со своим другом о закончившейся Игре и обо всём омрачённом празднестве.

— Этот заместитель Бертрам, — сказал как-то Кнехт, — не только вполне прилично довёл свою роль до конца, то есть пытался играть истинного Магистра, но, по моему разумению, совершил и куда большее: он принёс себя в жертву этой *Ludus sollemnis* как своей самой торжественной и последней официальной обязанности. Вы были жестоки, люто жестоки с ним, у вас имелась возможность спасти праздник и Бертрама, но вы этого не сделали, однако не мне судить, вероятно, у вас были свои причины. Теперь, когда вы настояли на своём и бедняга Бертрам уничтожен, вам следует проявить великодушие. Как только он вернётся, необходимо пойти ему навстречу, дать понять, что вы оценили принесённую им жертву.

Тегуляриус покачал головой.

— Мы её оценили, — сказал он, — и приняли. Но на твою долю выпало счастье быть на сей раз, так сказать, беспристрастным участником Игры, гостем, а потому ты не мог всего заметить. Нет, нет, Йозеф, нам уже не представится возможность проявить какие-нибудь добрые чувства по

отношению к Бертраму. Он осознал, что жертва его была необходима, и, думаю, никогда уже не будет пытаться взять её назад.

Только теперь Кнехт понял его и с грустью умолк. Ведь и правда, он пережил эти праздничные дни не как истинный вальдцелец и товарищ, а скорее как гость, и потому только теперь ему открылось, как, собственно, обстояло дело с жертвой Бертрама. До сих пор Бертрам представлялся ему честолюбцем, раздавленным бременем непосильной задачи и отныне вынужденным расстаться со всеми своими честолюбивыми замыслами, забыть, что когда-то был «тенью» Магистра и возглавлял ежегодную торжественную Игру. И только теперь, когда он услыхал слова друга, Кнехт, внезапно онемев, понял: судьи Бертрама осудили его, и он никогда не вернётся. Ему разрешили довести Игру до конца и даже помогали, постольку, поскольку не желали скандала, но сделано это было не для того, чтобы пощадить Бертрама, а ради Вальдцеля.

Сама должность Бертрама требовала завоевания полного доверия не только Магистра — в этом Бертрам вполне преуспел, — но и в не меньшей мере доверия элиты, а его-то достойный сожаления заместитель так и не смог добиться. Соверши

он ошибку, иерархия не встала бы на его защиту, как она встала бы на защиту его повелителя. И если былые товарищи его не признали, никакой авторитет уже не в силах его спасти, и эти товарищи, репетиторы, превращаются в его судей. Если они неумолимы, «тени» приходит конец. Так оно и случилось на этот раз. Из своего путешествия в горы Бертрам уже не вернулся. Прошло немного времени, и в Вальдцеле распространился слух, что он сорвался в пропасть и погиб. Больше о нём никто не упоминал.

Тем временем в Селение Игры каждый день наведывались старшие и высшие должностные лица из руководства Ордена и Воспитательной Коллегии; то и дело кого-нибудь из элиты или из чиновников Игры вызывали для беседы, о содержании которых среди той же элиты высказывались самые различные предположения. Не раз вызывали и Йозефа Кнехта.

В первом случае его расспрашивали два представителя руководства Ордена, во втором с ним беседовал Магистр филологии, затем господин Дюбуа, потом ещё два других Магистра. Тегулариус, которого также неоднократно вызывали, всё время пребывал в каком-то приподнятом настроении и без конца острил по поводу пред-

стоящего конклава, как он это называл. Ещё в дни празднества Йозефу бросилось в глаза, как мало теперь, в отличие от прежних времён, связывало его с элитой, а в эти «предконклавные» дни он ощутил это куда острей. И дело было не только в том, что он, словно чужой, жил в гостевом флигеле, и не в том, что представители Верховной Коллегии обращались с ним как с равным. Сама элита, так называемые репетиторы, не приняли его как равного, в их отношении к нему было что-то от иронической вежливости, во всяком случае, чувствовался какой-то выжидательный холодок; элита отошла от него ещё в те дни, когда его послали в Мариафельс, и это было вполне естественно и даже правильно: кто сделал шаг от свободы к подчинению, от студента к иерархии, того уже не считали товарищем, он был уже на пути к тому, чтобы стать начальством, «бонзой», он уже не принадлежал к элите и должен был знать, что она до поры до времени будет относиться к нему весьма критически. Так бывало со всеми, кто попадал в подобное положение. Но Кнехт-то в ту пору воспринимал этот отход, этот холодок особенно болезненно, прежде всего потому, что осиротевшая и ожидавшая назначения нового Магистра Игры элита сплотилась особенно тесно,

заняв оборонительную позицию, и, кроме того, потому, что её решимость и непоколебимость её позиции только что столь сурово проявилась в случае с «тенью» — Бертрамом.

Однажды вечером в дом для гостей прибежал донельзя взволнованный Тегуляриус, разыскал Йозефа, затащил его в какую-то пустую комнату, прикрыл дверь и выпалил:

— Йозеф! Йозеф! Бог ты мой, и как это я раньше не догадался! Я должен был это знать, да и нетрудно было догадаться… Нет, я ничего не соображаю и, по совести, не пойму, следует ли мне радоваться… — И он, один из самых осведомлённых жителей Селения Игры, поспешил сообщить: более чем вероятно, даже почти наверняка, Йозефа Кнехта изберут Магистром Игры. Ещё позавчера сняли кандидатуру старшего Архивариуса, которого прочили в наследники Магистра Томаса, из трёх кандидатов элиты, шедших до сих пор впереди, ни одного не поддерживают и не рекомендуют ни Магистры, ни руководство Ордена, а за Кнехта уже высказались два члена руководства и господин Дюбуа, к ним следует добавить веский голос старого Магистра музыки, которого на этих днях, как достоверно известно, лично навестили несколько Магистров. — Йозеф,

они сделают тебя Магистром! — воскликнул он ещё раз, и тут же друг зажал ему рот ладонью.

В первое мгновенье Йозеф был, пожалуй, не менее потрясён неожиданным предположением, чем Фриц, — настолько оно представлялось ему немыслимым, но уже в то время, как Тегуляриус сообщал ему о различных слухах, циркулировавших среди адептов Игры о конклаве, Кнехт понял, что предположение друга не лишено основания. Более того, он ощутил нечто похожее на подтверждение в своей собственной груди, у него возникло чувство, будто он давно это знал, даже ждал, настолько это было правильно и естественно. Однако, прикрыв ладонью рот друга, он строго, словно чужой, взглянул на него и, как бы внезапно отодвинувшись от него, как бы уже издали, сказал:

— Не нужно так много говорить, *amice,* я и знать не хочу этих сплетен! Ступай к своим товарищам!

Тегуляриус, хотя ему и надо было ещё многое сказать, онемел под этим взглядом: на него глядел новый, ещё неведомый ему человек; побледнев, он пошёл прочь. Позднее он рассказывал, что в ту минуту он воспринял удивительную невозмутимость и холодность Кнехта как пощёчину,

как оскорбление, как предательство их прежней дружбы и близости, как решительно ничем не объяснимое предвосхищение и подчёркивание Кнехтом своего будущего верховного сана. Только уже по дороге — а шёл он поистине как побитый — ему открылся весь смысл этого незабываемого взгляда, этого далёкого, царственного и, однако, страдальческого взгляда, и он понял, что друг его воспринял выпавшее ему на долю не с гордостью, но в смирении. И он вспомнил, рассказывал Тегуляриус, задумчивый вид Йозефа Кнехта и глубокое сочувствие, прозвучавшее в его недавних расспросах о Бертраме и принесённой им жертве. А что, если он сам тоже намерен пожертвовать собой, стереть себя, — столь гордым и смиренным, величественным и покорным, одиноким и готовым отдать себя на волю судьбы показалось ему тогда лицо друга, словно лицо это было уже высечено на монументе в честь всех когда-либо живших Магистров Касталии. «Ступай к своим товарищам!» — сказал он ему. Стало быть, уже в тот миг, когда он впервые услышал о своём новом сане, он, которого никто никогда не сможет познать до конца, ощущал себя уже неким звеном иерархии, смотрел на мир из иного центра, уже не был ему товарищем, никогда им

больше не будет.

Конечно, Кнехт и сам мог бы догадаться об этом своём назначении, этом последнем, высшем своём призвании или, во всяком случае, мог полагать его вероятным, и всё же оно поразило, даже испугало его, как и все предыдущие. Потом-то он сказал себе, что вполне мог бы представить себе такую возможность, и улыбнулся усердию Тегуляриуса, который, хотя сначала и не ожидал ничего подобного, всё же высчитал и предсказал его выбор за несколько дней до окончательного решения и его обнародования. И действительно, против избрания Кнехта в Верховную Коллегию говорила разве что его молодость: большинство его предшественников-коллег заняли этот высокий пост в возрасте от сорока пяти до пятидесяти лет, а Йозефу не исполнилось ещё сорока. Впрочем, закона, воспрещавшего столь раннее назначение, не существовало.

И вот когда Фриц неожиданно сообщил другу о результатах своих наблюдений и комбинаций, наблюдений искушённого члена элиты, до последних мелочей знавшего хитроумный механизм маленькой вальдцельской общины, Кнехт сразу понял, что тот, безусловно, прав, сразу же признал и принял своё избрание, свою судьбу,

однако первой его реакцией на это известие были слова, сказанные другу: «Я и знать не хочу этих сплетен!» Едва только потрясённый и оскорблённый собеседник ушёл, Йозеф поспешил к месту медитации, чтобы обрести внутреннюю упорядоченнность, и его медитация отправлялась от одного воспоминания, которое в тот час с необычайной силой овладело им. Он один в пустом классе, голые стены, клавир, через окно льётся прохладно-радостный утренний свет, в двери входит красивый, приветливый человек, с седыми волосами и таким просветлённым лицом, исполненным доброты и достоинства; он, Йозеф, ещё маленький гимназист, дрожа от робости и счастья, ждал здесь Магистра музыки, а теперь воочию видит его. Досточтимого, полубога из сказочной Провинции элитарных школ и Магистров, пришедшего показать ему, что такое музыка, а потом шаг за шагом, уведшего его в свою Провинцию, в своё царство, в элиту и в Орден. И вот он, Йозеф, уже ровня ему, стал братом его, а Магистр отложил свою волшебную палочку, или свой скипетр, и принял образ молчаливого и всё же приветливого, почитаемого и всё ещё окружённого таинственностью старца, чей взгляд всегда будет выше его на целое поколение, на несколько

ступеней жизни, неизмеримо выше его в достоинстве своём и вместе скромности, в мастерстве и таинственности, и всегда он для него — повелитель и образец, всегда заставит следовать ему, как восходящее и заходящее светило увлекает за собой своих братьев. И покуда Кнехт безотчётно отдавался потоку картин и образов, близких и родственных сновидениям, какие обычно встают перед нашим внутренним взором в состоянии первой разрядки, внимание его приковали к себе два видения, выделявшиеся из общего потока, два символа, два подобия. В одном из них Кнехт, ещё мальчик, шагает разными ходами и переходами за Магистром, а тот, его вожатый, всякий раз, когда оборачивается и Йозеф видит его лицо, делается всё старше, молчаливей, достойнее, зримо близясь к идеалу вечной мудрости и достоинства, в то время как он, Йозеф, беззаветно преданный и послушный, шагает за примером своим, но остаётся всё тем же отроком, то стыдясь этого, то радуясь, а порой ощущая и нечто похожее на упрямое удовлетворение. Второе видение: сцена в музыкальном классе, когда Магистр подходит к мальчику, и всё повторяется раз, повторяется ещё и ещё, без конца: Магистр и мальчик идут друг за другом, словно движимые каким-то механизмом,

и порой уже нельзя разобрать, кто ведёт, а кто ведомый — старый или малый? То кажется, будто юноша отдаёт почести авторитету, старшему, подчиняется ему, а то, что это сам старец, служа и преклоняясь, шагает за спешащей чуть впереди фигурой юности, за самим началом, самой радостью. И в то время, как Йозеф следит за этим бессмысленно-осмысленным сном-круговоротом, он сам чувствует себя то этим стариком, то мальчиком, то почитателем, то почитаемым, то ведущим, то ведомым, и в этой зыбкой смене вдруг наступает миг, когда он вместе — и учитель и ученик, нет, он уже выше их обоих, это он руководит ими, это он всё придумал, это он, лицезрея, управляет этим круговоротом, безрезультатным состязанием в беге старости и юности, и то замедляет, то ускоряет его до бешеной гонки по своему усмотрению. Здесь вдруг возникает новое видение, более символ, нежели сон, больше осознание, нежели образ, видение, нет, именно осознание: этот бессмысленно-осмысленный бег по кругу учителя и ученика, это сватание мудрости за юность, юности за мудрость, эта бесконечная окрылённая игра есть не что иное, как символ Касталии, это игра самой жизни, которая в своей раздвоенности между старостью и юно-

стью, между ночью и днём, между Ян и Инь течёт и течёт, не зная конца. Отсюда, из мира образов, медитатор отыскал путь в мир покоя и вернулся из долгого самопогружения ободрённым и просветлённым.

Прошло несколько дней, и руководство Ордена вызвало Кнехта. С ясной душой он явился на зов и, сосредоточенно серьёзный, ответил на рукопожатие членов Верховной Коллегии, встретивших его чем-то похожим на братские объятия. Сообщив о назначении его Магистром Игры, ему приказали через два дня для принятия присяги посвящения в сан явиться в торжественный зал, тот самый, где так недавно заместитель покойного Магистра председательствовал на столь мучительном торжестве, походя на пышно украшенное жертвенное животное. По традиции день, оставшийся до посвящения, отводился точно предписанному и проводящемуся по строгому ритуалу изучению формулы присяги и «Малого устава Магистров», которое сопровождалось медитацией, непременно в присутствии и под руководством двух членов Верховной Коллегии, на сей раз это были канцлер Ордена и *Magister*

mathematicae.[61] В этот, такой напряжённый день, во время отдыха после трапезы Йозеф вспомнил, как его принимали в Орден и как его готовил к этому Магистр музыки. Но теперь ритуал приёма не вводил его, как ежегодно сотни других, через широкие ворота в лоно большой общины: теперь его пропускали через игольное ушко в самый узкий высший круг, круг Магистров. Позднее Кнехт признался престарелому Магистру музыки, что в те дни интенсивного самоиспытания ему не давала покоя одна мысль, одно вздорное маленькое наваждение: он страшился той минуты, когда кто-нибудь из Магистров намекнёт ему, сколь необычайно молодым он удостаивается высшего сана. Ему пришлось напрячь все силы, дабы справиться с этим страхом, с этой ребячливо-суетной мыслью, с не отступавшим от него желанием: в случае, если кто-нибудь намекнёт на его возраст, ответить: «Так дайте мне спокойно состариться — я этого повышения не добивался». Впрочем, дальнейший ход самоиспытания показал ему, что подсознательно он был не так уж далёк от мысли о подобном назначении и даже желал его. Признавшись себе в этом, он постиг и преодолел

---

[61] Примечания: [61]
Магистр математики (лат.).

суетность своей мысли, и на самом деле ни в тот памятный день, ни позднее никто из коллег не сказал ни слова о его возрасте.

Но тем оживлённее комментировалось и критиковалось избрание нового Магистра Игры в кругу, из которого вышел сам Кнехт. Подлинных противников у него не было, но имелись соперники, и среди них некоторые старше его годами; к тому же в том кругу никто не намеревался одобрить подобный выбор иначе как в результате определённой борьбы и испытаний или, по меньшей мере, после чрезвычайно пристального и придирчивого наблюдения. Вступление в должность и первое время в должности почти всегда означают для нового Магистра путь через чистилище.

Инвеститура Магистра не составляет общественного торжества, помимо Воспитательной Коллегии и руководства Ордена, на церемонии присутствуют только старшие ученики, кандидаты и все должностные лица той дисциплины, которая получает нового Магистра. Во время самого торжества в праздничном зале Магистр Игры приносит присягу, принимает знаки отличия своего сана (несколько ключей и печатей), затем глашатай Ордена надевает на него облачение

— особую праздничную ризу, в которой Магистру надлежит выступать в торжественных случаях, главным образом в дни ежегодной публичный Игры. В этом акте отсутствуют, правда, шум и лёгкое опьянение публичных празднеств, по своей природе он тяготеет к обрядовой строгости и сдержанности, зато наличие в полном составе членов двух высших Коллегий сообщает ему сверхобычное достоинство. Маленькая республика адептов Игры получает нового предстоятеля, который должен её возглавить и представлять в Верховной Коллегии, а это — редкое событие; быть может, школяры и младшие студенты не вполне осознают его важность и видят в нём лишь церемонию и радость для глаз, однако все остальные отлично понимают серьёзность этого акта, ибо достаточно вжились в свою общину и воспринимают всё, что происходит, как имеющее касательство непосредственно к ним. На этот раз торжество было омрачено не только смертью предыдущего Магистра, но и всем неудачным ходом ежегодной Игры, а также трагедией заместителя Магистра, Бертрама.

Посвящение нового Магистра совершили глашатай Ордена и старший Архивариус Игры, вместе они подняли праздничную ризу и

возложили её на плечи нового Магистра Игры. Краткую торжественную речь произнёс *Magister grammaticae,*[62] преподававший классическую филологию в Койпергейме, затем назначенный элитой представитель Вальдцеля передал Кнехту ключи и печати, а рядом с органистом все увидели седовласого Магистра музыки. Он прибыл к инвеституре, чтобы лицезреть посвящение своего любимца, и неожиданным своим появлением настроить его на радостный лад, а может быть, и дать ему тот или иной совет. Больше всего старцу хотелось самому сыграть торжественную мессу, но это было уже свыше его сил, и потому он уступил место за органом органисту Селения Игры, однако сам стоял позади и переворачивал ноты. С благоговейной улыбкой взирал он на Йозефа, видел, как тот принял облачение и ключи, как произнёс клятву, а затем обратился с небольшой речью к своим будущим сотрудникам, чиновникам и ученикам. Никогда ранее старец не испытывал такого чувства любви к этому мальчику Йозефу, никогда тот так его не радовал, как ныне, когда он почти и не Йозеф более, а только носитель облачения и сана, смарагд в короне,

[62] Примечания: [62]
Магистр грамматики (лат.).

столп в здании иерархии. Но с глазу на глаз ему удалось поговорить со своим Йозефом лишь несколько минут. Улыбнувшись своей светлой улыбкой, он поспешил внушить ему:

— Ближайшие две-три недели — самые ответственные, они потребуют от тебя огромных усилий, но тебе надо их преодолеть. Помни всегда о главном, упущенные частности сейчас не играют роли. Целиком посвяти себя элите, всё остальное отметай. Тебе пришлют двух помощников, на которых ты можешь опереться на первых порах; один из них — мастер йоги Александр, мне удалось побеседовать с ним, внимательно прислушивайся к его словам, он своё дело знает. Главное для тебя сейчас — несокрушимая уверенность в том, что Магистры поступили правильно, введя тебя в свой круг; доверься им, доверься людям, которых пришлют тебе в помощь, слепо уповай на собственные силы. К элите относись с весёлым, неизменно бдительным недоверием, она ничего другого и не ждёт от тебя. Ты победишь, Йозеф, я знаю это.

Большинство магистерских функций были хорошо знакомы Кнехту, не раз он прислуживал или ассистировал прежнему Магистру. Самой важной из них было руководство курсами Игры,

начиная от ученических и подготовительных, каникулярных и гостевых, вплоть до упражнений, лекций и семинаров для элиты. К этим обязанностям, за исключением названной последней, всякий новый Магистр вполне подготовлен, но имеются и другие, в которых у него обычно нет никакого опыта, и они-то должны доставить немало забот новичку. Так оно было и с Йозефом. Охотнее всего он приложил бы все свои силы к исполнению этих новых, собственно магистерских обязанностей: деятельности в Высшем Совете Воспитательной Коллегии, сотрудничеству совета Магистров с руководством Ордена, представительству Игры и *Vicus lusorum* в Верховной Коллегии. Он жаждал поскорее освоить все эти новые для него аспекты, лишив их таким образом грозной неизвестности, но более всего он хотел бы уединиться на несколько недель и посвятить себя тщательному изучению устава, всех формальностей, протоколов заседаний и тому подобного.

Он знал, что, кроме господина Дюбуа, для справок такого рода в его распоряжении находился также лучший знаток и учитель магистерских форм и традиций, глашатай Ордена, хотя сам и не Магистр, рангом ниже, однако председатель-

ствовавший на заседаниях Верховной Коллегии и строго следивший за соблюдением всех традиционных правил, подобно тому как это делает церемониймейстер при княжеском дворе. Как Йозефу хотелось бы попросить этого умного, опытного, непроницаемого в своей изысканной вежливости человека, из рук которого он только что принял облачение, позаниматься с ним, если бы тот жил в самом Вальдцеле, а не в Хирсланде, куда было всё же полдня пути! Как ему хотелось убежать хотя бы ненадолго в Монпор и просить старого Магистра музыки помочь ему усвоить все эти тонкости! Но об этом и думать было нечего: подобные личные, «студенческие» желания Магистру были не к лицу. Первое время Кнехту пришлось заняться именно теми делами, о которых он думал, что они не доставят ему никаких забот. Каждый шаг его нового трудового дня, каждая минута, посвящённая осознанию нового своего положения, доказывала ему: прежде всего удели внимание элите, репетиторам, высшим ступеням обучающихся, семинарским занятиям и личному общению с кандидатами. Это же подтверждал пример Бертрама, которого его родная община, элита, бросила на произвол судьбы на посту Магистра, и он боролся один, так сказать,

в безвоздушной пространстве, где и задохнулся. И слова старца, сказанные в день инвеституры, напоминали Йозефу о том же, как и собственные его догадки. Архив можно было предоставить Архивариусу, начальные курсы — начальным педагогам, корреспонденцию — секретарям, упущения тут не страшны. А вот элиту ни на миг нельзя было предоставить самой себе, он целиком должен был посвятить себя ей, навязать себя, сделать незаменимым, убедить её в ценности своих способностей, чистоте своих помыслов, должен был завоевать её, льстить ей и в конце концов одолеть, померившись силами с любым из кандидатов, выказавшим подобное желание, а недостатка в них не было. При этом многое из того, что он прежде считал помехой, а именно своё длительное отсутствие в Вальдцеле и отрыв от элиты, где он опять стал почти *homo novus,*[63] оказало ему немалую услугу. Даже его дружба с Тегуляриусом принесла пользу. Ведь Тегуляриус, этот болезненный и остроумный аутсайдер, вовсе лишённый честолюбия, так мало подходил для честолюбивой карьеры, что его возможное приближение к себе новым Магистром не ущемляло

---

[63] Примечания: [63]
Новый человек (лат.).

кого-либо из честолюбцев. И всё же основное и главное Кнехту надо было делать самому, дабы, изучив этот высший, самый живой, беспокойный и восприимчивый круг людей, проникнуть в него и обуздать, как наездник обуздывает норовистую лошадь благородных кровей. Ведь в каждом касталийском институте, не только в Игре, элита уже обученных, но ещё занятых свободными исследованиями и не состоящих на службе в Коллегии или Ордене кандидатов, именуемых также репетиторами, по сути являет собой драгоценный резерв, самый цвет, собственно, будущее; и повсюду, не только в Селении Игры, эти смелые представители будущей смены настроены по отношению к новым учителям и начальству весьма критически, встречают нового главу своего со сдержанной вежливостью, и подчинение их должно быть завоёвано личным примером и полной отдачей, их надо переубедить, прежде чем они его признают и добровольно подчинятся его руководству.

Кнехт принялся за эту задачу без страха, удивляясь, однако, трудности её, и покуда он её решал и выигрывал эту весьма для него напряжённую, выматывающую игру, все остальные обязанности и дела, от которых он скорее мог ожидать

многих хлопот, сами отступили на задний план, казалось, требовали от него покамест меньшего внимания. Одному из своих коллег он признался, что на первом пленарном заседании Верховной Коллегии, на которое он прибыл на курьерских и после которого отбыл тоже на курьерских, он присутствовал словно во сне и потом ни на одну минуту мысленно не возвращался к нему — так без остатка захватили его текущие дела. Даже во время самого заседания, хотя тема его интересовала и он с некоторой тревогой ожидал, как его примут Магистры, Кнехт несколько раз ловил себя на том, что мысли его не здесь, не среди равных ему коллег, и он не следит за выступлениями, но он в Вальдцеле, в аудитории Архива с выкрашенными в голубой цвет стенами, где он проводил теперь каждые три дня семинар диалектики всего с пятью слушателями и где каждый час требовал большего внимания и отдачи сил, чем весь последующий день; а ведь день этот был нелёгок, и от налагаемых им обязанностей некуда было скрыться, ибо к молодому Магистру, о чём его заранее предупредил старый Магистр музыки, был приставлен «подгоняла», проверявший его действия час за часом, то советуя, как распределить обязанности, то оберегая от односторонних увле-

чений и излишней траты сил. Кнехт испытывал чувство благодарности к этому человеку и ещё большее — к другому посланцу Ордена, именитому мастеру медитации. Звали его Александром, он заботился о том, чтобы занятый до предела Кнехт ежедневно трижды уделял время для «малых» или «кратких» упражнений в медитации, последовательность и длительность каждого из которых, рассчитанная до минуты, должны были соблюдаться со скрупулёзной точностью. С обоими, как с педелем, так и с «созерцателем» из Ордена, он перед вечерней медитацией обязан был подвести итог своего трудового дня, отмечая успехи и недочёты, «слушать свой собственный пульс» — как это называют инструкторы медитации, то есть проверять и измерять самого себя, своё положение и состояние, распределение сил, свои надежды и заботы, объективно оценивать весь свой день, не оставляя на следующий ничего не решённого.

И в то время как репетиторы, кто с симпатией, а кто с готовностью воспользоваться малейшим промахом, следили за титаническими усилиями своего Магистра, не упуская ни единой возможности учинить ему небольшой экзамен на терпение, сообразительность или силу ума, то подстёгивая,

то стараясь затормозить, — вокруг Тегуляриуса возникла роковая пустота.

Правда, он понимал, что Кнехт не имеет сейчас возможности уделить ему ни времени, ни внимания, подумать о нём или принять в нём участие, однако смириться с полным забвением, которому предал его Йозеф, он не мог, тем более, что, казалось, он не только с каждым днём всё больше теряет друга, но и товарищи уже косятся на него, почти с ним не заговаривают. И не удивительно: хотя Тегуляриус и не мог служить помехой честолюбцам, всё же он не был беспристрастен, и было известно, что он пользовался расположением молодого Магистра. Всё это Кнехт мог бы себе представить, и одна из его неотложных задач заключалась как раз в том, чтобы вместе со всем личным и частным отмести и эту свою дружбу, пусть только на время, но отмести. Сделал он это, как позже признался Тегуляриусу, вовсе не сознательно и не намеренно, он просто забыл о существовании друга, настолько превратившись в некое орудие, что столь приватные интересы, как дружба, стали для него немыслимыми, и если где-нибудь, скажем, в упомянутом семинаре, перед ним вдруг возникал облик Фрица, то это был для него уже не Тегуляриус, не друг и зна-

комый, не некая определённая личность, но это был член элиты, студент, вернее, кандидат или репетитор, некоторая часть его работы, его задачи, один из солдат того войска, обучить которое и победить вместе с которым было его целью. У Фрица холодок пробежал по спине, когда он впервые услышал этот новый голос Магистра, когда на него впервые упал этот взгляд, отчуждённый и предельно объективный, не наигранно, а подлинно объективный и страшный; когда он понял, что человек, обращавшийся с ним так деловито и вежливо, сохраняя при этом зоркую бдительность, — уже не друг его Йозеф, а только испытующий учитель, только строгий Магистр Игры, замкнувшийся в своей должности, словно в оболочке из сверкающей глазури, обожжённой и застывшей на нём. Между прочим, с Тегуляриусом в эти горячие дни произошёл следующий случай: измученный бессонницей и всем пережитым, он допустил на маленьком семинаре бестактность, небольшую вспышку, — нет, не по отношению к Магистру, а по отношению к одному из участников семинара, насмешливый тон которого вывел его из себя. Кнехт заметил это, заметил также нервозное состояние провинившегося, молча, одним движением руки, он

привёл его в чувство, а после окончания занятий прислал Тегуляриусу своего, инструктора по медитации, чтобы тот помог и несколько успокоил попавшего в трудное положение кандидата. После полного забвения, продолжавшегося многие недели, Тегуляриус воспринял подобную заботу как первый признак вновь пробуждающейся дружбы; он отнёсся к ней как к знаку внимания, проявленному к нему лично, и охотно предоставил себя в распоряжение врачующего. На самом же деле Кнехт почти не осознавал, о ком именно он проявил заботу, он поступил как Магистр и педагог: заметив у одного из репетиторов повышенную раздражительность, недостаток выдержки, он сразу же реагировал на это обстоятельство, ни на секунду не подумав о том, что за человек этот репетитор и какое он имеет отношение к нему лично. Когда, по прошествии нескольких месяцев, друг напомнил Магистру об этом случае, рассказав Кнехту, как он обрадовался тогда и как его утешил подобный знак благожелательности, Йозеф, решительно забывший о происшествии на семинаре, промолчал, так и не развеяв заблуждение Фрица.

Наконец-то цель была достигнута и битва выиграна, то был немалый труд — одолеть элиту,

замучить её муштрой, обуздать честолюбцев, привлечь к себе колеблющихся и понравиться высокомерным. Но теперь этот подвиг был совершён, кандидаты Селения Игры признали своего Магистра и сдались, внезапно всё пошло легко, как будто недоставало всего лишь одной капли масла. Педель разработал с Кнехтом последний план рабочего дня, выразил ему одобрение Верховной Коллегии и удалился. Примеру его последовал Александр. Вместо массажа, Кнехт снова стал по утрам совершать прогулки, о каких-нибудь занятиях или чтении покуда, разумеется, не могло быть и речи, но выпадали дни, когда по вечерам удавалось немного помузицировать. При следующем появлении в Верховной Коллегии Кнехт ясно почувствовал, хоть никто об этом и словом не обмолвился, что коллеги считают его выдержавшим экзамен, полной ровней себе. Выстояв в ожесточённой схватке, потребовавшей всех его сил, он вновь ощутил нечто похожее на пробуждение, что-то освежающее и остужающее, протрезвлению подобное, он вдруг понял, что достиг самого сердца Касталии, увидел себя на высшей ступени иерархии и с поразительным хладнокровием, почти разочарованием констатировал: и в этом весьма разреженном

воздухе можно дышать, хотя, конечно, сам он, вдыхающий его теперь так, будто и не знал никакого другого, совершенно преобразился. То был результат сурового испытания, словно бы выжегшего всё внутри — как не могло бы выжечь ничто иное, ни одна другая служба, ни одно другое напряжение.

Признание элитой своего повелителя на сей раз было выказано особым образом. Почувствовав прекращение отпора и рождение доверия и согласия, осознав, что самое тяжёлое позади, Кнехт счёл возможным приступить к избранию своей «тени». Да и впрямь в эти минуты, после только что одержанной победы, когда сверхчеловеческое напряжение внезапно отпустило его и он ощутил относительную свободу, он как никогда нуждался в подобном помощнике: немало людей споткнулись и упали именно на этом отрезке пути. Кнехт не воспользовался правом самому избрать себе «тень», а попросил репетиторов назначить ему заместителя. Всё ещё находясь под впечатлением судьбы, постигшей Бертрама, элита вполне серьёзно отнеслась к его предложению и лишь после многократных заседаний и тайного голосования представила Магистру одного из своих лучших людей, который до из-

брания Кнехта считался вероятным кандидатом на высшую должность.

Поистине, самое трудное было позади, Кнехт снова гулял, музицировал, со временем он соберётся и почитать, восстановится его дружба с Тегуляриусом, опять он станет переписываться с Ферромонте, возможно, выкроит свободные полдня, а то и небольшой отпуск для путешествия. И всё же эти радости достанутся кому-то другому, не прежнему Йозефу, считавшему себя прилежным адептом Игры и неплохим касталийцем, но даже не подозревавшему о внутренней сути касталийских порядков, жившему в таком эгоистическом неведений, в такой ребячливой беззаботности, всецело погружённому в своё личное, частное, свободному от всякой ответственности. Однажды он вспомнил предостерегающие и насмешливые слова Магистра Томаса, которые тот изрёк, когда Кнехт выразил желание посвятить себя ещё некоторое время свободным занятиям. «Некоторое время — а сколько это? Твоя речь — речь студента, Йозеф». Это было несколько лет назад. Глубоко почитая Магистра, он с большим удивлением выслушал тогда эти слова, и ему стало даже немного жутко от столь надличного совершенства, такого предельного самообуздания, и

он тогда же почувствовал, что Касталия хочет захватить и его, притянуть и его к себе и из него сделать такого вот Магистра Томаса, правителя и слугу в одном лице, некое наисовершеннейшее орудие. А теперь он, Кнехт, стоит там, где стоял тогда Магистр Томас, и, разговаривая с кем-нибудь из репетиторов, одним из этих умных, рафинированных адептов Игры и любителей приватных штудий, одним из этих прилежных и высокомерных принцев, видит в нём далёкий и прекрасный, совсем иной, удивительный и уже преодолённый им мир, совсем так как некогда Магистр Томас заглядывал в его удивительный студенческий мир.

В должности

Если само вступление в должность Магистра, казалось, принесло с собой больше убыли, чем прибыли, поглотив все силы, всю личную жизнь, заставив покончить с прежними привычками и любимыми занятиями, оставив в сердце холодную тишину, а в голове — лёгкое помрачение, то теперь пришло время осмыслить новые привычки и дать им утвердиться, да и себе позволить роздых, а затем приступить к новым наблюдениям, к новым свершениям. Самым крупным из них, после успешно выигранного сражения, оказалась дружеская, основанная на взаимном доверии работа с элитой. Беседуя со своей «тенью», трудясь вместе с Фрицем Тегуляриусом, на пробу взятым им в помощники для ведения корреспонденции, изучая, проверяя и дополняя отзывы об учениках и сотрудниках, оставленные его предшественником, Кнехт быстро сживался с элитой, которую, как ему прежде казалось, он уже знал досконально, но сама суть которой, равно как и своеобразие Селения Игры, и его роль в жизни Касталии во всей своей реальности открылись ему только теперь. Правда, он многие годы

был членом элиты, одним из репетиторов, жителем этого столь же аристократического, сколь и честолюбивого Селения в Вальдцеле и всецело ощущал себя его частицей. Однако теперь он был не просто одной из частиц, не просто жил в сердечной дружбе с этой маленькой общиной, теперь он чувствовал себя мозгом, сознанием и совестью её, не только переживая все её движения и судьбу, но и отвечая за неё, руководя ею. В торжественный час по случаю окончания курсов учителей для начинающих адептов Игры он выразил это следующими словами: «Касталия являет собой маленькое самодовлеющее государство, а наше Селение Игры — государство в этом государстве, маленькая, но древняя и гордая республика, равная своим сёстрам в достоинстве и правах, однако поднятая и возвеличенная в своём самосознании благодаря мусическому и в некотором смысле сакральному характеру своей функции. Ибо задача наша и в то же время высокое отличие — беречь и охранять святыню Касталии, единственную в своём роде тайну, единственный символ её — нашу Игру. Касталия воспитывает превосходных музыкантов, историков искусства, филологов, математиков и других учёных. Каждое касталийское учрежде-

ние, каждый касталиец должны знать только две цели, два идеала: в своей области достигать совершенного и сохранять живость и эластичность своей дисциплины, да и самого себя, благодаря постоянному сознанию её тесной, дружеской и сокровенной связи со всеми другими дисциплинами. Этот второй идеал — мысль о внутреннем единстве всех духовных усилий человека, мысль об универсальности — нашёл самое полное своё выражение в высочайшей нашей Игре. Быть может, для физика, историка музыки или для другого какого-нибудь учёного аскетическое отметание всего, что не относится к его специальности, отказ от мысли об универсальности на какое-то время и способствует быстрому достижению успеха в узких рамках одной дисциплины, но мы, адепты Игры, не имеем права устанавливать для себя подобные ограничения и предаваться самоуспокоенности, ибо наша задача — пестовать идею *universitas litterarum* и наивысшее её выражение — благородную Игру, спасти её от тенденции отдельных дисциплин к самоуспокоенности. Но разве мы можем спасти то, что само не желает быть спасённым? Разве мы можем заставить археолога, педагога, астронома и т.п. отказаться от самодовольной ограниченности

своей специальности и неустанно распахивать окна в другие дисциплины? Всякими предписаниями и преподаванием Игры как обязательной дисциплины в школах мы не добьёмся этого, не помогут и напоминания о том, какие цели преследовали наши предшественники этой Игрой. Необходимость нашей Игры, да и нас самих, мы можем доказать только в том случае, если будем поддерживать её на своём высоком уровне, чутко подхватывать каждый новый успех, каждое новое направление и научную проблему, если нашей универсальности, нашей благородной и вместе опасной игре с мыслью о единстве мы будем вновь и вновь придавать самый заманчивый, привлекательный и убедительный характер и будем играть в нашу Игру так, что и серьёзнейший исследователь, и прилежнейший специалист не смогут уклониться от её призыва, от её пленительного зова. Представим на минуту, что мы, адепты Игры, трудились бы с меньшим рвением, курсы Игры для начинающих стали бы скучными и поверхностными, в играх для продвинувшихся учёные специалисты уже не смогли бы обнаружить биения жизни, высокой духовной актуальности и интереса, две или три наши ежегодные Игры подряд гостям показались

бы старомодной, безжизненной церемонией, пустым пережитком прошлого — много ли понадобилось бы времени, чтобы Игра, а вместе с нею и мы, погибли? И сейчас уже наша Игра в бисер не на той блистательной вершине, на какой она находилась поколение тому назад, когда наше ежегодное торжество длилось не одну или две, а три и даже четыре недели и было главным событием года не только для Касталии, но и для всей страны. Правда, и ныне наш праздник время от времени посещают представители правительства, но как правило — это скучающие гости. Присылают своих посланцев и некоторые города и сословия, но по окончании торжественного акта эти представители мирских властей уже не раз вежливо давали нам понять, что длительность празднества не позволяет многим городам послать своих послов, и не пора ли значительно сократить торжество, или же в будущем назначать его только раз в два или три года? Что ж, такой ход вещей, вернее, такой упадок мы не в силах остановить. И вполне возможно, что очень скоро там, за пределами Касталии, никто уже не будет понимать нашей Игры, а ежегодное торжество наше будет отмечаться раз в пять или десять лет, а то и вовсе никто не вспомнит о нём. Но че-

му мы в состоянии и обязаны воспрепятствовать — так это дискредитации и обесцениванию Игры на её родине, в нашей Педагогической провинции. Здесь борьба наша имеет смысл и приводит всё к новым и новым победам. Каждый день мы видим, как юные ученики элиты, прежде без особого энтузиазма ходатайствовавшие о приёме на курсы Игры и закончившие их вполне прилично, однако без должного вдохновения, внезапно бывают захвачены самим духом Игры, её интеллектуальными возможностями, её благородными традициями, её потрясающей душу силой и становятся страстными нашими поборниками и приверженцами. Во время Ludus sollemnis мы видим у себя именитых учёных, которые, как нам известно, в течение всего года погружены в труды и заботы и смотрят на нас, адептов Игры, свысока, посылая нашему институту далеко не лучшие пожелания, но торжественный праздник наш, волшебство нашего искусства приносят им душевное облегчение, даруют новую молодость, возвышают их; укрепив свой дух, взволнованные и окрылённые в сердце своём, они покидают нас со словами почти пристыженной благодарности. Присмотримся на минуту и к средствам, имеющимся в нашем распоряжении, к мы увидим

прежде всего богатейший и отличнейший аппарат, средоточием и сердцем которого является Архив Игры; последний благодарно используется нами всеми чуть ли не ежечасно, и мы, от Магистра и Архивариуса до последнего помощника, обязаны служить ему. Самое же дорогое и самое животворное, что у нас есть, — это исконный касталийский принцип отбора наилучших — элиты. Школы Касталии отбирают лучших учеников по всей стране и воспитывают их. И в Селении Игры мы также стремимся отобрать наилучших из способных к Игре, привязать их к себе и обучить с предельным совершенством. Наши курсы и семинары начинают посещать сотни учащихся, и многие расстаются с ними, не доучившись, но из лучших мы готовим подлинных адептов, мастеров своего дела; и каждый из вас знает, что в нашем искусстве, как и во всяком другом, нет предела для роста и что каждый из нас, войдя однажды в элиту, всю жизнь будет трудиться над дальнейшим развитием, совершенствованием, углублением себя самого и нашего искусства, не считаясь с тем, входит он в состав нашего аппарата должностных лиц или нет. Частенько мы слышим голоса, утверждающие, будто элита — роскошь, а посему, мол, не

следует воспитывать большее число элитных мастеров, чем нужно для замещения должностей. На это заметим, что наши должностные лица существуют не ради самих себя, и далеко не всякий может быть чиновником, как, например, далеко не всякий хороший филолог может быть хорошим педагогом. Во всяком случае, мы, должностные лица, знаем и чувствуем очень хорошо, что репетиторы не просто наш резерв одарённых и опытных игроков, из числа которых мы пополняем свои ряды и получаем своих преемников. Я бы даже сказал, что это — побочная функция нашей элиты, хотя перед людьми несведущими мы эту функцию подчёркиваем, коль скоро речь заходит о смысле и праве на существование всего нашего института. Нет, мы вовсе не смотрим на репетиторов только как на будущих Магистров, руководителей курсов, служителей Архива, — они есть самоцель, их небольшой отряд и есть подлинная родина и будущность Игры; именно в них, в этих нескольких десятках голов и сердец, проигрываются ходы, варианты, взлёты Игры и её диалоги с духом времени и обособившимися науками. Только здесь наша Игра играется полноценно и правильно, с полной отдачей сил, только здесь, в нашей элите, она самоцель и

священное служение, только здесь она свободна от дилетантства, от учёного верхоглядства, от важничанья, а равно и от суеверия. Вам, вальдцельским репетиторам, вверено будущее нашей Игры. И если она — сердце, сокровеннейшая суть Касталии, то вы — самое сокровенное и живое в нашем Селении Игры, вы — соль Педагогической провинции, её дух и её вечная тревога. Не приходится опасаться, что число ваше будет чрезмерно велико, ваше рвение чрезмерно сильно, а страсть к великолепной Игре чересчур горяча; множьте их, нагнетайте их! Как для вас, так и для всех касталийцев существует по сути лишь одна-единственная опасность, перед которой мы все ежедневно, ежечасно должны быть начеку. Идея нашей Провинции и нашего Ордена зиждется на двух принципах: на объективности, правдолюбии в изысканиях и на пестовании медитативной мудрости и гармонии. Держать оба принципа в равновесии означает для нас быть мудрыми и достойными нашего Ордена. Мы любим науки, каждый свою, и всё же знаем, что преданность науке не всегда способна уберечь человека от корысти, порочности и суеты, история знает немало тому примеров, и образ доктора Фауста не что иное, как литературная популяри-

зация указанной опасности. В иные века искали спасения в слиянии интеллекта и религии, исследования и аскезы, их *universitas litterarum* управлялась теологией. Для нас медитация, многосложная йогическая практика есть то орудие, посредством которого мы стремимся заклясть зверя в нас самих и притаившегося в каждой науке дьявола. Но вы не хуже моего знаете, что и наша Игра имеет своего дьявола и что он способен толкнуть нас к бездушной виртуозности, к самодовольству, к артистическому тщеславию, к честолюбию, к стремлению захватить власть над другими и тем самым к злоупотреблению этой властью. Вот почему мы нуждаемся ещё и в другом воспитании, помимо интеллектуального, вот почему мы подчинили себя морали Ордена; вовсе не ради того, чтобы нашу активную духовную жизнь превратить в мечтательную, душевно вегетативную, напротив, чтобы сохранить способность к высшим духовным взлётам. Нам не следует стремиться к бегству из *vita activa* в *vita contemplativa,*[64] но мы должны пребывать в бесконечных странствиях между ними и чувствовать себя дома одновременно и тут и там,

[64] Примечания: [64]
Созерцательная жизнь (лат.).

должны жить в каждой из них».

Мы привели здесь слова Кнехта, записанные и сохранённые его учениками, ибо слова эти необыкновенно ярко выражают его взгляды на свою службу, во всяком случае в первые годы его магистерства. О выдающихся педагогических способностях Кнехта, которым он вначале сам поражался, говорит, между прочим, большое число дошедших до нас записей его лекций и выступлений. Высокий пост принёс ему неожиданное и большое открытие: учить было чрезвычайно легко и доставляло ему огромную радость. Поистине это было неожиданно, до сих пор он никогда не мечтал о педагогическом поприще. Впрочем, как всем членам элиты, и ему в последние годы студенчества поручали чтение лекций; замещая кого-нибудь, он вёл курсы Игры различных ступеней, чаще, правда, он играл для участников подобных курсов роль ассистента, но в ту пору свобода изысканий и предельная сосредоточенность на предмете его занятий были ему столь дороги и важны, что он, хотя и тогда уже был хорошим и любимым педагогом, смотрел на подобные поручения скорее как на нежелательную помеху. И наконец, в бенедиктинской обители он тоже вёл курсы, имевшие, правда, сами по себе малое

значение и ещё меньшее для него самого: учение у отца Иакова, знакомство с ним оттеснили тогда всё остальное. Больше всего ему хотелось в то время быть хорошим учеником, воспринимать и впитывать в себя всё преподносимое ему. Теперь же ученик сам превратился в учителя и, как таковой, справился с огромной задачей, вставшей перед ним сразу же после вступления на высокий пост: в борьбе за свой авторитет, за тождество личности и должности он победил.

При этом он сделал два открытия: он открыл для себя радость передавать другому интеллекту накопленные духовные богатства и при этом видеть, как последние преобразуются там в совершенно новые формы и излучения, то есть радость учить; и затем он открыл борьбу с неподатливой индивидуальностью студента или школьника, завоевание и сохранение авторитета и духовного руководства, то есть радость воспитывать. Он никогда не отделял одно от другого, и за всё время своего магистерства не только подготовил большое число хороших и превосходных адептов Игры, но и личным примером, призывом, строгим своим долготерпением, обаянием своим и силой характера выявил в большей части своих учеников и развил то лучшее, на что они бывали

способны.

Позволив себе забежать вперёд, мы сообщим о приобретённом им при этом весьма характерном опыте.

Вначале он имел дело только с элитой, так сказать, верхним слоем своих учеников, со студентами и репетиторами, порой одного с ним возраста, и весьма искусными адептами Игры. Завоевав элиту, он осторожно и очень постепенно, от года к году, стал всё меньше и меньше уделять ей времени и сил, покамест, в конце концов, ему не удалось почти целиком препоручить её своим доверенным сотрудникам. Процесс этот длился годы, и от года к году Кнехт переходил со своими лекциями, курсами и упражнениями ко всё более юным слоям учеников, и под конец он — что является чрезвычайной редкостью для Магистра Игры — стал вести начальные курсы для самых молодых, то есть для школяров, ещё не студентов. При этом он обнаружил, что чем моложе и менее подготовленные попадались ему ученики, тем большую радость доставляло ему их обучение. Переход от этих младших и самых молодых к студентам, или даже к элите, бывал ему неприятен и стоил немалых усилий. Порой он испытывал желание возвратиться

ещё дальше и попытать свои силы в среде ещё более юных, тех, кто не знал ни курсов, ни Игры; ему хотелось бы, например, в Эшгольце или в какой-нибудь другой из подготовительных школ преподавать маленьким мальчикам латынь, пение или алгебру, а ведь там царила куда менее интеллектуальная атмосфера, чем даже на начальных курсах Игры. Зато там имел бы дело с ещё более податливыми к обучению, ещё более восприимчивыми к воспитанию учениками, и преподавание и воспитание составляли бы там ещё более неразрывное целое.

В последние два года своего магистерства он в письмах дважды называет себя «школьным учителем», как бы напоминая о том, что выражение «*Magister Ludi*», которое в ряде поколений означало в Касталии только «Магистр Игры», первоначально было попросту предикатом идеального учителя.

Об исполнении этих желаний, разумеется, не могло быть и речи, — то были мечты, подобно тому как человек в ненастный зимний день мечтает о голубом летнем небе. Для Кнехта были уже закрыты все пути, обязанности его определялись должностью, но поскольку должность в большой мере оставляла на его усмотрение, каким обра-

зом он намерен выполнять свои обязательства, то с течением лет — вначале он, пожалуй, не осознавал этого — его интерес постепенно всё более устремлялся к воспитанию самых молодых из доступных ему возрастов. Чем старше он становился, тем сильней привлекала его к себе молодёжь. По крайней мере, мы можем констатировать это сегодня. В то же время критическому наблюдателю стоило бы большого труда обнаружить в ведении магистерских дел что-либо от дилетантизма и произвола. К тому же сама должность вновь и вновь заставляла Магистра возвращаться к элите, даже в периоды, когда он полностью предоставлял ведение семинаров и Архива своим помощникам и «тени»; такие дела, как, например, ежегодные состязания и подготовка большой публичной Игры, всегда заставляли его поддерживать живую и повседневную связь с элитой. Шутя, он как-то сказал своему другу Фрицу: «История знавала государей, всю свою жизнь страдавших от неразделеиной любви к своим подданным. Душа их рвалась к землепашцам, пастухам, ремесленникам, учителям и ученикам, но как редко они видели их, вечно вокруг вертелись министры, военные, словно стеной отделяя их от народа. Так и Магистр: он рвётся к людям, а

видит только коллег, ему хочется посидеть с учениками и детьми, а видит он учёных и элиту».

Однако мы и впрямь чересчур забежали вперёд, а потому вернёмся к первому году магистерства Кнехта. После установления желаемых отношений с элитой ему, как доброму и всё же зоркому хозяину, следовало заручиться поддержкой служителей Архива, уделить внимание канцелярии, определить её место в общей структуре: к тому же непрерывно поступала обширнейшая корреспонденция, а заседания и циркуляры Верховной Коллегии постоянно призывали его к решению всё новых задач и выполнению всё новых обязанностей, понимание и правильное определение очерёдности которых требовало от новичка немалых усилий. Причём нередко заниматься приходилось вопросами, в решении которых были заинтересованы самые разные факультеты Педагогической провинции, склонные и завидовать друг другу, например, вопросами компетенции; и только постепенно, со всё возраставшим восхищением, он познавал таинственную и могучую силу Ордена — этой живой души касталийского государства и бдительного стража его конституции.

Так шли месяцы, полные трудов, и в мыслях

Кнехта ни разу не нашлось места для Тегулярируса, разве что почти неосознанно он поручал ему какую-нибудь работу, чтобы спасти от чрезмерного досуга. Фриц утратил товарища, ибо тот поднялся на недосягаемую высоту, стал начальником, к которому как к частному лицу он уже не имел доступа, по отношению к которому надо было проявлять послушание, надлежало обращаться на «вы» и «Досточтимый». Однако все поручения Магистра он воспринимал как особую заботу и знак личного внимания. Этот капризный одиночка, отчасти благодаря возвышению друга и крайне приподнятому настроению всей элиты, а отчасти из-за этих поручений заразился общим возбуждением и почувствовал, в той мере, в какой это было в его силах, необыкновенный прилив энергии; во всяком случае, он переносил изменившееся положение лучше, чем сам ожидал в тот миг, когда Кнехт в ответ на известие о его назначении отослал его прочь. К тому же у Фрица достало ума и сочувствия, чтобы понять или хотя бы догадаться, сколь невероятно было напряжение, сколь велико испытание, выпавшее на долю друга. Он видел, что тот словно объят пламенем, выгорает изнутри, и ощущал это и переживал острей, чем сам испытуемый. Не жалея

сил, Тегуляриус выполнял все задания Магистра, и если он когда-нибудь всерьёз и сожалел о своей собственной немощи и своей непригодности к ответственному служению, если ощущал это как недостаток, то именно теперь, когда так жаждал послужить обожаемому другу и быть ему полезным как помощник, как должностное лицо, как «тень».

Буковые леса над Вальдцелем уже начали желтеть, когда однажды, захватив с собой небольшую книжицу, Кнехт вышел в магистерский сад рядом со своим жилищем, в тот хорошенький садик, который покойный Магистр Томас так любил и, подобно Горацию, собственноручно возделывал, тот садик, который некогда, как священное место отдыха и самоуглубления Магистра, представлялся Кнехту и прочим школярам и студентам неким зачарованным островом муз, неким Тускулом[65], и где он теперь, с тех пор как сам стал Магистром и хозяином сада, так редко бывал и едва ли хоть раз насладился им в час досуга. И

[65] Примечания: [65]

Тускул — город в античной Италии (в Лациуме), в окрестностях которого была расположена вилла Цицерона, служившая знаменитому оратору местом учёных занятий. На этой вилле происходит действие «Тускуланских бесед» — философско-моралистического диалога Цицерона, трактующего о мудро-уравновешенном отношении к жизни и смерти.

вот он вышел всего на четверть часа после трапезы, разрешив себе беззаботно пройтись меж кустов и клумб, где его предшественник посадил несколько вечнозелёных южных растений. Затем он перенёс плетёное кресло на солнышко — в тени становилось прохладно, — опустился на него и раскрыл захваченную с собой книжку. То был «Карманный календарь Магистра Игры», составленный семь или восемь десятилетий тому назад тогдашним Магистром, Людвигом Вассермалером, и с тех пор вручаемый всем преемникам с соответствующими дополнениями, исправлениями и сокращениями. Этот календарь был задуман как *vademecum*[66] для Магистров, особенно для неопытных, являясь в первые годы службы наставником от недели к неделе, через весь заполненный трудами год, порой намёком, а порой и более подробно советуя, что и как делать. Кнехт отыскал страницу текущей недели и внимательно прочёл её. Не обнаружив ничего неожиданного или особенно срочного, он в самом низу натолкнулся на приписку: «Постепенно начинай сосредоточивать свои мысли на ежегодной Игре. Тебе покажется, что ещё рано,

[66] Примечания: [66]
Руководство, настольная книга (лат.).

чересчур рано, и всё же я советую, если нет у тебя в голове готового плана, пусть с этого дня не минует ни одной недели или хотя бы месяца, чтобы ты не подумал о публичной Игре. Записывай свои намётки, используй каждые свободные полчаса, чтобы проглядеть схему какой-нибудь классической партии, не забудь прихватить её с собой и в служебные поездки. Готовься, но не стремись насильственно выжать из себя удачную мысль. Почаще размышляй об ожидающей тебя прекрасной и праздничной задаче, ради которой ты должен собрать все свои силы и соответственно себя надстроить».

Слова эти написал примерно три поколения тому назад старый и мудрый человек, мастер своего дела, между прочим, в то время, когда Игра формально достигла своей вершины и в каждой партии можно было обнаружить множество украшений, а в исполнении — богатство орнамента, подобно тому как мы это наблюдаем, например, во времена поздней готики или рококо в архитектуре и декоративном искусстве; и именно тогда, примерно в течение двух десятилетий, в Игре появилось что-то бисерное, что-то от ненастоящего блеска стеклянных бус, какая-то бедность смыслом и пустозвонство, казалось, это всего

лишь озорная, кокетливая игра причудливыми завитушками, как бы пританцовывающее, чуть ли не эквилибристическое парение самого разнообразного и утончённого ритмического рисунка. Встречались адепты Игры, рассуждавшие о стиле того времени как о давно утраченном волшебном ключе, но встречались и иные, воспринимавшие его как чисто внешний, перегруженный изысками, декадентский и немужественный стиль. Один из создателей и мастеров тогдашнего стиля и составил магистерский календарь-памятку, полный столь доброжелательных и отлично продуманных советов и напоминаний; и покамест Йозеф Кнехт пытливо читал и перечитывал календарь, в груди его родилось что-то светлое и радостное, возникло настроение, посетившее его прежде, как он думал, всего однажды, и он вспомнил, что это было во время той медитации перед самой инвеститурой, когда он представил себе чудесный хоровод Магистра музыки и Йозефа, мастера и ученика, старости и юности. Должно быть, пожилой, даже очень старый человек когда-то придумал и записал эти слова: «Пусть не минует ни одной недели…» и «не стремись насильственно выжать из себя удачную мысль». Вероятно, этот человек лет двадцать, а то и более,

занимал высокий пост Магистра, несомненно, в ту охочую до Игры эпоху рококо он сражался с весьма избалованной и самоуверенной элитой и сам создал более двадцати блестящих ежегодных Игр, длившихся тогда по четыре недели, и сам руководил ими; человек очень старый, для которого ежегодная обязанность создавать большую торжественную Игру давно уже не означала высокой чести и радости, а скорее бремя, великий труд, задачу, для выполнения которой надо было настроить себя, убедить, как-то стимулировать. По отношению к этому мудрому старцу и опытному советчику Кнехт испытывал не только признательность и уважение — ведь календарь не раз служил ему хорошую службу, — но и нечто похожее на радостное, весёлое, даже немного озорное чувство превосходства, превосходства молодости. Ибо среди многочисленных забот Магистра Игры, с которыми он так недавно познакомился, этой одной он не знал: как бы не забыть, как бы вовремя вспомнить о ежегодной Игре, и он не ведал также, что за эту задачу можно приняться без должной собранности и радости, что у тебя может не хватить предприимчивости или, того хуже, выдумки. Кнехт, который казался себе в последние месяцы довольно старым, в эту минуту

ощутил себя сильным и молодым. У него не было возможности долго отдаваться этому прекрасному чувству, он не мог насладиться им до конца — четверть часа, отведённые для отдыха, почти истекли. Но светлое, радостное чувство это не покинуло его сразу: краткий отдых в магистерском саду, перелистывание календаря-памятки всё же чем-то обогатили его. Он почувствовал не только разрядку и минутное, радостное ощущение полноты жизни, его осенили две мысли, которые тут же приняли форму решений. Первое; когда он состарится и устанет, он сложит с себя высокие обязанности в тот самый час, как только в композиции ежегодной Игры увидит докучливую обязанность и не будет знать, что для неё придумать. Второе: он решил, не откладывая, начать подготовку к своей первой ежегодной Игре, взяв себе в товарищи и помощники Тегуляриуса, — это будет приятно и радостно другу, да и для него самого послужит своеобразным трамплином, который даст ему возможность вдохнуть новую жизнь в парализованную дружбу. Ждать какого-то толчка идя довода от другого — нельзя, инициатива должна исходить от него, Магистра.

А для друга тут найдётся немало работы! Ещё со времён Мариафельса Кнехт носился с мыслью об

одной Игре, которую он и решил теперь использовать для своего первого ежегодного торжества. В основу структуры и измерений этой Игры — и в этом заключалась его счастливая находка — он хотел положить старинную конфуцианскую ритуальную схему китайского дворика, ориентированного по странам света, с его воротами, стеной духов, соотношением и назначение хозяйственных и жилых построек, подчинённостью их созвездиям, календарю, семейной жизни, с его символикой и правилами закладки сада.

Когда-то давно, во время изучения комментариев к «И-Цзин», мифический порядок и значение этих правил представлялись ему как особенно привлекательное и милое его сердцу подобие космоса и места, занимаемого человеком в мироздании; он нашёл также, что древнейший народный дух в этом традиционном расположении удивительно гармонично сочетается с духом спекулятивно-учёным, духом мандаринов и магистров. Он уже давно и с любовью, правда, не делая никаких записей, лелеял этот план, и в голове у него он сложился окончательно; лишь вступление на высокий пост помешало Кнехту продолжить его разработку. Сейчас, в эту минуту, он принял решение построить свою ежегодную

Игру по этой идее китайцев, а Фрицу, если он окажется в состоянии проникнуться духом его замысла, он сейчас же поручит подготовку общей композиции и перевода её на язык Игры. Но тут сразу же возникло препятствие: Тегуляриус не знал китайского языка. Выучить его в такой короткий срок было невозможно. Впрочем, если Тегуляриус будет строго придерживаться указаний Магистра и Восточноазиатского института, то, привлекши ещё и литературу, он сможет проникнуть в магическую символику китайского двора — дело ведь не в филологии.

Фрицу понадобится для этого немало времени, особенно потому, что он — человек избалованный, не способен трудиться каждый день. Необходимо немедленно дать всему ход. Приятно поражённый, Кнехт улыбнулся: а ведь и впрямь этот столь осторожный старый человек, сочинивший календарь-памятку, оказался прав со своим напоминанием.

Уже на следующий день — приёмный час закончился ранее обычного — Кнехт вызвал Тегуляриуса. Тот явился, отвесил поклон с несколько подчёркнутым смирением, принятым им теперь в обращении с Кнехтом, и был немало удивлён, когда обычно столь скупой на слова Кнехт, лука-

во кивнув ему, спросил:

— Ты помнишь, как мы с тобой ещё в студенческие годы словно бы поспорили и мне так и не удалось склонить тебя на свою сторону? Спор шёл о ценности и значении Восточноазиатского института, особенно об изучении китайского, и я всё старался убедить тебя тоже заниматься в этом институте и изучить китайский язык. Ну вот, вспомнил! А теперь меня берет досада, что я не смог убедить тебя тогда. Как было бы хорошо, если бы ты знал китайский! Мы бы с тобой славно поработали.

Он ещё некоторое время поддразнивал друга, доведя его любопытство до предела, и лишь после этого высказал своё предложение: он-де намерен в самом ближайшем будущем начать разработку плана ежегодной Игры, и если Фрицу это доставит удовольствие, он просит его взять на себя основной труд, как когда-то он перед состязанием выполнил основную работу для другой Игры, — Кнехт в ту пору гостил у бенедиктинцев. Фриц взглянул на него с недоверием, поражённый до глубины души; он был взволнован уже одним ласковым дружеским тоном и улыбающимся лицом Йозефа, который в последние месяцы являлся ему только повелителем и Магистром.

Растроганный, обрадованный, принял он предложение Кнехта, и не только как честь и выражение доверия, — он понял и оценил всё значение этого благородного жеста: то была попытка воскресить дружбу, раскрыть захлопнувшиеся было двери. Тегуляриус отмёл сомнения Кнехта относительно китайского языка и тут же попросил Досточтимого полностью располагать им.

— Отлично, — резюмировал Магистр. — Рад твоему согласию. Итак, в определённые часы мы с тобой снова будем товарищами по работе и по занятиям, как в те, столь далёкие теперь времена, когда мы сиживали вместе не за одной партией, и не только разрабатывали, но и боролись за наши игры. Меня это радует, Фриц. А теперь ты должен прежде всего освоиться с самой идеей, на которой я намерен построить игру. Тебе необходимо представить себе, что такое китайский дом и каковы правила, соблюдаемые при его постройке. Я немедленно дам тебе рекомендации в Восточноазиатский институт, где, уверен, тебе окажут помощь. Нет, постой, мне пришло на ум кое-что получше: попытаем счастья со Старшим Братом, отшельником из Бамбуковой рощи, о котором я тебе когда-то так много рассказывал. Быть может, он сочтёт унижением своего достоинства или

нежелательной помехой вступать в общение с лицом, не знающим китайского, но попытаться всё-таки следует. Если он захочет, то способен и из тебя сделать настоящего китайца.

Очень скоро после этого разговора Старшему Брату было отправлено письмо с приглашением прибыть в Вальдцель в качестве гостя Магистра Игры, где ему и будет сообщено, в чём заключается обращённая к нему просьба. Но китаец так и не покинул Бамбуковой рощи. Курьер привёз от него письмо, написанное тушью по-китайски. В нём значилось: «Почётно лицезреть великого человека. Однако путешествие ведёт к препятствиям. Для жертвоприношения берут два сосуда. Возвышенного приветствует младший». Это заставило Кнехта, между прочим, не без труда, побудить Фрица поехать самому в Бамбуковую рощу, дабы испросить приёма и наставлений. Но небольшое путешествие это оказалось безрезультатным. Отшельник принял Тегуляриуса в роще с чуть ли не подобострастной вежливостью, но на все вопросы отвечал дружелюбными сентенциями на китайском языке и, несмотря на рекомендательное письмо Магистра Игры, написанное на превосходной рисовой бумаге, не пригласил прибывшего даже зайти. Расстроенный, так ничего и

не добившись, Тегуляриус вернулся в Вальдцель, привезя с собой в качестве дара Магистру листок, на котором была нарисована золотая рыбка, а над ней — древнее китайское изречение. Пришлось Фрицу отправиться в Восточноазиатский институт и уже в нём попытать счастья. Здесь рекомендации Кнехта возымели большее действие: посланцу Магистра Игры оказали всяческую помощь, и вскоре он собрал всё, что только можно собрать для такой темы, не зная языка. При этом он сам увлёкся идеей Кнехта положить в основу Игры символику китайского дворика, примирился со своей неудачей в Бамбуковой роще и забыл о ней.

Когда Кнехт выслушал отчёт о безрезультатной поездке к Старшему Брату, а затем, оставшись один, взглянул на речение и золотую рыбку, его охватили воспоминания об атмосфере, окружавшей этого удивительного отшельника, о том, как сам он, Кнехт, гостил в хижине, вокруг которой всегда шелестели листья бамбука и постукивали стебли тысячелистника, вспомнил он и свою былую свободу, досуг студенческих лет — весь радужный рай юношеских мечтаний. Как хорошо сумел этот отважный и чудаковатый анахорет удалиться от мира и уберечь свою свободу, как

надёжно укрывала от всей вселенной тихая бамбуковая роща, как глубоко и крепко вжился он в эту ставшую для него второй натурой опрятную, педантичную и мудрую китайщину, как крепко замыкало его год за годом, десятилетие за десятилетием, в своём магическом кругу, сновидение его жизни, превратив его сад в Китай, его хижину — в храм, его рыбок — в божества и его самого — в мудреца! С глубоким вздохом Кнехт оторвался от этих размышлений. Сам он шёл или был ведом другим путём, и теперь задача заключалась в том, чтобы пройти этот предначертанный ему путь, не заглядываясь на другой и не сворачивая в сторону.

Вместе с Тегуляриусом он составил план и во время нескольких, с трудом вырванных часов сочинил свою Игру, передав всю работу по сбору материалов в Архиве и записи двух первых вариантов другу Фрицу. Новое содержание придало их дружбе новую жизнь, новые формы, да и сама Игра, над составлением которой они трудились, во многом обрела иные черты, обогатившись, благодаря своеобразию и изощрённой фантазии Тегуляриуса. Фриц принадлежал к вечно неудовлетворённым и вместе довольствующимся скромными результатами людям, которым свой-

ственно без конца поправлять всеми одобренный букет или накрытый стол, из малейшего пустяка делать целую проблему, труд на весь день.

И в последующие годы Кнехт решил уже не менять раз установившегося обычая: большая ежегодная Игра должна быть делом двоих. Тегуляриусу это приносило двойное удовлетворение: для друга и Магистра он оказался полезным и даже незаменимым в столь важном деле, само же торжество он отпразднует хотя к не названным, однако элите хорошо известным соавтором ежегодной Игры.

Поздней осенью первого года службы, когда друг его ещё был погружён в занятия китайским, Магистр в один прекрасный день, пробегая записи в дневнике канцелярии, наткнулся на следующую: «Прибыл студент Пётр из Монпора, рекомендован *Magister musicae,* передал приветствие от бывшего Магистра музыки, просит предоставить ему кров и ночлег и допустить к работе в Архиве. Помещён в гостевом флигеле для студентов». Что ж, студента вместе с его ходатайством он мог спокойно предоставить людям из Архива, это было обычным делом. Но вот «приветствие отбывшего Магистра музыки» — это уже касалось лично его. Кнехт попросил

вызвать студента. Тот оказался молчаливым молодым человеком, вместе мечтательного и пылкого вида, явно одним из монпорской элиты, во всяком случае аудиенция, предоставленная Магистром, была для него не в диковинку. Кнехт спросил, что студент имеет передать от старого Магистра музыки.

— Приветствия, — ответил студент, — самые сердечные и почтительные приветствия, Досточтимый, а также приглашение. Кнехт попросил гостя сесть. Тщательно выбирая слова, юноша продолжал: — Как я уже говорил, глубокочтимый Магистр поручил мне, если к тому представится случай, приветствовать вас. Он просил также дать вам понять, что в самое ближайшее время и как можно скорее он хотел бы видеть вас у себя. Он приглашает вас или, во всяком случае, хотел бы, чтобы вы посетили его в самое ближайшее время, разумеется, если вы сможете это соединить со служебной поездкой и вас это не слишком затруднит. Таково, примерно, его поручение.

Кнехт испытующе взглянул на молодого человека. Да, вероятно, он один из подопечных старца.

— Как долго намерен ты задержаться в нашем

Архиве, *studiose*[67]? — осторожно спросил он.

— Ровно столько, досточтимый, — услышал он в ответ, — сколько вам понадобится для подготовки вашей поездки в Монпор.

Кнехт задумался.

— Хорошо, — заметил он наконец, — но скажи, почему то, что ты мне передал от имени старого Магистра, ты передал своими словами, а не дословно, как того следовало ожидать?

Пётр не отвёл глаз, медленно, тщательно подбирая слова, как будто говоря на чужом языке, он ответил:

— Поручения мне не давали, Досточтимый, а потому я не мог передать его дословно. Вы знаете моего глубокоуважаемого наставника, и вам должно быть известно, что он человек чрезвычайно скромный; в Монпоре о нём говорят, будто в молодости, когда он был ещё репетитором, но среди элиты уже слыл будущим Магистром музыки, студенты прозвали его «Великим смиренником». И вот эта его скромность, сочетающаяся с готовностью к служению, деликатностью и терпением, после достижения преклонных лет и особенно после того, как он ушёл в отставку,

---

[67] Примечания: [67]
Студент (лат.).

ещё более возросла, вы это, конечно, знаете не хуже меня. Подобная скромность никогда бы не позволила ему просить вас о визите, сколь горячо ни было бы его желание. Вот почему, *domine,* я не удостоился чести передать такое поручение и всё же поступил так, как будто мне это было поручено. Если это ошибка, то в вашей власти рассматривать несуществовавшее приглашение как несуществующее.

Кнехт чуть улыбнулся.

— Ну, а твои занятия в Архиве Игры, любезнейший? Или это был только предлог?

— О нет! Мне необходимо законспектировать несколько ходов, так что в самом ближайшем времени мне всё равно пришлось бы воспользоваться вашим гостеприимством. Но мне показалось правильным несколько ускорить это маленькое путешествие.

— Отлично, — согласился Магистр, снова став очень серьёзным. — Дозволено ли спросить о причине подобной поспешности?

На мгновение юноша закрыл глаза, наморщив лоб, словно вопрос причинил ему боль. Затем, вновь обратив свой пытливый и юношески-критический взгляд на Магистра, сказал:

— На этот вопрос нет ответа, разве что вы ре-

шитесь поставить его ещё точнее.

— Поспешу это, сделать. Значит, состояние старого Магистра худо? Оно вызывает опасения?

Несмотря на величайшую сдержанность интонаций Кнехта, студент заметил любовную заботу последнего о старом Магистре, и именно тогда, впервые за всё время, в его мрачном взгляде блеснуло что-то похожее на доброжелательность, голос его зазвучал чуть приветливей, более непринуждённо, и он наконец высказал открыто, что было у него на душе.

— Господин Магистр, — сказал он Кнехту, — вы можете быть спокойны, состояние Досточтимого отнюдь не худо, он всегда отличался превосходным здоровьем, здоров он и сейчас, хотя старость весьма его ослабила. Не то чтобы внешний вид его сильно изменился или силы стали стремительно убывать: он совершает небольшие прогулки, каждый день немного музицирует и до самого недавнего времени давал уроки игры на органе двум ученикам, совсем ещё новичкам, — ведь он всегда любил видеть вокруг себя детей. Однако то, что и от этих двух последних учеников за несколько недель тому назад отказался, есть всё же некий симптом, заставивший меня насторожиться; с тех пор я стал внимательней

следить за Досточтимым, и не раз увиденное мною заставляло меня задумываться. Такова причина моего приезда. Оправданием подобных мыслей и последующих шагов может служить то, что когда-то и я был учеником старого Магистра музыки, его любимым учеником, смею сказать, и преемник его вот уже год как приставил меня к старцу в качестве фамулуса или компаньона, поручив мне заботу о его здоровье. Поручение это отрадно для меня, ибо нет никого, к кому я питал бы такое чувство привязанности и почтения, как к моему старому учителю и покровителю. Это он открыл мне тайну музыки, научил меня служить ей, и если я, сверх того, в какой-то мере проник в смысл и предназначение нашего Ордена, обрёл нечто, похожее на зрелость и внутреннюю упорядоченность, то всё это исходит от него и составляет его заслугу. Вот уже год, как я совсем переселился к нему. Правда, я ещё занят некоторыми исследованиями, посещаю курсы, но я всегда в его распоряжении, я его сотрапезник, спутник во время прогулок и партнёр при музицировании, а ночью — сплю через стенку от него. При столь близком соприкосновении я могу весьма точно наблюдать, так сказать, ступени его старения, его физического угасания, и кое-кто

из моих товарищей порой сочувственно, а то и язвительно отзывается по поводу странной должности, определившей столь юного человека, как я, в слуги и спутники древнего старца. Но они не знают и, пожалуй, никто не знает так хорошо, как я, что за старость дарована этому Магистру, как он постепенно слабеет и дряхлеет телом, всё меньше принимает пищи, всё больше утомляется после своих маленьких прогулок, не будучи, собственно, больным, и в тишине своей старческой поры всё более претворяется в самоё духовность, в благоговение, достоинство и простоту. И если в моей роли фамулуса или сиделки и есть какие-нибудь трудности, то состоят они только в том, что Досточтимый не желает быть предметом услуг и забот, что он по-прежнему хочет только давать и никогда не брать.

— Благодарю тебя, — произнёс Кнехт, — меня радует, что при Досточтимом находится такой преданный и благородный ученик. А теперь скажи мне, наконец, коль скоро ты говоришь не по поручению твоего учителя, почему мой приезд в Монпор представляется тебе столь необходимым?

— Вы только что с тревогой спрашивали о здоровье старого Магистра музыки, — ответил

студент, — должно быть, мой приезд вызвал у вас опасение, уж не болен ли он, уж не следует ли поспешить, чтобы успеть проститься с ним? Я и на самом деле думаю, что следует. Не могу сказать, что конец его близок, но ведь Досточтимый прощается с жизнью по-своему. Вот уже несколько месяцев, как он совсем отвык говорить, и если он всегда предпочитал краткость многословию, то теперь он стал так уж краток и тих, что я невольно начинаю тревожиться. Когда я впервые не получил ответа, обратившись к нему, и это стало повторяться всё чаще, я вначале подумал, не ослабел ли его слух, однако вскоре установил, что слышит он по-прежнему хорошо, я проверял это не раз. Итак, мне оставалось предположить, что он рассеян, не может сосредоточить своё внимание. Однако и это объяснение оказалось несостоятельным. Скорее всего, он давно уже как бы в пути и, покидая нас, всё более и более уходит в свой собственный мир; например, он давно уже никого не навещает и никого не пускает к себе, проходят дни, а он не видит никого, кроме меня. Ну, вот с тех пор, как всё это началось — эта отстраненность, это отсутствие, — с тех пор я и стараюсь приводить к нему тех друзей, которых, как я знаю, он любил больше других. Если бы

вы, *domine*, побывали у него, вы, несомненно, доставили бы своему старшему другу немалую радость, в этом я уверен, и вам удалось бы ещё раз повидать именно того человека, которого вы любили я почитали. Пройдёт несколько месяцев, а быть может, и недель, и радость его при виде вас будет куда меньшей, возможно, он и не узнает вас, даже не заметит.

Кнехт встал, подошёл к окну и некоторое время, глубоко дыша, смотрел прямо перед собой. Когда он вновь обратился к студенту, тот уже поднялся, полагая аудиенцию оконченной. Магистр протянул ему руку.

— Ещё раз благодарю тебя, Пётр, — сказал он. — Тебе, очевидно, известно, что у Магистра есть кое-какие обязанности. Я не могу надеть шляпу и отправиться в путь, сначала надо привести всё в порядок. Надеюсь до послезавтра управиться. Как ты считаешь, успеешь ты закончить свою работу в Архиве? Да? Тогда я дам тебе знать, как только освобожусь.

И действительно, Кнехту удалось через несколько дней в сопровождении Петра отбыть в Монпор. Когда они по приезде сразу же отправились в окружённый садами павильон старого Магистра музыки, в тихую милую келью, они услыщали до-

носившуюся из задней комнаты музыку, нежную и прозрачную, но уверенную и восхитительно бодрую музыку. Должно быть, там сидел старик и двумя пальцами наигрывал двухголосную мелодию. Кнехт тотчас же узнал её: это была пьеса конца шестнадцатого века из сборников двухголосных песнопений. Он остановился, его проводник тоже, оба они стали ждать, покуда Магистр кончит. Только тогда Пётр громко обратился к старцу и сообщил ему, что он приехал и привёз с собой гостя. Старец показался в дверях и приветливо улыбнулся им. Эта всеми любимая улыбка Магистра музыки была такой детски открытой, лучащейся сердечностью и приветливостью; прошло почти тридцать лет, как Йозеф Кнехт впервые её увидел, и раскрыл, и подарил своё сердце этому доброму наставнику, в тот щемяще-блаженный утренний час в музыкальном классе, и с тех пор он часто видел её, эту улыбку, и всякий раз с глубокой радостью и странной растроганностью, и между тем как волосы наставника седели и стали совсем белыми, как его голос делался всё тише, его рукопожатие слабело и походка становилась медлительной, его улыбка нисколько не теряла своего свечения и обаяния, своей чистоты и искренности. И сейчас друг и

ученик старого Магистра увидел, убедился: лучистый и безмолвный зов, исходивший от этого улыбающегося старческого лика, чьи голубые глаза и нежный румянец с годами становились всё светлее, был уже не тот, не прежний и привычный — он стал сокровеннее, таинственнее и интенсивнее.

Только теперь Йозеф Кнехт осознал, в чём, собственно, состояла просьба студента Петра и насколько он сам, полагая, что уступает этой просьбе, вознаграждён с лихвой.

Первым человеком, с которым он поделился этой мыслью, был его друг Ферромонте, в ту пору библиотекарь знаменитой музыкальной библиотеки Монпора. Он-то и описал состоявшийся разговор в одном из своих писем.

– Наш старый Магистр музыки, – сказал Кнехт, – был ведь и твоим учителем, и ты очень его любил, скажи, а теперь ты часто его видишь?

– Нет, – ответил Карло, – то есть я, разумеется, встречаю его нередко, когда он совершает свою прогулку, а я как раз выхожу из библиотеки, но разговаривать с ним мне уже несколько месяцев не дово-

дилось. Он ведь всё больше замыкается в себе и, по-видимому, не слишком хорошо переносит общество людей. Раньше он уделял целый вечер таким, как я, своим бывшим репетиторам, тем, кто служил в Монпоре, но уже примерно с год, как вечера эти отменены, и всех очень удивило, когда старый Магистр поехал на вашу инвеституру в Вальдцель.

– Да, – заметил Кнехт, а когда ты встречал его, тебе не бросились в глаза никакие изменения?

– О да, вы, должно быть, говорите о его превосходном виде, о его весёлости, странном сиянии, исходящем от него. Ещё бы, мы заметили это. По мере того как силы его убывают, его весёлость растёт с каждым днём. Мы давно привыкли к этому, вам же это, конечно, сразу бросилось в глаза.

– Его фамулус Пётр, – воскликнул Кнехт, – видит его гораздо чаще, чем ты, но даже он не смог привыкнуть к этому. Он сам отправился в Вальдцель, дабы побудить меня приехать сюда, конечно же, подыскав подходящий предлог. Что ты

думаешь о нём?

– О Петре? Он неплохо знает музыку, однако он скорее педантического, нежели творческого склада человек, несколько тяжеловесный или тяжелодумный. Старому Магистру музыки он предан бесконечно и отдал бы за него жизнь. Мне кажется, что его служение при обожаемом повелителе и кумире поглощает его без остатка, он одержим им. У вас не сложилось такого впечатления?

– «Одержим»? Мне кажется, что этот молодой человек не просто одержим некоторой слабостью или страстью, он не просто влюблён в своего старого учителя и боготворит его, – он одержим и зачарован действительным и подлинным феноменом, который он лучше видит или лучше воспринимает чувством, чем все вы. Я расскажу тебе, чему я только что был свидетелем. Сегодня я отправился к старому Магистру музыки, которого не видел уже более полугода; судя по нескольким намёкам его фамулуса, я мало или даже ничего не ожидал от этого визита: мне попросту стало страшно, что

почтенный старик в ближайшее время может нас навсегда покинуть, и я поспешил сюда в надежде ещё раз повидать его. Когда он узнал и приветствовал меня, лицо его засветилось, но при этом он ничего не сказал, только выговорил моё имя и подал руку, и мне почудилось, что и движение это, и сама рука светятся, что от всего этого человека, или, по крайней, мере, от его глаз, белых волос и бледно-розовой кожи исходит какое-то тихое и холодное излучение. Я сел рядом с ним, он отослал студента только взглядом и повёл со мной самый странный, диковинный разговор, в каком я когда-либо участвовал. Вначале, правда, меня озадачивало и угнетало, да и стыдило, что я всё время обращался к старику и задавал вопросы, и на всё он отвечал мне только взглядом; я никак не мог уразуметь, означают ли для него сообщения и вопросы нечто большее, нежели докучливый шум? Это меня сбивало с толку, разочаровывало и утомляло, я казался себе таким лишним и назойливым: что бы я ни говорил Магистру, на всё он отвечал

только улыбкой или коротким взглядом. Более того, не будь эти взгляды столь доброжелательными и сердечными, я подумал бы, что старец откровенно потешается надо мной, над моими рассказами и расспросами, над всей моей ненужной поездкой и моим визитом к нему. В конце концов нечто от этого и впрямь скрывалось в его молчании и улыбке, они и в самом деле выражали отпор и вразумление, но по-иному, на ином уровне, на иной смысловой ступени, чем это могли бы сделать, скажем, насмешливые слова. Я должен был сначала выбиться из сил и претерпеть полное крушение моих, как мне представлялось, терпеливо-вежливых попыток завязать разговор, прежде чем я начал догадываться, что этот старец мог бы без труда совладать с таким терпением, таким упорством и такой учтивостью, которые были бы во сто крат больше моих. Возможно, что эти мои попытки продолжались четверть часа или полчаса, – мне показалось, что прошло полдня, я уже начал впадать в уныние, начал уступать усталости и досаде, со-

жалеть о своей поездке, во рту у меня пересохло. Вот он сидит передо мною, почитаемый мною человек, мой покровитель, мой Друг, который, сколько я себя помню, всегда владел моим сердцем и доверием и ни разу не оставил ни единого моего слова без ответа, а теперь он прямо передо мной и видит, как я говорю, или, пожалуй, не слышит, весь спрятавшись и затаившись за этим своим сиянием, за своей улыбкой, за своей золотой личиной, недосягаемый, весь уже частица иного мира, с иными законами, а всё, что я хотел передать ему словами из нашего мира в его мир, всё отскакивало от него, как дождь от камня. Наконец – у меня уже не оставалось надежды – магическая завеса пала, наконец он пришёл мне на помощь, наконец сказал что-то! И это были единственные слова, услышанные мною от него за весь сегодняшний день.

«Ты утомляешь себя, Йозеф», – произнёс он тихим голосом, полным доброты и заботы, который и ты за ним знаешь. Вот и всё. «Ты утомляешь себя, Йозеф».

Словно он долгое время наблюдал за

тем, как я над чем-то тяжко тружусь, и захотел меня предостеречь. Слова эти он произнёс немного затруднённо, словно давно уже не раскрывал рта для речи. Одновременно он положил свою руку, лёгкую, как бабочка, руку, мне на плечо, пристально посмотрел мне в глаза и улыбнулся. В это мгновение я был побеждён. Нечто от его просветлённого безмолвия, нечто от его терпения и спокойствия передалось мне, и внезапно у меня раскрылись глаза на тот поворот, что претерпело его бытие: он ушёл, ушёл от людей в безмолвие, от слов – к музыке, от мыслей – к единому. Я понял, что сподобился увидеть, я понял наконец эту улыбку, это сияние его; передо мной был святой и праведник, который на час дозволил мне помедлить в его лучах, а я, тупица, хотел вовлечь его в разговор, занять беседою. По счастью, прозрение пришло не слишком поздно. Он ведь мог бы меня отослать и тем навечно отвергнуть. Тогда я лишился бы самого необычного и высокого, что когда-либо переживая за всю жизнь.

– Вижу, – сказал Ферромонте задумчиво, – что вы усмотрели в нашем Магистре некое подобие святого; и рад услышать об этом именно от вас. Признаюсь, к любому другому рассказчику, поведавшему мне о подобном, я отнёсся вы с величайшим недоверием. Право, я не любитель мистики, а в качестве теоретика и историка музыки являюсь педантическим почитателем чётких категорий. Поскольку же мы, касталийцы, не христианская конгрегация и не индийский или даосский монастырь, постольку причисление одного из нас к лику святых, то есть к некоторой чисто религиозной категории, представляется мне, по сути дела, недопустимым, и кому-нибудь другому, а не тебе – простите, не вам, *domine* – я за подобное причисление сделал бы выговор. Впрочем, полагаю, что вы не намереваетесь ходатайствовать о канонизации досточтимого Магистра в отставке, к тому же в нашем Ордене не найдётся и соответствующей инстанции. Нет, не прерывайте меня, я говорю вполне серьёзно, мои слова – не шутка. Вы рассказали мне о вашем

переживании, и я должен сознаться, что пристыжен вашим рассказом; хотя обрисованный вами феномен и не совсем ускользнул от внимания моего и моих монпорских коллег, однако мы лишь приняли его к сведению и уделили ему мало внимания. Мне придётся поразмыслить о причинах моего промаха и равнодушия. То обстоятельство, что преображение старого Магистра так бросилось в глаза и стало для вас сенсацией, в то время как я его едва заметил, естественно объясняется следующим: превращение это предстало перед вами неожиданно, в готовом виде, я же был свидетелем постепенного его развития. Тот старый Магистр, которого вы видели многие месяцы назад, и тот, с которым вы встретились сегодня, весьма разнятся между собой, но мы, его соседи, видя старика часто, почти не замечали перемен, происходящих с ним от одной встречи до другой. Однако, признаюсь, – это объяснение меня не удовлетворяет. Перед нашими глазами произошло нечто похожее на чудо, и пусть процесс этот был медленным и незаметным, но если бы мы

оказались беспристрастными, он должен был поразить нас. Вот я и добрался до причины моего равнодушия: я вовсе не был беспристрастен. Я не заметил феномена потому, что не хотел его замечать. Я замечал, как и всё вокруг, возрастающую отрешённость и молчаливость нашего Досточтимого и одновременное усиление его благожелательности, всё более светлый и непонятный блеск его лица, когда он при встрече молча отвечал на мой поклон, – всё это я, как и все остальные, превосходно замечал. Но я внутренне противился тому, чтобы увидеть нечто большее, и противился я не по причине, недостатка уважения к старому Магистру, а отчасти из-за неприязни к культу великих людей и к сентиментальности, отчасти же из-за неприязни к этому особому случаю сентиментальности, а именно к тому виду культа, каковому предаётся *studiosus Petrus.*[68] Вот что я уяснил себе, покуда вы излагали мне свои впечатления.

---

[68] Примечания: [68]
Студент Пётр (лат.).

Кнехт рассмеялся:

– Немалый кружной путь, чтобы уяснить себе своё отвращение к бедняге Петру! Как же, однако? По-твоему, я тоже сентиментальный мистик и предаюсь запретному культу святых и великих людей? Или ты признаёшь за мной то, в чём ты отказываешь студенту, и поверил, что мы нечто узрели и пережили, и притом не сны и не фантазии, но нечто реальное и предметно существующее?

– Разумеется, я признаю это за вами, – ответил Карло нерешительно и как бы ещё раздумывая, – никому не придёт в голову сомневаться в вашем переживании и в красоте или просветлённости старого Магистра музыки, способного тебе улыбнуться такой невероятной улыбкой. Весь вопрос в том, куда мы денем этот феномен, как его назвать и как объяснить? Это звучит несколько наставнически, но мы, касталийцы, и есть как раз школьные учителя и наставники, и если я стремлюсь найти место и имя для вашего и нашего переживания, я поступаю так не для того, чтобы посредством абстраги-

рования и генерализации лишить его жизненности и красоты, но чтобы как можно точнее и яснее закрепить его и фиксировать. Случись мне где-нибудь в пути услышать, как крестьянин или ребёнок напевает мелодию, которую я не знаю, то для меня это равным образом есть переживание, и если я затем пытаюсь как можно скорее и точнее записать эту мелодию в виде нот, то это отнюдь не профанация моего переживания, а скорее попытка его возвеличить и увековечить.

Кнехт дружески кивнул ему.

– Карло, – сказал он, – жаль, что мы теперь так редко видимся. Не все друзья юности выдерживают проверку временем. Я пришёл к тебе со своим рассказом о старом Магистре потому, что ты здесь единственный человек, мнением и участием которого я дорожу. Ты уж теперь сам решай, как тебе отнестись к моему рассказу и как ты определишь отрешённое состояние нашего Магистра. Я был бы рад, если бы ты однажды навестил его и побыл бы в свете его ауры. Пусть это состояние благодати, просветления,

умудрённости, блаженства, или как нам ещё заблагорассудится его назвать, относится к религиозной жизни: если мы, касталийцы, не имеем ни церкви, ни символа веры, то всё же благочестие никоим образом нам не чуждо, как раз старый *Magister musicae* был человеком до мозга костей благочестивым. И коль скоро во многих религиях мы встречаем места о просветлённых, преображённых, воссиявших, о тех, на кого снизошла благодать, то почему бы и нашему касталийскому благочестию не зацвести однажды такими же цветами? Поздно, мне пора уже спать, завтра я рано уезжаю. Надеюсь вскоре снова приехать к вам. Впрочем, позволь я доскажу тебе эту мою историю? Итак, после того как он сказал: «Ты утомляешь себя, Йозеф!» – мне наконец удалось преодолеть своё желание завязать беседу, и я не только умолк, но и отвратил волю мою от ложной цели – заставить заговорить этого молчальника, да ещё извлечь для себя нечто из этой беседы. И с той самой минуты, как я отрёкся от этого своего желания и предоставил

всё старцу, остальное устроилось как бы само собой. Потом ты можешь мои выражения заменить любыми другими, но сейчас выслушай меня, даже если тебе и кажется, что я не точен в выборе слов или путаю категории. Я просидел у старика час или полтора и не могу тебе сообщить, что именно совершалось в это время между нами, но ни единого слова сказано не было. Я только ощутил, что, когда моё сопротивление оказалось сломленным, он принял меня в свой покой и свой свет, его и меня окружила ясность и удивительная тишина. Сознательно я не прибегал в эти минуты к медитации, но походило это именно на особенно удавшуюся и осчастливливающую медитацию, темой которой была жизнь старого Магистра. Я созерцал или переживал его образ и весь его путь, начиная с тех времён, с того часа, когда он впервые повстречал меня, ещё мальчика, и до нынешнего дня. То была жизнь, отмеченная трудом и самоотдачей, но свободная от принуждения, свободная от честолюбия и полная музыки. И развивалась она так, будто,

став музыкантом и Магистром музыки, он избрал музыку как один из путей к высшей цели человека, к внутренней свободе, к чистоте, к совершенству, и с тех пор он ничего другого и не делал, а только предоставлял музыке всё больше и больше пронизывать, очищать, пресуществлять себя – от искусных умных пальцев чембалиста и от его неимоверной музыкальной памяти вплоть до всех частей и органов тела и души, вплоть до пульса и дыхания, вплоть до сна и сновидений, и ныне он только символ или скорее некое проявление, некая персонификация музыки. Во всяком случае, я воспринимал то излучение, которое от него исходило, или те волны, которые, наподобие череды вдохов и выдохов, шли от него ко мне и от меня к нему, как музыку, как полностью лишившуюся материальности эзотерическую музыку, принимавшую каждого, кто вступал в магический круг как многоголосная песня принимает вновь вступающий голос. Верно, немузыканту эта благодать раскрылась бы в других подобиях, пожа-

луй, астроном увидел бы себя в образе луны, совершающей свой бег вокруг планеты, или филолог услыхал бы, как его окликают на всезначащем, магическом праязыке. Но хватит слов, я прощаюсь. Мне было хорошо, Карло.

Мы с особой обстоятельностью остановились на этой эпизоде, ибо Магистр музыки занимал в жизни и сердце Кнехта очень важное место; дополнительным поводом или соблазном явилось для нас то обстоятельство, что разговор Кнехта с Ферромонте сохранился в подлинной записи последнего, в одном из его писем. Изо всех свидетельств о «преображении» старого Магистра музыки это — самое раннее достоверное, позднее уже тема эта породила более чем достаточно всевозможных легенд и толков.

Два полюса

Годовая игра, до сих пор известная и нередко упоминаемая под названием «Китайский домик», вознаградила Кнехта и его друга за все их усилия и подтвердила, что Касталия и её Коллегии сделали правильный выбор, призвав Кнехта на столь высокий пост. Вальдцелю, Селению Игры и элите вновь было дано испытать радость блистательного и вдохновенного празднества, более того, ежегодная Игра уже давно не была таким крупным событием, как в этот раз, когда столь молодой и вызывавший столь живые толки Магистр должен был впервые появиться перед многолюднейшим собранием и оправдать изложенные на него надежды и когда, сверх того, Вальдцелю необходимо было взять реванш за понесённые в прошлом году урон и поражение. На сей раз никто не был болен, и парадную церемонию возглавлял не подавленный заместитель, всё явственней окружаемый ледяным недоброжелательством и недоверием элиты и добросовестно, но уныло поддерживаемый впавшими в нервозность должностными лицами. Безмолвный и недосягаемый, с головы до ног первосвященник, облачённая

в белое с золотом главенствующая фигура на шахматной доске символов, Магистр являл своё и друга своего творение; излучая покой, мощь и достоинство, недоступный для обыденного обращения, появился он в праздничном зале, посреди множества предстоящих, ритуальными жестами открывал акт за актом своей Игры, изящно вычерчивал сверкающим золотым грифелем письмена за письменами на маленькой доске, перед которой стоял, и эти письмена, начертанные тайнописью Игры, мгновенно появлялись, во сто крат увеличенные, на громадной доске — задней стене зала. И тысячи голосов шёпотом повторяли их по слогам, и глашатаи громко выкликали, а телеграф разносил по всей стране, и когда в конце первого акта он нарисовал на доске последнюю, подводящую итог формулу и, сохраняя изящную и внушительную осанку, дал предписания к медитации, когда он отложил наконец свой грифель и сел, тем самым наглядно продемонстрировав наилучшую позу для самопогружения, то не только в зале, не только в Селении Игры и во всей Касталии, но и за её пределами, в любом краю Земли, приверженцы Игры стеклянных бус благоговейно присели для той же медитации и пребывали в неподвижности до того мгновения,

когда в зале Магистр вновь поднялся с места. Всё происходило так же, как бывало уже много раз, и всё же было новым и волнующим. Абстрактный и по видимости изъятый из времени мир Игры был достаточно гибким, чтобы в сотнях нюансов находить соответствие духовному складу, голосу, темпераменту и почерку личности, личность же была достаточно выдающейся и разумной, чтобы не ставить собственные находки выше незыблемых внутренних законов Игры. Помощники и партнёры, вся элита повиновались, как вымуштрованные солдаты, и всё-таки впечатление было таково, будто каждый из них, хотя бы он только отвешивал вместе со всеми поклоны или помогал задёргивать занавес перед погруженным в медитацию Магистром, выполнял свою самостоятельную, рождённую собственным вдохновением Игру. Из толпы же, из огромной, наполнявшей зал и весь Вальдцель общины, из глубины тысяч душ, по следам Магистра совершавших фантастическое священное шествие через бесконечные духовные пространства Игры со всеми их измерениями, прозвучал основной аккорд празднества, глубокий и вибрирующий колокольный бас, который составляет для юных и наивных членов общины их лучшее и едва ли

не единственное переживание на празднестве, но и у искушённых виртуозов, у критиков из элиты, у соучастников священнодействия, вплоть до самого Магистра, вызывает нечто вроде благоговейного трепета.

Это было высокое празднество, даже посланцы внешнего мира почувствовали и признали его величие, и не один новичок стал в те дни адептом Игры на всю жизнь. Тем более удивительно прозвучали слова Йозефа Кнехта, обращённые к его другу Тегуляриусу, когда он, по окончании десятидневных торжеств, подвёл итог своим впечатлениям.

— Мы можем быть довольны, — сказал он. — Да, Игра и Касталия бесподобны, они почти подошли к совершенству. Беда разве в том, что они слишком хороши, слишком красивы; они настолько красивы, что их почти невозможно созерцать, не страшась за них. Не хочется думать о том, что они, как и всё на свете, в свой час погибнут. Но думать об этом нужно.

Эти дошедшие до нас слова вплотную подводят биографа к самой щекотливой и таинственной части его задачи, той части, которую он охотно отложил бы ещё на некоторое время, чтобы прежде в спокойствии и благодушии, каковые

дозволены рассказчику ясных и однозначных событий, довести до конца своё повествование об успехах Кнехта, о его образцовом правлении и блистательной вершине его жизни. Однако нам казалось бы упущением, недостойным предмета нашего рассказа, если бы мы не обнаружили и не вскрыли раздвоенность и полярность в душе и жизни досточтимого Магистра уже на той стадии, когда они ещё были незаметны для всех, кроме Тегуляриуса. Мы даже видим свой долг в том, чтобы уже сейчас отметить и подтвердить наличие этого раскола, вернее, непрестанно пульсирующей полярности в душе Кнехта, именно как самое характерное и примечательное в натуре этого высоко почитаемого человека. Конечно, для автора, который счёл бы для себя возможным описать жизнь одного из касталийских Магистров только в духе благочестивого жития *ad majorem gloriam Castaliae,*[69] не представляло бы большого труда составить рассказ о магистерских годах Йозефа Кнехта (если опустить самые последние его минуты) в виде перечня прославляющих его заслуг и успехов, а также поведать о доблестном выполнении им своего долга. Пожелай летописец

[69] Примечания: [69]
Для вящего прославления Касталии (лат.).

придерживаться только документальных фактов, и ни одна жизнь, ни одно правление Магистра Игры, в том числе и жизнь Магистра Людвига Вассермалера, относящаяся к самой светлой поре Игры и Вальдцеля, не могли бы явить взору картины более безупречной, более достойной восхищения, нежели жизнь и правление Магистра Кнехта. Однако это правление имело самый необычный, сенсационный, на взгляд многих прямо-таки скандальный конец, и конец этот отнюдь не был случайностью или несчастным случаем, а явился вполне закономерным, и в нашу задачу входит показать, что он ни в коей мере не противоречит блестящим и похвальным достижениям и победам Досточтимого. Кнехт — это великий и образцовый носитель своего высокого сана, Магистр Игры без страха и упрёка. Но он видел и ощущал блеск Касталии, которой он служил, как неустойчивую и убывающую величину, он пребывал в этом блеске не бездумно и беспечно, подобно огромному большинству своих сограждан-касталийцев, но помнил о его начале и истории, воспринимал его как историческое образование, подвластное времени и подталкиваемое его неумолимой силой. Эта способность к непосредственному ощущению

исторического процесса и это понимание собственной деятельности и своей личности, как ячейки в общем потоке становлений и превращений, одновременно влекомой и ведущей, созрели в нём и дошли до его сознания благодаря занятиям историей и под влиянием великого отца Иакова, но склонности и задатки такого восприятия были заложены в его душе намного раньше, и тот, для кого личность Йозефа Кнехта стала воистину живой, тот, кому удалось постигнуть склад и смысл его жизни, легко обнаружит в нём эти склонности и эти задатки.

Если человек в один из лучезарнейших дней своей жизни, при завершения своих первых праздничных Игр, после необыкновенно удавшейся и волнующей манифестации касталийского духа, сказал: «Не хочется думать о том, что Игра и Касталия в свой час погибнут, но думать об этом нужно», — то такой человек с самого начала, задолго до того, как он был посвящён в тайны истории, уже познал законы вселенной, уже постиг бренность всего сущего и спорность всего, что создано человеческим духом. Обративши взор в прошлое, к детским и школьным годам Кнехта, мы наталкиваемся на сведения о том, что всякий раз, когда из Эшгольца исчезал

кто-нибудь из его соучеников, разочаровавший наставников и возвращённый из элиты в обычную школу, это повергало Йозефа в тоску и тревогу. Ни один из исключённых учеников не был, насколько известно, личным другом юного Йозефа; не потеря, не исключение и исчезновение того или иного мальчика, угнетала его, переполняла боязливой печалью. Нет, печаль его вызывалась скорее некоторым потрясением его детской веры в незыблемость касталийского порядка, в совершенство Касталии. В том факте, что существовали мальчики и юноши, которым выпало на долю счастье и милость попасть в школу элиты, и они по легкомыслию пренебрегли этой милостью и отвергли её, было для него, столь свято и глубоко воспринимавшего своё призвание, нечто потрясающее, свидетельствовавшее о могуществе некасталийского мира. Возможно даже — доказать этого нельзя — подобные случаи заронили в душу мальчика первые ростки сомнения в непогрешимости Воспитательной Коллегии, в которую он до того верил беспредельно, ибо оказалось, что Коллегия иногда принимала в Касталию и таких учеников, которых через некоторое время приходилось отсылать обратно. Независимо от того, сыграла

ли свою роль эта мысль, ставшая первым зародышей критического отношения к авторитетам, всякий случай, когда ученик элиты сбивался с пути и его отсылали прочь, Йозеф переживал не только как несчастье, но и как нечто позорное, как безобразное пятно, которое всем бросалось в глаза, ибо само существование его было упрёком, и ответственным за него была вся Касталия. Отсюда, думается нам, и проистекало чувство потрясения и растерянности, овладевавшее учеником Кнехтом в подобных случаях. Где-то там, за пределами Провинции, существовал иной мир, билась человеческая жизнь, и мир этот противостоял Касталии и её законам, не подчинялся её порядкам и расчётам, не поддавался обузданию и совершенствованию. Конечно, и в сердце Кнехта существовал этот мир. И у Йозефа возникали порывы, фантазии, влечения, которые противоречили властвовавшим над ним законам, порывы эти ему удалось укротить лишь постепенно, ценою жестоких усилий. Значит, в других учениках эти влечения могли обрести такую силу, что они прорывались наружу, вопреки всем увещеваниям и карам, и изгоняли одержимых ими назад, в тот, иной мир, где властвуют не самообуздание и дух, а природные инстинкты

и порывы, в мир, предстающий перед людьми, которые верны касталийским идеалам, то в виде коварной преисподней, то полным соблазнов ристалищем игр и суетных развлечений. В сознание юношей ряда поколений понятие греха вошло именно в таком касталийском истолковании. А много лет спустя, уже будучи взрослым человеком, увлечённым историей, он яснее понял, что история не может возникнуть без элемента и динамики этого греховного мира, мира эгоизма и стихийной жизни, и что даже такая возвышенная формация, как Орден, родилась из этого мутного потока, а придёт время — вновь будет им поглощена. Именно проблематичность самой Касталии была первоисточником всех сильных волнений, порывов и потрясений в жизни Кнехта, никогда проблема эта не становилась для него только умозрительной, наоборот, она волновала его до глубины души, как ничто иное, и он чувствовал и себя в ответе за неё. Он принадлежал к тем натурам, что могут заболеть, зачахнуть и даже умереть, видя, как любимая или святая для них идея, как любимая ими отчизна или община заболевают и испытывают страдания.

Продолжим, однако же, нить нашего повествования и вернёмся к первым дням пребывания

Кнехта в Вальдцеле, к его последним школьным годам и его знаменательной встрече с вольнослушателем Дезиньори, которую мы в своё время описали достаточно подробно. Эта встреча между пламенным поборником касталийского идеала и мирянином Плинио оказалась для ученика Кнехта не только сильным, оставившим глубокий след переживанием, — она сделалась для него и полным смысла символом. Ведь именно тогда ему была навязана роль, столь же ответственная, сколь и многотрудная, выпавшая на его долю, казалось бы, случайно, но настолько вязавшаяся с его природой, что вся его дальнейшая жизнь, можно сказать, была не чем иным, как постоянным возвращением к этой роли, всё более полным вживанием в неё. Это была роль защитника и представителя Касталии, какую ему через десять лет пришлось играть вновь перед отцом Иаковом и какую он играл до конца своего пребывания на посту Магистра Игры, — защитника и представителя Ордена и его установлений. Но при этом в нём никогда не умирали искренняя готовность и стремление учиться у противника и вести вперёд Касталию не по пути замыкания в себе и косной обособленности, а по пути живого взаимодействия и диалога с внешним миром. Если духовное

и ораторское единоборство с Дезиньори ещё было отчасти игрой, то позднее, когда ему пришлось столкнуться с могучим противником и одновременно другом в лице Иакова, единоборство это приобрело чрезвычайно серьёзный характер, и в обоих случаях он выдержал испытание, оказался на высоте, многому научился у противников, давал не меньше, чем брал, и оба раза, хотя и не победил своих партнёров — да он, собственно, такой цели себе и не ставил, — сумел добиться почётного признания не только своей личности, но и отстаиваемых им принципов и идеалов. Если бы даже долгие беседы с учёным бенедиктинцем не привели к практическому результату — учреждению полуофициального представительства Касталии у престола его святейшества, — они всё равно имели куда большее значение, нежели о том подозревали очень многие касталийцы.

Как в дружеском противоборстве с Плинио Дезиньори, так и в дальнейшем — с учёным патером, Кнехт, не соприкасавшийся близко с миром за пределами Касталии, получил всё же понятие или, вернее, некоторое представление об этом мире, чем в Касталии обладали только очень немногие. За исключением времени, проведённого в Мариафельсе, где он, в сущности,

тоже не имел возможности приобщиться к собственно мирской жизни, он этой жизни нигде не видел и не вкусил от неё ничего, разве только в самом раннем детстве; но через Дезиньори, через отца Иакова, а также благодаря изучению истории у него создалось живое представление о реальной действительности, возникшее главным образом интуитивно и опиравшееся на весьма ограниченный опыт, но оно, однако обогатило его более широкими знаниями и более ясным пониманием мира, чем было у преобладающего числа его сограждан-касталийцев, в том числе, пожалуй, и у руководителей. Кнехт был и всегда оставался истым и верным касталийцем, но он никогда не забывал, что Касталия лишь частица, маленькая частица вселенной, пусть даже самая драгоценная и любимая.

А что означала его дружба с Фрицем Тегуляриусом, с этим трудным и надломленным человеком, рафинированным артистом Игры, избалованным и робким касталийцем, не признававшим другого мира, кому до того неуютно и одиноко показалось в Мариафельсе, среди грубых бенедиктинцев, что он, по его словам, и недели не смог бы там выжить и бесконечно удивлялся своему другу, проведшему там два года? Мы

немало размышляли об этой дружбе, кое-какие догадки пришлось отбросить, другие оказались более живучими, но все они касались вопроса: в чём корни и в чём смысл этого многолетнего товарищества? Прежде всего нам не следует забывать, что всякий раз, когда у Кнехта завязывалась новая дружба, за исключением, может быть, дружбы со старым бенедиктинцем, не он искал, не он добивался её и нуждался в ней. Это к нему тянулись люди, им восхищались, ему завидовали, его любили только за благородство его натуры; на определённой ступени своего «пробуждения» он сам осознал этот свой дар. Так, в первые годы студенчества Тегуляриус уже восхищался им, искал его дружбы, но Кнехт всегда держал его на некотором от себя расстоянии. Всё же по некоторым признакам мы можем судить, что он глубоко привязался к своему другу. При этом мы придерживаемся мнения, что не одна его из ряда вон выходящая одарённость, его неистощимая гениальность во всём, что касалось проблем Игры, подкупала Кнехта. Горячий и длительный интерес Йозефа к Тегуляриусу объясняется не только чрезвычайной талантливостью друга, но и его недостатками, его болезненностью, то есть как раз тем, что отталкивало от него других обитате-

лей Вальдцеля и часто казалось им нестерпимым. Этот своеобразный человек был таким цельным касталийцем, весь его образ жизни был настолько немыслим вне Провинции, он настолько зависел от её атмосферы и высокого уровня в ней образованности, что именно его следовало бы назвать архикасталийцем, не обладай он таким трудным и чудаковатым нравом. И тем не менее этот архикасталиец плохо уживался со своими товарищами, был нелюбим ими, как, впрочем, и наставниками и начальниками, постоянно и везде создавал помехи, вызывал всеобщее недовольство и наверняка давно бы уже пропал без покровительства и помощи своего смелого и умного друга. То, что называли его болезнью, было, в сущности, пороком: строптивостью, недостатком характера, выражавшимся в глубочайшем неуважении к иерархии, в крайне индивидуалистических воззрениях и образе жизни; он лишь постольку повиновался существующему порядку, поскольку это было необходимо, чтобы его терпели в Ордене. Он был прекрасным, даже блестящим касталийцем по своей многосторонней эрудиции, по своему неутомимому и ненасытному усердию в высоком искусстве Игры и очень посредственным, даже дурным касталийцем по

своему характеру, своему отношению к иерархии и к морали Ордена. Главнейшим его пороком было упорное, легкомысленное небрежение к медитации, смысл которой и состоит в подчинении личности и занятия которой, безусловно, излечили бы его от нервного недуга, что и происходило всякий раз, когда за дурное поведение и после периодов возбуждения или подавленности его заставляли выполнять строгие медитационные упражнения под посторонним надзором, — средство, к которому нередко был вынужден прибегать также и Кнехт, относившийся к нему бережно и любовно. Да, Тегуляриус обладал своевольным, изменчивым нравом, он не признавал сурового подчинения, но зато, когда бывал в приподнятом настроении, когда щедро расточал блеск своего пессимистического остроумия, умел очаровывать слушателей живым интеллектом, и невозможно было не подпасть под обаяние смелого полёта его подчас мрачной фантазии; но, по существу, он был неисцелим, ибо сам не хотел исцеления, ни во что не ставил гармонию и упорядоченность, любил только свою свободу, своё вечное студенчество и предпочитал всю жизнь оставаться страдальцем, всегда неожиданным и непокорным одиночкой, гениальным шутом

и нигилистом, вместо того чтобы ступить на путь подчинения иерархии и тем самым обрести покой. Но он нисколько не дорожил покоем, не придавал никакой цены иерархии, не слишком страшился порицаний и одиночества. Словом, совершенно несносный, неудобоваримый элемент в сообществе людей, видящих свой идеал в гармонии. Но именно благодаря своей непокладистости и неудобоваримости он постоянно вносил в этот светлый и упорядоченный мирок дух живого беспокойства, служил для него напоминанием, упрёком, предостережением, подстрекал к новым, вольным, запретным и дерзким мыслям, был в стаде строптивой овцой. Как раз эти его качества, по нашему разумению, и помогли ему приобрести в лице Кнехта друга. Бесспорно, в отношении к нему Кнехта всегда была доля сострадания, он отвечал тем самым на призыв несчастного, попавшего в беду, взывающего ко всем рыцарским чувствам своего друга. Но и этого было бы недостаточно, чтобы давать пищу их дружбе после возвышения Кнехта в сан Магистра, когда жизнь его наполнилась напряжённым трудом, новыми обязанностями и ответственностью. Мы придерживаемся взгляда, что в жизни Кнехта Тегуляриус был не менее

необходим и важен, чем были в своё время Дезиньори и отец Иаков из Мариафельса; подобно тем двоим, он был будоражащим элементом, открытым окошечком в новые, более широкие просторы. В этом столь странном друге, как нам кажется, Кнехт почувствовал, а со временем и сознательно признал представителя определённого типа, который пока существовал лишь в образе этого единственного провозвестника, а именно типа касталийца, каким он может стать в будущем, если новые связи и импульсы не омолодят и не укрепят Касталию. Тегуляриус был, как и большинство одиноких гениев, именно провозвестником. Он, по сути, жил в Касталии, какой пока ещё не существовало, но какой она может стать завтра: ещё более обособленной от всего мира, внутренне выродившейся по причине одряхления и расшатанности медитативной морали Ордена, мирком, где ещё возможны благороднейшие взлёты духа и глубочайшее самоотречение во имя высоких ценностей, но где перед изощрённой, свободной игрой духа уже не стоят никакие цели, кроме самолюбования своими отточенными до совершенства талантами. В Тегуляриусе Кнехт видел одновременно олицетворение высших доблестей Касталии и

грозное предзнаменование её грядущей деморализации и гибели. Прекрасно, изумительно, что существовал такой Фриц. Но превращению Касталии в иллюзорный мир, населённый одними тегуляриусами, необходимо было воспрепятствовать. Опасность такого вырождения была пока ещё далека, но она существовала. Стоило Касталии чуть выше надстроить стены своей аристократической обособленности, стоило немного пошатнуться дисциплине в Ордене, упасть иерархической морали — и Тегуляриус перестанет быть чудаковатым одиночкой, а превратится в типичного представителя измельчавшей и гибнущей Касталии. Мысль о возможности подобного упадка, о предрасположении к нему, о существовании его в зачаточном состоянии — это важнейшее открытие Кнехта и предмет величайших его забот — пришла бы ему в голову гораздо позднее или не пришла бы вовсе, если бы не жил рядом с ним знакомый ему до мельчащих подробностей житель будущей Касталии; для бдительного ума Кнехта он был симптомом и предостерегающим сигналом, каким бывает для умного врача первый больной, поражённый ещё не известным недугом. А ведь Фриц не был посредственностью, это был аристократ, талант

самого высокого ранга. Если не известный пока недуг, обнаруженный у Тегуляриуса, этого провозвестника, распространится и изменит облик Касталии, если Провинция и Орден примут когда-нибудь другую, болезненную форму, то будущие касталийцы в массе своей не будут даже и тегуляриусами, они унаследуют не его бесценные дарования, не его меланхолическую гениальность, не его порывистую страсть художника, но в большинстве своём сохранят только его непостоянство, его чрезмерную увлечённость игрой, его неспособность к дисциплине и духу солидарности. В часы тревоги Кнехта посещали подобные мрачные видения и предчувствия, и он, конечно, тратил много сил на преодоление их то медитационными упражнениями, то усиленной деятельностью.

Именно случай с Тегуляриусом являет собой особенно красноречивый и поучительный пример того, каким путём Кнехт пытался побороть все встречавшиеся на его пути спорные, трудные и болезненные явления, не обходя их стороной. Без бдительности и заботы, без благодетельного руководства Кнехта не только рано погиб бы его друг, находившийся под постоянной угрозой, но он стал бы, без сомнения, причиной нескончае-

мых помех и недопустимых выходок в Селении Игры, в которых и без того не было недостатка с тех пор, как Тегуляриуса причислили к элите. Искусство, с каким Магистр направлял своего друга на путь истинный, да ещё, сверх того, умел обращать его таланты на пользу Игре и вдохновлять его на высокие деяния, бережность и терпение, с какими он переносил его капризы и чудачества, умно побеждая их и не уставая взывать к наилучшим сторонам его природы, может лишь восхищать нас, как пример мастерского умения обращаться с человеком. Кстати сказать, было бы благородной задачей, которая могла бы привести к поразительным открытиям, — и мы решаемся просить кого-нибудь из историков Игры с полным вниманием подойти к этой задаче, — исследовать стилистические особенности ежегодных Игр за время правления Кнехта, подвергнуть тщательному анализу эти строгие и притом сверкающие драгоценной выдумкой, блестящие по форме и столь оригинальные по ритму, хотя и далёкие от самодовлеющей виртуозности партии, причём основной их план и структура, а также включённые в их состав медитационные упражнения были исключительно духовным достижением Кнехта, в то время как

чеканка деталей и разработка мелких технических подробностей входили большей частью и обязанности его помощника Тегуляриуса. Если бы даже эти игровые партии потерялись или забылись, — всё равно, опыт жизни и деятельности Кнехта, заразительная сила его примера не были бы утрачены для потомства. Но, по счастью для нас, они не утеряны, они записаны и сохраняются, как и все протоколы официальных Игр, и не лежат мёртвым грузом в архивах, а до наших дней живы и передаются из поколения в поколение, изучаются студентами, дают излюбленные примеры для некоторых курсов и семинаров Игры. Вместе с ними продолжает жить и память о том помощнике, который в противном случае был бы давно забыт или сохранился бы в памяти лишь как причудливый призрак прошлого, промелькнувший в нескольких анекдотах. Так Кнехт, найдя, несмотря ни на что, место и поле деятельности для своего столь трудновоспитуемого друга Фрица, внёс немалый вклад в историю и духовную сокровищницу Вальдцеля и одновременно обеспечил более долгую жизнь образу этого друга в памяти последующих поколений. Напомним попутно, что в своих стараниях помочь Тегуляриусу великий воспитатель отчётливо сознавал,

в чём заключается сила его педагогического воздействия. Силой этой были любовь и восхищение друга. Подобные же восхищение и любовь, восторженное преклонение перед сильной и гармонической личностью Кнехта, перед его властностью Магистр замечал не только у Фрица, но и у многих своих соратников и учеников, и, скорее всего, именно на таком к нему отношении, а не на его высоком положении зиждились его авторитет и влияние, которые, несмотря на его доброту и миролюбие, распространялись на множество людей. Он тонко чувствовал, что такое дружеское слово привета или поощрения и, наоборот, — какой вред может принести надменная недоступность и пренебрежение к человеку. Один из его усерднейших учеников много времени спустя рассказывал, что как-то на лекции или на семинаре Кнехт не обратился к нему ни с единым словом, явно не замечая его, смотрел на него как на пустое место, и это было самым горьким и сильным наказанием, какое этот юноша пережил за все школьные годы.

Мы сочли необходимым привести все эти соображения и ссылки на прошлое, чтобы подвести читателей нашего биографического опыта к пониманию обеих полярных тенденций в лично-

сти Кнехта, и, доведя наш рассказ до зенита его жизни, перейти к описанию последних этапов этой столь богатой содержанием биографии. Две основные тенденции или два полюса этой жизни, её инь и ян, были таковы: на одном полюсе — тенденция к верности, к традиции, к самоотдаче во имя иерархии, на другом — тенденция к «пробуждению», к прорыву магического круга и к схватыванию и постижению действительности. Для Йозефа Кнехта, как благочестивого и готового к служению касталийца, Орден, Игра и Провинция являли собой святыню и абсолютную ценность; для него же, как пробуждённого, беспокойного ясновидца, они при всей своей святости оказывались возникшими в становлении и борьбе, текучими по своим контурам образованиями, которые могут подпасть дряхлости, бесплодию и упадку, и если их идея оставалась для него неприкосновенной, то их теперешнее состояние было осмыслено им как ненадёжное и подлежащее критике. Он служил такому духовному сообществу, силой и смыслом которого он восхищался, но усматривал его слабую сторону в склонности считать себя за самоцель (забывая о своей доле во всенародных и всемирных задачах) и, наконец, в блистательном, но всё более обре-

кающем на бесплодие обособлении от жизни и мира. Эту слабую сторону он смутно ощущал ещё в те ранние годы, когда он столь долго медлил и не решался целиком посвятить себя Игре; она, эта слабая сторона, всё настойчивее проникала в его сознание во время дискуссий с монахами и особенно с отцом Иаковом, как ни рьяно он отстаивал против них Касталию; она стала облекаться в осязаемые симптомы с тех пор, как он снова жил в Вальдцеле и стал Магистром, проявляясь в добросовестной, но самодовлеющей и чисто формальной работе многих учреждений и его собственных подчинённых, в утончённо высокомерном виртуозничанье его вальдцельских репетиторов и, не в последнюю очередь, в столь же трогательном, сколь и отпугивающем облике его друга Тегуляриуса. Завершив первый, многотрудный год своей работы на высоком посту, когда ему не удавалось выгадать ни минуты свободной для своей частной жизни, он вновь вернулся к историческим занятиям и впервые без предвзятости погрузился в изучение истории Касталии. При этом он убедился, что положение далеко не так благополучно, как воображала в своём самомнении Провинция, а именно, что её связи с внешним миром, её влияние на жизнь,

политику, просвещение в стране за последние десятилетия заметно сократились. Правда, с мнением Воспитательной Коллегии по вопросам школы и народного просвещения в парламенте ещё считались; правда, Провинция продолжала поставлять стране опытных учителей и пользовалась авторитетом во всех учёных вопросах, но всё это уже носило характер механической привычки. Всё реже и неохотнее молодые люди из различных слоёв касталийской элиты изъявляли добровольное желание посвятить себя преподаванию в школах *extra muros,*[70] всё реже власти и отдельные люди в стране обращались за советом в Касталию, чей голос в прежние времена внимательно выслушивали даже в особо важных судебных процессах. При сравнении уровня образования в Касталии и в остальной части страны легко обнаруживалось, что они отнюдь не сближались, — наоборот, бездна между ними роковым образом росла: чем утонченней, дифференцированней, изощрённей становилась касталийская духовность, тем более склонен был внешний мир предоставить Провинцию самой себе и расценивать её уже не

[70] Примечания: [70]
За стенами (лат.).

как необходимость, не как хлеб насущный, а как чужеродное тело. Ею слегка гордились, словно старинной реликвией, её пока что не хотели никому отдавать или лишиться, но предпочитали держаться от неё на почтительном расстоянии и, не имея о ней точного представления, приписывали ей образ мыслей, мораль и чувство превосходства, не очень-то уместные в реальной и деятельной жизни. Интерес сограждан к жизни Педагогической провинции, их участие в её установлениях и специально в Игре в бисер ослабевали в той же мере, в какой ослабевало участие касталийцев в жизни и судьбах страны. Кнехту давно стало ясно, что именно тут кроется ошибка, и то, что он как Магистр Игры в Селении имел дело исключительно с касталийцами и специалистами, весьма его огорчало. Отсюда и его стремление посвящать свои силы главным образом начальным курсам, его желание иметь преимущественно юных учеников — чем они были моложе, тем теснее они ещё были связаны с мировой и жизненной целокупностью, тем менее они были вымуштрованы и замкнуты в своей специальности. Нередко нападала на него жгучая тоска по широкому миру, по людям, по наивной жизни — если таковая ещё существо-

вала там, в Неведомом. Эту тоску и ощущение пустоты, ощущение жизни в чересчур разреженном воздухе в той или иной мере испытал почти каждый из нас, и даже Воспитательная Коллегия знает об этих трудностях, во всяком случае, она всегда вновь и вновь изыскивала средства для их преодоления и при помощи усиленного культивирования телесных упражнений, и посредством экспериментов с разнообразными ремёслами и садовыми работами силилась справиться с бедой. Насколько мы можем заметить, в правлении Ордена за последнее время намечается тенденция к частичному свёртыванию научной специализации там, где она представляется гипертрофированной, чтобы за этот счёт усилить внимание к медитационной практике. Не надо быть скептиком и пессимистом или отщепенцем орденского братства, чтобы признать правоту Кнехта, который намного раньше нас понял, что сложный и чувствительный организм нашей республики дряхлеет и по многим причинам нуждается в обновлении.

Мы уже упоминали, что на второй год своего пребывания на высоком посту Магистра Кнехт вновь обратился к занятиям историей, причём, помимо истории Касталии, он посвящал своё

время главным образом изучению фундаментальных и более мелких работ отца Иакова об ордене бенедиктинцев. Иногда ему удавалось обменяться мнениями по интересующим его историческим проблемам или обсудить новые вопросы с господином Дюбуа и одним филологом из Койпергейма, который был бессменным секретарём на заседаниях Верховной Коллегии, и такие беседы его всегда освежали и радовали. В его повседневном окружении ему такая возможность не представлялась, причём особенно ярко это нежелание близких к нему людей заниматься историей проявлялось в особе его друга Тегуляриуса. Среди прочих бумаг нам попался в руки листок с записью одной из таких бесед, в которой Тегуляриус с пеной у рта доказывал, что история есть для касталийцев предмет, абсолютно недостойный изучения. Он допускал, что можно остроумно и занимательно, а если угодной высокопатетически, толковать о смысле и философии истории, это такая же забава, как любая другая философия, и он ничего не имеет возразить, если кто-нибудь находит это приятным. Но самый предмет, сам объект этой забавы, сиречь история, есть нечто столь отвратительное, одновременно банальное и сатанинское,

одновременно жуткое и скучное, что он просто не понимает, как можно тратить на неё время. Ведь её единственное содержание составляют человеческий эгоизм и вечно однообразная, вечно переоценивающая себя и восславляющая себя борьба за власть, за материальную, грубую, скотскую власть, то есть за то, что в кругозоре касталийца вообще не существует или, во всяком случае, не имеет ни малейшей цены. Мировая история, по его словам, есть бесконечное, бездарное, нелюбопытное повествование о том, как сильные подавляли слабых, и связывать подлинную, единственно важную, надвременную историю духа с этой старой, как мир, дурацкой дракой честолюбцев за власть и карьеристов за место под солнцем или, тем паче, объяснять первую из последней уже само по себе предательство по отношению к духу и заставляет его вспомнить одну распространённую не то в девятнадцатом, не то в двадцатом веке секту, о которой ему однажды рассказывали и которая всерьёз считала, будто жертвоприношения Древних народов, вкупе с богами, с их храмами и мифами, суть наравне со всеми прочими красивыми вещами следствие исчислимого недостатка или избытка в пище или занятости, результат арифметического несо-

ответствия между заработной платой и ценами на хлеб, и будто, стало быть, искусства и религии суть декорации, так называемые идеологии, прикрывающие всецело поглощённое голодом и жратвой человечество. Кнехта эта беседа привела в весёлое расположение духа, и он спросил, как бы вскользь, не полагает ли его друг, что история духа, культуры, искусства также есть история, всё же стоящая в некоторой связи со всей прочей историей. Нет, горячо воскликнул тот, именно это он отрицает. Мировая история — это гонка во времени, погоня за выигрышем, за властью, за богатством, в которой дело идёт о том, у кого хватит сил, удачи или низости не пропустить нужный момент. Творения же духа, культуры, искусства являют собой полную противоположность, они всякий раз суть освобождение от рабства времени, прыжок человека из грязи своих инстинктов, из своей инертности в другую плоскость, во вневременное, разрешённое от времени, божественное, всецело внеисторическое и враждебное истории бытие. Кнехт слушал его с удовольствием и поощрял тем дальнейшим, далеко не лишённым остроумия излияниям, а потом сдержанно закончил их разговор замечанием:

— Преклоняюсь перед твоей любовью к духу и

его деяниям! Однако духовное творчество есть нечто, к чему не так легко приобщиться, как думают некоторые. Беседа Платона или фраза из хора Генриха Исаака, как и всё, что мы называем духовным деянием, или произведением искусства, или объективацией духа, всё это — последний итог, конечный результат борьбы за облагораживание и освобождение. Я соглашусь с тобой, что это прорывы из времени в вечность, и в большинстве случаев наиболее совершенные произведения — те, что не несут на себе следов схваток и борьбы, предшествовавших их созданию. Великое счастье, что мы этими произведениями обладаем, ведь мы, касталийцы, только и живём за счёт их, наше творчество — только в их воспроизведении, мы постоянно обитаем в потусторонней, изъятой из времени и борьбы сфере, которая состоит из этих произведений, без них мы бы ничего об этой сфере не знали. И мы продолжаем их одухотворять или, если хочешь, абстрагировать ещё больше: в нашей Игре мы разлагаем эти творения мудрецов и художников на составные части, извлекаем из них стилистические правила, формальные схемы, утончённые истолкования и оперируем этими абстракциями как строительным камнем.

Что ж, всё это очень красиво, об этом с тобой никто не станет спорить. Но не всякий способен всю жизнь дышать и питаться одними абстракциями. История имеет одно преимущество перед тем, что вальдцельский репетитор находит достойным своего внимания: она занимается действительностью. Абстракции превосходны, но я всё же за то, чтобы дышать воздухом и питаться хлебом.

Изредка Кнехту удавалось изыскать немного времени, чтобы навестить престарелого бывшего Магистра музыки. Почтенный старец, силы которого заметно иссякали и который давно уже совершенно отвык разговаривать, до последних дней неизменно сохранял светлую сосредоточенность духа. Он не был болен, и его смерть не была в полном смысле умиранием, а лишь постепенной дематериализацией, исчезновением телесной субстанции, телесных функций, в то время как жизнь всё более сосредотачивалась в его глазах и в тихом сиянии, какое излучало его исхудалое старческое лицо. Для большинства обитателей Монпора это был знакомый и благоговейно почитаемый образ, но лишь немногие, среди них Кнехт, Ферромонте и молодой Пётр, сподобились приобщиться к закатному блеску и угасанию этой чистой и бескорыстной жизни. Этим немногим,

когда они, духовно подготовившись и сосредоточившись, вступали в маленькую комнату, где старый Магистр сидел в своём кресле, дано было помедлить в тихом свете прощания с бытием, сопережить творимое без слов осуществление совершенства: как бы в пространстве незримых лучей проводили они счастливые мгновения в кристальной сфере этой души, приобщаясь к невещественной музыке, и затем возвращались в свой день с просветлённым и укреплённым сердцем, словно спустившись с горных высей. Настал час, когда Кнехт получил известие о кончине старого Магистра. Он тотчас же отправился к нему и увидел тихо отошедшего на своём ложе, увидел его маленькое лицо, истаявшее и застывшее в немую надпись или арабеску, в магическую формулу, которой уже нельзя было прочесть и которая всё же повествовала об улыбке и о совершенном счастье. У могилы после Магистра музыки и Ферромонте выступил и Кнехт, но он говорил не о вдохновенном ясновидце от музыки, не о великом наставнике, не о благожелательно-умном старейшем члене Верховной Коллегии, он говорил только о празднике его старости и кончины, о той бессмертной красоте духа, которая открылась товарищам его последних дней.

Мы знаем по многим высказываниям, что у Кнехта было намерение описать жизнь старого Магистра, но многочисленные обязанности не оставляли ему досуга для такой работы. Он научился ограничивать свои желания. Одному из молодых репетиторов он сказал однажды: «Как жаль, что вы, студенты, недостаточно хорошо понимаете, в какой роскоши, в каком изобилии вы живёте. Но и я был таков в пору студенчества. Учишься и работаешь, не предаёшься как будто праздности, думаешь, что ты вправе считать себя прилежным, но что можно было бы сделать, на что можно бы употребить свою свободу, едва ли сознаёшь. Но вот тебя призывает Коллегия, ты делаешься нужен, получаешь задание, миссию, должность, поднимаешься от одной должности к другой и неожиданно замечаешь, что ты опутан тенётами задач и обязанностей и запутываешься в них тем сильнее, чем усерднее пытаешься из них вырваться. Всё это, по существу, мелкие задачи, но каждая из них требует внимания, а в деловом дне всегда оказывается куда больше задач, нежели часов. И это хорошо, иначе и не должно быть. Но когда мечешься между аудиторией, архивом, канцелярией, приёмной, заседаниями, деловыми поездками и вдруг вспомнишь на

минутку о той свободе, которую имел и потерял, о свободе решать незаданные задачи, тратить ничем не ограниченные, долгие часы на занятия, иной раз так потянет на мгновение к этой былой свободе, и представишь себе: вот если бы теперь заново её обрести, уж насладился бы я всеми её радостями и возможностями сполна!»

Он проявлял необыкновенно тонкое чутьё, когда надо было определить, пригоден ли тот или иной его ученик или подчинённый для службы в иерархии; для каждого поручения, на каждую вакансию он вдумчиво отбирал кандидатов, и свидетельства и характеристики, которые он записывал в особую книгу, показывают, сколь точны его суждения о людях, в которых он превыше всего ценил человечность и характер. К нему охотно обращались за советом, когда надо было разгадать трудный характер и найти способ обхождения с ним. К таковым трудным относился, например, студент Пётр, последний любимый ученик престарелого Магистра музыки. Этот молодой человек, принадлежавший к породе тихих фанатиков, сумел показать себя в наилучшем свете в своеобразной роли фамулуса, сиделки и младшего товарища боготворимого им учителя. Но со смертью старого Магистра эта

роль обрела своё естественное завершение, и он сразу погрузился в меланхолию и печаль, которую все понимали и некоторое время терпели, но симптомы которой вскоре начали причинять серьёзное беспокойство тогдашнему хозяину Монпора — Магистру музыки Людвигу. Пётр упорно не соглашался покидать павильон, где усопший провёл последние годы, он оберегал домик, скрупулёзно сохранял в нём обстановку и весь порядок в прежнем, виде, смотрел на комнаты, где жил и умер учитель, на его кресло, смертное ложе и клавесин как на неприкосновенную святыню, которую он призван охранять, и, кроме тщательного надзора за этими реликвиями, признавал за собой лишь ещё одну заботу и обязанность — уход за могилой, где покоился его обожаемый учитель. Он видел своё призвание в том, чтобы посвятить жизнь постоянному культу покойного, в этих памятных местах, оберегать это святилище, быть служителем этого храма и, возможно, мечтал превратить его в место паломничества. Первые дни после погребения он вообще отказывался от всякой пищи, а потом ограничивал себя редкими и скудными трапезами, какими довольствовался в последние дни его учитель, казалось, он поставил себе целью идти

по стопам глубоко чтимого Магистра и последовать за ним в могилу. Долго он такой образ жизни выдержать не мог, зато повёл себя так, чтобы не оставалось иного, выхода, как назначить его надзирателем домика и могилы, пожизненным хранителем памятных мест. По всему было видно, что молодой человек, и без того своенравный, находившийся в течение долгого времени на особом положении, намеревался во что бы то ни стало сохранить это нравившееся ему положение и решительно не хотел возвращаться к повседневному труду, к которому, по-видимому, в глубине души уже не считал себя способным.

— Что касается пресловутого Петра, состоявшего при старом Магистре, то он рехнулся, — кратко и холодно было сказано в одном из посланий Ферромонте.

Разумеется, вальдцельский Магистр не имел никакого касательства к студенту из Монпора и не нёс за него никакой ответственности, да и не испытывал, без сомнения, охоты вмешиваться в монпорские дела и возлагать на себя лишние заботы. Но злосчастный Пётр, которого пришлось силой выдворять из его павильона, никак не успокаивался и дошёл до такой степени расстройства и тоски, до того обособился и

стал чуждаться окружающей жизни, что к нему уже нельзя было применить меры воздействия, обычные при нарушениях дисциплины, и поскольку начальники юноши были осведомлены о благосклонном к нему отношения Кнехта, из канцелярии Магистра музыки к нему обратились за советом и помощью, а в ожидании ответа со строптивцем обращались как с больным и держали под особым наблюдением в изолированной комнате отделения для недужных. Магистр Игры довольно неохотно согласился взять на себя это обременительное дело, но, поразмыслив над ним и решившись оказать в нём посильную помощь, незамедлительно приступил к делу. Он предложил, чтобы Петра для пробы прислали к нему, с условием, однако, что с ним будут обращаться как с совершенно здоровым человеком и отпустят его в дорогу одного; Петру же Кнехт послал краткое, но любезное приглашение, прося юношу, если в Монпоре могут без него обойтись, ненадолго приехать в Вальдцель, и намекнул, что надеется получить у него некоторые сведения о последних днях старого Магистра музыки. После некоторого колебания монпорский врач согласился отпустить Петра, тому передали приглашение Кнехта, и, как Магистр правильно угадал, юноше, попав-

шему в столь бедственное положение, ничто не могло быть приятнее и полезнее, нежели как можно скорее покинуть место своих злоключений; поэтому Пётр сразу же согласился ехать, без лишних отговорок сытно позавтракал, получил проездное свидетельство и отправился в путь. В Вальдцель он прибыл в сносном состоянии, на его беспокойное и нервное поведение, по указанию Кнехта, никто здесь не обращал внимания, поместили его среди гостей Архива: с ним здесь не обращались ни как с наказанным, ни как с больным, не рассматривали его как человека особого, чем-то отличавшегося от всех остальных, а он был не настолько болен, чтобы не оценить эту успокоительную атмосферу и не воспользоваться представившейся возможностью вернуться к нормальной жизни. Правда, за несколько недель пребывания в Вальдцеле Пётр успел изрядно надоесть Магистру, который, создавая видимость постоянно контролируемой занятости для него, поручил ему записать последние музыкальные упражнения и уроки своего учителя и попутно велел давать ему мелкие, вспомогательные работы в Архиве. Его специально просили, если время ему позволяет, оказать помощь Архиву, сейчас там скопилось якобы много работы и не хватает

людей — одним словом, сбившегося с пути вернули на правильную стезю. Лишь после того, как он успокоился и стал выказывать явную готовность к повиновению, Кнехт начал проводить с ним краткие воспитательные беседы, дабы заставить его окончательно отказаться от безумной мысли, что фетишизация усопшего есть святое и допустимое в Касталии дело. Но так как Пётр всё же не мог без страха думать о возвращении в Монпор ему предложили, когда он по видимости вполне исцелился, место помощника учителя музыки в одной из младших школ элиты, где он вполне достойно себя вёл.

Можно было бы привести ещё немало примеров успешного вмешательства Кнехта в дело воспитания и врачевания душ, перечислить немало юных студентов, которых он мягкой властью своей индивидуальности так же отвоевал для жизни в истинно касталийском духе, как его самого в своё время завоевал *Magister musicae.* Все эти примеры показывают нам Магистра Игры не как раздвоенную личность, нет, они свидетельствуют о здоровье и равновесии. Нам только кажется, что любовное попечение почтенного Магистра о людях с неустойчивым нравом, подверженных соблазнам, вроде Петра

или Тегуляриуса, указывают на его чрезвычайную бдительность и отзывчивость к подобным заболеваниям касталийцев и предрасположению к ним, на не ослабевающее ни на миг, с первой минуты «пробуждения», и всегда неусыпное внимание Кнехта к проблемам и опасностям, заложенным в самой касталийской жизни. Его проницательной и мужественной натуре была чужда мысль — не замечать этих опасностей из легкомыслия или ради удобства, как это делало большинство его сограждан, и он никогда не придерживался тактики многих своих сотоварищей по Коллегии, которые знали об этих опасностях, но закрывали на них глаза. Он видел и понимал их, или, по крайней мере, некоторые, а основательное знание ранней истории Касталии заставляло его смотреть на жизнь среди этих опасностей как на борьбу, и он принимал и любил эту жизнь такой, какая она есть, между тем как многие касталийцы видели в своём сообществе и жизни только идиллию. Из трудов отца Иакова о бенедиктинском Ордене он составил себе представление, что Орден — это боевое содружество, а благочестие — воинствующий дух. «Нет, — заметил он однажды, — рыцарской и достойной жизни без знания о дьяволах и демонах

и без непрестанной борьбы с ними».

Открытая дружба между людьми, стоящими на самых высоких ступенях иерархии, — весьма редкое явление, поэтому нас нисколько не удивляет, что у Кнехта в первые годы магистерства не было дружественных отношений ни с кем из его коллег. Он испытывал тёплую симпатию к филологу-классику из Койпергейма и глубокое уважение к Верховной Коллегии в целом, но в этой сфере всё личное и частное было до такой степени выключено и объективировано, что за пределами совместной работы вряд ли существовала возможность более тесного сближения и дружбы. Но и это ему пришлось ещё испытать.

Мы не имеем доступа к секретному архиву Воспитательной Коллегии; о позиции и поведении Кнехта на её заседаниях и при голосовании нам известно лишь то, о чём можно сделать вывод из его случайных высказываний перед друзьями. В первые годы своего магистерства он не то чтобы всегда хранил молчание, но редко выступал с речами, разве только в тех случаях, когда сам был инициатором и вносил запросы. Доказано лишь одно: что он с поразительной быстротой усвоил традиционный тон обхождения, царивший на вершинах нашей иерархии, и с изяществом, бога-

той выдумкой и вкусом к игре пользовался этими формами. Как известно, верхушка нашей иерархии, Магистры и члены руководства Ордена, в общении друг с другом тщательно соблюдают определённый церемониал, но, мало того, существует у них, бог весть с каких пор, склонность, а может быть, и тайное предписание или правило игры, тем строже держаться в рамках самой утончённой вежливости, чем сильней расхождения в мнениях и чем важнее спорные вопросы, о которых идёт речь. Предполагалось, что эта имеющая давние истоки вежливость, наряду с присущими ей прочими функциями, несёт в первую очередь функции защитной меры: изысканно вежливый тон дебатов не только предохранял спорящих от чрезмерно страстного увлечения и помогал сохранять полное самообладание, но, кроме того, защищал достоинство Ордена и Коллегий, облачая его в мантию церемониала и в покровы святости, так что в этой столь часто высмеиваемой студентами утрированной вежливости было зерно здравого смысла. Предшественник Кнехта, Магистр Томас фон дер Траве, особенно изумлял всех этим искусством. Кнехта нельзя назвать его прямым последователем, ещё менее — его подражателем, он скорей был учеником китайцев, его

куртуазные манеры были менее изощрёнными и ироничными. Но и он среди своих коллег пользовался славой человека, которого никто не мог превзойти в вежливости.

Беседа

Итак, мы достигли в рассказе той точки, когда всё наше внимание должно сосредоточиться на переменах, происшедших в жизни Магистра в последние годы: в итоге их Магистр Кнехт покинул свой пост и Провинцию, перешагнул в иную жизненную сферу, где он и встретил свой конец. Невзирая на то, что до самого своего ухода из Вальдцеля он с примерным усердием выполнял свои обязанности и до последнего дня пользовался любовью и уважением своих учеников и коллег, мы с этой минуты отказываемся продолжать рассказ о его дальнейшей деятельности в должности Магистра, ибо видим уже, что он в глубине души пресытился ею и весь обратился к иным целям. Он перерос круг тех возможностей, которые занимаемый им пост давал для приложения его сил, дошёл до грани, когда великие натуры сходят с пути традиций и покорного подчинения и, доверяя высшей, неизречённой власти, с полной ответственностью вступают на новый путь, никем не предуказанный, никем не проторённый. Когда он это осознал, он стал тщательно изучать и трезво оценивать своё

положение и возможности его изменить. В неслыханно молодом возрасте он достиг таких высот, о каких только мог мечтать одарённый и честолюбивый касталиец, и достиг он их не благодаря честолюбию или особым происка́м, а ничего не домогаясь, не подлаживаясь ни к кому, почти против своей воли, ибо незаметная, независимая, не скованная должностными обязанностями жизнь учёного больше отвечала бы его собственным желаниям. Он далеко не одинаково ценил высокие блага и полномочия, ставшие его уделом, а иные отличия или признаки власти, связанные с его саном, очень скоро ему наскучили. Особенно обременительны ему казались его обязанности в Верховной Коллегии, что не мешало ему относиться к ним с величайшей добросовестностью. Даже самая непосредственная, самая своеобразная, единственно на него возложенная задача — подготовка и отбор достойнейших адептов Игры, — хотя временами и приносила ему большую радость и хотя избранники его гордились своим ментором, постепенно становилась для него не столько удовольствием, сколько обузой. Больше всего радости и удовлетворения доставляли ему преподавание и воспитание, причём он убедился на опыте, что и радость и успех были тем больше,

чем моложе были его ученики. Он воспринимал как лишение и жертву то обстоятельство, что его должность принуждала его к общению не с детьми и подростками, а исключительно с юношами и взрослыми. Но постепенно, за годы магистерства, накопились у него и другие соображения, наблюдения и догадки, заставившие его критически взглянуть на собственную деятельность и на кое-какие явления жизни в Вальдцеле, а также убедиться в том, что деятельность его на посту Магистра тормозит развитие его самых лучших и богатых творческих сил. Кое-что об этом известно любому из нас, а кое о чём можно лишь строить догадки. Вопрос о том, был ли Магистр Кнехт по существу прав в стремлении освободиться от тягот своего поста, в желании посвятить себя менее заметной, но зато более плодотворной работе, в своей критике положения дел в Касталии, вопрос о том, следует ли его рассматривать как предтечу и смелого борца или, напротив, как некоего мятежника и даже дезертира, — эти вопросы мы затрагивать не берёмся, ибо они обсуждались более чем достаточно; спор об этом на долгое время разделил Вальдцель, да и всю Провинцию, на два лагеря и всё ещё не окончательно заглох. Признавая себя благодарными

почитателями великого Магистра, мы всё же не будем выражать своё мнение по этому поводу: высказывания и суждения о личности и жизни Йозефа Кнехта, рождённые тем спором, ещё будут обобщены. Мы не намерены ни судить, ни обращать кого-либо, мы хотим лишь с наибольшей достоверностью поведать историю конца нашего глубокочтимого Магистра. Это, собственно, даже не совсем история, мы скорей назвали бы её легендой, отчётом, составленным на основе подлинных сообщений и просто слухов, в том виде, в каком они, стекаясь из чистых и мутных источников, обращаются среди нас, младших обитателей Провинции.

Йозефа Кнехта уже занимали мысли о путях его освобождения, когда перед ним нежданно предстал некогда такой знакомый, но теперь наполовину забытый друг юношеских лет — Плинио Дезиньори. Этот вольнослушатель Вальдцеля, отпрыск старинной фамилии, имевшей заслуги перед Провинцией, который стяжал известность как депутат и публицист, однажды совершенно непредвиденно явился в Верховную Коллегию по делам службы. Как это делалось каждые два года, была вновь избрана правительственная комиссия для ревизии касталийского

бюджета, и Дезиньори стал одним из членов этой комиссии. Когда он впервые выступил в этой роли на заседании правления Ордена в Хирсланде, Магистр Игры тоже находился там; встреча произвела на него сильное впечатление и не осталась без последствий, кое-что мы знаем об этом от Тегуляриуса, а также от самого Дезиньори, каковой в эту не совсем ясную для нас пору своей жизни опять стал другом и поверенным Кнехта. Первая встреча после длившегося десятилетиями забвения произошла, когда докладчик, как обычно, представил Магистрам господ из вновь образованной комиссии. Услышав имя Дезиньори, наш Магистр был поражён и даже пристыжен, что не узнал с первого взгляда товарища своей юности. Отбросив официальные церемонии и формальные приветствия, он дружески протянул Дезиньори руку и внимательно взглянул ему в лицо, пытаясь доискаться, какие перемены помешали ему узнать старого друга. Во время заседания взор его часто останавливался на столь знакомом некогда лице. Между тем Дезиньори обратился к нему на «вы» и назвал его Магистерским титулом, и Кнехту пришлось дважды просить называть его по-прежнему и опять перейти на «ты», прежде чем Дезиньори

на это решился. Кнехт помнил Плинио темпераментным и весёлым, общительным и блестящим юношей, это был успевающий ученик и вместе с тем светский молодой человек, который чувствовал своё превосходство над далёкими от жизни касталийцами и порой забавлялся тем, что вызывал их на споры. Некоторое тщеславие было ему, пожалуй, не чуждо, но характер он имел открытый, не мелочный, и большинству своих сверстников казался занятным, обаятельными и любезным, а кое-кого даже ослеплял своей красивой внешностью, уверенностью манер и ароматом чего-то неведомого, который исходил от этого пришельца из другого мира. Многие годы спустя, уже к концу своего студенчества, Кнехт встретился с Дезиньори снова, и тот показался ему плоским, огрубелым, полностью лишённым прежнего обаяния, словом, разочаровал его. Они расстались смущённо и холодно. Теперь Дезиньори опять явился ему совсем другим. Прежде всего, он уже простился с молодостью, утратил или подавил в себе прежнюю живость, тягу к общению, спорам, обмену мыслями, свой энергичный, увлекающийся и такой открытый нрав. То, что при встрече со своим давнишним другом он умышленно не привлёк к себе внимания Магистра, не

поздоровался первым, а когда их представили, только нехотя, лишь после сердечных уговоров обратился к нему на «ты» — всё его поведение, взгляд, манера говорить, черты его лица и жесты свидетельствовали о том, что на смену былому задору, открытости, окрылённости пришли сдержанность или подавленность, известная замкнутость и самообуздание, нечто похожее на судорожную покорность, а возможно, просто усталость. Потонуло и угасло юношеское очарование, но вместе с ним и черты поверхностной и чересчур навязчивой светскости — их тоже не стало. Изменился весь облик этого человека, его лицо казалось теперь более чётко очерченным и отчасти опустошённым, отчасти облагороженным написанным на нём страданием. И пока Магистр следил за переговорами, внимание его всё время было приковано к этому лицу, и он не переставал гадать, какого рода страдание могло до такой степени завладеть этим темпераментным, красивым и жизнерадостным человеком и оставить такой след. Это было какое-то чуждое, незнакомое Кнехту страдание, и чем больше он размышлял о причинах его, тем большая приязнь и сочувствие притягивали его к страдальцу, и в этом сочувствии, в этой любви ему слышался

тихий внутренний голос, подсказывавший, что он в долгу перед своим печальным другом и должен что-то исправить. Предположив и тотчас же откинув возможные причины грусти Плинио, он затем подумал: страдание на этом лице — не низменного происхождения, но благородное и, возможно, трагическое страдание, выражение у него такие, какого никогда не встретишь в Касталии; он вспомнил, что он уже видывал такое выражение, не на лицах касталийцев, а только у людей мирских, но никогда ещё оно не было столь волнующим и столь притягательным, как у Плинио. Кнехту случалось видеть подобное выражение на портретах людей прошлого, учёных или художников, на чьих лицах лежал трогательный, не то болезненный, не то роковой отпечаток грусти, одиночества и беспомощности. Магистр, с его тонким художественным чутьём к тайнам выразительности, с его острой отзывчивостью прирождённого воспитателя к особенностям характера, уже давно приобрёл некоторый опыт в физиогномике, которому он, не превращая его в систему, инстинктивно доверял; так он различал специфически касталийский и специфически мирской смех, улыбку и весёлость, и точно так же специфически мирские страдания или печаль.

И вот эта-то мирская грусть, казалось, проступала теперь на лице Дезиньори, причём столь сильная и яркая, словно лицо это должно было воплотить и сделать зримыми тайные муки и страдания многих людей. Лицо это испугало, потрясло Кнехта. Ему казалось знаменательным не только то, что мир прислал сюда именно его утраченного друга и что Плинио и Йозеф, как бывало в ученических словопрениях, теперь и в самом деле достойно представляли один — мирскую жизнь, другой — Орден; ещё более важным и символическим казалось ему, что в лице этого одинокого и омрачённого печалью человека мир на сей раз прислал в Касталию не свою улыбку, не свою жажду жизни, не радостное сознание власти, не грубость, а наоборот, своё горе и страдание. И это опять пробудило в нём новые мысли, и он отнюдь не порицал Дезиньори за то, что тот скорее избегал, чем искал Магистра, и только постепенно, как бы превозмогая трудные препятствия, приближался к нему и раскрывался перед ним. Впрочем — и это, разумеется, помогло Кнехту — его школьный товарищ, сам воспитанник Касталии, оказался не придирчивым, раздражительным, а то и вовсе недоброжелательным членом, какие иногда попадались в столь важной

для Касталии комиссии, а принадлежал к почитателям Ордена и покровителям Провинции, которой мог оказать кое-какие услуги. Правда, от участия в Игре он уже много лет как отказался.

У нас нет возможности подробно рассказать, каким путём Магистр мало-помалу вернул себе доверие друга; каждый из нас, зная его спокойный и светлый нрав, его ласковую учтивость, мог бы объяснить это себе по-своему. Магистр упорно добивался дружбы Плинио, а кто мог долго устоять перед Кнехтом, если тот чего-нибудь сильно желал?

Наконец, через несколько месяцев после их первой встречи в Коллегии, Дезиньори, в ответ на неоднократные приглашения Магистра, согласился посетить Вальдцель, и однажды осенью, в облачный, ветреный день, они вдвоём отправились на прогулку по тем местам, где протекали их школьные годы и годы дружбы, — по полям, то залитым солнцем, то лежащим в тени; Кнехт был ровен и весел, а его спутник и гость — молчалив и беспокоен; как и окрестные поля, по которым попеременно пробегали солнце и тени, он судорожно переходил от радости встречи к печали отчуждения. Невдалеке от селения они вышли из экипажа и пошли пешком по знакомым дорогам,

где гуляли когда-то вместе, будучи школьниками; они вспоминали некоторых товарищей, учителей, отдельные тогдашние свои беседы. Дезиньори весь день прогостил у Кнехта и тот позволил ему, как обещал, быть свидетелем всех его распоряжений и работ этого дня. К вечеру — гость собирался на следующее утро рано уезжать — они сидели вдвоём у Кнехта в гостиной, вновь связанные почти такой же близкой дружбой, как бывало прежде. День, когда он час за часом мог наблюдать работу Магистра, произвёл на гостя сильное впечатление. В тот вечер между ними произошла беседа, которую Дезиньори, вернувшись домой, тотчас же записал. Хотя в этой записи содержатся некоторые подробности, не имеющие особого значения, и иному читателю не понравится, что ими прерывается нить нашего стройного повествования, мы всё же намерены передать здесь эту беседу в том виде, как она была записана.

— Так много мне хотелось тебе показать, — начал Магистр, — да вот, не удалось. Например, мой прекрасный сад… — ты ещё помнишь магистерский сад и посадки Магистра Томаса? — да и многое другое. Надеюсь, мы ещё найдём для этого подходящий часок. Всё же со вчерашнего дня ты

смог освежить кое-какие воспоминания и получить представление о роде моих обязанностей и о моей повседневной жизни.

— Я благодарен тебе за это, — ответил Плинио. — Я только сегодня вновь начал понимать, что, собственно, представляет собой ваша Провинция и какие удивительные и великие тайны она хранит в себе, хотя все эти годы разлуки я гораздо больше думал о вас, чем ты, быть может, полагаешь. Ты позволил мне сегодня заглянуть в твою жизнь и работу, Йозеф, и я надеюсь, не в последний раз; мы ещё часто будем беседовать с тобой обо всём, что я здесь видел и о чём я пока ещё не в состоянии судить. С другой стороны, я чувствую, что твоё доверие обязывает также и меня; я знаю, что моя замкнутость должна была показаться тебе странной. Что ж, и ты меня как-нибудь посетишь и увидишь, чем я живу. Сегодня я могу тебе поведать лишь очень немногое, ровно столько, сколько надо, чтоб ты мог опять составить суждение обо мне, да и мне такая исповедь принесёт некоторое облегчение, хотя будет для меня отчасти наказанием и позором.

Ты знаешь, что я происхожу из патрицианской семьи, имеющей заслуги перед страной и сохраняющей дружеские отношения с вашей

Провинцией, из консервативной семьи помещиков и высших чиновников. Видишь, уже эта простая фраза образует пропасть между тобой и мной! Я говорю «семья» и имею в виду нечто обыкновенное, само собой разумеющееся и односмысленное, но так ли это? У вас, в вашей Провинции, есть Орден, иерархия, но семьи у вас нет, вы и не знаете, что такое семья, кровное родство и происхождение, вы не имеете понятия о скрытом и огромном очаровании и мощи того, что называется семьёй. Так вот, то же самое относится, в сущности, к большинству слов и понятий, в которых выражается наша жизнь: те из них, что для нас важны, для вас большей частью лишены значения, многие вам просто непонятны, а другие имеют совсем иной смысл, чем у нас. И поди тут объяснись друг с другом! Знаешь, когда ты мне что-нибудь говоришь, мне кажется, что передо мной иностранец; правда, иностранец, чей язык я в юности изучал и даже владел им, так что большинство слов я понимаю. Но у тебя это совсем не так: когда я обращаюсь к тебе, ты слышишь язык, выражения которого знакомы тебе лишь наполовину, а оттенки и тонкости и вовсе неведомы; ты слышишь рассказы о жизни людей, о форме существования, тебе далёкой; в

основном, эти истории, если они даже занимают тебя, остаются тебе полностью или наполовину непонятными. Вспомни наши бесконечные словесные поединки и разговоры в школьные годы; с моей стороны это было не что иное, как попытка, одна из многих, привести в согласие мир и язык Провинции с моим миром и языком. Ты был самым отзывчивым, самым доброжелательным и честным из всех, в отношении кого я такие попытки предпринимал, ты храбро отстаивал права Касталии, но не оставался равнодушным и к моему, другому миру, и к его правам, во всяком случае, ты его не презирал. Тогда мы сошлись довольно близко. Но к этому мы ещё вернёмся.

Он помолчал с минуту, задумавшись, и Кнехт осторожно сказал:

— Не так уж плохо обстоит дело с взаимопониманием. Конечно, два народа и два языка никогда не смогут так глубоко понять друг друга, как два человека, принадлежащие к одной нации и говорящие на одном языке. Но это не причина, чтобы отказываться от взаимопонимания и общения. Между соплеменниками тоже существуют свои преграды, мешающие друг друга понять, — преграды образования, воспитания, одарённости, индивидуальности. Можно утверждать, что

любой человек на земле принципиально способен дружески разговаривать с любым другим и понимать любого другого человека, и можно, наоборот, утверждать, что на свете вообще не существует двух людей, между которыми возможно полное, безраздельное, близкое общение и взаимопонимание, — и то и другое будет одинаково верно. Это инь и ян, день и ночь, и оба правы, и то и другое надо порой вспоминать, и я отчасти признаю твою правоту; ведь и я, разумеется, не думаю, что мы оба когда-либо до конца постигнем друг друга. Но будь ты и впрямь европейцем, а я китайцем, говори мы на разных языках, мы и тогда, при наличии доброй воли, могли бы очень многое поведать друг другу и сверх того очень многое угадать и почувствовать. Во всяком случае, мы попытаемся это сделать.

Дезиньори кивнул и продолжал:

— Я хочу сначала рассказать тебе то немногое, что необходимо знать, дабы ты получил некоторое понятие о моём положении. Итак, прежде всего — семья, высшая сила в жизни молодого человека, независимо от того, признаёт он её или нет. Я ладил со своей семьёй, пока был вольнослушателем вашей элитарной школы. Весь год мне привольно жилось у вас, на каникулах,

дома, со мной носились и баловали меня как единственного сына. Мать я любил нежной, даже страстной любовью, и единственно разлука с нею причиняла мне боль при каждом отъезде из дому. С отцом меня связывали более прохладные, но вполне дружеские отношения, по крайней мере, в детские и юношеские годы, когда я учился у вас; он был исконным почитателем Касталии и гордился тем, что я воспитываюсь в элитарной школе и приобщён к столь возвышенному занятию, как Игра в бисер. В моём пребывании у родителей во время каникул всегда была приподнятость и праздничность, моя семья и я сам видели друг друга, так сказать, только в парадных одеждах. Порой, уезжая домой на каникулы, я жалел вас, остающихся, лишённых подобного счастья. Мне незачем много распространяться о том времени, ты меня знал тогда лучше, чем кто-либо другой. Я был почти касталийцем, только немного чувственнее, грубее и поверхностнее, но я был окрылён и полон счастливого задора и энтузиазма. То была счастливейшая пора моей жизни, о чём я тогда, конечно, не подозревал, ибо в те годы, когда я жил в Вальдцеле, я мнил, что счастье и расцвет всей моей жизни начнутся лишь после того, как, окончив вашу школу, я вер-

нусь домой и, вооружившись обретённым у вас превосходством, завоюю широкий мир. Вместо этого после нашей разлуки с тобой в жизни моей начался разлад, длящийся по сей день; я вступил в борьбу, из которой я, увы, не вышел победителем. Ибо на сей раз родина, к которой я вернулся, состояла не из родительского дома, она отнюдь не ждала меня с распростёртыми объятиями и не спешила преклониться перед моим вальдцельским превосходством, да и в родительском доме вскоре пошли разочарования, трудности и диссонансы. Я это заметил не сразу, меня защищала моя наивная доверчивость, моя мальчишеская надежда на себя и на своё счастье, защищала и внедрённая вами мораль Ордена, привычка к медитации. Но какое разочарование и протрезвление принесла мне высшая школа, где я хотел изучать политическую экономию! Тон обращения, принятый у студентов, уровень их общего образования и развлечений, личность некоторых профессоров — как резко всё это отличалось от того, к чему я привык в Касталии! Ты помнишь, как я некогда защищал свой мир против вашего, как, не жалея красок, превозносил цельную, наивную, простую жизнь. Пусть я заслужил за это возмездие, друг мой, но, поверь, я достаточно

жестоко наказан. Ибо, если эта наивная, простая жизнь, управляемая инстинктами, эта детскость, эта невинная невышколенная гениальность и существовали ещё где-то, среди крестьян, быть может, или ремесленников, или где-нибудь ещё, то мне не удалось её ни увидеть, ни, тем паче, к ней приобщиться. Ты помнишь также, не правда ли, как я в своих речах осуждал надменность и напыщенность касталийцев, этой изнеженной и надутой касты с её кастовым духом и высокомерием избранных. Но оказалось, что в миру люди чванились своими дурными манерами, своим скудным образованием и громогласным юмором, своей идиотски-хитрой сосредоточенностью на практических, корыстных целях нисколько не меньше, они не менее считали себя в своей узколобой естественности неоценимыми, любезными богу и избранными, чем самый аффектированный примерный ученик вальдцельской школы. Одни глумились надо мной и хлопали по плечу, другие отвечали на мою чуждую им касталийскую сущность открытой, ярой ненавистью, которую низкие люди всегда питают ко всему возвышенному и которую я решил принять как отличие.

Дезиньори прервал свой рассказ и посмотрел

на Кнехта, проверяя, не утомил ли он его. Он встретил взгляд друга и прочёл в нём глубокое внимание и симпатию, которые подействовали на него благотворно и успокаивающе. Он видел, что собеседник захвачен его исповедью, слушает не так, как слушают пустую болтовню или даже занимательную историю, а крайне сосредоточенно, с тем исключительным вниманием и отдачей, как это обычно бывает при медитации, причём с чистейшей искренностью и добротой, выражение которой в глазах Кнехта его тронуло, таким сердечным, почти детским оно ему показалось; его изумило это выражение в лице человека, чьим многогранным повседневным трудом, чьей мудрой распорядительностью и авторитетом он восхищался сегодня весь день. И он продолжал с облегчением:

— Я не знаю, была ли моя жизнь бесполезной, простым недоразумением, или же она имела смысл. Если смысл и был, он заключался в том, что конкретный человек, человек нашего времени, на себе познал и пережил самым ощутимым и болезненным образом, насколько Касталия отдалилась от своей родной страны, или, скажем, наоборот: насколько наша страна стала чужой, изменила своей благороднейшей Провинции

и её духу, какая пропасть разделяет у нас тело и дух, идеал и действительность, как мало они друг друга знают и желают знать. Если у меня и была в жизни задача, был идеал, он состоял в том, чтобы синтезировать в себе оба принципа, стать посредником, истолкователем и миротворцем между ними. Я попытался это сделать и потерпел поражение. А поскольку я не могу рассказать тебе о своей жизни всё, да ты бы её всё равно до конца и не понял, покажу тебе лишь одну из ситуаций, характерную для крушения моих планов. Самая главная трудность моего положения в первые годы обучения в университете была не в том, чтобы отбиваться от поддразниваний и враждебных выходок, ставших моим уделом как касталийца и примерного студента. Те немногие из моих новых товарищей, которым моё обучение в школах элиты импонировало как привилегия и сенсация, причиняли мне даже больше хлопот и ставили меня в более затруднительное положение, чем прочие. Нет, самым трудным, самым невозможным оказалось, пожалуй, продолжать среди мирян жизнь по касталийским принципам. Вначале я этого почти не ощущал, я держался привитых мне в Касталии навыков. Некоторое время мне казалось, что удастся и

здесь ими руководствоваться, что они укрепляют и защищают меня, поддерживают во мне бодрость и нравственное здоровье, подкрепляют моё намерение одному, самостоятельно прожить студенческие годы по возможности в касталийском духе, в одиночку удовлетворять свою жажду знаний и не дать столкнуть себя в университетскую рутину, стремящуюся только в возможно более краткий срок возможно основательней напичкать студента знаниями для профессии, для заработка ради куска хлеба и задушить в нём малейший проблеск свободолюбия и универсальности. Но броня, надетая на меня Касталией, оказалась опасной и ненадёжной, ибо я не намеревался покорно, словно отшельник, сохранять мир в своей душе и созерцательное спокойствие, я хотел завоевать весь свет, понять его и заставить его понять себя, я хотел его принять и по возможности обновить и улучшить, я хотел в себе самом объединить и примирить Касталию с остальным миром. Когда я после испытанного разочарования, споров, волнений погружался в медитацию, это всякий раз было благодеянием, разрядкой, вздохом облегчения, возвратом к добрым, дружественным силам. Но со временем я стал замечать, что именно это погружение в

себя, это поклонение духу, эти упражнения ещё более меня изолируют, делают столь неприятно чужим для окружающих и лишают меня самого способности по-настоящему их понять. И я убедился, что по-настоящему понять их, мирских людей, я смогу лишь тогда, когда стану таким же, как они, когда у меня по сравнению с ними не будет никаких преимуществ, даже прибежища в самопогружении. Возможно, что я несколько приукрашиваю этот процесс, представляя его в таком именно виде. Возможно, даже вероятно, что я, не имея равных по воспитанию и культуре товарищей, лишённый контроля менторов и защитной, целительной атмосферы Вальдцеля, просто утерял привычку к дисциплине, сделался ленив и невнимателен, стал обыкновенным рутинёром и в минуты, когда меня мучила совесть, оправдывал себя тем, что рутина — один из атрибутов здешнего мира и она помогает мне лучше понимать окружающих. Я вовсе не хочу ничего приукрашивать, но не хочу также отрицать или скрывать и того, что я прилагал большие усилия, был полон благих стремлений и боролся даже тогда, когда был неправ. Для меня всё это было весьма важно. Но была ли моя попытка понять мирскую жизнь и найти себе в ней место только

воображаемой или нет, так или иначе, произошло неизбежное: мир оказался сильнее меня, он постепенно обломал и поглотил меня; словно жизнь поймала меня на слове и полностью уравняла с тем миром, правильность, наивность, силу и бытийственное превосходство которого я так прославлял и яростно отстаивал в наших вальдцельских спорах, отрицая твою логику. Ты это помнишь, конечно.

А теперь я хочу напомнить тебе кое-что другое, что ты, быть может, давно забыл, потому что для тебя это не имело значения. Для меня же это было очень важно — важно и ужасно. Миновали мои студенческие годы, я приспособился, побеждённый, но не сломленный; наоборот, в глубине души я всё ещё числил себя в вашем стане и верил, что я, в том или ином случае приспособляясь к обстоятельствам и отклоняясь от прямого пути, действую добровольно, руководимый житейской мудростью, а не по приказу победителей. Я всё ещё крепко цеплялся за некоторые привычки и потребности юношеских лет, в том числе за Игру в бисер, что, по-видимому, имело мало смысла, ибо без постоянных упражнений и без общения с равными и даже превосходящими тебя партнёрами нельзя ничему научиться, а игра в одиночку

может возместить настоящую лишь в той мере, в какой монолог может заменить разговор с собеседником. И вот, не отдавая себе как следует отчёта, что со мной происходит, сохранил ли я своё искусство в Игре, свои познания и всё, привитое мне Вальдцелем, я всё же старался спасти эти ценности или хотя бы часть их; когда я набрасывал некую схему игры одному из своих тогдашних товарищей, которые пытались высказать своё мнение об Игре в бисер, совершенно не понимая её духа, или анализировал какой-нибудь ход, этим полным невеждам казалось, что я занимаюсь колдовством. На третий или четвёртый год студенчества я принял участие в курсе Игры в Вальдцеле, и встреча со знакомыми местами, с городком, со старой школой, с Селением Игры доставила мне горькую радость; тебя в ту пору не было, ты учился где-то в Монпоре или Койпергейме и слыл изрядным чудаком. Курс, в котором я принял участие, был всего лишь каникулярным курсом для нас, бедных мирян и дилетантов, и всё же мне пришлось основательно потрудиться, и я был горд, получив к концу самую обыкновенную «тройку», ту самую «удовлетворительную» оценку, которая давала его обладателю право вновь принять участие в таких каникулярных курсах.

Прошло ещё несколько лет, я ещё раз собрался с силами, записался опять на каникулярные курсы, руководимые твоим предшественником, и работал не покладая рук, чтобы хоть в какой-то степени оказаться достойным Вальдцеля. Я перечитал свои старые записи, попытался вновь поупражняться в самоконцентрации, словом, соответственно настроенный и сосредоточенный, я своими скромными средствами готовился к каникулярному курсу, как настоящие мастера Игры готовятся к большим ежегодным состязаниям. Я прибыл в Вальдцель, где после нескольких лет отсутствия почувствовал себя ещё более чужим, но и более очарованным, будто вернулся на прекрасную утраченную родину, чей язык уже стал забывать. На этот раз исполнилось моё горячее желание повидаться с тобой. Помнишь ли ты это, Йозеф?

Кнехт серьёзно заглянул ему в глаза, кивнул и слегка улыбнулся, но не произнёс ни слова.

— Ладно, — продолжал Дезиньори, — ты, значит, вспомнил. Но о чём ты, собственно, вспомнил? О мимолётном свидании с однокашником, о краткой встрече и разочаровании; идёшь своим путём и не думаешь больше об этой встрече, разве только тебе не очень вежливо напомнят

о ней через десятки лет. Разве не так? Разве всё было иначе, и встреча эта значила для тебя нечто большее?

Он был сильно взволнован, хотя явно старался овладеть собой; казалось, он хотел облегчить душу, излив всё, что в ней накопилось за долгие годы и чего он не мог в себе побороть.

— Ты забегаешь вперёд, — заговорил Кнехт очень мягко. — Чем эта встреча была для меня, я скажу, когда придёт мой черёд и я буду перед тобой держать ответ. А пока слово принадлежит тебе, Плинио. Вижу, та встреча не была тебе приятна. Да и мне — тоже. А теперь рассказывай дальше, как всё тогда было. Говори без околичностей!

— Попытаюсь, — ответил Плинио. — Упрекать тебя я не намерен. Должен даже признать, что ты держался со мною вполне корректно, чтобы не сказать больше. Когда я нынче принял твоё приглашение приехать в Вальдцель, куда я после того вторичного каникулярного курса более не наведывался, даже ещё раньше, когда я согласился войти в комиссию, направленную сюда, у меня была цель встретиться и объясниться с тобой по поводу той встречи, — всё равно, будет ли это нам обоим приятно или нет. Слушай дальше.

Приехал я на каникулярный курс, и поместили меня в доме для гостей. Участники курса были все примерно моего возраста, некоторые даже гораздо старше; нас набралось едва двадцать человек, большей частью касталийцы, но либо плохие, безразличные, отставшие любители Игры, либо же начинающие, которым с большим опозданием пришла в голову мысль поверхностно познакомиться с Игрой. Я почувствовал большое облегчение, убедившись, что среди них нет ни одного знакомого мне человека. Руководитель нашего курса, один из работников Архива, усердно взялся за дело и был весьма любезен, но всё наше обучение с самого начала носило характер чего-то второсортного и никому не нужного, чего-то вроде курса штрафников, чьи случайно и наспех собранные участники столь же мало верят в подлинный смысл и успех, как и сам учитель, хотя никто не произносит этого вслух. Невольно напрашивался вопрос: зачем съехалась сюда эта горсточка людей, зачем они добровольно взялись за дело, к которому у них не лежит душа, интерес к которому недостаточно силён, чтобы придать им необходимую выдержку, не говоря уж о готовности к жертвам? И зачем учёный муж тратит силы на уроки и упражнения, от которых

он и сам вряд ли ожидает больших успехов? Тогда я этого не знал, а гораздо позже узнал от опытных людей, что мне с этим курсом просто не повезло, что несколько иной состав мог бы сделать его более живым, содержательным и даже вдохновляющим. Порой достаточно, так сказали мне позднее, найтись двум участникам, способным зажечь друг друга или же ранее знакомым и близким, чтобы воодушевить весь курс, всех его участников и преподавателей. Ты ведь сам — Магистр Игры, тебе это должно быть известно. Итак, мне не повезло, в нашей случайной группе не оказалось животворного ядра, её не сумели ни зажечь, ни окрылить, это был и остался вялый повторный курс для взрослых школьников. Шли дни, и с каждым из них росло разочарование. Но ведь помимо Игры был ещё и Вальдцель, место священных и бережно хранимых воспоминаний, и если курс меня не удовлетворял, всё же оставалась радость возврата к родному дому, общение с товарищами прежних дней, возможно, свидание с тем товарищем, о котором остались самые богатые и самые сильные впечатления и который для меня более чем кто-либо другой олицетворял нашу Касталию: с тобой, Йозеф! Если бы я вновь увидел нескольких школьных друзей, если бы я

во время прогулок по прекрасным, столь любимым местам опять встретил добрых духов моей юности, если бы ты, например, вновь приблизился ко мне и из наших разговоров, как в прежние годы, родились бы споры, не столько между тобой и мной, сколько между моей касталийской проблемой и мной самим, тогда не жаль было бы ни потерянного времени, ни неудачного курса, ни прочего.

Первые два товарища по школе, встретившиеся мне в Вальдцеле, были молодые люди без претензий, они мне обрадовались, хлопали по плечу и задавали ребяческие вопросы о моей таинственной мирской жизни. Несколько других были не столь простодушны, они были обитателями Селения Игры и принадлежали к младшему поколению элиты; они не ставили наивных вопросов, а здоровались со мной, когда мы встречались в одном из покоев твоего святилища и не было возможности избежать встречи, с утончённой, несколько натянутой вежливостью, даже приветливо, но не переставая подчёркивать свою занятость важными и недоступными моему пониманию делами, недостаток времени, любопытства, участия и желания возобновить старое знакомство. Что ж, я им не навязывался,

а оставил их в покое, в их олимпийском, ясном, насмешливом касталийском покое. Я взирал на них, на их заполненный бодрой деятельностью день, как заключённый за решёткой или как бедняк, голодающий и угнетённый, взирает на аристократов и богачей, весёлых, красивых, образованных, благовоспитанных, прекрасно отдохнувших, с выхоленными лицами и руками.

Но вот появился ты, и радость и новые надежды вспыхнули во мне, когда я тебя увидел. Ты шёл по двору, и узнал тебя сзади по походке и тотчас же окликнул по имени. «Наконец-то человек, — подумал я, — наконец-то друг, возможно, противник, но человек, с которым можно поговорить, пусть даже архикасталиец, но такой, у кого касталийская суть не превратилась в маску и броню, человек, способный понять другого!» Ты не мог не заметить, как я обрадовался и как много я от тебя ждал, и ты в самом деле пошёл мне навстречу с изысканной учтивостью. Ты ещё помнил меня, я ещё для тебя что-то значил, тебе доставило радость вновь увидеть моё лицо. И ты не ограничился этим кратким радостным приветствием во дворе, а пригласил меня к себе, посвятил, пожертвовал мне вечер. Но что это был за вечер, дорогой Кнехт! Как мы оба мучительно

тщились казаться оживлёнными, разговаривать друг с другом вежливо, почти по-товарищески, и как тяжко было нам при этом тянуть вялый разговор от одной темы к другой. Хотя твои коллеги были ко мне равнодушны, но с тобою мне было куда горше, эти мучительные и бесплодные потуги склеить былую дружбу причиняли куда более острую обиду. Тот вечер навсегда положил конец моим иллюзиям, мне с беспощадной ясностью дали понять, что я не товарищ и не единомышленник, не касталиец, не равный по рангу, а докучливый, навязчивый болван, невежественный чужак и то, что разочарование и нетерпение были так безупречно замаскированы, ранило меня сильнее всего. Если бы ты меня бранил или упрекал, если бы ты осуждал меня: «Во что ты превратился, дружище, как ты мог столь низко пасть?» — я был бы счастлив, и лёд был бы сломан. Но ничего подобного! Я увидел, что не принадлежу больше к Касталии, что пришёл конец моей любви к вам, моим занятиям Игрой, нашей дружбе с тобой. Репетитор Кнехт принял в Вальдцеле надоедливого визитёра, промучился и проскучал с ним целый вечер, а потом с самой безукоризненной вежливостью выставил его за дверь.

Дезиньори, пытаясь побороть волнение, прервал свой рассказ и с искажённым мукой лицом взглянул на Магистра. Тот сидел, весь превратившись в слух, но сам нимало не взволнованный, и смотрел на старого друга с улыбкой тёплого участия. Плинио не прерывал молчания, и Кнехт не спускал с него взора, полного доброжелательства, с выражением удовлетворённости, даже радости на лице, и друг с минуту или дольше выдерживал этот взор, мрачно глядя перед собой.

— Тебе смешно? — воскликнул Плинио горячо, но без гнева. — Тебе смешно? Ты считаешь всё это в порядке вещей?

— Должен признаться, — улыбнулся Кнехт, — что ты великолепно изобразил эту сцену, просто великолепно, всё происходило именно так, как ты описал; и может быть, остатки обиды и осуждения в твоём голосе были необходимы, чтобы показать и с таким совершенством вновь оживить её в моей памяти. К тому же, хотя ты, к сожалению, ещё смотришь на всё прежними глазами и кое-чего ещё не успел забыть, ты объективно и правильно изобразил положение двух молодых людей в несколько томительной ситуации: оба они вынуждены были притворяться, и один из них, а именно ты, совершил

вдобавок ошибку, силясь скрыть подлинные страдания под показной развязностью, вместо того чтобы сбросить с себя маску. Создаётся даже впечатление, что ты ещё и ныне больше винишь меня в безрезультатности той встречи, нежели себя, хотя как раз от тебя зависело повернуть всё по-иному. Неужели ты в самом деле этого не замечал? Но изобразил ты всё, надо сказать, превосходно. Я действительно вновь ощутил подавленность и смущение, владевшие мною в тот странный вечер, минутами казалось, что мне опять трудно сохранять самообладание и что мне немного стыдно за нас обоих. Да, твой рассказ точен вполне. Чистое удовольствие услышать такое.

— Что ж, — ответил Плинио, несколько удивлённый, и в голосе его ещё звучали отголоски обиды и недоверия, — отрадно, что мой рассказ позабавил хоть одного из нас. Мне, да будет тебе известно, было тогда отнюдь не до шуток.

— Но теперь, — возразил Кнехт, — теперь-то ты видишь, какой забавной должна нам показаться эта история, не принёсшая лавров ни одному из нас? Нам остаётся только посмеяться над ней.

— Посмеяться? Но почему?

— Потому, что эта история об экс-касталийце

Плинио, который добивается участия в Игре и признания со стороны своих бывших товарищей, давно исчерпана и основательно забыта, точно так же, как история о вежливом репетиторе Кнехте, который, вопреки всем касталийским Правилам, не сумел скрыть своего смущения перед свалившимся ему как снег на голову Плинио, настолько, что ещё сегодня, через много лет, он видит себя как в зеркале. Повторяю, Плинио, у тебя хорошая память, и ты прекрасно всё рассказал, я бы так не смог. Счастье, что история эта исчерпана и мы можем над ней посмеяться.

Дезиньори был озадачен. Он чувствовал, что в хорошем расположении духа Магистра есть нечто для него, Плинио, приятное и сердечное, что нет в нём и следа издёвки; он чувствовал также, что весёлость эта скрывает нечто глубоко серьёзное, но, рассказывая, он вновь пережил всю горечь былого, к тому же рассказ его настолько напоминал исповедь, что он был не в силах резко изменить тон.

— Ты, должно быть, забываешь, — начал он нерешительно, хотя наполовину уже убеждённый, — что для меня и для тебя всё рассказанное мною имело неодинаковое значение. Для тебя это было, самое большее, неприятностью, для меня

же — поражением, провалом и, кстати сказать, началом важного перелома в моей жизни. Когда я, не закончив курса, покинул Вальдцель, я решил никогда сюда не возвращаться и был близок к тому, чтобы возненавидеть Касталию и всех вас. Я растерял свои иллюзии, убедился, что не имею больше ничего общего с вами, да и прежде, по-видимому, был к вам совсем не так близок, как воображал, и не хватало очень немногого, чтобы я превратился в ренегата и вашего смертельного врага.

Друг смотрел на него весело и в то же время проницательно.

— Разумеется, — сказал он, — и обо всём этом, надеюсь, ты мне ещё скоро расскажешь. Но на сегодняшний день положение наше, как мне кажется, таково. В ранней юности мы дружили, потом расстались и пошли разными путями, потом опять встретились, это было во время тех злополучных каникулярных курсов; ты наполовину, а может быть, и совсем стал мирянином, я же — несколько самонадеянным жителем Вальдцеля, озабоченным исключительно касталийскими канонами, и вот об этой разочаровавшей нас встрече, которой мы оба стыдимся, мы сегодня вспомнили. Мы вновь уви-

дели себя и своё тогдашнее замешательство, и мы вынесли это зрелище и теперь можем посмеяться над собой, ибо сегодня всё обстоит совершенно иначе. Не скрою также, что впечатление, произведённое на меня тогда твоей особой, и в самом деле привело меня в большое замешательство, это было, безусловно, неприятное, отрицательное впечатление, я просто не знал, о чём с тобой разговаривать, ты показался мне поразительно, неожиданно и раздражающе незрелым, грубым, мирским. Я был молодым касталийцем, не знавшим, да, собственно, и не желавшим знать мирской жизни, а ты — что ж, ты был молодым чужаком, и я не мог, в сущности, понять, для чего ты явился, зачем участвовал в курсе Игры, ибо, судя по всему, в тебе не сохранилось ничего от ученика элитарной школы. Ты действовал мне тогда на нервы, точно так же, как я тебе. Я, конечно, показался тебе высокомерным жителем Вальдцеля, не имеющим никаких заслуг, но силившимся сохранить дистанцию между собой и некасталийцем, дилетантом Игры. Ты же был для меня варваром, недоучкой, питавшим вдобавок, без достаточного на то основания, досадные, сентиментальные притязания на интерес и дружбу с моей стороны. Мы оборонялись друг от друга, мы

почти возненавидели один другого. Нам ничего не оставалось, как разойтись, ни один из нас не мог ничего дать другому. И ни один не был способен признать правоту другого.

Но сегодня, Плинио, мы наконец вправе извлечь из глубины памяти со стыдом погребённое воспоминание о той встрече, мы вправе посмеяться над этой сценой и над собой, ибо сегодня мы пришли друг к другу совсем с иными намерениями и возможностями, без сентиментального умиления, но и без подавленного чувства ревности и ненависти, без самомнения — ведь мы давно уже стали оба мужчинами.

Дезиньори улыбнулся с облегчением. Но тут же опять спросил:

— А мы уверены в этом? Ведь добрая воля была у нас и тогда.

— Согласен, — улыбнулся в ответ Кнехт. — И, несмотря на эту добрую волю, мы невыносимо терзали и утомляли и инстинктивно не выносили друг друга, один казался другому далёким, назойливым, чужим и отвратительным, и только воображаемый долг и общность заставляли нас целый час играть эту мучительную комедию. Я понял всё это очень ясно сразу же после твоего отъезда. В то время мы ещё не изжили до конца

ни былой дружбы, ни былого соперничества. Вместо того чтобы дать им умереть, мы сочли себя обязанными откопать и продлить их любыми средствами. Мы чувствовали себя должниками и не знали, чем же оплатить свой долг. Разве это не так?

— Мне кажется, — в задумчивости возразил Плинио, — что ты и сейчас ещё, пожалуй, чрезмерно вежлив. Ты говоришь «мы оба», но ведь не оба же мы искали и не могли найти друг друга. Поиски, любовь — всё это было только с моей стороны, а отсюда и моё разочарование, и боль. Что в твоей жизни изменилось, спрашиваю я тебя, после нашей встречи? Ничего! Для меня же это был глубокий, болезненный надлом, — вот почему я не могу, подобно тебе, просто посмеяться над этой историей.

— Извини, — примирительно заметил Кнехт, — я, пожалуй, поторопился. Но всё же я надеюсь, что со временем я и тебя заставлю смеяться вместе со мной. Это верно, ты был тогда уязвлён — не мною, правда, как ты думал и, кажется, продолжаешь думать, а лежавшими между тобой и Касталией отчуждением и пропастью, которую мы в годы нашей дружбы как будто перешагнули, но которая вдруг, неожиданно, ужасающе широко и

глубоко разверзлась между нами. Поскольку ты меня считаешь виновным, прошу тебя, выскажи открыто своё обвинение.

— Ах, обвинением это назвать нельзя. Это только жалоба. Тогда ты её не расслышал, да и сейчас, думается, не хочешь слышать. И тогда ты отвечал на неё своей вежливой улыбкой, и сегодня поступаешь точно так же.

Хотя Плинио читал во взгляде Магистра дружбу и расположение, он не мог выкинуть из памяти старое; ему казалось, что необходимо наконец высказаться и покончить с этой давней и глубоко запрятанной болью.

Выражение лица Кнехта ничуть не изменилось. Он немного подумал, а потом мягко сказал:

— Я только сейчас, кажется, начинаю тебя понимать, мой друг. Возможно, ты прав, и нам надо и это обсудить. Но прежде всего я должен тебе напомнить: только в том случае ты имел бы право требовать от меня понимания того, что ты называешь своей жалобой, если бы ты действительно эту жалобу высказал. Но ведь тогда, во время нашей вечерней беседы в доме для гостей, ты не высказывал никаких жалоб, наоборот, ты, как и я, разговаривал надменно и развязно, подобно мне, прикидывался человеком беспечным, кото-

рому не о чем печалиться. Но втайне ты ожидал, как я сейчас вижу, что, несмотря на это, я угадаю твою скрытую жалобу и увижу под маской твоё истинное лицо. Верно, кое-что можно было и тогда заметить, хотя не всё. Но как я мог, не задевая твоей гордости, дать тебе понять, что ты меня беспокоишь, что я тебя жалею? Да и что пользы было протягивать тебе руку, если она была пуста, если я ничего не мог дать тебе, ни совета, ни утешения, ни дружбы, ибо пути наши слишком далеко разошлись. Да, тогда это скрытое недовольство и горе, которое ты прятал под самоуверенными речами, не нравились, мешали мне, казались, откровенно говоря, отталкивающими; в них чувствовались притязания на участие и сострадание, чему всё твоё поведение явно противоречило, в нём было что-то навязчивое, что-то ребяческое. Так мне казалось, и это остужало мои чувства. Ты предъявлял претензию на мою дружбу, ты хотел быть касталийцем, но был при этом столь несдержанным, странным, столь погружённым в свои эгоистические переживания! Таково было моё суждение, ибо я отлично видел, что касталийского в тебе почти ничего не сохранилось, ты явно забыл даже основные каноны. Что ж, это меня не касалось. Но зачем ты тогда явился в Вальдцель

и пожелал приветствовать нас как товарищей? Вот что вызывало во мне раздражение и противодействие, и ты был совершенно прав, поняв мою подчёркнутую вежливость как отпор. Да, я инстинктивно давал тебе отпор, и не потому, что ты был мирянином, а потому, что ты притязал на звание касталийца. Когда же ты после долгих лет отсутствия недавно появился здесь снова, в тебе ничего подобного больше не ощущалось, ты выглядел мирянином и говорил, как говорят пришельцы из внешнего мира, но особенно поразило и тронуло меня выражение печали, заботы или горя на твоём лице. Всё это — твоё поведение, слова, даже грусть твоя — меня подкупало, было прекрасно, шло тебе, было тебя достойно, ничто уже не вызывало досаду, я мог принять и одобрить тебя без малейшего противоречия; на сей раз не требовалось ни подчёркнутой вежливости, ни сдержанности, вот почему я сразу встретил тебя как друга и всячески старался выразить тебе свою любовь и сочувствие. На сей раз всё сложилось не так, как тогда, скорее я искал твоей дружбы и добивался её, а ты замкнулся в себе, но всё же я про себя воспринял твоё появление в нашей Провинции и твой интерес к её судьбе как знак привязанности и верности. В конце кон-

цов и ты пошёл мне навстречу, и вот теперь мы можем открыть друг другу душу и, хочу верить, возобновить нашу былую дружбу.

Ты только что сказал, что очень болезненно пережил тогда нашу юношескую встречу, для меня же она якобы была безразлична. Не будем об этом спорить, пусть ты прав. Но теперешняя наша встреча, *amice,* далеко мне не безразлична, она значит для меня гораздо больше, нежели я могу тебе сегодня поведать и нежели ты можешь себе представить. Она значит для меня, уж если говорить начистоту, не только новообретение утраченного друга и тем самым воскрешение минувших времён, откуда я могу почерпнуть новую энергию для новых преображений. Она значит для меня, прежде всего, зов, шаг навстречу, она открывает передо мной путь в ваш мир, ставит меня вновь перед старой проблемой: синтеза между нами и вами. И происходит это, поверь, в самую подходящую для меня минуту. На сей раз я не останусь глух, ухо моё стало отзывчивей, чем когда бы то ни было, ибо ты меня, в сущности, не застал врасплох, зов твой не кажется чем-то чуждым, пришедшим извне, перед чем можно открыться или замкнуться, он как бы исходит из самого меня, это как бы ответ на сильное и

всё более настойчивое желание, на нужду мою и страстную мою тоску. Но об этом в другой раз, уже поздно, нам обоим нужен отдых. Ты говорил недавно о моей весёлости и о своей печали и решил, кажется, что я не способен понять твою, как ты её называешь, «жалобу» — даже сегодня, ибо я отвечаю на неё улыбкой. Тут я чего-то не понимаю. Почему нельзя выслушать жалобу весело, почему на неё, вместо улыбки, нужно отвечать тоже печалью? Ты со своими заботами, со своей бедой опять пришёл в Касталию, ко мне, и я вправе заключить из этого, что тебя притягивает именно наша безмятежная ясность духа. Если я не могу разделить с тобой твои печали и горести и заразить себя ими, из этого отнюдь не следует, что я не уважаю их и не отношусь к ним серьёзно. Я полностью принимаю твой облик и печать, наложенную на него твоей жизнью и судьбой, это твоя доля, она — твоя, и она мила мне и дорога, хоть я и надеюсь увидеть её изменившейся. Как возник такой облик, я могу лишь догадываться, когда-нибудь ты мне расскажешь ровно столько, сколько сочтёшь нужным, умолчав об остальном. Я вижу только одно: тебе, как видно, живётся тяжко. Но откуда ты взял, что я не хочу и не могу правильно понять тебя и твои горести?

Лицо Дезиньори снова потемнело.

— Порой мне кажется, — проговорил он мрачно, — что мы не только по-разному выражаем свои мысли и говорим на разных языках, причём перевести один на другой можно лишь приблизительно, но что мы вообще будто два вовсе различных существа, которые никогда не будут в состоянии понять друг друга. И кто из нас, в сущности, настоящий, полноценный человек — ты или я, а может быть, ни ты, ни я — всегда останется для меня спорным. Было время, когда я взирал на вас, членов Ордена, снизу вверх, с трепетом, испытывая чувство своей неполноценности, и завидовал вам, вечно исполненным светлой радости, вечно играющим, вечно наслаждающимся собственным бытием, смотрел на вас, как на богов, недоступных страданию, как на сверхчеловеков. В другие дни вы мне казались достойными то жалости, то презрения, бесполыми, искусственно обречёнными на вечное детство, ребячливыми и ребяческими в своём бесстрастном, тщательно отгороженном, чистенько убранном игрушечном мирке, наподобие детского сада, где заботливо вытирают каждому нос, где укрощают и подавляют всякое недозволенное движение чувства или мысли, где всю жизнь

играют в пристойные, неопасные, бескровные игры, где любой здоровый проблеск жизни, любое большое чувство, любую истинную страсть, любое волнение сердца контролируют и врачуют медитацией, отгоняют и обезвреживают. Разве это не искусственный, стерилизованный и по-школьному ограниченный мир, половинчатый и призрачный, в котором вы здесь трусливо прозябаете, мир без пороков и страстей, без голода, без соков и соли, мир без семьи, без материнской ласки, без детей, почти без женщин? Жизнь чувственную вы обуздываете медитацией, рискованные и головоломные вещи, за которые трудно нести ответственность, каковы хозяйство, судопроизводство, политика, вы уже многие поколения предоставляете другим; малодушные, благополучные, не знающие ни забот о куске хлеба, ни слишком обременительных обязанностей, вы ведёте паразитическое существование и от скуки забавляетесь своими учёными изысканиями, подсчитываете слоги и буквы, занимаетесь музыкой и Игрой, а в это время там, в мирской грязи, несчастные, затравленные люди живут настоящей жизнью и делают настоящее дело.

Кнехт слушал его с неослабным, дружеским вниманием.

— Милый друг, — проговорил он задумчиво, — как же твои слова напоминают мне наши школьные годы, твою тогдашнюю запальчивую критику! Но сегодня роль у меня не та, что тогда, не моя задача сегодня защищать Орден и Провинцию от твоей хулы, и мне очень приятно, что я избавлен от этой тягостной обязанности, которая в своё время доводила меня до полного изнеможения. Именно такие блестящие атаки, как предпринятая тобой сейчас, отражать довольно трудно, ты, например, говоришь о людях, которые там, за пределами Касталии, «живут настоящей жизнью и делают настоящее дело». Это звучит категорически, возвышенно и искренне, почти как аксиома, и если бы кто захотел поспорить против этой аксиомы, ему пришлось бы просто невежливо напомнить оратору, что его мирское «настоящее дело» отчасти направлено на благо и поддержание Касталии. Но оставим на время шутки! Я понимаю из твоих слов и слышу по твоему тону, что сердце твоё всё ещё полно ненависти к нам, но в то же время и отчаянной любви, зависти и страстной тоски. Мы для тебя — трусы, трутни или дети, забавляющиеся в детском саду, но было время, когда ты видел в нас богов, исполненных радостной ясности. Один

вывод я могу, во всяком случае, сделать из сказанного тобою: в твоей печали, в твоих несчастьях, или как бы мы их ни называли, Касталия неповинна, они происходят из другого источника. Если бы виноваты были мы, касталийцы, ты не стал бы сегодня повторять те же самые упрёки и возражения, какие ты приводил в спорах наших мальчишеских лет. В дальнейших беседах ты мне расскажешь больше о себе, и я не сомневаюсь, что мы найдём способ сделать тебя веселее и счастливее или хотя бы сделать твоё отношение к Касталии свободнее и терпимей. Насколько я могу судить до сих пор, твоё отношение к нам, к Касталии и, следовательно, к собственной молодости и школьным годам — ложное, натянутое, сентиментальное. Ты расколол собственную душу надвое: на касталийскую и мирскую, ты чрезмерно мучаешься из-за дел, за которые на тебя не падает никакая ответственность. И вполне возможно, что ты слишком легко относишься к другим делам, за которые ты как раз сам встаёшь. Подозреваю, что ты уже давно не упражнялся в медитации. Ведь правда? Дезиньори улыбнулся вымученной улыбкой.

— Как ты проницателен, *domine*! Давно, говоришь? Уже много, много лет, как я не прибегаю

к волшебству медитации. Но до чего ты вдруг стал ко мне заботлив! В последний раз, когда я был в Вальдцеле на каникулярных курсах и встретил с вашей стороны столько вежливости и презрения, когда вы столь высокомерно отвергли мои дружеские чувства, я вернулся домой с твёрдым решением раз и навсегда вытравить из себя всё касталийское. С той поры я отказался от Игры, от медитации, даже музыка надолго мне опротивела. Вместо этого я нашёл себе новых товарищей, преподавших мне полный курс мирских увеселений. Мы бражничали и распутничали, мы испробовали все доступные способы самоодурманивания, мы оплёвывали и осмеивали всё благопристойное, благообразное, имеющее касательство к идеалам. Такое неистовство, естественно, длилось не так уж долго, но достаточно, чтобы стереть с меня последний налёт касталийского духа. И когда я спустя годы в связи с одним случаем понял наконец, что хватил через край и что кое-какие приёмы медитации мне бы очень пригодились, я был уже слишком горд, чтобы начинать сызнова.

— Слишком горд? — тихо спросил Кнехт.

— Да, слишком горд. Я за это время успел окунуться в мирскую жизнь и стать мирянином.

Я уже не хотел ничем отличаться от мирян, не хотел иной жизни, нежели их жизнь, полная страстей, ребяческая, жестокая, необузданная, мятущаяся между счастьем и страхом жизнь; я с презрением отверг возможность создать для себя облегчённое, привилегированное бытие с помощью ваших средств.

Магистр бросил на него пронзительный взгляд:

— И ты мог выдержать такую жизнь много лет подряд? И не испытал никаких других средств, чтобы совладать с нею?

— О да, — признался Плинио, — я пытался и пытаюсь применить эти средства ещё сейчас. Бывают дни, когда я опять напиваюсь, и большей частью я не могу уснуть без кое-каких одуряющих средств.

На мгновение Кнехт, будто внезапно утомясь, закрыл глаза, потом снова впился взглядом в лицо друга. Молча смотрел он ему в лицо, сначала испытующе и серьёзно, затем всё приветливее, дружелюбнее и веселее. Дезиньори заметил, что никогда ещё не встречал человеческих глаз, которые были бы одновременно столь проницательными и столь полными доброты, столь невинными и взыскующими, столь ясно благо-

желательными и всеведущими. Он признавался, что взор этот вначале смущал и раздражал его, но постепенно успокоил и в конце концов покорил своей мягкой силой. Всё же он ещё сделал попытку защищаться.

— Ты сказал, — заметил он, — что знаешь средство сделать меня счастливей и радостней. Но тебе и в голову не пришло спросить, хочу ли я этого.

— Ну, — засмеялся Кнехт, — если мы можем сделать человека более счастливым и радостным, мы в любом случае обязаны добиться этого, не ожидая, когда нас об этом попросят. Да и как ты можешь не стремиться к этому, не желать этого! Для того ты и здесь, для того и сидим мы опять друг против друга, для того ты и вернулся к нам. Ты ненавидишь Касталию, ты презираешь её, ты слишком гордишься своей обмирщенностью и своей скорбью, чтобы решиться облегчить своё положение посредством разума и медитации — и всё-таки тайное и неодолимое стремление к нам и к нашей ясности вело и влекло тебя все эти годы, покуда в конце концов не принудило тебя вернуться и ещё раз попытать счастье у нас. И я заверяю тебя: на сей раз ты явился в самое время, в такое время, когда я и сам очень томился,

ожидая, что меня позовут из вашего мира, что откроется передо мной дверь в него. Но об этом в следующий раз! Ты мне кое-что доверил, друг, и я благодарен тебе за это; ты увидишь, что и я должен кое в чём тебе исповедаться. Уже поздно, завтра рано утром ты уезжаешь, меня снова ждёт трудный день, нам пора спать. Но подари мне ещё четверть часа.

Он встал, подошёл к окну и поднял глаза вверх, туда, где между бегущими тучами тянулись просветы чистого ночного неба, усыпанного звёздами. Так как он не сразу повернулся, гость тоже встал и шагнул к окну. Магистр стоял, глядя вверх, ритмическими глотками вдыхая прохладный воздух осенней ночи. Он указал рукой на небо:

— Взгляни, — сказал он, — на эти облака с просветами неба! Поначалу кажется, что глубина там, где темнее всего, но тотчас же начинаешь понимать, что этот мрак и рыхлость — всего только облака, а мировое пространство со своими глубинами начинается у берегов и фьордов этих облачных гор, уходя в бесконечность, где торжественно светят звёзды, для нас, людей, являющие высочайший символ ясности и порядка. Глубина вселенной и её тайны не там, где тучи и мрак, глубина в прозрачном и радостном. Прошу тебя,

перед сном посмотри немного на эти бухты и проливы со множеством звёзд и не отгоняй мыслей или мечтаний, которые при этом посетят тебя.

Странное, трепетное чувство, непонятно — муки или счастья, шевельнулось в сердце Плинио. Такими же словами, вспомнил он, его когда-то, в незапамятные времена, на прекрасной, светлой заре его юности, в первые годы ученья в Вальдцеле, призывали к начальным медитационным упражнениям.

— И позволь заметить ещё одно, — тихим голосом снова заговорил Магистр Игры. — Я хотел бы сказать тебе несколько слов о ясности, о ясности звёзд и духа, а равным образом о нашей касталийской ясности. У тебя недоброе отношение к ясности, надо полагать потому, что тебе суждено было идти путём скорби, и теперь всякая бодрость и хорошее расположение духа, в особенности же наши, касталийские, кажутся тебе проявлением немощи и ребячливости, а равно и трусости, бегством от ужасов и бездн жизни в ясный, упорядоченный мир пустых форм и формул, пустых абстракций и причуд. Но, печальный мой друг, пусть и вправду наблюдается у нас это бегство от жизни, пусть нет недостатка в трусливых, боязливых, жонглирующих пустыми

формулами касталийцах, пусть они у нас даже в большинстве — у истинной ясности, будь то ясность небес или ясность духа, это не отнимет ни ценности, ни блеска. Рыцарям поверхностного благодушия и ложной ясности противостоят люди и поколения людей, чья ясность — не игра в видимость, а серьёзна для них и глубока. Одного такого я знал: это наш бывший Магистр музыки, ты его время от времени встречал в Вальдцеле; этот человек в последние годы своей жизни в такой мере обладал добродетелью ясности, что весь лучился ею, как солнце лучится светом, одаривая всякого своей благожелательностью и жизнерадостностью, своим добрым расположением духа, верой и доверием; и все, кто проникновенно воспринимал это сияние и вбирал его в себя, излучали его дальше на других. И меня тоже осиял его свет, и мне он уделил толику своей ясности и внутреннего блистания, так же, как нашему Ферромонте и некоторым другим. Достигнуть такой ясности было бы для меня, а со мною и для многих других, высшей и благороднейшей целью. Ты можешь встретить её и в некоторых отцах нашего Ордена. Эта ясность — не блажь и не самоуслаждение, она высшее познание и любовь, приятие любой действительности, бодрствова-

ние на краю всех бездн и пропастей, добродетель святых и рыцарей, она неразрушима, и с годами, с приближением смерти только возрастает. В ней — тайна прекрасного и подлинная субстанция всех искусств. Поэт, славящий в танцующем беге своих стихов величие и ужас жизни, или музыкант, заставляющий прозвучать чистое бытие, есть светописец, делающий мир радостнее и прозрачнее, даже если он ведёт нас через слёзы и мучительное напряжение. Быть может, поэт, чьи стихи столь нас восхищают, был печален и одинок, быть может, музыкант был угрюмым мечтателем, но его творение всё равно причастно ясности богов и звёзд. Дарит он нам уже не свой мрак, не свою боль и робость, но каплю чистого света, вечной ясности. И когда целые народы в мифах, космогониях, религиях силятся измерить глубину мирозданья, последнее и наивысшее, до чего они доходят, есть всё та же ясность. Припомни древних индийцев, о которых так хорошо рассказывал некогда наш вальдцельский преподаватель: ведь это был народ страданий, раздумий, самоистязания, аскезы, но последние взлёты его духа были преисполнены света и ясности, ясной была улыбка преодолевших мир будд, ясность отмечала образы его бездонной

мифологии. Мир, как его изображают эти мифы, предстаёт в своём начале божественным, блаженным, лучезарным, первозданно-прекрасным, как золотой век; затем он заболевает и портится, всё больше и больше впадает в грубость и убожество и к концу четырёх всё ниже спускающихся мировых веков он готов распасться и погибнуть под ногами танцующего и смеющегося Шивы; но это не конец, всё начинается сызнова с улыбкой сновидца Вишну, который играющей рукой творит новый, юный, прекрасный, сияющий мир. Ты только подумай: этот народ, проницательный, способный страдать как никакой другой, с ужасом и стыдом взирал на жестокую игру мировой истории, на вечно вращающееся колесо вожделения и страдания, он разглядел и уразумел всю хрупкость вещей, всю дьявольскую ненасытность человека, но также и его глубокую тоску по чистоте и гармонии, и он нашёл для выражения мировой красоты и мирового трагизма эти несравненные притчи о мировых веках и распаде мироздания, о грозном Шиве, в пляске сокрушающем дряхлый мир, и об улыбке Вишну, который покоится в дремоте и из золотых божественных снов, играя, творит новый мир.

Что касается нашей собственной касталийской

ясности, то её можно рассматривать как позднюю и малую разновидность той великой ясности, но и эта разновидность, бесспорно, имеет право на существование. Учёность не всегда и не везде была праздничной, хотя и должна быть таковой. У нас она в качестве культа истины тесно связана с культом красоты и, сверх того, с медитативным воспитанием души, по каковой причине не может окончательно утратить праздничной ясности. Но Игра объединяет все три начала: науку, поклонение красоте и медитацию, а потому подлинный адепт Игры должен быть весь пропитан ясностью, как спелый плод сладким соком, и, прежде всего, он должен носить в себе ясность музыки, которая есть не что иное, как отвага, как бодрое, улыбчивое, танцующее шествие сквозь ужасы и огни мира, как жертвоприношение. Эта ясность была моей целью с тех времён, когда я школьником и студентом только начал о ней догадываться, и я никогда её не предам, будь то в несчастье и страданиях.

Теперь пора спать, а завтра утром ты уедешь. Возвращайся поскорей, расскажешь мне побольше о себе, и мне тоже будет что рассказать, ты увидишь, что и в Вальдцеле, и в жизни Магистра есть свои диссонансы и разочарования, что и ему

ведомы отчаяние и бездны. Но сейчас ты ещё должен насытить слух музыкой, возьми её в свой сон. Взгляд на звёздное небо и слух, вобравший в себя музыку перед отходом ко сну, не в пример лучше, чем все твои снотворные.

Он сел и медленно, совсем тихо сыграл фразу из той сонаты Перселла, которую так любил отец Иаков. Словно капли золотого света, падали звуки в безмолвие, так тихо, что в промежутках слышна была песня старинного фонтана во дворе. Нежно и строго, скупо и сладостно встречались и переплетались голоса прозрачной музыки, отважно и бодро вели они свой любовный хоровод сквозь Ничто времени и бренности, на краткий срок своей жизни придавая комнате и ночному часу безмерность мироздания, и когда Йозеф Кнехт прощался с Плинио, у гостя было совсем другое, просветлённое лицо, а в глазах стояли слёзы.

Приготовления

Кнехту удалось сломить лёд, и между ним и Дезиньори возникло живое и благотворное для обеих сторон общение. Плинио, проживший долгие годы в разочарованной меланхолии, вынужден был теперь признать правоту друга: в самом деле, тоска по исцелению, по бодрости, по касталийской ясности влекла его в Педагогическую провинцию. Он стал часто приезжать сюда, не входя уже ни в какие комиссии, встречаемый Тегуляриусом с ревнивым недоверием, и вскоре Магистр Кнехт знал о Плинио и о его жизни всё, что ему надобно было знать. Жизнь эта не была столь необычайной и сложной, как мог предполагать Кнехт по первоначальным признаниям друга. Исполненный в юности энтузиазма и жажды деятельности, Плинио скоро, как мы уже знаем, изведал разочарования и унижения. Он не сделался миротворцем и посредником между внешним миром и Касталией, а остался одиноким угрюмым чужаком и так и не смог добиться синтеза мирских и касталийских свойств своего происхождения и характера. И всё же он не был просто неудачником, но обрёл в поражении и

капитуляции, несмотря ни на что, собственное лицо и своеобычную судьбу. Воспитание, полученное в Касталии, не оправдало возлагавшихся на него надежд, во всяком случае вначале оно не принесло ему ничего, кроме конфликтов и разочарований, глубокой и мучительной для его природы отчуждённости и одиночества. И раз ступив на этот усыпанный терниями путь человека одинокого и неприспособленного, он и сам делал всё, дабы усугубить свою отчуждённость и встречавшиеся ему трудности. Ещё будучи студентом, он, например, вступил в непримиримый конфликт со своей семьёй, прежде всего с отцом. Последний, не принадлежа к числу истинных политических лидеров, всю жизнь оставался, подобно всем Дезиньори, столпом консервативной, верноподданнической политики и партии, врагом любых новшеств, противником любых притязаний со стороны обездоленных на их долю прав; он привык относиться с недоверием к людям без имени и положения и был готов на жертвы ради сохранения старого порядка, ради всего, что казалось ему законным и священным. Поэтому он, не испытывая особой потребности в религии, оставался верным сыном церкви и поэтому же, не будучи лишён чувства справед-

ливости, благожелательности и потребности творить добро, упрямо и убеждённо сопротивлялся попыткам арендаторов улучшить своё положение. Эту жестокость он оправдывал, по видимости логично, ходовыми программными словечками своей партии, но в действительности им руководили не убеждения и доводы, но слепая верность своим собратьям по сословию и своим родовым традициям, ибо характер его слагался из некоего рыцарственного культа чести и благородства и нарочитого пренебрежения ко всему, что почитает себя современным, передовым и прогрессивным.

Такой человек, разумеется, не мог не почувствовать разочарования, возмущения и злобы, узнав, что его сын Плинио в бытность студентом сблизился с некой откровенно оппозиционной и прогрессистской партией и вступил в неё. В ту пору образовалось левое, молодёжное крыло старинной буржуазно-либеральной партии, которую возглавил некто Верагут, публицист, депутат, блестящий трибун, темпераментный, по временам немного самовлюблённый и самоуспокоенный друг народа и свободолюбец, чьи публичные выступления по университетским городам и борьба за умы студенческой моло-

дёжи не остались безуспешными и привели к нему среди прочих восторженных слушателей и приверженцев молодого Дезиньори. Юноша, разочаровавшийся в высшей школе, искавший новой опоры, какой-нибудь замены касталийской морали, которая потеряла для него смысл, искавший другого идеала, другой программы, увлёкся докладами Верагута, пришёл в восхищение от его пафоса и боевого духа, от его остроумия, его разоблачительного тона, его красивой внешности и речи: Плинио примкнул к студенческой группе, состоявшей из слушателей Верагута и полностью принявшей его сторону и его цели. Когда об этом узнал отец Плинио, он немедля отправился к сыну и, крайне разгневанный, впервые в жизни сурово отчитал его. Он обрушился на сына, обвиняя его в крамоле, в измене отцу, семье и традициям рода и безапелляционно приказал ему тотчас же исправить свои ошибки и порвать связь с Верагутом и его партией. Это был, разумеется, не совсем удачный метод воздействия на юношу, которому собственная позиция предстала теперь в ореоле мученичества. Плинио спокойно выслушал отповедь отца и заявил, что не для того он десять лет посещал элитарную школу и университет, чтобы отказать-

ся от собственных взглядов и самостоятельных суждений, позволить клике своекорыстных землевладельцев навязывать ему взгляды на государство, экономику и справедливость. Ему пошла на пользу школа Верагута, который, по образцу всех великих трибунов, и в мыслях не имел никаких личных или сословных выгод, а стремился исключительно к чистой, абсолютной справедливости и человечности. Старик Дезиньори язвительно расхохотался и предложил сыну сперва закончить образование, а потом уже вмешиваться в мужские дела, и не воображать, будто он больше понимает в человеческой жизни и справедливости, нежели ряд поколений виднейших благородных семейств, чьим недостойным отпрыском он является и кому сейчас своим предательством наносит удар в спину. Они спорили, с каждым словом ожесточаясь, всё больнее оскорбляя друг друга, пока старик вдруг, как бы увидев в зеркале своё искажённое яростью лицо, не остановился, устыдившись, и в холодном молчании не вышел вон. С тех пор прежние близкие и тёплые отношения Плинио с семьёй никогда уже больше не возобновились, ибо он не только остался верен своей группе и её неолиберализму, но ещё до окончания курса

в университете сделался непосредственным учеником, помощником и соратником, а спустя несколько лет и зятем Верагута. Мало того что воспитывался Плинио в элитарных школах и лишь с трудом привыкал к жизни на родине и в миру (что немало мучило его и нарушало душевное равновесие) — новые обстоятельства окончательно поставили его в незащищённое, сложное и щекотливое положение. Безусловно, он приобрёл нечто ценное: некое подобие веры, политические убеждения и партийную принадлежность, что удовлетворяло его юношеское стремление к справедливости и прогрессу, а в лице Верагута — учителя, вождя и старшего друга, которого поначалу безоглядно любил и который, в свою очередь, нуждался в нём и ценил его. Кроме всего прочего, он обрёл и цель, сферу деятельности и жизненную задачу. Это было немало, но заплатить за это пришлось дорогой ценой. Если молодой человек примирился с потерей естественного для него унаследованного положения в родительском доме и среди собратьев по сословию, если с фанатической восторженностью мученика переносил изгнание из привилегированной касты и её вражду, то оставалось ещё нечто, с чем он не мог смириться, — гложущее его

чувство, что он причинил горе нежно любимой матери, поставив её в крайне тяжёлое положение между собой и отцом, и, возможно, сократил этим её дни. Она умерла вскоре после его женитьбы; с тех пор Плинио в доме отца почти не показывался, а после смерти старика даже продал его дом, старое фамильное гнездо.

Есть натуры, способные любить оплаченное жертвами место в жизни, будь то должность, брак, профессия, и именно из-за жертв так сжиться с этим местом, что оно приносит им счастье и удовлетворение. Дезиньори был человеком другого склада. Он, правда, остался верен своей партии и её вождю, её политическому направлению и деятельности, своему супружеству, своему идеалу; однако со временем всё это стало для него столь же сомнительным, сколь проблематично сделалось вдруг всё его существование. Юношеский задор в политике и во взглядах поугас, воинственность, основанная на сознании своей правоты, стала давать ему так же мало счастья, как жертвы и страдания, проистекавшие из упрямства. К этому присоединился и отрезвляющий опыт в профессиональной деятельности; в конце концов он начал подумывать, действительно ли только любовь к истине и справедливости

привлекли его на сторону Верагута, а что, ежели этому наполовину содействовали ораторский талант и характер народного трибуна, обаяние и мастерство публичных выступлений, звучный голос Верагута, великолепный, мужественный смех или ум и красота его дочери? Плинио всё более и более сомневался, действительно ли старый Дезиньори, с его верностью своему сословию, с его суровостью по отношению к арендаторам, защищал менее благородную точку зрения; он усомнился даже, существуют ли вообще добро и зло, правда и несправедливость, не является ли в конечном счёте собственная совесть единственным правомочным судьёй, а если так, то он, Плинио, не прав, ибо живёт он не в счастье, не в спокойствии и согласии с самим собой и окружающими, а в бесконечных сомнениях, в муках нечистой совести. Брак его хотя и не оказался вовсе несчастлив или неудачен, но был полон напряжённости, осложнений и противоречий; пожалуй, это было лучшее из всего, чем он обладал, но семейная жизнь не дарила ему того покоя, того счастья, ощущения невинности, чистой совести, в которых он так нуждался, а требовала большой осторожности и выдержки, стоила мучительных усилий. Даже хорошенький и очень

способный сын Тито скоро сделался объектом борьбы и дипломатии, ревности и попыток каждого из родителей перетянуть ребёнка на свою сторону; слишком любимый и избалованный обоими, мальчик всё более и более привязывался к матери и в конце концов совсем отошёл к ней. Это был последний, наиболее болезненно воспринятый удар, последняя утрата в жизни Дезиньори. Но и этот удар не сломил его, он сумел от него оправиться и нашёл в себе силы сохранить самообладание, держался достойно, что, однако, давалось ему с превеликим трудом, и от чего он впал в постоянную меланхолию.

Все эти подробности Кнехт узнавал от своего друга постепенно, во время его посещений и встреч с ним, взамен и он делился с Плинио собственными переживаниями и проблемами. Он никогда не позволял себе ставить Плинио в положение человека, который исповедался, а через час, иначе настроенный, уже жалеет об этом и хотел бы взять сказанное обратно, — напротив, он поддерживал и укреплял доверие Плинио собственной откровенностью и любовью. Малопомалу и его жизнь раскрылась перед Дезиньори, с виду простая, прямолинейная, образцово упорядоченная жизнь в рамках чёткой иерархии,

жизнь, преисполненная успехов и признания и всё же достаточно суровая, обильная жертвами, одинокая; если многое в этой жизни оставалось непонятным для человека извне, каким был Плинио, всё же ему были доступны её главные течения и основные тенденции, и ничего он не понимал лучше, ничему не сочувствовал больше, нежели тяге Кнехта к молодому поколению, к юным, ещё не вымуштрованным воспитанием ученикам, к скромной деятельности без внешнего блеска, без вечно тяготившего его представительства, тяге к тому, чтобы стать, скажем, учителем латыни или музыки где-нибудь в начальной школе. В полном согласии со своими методами исцеления и воспитания Кнехт сумел покорить этого своего пациента: не только своей необычной открытостью, но и внушив, что тот может послужить и помочь ему, и указывая, как это сделать. И Дезиньори в самом деле мог быть в некоторых отношениях полезен Магистру, не столько в главном вопросе, сколько удовлетворяя его любопытство и любознательность касательно разнообразнейших мелочей мирской жизни.

Почему Кнехт возложил на себя нелёгкую задачу заново научить меланхолического друга своей юности улыбаться и смеяться и могло ли здесь

играть какую-либо роль ожидание ответных услуг, нам неведомо. Дезиньори, который должен был знать об этом больше кого-либо иного, отвергал такую мысль. Впоследствии он рассказывал: «Когда я пытаюсь уяснить себе, какими средствами мой друг Кнехт сумел воздействовать на столь разочарованного и замкнувшегося в себе человека, как я, мне приходит на ум, что это основывалось прежде всего на волшебстве, и я должен прибавить, и на лукавстве. Он был куда большим лукавцем, чем подозревали окружавшие его люди, в нём было очень много игры, хитроумия, авантюрности, много вкуса к волшебству и притворству, к внезапным исчезновениям и появлениям. Я думаю, что уже при первом моем визите к касталийским властям он решил взять меня в плен, по-своему повлиять на меня, то есть пробудить меня и привести в хорошую форму. Во всяком случае, с первого же часа он старался привлечь меня к себе. Зачем он это делал, зачем взвалил на себя такое бремя — не могу сказать. Полагаю, что люди его склада действуют большей частью импульсивно, как бы рефлекторно, они чувствуют себя поставленными перед некой задачей, слышат зов о помощи и без колебаний идут на этот зов. Когда мы встретились, я был

недоверчив и запуган и нисколько не расположен броситься ему в объятия, а тем более просить о помощи; он нашёл меня, некогда столь откровенного и общительного друга, разочарованным и замкнувшимся, но именно это препятствие, эти большие трудности, по-видимому, и раззадорили его. Он не отставал, как я ни был сдержан, и наконец достиг того, чего желал. При этом он воспользовался искусным манёвром, приучая меня к мысли, что отношения наши основаны на взаимности, что его силы равны моим, его значение — моему, что он столько же нуждается в помощи, сколько и я. Уже при первой нашей более длительной беседе он намекнул, что якобы ожидал моего появления, что сильно желал его; он постепенно посвятил меня в свои намерения сложить с себя должность Магистра и покинуть Провинцию, причём постоянно давал мне понять, как много он ждёт от моего совета, моего содействия и молчания, ибо у него нет ни друзей, кроме меня, ни опыта в мирской жизни. Сознаюсь, мне было приятно слышать такие речи, и они немало содействовали тому, что я подарил ему полное своё доверие и до некоторой степени отдал себя в его руки; верил я ему беспредельно. Но в дальнейшем, с течением времени, всё

это вновь показалось мне подозрительным и неправдоподобным, и я уже не мог с уверенностью утверждать, действительно ли он чего-то ждёт от меня и чего именно, не знал, была ли его манера уловлять меня невинной или дипломатической, наивной или лукавой, чистосердечной или рассчитанной в согласии с законами игры. Он стоял настолько выше меня и сделал мне столько добра, что я вообще не отважился пускаться в подобные изыскания. Ныне, во всяком случае, я считаю его уверения, будто он в таком же положении, как и я, будто ему столь же необходимы моё сочувствие и готовность помочь, как мне, только данью учтивости, обнадёживающим и приятным внушением, с помощью которого он привязал меня к себе; не знаю только, в какой мере его игра со мной была сознательной, обдуманной и намеренной и в какой, вопреки всему, наивной и непроизвольной. Ибо Магистр Йозеф был великим артистом; с одной стороны, он был настолько подвержен непреодолимой страсти воспитывать, влиять, исцелять, помогать, развивать, что все средства казались ему хороши, с другой стороны, он просто не умел заниматься даже самым малым делом, не отдавшись ему сей душой. Несомненно одно: он тогда принял во мне

участие как друг, как великий врач и руководитель, больше не отпускал от себя и в конце концов пробудил и исцелил меня, насколько это вообще было возможно. Но вот что примечательно и очень похоже на него: создавая видимость, будто он принимает мою помощь в уходе из Касталии, спокойно, часто даже с одобрением выслушивая мои нередко резкие и наивные выпады, более того, издёвки и оскорбления по адресу Касталии, сам борясь за своё избавление от Провинции, он на деле лукаво возвратил меня к ней, он снова приучил меня к медитации, с помощью касталийской музыки и самопогружения, с помощью касталийской лености, касталийского мужества, он перевоспитал и пересоздал меня — при всём моём влечении к вам, столь некасталийского и антикасталийского человека; он вновь поднял меня до вашего уровня и мою несчастливую любовь к вам превратил в счастливую».

Так рассказывал Дезиньори, и у него, разумеется, были все основания для восхищения и благодарности. Пожалуй, мальчика или юношу не слишком трудно приучить к стилю жизни Ордена, при помощи наших давно испытанных методов, но очень сложно добиться такой цели, имея перед собой человека, достигшего пятиде-

сятилетия, даже если он охотно идёт навстречу. Не то чтобы Дезиньори стал истым, а тем более образцовым касталийцем… Но поставленную перед собой задачу Кнехт выполнил: он смягчил упорство, и горестную надрывность его печали, привёл его непомерно впечатлительную, впавшую в безволие душу к гармонии и ясности, искоренил у чего некоторые дурные привычки и привил хорошие. Разумеется, Магистр Игры не мог сам выполнить всех необходимых для этого мелких задач; он призвал на помощь ради почётного гостя аппарат и силы Вальдцеля и Ордена, на некоторое время, даже послал с ним в город наставника по медитации из Хирсланда, резиденции Ордена, для постоянного контроля за упражнениями Дезиньори на дому. Но план и руководство оставались в его руках.

Шёл восьмой год пребывания Кнехта в магистерской должности, когда он впервые уступил неоднократным настояниям друга и посетил его дом в столице. С разрешения Ордена, чей предстоятель, Александр, был с ним дружен, он использовал один из праздничных дней для этого посещения, от которого он ждал многого и которое он, несмотря на это, откладывал раз от разу в течение целого года: отчасти потому, что хотел

твёрже увериться в друге, отчасти из-за вполне понятного страха, ибо то был первый шаг его в мир, откуда его товарищ Плинио принёс свою застывшую печаль и где было скрыто от него столько важных тайн. Он посетил поставленный на современную ногу дом, на который его друг променял старинный особняк рода Дезиньори и где властвовала представительная, очень умная, сдержанная дама; дамой, в свою очередь, командовал хорошенький, шумный и довольно невоспитанный сынок, вокруг чьей особы, по-видимому, всё вертелось и который перенял у матери её властную, несколько унизительную манеру обращения с отцом. Здесь чувствовались холодок и недоверие ко всему касталийскому, но мать и сын не очень долго могли противостоять обаянию личности Магистра, да и в самом его сане, кроме всего прочего, было для них сокрыто нечто таинственное, священное и легендарное. Тем не менее при первом посещении всё было крайне натянуто и чопорно. Кнехт помалкивал, наблюдал и выжидал, хозяйка принимала его с холодной, официальной вежливостью и скрытым неодобрением, как принимают высокопоставленного офицера неприятельской армии, присланного на постой, сын Тито держал

себя более непринуждённо, чем остальные, ему, надо полагать, уже не раз приходилось бывать свидетелем подобных сцен и забавляться ими. Его отец скорей играл роль главы дома, нежели был им на самом деле. Между ним и супругой царил тон мягкой, осторожной, как бы ходящей на цыпочках вежливости, гораздо легче и свободней поддерживаемый женой, нежели мужем. Он явно добивался товарищеских отношений с сыном, а мальчик то пытался извлечь из этого выгоду, то дерзко отталкивал отца. Короче, это была атмосфера мучительная, лишённая чистоты, душная от подавляемых порывов, полная напряжённости, страха перед столкновениями и вспышками, а стиль обращения, как и стиль всего дома, был излишне изыскан и нарочит, словно никакая, самая непроницаемая стена не могла быть достаточно плотной, чтобы защитить этот дом от возможных вторжений и набегов. И ещё одно наблюдение сделал Кнехт: вновь обретённая ясность духа здесь почти совершенно стёрлась с лица Плинио: он, который в Вальдцеле или в Хирсланде, казалось, совсем сбросил с себя печаль, освободился от гнёта, здесь, в собственном доме, опять как бы попал в густую тень, вызывая осуждение и сочувствие.

Дом был красив и свидетельствовал о богатстве и избалованном вкусе, каждая комната была обставлена в точном соответствии со своими размерами и подчинена созвучию двух-трёх цветов, то здесь, то там виднелись ценные произведения искусства, которыми Кнехт с удовольствием любовался; но в конце концов вся эта отрада для глаз стала казаться ему слишком красивой, слишком совершенной и продуманной, в ней недоставало движения, становления, новизны, и он чувствовал, что эта красота комнат и вещей имела смысл некоего заклятия, некой мольбы о защите, что эти комнаты, картины, вазы и цветы окружают и сопровождают жизнь, которая тоскует по гармонии и красоте, не умея достигнуть её иначе, как только заботой о тщательно подобранной обстановке.

Через некоторое время после этого визита, оставившего у него довольно безотрадное впечатление, Кнехт отправил к своему другу учителя медитации. Проведя однажды день в удивительно спёртой и наэлектризованной атмосфере этого дома, Магистр узнал кое-что, чего он совсем не хотел знать, но и кое-что, чего ему недоставало и что он жаждал знать ради друга. И он не ограничился первым посещением, он приезжал ещё

несколько раз и заводил разговоры о воспитании и о юном Тито, в которых и мать мальчика принимала живейшее участие. Постепенно Магистр завоевал доверие и расположение этой умной и недоверчивой женщины. Когда он однажды полушутя заметил, как всё-таки жаль, что её сыночек не был своевременно отдан на воспитание в Касталию, она очень серьёзно восприняла эти слова как упрёк и начала оправдываться: весьма сомнительно, мог ли Тито в самом деле быть принят туда, он, правда, достаточно способный мальчик, только трудно поддаётся воспитанию, и она никогда не позволила бы себе вмешиваться в жизнь сына против его желания, ибо такой же опыт в отношении отца его никак нельзя назвать удачным. Кроме того, она и муж не считали для себя возможным пользоваться привилегиями старинной семьи Дезиньори в интересах сына, поскольку они порвали с отцом Плинио и со всеми традициями рода. И совсем под конец она добавила с горькой улыбкой; что всё равно, при любых обстоятельствах, она никогда не согласилась бы разлучиться со своим ребёнком, так как, кроме него, у неё нет ничего в жизни, ради чего стоило бы жить. Кнехт потом долго раздумывал над этим, скорее невольным, нежели обдуман-

ным признанием. Так, значит, ни её красивый дом, где всё было отмечено тонким изяществом блеском и вкусом, ни её муж, ни её политика и партия, наследие некогда боготворимого ею Отца, — не способны были сообщить её жизни ценность и смысл, это мог сделать только сын. И она предпочитала растить это дитя в дурных и вредных для него условиях, сложившихся в их доме и семье, нежели разлучиться с ним ради его же блага. В устах столь умной, по видимости столь холодной, интеллектуальной женщины это было поразительное признание. Кнехт не мог помочь ей столь же непосредственным образом, как её мужу, да ему и в голову не приходило делать подобную попытку. Но уже сами его редкие посещения и то, что Плинио находился под его влиянием, всё же внесло в эти запутанные и негладкие семейные отношения какую-то умеряющую, сдерживающую ноту. Однако для самого Магистра, хотя он с каждым разом завоёвывала доме Дезиньори всё большее влияние и авторитет, жизнь этих мирян становилась тем более загадочной, чем ближе он с нею соприкасался. Впрочем, о его поездках в столицу и о том, что он там видел и пережил, мы знаем довольно мало, а потому ограничимся только тем, что здесь

изложено.

С предстоятелем Ордена Кнехт до сих пор никогда не сходился ближе, нежели того требовали его официальные обязанности. Они встречались только на пленарных заседаниях Воспитательной Коллегии, происходивших в Хирсланде, да и там роль предстоятеля по большей части сводилась к обрядовым и церемонным актам, к торжественному приёму и роспуску собравшихся, в то время как основная работа выпадала на долю докладчика. В момент вступления Кнехта на пост Магистра прежний глава Ордена был уже человеком, обременённым годами, и хотя Магистр Игры весьма чтил его, тот никогда не давал ему повода сократить разделявшую их дистанцию, он был для Кнехта уже почти не человеком, не личностью, а витал где-то высоко поверху, как верховный первосвященник, как символ достоинства и самообладания, как безмолвная вершина, венчающая здание всех Коллегий и всей иерархии. Этот достойный муж скончался, и на его место Орден избрал нового предстоятеля, по имени Александр. Александр был именно тем наставником по медитации, чьим заботам руководство Ордена немало лет тому назад поручило нашего Йозефа Кнехта на

первое время его пребывания в новой должности, и уже тогда Магистр питал к этому, служившему для него образцом члену Ордена благодарную любовь и уважение; но и Александр, за тот срок, пока Кнехт оставался предметом его забот и до некоторой степени духовным сыном, успел достаточно близко понаблюдать и изучить его нрав, и поведение и проникнуться к нему приязнью. Эта до поры до времени никак, не проявлявшаяся симпатия открылась обоим и превратилась в дружбу с тех пор, как Александр стал предстоятелем и коллегой Кнехта, ибо теперь они опять начали встречаться довольно часто и у них появилась общая работа. Конечно, этой дружбе не хватало каждодневного общения, а также общих юношеских переживаний, это была взаимная симпатия между высокопоставленными коллегами, и внешне она выражалась всего лишь в чуть более тёплых приветствиях при встрече и прощании, в полном взаимопонимании, и, пожалуй, в недолгих беседах во время перерывов между заседаниями.

Хотя по уставу предстоятель, именовавшийся также Магистром Ордена, не стоял выше своих коллег Магистров, всё же он по традиции всегда председательствовал на заседаниях Верховной

Коллегия, и чем более медитативный и монашеский характер, приобретал Орден в последние десятилетия, тем более возрастал его авторитет, правда, только в пределах иерархии и провинции.

В Воспитательной Коллегии предстоятель Ордена и Магистр Игры завоёвывали всё большее влияние, как подлинные выразители и представители касталийского духа, ибо в противоположность известным дисциплинам вроде грамматики, астрономии, математики или музыки, унаследованным ещё от докасталийских веков, медитативное воспитание духа и Игра стеклянных бус являли собой уникальное достояние Касталии. Потому было так важно, чтобы представители и главы этих дисциплин поддерживали между собой дружеские отношения, а для них обоих это было утверждением и возвышением их достоинства, вносило в их жизнь немного тепла, споспешествовало наилучшему выполнению их задачи — воплощать и осуществлять две наиболее сокровенные, наиболее сакральные ценности и силы касталийского мира. Для Кнехта это было лишней преградой, лишним препятствием в его непрерывно растущем стремлении отказаться от нынешней своей жизни и уйти в

другую, новую жизненную сферу.

Тем не менее это стремление неудержимо росло. С тех пор как оно было впервые им осознано, что произошло примерно на шестом или седьмом году его магистерства, оно окрепло и было им, рыцарем «пробуждения», без страха принято в своё сознательное бытие. Именно с той поры, смеем мы утверждать, он сроднился с мыслью о предстоящем уходе со своего поста и из Провинции — порою так, как узник сживается с верой в освобождение, а порою, как умирающий привыкает к мысли о неминуемой смерти. Тогда, во время первой беседы с вернувшимся другом юности Плинио, он впервые высказал эту мысль вслух, возможно, лишь для того, чтобы привязать к себе молчаливого и сдержанного друга, чтобы отомкнуть его сердце, а может быть, чтобы этими впервые произнесёнными словами приобщить постороннего к своему пробуждению, новому восприятию мира, чтобы впервые дать им выход наружу, первый толчок к их осуществлению. В дальнейших разговорах с Дезиньори желание Кнехта расстаться со своим теперешним жизненным укладом и сделать отважный прыжок в другой, новый для него мир приняло уже характер решения. А покуда он тщательно упрочивал

дружбу с Плинио, который был теперь связан с ним не только восторженной преданностью, но в равной степени и благодарностью выздоравливающего и исцелённого, рассматривая эту дружбу как мост для перехода в широкий мир и в его жизнь, полную загадок.

То, что Магистр Йозеф лишь очень нескоро разрешил другу Тегуляриусу заглянуть в свою тайну и в план своего бегства, не должно нас удивлять. Вкладывая в дружеские отношения весьма много благожелательности и теплоты, он и в них сохранял твёрдость воли и осмотрительность дипломата. С тех пор как Плинио вновь вошёл в его жизнь, у Фрица появился соперник, новый и в то же время старый друг с правами на внимание и на сердце Кнехта, так что Магистр едва ли мог быть удивлён, когда Тегуляриус поначалу реагировал на это бурной ревностью. На некоторое время, то есть пока он окончательно не завоевал доверие Дезиньори и не наладил его жизнь, обида и сдержанность Тегуляриуса оказались даже на руку Кнехту. Но в дальнейшем на первый план выступило другое, более важное соображение. Как заставить такую натуру, как Тегуляриус, понять и примириться с желанием друга — незаметно уйти из Вальдцеля и со своего

магистерского поста? Ведь стоит Кнехту уехать из Вальдцеля, как он сразу же будет для Тегуляриуса навеки утерян; не могло и речи быть о том, чтобы увлечь его на узкий и опасный путь, лежавший перед Кнехтом, даже если бы друг, против всякого ожидания, пошёл на это и проявил необходимую смелость. Кнехт выжидал, размышлял и колебался очень долго, прежде чем посвятил Тегуляриуса в свои намерения. В конце концов он всё-таки сделал это, когда его решение вполне созрело. Оставить друга в неведении до конца и строить свои планы за его спиной или предпринимать шаги, последствия коих должны будут отразиться и на друге, было противно его природе. По возможности он хотел сделать его, как и Плинио, не только своим поверенным, но действительным, а может быть, и воображаемым помощником и соучастником, ибо при напряжённой работе легче перенести любую потерю.

Мысли Йозефа касательно грозящего Касталии упадка были Тегуляриусу, разумеется, давно знакомы, поскольку первый был готов поделиться ими, а второй — выслушивать. С этого Магистр и начал, решив открыться другу. Вопреки ожиданиям и к великому его облегчению, Фриц не воспринял его сообщение трагически; более того,

представление, что Магистр готов бросить в лицо руководству свой сан, отряхнуть со своих ног прах Касталии и избрать жизненное поприще по своему вкусу, казалось, приятно взволновало его и даже порадовало. В качестве отщепенца и врага всякого порядка Тегуляриус всегда вставал на сторону одиночки против власти; изобретательно обойти официальную власть, поддразнить, перехитрить её — на это он всегда был готов. Таким образом, Тегуляриус сам указал Кнехту путь, и тот, вздохнув с облегчением, внутренне смеясь, тотчас же воспользовался реакцией друга. Он оставил Тегуляриуса при убеждении, что дело идёт всего лишь о выходке против Коллегии и должностной спеси, и отвёл ему в этой выходке роль поверенного, клеврета и сообщника. Теперь надо было сочинить прошение к Коллегии с перечислением и изложением причин, побудивших Магистра просить об отставке, причём составление и подготовка этой бумаги возлагались главным образом на Тегуляриуса. Прежде всего, ему следовало усвоить исторические воззрения Кнехта на истоки, расцвет и нынешнее состояние Касталии, после чего собрать исторический материал в подкрепление задуманного шага и предложений Кнехта. На сей раз Тегуляриуса не

остановило даже то, что ему для этого надо будет углубиться в столь презираемую и отвергаемую им науку — историю, а Кнехт поторопился дать ему все необходимые указания. После чего Фриц, со свойственным ему пылом и упорством, обычно проявляемыми, когда он занимался делом, не имевшим никакого касательства к нему самому, приступил к выполнению своей новой задачи. Он, этот неисправимый индивидуалист, получал своеобразное, жестокое удовольствие от этих занятий, которые давали ему возможность уколоть иерархию и бонз, указав им на их недостатки, на всю ненадёжность их существования, или хотя бы поддразнить их.

Йозеф Кнехт ни в какой мере не разделял этого удовольствия, так же как и мало верил в успех стараний своего друга. Он твёрдо решил сбросить с себя оковы своего теперешнего положения и освободиться для трудов, которые, он это чувствовал, ожидают его в другом месте, но ему было ясно, что он не сможет ни преодолеть разумными доводами сопротивления Коллегии, ни переложить часть предстоящих ему при этом хлопот на плечи Тегуляриуса. Но ему было важно уже то, что друг будет занят и внимание его отвлечено на то время, что Кнехту ещё осталось жить рядом

с ним. Рассказав об этом при ближайшей встрече Плинио Дезиньори, он добавил:

— Мой друг Тегуляриус теперь занят и вознаграждён за всё, что он, по его мнению, утратил с твоим появлением. Он почти избавился от своей ревности, а работа, направленная на мою защиту против наших коллег, доставляет ему истинное удовольствие, он даже до некоторой степени счастлив. Но не думай, Плинио, что я многого ожидаю от его помощи, если не считать той пользы, какую она приносит ему самому. Совершенно невероятно, невозможно предположить, что Верховная Коллегия даёт ход моей просьбе; в лучшем случае я отделаюсь мягким выговором и предупреждением. Ведь между моими планами и их осуществлением стоит основа основ нашей иерархии, мне и самому не по душе была бы Коллегия, которая отпустила бы своего Магистра Игры и предоставила бы ему занятие за пределами Касталии, как бы убедительны и доказательны ни были его доводы. Кроме того, в руководстве Ордена хозяин — Александр, человек неумолимый. Нет, эту борьбу мне уж придётся выдержать самому. Но пока пусть Тегуляриус изощряется в остроумии! Мы из-за этого потеряем очень немного времени, оно мне так или иначе

нужно, чтобы оставить здесь всё в порядке и чтобы мой уход не причинил Вальдцелю ущерба. Тебе же пока надлежит подыскать мне там, у себя, пристанище и работу, самую скромную; в крайнем случае, я готов довольствоваться, скажем, местом учителя музыки, мне нужно только начало, трамплин.

Дезиньори заметил, что работа найдётся, а дом его открыт для друга в любую минуту. Но это Кнехта не устраивало.

— Нет, — сказал он, — для роли гостя я не гожусь, мне необходима работа. Кроме того, стоит мне задержаться в твоём доме дольше, чем на несколько дней, это неизбежно увеличит трения и сгустит атмосферу в твоей семье. Я тебе вполне доверяю, да и жена твоя стала приветлива, привыкнув к моим появлениям, но всё это сразу изменится, если я из редкого посетителя и Магистра Игры превращусь в беглеца и в постоянного гостя.

— Ты чрезмерно щепетилен, — возразил Плинио. — Я уверен, что как только ты порвёшь с Орденом и поселишься в столице, ты вскоре получишь достойное тебя место, по меньшей мере — профессорскую кафедру в высшем учебном заведении, на это можешь твёрдо рассчитывать.

Но для таких хлопот требуется время, это ты должен понять. И я только тогда смогу для тебя что-нибудь сделать, когда состоится твоё освобождение.

— Разумеется, — сказал Магистр, — до тех пор моё решение должно оставаться тайной. Я не могу предлагать свои услуги вашему начальству, покуда моё собственное не будет оповещено и не вынесет свой приговор — это ясно. Но прежде всего я не ищу официальной должности. В потребностях своих я крайне неприхотлив, более нежели ты можешь себе представить. Мне надобна комнатка и пропитание, а главное — работа, должность учителя и воспитателя, мне надобны один или несколько учеников и питомцев, с кем бы я жил и на кого мог бы влиять; меньше всего меня соблазняет высшая школа, я бы с таким же удовольствием, нет, даже с большим, поступил домашним наставником в семью с одним мальчиком или что-нибудь в этом роде. Всё, чего я ищу и хочу — это простых, естественных обязанностей, человека, который бы во мне нуждался. Назначение в высшую школу с самого начала втиснет меня снова в традиционный, освящённый и механизированный официальный аппарат, я же мечтаю совсем о другом.

Тут Дезиньори нерешительно высказал свою просьбу, которую вынашивал уже довольно давно.

— У меня есть предложение, — начал он, — и я прошу тебя выслушать меня до конца и без предубеждения обдумать его. Возможно, оно окажется для тебя приемлемым, тогда ты и мне окажешь услугу. С того дня, когда я впервые был здесь твоим гостем, ты во многом мне помог. Ты познакомился с моей жизнью, с моим домом и знаешь, как всё сложилось. Там ещё и сейчас неладно, но впервые за многие годы гораздо лучше, чем было. Самое трудное — это мои отношения с сыном. Он избалован и дерзок, он поставил себя в нашем доме в привилегированное, исключительное положение: ему это легко удалось в то время, когда из-за него, ещё малого ребёнка, шла борьба между мною и его матерью. Тогда он решительно встал на сторону матери, и меня постепенно лишили всех действенных средств воспитания. Я с этим примирился, как и вообще со всей своей неудавшейся жизнью. Я покорно принял это. Но теперь, когда я с твоей помощью до некоторой степени исцелён, у меня вновь родилась надежда. Ты уже понимаешь, к чему я клоню; я очень многое отдал бы за то,

чтобы Тито, у которого, кстати, в школе неприятности, получил хотя бы на время учителя и воспитателя, готового посвятить себя ему целиком. Это эгоистическая просьба, я понимаю, и я не уверен, что тебя привлекает такая задача. Но ты сам внушил мне мужество сделать это предложение.

Кнехт улыбнулся и протянул ему руку.

— Благодарю тебя, Плинио. Ни одно предложение не могло бы быть для меня более желанным. Не хватает только согласия твоей жены. Затем вы оба должны решиться на первое время целиком отдать вашего сына на моё попечение. Чтобы мне взять его в руки, необходимо удалить его из-под повседневного влияния родительского дома. Ты должен поговорить об этом с женой и убедить её принять моё условие. Возьмись за дело бережно, я вас не тороплю.

— И ты думаешь, что тебе удастся переделать Тито? — спросил Дезиньори.

— Разумеется, почему же нет? Он унаследовал благородную породу и хорошие задатки от обоих родителей, надо лишь привести всё это в гармонию. Пробудить в нём тягу к этой гармонии, вернее, развить её и сделать в конце концов сознательной — вот в чём будет заключаться моя

задача, и я охотно беру её на себя.

Теперь Йозеф Кнехт знал, что оба его друга, каждый по-своему, способствуют достижению его цели. Пока Дезиньори в столице излагал жене свои новые планы и старался сделать их для неё приемлемыми, в Вальдцеле, в одной из рабочих комнат библиотеки, сидел Тегуляриус и по указаниям Кнехта накапливал материал для документа, какой предполагалось составить. Магистр забросил ему приманку, предоставив в его распоряжение множество книг и попросив их прочитать; Фриц Тегуляриус, всю свою жизнь презиравший историю, клюнул на эту удочку и влюбился в историю воинственного века. Будучи в Игре неутомимым тружеником, он с возрастающим аппетитом собирал симптоматические анекдоты той эры, мрачной эры до возникновения Ордена, и накопил их столько, что, когда он представил другу плоды своего многомесячного труда, тот отобрал едва десятую часть.

За это время Кнехт несколько раз бывал в столице. Госпожа Дезиньори проникалась к нему всё большим доверием, ибо часто бывает, что здоровый и гармоничный человек легко находит дорогу к душе сложной и обременённой. Вскоре она согласилась с планом мужа. Тито, как нам

стало известно, в одно из посещений Магистра несколько надменно дал ему понять, что не позволит обращаться к себе на «ты», ибо все, даже школьные учителя, говорят ему «вы». Кпехт с изысканной вежливостью поблагодарил его, извинившись тем, что в его провинции учителя говорят «ты» всем своим ученикам и студентам, даже совсем взрослым. После обеда он попросил мальчика прогуляться с ним и показать город. Во время этой прогулки Тито, между прочим, повёл его на одну из главных улиц Старого города, где тесно, один к одному прижались дома, стоявшие здесь несколько веков и принадлежавшие видным и богатым патрицианским семьям. Перед одним из этих прочных, узких и высоких домов Тито остановился, указал на герб над парадной дверью и опросил:

— А вы знаете, что это такое? И когда Кнехт ответил отрицательно, он сказал: — Это — герб рода Дезиньори, и это наш старый родовой особняк, он три столетия принадлежал нашей семье. А мы торчим в нашем заурядней шем доме, похожем на тысячи других, только потому, что моему отцу после смерти деда взбрело на ум продать этот прекрасный и почтенный дом и построить другой, в современном стиле, который, кстати, теперь уже

не так современен. Можете вы понять такое?

— А вам очень жаль вашего старого дома? — дружески спросил Кнехт, и когда Тито со страстью подтвердил это и повторил свой вопрос: «Можете вы понять такое?» — он ответил:

— Всё можно понять, если внимательно разобраться. Конечно, старинный дом, — это прекрасно, и если бы новый стоял рядом и вашему отцу был бы предоставлен выбор, он бы, наверно, оставил за собой старый. Да, старинные дома прекрасны и почтенны, особенно такой красивый, как этот. Но в том, чтобы построить дом самому, тоже есть нечто прекрасное, и если деятельный и честолюбивый молодой человек стоит перед выбором: уютно и покорно обосноваться в готовом гнезде или самому построить совсем новое, то можно его вполне понять, если он предпочтёт строить новое. Насколько я знаю вашего отца, а я знал его, когда он был ещё в вашем возрасте, и он тогда уже отличался настойчивым и смелым нравом, я полагаю, что продажа и потеря дома никому не причиняла столько горя, сколько ему самому. У него был тяжёлый конфликт с отцом и со всей семьёй, по-видимому, его воспитание у нас, в Касталии, не слишком пошло ему на пользу, во всяком случае, оно не смогло предохранить

его от некоторых необдуманных и скоропалительных решений. Одним из них и была продажа дома. Этим он как бы бросил вызов и объявил войну семейным традициям, отцу, всему твоему прошлому и своей зависимости от них, — мне, во всяком случае, всё это кажется вполне понятным. Но человек — странное существо, и мне представляется не совсем неправдоподобной другая мысль: продавая старинный дом, ваш отец хотел сделать больно не только своей семье, но прежде всего самому себе. Семья принесла ему разочарование, она послала его в нашу элитарную школу, позволила нам воспитать его по-своему, а когда он вернулся, встретила его такими задачами, требованиями и притязаниями, справиться с которыми ему оказалось не под силу. Идти дальше в своих психологических догадках я не хочу. Так или иначе, эта история с продажей дома показывает, какая страшная сила заключена в конфликте между отцами и детьми, в этой ненависти, или обратившейся в ненависть любви. У темпераментных и одарённых натур редко обходится без подобных конфликтов, мировая история даёт тому множество примеров. Впрочем, мне легко представить себе молодого Дезиньори другого поколения, который поставил

бы себе жизненной целью любой ценой вновь вернуть этот дом своей семье.

— И вы оправдали бы его, — воскликнул Тито, — если бы он это сделал?

— Я не стал бы его судить, мой юный друг. Если один из поздних потомков Дезиньори осознает величие своего рода и обязательств, налагаемых на него тем самым жизнью, если он будет преданно служить своему городу, стране, народу, справедливости, благоденствию и при этом обретёт такую силу, что сможет попутно вернуть себе родовое гнездо, — честь ему и слава, и мы снимем перед ним шляпу. Но если он не будет знать иной цели в жизни, кроме этой истории с домом, то он всего-навсего одержимый и маньяк, игрушка страстей, и, что весьма вероятно, он так никогда и не поймёт смысла этого конфликта поколений и во все дни свои, даже будучи взрослым мужчиной, будет обречён таскать на себе этот груз. Мы можем понять его, можем пожалеть о нём, но славы своего рода он не приумножит. Очень хорошо, когда старинная семья любовно дорожит своим домом, но принести ей обновление и новое величие способны лишь те сыны, которые служат целям большего масштаба, нежели семейные.

Во время этой прогулки Тито внимательно и

довольно охотно слушал речи гостя, но в других случаях он порой вновь выказывал неприязнь к нему и упрямство, ибо в этом человеке, которого столь высоко ставили обычно несогласные между собой родители, он чуял силу, могущую стать опасной для его собственной необузданности и своеволия. И тогда он нарочито щеголял своей невоспитанностью; правда, за этим всегда следовали раскаяние и желание загладить свою вину, ибо самолюбие его было уязвлено, что он позволил себе подобные выходки, меж тем как ясная учтивость окружала Магистра будто блестящим панцирем. Кроме того, он чувствовал в глубине своего неискушённого и немного одичавшего сердца, что перед ним человек, заслуживающий, возможно, глубокой любви и почитания.

Особенно отчётливо ощутил он это, проведя однажды полчаса наедине с Кнехтом, поджидавшим занятого какими-то делами отца. Войдя в комнату, он увидел, что гость неподвижно сидит с полузакрытыми глазами, застывший как статуя, излучая в своей самопогруженности покой и тишину, так что мальчик невольно стал ступать неслышно и хотел на цыпочках выскользнуть вон. Но тут сидящий поднял глаза, дружески его приветствовал, поднялся, указал на фортепьяно,

стоявшее в комнате, и спросил, любит ли тот музыку.

Да, ответил Тито, но он уже довольно давно не берет уроков и совсем не упражняется, так как в школе успехи его не блестящи и учителя порядком донимают его. Но слушать музыку ему всегда приятно. Кнехт сел за рояль, открыл крышку, убедился, что инструмент настроен, и сыграл одну часть из «Анданте» Скарлатти, на которую он на днях положил одно из упражнений Игры. Потом он остановился, увидел, что мальчик слушает внимательно и самозабвенно, и начал в доступной форме объяснять ему, что приблизительно происходит во время такого упражнения в Игре, разложил музыку на её компоненты, показал несколько способов анализа, какие должно при этом применять, а равно и пути её переложения в иероглифы Игры. Впервые Тито видел в Магистре не гостя, не учёную знаменитость, которая действовала на него подавляюще и потому отталкивала, — он увидел его за работой, перед ним был человек, владевший очень тонким и точным искусством и мастерски демонстрировавший перед ним это искусство, о смысле которого Тито мог пока только догадываться, но которое, по всей видимости, требует всего человека, полной его

самоотдачи. Вдобавок, мальчика подняло в собственных глазах то, что его считают достаточно взрослым и сообразительным, чтобы интересоваться столь сложными материями. Он притих и именно в эти полчаса начал догадываться, из какого источника проистекают ясность и невозмутимость этого необычного человека.

Служебная деятельность Кнехта в последнее время была почти столь же напряжённой, как в те многотрудные дни, когда он только вступил на свой пост. Для него было делом чести оставить вверенное ему ведомство в образцовом порядке. Этого он достиг, зато не достиг второй цели, которую преследовал, а именно: не сумел доказать, что без него можно обойтись или его легко заменить. Так и бывает с нашими высшими должностными лицами: Магистр парит где-то наверху, над сложным многообразием своих обязанностей, чуть ли не как простое украшение, как чистый символ; он неожиданно появляется и также неожиданно исчезает, легко, будто любезный гость, скажет словечко-другое, согласно кивнёт, жестом намекнёт на данное поручение, и уже его нет, уже он у соседей; он играет на своём служебном аппарате, как музыкант на инструменте, по видимости не тратит ни сил, ни

раздумий, однако же всё идёт как по маслу. Но каждый человек в его аппарате знает, как трудно заменить Магистра, когда он уезжает или болен, хотя бы на один день или на несколько часов! За то время, пока Кнехт ещё раз осматривал и проверял своё маленькое царство, *Vicus lusorum,* и особенно много пёкся о том, чтобы подвести свою «тень» к задаче — в ближайшее время полностью заменить его, он понял, что внутренне уже освободился и отошёл от всего, что его не преисполняет более счастьем и не держит в плену прелесть их идеально продуманного маленького мирка. Он смотрел на Вальдцель и на своё магистерство как на нечто, уже лежащее позади, как на сферу, через которую он уже перешагнул, которая много ему дала и многому научила, но уже не вливает в него больше новых сил и не побуждает к новым свершениям. Кроме того, во время этого постепенного освобождения и прощения ему становилось всё ясней, что подлинной причиной его отчуждённости и желания уйти отсюда было не предвидение грозящих Касталии опасностей, не забота о её будущем, а лишь то, что часть его существа, его сердца, его души оставалась пустой, незанятой и вдруг предъявила свои права и пожелала их осуществить.

Он ещё раз основательно проштудировал устав и статуты Ордена и окончательно уверился, что его уход из Провинции, по существу, не так труден, не так невозможен, как он представлял себе вначале. Он был вправе, по велению совести, оставить свой пост, а также выйти из Ордена, ибо обет давался им отнюдь не на всю жизнь, хотя члены Ордена очень редко, а члены высшего руководства ни разу не пользовались этим правом. Нет, не строгость закона делала этот шаг столь трудным, а сам иерархический дух Ордена, верность и преданность ему, жившая в собственном сердце Йозефа Кнехта. Конечно, он не собирался бежать тайком, он готовил обстоятельное прошение с целью добиться свободы, ведь наивное дитя Тегуляриус, сочиняя его, дописался до мозолей на пальцах. Но Кнехт не верил в успех этой просьбы. Его будут уговаривать, предостерегать, возможно, предложат отпуск для отдыха, в Мариафельсе, например, где недавно скончался отец Иаков, или в Риме. Но отпустить его не захотят, это становилось ему всё более и более ясным. Отпустить его значило бы поступить наперекор всем традициям Ордена. Согласившись на это, Верховная Коллегия тем самым признала бы, что желание Кнехта законно, она признала бы, что

жизнь в Касталии, и притом на столь высоком посту, может при известных условиях опостылеть человеку и стать для него отречением и пленом.

Послание

Рассказ наш близится к концу. Как мы уже предупреждали, наши сведения об этом конце отрывочны и носят скорей характер саги, нежели исторического отчёта. Нам приходится, однако, этим довольствоваться. Тем приятнее для нас, что мы можем дополнить эту — предпоследнюю — главу жизнеописания Кнехта подлинным документом, а именно — пространным посланием, в котором Магистр Игры сам излагает Коллегии побудительные причины принятого им решения и просит освободить его от занимаемого поста.

Следует оговориться, что Кнехт, как мы давно знаем, не только изверился в успехе своего с таким тщанием подготовленного послания, но даже, когда его «прошенье» было почти готово, охотнее всего не стал бы его вообще дописывать и подавать. С ним случилось то, что случается со всеми людьми, пользующимися прирождённой и поначалу неосознанной властью над окружающими: эта власть не проходит даром для того, кто ею пользуется, и если Магистр прежде радовался, что ему удалось заставить Тегуляриуса служить своим целям, превратить в своего помощника и

соучастника, то, когда всё свершилось, обстоятельства стали сильнее собственных помыслов и желаний Магистра. Он нагрузил и увлёк Фрица работой, в целесообразность которой он, её вдохновитель, сам давно не верил; он уже не мог ни отменить этой работы, когда друг наконец представил её, ни отложить или бросить неиспользованной, ибо тогда он ещё более оскорбил и разочаровал бы друга, в то время как в его намерения входило, наоборот, облегчить расставание. Насколько нам известно, в это время Кнехт пришёл к выводу, что было бы целесообразнее без всяких проволочек сложить с себя свои полномочия и объявить о своём выходе из Ордена, нежели идти окольным путём, подавая «прошение», превратившееся в его глазах чуть ли не в комедию. Но, памятуя о друге, он решился ещё раз на время обуздать своё нетерпение.

По всей вероятности, было бы любопытно ознакомиться с рукописью трудолюбивого Тегулариуса. Она в основном содержала исторический материал, собранный им для доказательств или для иллюстрации, но мы едва ли ошибёмся, предположив, что в ней можно было обнаружить также резкие и остроумные по форме критические замечания, направленные как против

иерархии, так и против всего мира и мировой истории. Но даже если бы эта рукопись, плод многомесячного усидчивого труда, доселе существовала, что весьма возможно, даже если бы она попала в наши руки, нам пришлось бы отказаться от её помещения здесь, ибо наша книга — неподходящее для того место.

Для нас единственно важно узнать, какое употребление сделал Магистр Игры из работы своего друга. Когда Тегуляриус торжественно вручил Кнехту рукопись, тот принял её со словами сердечной благодарности и признания; зная, что доставит ему этим радость, он попросил прочитать её вслух. Несколько дней подряд Тегуляриус проводил по получасу в магистерском саду, благо дело происходило летом, и с немалым удовольствием читал ему вслух одну за другой страницы рукописи, и не раз чтение прерывалось громкими взрывами смеха обоих друзей. То были прекрасные дни для Тегуляриуса. Но потом Кнехт уединился и написал, используя некоторые места из сочинения своего друга, послание к членам Коллегии; мы приводим его здесь слово в слово, ибо оно не нуждается ни в каких комментариях.

Послание Магистра Игры к членам Воспитательной Коллегии

Разнообразные соображения побуждают меня, Магистра Игры, изложить свою необычную просьбу в отдельном, притом отчасти приватном послании, вместо того чтобы включить её в свой ежегодный торжественный отчёт. Хотя я и прилагаю это письмо к своему очередному отчёту и ожидаю официального его рассмотрения, я всё же считаю его скорее посланием ко всем моим коллегам Магистрам.

Долг каждого Магистра обязывает его ставить Коллегию в известность относительно препятствий или опасностей, угрожающих правильному исполнению его должностных функций. Наступил момент, когда моя служебная деятельность, сколь бы ревностно я ни посвящал ей свои силы, стоит (или представляется мне стоящей) перед лицом опасности; я сам являюсь её носителем, хотя отнюдь не единственным её источником. И я рассматриваю эту нравственную опасность, делающую меня мало пригодным для роли Магистра Игры, как объективную и не зависящую от моей личности. Чтобы быть кратким, скажу: у меня зародились сомнения в моей

способности полноценно выполнять порученные мне обязанности, ибо, с моей точки зрения, над самым их предметом, над самой вверенной моим заботам Игрой нависла угроза. Цель моего послания и состоит в том, чтобы указать Коллегии на появление упомянутой угрозы и доказать, что именно она, поскольку я её уже провижу, настойчиво толкает меня покинуть занимаемое мною место. Да будет мне дозволено пояснить ситуацию таким сравнением: некто сидит в мансарде над хитроумной учёной работой и вдруг замечает, что в доме под ним полыхает пожар. Он не станет спрашивать себя, входит ли это в его обязанности и не лучше ли привести в порядок свои таблицы, но кинется вниз и постарается спасти дом. Так и я сижу на одном из верхних этажей нашего касталийского строения, занятый Игрой, работая тончайшими, чувствительными инструментами, и мой инстинкт, моё обоняние говорят мне, что где-то внизу горит, что всё наше строение находится под угрозой и что долг мой — не заниматься анализом музыки или уточнением правил Игры, но поспешить туда, откуда валит дым.

Институт Касталии, наш Орден, наша научная и педагогическая деятельность вкупе с Игрой

и всем прочим кажутся большинству братьев нашего Ордена такими же само собой разумеющимися, как воздух, которым мы дышим, как земля, на которой мы стоим. Едва ли кто-нибудь из них задумывается над тем, что этот воздух и эта земля даны нам не навечно, что воздуха нам может когда-нибудь не хватить, что земля может ускользнуть у нас из-под ног. Нам выпало счастье безмятежно жить в маленьком, чистом и ясном мире, и большинство из нас живёт, как это ни покажется странным, в ложном представлении, будто мир этот существовал извечно и мы рождены в нём. Я сам прожил молодые годы в этой весьма утешительной иллюзии, между тем как я твёрдо знал правду, а именно, что я в Касталии не родился, а взят был сюда Коллегией и здесь воспитан, что Касталия, Орден, Коллегии, институты, архивы, Игра — всё это отнюдь не существует извечно и сотворено не природой, а представляет собой позднее, благородное и наравне со всем искусственным преходящее создание человеческой воли. Всё это было мне прекрасно известно, но не представлялось реальным, я просто не думал об этом, закрывал на это глаза, и я знаю, что более трёх четвертей из нас до самой смерти будут жить и закончат свои дни

в этом странном и приятном заблуждении.

Но подобно тому, как сотни и тысячи лет тому назад мир существовал без Ордена, без Касталии, так он будет существовать без них и впредь. И если я сегодня напоминаю своим коллегам и высокочтимой Коллегии об этом факте, об этой азбучной истине, и предлагаю им наконец обратить внимание на грозящие нам опасности, если я, стало быть, на какое-то время беру на себя роль пророка, увещевателя и проповедника, роль неприятную и легко возбуждающую насмешки, то я готов принять на себя эти насмешки, но всё же надеюсь, что большинство из вас дочитает моё Послание до конца, а кое-кто даже в некоторых пунктах со мной согласится. И это уже очень много.

Такое установление, как нашу Касталию, эту маленькую республику духа, подстерегают опасности равно изнутри и извне. Внутренние опасности, по крайней мере, некоторые из них, мы знаем, наблюдаем и умеем с ними бороться. Время от времени мы удаляем из наших элитарных школ отдельных учеников, ибо открываем в них неистребимые качества и склонности, делающие их непригодными и вредными для нашего сообщества. Мы надеемся, что большинство

из них не сделаются от этого неполноценными людьми, они только не приспособлены к жизненному укладу Касталии; возвратившись в мир, они обретут более подходящие для себя условия и станут полезными и достойными людьми. Наша практика в этом отношении вполне себя оправдала, и в целом о нашем сообществе можно с уверенностью сказать, что оно ревностно оберегает своё достоинство и самодисциплину и вполне отвечает своей задаче — быть высшим слоем, сословием аристократов духа и непрерывно взращивать для него новое пополнение. Среди нас, надо полагать, встречается не больше недостойных или равнодушных, нежели это естественной допустимо. Не столь благополучно обстоит дело со свойственным Ордену самомнением, с той сословной надменностью, к которой приводит любой аристократизм, любое привилегированное положение и которая справедливо или несправедливо ставится в вину всякой аристократии. История общественного развития всегда сопровождалась попытками образовать привилегированный слой, который возглавляет и венчает общество; создание своего рода аристократии, господства избранных, по-видимому, представляет истинную, хотя и не всегда откры-

то признаваемую цель и идеал всякого опыта общественного развития. Испокон века любая власть, будь то монархическая или анонимная, была готова поддерживать нарождающуюся аристократию, оберегая её и одаривая привилегиями, независимо от того, какая эта аристократия — политическая или нет, аристократия по рождению или возникшая в результате отбора и воспитания. Испокон века поощряемая властью аристократия крепла под этим солнцем, но такая жизнь под солнцем, такое привилегированное положение на определённой ступени развития неизбежно превращались в соблазн и создавали предпосылки для разложения. Если рассматривать наш Орден как аристократию и с этой точки зрения попытаться проверить, насколько наше отношение к народу, к миру в целом оправдывает наше особое положение, насколько мы уже охвачены и поражены характерными болезнями аристократий — высокомерием, надменностью, сословным чванством, всезнайством, охотой жить на чужой счёт, — у нас уже могут возникнуть некоторые сомнения. Допустим, нынешний касталиец послушен законам Ордена, трудолюбив, духовно утончён, но часто ли он умеет видеть своё место внутри структуры

народа, мира, мировой истории? Разумеет ли он, в чём основа его существования, способен ли он ощутить себя всего лишь листком, цветком, ветвью или корнем живого организма, подозревает ли он, какие жертвы приносит ради него народ, доставляя ему пропитание и одежду, обеспечивая ему возможность получить образование и предаваться всевозможным научным занятиям? И много ли он думает о смысле нашего существования и нашего особого положения, имеет ли он правильное представление, о целях нашего Ордена и нашей жизни? Допуская исключение, многие и славные исключения, я склонен на все эти вопросы ответить отрицательно. Средний касталиец смотрит на мирянина и профана, возможно, и без презрения, без зависти, без злобы, но он не относится к нему как к брату, не видит в нём своего кормильца, не желает нести ни малейшей ответственности за то, что происходит там, в большом мире. Целью своей жизни он полагает культивирование науки ради неё самой или же просто приятные прогулки в садах образованности, охотно выдаваемой им за универсальную, хотя она, по сути, не такова. Короче, наше касталийское просвещение, возвышенное и благородное, которому я, разумеется, многим

обязан, для большинства тех, кто им обладает, не являются орудием или инструментом, не направлено на активные цели, не служит сознательно большим и глубоким задачам, но в некоторой степени служит лишь для самоуслады и самовосхваления, для формирования и культивирования различных интеллектуальных специальностей. Мне известно, что у нас есть много цельных и в высшей степени достойных касталийцев, не желающих ничего иного, как служить делу; это взращённые нами учителя, особенно те, кто трудится за пределами Касталии, вдали от мягкого климата и духовной изнеженности Провинции, кто ведёт в мирских школах свою самоотверженную и неоценимо важную работу. Эти честные учителя, работающие вне Касталии строго говоря, — единственные среди нас, кто действительно оправдывает назначение Касталии, и только их трудами мы отплачиваем стране и народу за всё то хорошее, что они для нас делают. Первейший и священнейший долг наш состоит в том, чтобы хранить и беречь для нашей страны и для всего мира тот духовный фундамент, который, как оказалось, является и весьма действенной основой этики, а именно: дух истины, на котором, кроме всего прочего, зиждется и справедливость.

Это, конечно, ведомо каждому члену Ордена, но, заглянув в себя поглубже, большинство из нас будет вынуждено признать, что благоденствие мира, сохранение честности и чистоты духа за пределами нашей, содержащейся в такой чистоте Провинции отнюдь не является для нас важнейшей целью и вообще не очень нас интересует; мы полностью предоставили мужественным учителям, работающим вне Провинции, погасить наш долг миру и хотя бы отчасти оправдать привилегию наших мастеров Игры, астрономов, музыкантов, математиков наслаждаться всеми интеллектуальными благами. Из той же нашей надменности, того же кастового духа, о которых уже говорилось, вытекает, что мы не особенно задумываемся, заслужили ли мы эти привилегии своим трудом; немало наших собратьев считают особой своей заслугой выполнение предписанных Орденом материальных ограничений в образе жизни, словно это их добродетель, словно это делается исключительно ради них самих, между тем как это лишь минимальная отдача за то, что страна обеспечивает наше касталийское существование.

Я ограничусь указанием именно на эти внутренние опасности и ущерб, они немаловажны,

хотя в спокойные времена они ещё долгое время не стали бы для нас реальной угрозой. Однако мы, касталийцы, зависим не только от нашей морали и нашего разума, но в большой степени и от положения в стране, и от воли народа. Мы едим свой хлеб, работаем в своих библиотеках, строим себе школы и архивы, но если народ больше не захочет или не сможет давать нам средства на это, если страна обеднеет, начнётся война или разразятся другие бедствия, нашей жизни и учёной деятельности в единое мгновение придёт конец. Может настать день, когда страна посмотрит на свою Касталию и её культуру как на роскошь, которую она уже не может больше себе позволить, и, вместо того чтобы добродушно гордиться нами, отринет нас как бездельников и вредителей, как лжеучителей и врагов — вот каковы опасности, подстерегающие нас извне.

Если бы я попытался разъяснить всё это среднему касталийцу, мне пришлось бы прежде всего обратиться за примерами к истории, и при этом я бы натолкнулся на известного рода пассивное сопротивление, на известного рода, если угодно, ребяческое непонимание и безучастность. Интерес к всемирной истории у нас, касталийцев, как вы знаете, крайне слаб, большинство

из нас обнаруживает не только отсутствие такового интереса, но даже несправедливое и, я бы сказал, неуважительное отношение к истории. Такое рождённое равнодушием и чувством превосходства небрежение к всемирной истории нередко возбуждало во мне желание исследовать причины этого феномена, и я пришёл к выводу, что их имеется две. Во-первых, мы считаем исторические факты попросту маловажными, имеющими второстепенное значение, — я, конечно, разумею не историю духа и культуры, к ней мы относимся с полным уважением; всемирная история, по мнению касталийцев, это цепь жестоких схваток за власть, за богатство, земли, сырьё, деньги — словом, за ценности материальные и квантитативные, то есть, с нашей точки зрения, низменные и даже достойные презрения. Для нас семнадцатое столетие есть эпоха Декарта, Паскаля, Фробергера, Шютца, а не Кромвеля или же Людовика XIV. Вторая причина нашего нерасположения к всемирной истории кроется в нашем традиционном и по большей части, как я полагаю, обоснованном недоверии к определённому методу рассмотрения и интерпретации исторических фактов в эпоху упадка, ещё до основания нашего Ордена, — методу, к

которому мы с самого начала не питали ни малейшего доверия: это так называемая философия истории, наивысший расцвет её и одновременно наиопаснейшее влияние мы находим у Гегеля, причём в следующем столетии эта философия привела к самой недопустимой фальсификации и пренебрежению духом истины. Пристрастие к так называемой философии истории мы считаем одной из главных примет эпохи падения духа и крупнейших политических схваток и борьбы за власть, той эпохи, что мы иногда называем «воинственным веком», чаще всего *«фельетонистической эпохой».* На развалинах этой эпохи, из борьбы за преодоление её духа или её бездуховности и возникла наша современная культура, возникли Орден и Касталия. В своём духовном высокомерии мы относимся ко всемирной истории, особенно к новейшей, примерно так, как, скажем, древнехристианский аскет и пустынник взирал на театр мирской суеты. История представляется нам ареной борьбы вздорных мод, звериных страстей, похоти, алчности и властолюбия, кровожадности и насилия; это разрушения и войны, честолюбивые министры, продажные генералы, стёртые с лица земли города, и мы слишком легко забываем, что это лишь один из многих

её аспектов. И прежде всего мы забываем, что сама наша Касталия — тоже часть истории, нечто «ставшее» и потому осуждённое на умирание, если мы утратим способность к дальнейшему становлению и росту. Мы сами — история, и мы ответственны за всемирную историю в целом и за наше положение в ней. Вот этого сознания ответственности нам очень недостаёт.

Если мы бросим взгляд на нашу собственную историю, на период возникновения нынешних педагогических провинций в нашей стране и в некоторых других, на возникновение орденов и иерархий, в том числе и нашего Ордена, мы очень скоро убедимся, что наша иерархия и наш дом — дорогая Касталия — были основаны отнюдь не теми, кто относился к мировой истории столь же разочарованно и высокомерно, как мы. Наши предшественники, основатели Касталии, начинали своё дело в конце воинственной эпохи, когда мир лежал в развалинах. Мы привыкли односторонне объяснять положение, сложившееся в мире к началу первой из так называемых мировых войн, ссылаясь на то, что именно тогда духовное начало потеряло всякую ценность и служило грозным владыкам лишь второстепенным, при случае применявшимся оружием борьбы, в

чём мы видим следствие фельетонистической коррупции. Конечно, нетрудно констатировать бездуховность и грубость, отмечавшие в те времена борьбу за власть. Я говорю о бездуховности не потому, что не хочу замечать импонирующих достижений того времени по части интеллекта и методики, но потому, что мы привыкли неизменно рассматривать дух в первую очередь как волю к истине, между тем как злоупотребление духом в тогдашних битвах по всей видимости ничего общего с волей к истине не имеет. К несчастью для той эпохи, беспорядочной динамике, возникшей из неимоверно быстрого количественного роста человечества, не были противопоставлены мало-мальски твёрдые нравственные устои; то, что ещё осталось от них, было вытеснено лозунгами дня, и, изучая ход этой борьбы, мы наталкиваемся на поражающие и страшные факты. Совершенно так же, во времена вызванной Лютером церковной схизмы за четыре столетия до этого, весь мир внезапно наполнился тревогой: повсюду вспыхивали беспорядки, возникали фронты сражений, повсюду стремительно разгоралась жестокая, непримиримая вражда между старым и молодым, между отчизной и человечеством, между красным и белым, и мы не способны в

наше время хотя бы мысленно реконструировать мощь и внутреннюю динамику этого «красного» и «белого», равно как подлинные смыслы и значения тогдашних девизов и кличей, не говоря уже о том, чтобы понять или сопережить их; как и во времена Лютера, мы видим во всей Европе, более того, на доброй половине земного шара, как верующие и еретики, молодые и старые, поборники прошлого и поборники будущего в воодушевлении или отчаянии избивают друг друга; вновь и вновь линия фронта шла через карты стран, через народы, через семьи, и не приходится сомневаться, что для большинства самих борцов или хотя бы для их вождей, всё это было полно величайшего смысла, мы не можем отказать многим предводителям и идеологам тех битв в некой примитивной вере в свои идеи, в некой убеждённости, как это тогда было принято называть. Во всех концах земли сражались, убивали и разрушали, и обе стороны делали это с твёрдой верой в то, что они сражаются во имя бога и против дьявола.

Для нас эти дикие времена высокого энтузиазма, дикой ненависти и совершенно неописуемых страданий как бы не существуют, что само по себе достаточно странно, коль скоро та эпоха

тесно связана с возникновением всех наших институций и являет собой их предпосылку и первопричину. Сатирик сравнил бы это забвение с забывчивостью, какую проявляют приобщившиеся к знати авантюристы касательно своего происхождения и своих родителей. Уделим ещё немного внимания этой воинственной эпохе. Я изучил некоторые относящиеся к ней документы, причём интересовался не столько порабощёнными народами и разрушенными городами, сколько поведением в те времена служителей духа. Им приходилось трудно, большинство не устояло. Находились и мученики, как среди верующих, так и среди учёных, и их мученичество и пример даже в те привычные ко всяким ужасам времена не прошли бесследно. И всё же большинство представителей духовного мира не вынесло гнёта этой эры насилия. Одни подчинились и предоставили свои таланты, знания и методы к услугам власть имущих, до нас дошло изречение одного тогдашнего профессора высшей школы в республике массагетов[71]: «Сколько будет дважды два, решает не факультет, а наш господин

[71] Примечания: [71]

Массагеты — варварский народ, населявший в древности северо-восточное побережье Каспийского моря. Геродот изображает массагетов как племя с весьма грубыми и дикими нравами.

генерал». Другие шли в оппозицию, оставаясь в ней до тех пор, пока могли действовать более или менее безнаказанно, и выступали с протестами. Рассказывают, что один всемирно известный писатель подписал за один год — это можно прочесть у Цигенхальса — свыше двухсот таких протестов, предостережений, воззваний к разуму и т.д., вероятно больше, нежели он в действительности мог прочитать. Но большинство научилось молчать, научилось терпеть голод и холод, жить подаянием и прятаться от полиции, одни преждевременно умирали, а те, кто оставался жив, завидовали умершим. Весьма многие наложили на себя руки. И в самом деле, положение учёного или литератора не приносило ни радости, ни почёта: тот, кто шёл служить власть имущим и их лозунгам, получал место и хлеб, но также и презрение лучших из своих коллег, а в придачу ощутительные укоры совести; тот, кто отказывался от такой службы, должен был голодать, жить вне закона и умирать в изгнании или в нищете. Это был жестокий, неслыханно суровый отбор. Быстро пришли в упадок не только научная работа, если она не служила целям борьбы за власть, но и школьное дело. Особенно пострадала историческая наука, которую главенствовав-

шие в данную минуту нации приноравливали исключительно к себе, без конца упрощали и перекраивали; философия истории и фельетон внедрялись повсюду, вплоть до школ.

Достаточно подробностей. То были времена бурные и дикие, времена хаоса и вавилонского столпотворения, когда народы и партии, старики и молодёжь, красные и белые перестали понимать друг друга. И наконец, когда народы уже истекли кровью и погрязли в нищете, родилось всё более неудержимое стремление одуматься, вновь обрести общий язык, вернуться к упорядоченности, к добрым нравам, к истинной мере вещей, к такой азбуке и такой таблице умножения, которые не продиктованы интересами властей и не подвержены ежеминутным изменениям. Возник неимоверный голод по истине и праву, тяга к разуму, к обузданию хаоса. Этому вакууму в конце насильнической и устремлённой на внешнее эры, этой невыразимо настоятельной потребности начать всё сначала и обрести порядок мы и обязаны созданием Касталии и нашим в ней существованием. К ничтожно малой кучке смелых, подлинно интеллектуальных людей, истощённых голодом, но по-прежнему несгибаемых, стало возвращаться сознание их силы, в их

аскетически-героической самодисциплине стали вырисовываться порядок и организованность; повсюду, маленькими и крошечными группками они возобновили свою работу, упразднили лозунги, и снизу, с самого первого камня вновь заложили здание духовности, научного исследования, обучения, просвещения. Строительство пошло успешно, из жалких, но героических начатков оно постепенно выросло в великолепное сооружение, на протяжении ряда поколений были созданы Орден, Воспитательная Коллегия, школы элиты, архивы и музеи, специальные учебные заведения и семинары. Игра — и вот сегодня мы, наследники этих людей, обитаем в этом почти чрезмерно великолепном здании и наслаждаемся его богатствами. И — повторю это ещё раз — расположились мы в нём как благополучные и немного беспечные гости, мы ничего больше не желаем знать ни о страшных человеческих жертвах, послуживших ему фундаментом, ни о печальном опыте, какой достался нам в наследство, ни о всемирной истории, которая воздвигла или допустила существование нашего здания, поддерживает нас и снисходит к нам сегодня и, возможно, будет поддерживать ещё некое число касталийцев и Магистров после

нас, но в один прекрасный день обратит в прах и пепел наше здание, как она разрушает и поглощает всё, что сама взрастила.

Теперь я расстаюсь с историей и, применительно к сегодняшнему дню и к нам самим, прихожу к такому итогу: наша система и Орден уже перешагнули через наивысшую точку расцвета и счастья, отпускаемых порой прекрасному и желанному по загадочной прихоти истории. Мы клонимся к закату, он, быть может, затянется надолго, но уже не выпадет нам на долю ничего более возвышенного, более прекрасного и желанного, чем выпадало до сих пор, — дорога наша идёт под гору; исторически, я думаю, мы уже созрели для того, чтобы упасть, и это, без сомнения, сбудется, пусть не сегодня и не завтра, но послезавтра. Я заключаю это не только из непомерно морализирующей оценки наших достижений и способностей, я заключаю это гораздо более на основе тех движений, какие, я вижу, назревают во внешнем мире. Близятся критические времена, во всём уже сказываются их приметы, мир намерен вновь переместить свой центр тяжести. Готовится перемена власти, она не может совершиться без войн и насилия; угроза не только миру, но жизни и свободе идёт с

далёкого Востока. Как бы ни тщились наша страна и её политики соблюдать нейтралитет, как бы ни был единодушен наш народ (чего в действительности нет) в своём желании сохранить всё в прежнем положении и оставаться верным идеалам Касталии, всё будет напрасно. Уже сегодня довольно отчётливо раздаются голоса отдельных членов парламента о том, что Касталия — слишком большая роскошь для нашей страны. Как только дело дойдёт до серьёзных военных приготовлений, хотя бы только ради обороны, — а это произойдёт довольно скоро, — нашей стране придётся прибегнуть к строжайшей экономии и, несмотря на самое благожелательное отношение к нам правительства, большинство этих мер неминуемо заденет и нас… Мы горды тем, что Орден и незыблемость духовной культуры, им обеспечиваемая, требуют от страны довольно скромных затрат. В сравнении с другими эпохами, например, *ранне-фельетонистической,* с её роскошно содержавшимися высшими школами, с её бесчисленными тайными советниками , и дорогостоящими институтами, эти жертвы действительно невелики, и уж совсем ничтожны, если сравнить их с теми средствами, какие поглощались в воинственную эпоху войной и

подготовкой к ней. Но именно эта подготовка к войне в скором времени сделается опять высшим законом, в парламенте вновь одержат верх генералы, и, если народ будет поставлен перед выбором — пожертвовать Касталией или же подвергнуть себя опасности войны и погибели, легко предвидеть, как и за что он будет голосовать. И тогда, безо всякого сомнения, возобладает воинственная идеология, она с особой силой завладеет молодёжью, возобладает мировоззрение лозунгов, под знаком которых учёные и учёность, латынь и математика, просвещение и культура духа лишь постольку будут иметь право на существование, поскольку они могут служить целям войны.

Волна уже катится, придёт час, и она смоет нас. Быть может, это хорошо и необходимо. Но в ожидании этого, мои высокочтимые коллеги, нам надлежит, в меру нашего понимания событий, в меру нашей прозорливости и смелости воспользоваться той ограниченной свободой решений и действий, что дарована человеку и превращает всемирную историю в историю человечества. Мы можем, если хотим, закрыть глаза на опасность, ибо она ещё довольно далека; скорее всего мы, нынешние Магистры, в покое доживём свои дни

и в покое встретим свой смертный час до того, как опасность надвинется близко и станет заметной для всех. Но для меня, да и, наверно, не для меня одного, было бы невозможно наслаждаться таким покоем с чистой совестью. Я не хочу и дальше спокойно выполнять свои обязанности и посвящать себя Игре, довольный тем, что грядущая катастрофа уже не застанет меня в живых. Нет, напротив, я обязан помнить, что и мы, люди, далёкие от политики, вовлечены в орбиту всемирной истории и помогаем её творить. Потому я и написал в начале своего послания, что мои деловые способности иссякают, а могут и вовсе пропасть, ибо я не в силах помешать тому, что мои мысли и заботы поглощены главным образом нависшей над нами опасностью. И хотя я запрещаю своему воображению рисовать, какие формы может принять эта трагедия для нас всех и для меня лично, я не могу заглушить в себе вопрос: что должны сделать мы и что должен сделать я, чтобы встретить опасность во всеоружии? Да будет мне разрешено остановиться на этом несколько подробнее.

Притязаний Платона на то, что править государством надлежит учёным, более того — мудрецам, я не разделяю. Мир был в его время моложе.

А Платон, хотя основал своего рода Касталию, был никак не касталийцем, но прирождённым аристократом, отпрыском царственного рода. Правда, и мы аристократы и принадлежим к благородному сословию, но то благородство духа, а не крови. Я не верю, что человечество способно выпестовать породу людей, в которых одновременно сочетались бы благородство крови и благородство духа, — то была бы идеальная аристократия, но она пока остаётся лишь мечтой. Мы, касталийцы, невзирая на то, что мы люди высоких нравственных правил и не лишены ума, властвовать непригодны; когда бы нам пришлось править страной, мы не могли бы делать это с той энергией и непосредственностью, какие необходимы подлинному правителю, и при этом наше собственное поле деятельности, самая близкая нам забота — культивирование образцовой духовной жизни — быстро оказалась бы в небрежении. Чтобы властвовать, отнюдь не надо быть глупым или грубым, как иногда утверждают ярые интеллектуалы, но для этого необходима не отравленная ничем любовь к направленной вовне деятельности, необходима страсть к самоотождествлению с поставленной целью и, разумеется, некоторая стремительность

и неразборчивость в выборе путей к успеху. Всё это, как видите, качества, каких у учёного — мудрецами мы не станем себя называть — нет и быть не должно, ибо для нас размышление важнее действия, а при выборе средств и методов для достижения наших целей мы приучены к предельной щепетильности и осмотрительности. Итак, управлять страной и заниматься политикой — не наш удел. Мы — профессионалы исследования, расчленения и измерения, наше дело оберегать и неустанно выверять все азбуки, таблицы умножения и методы, создавать эталоны духовных мер и весов. Разумеется, мы делаем и многое другое, мы можем при случае быть и новаторами, первооткрывателями, искателями приключений, завоевателями и перетолкователями, но первейшая и важнейшая наша обязанность, ради которой народ имеет в нас нужду и нас содержит, есть сохранение в чистоте всех источников знания. В политике, в торговле и где угодно превращение чёрного в белое может сойти за гениальное достижение, у нас — никогда.

В минувшие эпохи, в так называемые «великие» и бурные времена, при войнах и переворотах, от людей умственных профессий порою требовали,

чтобы они участвовали в политике. В особенности это относится к концу *фельетонистической эпохи.* В число её требований входила политизация или милитаризация духа. Подобно тому как церковные колокола переливали в пушки, как совсем незрелыми школьниками пополнялись поредевшие ряды войск, так и дух конфисковывали и использовали в военных целях.

Разумеется, мы согласиться с таким требованием не можем. Не приходится спорить о том, что учёный в случае крайней нужды может быть отозван с кафедры или от лабораторного стола и превращён в солдата, более того, что он при известных обстоятельствах должен пойти на это добровольно, наконец, что в истощённой войной стране учёный должен разделить с народом все материальные лишения, вплоть до голода. Чем выше образованность человека, чем большими прерогативами он пользовался, тем больше должны быть приносимые им в случае нужды жертвы; мы надеемся, что для каждого каста-лийца это когда-нибудь станет непреложной истиной. Но если мы готовы принести в жертву народу, когда он находится в опасности, наше благополучие, наши удобства, нашу жизнь, из этого ещё не следует, что мы готовы принести

в жертву злободневным интересам народа или генералов и самый дух, традиции и заповеди нашей духовной жизни. Трусом назовём мы того, кто уклоняется от трудов, жертв и опасностей, выпавших на долю его народа. Но трусом и предателем вдвойне будет тот, кто изменит принципам духовной жизни ради материальных интересов, кто, например, согласится предоставить власть имущим решать, сколько будет дважды два. Ибо пожертвовать любовью к истине, интеллектуальной честностью, верностью законам и методам духа ради каких-либо иных интересов, будь то даже интересы отечества, есть предательство. Когда в борьбе интересов и лозунгов истине грозит опасность так же подвергнуться обесцелению, извращению и насилию, как и личности, как языку, как искусству, как всему органическому или искусственно взращённому, наш единственный долг — противиться этому и спасать истину, вернее, стремление к истине, как наивысший символ веры. Если учёный с трибуны, с кафедры или в книгах сознательно говорит неправду, сознательно поддерживает ложь и фальсификацию, он не только погрешает против органических законов бытия, он, вопреки всякой видимости и злобе дня, и народу своему

приносит не пользу, а тяжкий вред, отравляя ему воздух и землю, пищу и питьё, отравляя мышление и чувство справедливости и помогая всем злым и враждебным силам, которые грозят ему уничтожением.

Следовательно, касталиец не должен становиться политиком, он обязан при нужде пожертвовать своей личностью, но не своей верностью духу. Дух благотворен и свят в послушании истине; если он её предаёт, отказывает ей в благоговении, становится продажным и податливым для любых воздействий, — он есть дьявол в потенции и являет куда большую гнусность, чем животное, бессознательное скотство, в котором всё же сохраняется некая доля природной невинности.

Я предоставляю каждому из вас, глубокоуважаемые коллеги, самому поразмыслить о том, в чём состоят обязанности Ордена в минуту, когда стране и самому Ордену грозит опасность. На это могут существовать разные точки зрения. И у меня есть своя, и, основательно обдумав затронутые здесь вопросы, я лично составил себе ясное представление о том, в чём мой долг и каковы должны быть мои устремления. Это и побудило меня обратиться с личной просьбой к нашему

уважаемому руководству, которой я и закончу свой меморандум.

Из всех Магистров, составляющих нашу Коллегию, я, как *Magister Ludi,* по роду своих обязанностей меньше всех соприкасаюсь с внешним миром. Магистры математики, филологии, физики, педагогики и прочие работают в областях, общих для них с миром непосвящённых; и в некасталийских обычных школах нашей и любой другой страны математика и грамматика составляют основу преподавания, и в мирских университетах изучают физику и астрономию, а музыкой занимаются даже и без особой подготовки; все эти дисциплины стары, как мир, намного старше нашего Ордена, они существовали задолго до него и надолго его переживут. Одна только Игра в бисер являет собой наше собственное изобретение, нашу достопримечательность, нашу любимую игрушку, предельное, утончённое выражение нашего специфически касталийского типа духовности. Это одновременно самая блистательная и самая бесполезная, самая любимая и самая хрупкая драгоценность нашей сокровищницы. Она и погибнет первой, как только встанет вопрос о дальнейшем существовании Касталии, — не только потому, что она сама по себе есть

самое хрупкое из всех наших достояний, но и потому, что для непосвящённых она, бесспорно, представляет собой наименее необходимую часть касталийского мира. Ежели дело коснётся сокращения в стране всех лишних расходов, то будет уменьшено число элитарных школ, снижены и затем отменены фонды на содержание и расширение библиотек и коллекций, будет ухудшено наше питание, перестанут обновлять нашу одежду, но все важнейшие дисциплины нашей *universitas litterarum* будут сохранены — кроме Игры. Математика нужна и для того, чтобы изобретать новое огнестрельное оружие, но никто не поверит, особенно военные, что закрытие *Vicus lusorum* и отказ от нашей Игры причинит стране и народу самомалейший ущерб. Игра — самая изощрённая и самая уязвимая часть нашего здания. Возможно, потому именно *Magister Ludi,* возглавляющий самую чуждую миру отрасль, первый почувствовал надвигающееся землетрясение или, во всяком случае, первый высказал Коллегии свои опасения.

Итак, я считаю, что в случае политических и военных катаклизмов Игра погибнет. Она быстро придёт в упадок, и если даже отдельные лица и сохранят свою к ней приверженность, она не

будет восстановлена. В атмосфере, которая возникнет после новой воинственной эры, Игра не сможет существовать. Она исчезнет так же, как исчезли некоторые высоко развитые традиции в истории музыки, например, профессиональные певческие хоры семнадцатого столетия или воскресная концертная музыка в церквах в начале восемнадцатого. Тогда человеческого уха касались звуки, чьей ангельской, лучезарной чистоты не смогли возродить никакая наука, никакое волшебство. Так и Игру не забудут никогда, но и возродить её не удастся, а те, кто в будущем займётся изучением её истории, её возникновения, расцвета и заката, лишь вздохнут, завидуя тому, что нам выпало счастье жить в таком гармоничном духовном мире.

Хотя я *Magister Ludi*, я отнюдь не считаю своей или нашей задачей предотвратить или отодвинуть гибель Игры. Всё прекрасное, как оно ни прекрасно, бренно, поскольку оно стало историей, земным явлением. Мы это знаем и можем об этом сколько угодно скорбеть, но бесполезно пытаться всерьёз изменить то, что неизменимо. Если Игра придёт в упадок, Касталия и весь мир понесут огромную утрату, но не сразу даже её почувствуют, настолько в эпоху крутых поворо-

тов они будут озабочены спасением того, что ещё возможно спасти. Касталию без Игры ещё можно себе представить, но Касталия без преклонения перед истиной, без верности духу немыслима. Воспитательная Коллегия может обойтись без Магистра Игры. Но само выражение *Magister Ludi* с самого начала и по сути своей — что уже почти забыто нами — означает не ту специальность, какую мы под этим словом понимаем. *Magister Ludi* первоначально означало просто «школьный учитель». А учителя, хорошие и мужественные учителя, будут нашей стране тем нужнее, чем большая опасность будет грозить Касталии, чем больше её сокровищ будет гибнуть или постепенно отмирать. Учителя нам нужнее всего, ибо это люди, прививающие молодёжи способность измерять и оценивать факты и служащие для неё примером преклонения перед истиной, послушания духу, служения слову. И это вовсе не относится в первую очередь к нашим элитарным школам, существованию которых тоже когда-нибудь наступит конец, это относится ко всем мирским школам вне Касталии, где обучают и воспитывают будущих горожан и крестьян, ремесленников и солдат, политиков, офицеров и правителей, пока они ещё дети и доступны воспи-

танию. Именно там находится основа духовной жизни страны, а не в наших семинарах или Игре. Мы издавна обеспечиваем страну учителями и воспитателями, и я уже говорил: они лучшие среди нас. Но мы обязаны делать гораздо больше того, что делали до сих пор. Мы не должны более полагаться на то, что из некасталийских школ к нам будет идти постоянный приток способных детей и они помогут нам сохранить Касталию. Нам надлежит рассматривать скромную, трудную и ответственную работу в школе, особенно в мирской школе, как самую важную и почётную часть нашей задачи, и всемерно её расширять.

Теперь я подошёл к моей личной просьбе, с которой я осмеливаюсь обратиться к глубокочтимой Коллегии. Настоящим я прошу Коллегию освободить меня от поста Магистра Игры, доверить мне за пределами Касталии обыкновенную школу, большую или маленькую, и разрешить мне, в качестве педагога, готовить в этой школе отряд юных членов Ордена, людей, в отношении которых я могу питать уверенность, что они будут самоотверженно помогать нам внедрять в плоть и кровь наши принципы и прививать их молодым мирянам.

Надеюсь, что глубокочтимая Коллегия соизволит благосклонно рассмотреть мою просьбу и её обоснование и сообщит мне свой ответ.

Магистр Игры

Приписка:

Да будет мне дозволено привести здесь слова отца Иакова, которые я записал во время одной из незабвенных частных бесед с ним:

«Могут наступить времена ужаса и тяжелейших бедствий. И если среди бедствий ещё будет возможно некое счастье, то единственно духовное счастье, обращённое назад, к спасению культуры минувших эпох, и обращённое вперёд, к бодрому и деятельному самовыявлению духа среди такой эпохи, которая в противном случае всецело подпала бы под власть вещественного».

Тегуляриус и не подозревал, как мало в этом послании сохранилось от его трудов; в последней редакции ему не пришлось его увидеть. Правда, Кнехт показал ему два предыдущих варианта, более пространных, а затем отправил своё послание и стал ждать ответа от Коллегии, проявляя куда меньше нетерпения, нежели его друг. Магистр принял решение не сообщать ему о последующих своих шагах; он даже запретил ему обсуждать в дальнейшем этот вопрос и только намекнул,

что до поступления ответа пройдёт, вероятно, немало времени.

Поэтому, когда (ранее, чем Кнехт ожидал) пришёл этот ответ, Тегуляриус о нём ничего не узнал. Послание из Хирсланда гласило:

Досточтимейшему Магистру Игры в Вальдцеле

Глубокоуважаемый коллега!

Руководство Ордена, а равно и конгрегация Магистров, с необычайным интересом ознакомились с Вашим столь же сердечным, сколь и остроумным посланием. Ваш ретроспективный взгляд на историческое прошлое не менее, нежели Ваш полный заботы взгляд в будущее, приковал к себе наше внимание, и многие из нас, несомненно, ещё будут не раз возвращаться к этим волнующим и отчасти не лишённым справедливости соображениям и извлекут из них пользу. С радостью и признательностью все мы ознакомились с воодушевляющим Вас настроением, настроением подлинного и самоотверженного касталийства глубокой, ставшей второю натурой любви к нашей Провинции, к её жизни и обычаям, любви заботливой и в настоящее время несколько тревожной. С не меньшей

радостью и признательностью восприняли мы личную ноту и настроенность этой любви, готовность к жертвам, жажду деятельности, всю глубину и усердие Ваше, тягу к героизму. Во всём этом мы вновь узнаём характер нашего Магистра Игры, его энергию, его пыл, его отвагу. Как это похоже на ученика знаменитого бенедиктинца: он не превращает историю в самоцель чистой науки, в подобие эстетической игры, он изучает её не в качестве бесстрастного наблюдателя, но его историческая эрудиция непосредственно устремлена к современности, к деянию, к активной помощи! И как же, высокочтимый коллега, соответствует Вашему характеру то обстоятельство, что цель Ваших личных пожеланий столь скромна, что Вас влечёт не к политическим поручениям и миссиям, не к влиятельным или почётным должностям, что Вы желаете служить просто как *Magister Ludi,* школьный учитель!

Вот каковы некоторые впечатления и раздумья, которые невольно напрашиваются при первом прочтении Вашего послания. Они были одинаковыми или почти одинаковыми у большинства наших коллег. Однако при дальнейшем знакомстве с Вашими сообщениями, предостережениями и просьбами Коллегия уже не обнаружила столь

полного единодушия. Специальное заседание было посвящено вопросу, который мы оживлённо обсуждали, а именно: насколько приемлема Ваша точка зрения об угрожающей нашему существованию опасности, а также вопросу о роде, масштабах и возможных сроках приближения этой опасности, и большинство присутствующих отнеслось к этим проблемам с должной серьёзностью и живой заинтересованностью. И всё же мы должны поставить Вас в известность, что ни в одном из этих вопросов Ваша точка зрения не встретила поддержки большинства. Все мы единодушно признали только богатство Вашей фантазии и широту Ваших историко-политических воззрений, но в частностях ни одно из Ваших предположений, или, если угодно, пророчеств, не было в полном своём объёме одобрено или признано убедительным. В вопросе о том, в какой степени Орден и касталийский порядок соучаствуют в сохранении необычайно долгого мирного периода, насколько они могут вообще принципиально служить факторами политической истории и политической обстановки, на Вашей стороне также оказались лишь немногие, да и то с оговорками. Мнение большинства сводилось к тому, что мир, по истечении воин-

ственной эпохи воцарившийся в нашей части света, можно приписать в некоторой степени всеобщему истощению и обескровливанию вследствие предыдущих опустошительных войн, но ещё более тому обстоятельству, что Западная Европа тогда перестала быть средоточием всемирной истории и ареной борьбы за гегемонию. Не подвергая ни малейшему сомнению заслуг Ордена, всё же нельзя признать касталийскую идею, идею высокого культивирования духа под знаком медитативного воспитания души, в настоящем смысле этого слова историческим фактором, иначе говоря — приписывать ей живое воздействие на состояние мировой политики, тем более что цели и притязания подобного рода в высшей степени чужды всему строю Касталии. Как подчёркивалось в ряде серьёзных выступлений, воздействие на политику и участие в вопросах войны и мира не отвечает ни воле, ни назначению Касталии, и о подобной миссии уже потому не может быть речи, что всё касталийское устремлено к разуму и происходит в пределах разумного, чего всё же нельзя сказать о мировой истории, не впадая в теолого-поэтические мечтания романтической философии истории и не причислив весь аппарат убийств и уничтожения,

находившийся на службе творящих историю сил, к методам мирового разума[72]. Далее, при самом беглом взгляде на историю духа становится ясно, что периоды наивысшего духовного расцвета по существу дела не могут быть объяснены политическими обстоятельствами, напротив, культура, или дух, или душа имеют свою собственную историю, протекающую рядом с так называемой мировой историей (то есть с нескончаемой борьбой за материальную власть), как вторая история, сокровенная, бескровная и святая. Наш Орден имеет касательство единственно к этой святой и сокровенной, но не к «реальной» звериной мировой истории, и в его задачи отнюдь не входит печься о политике или, тем более, помогать её делать.

Следовательно, независимо от того, такова ли всемирно-политическая констелляция, какой её рисует Ваше послание, или не такова, Ордену, во всяком случае, не пристало занимать в

[72] Примечания: [72]

Имеется в виду учение Гегеля о всемирно-историческом процессе как реализации надличного смысла, пользующегося злыми страстями людей как неизбежными инструментами. Это учение, утверждающее примат государства над личной моральной волей и готовое заранее оправдать все возможные насилия необходимостью саморазвития абсолютной идеи, резко критически воспринималось рядом западноевропейских мыслителей XX в. самых разных направлений, потрясённых победой фашистской диктатуры.

отношении её другую позицию, кроме выжидания и терпения. А посему Ваше мнение о том, что мы должны воспринять констелляцию, сложившуюся в данный момент, как сигнал к активной позиции, было решительно отвергнуто большинством коллег. Что же до Ваших взглядов на сегодняшнее состояние мира и Ваших предсказаний на ближайшее будущее, то хотя на большинство членов они явно произвели известное впечатление, а некоторыми даже были восприняты как сенсация, но и в этом пункте, сколь ни подчёркивали почти все ораторы своё уважение к Вашей эрудиции и проницательности, большая часть коллег не согласилась с Вами. Напротив, все склонялись к тому, что Ваши высказывания, весьма примечательные и в высшей степени любопытные, всё же преувеличенно пессимистичны. Один из присутствующих задал вопрос, не следует ли считать опасным, даже преступным, и, во всяком случае, легкомысленным, если Магистр осмеливается смущать свою Коллегию столь мрачными картинами якобы надвигающихся опасностей и испытаний. Спору нет, своевременное напоминание о бренности всего сущего допустимо, и каждый касталиец, во всяком случае занимающий высокий и от-

ветственный пост, время от времени должен возвращаться мыслью к *memento mori;*[73] но столь обобщающе, столь нигилистически возвещать близкий конец всего сословия Магистров, всего Ордена, всей иерархии означает в его глазах не только недостойную попытку нарушить душевное спокойствие своих коллег, но и угрозу самой Коллегии и её дееспособности. Работа любого Магистра, безусловно, проиграет, если он каждое утро будет приступать к ней с мыслью, что его должность, его деятельность, его воспитание, его ответственность перед Орденом, его жизнь в Касталии и для Касталии — всё это завтра или послезавтра сгинет и превратится в прах. Хотя это мнение и не было поддержано большинством, оно всё же встретило некоторое одобрение.

Мы заканчиваем своё письмо, но были бы рады встретиться и побеседовать с Вами лично. По нашим скупым словам Вы можете судить, Досточтимый, что Ваше послание не имело того действия, на какое Вы, по-видимому, рассчитывали. В большой степени неуспех его объясняется реальными причинами, фактическим расхождением между Вашими нынешними взглядами

---

[73] Примечания: [73]
Помни о смерти (лат.).

и желаниями и таковыми большинства Ваших коллег. Но некоторую роль сыграли и чисто формальные причины. Нам, по крайней мере, кажется, что непосредственное, устное объяснение между Вами и Вашими коллегами было бы гораздо гармоничнее и позитивнее. И не только эта форма официального письменного послания, как нам кажется, повредила Вашему ходатайству: ещё более отрицательное впечатление произвело непринятое в общении между нами соединение коллегиального сообщения с личным ходатайством, с личной просьбой. Большинство находит в таком слиянии неудачную попытку нововведения, другие прямо называют его неуместным.

Тут мы приближаемся к самому щекотливому пункту Вашего послания, к Вашей просьбе об освобождении Вас от занимаемого поста и о направлении на работу в мирскую школу. Податель сей просьбы должен был заранее знать, что Коллегия никогда не согласится с такой неожиданной и столь оригинально мотивированной просьбой, что её никак не возможно одобрить и удовлетворить. Разумеется, Коллегия отвечает на неё отказом.

Что сталось бы с нашей иерархией, когда бы не Орден и не приказ Коллегии предназначали

каждому его место? Что сталось бы с Касталией, когда бы каждый самостоятельно оценивал себя, свои дарования и склонности и соответственно сам выбирал бы себе назначение? Мы рекомендуем Магистру Игры поразмыслить над этим и поручаем ему и дальше выполнять почётные обязанности, которые мы ему доверили.

В этих строках и заключён просимый ответ на Ваше послание. Мы не могли дать Вам ответ, на который Вы, очевидно, надеялись. Однако мы не хотели бы умолчать и о нашем преклонении перед достоинствами Вашего волнующего и предостерегающего документа. Мы рассчитываем побеседовать с Вами лично о его содержании, притом поскорее, ибо хотя руководство Ордена считает возможным положиться на Вас, всё же тот пункт Вашего послания, где Вы говорите о вероятном ослаблении Ваших способностей к правильному функционированию в должности, даёт нам повод для беспокойства.

Кнехт читал письмо без особых надежд, но с величайшим вниманием. Что у Коллегии был «повод для беспокойства», он легко мог себе представить, к тому же он получил особые тому доказательства. Недавно в Селении Игры появился гость из Хирсланда, предъявивший

официальную справку и рекомендацию от руководства Ордена, он попросил гостеприимства на несколько дней, якобы для работы в Архиве и библиотеке, а также получил разрешение в качестве гостя присутствовать на нескольких лекциях Кнехта, был молчалив и внимателен. Этот уже немолодой человек неожиданно появлялся почти во всех отделениях и зданиях Селения, интересовался Тегуляриусом и несколько раз посетил жившего поблизости директора вальдцельской элитарной школы: не оставалось никакого сомнения в том, что человек этот был наблюдателем, присланным, чтобы выяснить, как обстоят дела в Селении Игры, не замечается ли небрежности в работе, находится ли Магистр в добром здравии и на своём посту, ревностно ли работают служащие, не встревожены ли чем учащиеся. Он пробыл в Селении Игры целую неделю, не пропустив ни одной лекции Кнехта, его наблюдения и молчаливая вездесущность обратили на себя внимание двух служащих. Ясно, что руководство Ордена ожидало доклада этого наблюдателя, прежде чем ответить Магистру на его послание.

Как следовало расценивать это ответное послание и кто мог быть его автором? Угадать это по

стилю было невозможно — то был общеупотребительный безличный официальный стиль, какой и требовался в данном случае. Но при более тонком изучении в письме обнаружилось больше своеобразного и личного, нежели можно было заметить при первом прочтении. В основе всего документа лежал орденский дух, справедливость и любовь к порядку. Отчётливо ощущалось, какое неутешительное, досадное, даже тягостное и огорчительное действие произвела просьба Кнехта, и решение отклонить её было, конечно, принято автором ответа уже при первом знакомстве с посланием независимо от суждения остальных. Но, с другой стороны, помимо неудовольствия и осуждения, в ответе ощущались и другие чувства и настроения: явная симпатия, желание подчеркнуть все мягкие и дружелюбные высказывания и суждения, раздававшиеся на заседании, где обсуждалась просьба Кнехта. Кнехт не сомневался, что автором ответа был Александр, предстоятель орденского руководства.

Итак, мы достигли конца нашего пути и думаем, что поведали всё существенное о жизни Йозефа Кнехта. Другой, более поздний биограф, несомненно, отыщет и сообщит ещё некоторые дополнительные подробности о конце этой

жизни.

Мы отказываемся давать собственное описание последних дней Магистра, ибо знаем о них не более, нежели каждый вальдцельский студент, и не могли бы сделать это лучше, чем это сделано в «Легенде о Магистре Игры», которая ходит у нас по рукам во многих списках и сочинена, надо полагать, несколькими выдающимися учениками ушедшего от нас Магистра.

Этой легендой и завершается наша книга.

Легенда

Когда мы слушаем споры наших товарищей об исчезновении Магистра, о причинах его бегства, о правомерности или неправомерности его решений и поступков, о смысле или бессмысленности его судьбы, они кажутся нам столь же диковинными, как домыслы Диодора Сицилийского о предположительных причинах разливов Нила, и мы полагали бы не только бесполезным, но и вредным умножить число подобных домыслов. Не лучше ли вместо этого чтить в сердцах наших память о Магистре, который так скоро после своего таинственного ухода из Касталии удалился в ещё более чуждый и таинственный потусторонний мир. Во имя его драгоценной для нас памяти мы и хотим записать об этих событиях всё, что достигло нашего слуха.

После того как Магистр прочитал письмо Коллегии, содержавшее отказ на его просьбу, он почувствовал лёгкую дрожь, ощущение утренней прохлады и отрезвления, послужившие ему знаком, что час настал и нет больше места для колебаний и проволочек. Это странное чувство, называемое им «пробуждением», было знакомо

ему, ибо он уже испытывал его в другие решающие минуты своей жизни; то было бодрящее и вместе томительное чувство, слияние разлуки и новых ожиданий, глубоко и бессознательно волнующее, подобно весенней грозе. Он проверил время, через час у него была назначена лекция. Он решил посвятить оставшиеся минуты раздумью и направился в тихий магистерский сад. Всю дорогу его преследовала стихотворная строка, внезапно выплывшая в памяти:

И в каждом начинании есть тайна…

Он всё повторял её про себя, не зная, у какого автора он её вычитал, но строчка эта чем-то растрогала его, она нравилась ему и, казалось, вполне отвечала настроению переживаемой минуты. В саду он сел на скамейку, уже усыпанную первыми осенними листьями, упорядочил дыхание, пытаясь обрести внутренний покой, а потом с просветлённым сердцем погрузился в медитацию, во время которой этот миг его жизни представился ему в виде обобщённых, сверхличных образов. Но когда он шёл назад, к маленькой аудитории, вновь ожила в памяти та строчка стиха, и он вновь задумался над нею и решил, что она всё же должна звучать несколько иначе.

И вдруг память прояснилась и пришла ему на помощь, и он тихо произнёс:

И в каждом начинании таится
Отрада благостная и живая.

Но только к вечеру, когда лекция давно была прочитана и повседневные дела закончены, он вспомнил происхождение этих строк. Их написал не кто-то из старых поэтов, — это были строчки из его собственного стихотворения, написанного им в школьные или студенческие годы, и кончалось оно следующими словами:

Так в путь – и всё отдай за обновленье!

В тот же вечер он вызвал своего заместителя и сообщил ему, что должен завтра уехать на неопределённое время. Он передал ему все текущие дела с краткими указаниями и простился с ним приветливо и по-деловому, как всегда перед недолгими служебными поездками.

То, что он должен покинуть своего друга Тегуляриуса, не посвятив его в свои намерения и не отягощая его прощанием, было ему ясно ещё ранее. Он должен был поступить так не только для того, чтобы пощадить своего столь чувствительного друга, но и из боязни повредить своему

плану. Поставленный перед совершившимся фактом, Тегуляриус как-нибудь справится с собой, между тем внезапное объяснение и сцена прощания могли бы толкнуть его на необдуманные поступки. Сначала у Кнехта даже мелькнула мысль уехать, так и не повидав друга на прощанье. Но, поразмыслив, он решил, что это было бы слишком похоже на бегство. Как это ни умно, как ни правильно — избавить друга от волнений, от повода совершить глупость, — самому себе он такой поблажки позволить не мог. Оставалось ещё полчаса до отхода ко сну, он мог навестить Тегуляриуса, не побеспокоив ни его, ни других. Когда он пересекал обширный внутренний двор, было уже совсем темно. Он постучался в келью друга со странным чувством, что делает это в последний раз, и застал его одного. Оторвавшись от чтения, друг радостно его приветствовал, отложил книгу и пригласил гостя сесть.

— Мне сегодня пришло на ум одно старое стихотворение, — начал Кнехт небрежным тоном, — вернее, несколько строчек из него. Может быть, ты знаешь, где найти его целиком?

И он процитировал:

И в каждом начинании таится..,

Тегуляриус думал не долго. Через минуту он вспомнил стихотворение, встал и вынул из ящика бюро рукопись стихов Кнехта, авторскую рукопись, когда-то подаренную ему другом. Он полистал её, вытащил две страницы с первым вариантом стихотворения и протянул их Магистру.

— Вот, — сказал он с улыбкой, — Досточтимый, оно к вашим услугам. Впервые за долгие годы вы соизволили вспомнить это своё сочинение.

Йозеф Кнехт внимательно, не без волнения разглядывал поданные ему листки. Когда-то, ещё будучи студентом Восточноазиатского института, он заполнил эти листки стихотворными строчками, и вот далёкое прошлое глянуло на него с этих страниц, всё говорило о забытых, а теперь предостерегающих и мучительно оживших в памяти прежних днях — бумага, уже слегка пожелтевшая, юношеский почерк, вычеркнутые и исправленные места в тексте. Он, казалось, вспомнил не только год и время года, когда родились эти строки, но даже день и час, настроение той минуты, то чувство силы и гордости, что переполняло его и делало счастливым, вылившись в стихи. Он написал их в один из тех особенных дней, когда его посетило душевное состояние,

называемое им «пробуждением».

Чётко, на самом верху, первой строкой был написан заголовок. Крупными буквами, размашистым почерком он тогда начертал:

«Transcendere!»[74]

Впоследствии, в другое время и в другом расположении духа, в других жизненных условиях этот заголовок, а также восклицательный знак были вычеркнуты, и появился другой заголовок, написанный более мелкими, более тонкими и скромными буквами, гласивший: «Ступени». Кнехт живо вспомнил теперь, как он в тот день, окрылённый идеей своего стихотворения, написал слово *«Transcendere!»*, — то был зов и приказ, увещевание самому себе, вновь сформулированное и укрепившееся намерение подчинить этому девизу всю жизнь свою и дела, решительными и радостными шагами пересекать каждое пространство, каждый отрезок своего пути и, исполнив свой долг, покидать их. Он негромко, про себя, прочитал несколько строк:

Всё круче поднимаются ступени,
Ни на одной нам не найти покоя:

---

[74] Примечания: [74]
Преступать пределы (лат.).

Мы вылеплены божьею рукою
Для долгих странствий, не для косной лени.

— Уже много лет, как я забыл эти строчки, — сказал Кнехт, — и когда одна из них сегодня случайно ожила в памяти, я даже не вспомнил, откуда она и что я сам её сочинил. Как они кажутся тебе сегодня? Говорят ли они тебе ещё что-нибудь?

Тегуляриус задумался.

— У меня всегда было какое-то странное отношение к этому именно стихотворению, — промолвил он наконец. — Оно принадлежит к тем вашим произведениям, которые мне, по правде, не нравились, в которых меня что-то отталкивало, мешало. Прежде я не понимал — что именно. Сегодня мне кажется, я вижу это. Ваше стихотворение, Досточтимый, которое вы назвали *«Transcendere!»*, как бы отдавая приказ к маршу, а потом, слава богу, сменили заголовок гораздо более удачным, никогда меня особенно не привлекало, ибо в нём есть нечто повелительное, нечто морализирующее или поучающее. Но если изъять из него этот элемент, смыть эту «окраску» оно было бы одним из ваших прекраснейших

стихотворений, сейчас я это опять обнаружил. Его подлинное содержание неплохо выражено заглавием «Ступени», но с таким же или даже большим успехом вы могли бы назвать его «Музыка» или «Сущность музыки». Ибо, если отбросить морализирующую или проповедническую ноту, оно, собственно, являет собой медитацию о сущности музыки или, скажем, хвалебную песнь музыке, её слитности с настоящим моментом, её ясности и решительности, её стремительному бегу, её неутомимому желанию и готовности всегда спешить вперёд, оставляя позади только что занятое пространство или часть его. Если бы вы тогда ограничились этими размышлениями или похвалой духу музыки, если бы вы, подстрекаемый уже тогда честолюбием воспитателя, не сделали из него некоего увещевания и проповеди, стихотворение это могло бы стать подлинной жемчужиной. Но в том виде, в каком оно сейчас перед нами, оно, на мой вкус, носит характер не только не в меру «учительный», не в меру учительский, оно страдает, кроме того, некоторым недомыслием. В нём, ради достижения морального воздействия, музыка и жизнь приравнены друг к другу, что по меньшей мере сомнительно и спорно; это превращает естественную, свобод-

ную от морали движущую силу или основную пружину музыки в «жизнь», которая стремится воспитывать и развивать нас с помощью призывов, приказаний и добрых наставлений. Короче, здесь некое видение, нечто неповторимое, прекрасное и величественное, фальсифицируется и эксплуатируется в целях поучения, и как раз это всегда вызывало во мне противодействие.

Магистр слушал его с удовольствием, наблюдая, как нарастала в друге гневная горячность, которую он так в нём любил.

— А ты, пожалуй, прав! — сказал он полушутя, полусерьёзно. — Во всяком случае, в том, что говорил об отношении моего стихотворения к музыке. Идея «пересечения одного пространства за другим» и основная мысль моих стихов действительно идут от музыки, хотя я сам этого не знал и не замечал. Не знаю, исказил ли я мысль и фальсифицировал ли видение; быть может, ты и прав. Когда я писал эти строки, в них речь шла уже не о музыке, а о другом переживании, ибо прекрасная аллегория музыки повернулась ко мне своей этической стороной, прозвучав увещеванием и призывом, напомнив мне о моём призвании. Императивная форма стихотворения, которая тебе особенно претит, вовсе не пресле-

дует цели приказывать и увещевать, ибо приказ и увещевание обращены только ко мне самому. Если бы ты даже не знал этого, дорогой мой, ты мог бы это вычитать в последней строчке стихотворения. Итак, ко мне пришло понимание, я что-то осознал, на меня снизошло наитие, и я пытался приложить смысл и этический вывод этого наития к самому себе, заставил себя запомнить его навсегда. Потому стихотворение так и засело в моей памяти, хотя я сам об этом не подозревал. Итак, хороши ли мои стихи или дурны, но цели своей они достигли, увещевание продолжало жить во мне, оно не заглохло. Сегодня оно опять звучит для меня по-новому, это — чудесное переживание, и твоя насмешка не может его отравить. Однако мне пора. Как хороши были те времена, дружище, когда мы оба, студенты, нередко позволяли себе нарушать распорядок и до поздней ночи засиживались за беседой. Но Магистру это более не пристало. А жаль!

— Ах, — заметил Тегуляриус, — пристать-то пристало, да храбрости не хватает.

Кнехт с улыбкой положил ему руку на плечо.

— Что касается храбрости, дорогой мой, то я готов ещё и не на такие проделки. Спокойной ночи, старый брюзга!

Весёлый, вышел он из кельи, но постепенно, в пустых по-ночному коридорах и дворах Селения, к нему возвратилась серьёзность, серьёзность прощания. Предстоящее прощание всегда пробуждает в нас картины прошлого, и Кнехта в этом коридоре посетило воспоминание о том дне, когда он, мальчик, только что принятый в Вальдцель ученик, совершил свою первую прогулку по Вальдцелю и *Vicus lusorum*, полный надежд и предчувствий, и вот теперь, среди уснувших молчаливых деревьев и зданий, сердце его сжалось от пронзающего, мучительного чувства, что он видит всё это в последний раз; в последний раз прислушивается, как замирает и погружается в сон столь оживлённое днём Селение, в последний раз видит, как отражается в воде бассейна слабый огонёк из домика привратника, как бегут над деревьями магистерского сада ночные облака. Он медленно обошёл все дороги и уголки Селения Игры, ему захотелось ещё раз открыть калитку и войти в свой сад, но у него не оказалось при себе ключа, и это быстро отрезвило его и заставило опомниться. Он вернулся в свою квартиру, написал несколько писем, в том числе Дезиньори, которого он извещал о своём скором приезде в столицу, потом в глубокой медитации освобо-

дился от душевных волнений этого часа, дабы назавтра проснуться сильным для выполнения своей последней задачи в Касталии — объяснения с главой Ордена.

На следующее утро Магистр встал в обычное время, вызвал экипаж и уехал; мало кто заметил его отъезд, и никто не придал ему значения. В напоённое осенним туманом раннее утро он отправился в Хирсланд, прибыл туда в полдень и тут же попросил доложить о себе Магистру Александру, предстоятелю Ордена. В руках он держал завёрнутый в сукно красивый металлический ларчик, который он взял из потайного ящика своего бюро и где хранились знаки отличия его сана, а также печать и ключи.

В «главной канцелярии» руководителя Ордена его встретили с некоторым удивлением: ещё не было, пожалуй, случая, чтобы кто-нибудь из Магистров появлялся здесь без предупреждения или не будучи приглашённым. По распоряжению предстоятеля, его накормили обедом, потом проводили для отдыха в келью в старой крытой галерее и сообщили, что Досточтимый надеется освободиться и принять его через два-три часа. Он попросил принести ему устав Ордена, сел, прочитал его с начала до конца и в последний

раз убедился, как просто и законно его намерение, однако объяснить словами это намерение и внутренне его оправдать казалось ему даже в этот час невозможным. Он вспомнил один пункт устава, которому его заставили некогда посвятить час медитации — в последние дни его юношеской и студенческой свободы, в момент его принятия в Орден. Сейчас он перечитал этот пункт, начал размышлять над ним и при этом почувствовал, насколько сам он изменился, насколько непохож на молодого застенчивого репетитора, каким он был в то время. «Если Коллегия, — гласил пункт устава, — призывает тебя занять определённый пост, то знай: каждая следующая ступень — это не шаг к свободе, а новое обязательство. Чем больше власти предоставляет пост, тем суровее служение. Чем сильнее личность, тем предосудительней произвол». Как всё это некогда звучало непререкаемо, однозначно и как сильно изменилось для него значение иных слов, особенно таких многозначительных, как «долг», «личность», «произвол», которые теперь приобрели новый, пожалуй, обратный смысл! И какими они всё же были тогда прекрасными, ясными, крепко спаянными и поразительно последовательными, эти правила устава, какими

абсолютными, вечными и нерушимо истинными представлялись они юному духу! О, такими они бы и остались, будь Касталия всем миром, целокупным, многообразным и неделимым, а не только обособленным мирком внутри большого мира или же смело и насильственно изъятой из него сердцевиной! Будь весь мир элитарной школой, будь Орден сообществом всех людей на земле, а предстоятель Ордена — господом богом, как совершенны были бы те слова и весь устав! О, будь это так, какой светлой, цветущей и блаженно-невинной была бы жизнь! А ведь когда-то всё так и было в действительности, когда-то он всё это видел и пережил именно так: видел в Ордене и в касталийском духе божественное и абсолютное начало, в Провинции — весь мир, в обитателях Касталии — всё человечество. А некасталийские пределы были для него лишь частью целого, неким подобием детского мирка, подготовительной ступенью к Провинции, целиной, которая ещё ожидает высшей культуры и освобождения, с благоговением взирает на Касталию и время от времени посылает ей любезных гостей вроде юного Плинио.

А как странно получилось с ним самим, с Йозефом Кнехтом и его душой! Разве не рассматривал

он прежде, не далее чем ещё вчера, то присущее ему уменье открывать, осознавать и воспринимать действительность, которое он называл «пробуждением», как постепенное проникновение в самое сердце мира, в средоточие истины, как нечто абсолютное, как поступательное движение или путь, который можно преодолевать только постепенно, шаг за шагом, но который, согласно идее, непрерывен и прямолинеен? Разве когда-то, в молодости, ему не казалось пробуждением, шагом вперёд, непреложно ценным и единственно правильным, что он, хотя и признал внешний мир в лице Плинио, в то же время, будучи касталийцем, сознательной обдуманно от этого мира отмежевался? И следующим шагом вперёд, к истине, он считал то, что после многолетних сомнений он решил посвятить себя Игре и Вальдцелю. И ещё один шаг, когда, с его согласия, Магистр Томас представил его кандидатуру на пост в иерархию, а старый Магистр музыки рекомендовал его в Орден; и позднее, когда ему присвоили звание Магистра. Всё это были мелкие и крупные шаги на прямом будто бы пути, — и всё же сегодня, в конце этого пути, он отнюдь не оказался в сердце мира и в средоточии истины, сегодняшнее пробуждение означало всего лишь,

что он как бы только что открыл глаза и увидел себя опять в новом положении, осваивающим новую констелляцию. Та самая строгая, ясная, чётко обозначенная стезя, прямая стезя, приведшая его в Вальдцель, в Мариафельс, в Орден, на пост Магистра, теперь вновь вывела его обратно, наружу. Последовательный ряд этапов пробуждения одновременно оказался чередой прощаний. Касталия, Игра, сан Магистра — всё это были отдельные темы, ожидавшие своего раскрытия и завершения, всё это были пространства, которые надо было пройти, пределы, которые надо было преодолеть. И вот они уже позади. А ведь и в былое время, когда он думал и поступал не так, как он думает и поступает сегодня, а совсем наоборот, он уже, очевидно, что-то знал или догадывался о спорности всего этого; ведь недаром заголовком стихотворения, в котором говорится о ступенях и прощениях, он поставил этот девиз — *«Transcendere!»*.

Итак, оказывается, путь его шёл по кругу, или по эллипсу, или по спирали, как бы там ни было, только не по прямой, ибо прямые существуют лишь в геометрии, а не в природе и не в жизни. Но он неукоснительно следовал самоувещеванию и самоободрению, которые он вложил в свой стих,

даже после того, как строчки его и тогдашнее пробуждение давно ушли в прошлое, — правда, следовал не безоговорочно, не без колебаний, сомнений и приступов слабости, не без борьбы. Но он преодолевал ступень за ступенью, пространство за пространством, смело, спокойно, с ясной душой, не столь лучезарной, как у престарелого Магистра музыки, но без усталости или уныния, ни от чего не отрекаясь, ничему не изменяя. И если он теперь, по касталийским понятиям, отрёкся и изменил, если он, вопреки законам орденской морали, действует якобы только служа собственной личности, то есть произволу, то ведь и это осенено духом смелости, духом музыки, следовательно, происходит в строгом соответствии с её ритмом и ясностью, а в остальном — будь что будет! О, когда б он мог объяснить и доказать другим то, что ему казалось таким ясным: произвол его действий есть на самом деле не что иное, как служение и покорность, и он идёт навстречу не свободе, а новым, незнакомым и тревожным обязательствам, не как беглец, а как призванный, не своевольно, а послушно, не властелин, а жертва! Ну, а как же тогда дело обстоит с добродетелями, с ясностью, с соблюдением ритма, со смелостью? Они стали мельче, но они сохранили

свою значимость. Даже когда не идёшь, а тебя ведут, когда более не преступаешь пределы по собственной воле, а происходит лишь вращение пространства вокруг кого-то, стоящего в центре, эти добродетели всё-таки существуют, сохраняют свою ценность, своё волшебство. Они состоят в утверждении вместо отрицания, в покорности вместо уклонения, а быть может, немного и в том, что поступаешь и думаешь так, словно ты сам себе господин, в том, что ты активен, принимаешь без проверки жизнь и самообольщение, эту видимость самоопределения и ответственности, в том, что в сути своей по неизвестным причинам создан скорее для действия, нежели для познания, больше повинуешься инстинктам, нежели духу. О, если бы можно было побеседовать обо всём этом с отцом Иаковом!

Мысли или мечтания подобного рода были отголоском его тогдашней медитации. И мнилось ему, что в «пробуждении» важны уже не истина, а действительность и то, как её пережить, как выстоять. Пробуждаясь, уже не проникаешь глубоко в суть вещей, в истину, а схватываешь, осуществляешь или переживаешь отношение своего «я» к положению вещей в настоящую минуту. При этом ты обретаешь не закономерности,

а решения, достигаешь не центра мироздания, а центра собственного «я». Вот почему то, что при этом чувствуешь, так трудно высказать, вот почему столь удивительным образом это ускользает от слов и формулировок; возможности человеческого языка, по-видимому, не рассчитаны на сообщения из этой сферы жизни. Если в виде исключения найдётся человек, способный понять тебя несколько лучше, нежели другие, — значит, человек этот находится в таком же положении, как и ты, так же страдает или так же пробуждается. На каком-то отрезке пути его, Кнехта, иногда понимал Тегуляриус, ещё глубже и полнее — Плинио. Кого ещё мог бы он назвать? Никого.

Уже начало смеркаться, и он, погруженный всецело в свои мысли, забыл обо всём вокруг, когда в дверь внезапно постучали. Так как он не сразу очнулся и ответил, стоявший за дверью, помедлив, ещё раз тихонько постучал. Теперь Кнехт откликнулся, встал и последовал за посланным, который проводил его в здание канцелярии и, не докладывая больше, прямо в кабинет предстоятеля Ордена. Магистр Александр встал ему навстречу.

— Жаль, что вы приехали без предупреждения, — сказал он, — из-за этого вам пришлось

меня подождать. Я полон любопытства — что так внезапно привело вас сюда? Надеюсь, ничего плохого?

Кнехт засмеялся.

— Нет, ничего плохого. Но неужели мой приезд для вас такая уж неожиданность, и вы так уж совсем не можете себе представить, что привело меня сюда?

Александр серьёзно и пытливо заглянул ему в глаза.

— Что ж, — ответил он, — представить я себе могу и то, и се. Я, например, подумал на днях, что дело с вашим посланием для вас, конечно, этим не исчерпывается. Коллегия вынуждена была ответить на него довольно кратко и в таком смысле и тоне, который должен был вас разочаровать.

— Нет, нет, — возразил Кнехт, — я, в сущности, и не ожидал от Коллегии другого ответа. Что касается тона, то он как раз подействовал на меня благотворно. По письму я мог судить, что автору его было трудно, даже мучительно писать его и что он испытывал потребность влить несколько капель мёду в неприятный для меня и несколько увещевающий ответ; и это ему превосходно удалось, за что я сердечно благодарен.

— А с самим содержанием письма вы, стало

быть, согласны, почтеннейший?

— Я его принял к сведению и в основном понял и одобрил. Ответ и не мог принести мне ничего, кроме отказа на моё ходатайство, да ещё мягкого внушения. Моё послание было довольно неожиданным и для Коллегии, безусловно, неприемлемым, в этом я никогда не сомневался. Но, кроме того, поскольку оно содержало и личное ходатайство, оно было несколько неудачно составлено. Я едва ли мог ожидать иного ответа, кроме отрицательного.

— Нам очень приятно, — сказал предстоятель с чуть заметной резкостью в голосе, — что вы это так восприняли и что наше письмо вас не ранило и не удивило. Нам это очень приятно. Но я не понимаю одного. Коль скоро вы, составляя и отправляя ваше официальное послание — если я вас правильно понял, — с самого начала не верили в успех и в положительный результат, более того, заранее были убеждены в неудаче, зачем же вы до конца дописали его, перебелили и отправили, что ведь составило немалый труд?

Кнехт, приветливо глядя на него, ответил:

— Глубокочтимый Магистр, в моём письме заключено два содержания, оно преследовало две цели, и я не думаю, что оно оказалось совсем

уже бесцельным и безуспешным. В послании моём содержалась личная просьба, чтобы меня освободили от моего поста и разрешили приложить мои знания в другом месте; эту личную просьбу я рассматриваю как нечто сравнительно второстепенное, каждый Магистр обязан по возможности отодвигать на задний план свои личные интересы. Просьба была отклонена, с этим мне пришлось примириться. Но моё официальное послание содержит ещё и многое другое: кроме моей просьбы, оно содержит много фактов и отчасти мыслей, их я считал своим долгом довести до сведения Коллегии и рекомендовать её вниманию. В результате все Магистры, или почти все, ознакомились с моими доводами и предостережениями, и хотя большинству из них это кушанье наверняка пришлось не по вкусу и отнеслись они к нему скорее всего неодобрительно, всё же они прочитали и приняли к сведению, что я счёл нужным вам сообщить. То, что они не встретили моё послание восторженно, в моих глазах не неудача, ибо я не искал ни восторгов, ни одобрения; моей целью скорее было пробудить в моих коллегах беспокойство, растревожить их. Я бы весьма сожалел, если бы по упомянутым вами причинам воздержался от отправки моего труда.

Велико ли, слабо ли было его воздействие, оно всё же прозвучало призывом и сигналом тревоги.

— Разумеется, — нерешительно отозвался предстоятель, — и всё-таки загадка этим для меня не исчерпывается. Если вы хотели довести до слуха Коллегии ваши призывы, сигналы и ваши предостережения, зачем же вы ослабили, даже поставили под угрозу воздействие ваших золотых слов тем, что связали их с приватной просьбой, к тому же с такой, в выполнимость которой вы сами не очень-то верили? Этого я так и не понял. Но, надеюсь, пойму, когда мы поговорим обо всём обстоятельно. Во всяком случае, именно в этом слабое место вашего послания: в соединении призыва с ходатайством, предостережения с просьбой. Ведь у вас, надо думать, не было никакой необходимости использовать форму просьбы, дабы донести до нас свои предостерегающие речи. Вы легко могли устно или письменно воздействовать на ваших коллег, если считали нужным их «растревожить». А ходатайство пошло бы своим официальным путём.

Кнехт дружески кивнул ему.

— Да, — бросил он, как бы вскользь, — возможно, вы и правы. И всё же, взгляните попристальней на это довольно сложное дело! Ни в моих

предостережениях, ни в моём ходатайстве разговор не идёт о чём-то будничном, привычном или обыденном, они уже потому связаны друг с другом, что они необыкновенны и рождены необходимостью, что они выходят за пределы общепринятого. Ведь отнюдь не привычно и не принято, чтобы человек без уважительного внешнего повода вдруг начал заклинать своих коллег вспомнить о бренности, о спорности своего существования, точно, так же, как непривычно и не принято, чтобы касталийский Магистр добивался места школьного учителя за пределами Провинции. С этой стороны оба содержания моего письма близки одно другому. Для читателя, который бы с полным вниманием отнёсся к моему посланию в целом, в результате прочтения, по-моему, должно бы стать ясным: тут не просто какой-то чудак оповещаете своих предчувствиях, стараясь внушить их своим коллегам, но этот человек более чем серьёзно относится к своим мыслями к грозящим бедам. Он готов оставить свой пост, сбросить свой сан, перешагнуть через прошлое и начать жизнь сызнова на самом скромном поприще, ибо он пресыщен и саном, и мирным житьём, честью и авторитетом, он жаждет избавиться от них, откинуть их прочь. Из

подобного послания — я всё ещё пытаюсь поставить себя на место моего читателя — вытекают, с моей точки зрения, два вывода: либо автор сей морализирующей проповеди, по несчастью, повредился в уме и, значит, для роли Магистра в любом случае более непригоден; либо, если автор сего нравоучения не сумасшедший, но пребывает в здравом рассудке, в его проповеди, в его пессимизме таится нечто большее, нежели каприз или чудачество, а именно какая-то реальность, какая-то истина. Так приблизительно я представлял себе ход мыслей моего читателя и должен сознаться, что тут я просчитался. Моё ходатайство и мой сигнал тревоги не только не поддержали и не усилили друг друга, но их просто не приняли всерьёз, не пожелали в них вдуматься. Повторяю, меня это не слишком опечалило и не особенно удивило, ибо по существу я, несмотря ни на что, такого результата ожидал и, собственно говоря, заслужил. Дело в том, что моё ходатайство, в успех которого я не верил, было своего рода уловкой, жестом, формальностью.

Лицо Магистра Александра стало ещё более серьёзным и почти хмурым. Но он не прерывал Кнехта.

— Отсылая своё ходатайство, — продолжал тот,

— я отнюдь не надеялся всерьёз на благоприятный ответ и не радовался таковому заранее, но равным образом я не был также намерен смиренно принять отказ как непререкаемое решение.

— …не намерены принять ответ вашей Коллегии как непререкаемое решение… не ослышался ли я, *Magister?* — перебил его Александр, резко подчёркивая каждое слово. Он, очевидно, только сейчас полностью осознал серьёзность положения.

Кнехт слегка поклонился.

— Разумеется, вы расслышали правильно. Так и есть: я едва ли мог надеяться на успех моего ходатайства, и всё-таки счёл необходимым подать его, чтобы соблюсти порядок и форму. Тем самым я предоставил достопочтенной Коллегии возможность подобающим образом покончить с этим делом. Но я уже с самого начала имел также намерение, буде она не склонна пойти на такое решение, не останавливаться и не успокаиваться, а действовать.

— И как действовать? — тихо спросил Александр.

— Так, как мне подсказывают разум и сердце. Я решился сложить с себя свой сан и приступить к новой деятельности за пределами Касталии даже

и без приказа или дозволения Коллегии.

Предстоятель Ордена закрыл глаза и, казалось, не слушал больше. Кнехт понял, что он выполняет особое упражнение, при помощи которого члены Ордена в случае внезапной опасности или угрозы стараются обрести самообладание и внутреннее спокойствие, что достигается двукратной задержкой дыхания на полном выдохе. Он видел, как побледнело лицо этого человека, и чувствовал себя виноватым в его мучительном положении, он видел, как постепенно, с медленным, начинающимся в брюшных мускулах вдохом, краска возвращалась на лицо, как вновь открывшиеся глаза столь любимого им и столь высоко почитаемого Магистра на мгновение застыли в растерянности, но тут же приобрели осмысленное и твёрдое выражение; с лёгким испугом увидел он, как эти ясные, сосредоточенные, всегда послушные собственной воле глаза человека, равно великого в умении подчиняться и повелевать, вонзились в него со спокойной, рассчитанной холодностью, как они изучали, судили его. Долго пришлось ему молча выдерживать этот взгляд.

— Я думаю, что понял вас наконец, — спокойно промолвил Александр после некоторого молча-

ния. — Надо полагать, вы устали, исполняя вашу должность, устали от Касталии, уже давно вас мучает желание вкусить мирской жизни. Вы предпочли поддаться этому настроению, а не подчиниться закону и вашему долгу. Равным образом вы не испытывали потребности довериться нам и искать у Ордена совета и помощи. Дабы выполнить формальность и не отягощать свою совесть, вы направили нам ходатайство, хотя прекрасно знали, что оно для нас неприемлемо; но вы, вероятно, полагали сослаться на него, если бы дело дошло до объяснений. Допустим, у вас были основания для таких необычных поступков и намерения ваши были чисты, иного я и помыслить не могу. Но как вам удавалось с такими мыслями в голове, с такими желаниями, решениями в сердце, внутренне уже предав своё знамя, так долго молча оставаться на своём посту и по видимости безупречно выполнять свои обязанности?

— Я для того и явился сюда, — сказал Магистр Игры всё с тем же неизменным дружелюбием, — чтобы обо всём переговорить, ответить на каждый ваш вопрос, и я твёрдо решил, раз ступив на путь своеволия, покинуть Хирсланд и ваш дом не прежде, чем увижу, что моё состояние и мои

действия хотя бы отчасти стали вам понятны.

Магистр Александр задумался.

— Должно ли это означать, что вы надеетесь добиться с моей стороны одобрения вашим поступкам и вашим планам? — спросил он затем в нерешительности.

— Ах, об одобрении я и не помышляю. Я лишь надеюсь и жду быть понятым вами и сохранить хотя бы крупицу вашего уважения, когда уйду отсюда. Прощание с вами — последнее, что предстоит мне в Провинции. Вальдцель и Селение Игры я покинул сегодня навсегда.

Александр опять на несколько секунд сомкнул веки. Слова этого непостижимого человека были столь потрясающими и неожиданными!

— Навсегда? — переспросил он. — Вы, следовательно, и не помышляете о возвращении на свой пост? Должен сказать, что вы умеете ошеломить человека! Один вопрос, если позволите: считаете ли вы ещё себя Магистром Игры или нет?

Йозеф Кнехт взял в руки привезённый с собой ларчик.

— Я был им до вчерашнего дня, — ответил он, — и надеюсь сегодня быть освобождённым от этого поста, вручив в вашем лице Коллегии печать и ключи. Они в целости и сохранности, в Селении

Игры вы тоже найдёте всё в лучшем порядке, если пожелаете проверить.

Предстоятель Ордена поднялся со стула; он выглядел утомлённым и словно внезапно постаревшим.

— Оставим ваш ларчик на сегодняшний день здесь, — проговорил он сухо. — Коль скоро сдача печатей должна одновременно означать ваше увольнение, то я не властен решать единолично, ибо этого необходимо присутствие по меньшей мере трети всех членов Коллегии. Вы сами всегда столь ценили старые обычаи и формальности, я не могу так быстро освоиться с вашим новым отношением к этому. Не будете ли вы столь любезны и не согласитесь ли отложить продолжение нашего разговора до завтрашнего утра?

— Я всецело в вашем распоряжении, глубокоуважаемый Магистр. Вы не один год знаете меня и моё почтение к вам; поверьте, в этом смысле ничто не изменилось. Вы — единственный человек, с которым я прощаюсь перед тем, как покину Провинцию, и не только потому, что вы стоите во главе Ордена. Теперь, когда я передал в ваши руки печати и ключи, я надеюсь, *domine,* что после окончательного объяснения вы меня освободите и от моего обета как члена Ордена.

Грустным, испытующим взглядом посмотрел Александр ему в глаза и подавил вздох.

— Оставьте меня сейчас одного, почтеннейший друг. Вы взвалили на меня достаточно забот и дали материала для размышлений на целый день. На сегодня, пожалуй, хватит. Завтра мы продолжим наш разговор, приходите за час до обеда.

Он попрощался с Магистром вежливым кивком, и этот жест, говоривший о разочаровании, выражавший ту подчёркнутую вежливость, какую проявляют обычно не по отношению к коллеге, а по отношению к совершенно чужому человеку, причинил Магистру Игры гораздо более острую боль, нежели все слова предстоятеля.

Служитель, явившийся, чтобы проводить Кнехта к ужину, подвёл его к накрытому для гостей столу и сообщил, что Магистр Александр удалился к себе для длительного упражнения в медитации. Он высказал предположение, что господин Магистр Йозеф тоже сегодня не нуждается в обществе; комната для него приготовлена.

Александр был до глубины души потрясён посещением и речами Магистра Йозефа Кнехта. Правда, сочиняя от имени Коллегии ответ на его письмо, он предвидел возможность его приезда и с лёгким беспокойством думал о пред-

стоящем с ним объяснении. Но чтобы Магистр Кнехт, славившийся своим образцовым послушанием, скрупулёзностью в выполнении долга, скромностью и душевным тактом, вдруг, неожиданно предстал перед ним без предупреждения и самовольно, не согласовав этого заранее с Коллегией, сложил с себя свои полномочия, бросив тем самым ошеломляющий вызов всем обычаям и традициям, — это он считал совершенно невозможным. Хотя нельзя было не признать, что поведение Кнехта, тон и выражения его, ненавязчивая вежливость были такими же, как всегда, но тем более ужасными и оскорбительными, тем более новыми и неожиданными, о какими некасталийскими были содержание и дух его высказываний! Никто из тех, кто увидел и услышал бы сейчас Магистра Игры, и не заподозрил бы, что тот, возможно, болен, переутомлён, раздражён и не вполне владеет собой; к тому же тщательная проверка, проведённая совсем недавно в Вальдцеле, не выявила ни малейших признаков нарушений, беспорядка или небрежности в жизни и работе Селения Игры. И тем не менее этот ужасный человек, до вчерашнего дня бывший самым любимым его коллегой, поставил перед ним ларчик со знаками достоинства его

сана, будто дорожную сумку, и заявил, что он уже не Магистр, не член Коллегии, не член Ордена, не касталиец, и явился сюда только для того, чтобы наскоро попрощаться. Никогда ещё за всю его бытность на посту предстоятеля Ордена он, Александр, не оказывался в таком неприятном, затруднительном и тягостном положении; большого труда стоило ему сохранять выдержку.

Что же делать? Применить насилие, например, подвергнуть Магистра Игры почётному аресту, немедленно, сегодня же вечером, разослать спешное извещение всем членам Коллегии и созвать их сюда? Возможны ли возражения против такой меры? Разве это не самое простое и верное, что можно сделать? И всё-таки что-то в нём восставало против такого решения.

И чего, собственно, он добьётся подобными репрессиями? Магистру Кнехту они не принесут ничего, кроме унижения, Касталии — вообще ничего, больше всех, пожалуй, выиграет он сам, глава, ибо снимет с себя отчасти груз ответственности, успокоит свою совесть, поскольку ему не придётся тогда одному и полностью отвечать за то, что он считает отвратительным и трудным. Но если вообще ещё существует малейшая возможность что-то исправить в этом роковом

деле, если ещё можно сделать попытку воззвать к чувству чести Кнехта, ещё мыслимо добиться поворота в его намерениях, — этого можно добиться только с глазу на глаз. Им двоим, Кнехту и Александру, придётся выдержать жестокую схватку, больше никому. И, обуреваемый этими мыслями, он должен был признать, что Кнехт, в сущности, поступил правильно и благородно: не обратившись к Верховной Коллегии, которая для него перестала существовать, он всё же явился к нему, предстоятелю, для последней битвы и прощания. Этот Йозеф Кнехт, хотя и совершил нечто запретное и ненавистное, сохранил при этом всё своё достоинство и остался тактичным.

Магистр Александр решил довериться последнему доводу и не вмешивать в дело весь аппарат Коллегии. Только сейчас, когда решение было найдено, он начал обдумывать все подробности случившегося и прежде всего спросил себя, что по существу было правильно и неправильно в действиях Магистра Игры, который, безусловно, производил впечатление человека, твёрдо убеждённого в истинности своих взглядов и в правомерности своего неслыханного поступка. Теперь, пытаясь подвести дерзкое намерение Магистра Игры под некую формулу, проверить

его согласно законам Ордена, которые он знал как никто, Александр пришёл к неожиданному открытию, что фактически Йозеф Кнехт отнюдь не нарушил и не имел намерения нарушить букву закона, ибо по закону, который, правда, десятилетиями не применялся, каждый член Ордена был вправе в любое время выйти из него, если он одновременно отказывался от своих прав и от касталийского сообщества. Возвращая доверенные ему печати, заявляя Ордену о своём выходе, удаляясь в некасталийский мир, Кнехт, правда, совершал шаг неслыханный, необычный, страшный, быть может, даже неподобающий, но никак не преступил правила Ордена. Желая совершить этот непостижимый, но формально не противоречивший закону поступок не за спиной главы Ордена, а лицом к лицу с ним, он делал даже больше того, что требовалось от него по букве закона. Но как дошёл до такого решения этот окружённый почётом человек, один из столпов иерархии? Как осмелился он руководствоваться в своём, что ни говори, отступническом намерении писаными правилами и пренебречь сотней неписаных, но не менее священных и само собой разумеющихся обязательств, которые должны были ему в этом воспрепятствовать?

Александр услышал бой часов, отогнал бесплодные мысли, принял ванну, посвятил десять минут прилежным дыхательным упражнениям и выбрал себе келью для медитации, чтобы за час перед сном накопить в себе силы и спокойствие и затем до утра не возвращаться мыслями к этому предмету.

На следующий день молодой служитель проводил Магистра Кнехта из дома для гостей к предстоятелю Ордена и был свидетелем того, как оба обменялись приветствиями. Его, привыкшего видеть искусных мастеров медитации вблизи, всё же поразило во внешности, в манерах, в приветствии обоих достойнейших Магистров нечто особенное, для него новое, а именно необыкновенная, высшая степень сосредоточенности и отчётливости. Это было, рассказывал он нам, не совсем обычное приветствие между двумя носителями высшего сана, которое обычно бывало, смотря по обстоятельствам, либо поверхностным и небрежно выполненным церемониалом, либо же торжественно-радостным, праздничным актом, а могло быть и неким соревнованием в вежливости, самоуничижении и подчёркнутом смирении. Сейчас же это выглядело так, словно здесь принимали чужого, например, некоего ве-

ликого мастера йоги, который прибыл из дальних стран, чтобы выразить главе Ордена своё почтение и помериться с ним силами. Слова и жесты были весьма скромны, но взоры и лики обоих сановных касталийцев полны спокойствия, решимости и собранности, а также скрытого напряжения, словно оба они светились изнутри или были заряжены электрическим током. Больше ничего нашему свидетелю не удалось ни увидеть, ни услышать. Собеседники удалились во внутренние покои, вероятно, в частный кабинет Магистра Александра, и оставались там несколько часов, причём никому не велено было их беспокоить. Всё, что стало известно об их беседе, было впоследствии рассказано депутатом Дезиньори, которому кое-что поведал сам Йозеф Кнехт.

— Вчера вы застали меня врасплох, — начал предстоятель Ордена, — и чуть не вывели из равновесия. За истёкшие часы я кое-что обдумал. Моя точка зрения, разумеется, не изменилась, я — член Коллегии и орденского правления. Согласно букве закона, вы имеете право заявить о своём выходе из Ордена и сложить с себя свои обязанности. Вы пришли к выводу, что ваш пост стал для вас бременем, и считаете нужным по-

пытаться начать новую жизнь вне Ордена. А что, если я вам предложу сделать такую попытку, но не так, как вы сгоряча решили, а, допустим, взяв длительный или даже не обусловленный сроком отпуск? Что-то похожее, кстати, содержалось и в вашем ходатайстве…

— Не совсем, — возразил Кнехт. — Будь моё ходатайство удовлетворено, я бы остался в Ордене, но всё равно ушёл бы со своего поста. То, что вы так любезно предлагаете, было бы увёрткой. Впрочем, Вальдцелю и Игре мало было бы толку от Магистра, который надолго, на неопределённое время ушёл в отпуск и о котором нельзя суверенностью сказать, что он вообще вернётся. А если бы он и появился снова через год, через два, он бы многое растерял из того, что ему необходимо знать и что касается его поста, дисциплины и Игры, и ничему новому бы не научился.

Александр:

— Кое-чему, возможно, он всё же научился бы. Возможно, он бы узнал, что мир за пределами Касталии не совсем таков, каким он его себе представлял, что мир этот столь же мало нуждается в Йозефе Кнехте, как Кнехт в нём, и он вернулся бы успокоенный и был бы рад вновь очутиться в прежнем надёжном окружении.

— Ваша доброта простирается слишком далеко. Я вам очень благодарен и всё же не могу ею воспользоваться. Ведь я ищу не удовлетворения своего любопытства и не мирской жизни, нет, я ищу безусловности. Я вовсе не хочу выйти в широкий мир, имея за спиной лазейку на случай разочарования, не хочу быть осторожничающим путешественником, который выползает из своей норы, чтобы немного повидать белый свет. Напротив, я жажду риска, осложнений, опасностей, я изголодался по реальной задаче, по делу, по лишениям и мукам. Смею ли я просить вас не настаивать на вашем столь великодушном предложении и вообще не пытаться поколебать меня или манить назад? Это бы ни к чему не привело. Мой приезд к вам потерял бы для меня всю свою ценность и святость, если бы принёс мне запоздалое, уже ненужное исполнение моей просьбы. С момента отправки этой просьбы я успел шагнуть далеко вперёд; путь, на который я ступил, теперь для меня — единственно возможный, он — мой закон, родина, служение.

Вздохнув, Александр кивнул головой, признавая его правоту.

— Итак, допустим, — промолвил он, не теряя терпения, — что вас действительно невозможно

ни смягчить, ни переубедить, что вы, вопреки внешней очевидности, являете собой глухого, не внемлющего ни авторитету, ни разуму, ни доброте, что вы человек, одержимый амоком или охваченный безумием, которому нельзя становиться поперёк дороги. Поэтому я избегаю пока вас уговаривать или влиять на вас. Но тогда исполните то, ради чего вы сюда приехали, поведайте мне историю вашего отступничества, объясните мне ваши действия и решения, столь нас ужаснувшие! Будь то исповедь или оправдание, будь то обвинение — всё равно, я хочу это услышать.

Кнехт кивнул.

— Одержимый амоком благодарит вас и радуется. Я не намерен выступать с обвинениями. То, что я хотел бы сказать, если бы это не было так трудно, так невероятно трудно выразить словами, для меня имеет смысл оправдания, вы же можете принять это как исповедь.

Он откинулся в кресле и поглядел вверх, туда, где свод ещё хранил бледные очертания стёршейся росписи тех времён, когда в Хирсланде был монастырь, — призрачные, тонкие следы линий и красок, цветов и орнаментов.

— Мысль о том, что должность Магистра может

наскучить, что можно отказаться от неё, посетила меня впервые уже через несколько месяцев после моего назначения. В один прекрасный день я сидел и перелистывал записную книжечку моего некогда прославленного предшественника, Людвига Вассермалера, в которой он, прослеживая месяц за месяцем целый год своего пребывания на посту Магистра, даёт своим преемникам советы и указания. И я напал на его предостережение, на его напоминание о том, что к публичной Игре следующего года надо готовиться загодя. Если же ты не чувствуешь вдохновения, если не хватает тебе изобретательности, необходимо настраивать себя путём концентрации. В тот час я, самый молодой из всех Магистров, ещё чувствовал в себе избыток сил и, прочитав это предостережение, признаться, улыбнулся в своём юношеском высокомерии над заботами старого человека. Но уже тогда я почуял в его словах и нечто серьёзное — что-то вроде опасности, что-то грозное и гнетущее. Задумавшись над этим, я ещё в то время пришёл к решению: если в моей жизни наступит день, когда мысль о предстоящей Игре вместо радости внушит мне тревогу, вместо гордости — страх, я не стану в муках выжимать из себя идеи, а уйду в отставку и верну Коллегии вручён-

ные мне знаки отличия. Так впервые в мою душу запала эта мысль, но, конечно, в ту пору, когда я только-только осилил большое напряжение, большие трудности моей новой должности, когда паруса мои были полны ветра, я в глубине души не очень-то верил, что когда-нибудь превращусь в старика, устану от работы и жизни, что и мне когда-нибудь с сокрушением и замешательством придётся изведать, как нелегко изобретать новые идеи для нашей Игры. Так или иначе, подобное решение зародилось во мне. Вы меня в то время хорошо знали, почтеннейший Магистр, возможно, даже лучше, нежели я сам знал себя, вы были моим советчиком и исповедником в первые, самые тяжёлые дни моего пребывания на посту и совсем недавно покинули Вальдцель.

Александр испытующе взглянул на него.

— Мне, пожалуй, никогда не давали более приятного поручения, — сказал он, — я был доволен вами и самим собой, как это редко случается в жизни. Если верно, что за всё приятное, выпадающее нам на долю, мы должны расплачиваться, я, видно, должен сегодня нести кару за свою тогдашнюю восторженность. В то время я по-настоящему гордился вами. Сегодня я не могу этого сказать. В том, что Орден по вашей милости

испытает такое разочарование, а Касталия будет глубоко потрясена, есть доля и моей вины. Быть может, когда я был вашим ментором и советчиком, мне бы следовало побыть ещё несколько недель в Селении Игры и более жёстко взяться за вас, более строго проверить.

Кнехт весело встретил его взор.

— Вы не должны испытывать таких угрызений совести, *domine,* иначе я буду вынужден напомнить вам о некоторых наставлениях, какие вам пришлось делать мне, когда я, новоиспечённый Магистр, с трудом справлялся со своими обязанностями и своей ответственностью. И в одну из таких минут — я только что вспомнил об этом — вы сказали мне как-то: если бы я, *Magister Ludi,* был злодеем и тупицей, если бы я делал всё, чего Магистр делать не должен, если бы даже сознательно стремился, находясь на высоком посту, причинить нашей любимой Касталии как можно больше вреда, это встревожило бы её не больше, взволновало бы не глубже, нежели камешек, брошенный в озеро. Мелкий всплеск, несколько кругов — и всё! Так прочен, так незыблем наш касталийский порядок, так неприкосновенен её дух. Помните ли вы это? Нет, в моих стараниях быть возможно более дурным касталийцем и

принести Ордену наибольший вред вы, безусловно, не виноваты. И вы знаете также, что мне никогда не удастся серьёзно поколебать ваше спокойствие. Но я хочу рассказать вам, что было дальше. То, что я уже в начале моей магистерской деятельности смог принять подобное решение, то, что я этого решения не забыл и теперь готов его осуществить, связано со своеобразным душевным состоянием, которое посещает меня время от времени и которое я называю «пробуждением». Но об этом вы знаете, я уже однажды рассказывал вам об этом, когда вы были моим духовным наставником, и даже сетовал, что со дня моего вступления в должность у меня уже не бывает такого состояния, и я всё более от него отдаляюсь.

— Вспоминаю, — подтвердил Магистр Александр, — я был тогда несколько озадачен вашей способностью переживать подобное, ибо в нашей среде она встречается крайне редко, а за пределами Касталии проявляется в самых разнообразных формах: иногда у гениев, особенно у государственных деятелей или полководцев, но также и у слабых, полупатологических индивидуумов со способностями ниже среднего уровня, как то: у ясновидящих, телепатов, медиумов. Ни с одним из этих человеческих типов: ни с военными геро-

ями, ни с ясновидящими или рудознатцами — у вас, с моей точки зрения, не было ничего общего. Более того, вы мне казались тогда, да и вплоть до вчерашнего дня, образцовым членом Ордена: рассудительным, ясно сознающим свою роль, послушным. Подверженность власти таинственных голосов, будь то божественных или демонических, будь то голоса собственного сокровенного «я», казалась мне нисколько вам не свойственной. Поэтому я истолковал эти «пробуждения», описанные вами, просто как мгновенные осознания собственного роста. Мне кажется вполне естественным, что такие душевные состояния надолго перестали вас тогда посещать: вы только что заняли высокий пост и возложили на себя задачу, которую пока ощущали как слишком просторную одежду, вам ещё надлежало в неё врасти. Скажите, однако: верили ли вы когда-нибудь, что эти «пробуждения» представляют собой нечто вроде откровения высших сил, весть или зов из сфер некой объективной, вечной или божественной истины?

— Вот тут-то мы и подошли к стоящей передо мной в эту минуту весьма трудной задаче, — сказал Кнехт, — выразить словом то, что ускользает от слова; превратить в рациональное то, что

определённо внерационально. Нет, манифестациями божества, или демона, или абсолютной истины я эти свои пробуждения не считал. Весомость и убедительность моим переживаниям придаёт не доля содержащейся в них истины, не их высокое происхождение, божественность или ещё что-либо в этом роде, но их реальность. Они ужасающе реальны, подобно тому как сильная физическая боль или стихийное бедствие, вроде урагана и землетрясения, кажутся нам совсем по-иному заряженными реальностью, слитностью с настоящим моментом, неизбежностью, нежели обычные дни и состояния. Предшествующий грозе порыв ветра, который гонит нас скорее под крышу и напоследок ещё пытается вырвать из рук дверь, или жестокая зубная боль, которая, кажется, сосредоточивает всю напряжённость, все страдания и конфликты мира в нашей челюсти, — это явления, чью реальность или смысл мы вольны позднее оспорить, если склонны к подобным шуткам, но в ту минуту, когда мы их переживаем, они не терпят ни малейшего сомнения и до ужаса реальны. Подобного рода обострённой действительностью обладают и мои «пробуждения», отсюда и название их; в эти часы я ощущаю окружающее так, словно я долгое

время пребывал во сне или полусне, а теперь вдруг пробудился и бодр и вспоминаю всё ярко, как никогда прежде. Минуты великих страданий или потрясений — что относится и к событиям всемирной истории — обладают убедительной силой необходимости, они воспламеняют в нас чувство угнетающей реальности и напряжения. Такие напряжения могут разрешиться прекрасным и светлым или же сумбурным и мрачным. Но, во всяком случае, то, что происходит в эти минуты, будет казаться нам великим, необходимым, важным и будет существенно отличаться и выделяться среди того, что происходит повседневно.

— А теперь давайте попробуем, — продолжал Кнехт, передохнув, — взглянуть на дело с другой стороны. Помните ли вы легенду о святом Христофоре?[75] Да? Так вот, этот Христофор был человеком великой силы и храбрости, но он не пожелал стать господином и править, он пожелал служить. Служение было его силой и его ремеслом, оно ему давалось лучше всего. Но

[75] Примечания: [75]

Согласно средневековым житиям, святой Христофор был простодушным силачом, решившим служить лишь самому великому в мире господину. Жития описывают, как он поступает на службу к царю, но замечает, что царь боится чёрта, после этого он решается быть слугой Сатаны, но, убедившись, что Сатана боится креста, становится служителем Иисуса Христа.

ему было далеко не безразлично, кому служить. Он непременно должен был служить самому могущественному, самому великому господину. И если до него доходил слух о властелине, который был ещё могущественней, он предлагал свои услуги новому. Этот великий слуга всегда был мне по душе, и я, наверное, слегка похож на него. Во всяком случае, в ту единственную для меня пору, когда я мог располагать собой, то есть в студенческие годы, я долго искал и колебался, какому властелину мне служить. Так я долгое время держался вдали от Игры, не доверял ей, хотя давно уже признал в ней самое драгоценное, самое своеобразное детище нашей Провинции. Я уже вкусил от этой приманки и знал, что нет на земле ничего более притягательного и более сложного, чем посвятить себя Игре, и я довольно рано понял, что эта восхитительная Игра требует не наивных любителей, согласных посвятить ей часок отдыха, а тех, кем она завладеет целиком, кто готов подчиниться ей и служить всю жизнь. И вот какой-то внутренний инстинкт, какое-то наивное стремление к простоте, цельности, здоровью противилось во мне тому, чтобы навеки принести в жертву этому волшебству все свои силы и интересы, предостерегало меня от духа

вальдцельского *Vicus lusorum*, как от некоего духа специализации и виртуозности, правда, утончённого, чрезвычайно развитого, но оторванного от жизненной и человеческой целокупности и замкнувшегося в своём высокомерном одиночестве. Годами меня терзали сомнения, я проверял себя, покуда не созрело решение, и я, несмотря на свои колебания, посвятил себя Игре. Я это сделал, ибо во мне жило упомянутое Стремление искать самых высоких целей и служить самому великому господину.

— Понимаю, — сказал Магистр Александр. — Но сколько бы я ни раздумывал, что бы вы мне ни рассказывали о себе, неизменно я наталкиваюсь на один и тот же источник всех ваших особенностей. Вы слишком сильно чувствуете своё «я» или слишком от него зависите, а это отнюдь не то же самое, что быть большой личностью. Один может быть звездой первой величины по своей одарённости, силе воли, выдержке, но он так хорошо центрирован, что без всяких трений и затрат энергии включается в ритм системы, к которой принадлежит. Другой так же богато одарён, быть может, даже больше, но ось его «я» не проходит точно через центр, и он растрачивает половину своих сил на эксцентрические дви-

жения, которые изнуряют его самого и мешают всем окружающим. Вы, по-видимому, принадлежите к этой второй категории. Правда, сознаюсь, что вы великолепно умели это скрывать. С тем большей силой поразило нас это зло сегодня. Вы рассказали мне сейчас про святого Христофора, и я должен сказать: если в этом образе и есть нечто величественное и трогательное, то как образец служения нашей иерархии он никуда не годится. Кто хочет служить, должен неизменно служить тому владыке, которому он присягнул в верности, служить до гроба, а не с тайным намерением переметнуться к другому, более импозантному господину, как только такой отыщется. Иначе слуга ставит себя судьёй над своим господином, что вы сейчас и делаете. Вы всегда хотите служить самому великому властелину, и вы настолько простодушны, что берётесь сами определять степень величия тех владык, среди которых вы выбираете своего.

Кнехт выслушал его с глубоким вниманием, и на лицо его легла лёгкая тень печали. Он сказал:

— Преклоняюсь перед вашим суждением, господин Магистр, иного я от вас и не ожидал. Позвольте мне, однако, досказать мою повесть, осталось немного. Итак, я стал мастером Игры и

долгое время пребывал в уверенности, что служу величайшему из владык. Недаром мой друг Дезиньори, наш покровитель в Федеральном Совете, однажды весьма наглядно изобразил, каким заносчивым, спесивым, надутым виртуозом Игры, каким чистокровным касталийцем я был когда-то. Но я должен ещё объяснить вам, какое значение со студенческих лет, с начала моих «пробуждений» имело для меня слово *transcendere*. Оно засело у меня в памяти, я полагаю, при чтении одного из философов-просветителей и под влиянием Магистра Томаса фон дер Траве и с тех пор стало для меня, как и слово «пробуждение», подлинно магическим словом, требовательным и побуждающим идти вперёд, дарящим утешение и столь много обещающим. Моя жизнь, твердил я себе, должна стать преступанием пределов, непрерывным восхождением с низшей ступени на высшую, я должен преодолевать и оставлять за собой одно пространство за другим, как музыка раскрывает, проигрывает и завершает одну тему за другой, один темп за другим, не утомляясь, не смыкая глаз, всегда бодрствуя, всегда начеку. Благодаря моим «пробуждениям» я наблюдал, что такие ступени и пространства действительно существуют и что в конце определённого отрезка

жизни каждый раз появляется оттенок увядания, желание смерти, но потом всё меняется, подходишь к новому пространству, новому пробуждению, новому началу. И обо всём этом, что выражается для меня одним словом *transcendere*, я рассказываю вам, ибо считаю, что оно может дать ключ к пониманию моей жизни. Решение посвятить себя Игре было важной ступенью, и такой же ступенью было первое ощущение моей слитности с иерархией.

И, будучи на посту Магистра, я продолжал так же подниматься со ступени на ступень. Наилучшим, что дала мне моя деятельность на этом посту, было следующее открытие: не только занятия музыкой и Игра могут сделать человека счастливым, но и работа воспитателя и наставника. Постепенно я узнал, что работа эта приносит мне тем большую радость, чем моложе и неиспорченнее мои питомцы. Это открытие, наряду со многими другими, привело к тому, что годами во мне росло желание воспитывать всё более юных, что я охотнее всего пошёл бы работать учителем в начальную школу, короче говоря, моё воображение иногда увлекало меня в области, лежавшие далеко за пределами моих официальных обязанностей.

Он умолк. Предстоятель заметил:

— Вы всё больше изумляете меня, Магистр. Вы рассказываете о вашей жизни, и речь идёт почти исключительно о приватных, субъективных переживаниях, личных желаниях, этапах развития и решениях! Я, право, не предполагал, что касталиец вашего ранга может так смотреть на себя и на свою жизнь.

В его голосе зазвучали не то упрёк, не то грусть, и это опечалило Кнехта. Но он овладел собой и бодро воскликнул:

— Но, Досточтимый, ведь сейчас мы говорили не о Касталии, не о Коллегии или иерархии, а исключительно обо мне, о психологии человека, которому, к несчастью, выпало на долю навлечь на вас большие неприятности. Говорить о своей работе на посту Магистра, об исполнении мною моего долга, о том, достоин я или недостоин звания касталийца и Магистра, мне не пристало. Моя работа, как и вообще внешняя сторона моей жизни, вся на виду и может быть проверена каждым; вряд ли вы найдёте в ней многое, что заслуживало бы порицания. Но мы сейчас говорим совсем о другом, я хочу сделать для вас понятным тот путь, которым я пошёл в одиночку и который вывел меня сегодня из Вальдцеля, а завтра выве-

дет из Касталии. Будьте же добры, выслушайте меня до конца.

Моими сведениями о существовании другого мира за пределами нашей маленькой Провинции я обязан не штудиям и книгам, в которых этот мир представал передо мной только как далёкое прошлое, но вначале моему школьному товарищу Дезиньори, гостю оттуда, а позднее, во время моего пребывания у бенедиктинцев — отцу Иакову. Собственными глазами я видел мирскую жизнь очень мало, но через этого человека я получил представление о том, что называется историей, и, возможно, это и послужило причиной изоляции, в которую я попал по моём возвращении. Я вернулся из монастыря в край, почти не имеющий понятия об истории, в Провинцию учёных и адептов Игры, в общество чрезвычайно почтенное и чрезвычайно привлекательное; но я с моим смутным представлением о внешнем мире, с моим растревоженным любопытством, с моим сочувственным интересом к этому миру оказался в полном одиночестве. Многое здесь могло меня и утешить: здесь было несколько человек, которых я очень высоко ставил, и сделаться их коллегой казалось мне огромной, смущающей честью и счастьем; кроме того, здесь было множество хо-

рошо воспитанных, высокообразованных людей, достаточно работы и много способных и достойных любви учеников. За время обучения у отца Иакова я усвоил, что я не только касталиец, но и человек, что мир, «весь свет» имеет касательство и ко мне, требует и от меня участия в его жизни. Из этого открытия вытекали потребности, желания, нужды, обязательства, следовать которым я ни в коем случае не мог. Мирская жизнь в глазах касталийцев была отсталой, малоценной жизнью, полной беспорядка и грубости, страстей и рассеяния, в ней, по их мнению, не было ничего прекрасного и желанного. Но на самом деле мир с его жизнью был бесконечно шире и богаче тех представлений, какие могли сложиться у касталийца. Этот мир находился в непрерывном становлении, он сам творил историю, он был полон вечно новых начинаний; этот мир, пусть хаотичный, был отчизной и плодородной почвой, на которой произрастали все судьбы, все взлёты, все искусства, всё человеческое, он рождал языки, народы, государства, культуры, он создал и нас, и нашу Касталию, и он же будет свидетелем нашего умирания и останется жить после нас. Мой наставник Иаков пробудил во мне любовь к этому миру, и любовь эта непрерывно

росла и требовала пищи, а в Касталии не было ничего, что могло бы питать её. Здесь мы жили за пределами мира, мы сами стали маленьким, совершенным, застывшим в своём развитии и переставшим расти мирком.

Он глубоко вздохнул и помолчал немного. Предстоятель тоже ничего не говорил и только выжидательно смотрел на Кнехта, поэтому тот задумчиво кивнул ему и заговорил:

— Оказалось, я должен нести двойное бремя, и это длилось долгие годы. Мне надо было управлять большим ведомством и отвечать за него, а с другой стороны, мне надо было справиться со своей любовью к внешнему миру. Моя работа — и это было мне ясно с самого начала — не должна была страдать от этой любви. Напротив, как я полагал, она должна от неё выиграть. Если бы я даже — надеюсь, что это было не так — несколько хуже, не столь безупречно выполнял свою работу, чем следовало ожидать от Магистра, я всё равно сознавал бы, что я живей и бодрственней сердцем, нежели иной самый безукоризненный из моих коллег, и у меня было что дать моим ученикам и сотрудникам. Я видел свою задачу в том, чтобы, не порывая с традициями, постепенно, осторожно расширять и подогревать касталий-

скую жизнь и мышление, чтобы влить в неё струю свежей крови от мира и от истории, и по счастливому стечению обстоятельств в то самое время в миру, за пределами Касталии, у одного мирянина зародились подобные же мечты о сближении и взаимопроникновении Касталии и мира: то был Плинио Дезиньори.

Магистр Александр, слегка поджав губы, проговорил:

— Да, от влияния на вас этого человека я никогда не ожидал ничего доброго, равно как и от вашего незадачливого протеже Тегуляриуса. Так это Дезиньори окончательно склонил вас порвать с иерахией?

— Нет, *domine,* но он отчасти, сам того не сознавая, помог мне. Он вдохнул немного свежего воздуха в мою застоявшуюся жизнь, благодаря ему я вновь соприкоснулся с внешним миром и лишь тогда смог убедиться и сознаться самому себе, что мой путь здесь, у вас, подходит к концу, что я уже не способен испытывать искреннюю радость от своей работы и пора положить конец этой муке. Ещё одна ступень пройдена, я миновал ещё одно пространство, и этим пространством на сей раз была Касталия.

— Как вы об этом говорите! — покачал головой

Александр. — Словно Касталия недостаточно обширна, чтобы на всю жизнь дать достойное занятие многим и многим. И вы всерьёз думаете, что вы измерили и преодолели это пространство?

— О нет! — живо отозвался его собеседник. — Ничего подобного я никогда не думал. Говоря, что я достиг границы этого пространства, я лишь имел в виду: всё, чего я как личность мог добиться на моём посту, сделано. Вот уже некоторое время я стою на той грани, где моя работа как Магистра Игры превращается в бесконечное повторение уже сделанного, в пустые формальные экзерсисы, и я выполняю её без радости, без воодушевления, порой даже почти без веры. Пришла пора прекратить это.

Александр вздохнул.

— Таков ваш взгляд, но Орден и его правила предусматривают иное. В том, что и у члена Ордена бывают свои настроения, что он порой устаёт от своих обязанностей, нет ничего нового и удивительного. Тут на помощь приходят правила, они указывают путь, как восстановить гармонию и заново обрести центрированность. Неужели вы забыли об этом?

— Отнюдь нет, Досточтимый! Вам легко обо-

зреть мою работу, ведь ещё совсем недавно, по получении моего послания, вы подвергли контролю дела в Селении Игры и меня самого. Вы могли убедиться, что работа выполняется, канцелярия и архив в порядке, *Magister Ludi* не обнаруживает ни признаков болезни, ни каких-либо причуд. Именно тем правилам, которые вы мне некогда столь искусно внушили, я обязан, что не сдался, не потерял ни сил, ни выдержки. Но мне это стоило огромного труда. И теперь, к сожалению, мне стоит не меньшего труда убедить вас в том, что мною движут отнюдь не настроения, не причуды или прихоти. Но удастся ли мне это или нет, на одном я буду настаивать: вы должны признать, что моя личность и моя деятельность до того момента, когда вы их в последний раз проверили, были безупречны и полезны. Неужели я требую от вас слишком многого?

В глазах Магистра Александра блеснула усмешка.

— Уважаемый коллега, — сказал он, — вы разговариваете со мной так, будто мы оба частные лица, непринуждённо беседующие друг с другом. Но это относится лишь к вам одному, поскольку вы теперь, в самом деле, — частное лицо. У меня же всё иначе: то, что я думаю и говорю, я говорю

не от своего имени, а как глава Ордена, и я должен отвечать за каждое слово своего руководства. То, что вы здесь сегодня говорите, не будет иметь никаких последствий; как ни важны для вас ваши речи, они так и останутся речами частного лица, защищающего свои собственные интересы. Но я по-прежнему занимаю свой пост и несу за него ответственность, и то, что я сегодня скажу или сделаю, может иметь свои последствия. Перед вами и в вашем деле я представляю Коллегию. Далеко не безразлично, примет ли Коллегия ваше объяснение событий и, может быть, даже признает вашу правоту. Вы изображаете дело так, будто вы, хотя таили в голове особенные мысли, до вчерашнего дня были безупречным, кристально чистым касталийцем и Магистром; что, хотя на вас находили минуты колебаний и усталости, вам тем не менее всегда удавалось преодолеть и подавить их. Допустим, я поверю в это, но как прикажете мне понять такой чудовищный факт, что безупречный, непогрешимый Магистр, который вчера ещё выполнял каждое предписание Ордена, сегодня вдруг совершает дезертирство? Воля ваша, мне всё же легче вообразить себе Магистра, в чьей душе уже довольно давно зреет червоточина, который, хотя и выдаёт

себя за вполне хорошего касталийца, в действительности уже давно таковым не является. И ещё я спрашиваю себя: почему вы, собственно, так добиваетесь установления того факта, что вы до самого последнего времени оставались верным своему долгу? Поскольку вы уже пошли на этот шаг, нарушили обет послушания и дезертировали, вам не должно быть никакого дела до того, что о вас будет думать Орден.

Но Кнехт возражал:

— Позвольте, Досточтимый, как может мне не быть никакого дела? Речь идёт о моей репутации, о моём добром имени, о памяти, какую я здесь по себе оставлю. Речь, тем самым, идёт о возможности для меня работать вне Касталии, но для её пользы. Я нахожусь у вас не для того, чтобы обелить себя, и тем более не для того, чтобы добиться одобрения моего поступка Коллегией. Я предвидел уже, что мои коллеги будут смотреть на меня как на личность сомнительную и своеобычную и готов с этим смириться. Но я не хочу, чтобы меня считали предателем или сумасшедшим, с таким приговором я согласиться не могу. Я совершил поступок, который вы не можете не осуждать, но я совершил его, ибо иначе не мог, ибо таково моё назначение, таков мой жребий, и я в него верю и

добровольно буду его нести. Если вы этого не желаете признать, — значит, я потерпел поражение и весь наш разговоре вами ни к чему.

— Мы всё время кружимся на одном месте, — ответил Александр. — Я должен, оказывается, признать, что при известных условиях воле отдельного человека дано право нарушать законы, в которые я верю и которые обязан защищать. Но не могу же я одновременно верить в наш порядок и признать за вами приватное право этот порядок нарушать, — не перебивайте меня, прошу вас. Я могу лишь согласиться с тем, что вы, по всей видимости, убеждены в смысле вашего опасного шага и в своём праве совершить его, что вы искренне видите в этом своё призвание. Вы, разумеется, не рассчитываете на одобрение мною вашего поступка. Но одного вы добились: я отказался от первоначальной мысли вернуть вас в лоно Ордена и склонить вас к отмене вашего решения. Я не возражаю против вашего выхода из Ордена и передам Коллегии заявление о вашем добровольном отказе от занимаемого поста. Больше я ничем не могу вам помочь, Йозеф Кнехт.

Магистр Игры жестом выразил свою покорность. Потом тихо вымолвил:

— Благодарю вас, господин предстоятель. Лар-

чик я вам уже вручил. Теперь я отдаю вам (для передачи Верховной Коллегии) мои записи о положении дел в Вальдцеле, прежде всего о репетиторах, а также о тех нескольких людях, кто, по моему разумению, наиболее подходит в качестве преемника на посту Магистра.

Он вытащил из кармана и положил несколько сложенных листков бумаги. Затем он встал, предстоятель тоже. Кнехт подошёл к Александру и долго с грустным дружелюбием смотрел ему в глаза. Потом вежливо поклонился ему и сказал:

— Я хотел вас попросить дать мне на прощанье руку, но теперь вижу, что должен от этого отказаться. Вы всегда были мне особенно дороги, и сегодняшний день ничего в этом не изменил. Прощайте, дорогой и уважаемый Друг!

Александр молчал. Бледность покрыла его лицо; какой-то миг казалось, будто он хочет поднять руку и протянуть её уходящему. Он почувствовал, что глаза его увлажнились; нагнув голову, он ответил на поклон Кнехта и отпустил его.

После того как ушедший затворил за собой дверь, Александр постоял ещё некоторое время неподвижно, прислушиваясь к удалявшимся шагам, и когда они отзвучали и всё смолкло, он с минуту походил по комнате, пересекая её из

конца в конец, пока снаружи опять не послышались шаги и кто-то тихонько не постучал в дверь. Вошёл молодой прислужник и объявил, что какой-то посетитель желает говорить с Магистром.

— Скажи ему, что я смогу принять его через час и что я прошу его быть кратким, ибо меня ждут неотложные дела. Нет, погоди! Ступай в канцелярию и передай секретарю, пусть срочно созовёт на послезавтра заседание Коллегии и сообщит всем её членам, что присутствие их обязательно, и только тяжёлая болезнь может извинить неявку. Кроме того, сходи к кастеляну и скажи, что завтра утром я должен ехать в Вальдцель, пусть распорядится к семи часам подать мне экипаж…

— Разрешите доложить, — заметил юноша, — господин Магистр мог бы воспользоваться экипажем Магистра Игры.

— Как так?

— Досточтимый прибыл вчера в экипаже. А только что он вышел из дому, сказав, что дальше пойдёт пешком и оставляет экипаж здесь в распоряжении Коллегии.

— Хорошо. Тогда я поеду завтра в вальдцельском экипаже. Повторите, пожалуйста, мои распоряжения.

Прислужник повторил:

— Посетитель будет принят через час и ненадолго. Первый секретарь должен на послезавтра созвать заседание, присутствие всех обязательно, только тяжёлая болезнь освобождает от явки. Завтра, в семь часов утра, — отъезд в Вальдцель в экипаже Магистра Игры.

Когда молодой человек вышел, Магистр Александр вздохнул и подошёл к столу, за которым только что сидел с Кнехтом; в ушах его всё ещё звучали шаги этого непонятного человека, которого он любил больше, чем кого бы то ни было, и который причинил ему такую боль. Всегда, ещё с тех пор, как Кнехт служил под его руководством, он любил этого человека, и среди других его качеств ему особенно нравилась его походка, твёрдая и ритмичная, и в то же время лёгкая, почти невесомая, колеблющаяся между важностью и детскостью, между повадкой жреца и повадкой танцора, своеобычно притягательная и аристократическая походка, отлично шедшая к лицу и голосу Кнехта. Не менее гармонировала она и с его специфической манерой нести сан касталийца и Магистра, с присущими ему властностью и весёлостью, что напоминало порой благородную сдержанность его предшественника, Магистра Томаса, порой же простоту и сердечность старого

Магистра музыки. Итак, он уже отбыл, поторопился, ушёл пешком, бог весть куда, и скорее всего Александр никогда больше с ним не встретится, никогда не услышит его смех, не увидит, как его красивая рука с длинными пальцами чертит иероглифы Игры. Предстоятель взял лежавшие на столе исписанные листки и начал их читать. Это было краткое завещание, составленное в очень скупых выражениях, по-деловому, часто лишь намётки вместо фраз, и предназначены они были, чтобы облегчить руководству работу при предстоящей ревизии Селения Игры и при выборах нового Магистра. Красивым мелким почерком были записаны умные замечания, в словах и форме букв отражалась неповторимая, ни на кого непохожая личность Йозефа Кнехта не меньше, чем в его лице, голосе, походке. Нелегко будет Коллегии найти равного ему преемника: подлинные властители и подлинные характеры встречаются редко, и каждую личность надо рассматривать как подарок и счастливую случайность, даже здесь, в Касталии, в Провинции избранных.

Ходьба доставляла Йозефу Кнехту удовольствие, он уже много лет не странствовал пешком. Да, если вспомнить хорошенько, то, пожалуй,

его последним пешим переходом был тот, что привёл его в один прекрасный день из монастыря Мариафельс назад в Касталию, на ту ежегодную Игру в Вальдцеле, которая была столь омрачена смертью «сиятельства» Магистра Томаса фон дер Траве, чьим преемником ему суждено было стать. Вообще, когда он обращался мыслью к тем далёким временам, особенно к студенческим годам и Бамбуковой роще, у него всегда было такое ощущение, будто он смотрит из холодной, голой каморки на просторный, озарённый солнцем пейзаж — как на нечто безвозвратное, сохранившееся только как радужное воспоминание; такие раздумья, даже если они и не будили печали, вызывали картины чего-то очень далёкого, иного, таинственно-праздничного, столь непохожего на сегодняшние будни. Но нынче, в этот ясный, солнечный сентябрьский день, с его сочными красками вблизи и нежными, голубовато-фиолетовыми, переливчатыми оттенками дали, во время этой радостной прогулки и бездумного созерцания, ушедшее в прошлое странствие показалось ему отнюдь не недосягаемым раем, — нет, сегодняшняя прогулка походила на тогдашнюю, сегодняшний Йозеф Кнехт походил на тогдашнего, как родной брат, и всё было

опять ново, таинственно и столько обещало, словно минувшее могло вернуться и принести с собой ещё много нового. Давно уже день и весь белый свет не казались ему такими лёгкими, прекрасными и невинными. Счастливое ощущение свободы и независимости опьяняло его как крепкое вино: давно он не испытывал этого ощущения, этой сладостной, восхитительной иллюзии! Он порылся в памяти и вспомнил час, когда это несравненное чувство впервые встретило преграду и его сковали будто цепями: это было во время разговора с Магистром Томасом, под его приветливо-ироническим взором. Кнехт вновь ощутил всю тягостность того часа, когда он потерял свою свободу: то не была реальная боль, жгучее страдание, — скорее робость, лёгкий предостерегающий озноб, сосание под ложечкой, изменение температуры, всего темпа жизни. Сейчас он был исцелён и вознаграждён за мучительное, сковавшее его, сдавившее ему горло ощущение той роковой минуты.

Ещё вчера на пути в Хирсланд Кнехт решил: что бы там ни случилось, он ни при каких обстоятельствах не будет раскаиваться в содеянном. На сегодня он запретил себе даже думать о подробностях своего разговора с Магистром Александром,

о своей борьбе с ним и за него. Теперь он весь отдался чувству отдохновения и свободы, которое переполняло его, как переполняет оно земледельца, закончившего тяжёлый трудовой день; в душе его был разлит покой, он знал, что свободен от всех обязанностей, что он никому в эту минуту не нужен, выключен из всего, не должен ни работать, ни думать; полный ярких красок день, обволакивавший его своим нежным сиянием, воплощал только этот миг, ничего не требуя, не зная ни прошлого, ни будущего. Порой Кнехт, довольный, напевал вполголоса одну из тех походных песенок, какие они некогда, ещё будучи маленькими учениками элитарной школы в Эшгольце, распевали на три-четыре голоса во время прогулок, и из поры ясной зари его жизни выпархивали, словно щебечущие птицы, отголоски светлых воспоминаний и звуков.

Кнехт остановился под вишнёвым деревом с листвой, уже тронутой осенним пурпуром, и присел на траву. Он сунул руку в нагрудный карман и вытащил оттуда вещицу, какой Магистр Александр никогда не предположил бы у него, — маленькую деревянную флейту — и стал рассматривать её с нежностью. Этот простенький, похожий на детскую игрушку инструмент

принадлежал ему с недавних пор, примерно с полгода, и он с удовольствием вспоминал тот день, когда флейта стала его собственностью. Он поехал в Монпор, чтобы обсудить с Карло Ферромонте некоторые проблемы теории музыки; между прочим, зашла речь о деревянных духовых инструментах разных эпох, и Кнехт попросил своего друга показать ему Монпорскую коллекцию инструментов. После приятнейшей прогулки по нескольким залам, где выстроились старинные органы, арфы, лютни, фортепьяно, они пришли на склад, где хранились инструменты для школ. Там Кнехт увидел целый ящик таких флейточек, облюбовал себе одну, попробовал её и спросил друга, может ли он взять её себе. Карло со смехом предложил ему выбрать, какую хочет, со смехом выписал на неё квитанцию, после чего подробнейшим образом объяснил ему строение инструмента, обращение с ним и технику игры. Кнехт взял с собой эту приятную игрушку, теперь у него, впервые со времён детской флейты в Эшгольце, был духовой инструмент для упражнений на досуге. Кроме гамм, он разучивал старинные мелодии из сборника, составленного Ферромонте для начинающих, и из магистерского сада или из спальни Кнехта порой разносились мягкие

сладостные звуки маленькой флейты. Ему ещё было далеко до мастерства, но всё же он разучил несколько хоралов и песен из того сборника, знал их наизусть, некоторые даже со словами. Одна из этих песен, подходившая к настоящей минуте, пришла ему на память. Он произнёс вполголоса несколько строчек:

Моё бедное тело
Во гробе истлело.
Но ныне восстал я,
И узы порвал я,
В небо господне, ликуя, гляжу.

Потом он поднёс инструмент к губам и заиграл мелодию, посмотрел на горные вершины в мягко сияющей дали, услышал, как отзвучали сладкие переливы набожно-весёлой песни, и ощутил себя в единении и согласии с небом, горами, песней и сегодняшним днём. Ему приятно было осязать между пальцами гладкую круглую деревяшку и думать о том, что, кроме платья на его теле, эта маленькая флейта — единственное имущество, которое он позволил себе унести из Вальдцеля. За долгие годы вокруг него скопилось нечто вроде личного достояния, в особенности записи, тетради с выписками и тому подобное; всё это

он оставил, пусть пользуются в Вальдцеле, кто захочет. Но маленькую флейту он взял с собой и радовался, что она с ним; это был скромный и милый товарищ в пути.

На следующий день путник прибыл в столицу и явился в дом Дезиньори. Плинио сбежал ему навстречу по лестнице и взволнованно обнял его.

— Мы с таким нетерпением и беспокойством ожидали тебя! — воскликнул он. — Ты сделал великий шаг, друг мой, да принесёт он нам всем благо! Но как они тебя отпустили? Вот никогда бы не поверил!

Кнехт засмеялся:

— Как видишь, я здесь. Но об этом я расскажу тебе позднее. А сейчас я хотел бы прежде всего приветствовать моего воспитанника и, разумеется, твою супругу и подробно с вами договориться, в чём будут состоять мои обязанности. Мне не терпится приступить к работе.

Плинио позвал горничную и велел ей тотчас же привести сына.

— Молодого господина? — с видимым удивлением спросила девушка, но тут же быстро удалилась, а хозяин дома проводил друга в отведённую для гостя комнату и с увлечением начал ему рассказывать, как он всё обдумал и

приготовил к приезду Кнехта и к его совместной жизни с Тито. Всё устроилось так, как желал Кнехт, даже мать Тито после некоторого сопротивления поняла справедливость его требований и подчинилась им. У них была небольшая дача в горах, названная Бельпунт и живописно расположенная на берегу озера; там Кнехт со своим воспитанником поживут некоторое время, заботиться о них будет старая экономка, она уже на днях туда уехала, чтобы всё подготовить. Разумеется, там они пробудут недолго, самое большее до прихода зимы, но именно на первое время такое уединение будет им обоим только полезно. Ему, Плинио, это приятно ещё и потому, что Тито очень любит горы и Бельпунт, всегда рад пожить там и согласился на это без возражений. Дезиньори вспомнил, что у него есть папка с фотографиями дома и окрестностей; он повёл Кнехта в свой кабинет, начал быстро искать, нашёл, раскрыл папку и принялся показывать фотографии и рассказывать гостю о доме, о комнате в крестьянском стиле, о кафельной печи, беседке, купальне у озера, водопаде.

— Нравится тебе? — допрашивал он его настойчиво. — Будешь ли ты себя там хорошо чувствовать?

— Почему же нет? — ответил Кнехт спокойно. — Но где Тито? Прошло уже много времени, с тех пор как ты за ним послал.

Они поговорили ещё немного о том, о сём, потом послышались шаги, дверь отворилась и кто-то вошёл: это был не Тито и не посланная за ним служанка. Это была мать Тито, госпожа Дезиньори. Кнехт встал, чтобы поздороваться с нею, она протянула ему руку, улыбнулась несколько принуждённой улыбкой, и он заметил, что этой улыбкой она старается скрыть какую-то заботу или огорчение. Не успела она сказать гостю несколько приветственных слов, как уже повернулась к мужу и поспешила высказать мучившую её новость.

— Какая неприятность! — воскликнула она. — Представь себе, мальчик исчез, его нигде не нашли.

— Ну, наверное, вышел пройтись, — успокаивал её Плинио, — сейчас вернётся.

— Боюсь, что это не так, — сказала мать. — Его нет с самого утра. Я давно заметила его отсутствие.

— Почему же я только сейчас узнаю об этом?

— Я с минуты на минуту ждала его возвращения и не хотела напрасно тебя тревожить. Сначала я

и не предполагала ничего худого, думала, что он вышел погулять. Но когда он не явился к обеду, я начала беспокоиться. Ты тоже не обедал дома, иначе ты сразу бы всё узнал. Но я и тут себя уговаривала, что он просто по небрежности так долго заставляет меня ждать. Оказывается, дело не в этом.

— Разрешите спросить, — заговорил Кнехт, — молодой человек знал о моём скором приезде и о ваших планах относительно нас обоих?

— Разумеется, господин Магистр, и он был по видимости доволен этими планами, во всякое случае, он предпочитает получить такого учителя, как вы, нежели снова быть отправленным в какую-нибудь школу.

— Ну, тогда всё в порядке, — заметил Кнехт. — Ваш сын, синьора, привык к большой свободе, особенно за последнее время, и перспектива попасть в руки воспитателя и укротителя, естественно, отнюдь ему не улыбается.

Вот он и улетучился в такую минуту, когда его ещё не сдали с рук на руки новому наставнику, надо полагать, не столько надеясь избежать предназначенной ему участи, сколько имея в виду, что он ничего не проиграет, выгадав время. Помимо этого, ему, очевидно, хотелось натянуть

нос и родителям, и только что нанятому педагогу, а заодно дать выход раздражению против всего мира взрослых и учителей.

Дезиньори понравилось, что Кнехт не воспринял этот инцидент трагически. Но сам он был сильно расстроен и озабочен, любящему отцовскому сердцу уже мерещились все мыслимые опасности. Кто знает, может быть, Тито всерьёз решил убежать, может быть, даже задумал учинить над собой дурное? Да, всё, что было неправильно или упущено в воспитании мальчика, теперь мстило за себя, как раз в ту минуту, когда родители надеялись поправить дело.

Вопреки совету Кнехта, он настаивал на том, что надо предпринять какие-то шаги; не в силах покорно и бездеятельно ожидать удара, он взвинтил себя до высшей степени нетерпения и нервной возбуждённости, чем вызвал молчаливое осуждение своего друга. Поэтому решено было послать слуг в несколько домов, где Тито бывал у своих сверстников и товарищей. Кнехт обрадовался, когда госпожа Дезиньори вышла, и он остался с другом наедине.

— Плинио, — сказал он, — у тебя такое лицо, словно ты уже хоронишь своего сына. Он не маленький ребёнок и не мог ни попасть под

машину, ни объесться волчьих ягод. Возьми же себя в руки, дружище! Пока сыночка нет дома, разреши мне ненадолго вместо него взять в учёбу тебя. Я наблюдал сейчас за твоим поведением и нахожу, что ты не в форме. В то мгновение, когда атлет неожиданно оказывается под ударом или под давлением, его мускулы сами собой производят необходимые движения, растягиваются или сокращаются и помогают ему овладеть положением. Так и ты, ученик Плинио, в то мгновение, когда ты почувствовал удар, — или то, что преувеличенно воспринял как удар, — должен был применить первое средство защиты при душевных травмах и вспомнить о замедленном, тщательном дыхании. Ты же вместо этого дышишь, как актёр, который должен изобразить крайнее потрясение. Ты недостаточно хорошо вооружён, вы, миряне, по-видимому, совершенно по-особому уязвимы для страданий и тревог. В этом есть нечто беззащитное и трогательное, порой же, когда дело идёт о подлинном страдании и мученичество имеет смысл, — даже величественное. Но для повседневной жизни такой отказ от обороны — негодное оружие; я позабочусь о том, чтобы сын твой был вооружён лучше, когда ему это понадобится. А теперь, Плинио, будь добр,

проделай вместе со мной несколько упражнений, чтобы я убедился, действительно ли ты всё окончательно забыл.

С помощью дыхательных упражнений, проделанных под его строго ритмическую команду, Йозеф отвлёк друга от самоистязания, после чего тот согласился выслушать разумные доводы и подавил в себе страх и тревогу. Они поднялись в комнату Тито; Кнехт с удовольствием разглядывал разбросанные в беспорядке вещи мальчика, взял с ночного столика у кровати книгу, заметил торчащий из неё листок бумаги и вот — это оказалась записка с весточкой от пропавшего. Кнехт со смехом протянул листок Дезиньори, и лицо Плинио тоже посветлело. В записке Тито сообщал родителям, что сегодня рано утром уезжает один в горы и будет ждать нового наставника в Бельпунте. Он просил извинить ему эту небольшую вольность, он разрешил её себе, прежде чем его свобода опять будет столь досадно ограничена, ему ужасно не хотелось проделать это короткое, но чудесное путешествие в сопровождении учителя и в роли поднадзорного или пленника.

— Я вполне его понимаю, — заметил Кнехт. — Завтра я последую за ним и застану его уже на месте, в твоём загородном доме. А теперь прежде

всего ступай к жене и сообщи ей, в чём дело.

Остаток дня в доме царило весёлое и спокойное настроение. В тот же вечер Кнехт, по настоянию Плинио, коротко рассказал другу о событиях последних дней и о своих двух беседах с Магистром Александром. В этот вечер он записал также примечательный стих на листке, хранящемся в настоящее время у Тито Дезиньори. Повод к тому был таков.

Перед ужином хозяин ненадолго оставил Кнехта одного. Он увидел шкаф, набитый старинными книгами, который привлёк его любопытство. Он вновь испытал удовольствие, почти забытое за долгие годы воздержания, на него вновь повеяло теплом воспоминаний о студенческой поре: стоять перед незнакомыми книгами, наугад брать то один, то другой том, если позолота или имя автора, формат или цвет переплёта тебя поманит. С приятным чувством он сначала пробежал глазами названия на корешках и убедился, что перед ним беллетристика девятнадцатого и двадцатого столетий. Наконец он вытащил одну книжку в вылинявшем холщовом переплёте, название которой — «Мудрость браминов»[76] — привлекло

[76] Примечания: [76]

Цикл дидактических четверостиший немецкого поэта-романтика Фридриха Рюккерта (1788–1866).

его внимание. Вначале стоя, потом присев на стул, он перелистывал книгу, содержавшую сотни поучительных стихов, любопытное смешение болтливой назидательности и настоящей мудрости, филистерства и подлинной поэзии. В этой забавной и трогательной книге, как ему показалось, отнюдь не было недостатка в эзотерике, но она была запрятана в грубую скорлупу доморощенности, и как раз самыми приятными были не те стихотворения, что всерьёз стремились запечатлеть мудрость, а те, в которых излилась душа поэта, его человеколюбие, его способность любить, его честный бюргерский склад. Со смешанным чувством почтения и весёлости Кнехт старался проникнуть в смысл этой книги, и тут ему на глаза попалось четверостишие, которое ему понравилось и которое он с удовлетворением прочитал и с улыбкой приветствовал, словно оно было ниспослано ему для этого именно дня. Вот оно:

Мы видим: дни бегут и всё вокруг дряхлеет,

Но нечто милое за долгий срок созреет:

Пусть, выпестовав сад, мы шум его

услышим,

Ребёнка вырастим и книжицу допишем.

Он выдвинул ящик письменного стола, порылся в нём, нашёл листок бумаги и записал на него четверостишие. Позднее он показал его Плинио, промолвив:

— Стихи мне понравились, в них есть что-то особенное: как это лаконично и как задушевно! Они так соответствуют моему теперешнему положению и душевному настрою! Пусть я не садовник и не собираюсь посвятить себя пестованию сада, но я ведь наставник и воспитатель, я на пути к своей задаче, к ребёнку, которого я буду воспитывать. Как я этому рад! Что же до сочинителя этих стихов, поэта Рюккерта, то он, надо полагать, был одержим тремя благородными страстями: страстью садовника, воспитателя и автора, причём третья стоит у него, наверное, на первом месте, почему и упоминает он её на последнем, самом значительном; он настолько влюблён в предмет свой страсти, что даже впадает в нежность и называет книгу «книжицей». Как это трогательно!

Плинио засмеялся.

— Кто знает, — заметил он, — не является ли эта прелестная уменьшительная форма попросту данью стихотворному размеру, который в этом месте требует не двусложного, а трехсложного слова.

— Не будем недооценивать поэта, — возразил Кнехт. — Человек, сочинивший в своей жизни десятки тысяч стихотворных строк, не станет в тупик из-за какой-то жалкой метрической трудности. Нет, ты только послушай, как нежно и чуть-чуть застенчиво это звучит: «...и книжицу допишем»! Возможно, не только влюблённость превратила «книгу» в «книжицу». Возможно, он хотел что-то оправдать или примирить. Возможно, даже вероятно, этот поэт был настолько увлечён творчеством, что сам порою смотрел на свою склонность к сочинению книг как на род страсти или порока. Тогда в слове «книжица» заключён не только оттенок влюблённости, но и тот примирительный, отвлекающий и извиняющий смысл, какой имеет в виду игрок, приглашая на игру «по маленькой», пьяница, когда он требует ещё «стаканчик» или «рюмочку». Но всё это одни предположения. Во всяком случае, этот стихотворец с его ребёнком, которого он хочет вырастить, и с его книжицей, которую он хочет

дописать, встречает у меня полную поддержку и сочувствие. Ибо мне знакома не только страсть к воспитательству, нет, и сочинение книг — тоже страсть, которой я вовсе не чужд. Теперь, когда я освободился от своей должности, эта мысль снова приобретает для меня завлекательную силу: когда-нибудь, на досуге, при хорошем расположении духа написать книгу, нет, книжицу, маленькое сочинение для друзей и единомышленников.

— О чём же? — полюбопытствовал Дезиньори.

— О, это безразлично, тема не имеет значения. Она была бы только поводом погрузиться с головой в работу, испытать счастье ничем не ограниченного досуга. Самое важное для меня — это тон, золотая середина между благоговением и доверительностью, серьёзностью и забавой, тон не назидания, а дружеского общения, возможность высказаться о том, о сём, что я испытал и чему, как мне кажется, научился. Манеру этого Фридриха Рюккерта смешивать в своих стихах назидание с раздумьем и серьёзность с болтовнёй я бы, конечно, не перенял, и всё же чем-то она мне мила; она индивидуальна и в то же время лишена произвола, она причудлива и в то же время связана твёрдыми законами формы, и это мне как

раз нравится. Пока что мне некогда предаваться радостям и проблемам сочинительства, я должен беречь силы для другого. Но когда-нибудь, попозже, я думаю, и для меня может расцвесть радость творчества, такого, как оно мне мерещится: неторопливое, но бережное прикосновение к вещам, и не только для собственного удовольствия, а с постоянной оглядкой на немногих добрых друзей и читателей.

На следующее утро Кнехт собрался в Бельпунт. Накануне Дезиньори предложил проводить его до места, но он решительно это отверг, а когда друг стал настаивать, чуть не рассердился.

— Хватит с мальчика и того, — сказал он, — что ему предстоит встретить навязанного ему учителя, к чему ещё присутствие отца, которое именно сегодня вряд ли доставит ему большое удовольствие.

Когда свежим сентябрьским утром он ехал в нанятом для него Плинио экипаже, к нему вернулось хорошее дорожное настроение вчерашнего дня. Он разговорился с кучером, иногда просил его остановиться или ехать помедленней, если местность ему особенно нравилась, несколько раз принимался играть на маленькой флейте. Это была прекрасная, увлекательная поездка: из до-

лины, где расположена столица, в предгорья, всё выше и выше, всё дальше и дальше, от позднего лета к осени. Около полудня начался последний большой подъём по змеившейся широкими петлями дороге, по редеющему хвойному лесу, вдоль бурливых, пенящихся среди скал горных ручьёв, через мосты, мимо одиноких, окружённых глухими заборами, приземистых домиков с маленькими окошками; начался край каменных хребтов, всё более суровый и дикий, и среди этой неприступности и холода вдвое милей казались попадавшиеся им маленькие поляны, усеянные цветами.

Небольшая дача, до которой они наконец добрались, стояла на берегу горного озера, притулившись к седым скалам, на фоне которых её едва можно было различить. При виде дома путник сразу оценил его строгую, несколько мрачную архитектуру, как нельзя лучше гармонировавшую с суровым горным пейзажем; но тут же радостная улыбка осветила его лицо, ибо в широко распахнутых дверях дома он увидел юношу в яркой куртке и коротких штанах, и это не мог быть никто иной, как его ученик Тито; и хотя Кнехт всё это время, в сущности, не особенно беспокоился о беглеце, он всё же вздохнул с облегчением и

благодарностью. Раз Тито здесь и приветствует его на пороге дома, значит, всё хорошо и отпали его опасения о возможных трудностях, которые в пути как-никак возникали у него в уме.

Мальчик шагнул ему навстречу с приветливой и несколько смущённой улыбкой, помог ему выйти из экипажа и сказал:

— Я не хотел вас обидеть, заставив проделать это путешествие в одиночестве. — И, не дождавшись ответа учителя, доверчиво закончил: — Я думаю, вы поняли меня. Иначе вы бы наверняка привезли с собой отца. Я уже сообщил ему, что благополучно добрался сюда.

Кнехт, улыбаясь, пожал ему руку и последовал за ним в дом, где его приветствовала экономка, сообщившая, что ужин вскоре будет готов. Когда Кнехт, повинуясь необычной для него потребности, ненадолго прилёг перед ужином, он вдруг почувствовал, что устал, даже обессилел, хотя поездка в экипаже была весьма приятной; и вечером, когда он болтал со своим учеником и рассматривал его гербарий горных растений и коллекцию бабочек, его всё больше одолевала эта усталость, он даже испытал нечто похожее на головокружение, небывалую до сих пор пустоту в голове и неровные толчки сердца. Тем не ме-

нее он просидел с Тито до условленного между ними часа отхода ко сну и изо всех сил старался не обнаружить своё недомогание. Ученик был несколько удивлён тем, что Магистр ни словом не обмолвился о начале занятий, расписании уроков, о последних отметках и тому подобных вещах; когда же Тито попытался использовать доброе расположение учителя и предложил завтра утром отправиться в дальнюю прогулку, чтобы показать ему новые для него места, учитель любезно принял его предложение.

— Я очень рад такой прогулке, — добавил Кнехт, — и хочу сразу же попросить вас об одном одолжении. Рассматривая ваш гербарий, я убедился, что вы гораздо лучше знакомы с горной флорой, нежели я. Между прочим, одна из задач нашей совместной жизни состоит в том, чтобы обмениваться знаниями, подтягивать друг друга; начнём же с того, что вы проверите мои незначительные сведения о ботанике и поможете мне наверстать упущенное.

Когда они пожелали друг другу спокойной ночи, Тито был очень доволен и полон самых благих намерений. Этот Магистр Кнехт и на сей раз очень ему понравился. Он не тратил выспренних слов и не разглагольствовал о науке,

добродетели, благородстве духа, как это охотно делали школьные учителя, но было в этом невозмутимом, приветливом человеке, во всём его облике, в речах нечто обязывающее и взывающее к благородным, добрым, рыцарским и высоким устремлениям и силам. Если обмануть, перехитрить любого учителя считалось удовольствием, даже доблестью, то в отношении такого человека, как Магистр, подобная мысль не могла бы даже прийти в голову. Он… да, а что он и кто он? Тито задумался: что же в этом чужом человеке было такого, чем он ему так нравился и внушал уважение? И он понял: это его благородство, его аристократизм, его властность. Вот что прежде всего подкупало в нём юношу. Этот Магистр Кнехт был аристократом, он был господином, благородным человеком, хотя никто не знал, откуда он и не был ли его отец простым сапожником. Он был благороднее и тоньше, нежели большинство знакомых ему мужчин, не исключая даже его отца. Юноша, который столь высоко ставил патрицианские черты и традиции своей семьи, который не мог простить отцу, что тот презрел эти традиции, сейчас впервые в жизни встретил духовный, благоприобретённый аристократизм, — ту силу, которая при счастливых

обстоятельствах может иногда совершить чудо и, перескочив через длинный ряд предков и поколений, на протяжении одной-единственной человеческой жизни превратить сына плебея в знатного человека. В душе пылкого и гордого юноши шевельнулось предчувствие, что принадлежность к такого рода аристократии и служение ей могло бы стать для него долгом и честью, что, возможно, именно здесь, с появлением этого учителя, который при всей своей кротости и приветливости был до мозга костей господином, он приблизится к разгадке смысла своей жизни и стоящих перед ним задач.

Кнехта проводили в его комнату, но он не сразу лёг в постель, хотя его сильно клонило ко сну. Этот вечер утомил его, ему было трудно и обременительно держать себя в руках в присутствии молодого человека, который, несомненно, внимательно наблюдал за ним, и не обнаружить ни словом, ни жестом, ни голосом свою странную, всё более давящую усталость, или дурное настроение, или болезнь. Но, судя по всему, ему это удалось. Теперь, однако, он должен победить эту пустоту, это недомогание, пугающее его головокружение, смертельную усталость, исполненную тревоги, а для этого необходимо,

в первую очередь, её распознать и понять. Это далось ему довольно легко, хотя и не сразу. Он убедился в том, что его недомогание не имело других причин, кроме сегодняшней поездки, во время которой он за очень короткое время попал из долины на высоту двух тысяч метров. Он плохо перенёс такой быстрый подъём, ибо со времён ранней юности, когда он совершил несколько подобных прогулок, не бывал на такой высоте и не привык к ней. По-видимому, ещё день-два он будет чувствовать себя плохо, если же и тогда это не пройдёт и ему не станет лучше, придётся им с Тито и с экономкой вернуться домой, тогда, значит, план его друга Плинио относительно их пребывания в очаровательном Бельпунте не осуществится. Жаль, конечно, но и особой беды в том нет.

В раздумьях обо всём этом он лёг в постель, но провёл ночь почти без сна, то возвращаясь мысленно к преодолённому путешествию, начиная с момента отъезда из Вальдцеля, то пытаясь успокоить сердцебиение и возбуждённые нервы. И об ученике своём он думал много и думал с приязнью, но не строя никаких планов; ему казалось, что этого породистого, но горячего жеребёнка легче всего приручить добротой и тесным обще-

нием, без излишней поспешности, без понукания. Он мечтал постепенно привести юношу к сознанию своих способностей и сил и одновременно взлелеять в нём ту высокую любознательность, то благородное недовольство собой, которые дают силы для любви к науке, к духовной жизни, к прекрасному. Это была возвышенная задача, его воспитанник — не просто первый встречный юноша, молодой талант, который надо пробудить и облечь в определённую форму; как единственный сын богатого и влиятельного патриция, Тито должен был, кроме того, стать в будущем одним из власть имущих, одним из творцов общественной и политической жизни страны и народа, одним из тех, кто призван служить примером и вести за собой людей. Касталия была в долгу перед семейством Дезиньори: доверенного ей некогда отца Тито она воспитала недостаточно хорошо, недостаточно закалила, поставив в трудное положение между мирскими и духовными интересами, сделала тем самым несчастным не только одарённого и привлекательного молодого Плинио, человека с неустроенной жизнью, которой он не умел управлять, но и его единственного сына подвергала опасности быть вовлечённым в проблемы, терзавшие отца. Тут надо было многое

исцелить и исправить, как бы погасить долг, и Кнехту доставляло радость и казалось полным смысла, что эта задача выпала на долю именно ему, строптивцу и мнимому отступнику.

Утром, едва заслышав в доме признаки пробудившейся жизни, он встал, нашёл у постели приготовленный для него купальный халат, накинул его поверх лёгкого ночного белья и прошёл, как ему накануне указал Тито, через заднюю дверь в крытую галерею, соединяющую дом с купальней и с озером.

Перед ним лежало небольшое озеро, зеленовато-стальная гладь его была неподвижна, по ту сторону вздымался высокий, крутой и скалистый склон с острым, зазубренным гребнем, который как бы врезался в прозрачное, зеленоватое, по-утреннему прохладное небо и отбрасывал резкую, холодную тень. Но уже чувствовалось за этим гребнем восходящее солнце, лучи его вспыхивали то тут, то там редкими искрами вдоль острого каменистого хребта; ещё считанные минуты — и из-за зубчатой вершины выкатится солнце и затопит ярким светом озеро и горную долину. Внимательно и сосредоточенно всматривался Кнехт в эту картину, воспринимая окружающую тишину, суровость и красоту как

нечто далёкое и в то же время его касающееся и зовущее. Гораздо глубже, нежели во время вчерашней поездки, он ощутил мощь, холодность и величавую неприютность этого горного края, который не раскрывается навстречу человеку, не манит его к себе, а только терпит. И ему казалось удивительным и полным значения, что свои первые шаги в свободную мирскую жизнь он делает именно здесь, среди этого безмолвного и холодного величия.

Подошёл Тито, в одном купальном костюме, протянул ему руку и сказал, указывая на скалу напротив:

— Вы пришли как раз вовремя, сейчас взойдёт солнце. Ах, до чего хорошо здесь наверху!

Кнехт ласково кивнул ему. Он уже знал, что Тито любит рано вставать, бегать, бороться, бродить, хотя бы из чувства протеста против отсутствия мужественности, против ленивого, барского образа жизни отца. По этой же причине юноша презрительно отказывался от вина. Эти привычки и склонности, правда, иногда ставили Тито в позу первобытного дикаря с его презрительным отношением к духовности. Страсть к преувеличениям, видимо, была в крови у всех Дезиньори, но Кнехт приветствовал это, он даже решил

использовать совместные занятия спортом как одно из средств для завоевания и укрощения пылкого юноши. Одно из немногих средств, и даже не самое важное; от музыки, например, он ожидал гораздо большего. И, разумеется, он не надеялся достигнуть равных успехов с молодым человеком в физических упражнениях, тем более не стремился его превзойти. Достаточно ни к чему не обязывающего участия, чтобы показать юноше, что его воспитатель — не трус и не заядлый домосед.

Тито пристально смотрел на тёмный гребень горы, за которым клубилось позолоченное утренней зарёй небо. Вдруг острие скалистой вершины вспыхнуло, будто раскалённый и как раз начавший плавиться металл, очертания хребта расплылись, он как бы сразу сделался ниже, будто, тая, осел, и из пылающего провала выплыло ослепительное светило дня. И сразу озарилось всё вокруг: земля, дом, купальня, берег озера по эту сторону, и два человека, оказавшиеся под яркими лучами солнца, очень скоро почувствовали его благодетельное тепло. Юноша, захваченный торжественной красотой этого мгновения и ликующим ощущением своей молодости и силы, потянулся, раскинул руки ритмичным движе-

нием, за которым последовало и всё тело, чтобы в экстатическом танце почтить рождение дня и выразить своё душевное единение с колыхавшимися и пламеневшими вокруг него стихиями. Он то устремлялся в радостном поклонении навстречу победоносному солнцу, то благоговейно отступал; распростёртые руки словно хотели прижать к сердцу горы, озеро, небо, преклонением колен он приветствовал матерь-землю, простиранием рук — воды озера, предлагая вечным силам, как праздничный дар, свою юность, свою свободу, своё сокровенно разгорающееся упоение жизнью.

На его смуглых плечах играли солнечные блики, глаза были полузакрыты под слепящими лучами, на юном лице с неподвижностью маски застыло выражение восторженной, почти фанатической серьёзности.

Магистр тоже был возбуждён и взволнован торжественным зрелищем нарождающегося дня в безмолвной каменной пустыне. Но ещё более, нежели эта картина, потрясло и захватило его происходящее у него на глазах преображение человека, праздничный танец его воспитанника во славу утра и солнца, который поднимал незрелого, подверженного причудам юношу до почти

литургической сосредоточенности и раскрывал перед ним, зрителем, его сокровеннейшие и благороднейшие склонности, дарования и предназначения, так же внезапно и ослепительно сорвав с них все покровы, как взошедшее солнце обнажило и высветлило холодное и мрачное ущелье. Юное существо это предстало перед ним более сильным и значительным, чем он воображал его себе до сих пор, но зато и более жёстким, недоступным, чуждым духовности, языческим. Этот праздничный и жертвенный танец юноши, одержимого восторгом Пана, весил больше, нежели речи и поэтические творения Плинио в юности, он поднимал Тито намного выше отца, но и делал его более чужим, более неуловимым, недоступным зову.

Сам мальчик был охвачен этим исступлением, не сознавая, что с ним происходит. Его пляска не была уже известным, показанным ему, разученным танцем; это не был также привычный, самостоятельно изобретённый ритуал в честь утренней зари. И танец его, и магическая одержимость, как он понял лишь позднее, были рождены не только воздухом гор, солнцем, утром, ощущением свободы, но в не меньшей степени новой ступенью в юной его жизни, ожиданием

каких-то перемен, возникших перед ним в образе столь же приветливого, сколь и почтенного Магистра. В этот утренний час в судьбе Тито и в его душе совпало всё то, что выделило час этот из тысячи других, как особенно возвышенный, праздничный, священный. Не отдавая себе отчёта, что он делает, без рассуждений и сомнений, он творил то, чего требовал от него этот блаженный миг, облекал в пляску свой восторг, возносил молитву солнцу, изливал в самозабвенных телодвижениях свою радость, свою веру в жизнь, своё благочестие и преклонение. Горделиво и в то же время смиренно он приносил свою благоговейную душу в жертву солнцу и богам, а вместе и предмету своего обожания и страха, мудрецу и музыканту, явившемуся из неведомых сфер, мастеру магической Игры, будущему своему воспитателю и другу.

Всё это, как и пиршество красок в миг восхождения солнца, длилось недолгие мгновения. Взволнованно взирал Кнехт на это удивительное зрелище, когда ученик у него на глазах преображался, и, весь раскрывшись перед ним, шёл ему навстречу, новый и незнакомый человек, в полном смысле слова равный ему. Оба они стояли на тропе между домом и хижиной, купаясь в море

света, льющегося с востока, глубоко потрясённые вихрем только что пережитых ощущений, как вдруг Тито, только что закончивший последнее движение своего танца, очнулся от счастливого забытья и, словно застигнутое врасплох за своими одинокими играми животное, застыл, постепенно осознавая, что он здесь не один, что он не только делал и пережил нечто необыкновенное, но и происходило это на глазах у свидетеля. Молниеносно он схватился за первую попавшуюся мысль, чтобы выйти из положения, которое вдруг показалось ему в чём-то опасным и постыдным, чтобы силой вырваться из-под власти волшебства этих необычайных мгновений, столь неразрывно опутавших его и завладевших всем его существом.

Лицо юноши, ещё за минуту до этого не имевшее возраста и строгое, как маска, вдруг приняло ребячливое, глуповатое выражение, какое бывает у неожиданно разбуженного от глубокого сна человека. Он несколько раз чуть присел, пружиня в коленях, с тупым изумлением взглянул в лицо учителя и с внезапной поспешностью, словно вспомнил и боялся упустить что-то важное, указующим жестом протянул правую руку к противоположному берегу озера, ещё лежавше-

му, как и половина его поверхности, в глубокой тени, которую скала под натиском утренних лучей постепенно всё ближе стягивала к своему подножию.

— Если мы скорей поплывём, — воскликнул он быстро, с мальчишеской горячностью, — мы ещё успеем добраться до того берега раньше солнца!

Едва успев вымолвить эти слова, едва бросив клич о состязании с солнцем, Тито могучим прыжком головой вниз бросился в озеро, как бы желая, то ли из озорства, то ли от смущения, как можно скорей удрать отсюда, энергичными движениями заставить позабыть только что разыгравшуюся торжественную сцену. Вода брызнула фонтаном и сомкнулась над ним, и только спустя несколько мгновений вынырнули голова, плечи, руки и, быстро удаляясь, выступали над зеленовато-голубым зеркалом воды.

У Кнехта, когда он вышел на берег, и в мыслях не было купаться или плавать, день для этого был чересчур прохладный, и после дурно проведённой ночи он чувствовал себя слишком слабым. Теперь, когда он стоял под тёплыми лучами солнца, возбуждённый только что пережитым, а также товарищеским приглашением и вызовом своего воспитанника, подобная смелость уже

не казалась ему столь безрассудной. Но больше всего он боялся, как бы всё, чему этот утренний час положил начало, всё, что он возвещал, снова не сгинуло, не исчезло, если Кнехт теперь бросит юношу, одного, разочарует его, если в холодной взрослой рассудительности откажется от предложенной пробы сил.

Правда, чувство неуверенности и слабости, возникшее вследствие быстрого переезда в горы, предостерегало его, но кто знает, может быть, надо пересилить себя, делать резкие движения, и тогда он скорее преодолеет своё недомогание. Вызов победил сомнения, воля — инстинкт. Он быстро скинул лёгкий халат, сделал глубокий вдох и бросился в воду в том же месте, куда нырнул его ученик.

Озеро, питаемое ледниковыми водами и доступное даже в самые жаркие дни лишь для очень закалённых купальщиков, с острой враждой пронзило его ледяным холодом. Кнехт приготовился к изрядному ознобу, но не к этой свирепой стуже, которая отовсюду охватила его, будто пылающим пламенем, и после минутного ощущения ожога начала быстро проникать в его тело. После прыжка он сразу вынырнул на поверхность, увидел далеко впереди плывущего

Тито, ощутил, как его одолевает ледяная, дикая, враждебная стихия, и в воображении своём ещё боролся за цель заплыва, за уважение и дружбу, за душу юноши, когда на деле он уже боролся со смертью, вызвавшей его на поединок и охватившей его в борьбе. Все силы свои бросил Кнехт в эту схватку и сопротивлялся до тех пор, покуда не перестало биться сердце.

Молодой пловец то и дело оглядывался назад и с удовлетворением убедился, что Магистр бросился в воду вслед за ним. Снова и снова он оборачивался, когда же заметил, что наставник исчез из виду, забеспокоился, стал искать его глазами и громко звать, потом повернул назад, торопясь ему на помощь. Он не находил и всё продолжал искать утонувшего, плыл и нырял до тех пор, пока сам не обессилел от лютого холода. Еле держась на ногах, задыхаясь, он выкарабкался наконец на берег, увидел купальный халат Магистра, валявшийся на берегу, поднял его и начал машинально растирать тело, туловище, руки и ноги, пока окоченелые члены не согрелись. Словно оглушённый, он сел на солнце, устремив взор на озеро, зеленовато-голубая гладь его казалась ему сейчас непривычно пустынной, чужой и злобной, и всё большая беспомощность

и глубокая печаль овладевали им по мере того, как проходила физическая слабость и всё явственней проникало в него сознание ужаса происшедшего.

Какое горе, думал он в отчаянии, ведь это я виноват в его смерти! И только теперь, когда не перед кем было показывать свою гордость, когда некому было сопротивляться, он понял всей горестью своего смятенного сердца, как дорог стал ему этот человек. И в то время, как он, вопреки всем отговоркам, осознавал себя виновным в смерти Магистра, на него священным трепетом нахлынуло предчувствие, что эта вина преобразит его самого и всю его жизнь, что она потребует от него гораздо большего, нежели он сам когда-либо ожидал от себя.

Собственные сочинения Йозефа Кнехта

Стихи школяра и студента

Жалоба

Нам в бытии отказано. Всегда
И всюду путники, в любом краю,
Все формы наполняя, как вода,
Мы путь нащупываем к бытию.

Так совершаем мы за кругом круг,
Бредём сквозь свет и мрак, всему чужды,
Руке нетвёрдой не осилить плуг,
Осуществленья не сулят труды.

Нам не постигнуть, что творит господь;
Всё сызнова Горшечник лепит нас,
Покорную переминает плоть,
Но для обжига не приходит час.

Осуществить себя! Суметь продлиться!
Вот цель, что в путь нас гонит неот-

ступно, –
Не оглянуться, не остановиться,
А бытие всё так же недоступно.

Уступка

Для тех, которым всё от века ясно,
Недоуменья наши – праздный бред.
Двухмерен мир, – твердят они в ответ,
А думать иначе небезопасно.

Ведь если мы допустим на минуту,
Что за поверхностью зияют бездны,
Возможно ль будет доверять уюту,
И будут ли укрытья нам полезны?

А потому для пресеченья трений
Откажемся от лишних измерений!

Коль скоро менторы судили честно,
И всё, что ждёт нас, наперёд известно,
То третье измеренье неуместно.

Но помним мы…

Рассудок, умная игра твоя –

Струенье невещественного света,
Легчайших эльфов пляска, – и на это
Мы променяли тяжесть бытия.

Осмыслен, высветлен весь мир в уме,
Всем правит мера, всюду строй царит,
И только в глубине подспудной спит
Тоска по крови, по судьбе, по тьме.

Как в пустоте кружащаяся твердь,
Наш дух к игре высокой устремлён.
Но помним мы насущности закон:
Зачатье и рожденье, боль и смерть.

Алфавит[77]

Ты пишешь на листе, и смысл означен
И закреплён блужданьями пера,
Для сведущего до конца прозрачен:
На правилах покоится игра.

---

[77] Примечания: [77]

Гессе в поэтической форме намечает ту проблему, над которой бьются многие современные западные представители философии культуры (начиная от Шпенглера до структуралистов), — проблему культуры как знаковой системы, фиксирующей свой смысл в ряде формальных условностей и обессмысливающейся для людей, не посвящённых в эти условности.

Но что, когда бы оказался рядом
Лесной дикарь иль человек с луны
И в росчерки твои вперился взглядом:
Как странно были бы потрясены
Глубины неискусного рассудка!
Ему бы, верно, эти письмена
Привиделись живою тварью, жутко
Коснеющей в оцепененье сна;
Пытливо вглядываясь, словно в след,
Вживаясь в этот бред, ища ответ,
Он целый мир немых существований,
Невнятных мирозданий распорядок
Увидел бы за вязью начертаний,
Томясь загадками, ища разгадок.
Он головой качал бы и дивился
Тому, как строй вселенский исказился,
Войдя в строенье строк, как мир вмещён
Во всём объёме в чернокнижье знаков,
Чей ряд блюдёт свой чопорный закон
И до того в повторах одинаков,
Что жизнь и смерть, решёткой рун

членимы,
Неразличимы и почти что мнимы…
Но под конец от нестерпимой муки
Он завопил бы, и разжёг бы пламя,
И под напевов и заклятий звуки
Огню бы предал лист, сжимая руки;
Потом с полузакрытыми глазами
Дремал бы он и чувствовал, что сон
Развоплощен, развеялся, вернулся
В небытие, что морок прекращён, –
И лишь тогда б вздохнул и улыбнулся.

После чтения старинной философской книги

То, что вчера ещё жило, светясь
Высокой сутью внятного ученья,
Для нас теряет смысл, теряет связь,
Как будто выпало обозначенье
Диеза и ключа, – и нотный ряд
Немотствует: сцепление созвучий
Непоправимо сдвинуто, и лад
Преобразуется в распад трескучий.

Так старческого облика черты,
Где строгой мысли явлен распорядок,
Лишает святости и красоты
Дряхленья подступающий упадок.
Так в сердце радостное изумленье
Вдруг меркнет без причины и вины,
Как будто были мы уже с рожденья
О всей тщете его извещены.

Но над юдолью мерзости и тлена
Подъемлется, в страдальческом усилье
Высвобождаясь наконец из плена,
Бессмертный дух и расправляет крылья.

Последний мастер игры стеклянных бус

Не выпуская из руки прибор,
Сидит он, горбясь. И война и мор
Прошлись окрест, так странен и печален
Развалин вид, и виснет плющ с развалин.

Пчелы вечерней медленное пенье
Легко дрожит, – покой и запустенье!..
А он стекляшки пёстрые подряд
Перебирает, ловкою рукой
Их по одной располагая в строй,
Игрой назначенный, в разумный ряд.
Он в этом был велик, во время оно
Магистра имя было повсеместно
В кругу умов утончённых известно.
В числе светил первейших небосклона
Духовного повсюду он считался.
Теперь всё кончено. Тот мир ушёл.
О, если бы коллега постучался
Или пришёл, робея, ученик!
Но нет их больше, нет ни тайн, ни школ,
Ни книг былой Касталии… Старик
Покоится, прибор держа в руке,
И, как игрушка, шарики сверкают,
Что некогда вмещали столько смысла,
Они выскальзывают, выбегают
Из дряхлых рук, теряются в песке…

К одной из токкат Баха

Вначале – тишина, смешенье туч…
Но вот пронизывает бездну луч
И строит в хаосе свои пространства,
Высветливает тверди лёгкий свод,
Играет радугой, просторы вьёт,
Сгущает землю, скал членит убранства.

Прабытия глухое естество
Разорвано для творческого спора;
Гудя, раскутывается порыв,
Всё затопив, залив, преобразив, –
И голосами громового хора
Творенья возвещает торжество.

Но путь назад, к своим первоосновам,
Отыскивает мир, рождает числа,
Соразмеряет шествие планет
И славить учится начальный свет
Сознаньем, мерой, музыкой и словом,
Всей полнотой любви, всей силой смысла.

Сон

Гостя в затерянном монастыре,
Я в час, как все к молитве удалились,
Вошёл в книгохранилище. В игре
Закатных пятен по стенам светились
Бесценных инкунабул переплёты.
Меня как будто подтолкнуло что-то,
Я быстро томик наугад достал,
Раскрыл, взглянул и титул прочитал:
«О квадратуре круга» – он гласил![78]
Скользнувши взглядом дальше по рядам,
Приметил я заглавье: «Как Адам
И от другого древа плод вкусил».[79]
Другого древа? Древа Жизни! Что же,
Адам бессмертен?.. В добрый час, по-

---

[78] Примечания: [78]

Неразрешимая математическая задача о разыскании квадрата, равновеликого данному кругу, была с древних времён до эпохи барокко излюбленным символом религиозно-философских исканий равновесия между божеским и человеческим, между вечностью и временем.

[79] Примечания: [79]

Наряду с древом познания добра и зла, вкушение плодов которого ввергло Адама и Еву в первородный грех, в библейском Эдеме находится, согласно Ветхому завету, и другое древо — Древо Жизни: его плоды сообщают вкусившему бессмертие и совершенство.

хоже,
Сюда забрёл я! И отливы канта
С пестро расцвеченного фолианта
Блеснули мне, всей радугой играя,
А надпись шла по корешку такая:
«Цветов и нот сокрытое значенье.
Все указанья для переложенья
Любых созвучий в краски, и обратно».
О, сколь многозначительно и внятно
К уму цвета воззвали! И сомненья
Быть не могло; я замер, постигая,
Где нахожусь: в библиотеке Рая!
Ко всем загадкам были здесь разгадки;
Здесь раскрывалась в ясном распорядке
Вся полнота познанья. Каждый раз,
Как новый титул взглядом пробежать
Я успевал, за ним уже опять
Духовные угадывались дали.
Все тайны, испокон веков для нас
Запечатлённые, как будто ждали
Минуты, в утоленье древней муки
Спеша упасть, как плод созревший, в

руки.
Здесь искрились уму лучи познанья,
Как бы в единый фокус сведены,
Здесь были до конца разрешены
Загадки и утолены терзанья
Рассудка, и науки целокупной
Был выведен итог; последний смысл
Повсюду за игрой письмён и числ
Присутствовал, для каждого доступный,
Кого призвал непостижимый час.

Я разогнул дрожащими руками
Тяжёлый манускрипт, и будто сами
Мне письмена раскрылись без труда
(Так ты во сне неведомое дело
Играючи свершаешь иногда);
И тотчас был я вознесён в пределы,
Откуда зрима сфер разумных ось,
Где тайны всё, что в притчах хитроумных
Запечатлеть провидцам довелось,
Все проблески догадок многодумных

Сводились вместе, в стройной непреложности
Собой составив как бы хор планет,
Все новые вопросы и возможности
Приоткрывал уму любой ответ,
И так за это время, время чтенья,
Я путь неимоверный пробегал
И всех веков, и всех умов прозренья
В их совокупной сути постигал!
Был строй во всём! И снова начертанья
Передо мной вступали в сочетанья,
Кружились, строились, чередовались,
Из их переплетений излучались
Все новые эмблемы, знаки, числа,
Вместилища неслыханного смысла.
Шло быстро чтение, я был в ударе.

На миг глазам я отдых дать решил
И вдруг заметил: в зале кто-то был.
Старик, по видимости архиварий
(Как я поторопился заключить),
В углу у полки скромно делал что-то,
Над книгой хлопоча, и уяснить

Значение таинственной работы
Мне стало крайне важно. Боже сил,
Что увидал я! Старец подносил
Свой том к глазам, рассматривал с любовным
Вниманием заглавие, – такое,
Что дух захватывало! – ртом бескровным
Дул на него, качая головою;
И после пальцем удалял с трудом
Заглавие, вычерчивал другое,
Вставал и снова тихо вдоль покоя
Расхаживал, снимал за томом том,
Смывал заглавие, чертил другое.

При этом зрелище мне стало жутко.
Всё это было слишком не на шутку
Рассудку недоступно, и решил я
Вернуться к чтению; но те уроки,
Что раскрывали мне миры познанья
Лишь миг назад, уже не находил я;
Прозрачный, ясный строй письмён, уму
Сиявший только что, ушёл во тьму,

Перемешались тайнописи строки,
И под конец мне глянуло в глаза
Пустой страницы бледное мерцанье.
И вдруг неслышная легла рука
Мне на плечо: увидев старика,
Я выпрямился. На моих глазах
Мой том он в руки взял – невнятный страх
Смутил меня! – и перст его прошёл
По переплёту, знаки смыв прилежно.
Затем другие знаки, что расчислили
Весь ход миров и заново осмыслили,
Пером старинным он вписал неспешно.
Затем, ни слова не сказав, ушёл.

Служение

Когда-то, в дни первоначальной веры,
Своим владыкам поручал народ
Блюсти в кругу пастушеских забот
Высокий строй непогрешимой меры.

В ладу с иною мерой: той, что око
Угадывает, вникнув в ход светил,

Ведомых в знании числа и срока
Разумным равновесьем скрытых сил.

Но древнее преемство благостыни
Пресеклось, меры позабыт закон,
И человек надолго отлучён
От мирового лада, от святыни.

Но мысль о ней светила и в разлуке,
И нам поручено: Завета смысл
В игру созвучий и в сцепленья чисел
Замкнуть и передать в иные руки.

Как знать, быть может, свет на нас сойдёт,
И повернётся череда столетий,
И солнцу в правоте воздать почёт
Сумеют примирившиеся дети.

Мыльные пузыри

Как много дум, расчётов и сомнений
Понадобится, и года пройдут,
Пока старик из зыбких озарений
В свой поздний срок соткёт свой поздний труд.

А юноша торопится меж тем
Мир изумить и спину гнёт прилежно
Над построением философем –
Неслыханных и широты безбрежной.

Дитя в игру уходит с головой:
Притихши, бережно в тростинку дует,
И вот пузырь, как бы псалом святой,
Играет, славословит и ликует.

И так творятся в смене дней и лет
Из той же древней пены на мгновенье
Всё те же сны, и нет у них значенья:
Но в них себя узнает и в ответ
Приветнее заблещет вечный свет.

После чтения «Summa contra gentiles»[80]

---

[80] Примечания: [80]

«Сумма против язычников» (лат.) — наряду с «Суммой богословия» один из двух важнейших трудов крупнейшего философа-схоласта Фомы Аквинского (1225–1274). Обе «Суммы» в соответствии со своим наименованием стремятся дать законченный итог всего смыслового содержания средневековой христианской культуры. Гессе, увлекавшийся идеями Фомы Аквинского, сделал одним из героев своего романа «Нарцисс и Гольдмунд» монаха Нарцисса, истового и безупречного служителя «чистой духовности» средневековья; таким образом, мотив «Сумма против язычников» как бы перекидывает мост между двумя романами Гессе, выявляя некое тождество Нарцисса и Кнехта.

Нам кажется: когда-то мирозданье
Понятней было, глубже созерцанье,
Познанье с тайной в нерушимом мире.
Да, прежним мудрецам дышалось шире,
Полней жилось, и жизнь была им раем,
Как мы у старых авторов читаем.
А всякий раз, как мы вступали свято
В духовные пространства Аквината, –
Припомни, как уму сияли сферы
Предельной, зрелой, совершенной меры:
Повсюду ясный свет, весь мир осмыслен,
Путь человека к божеству расчислен,
Сквозной расчёт строенья безупречен,
В любом звене продуман, верен, вечен.
Но в наших поколеньях запоздалых
Иссякла сила, и для нас, усталых,
Изверившихся, всё, что целокупно
Должно быть, безнадёжно недоступно.

Так; но со временем, быть может, внуки

Увидят всё иначе: эти звуки
Недоуменья, ропота и спора
Для них сольются в благозвучье хора
Многоголосного, и все терзанья
Преобразятся в стройные преданья.
Быть может, тот, кто меньше всех готов
В себя поверить, – он-то под конец
Окажется властителем сердец,
Вождём, учителем иных веков;
Кто горше всех терзается сомненьем,
Предстанет, может статься, поколеньям
Как мастер, взысканный такой наградой,
Что в дни его и жизнь была отрадой;
Как тот, кто миру начертал пути.

Пойми: и в нас живёт извечный свет,
Свет, для которого истленья нет:
Он должен жить, а мы должны уйти.

Ступени

Любой цветок неотвратимо вянет
В свой срок и новым место уступает:
Так и для каждой мудрости настанет
Час, отменяющий её значенье.
И снова жизнь душе повелевает
Себя перебороть, переродиться,
Для неизвестного ещё служенья
Привычные святыни покидая, –
И в каждом начинании таится
Отрада, благостная и живая.

Всё круче поднимаются ступени,
Ни на одной нам не найти покоя;
Мы вылеплены божьею рукою
Для долгих странствий, не для косной лени.
Опасно через меру пристраститься
К давно налаженному обиходу:
Лишь тот, кто вечно в путь готов пуститься,
Выигрывает бодрость и свободу.

Как знать, быть может смерть, и гроб, и тленье –

Лишь новая ступень к иной отчизне.
Не может кончиться работа жизни…
Так в путь – и всё отдай за обновленье!

Игра стеклянных бус

Удел наш – музыке людских творений
И музыке миров внимать любовно,
Сзывать умы далёких поколений
Для братской трапезы духовной.

Подобий внятных череда святая,
Сплетения созвучий, знаков, числ!
В них бытие яснеет, затихая,
И полновластный правит смысл.

Как звон созвездий, их напев кристальный,
Над нашею судьбой немолчный зов,
И пасть дано с окружности астральной
Лишь к средоточью всех кругов.

Три жизнеописания
Заклинатель дождя

Это случилось не одну тысячу лет назад, когда у власти были женщины: в роду и семействе матери и бабке воздавали почёт и слушались беспрекословно, рождение девочки считалось намного желаннее, чем рождение мальчика.

Жила в одном селении праматерь рода, ей было уже далеко за сто лет, но все боялись её и чтили как королеву, хотя она уже давно, сколько помнили люди, лишь изредка чуть шевельнёт пальцем или молвит словечко. День за днём сидела она у входа в свою хижину, в кругу прислуживающих ей сородичей, и женщины селения посещали её, чтобы выразить ей своё почитание, поделиться своими заботами, показать своих детей и испросить для них благословения; приходили беременные и просили её коснуться их чрева и дать имя ожидаемому дитяти. Родоначальница иногда возлагала на женщину руки, иногда согласно или несогласно кивала головой или же оставались вовсе безучастной. Говорила она редко, она только присутствовала; она присутствовала

— сидела и правила, сидела и прямо держала голову с тонкими прядями изжелта-седых волос вокруг пергаментного лица, с зоркими глазами орлицы; сидела и принимала поклонение, дары, мольбы, вести, донесения, жалобы; сидела и была всем ведома как мать семерых дочерей, как бабка и прабабка множества внуков и правнуков; она сидела и скрывала в изборождённых резкими морщинами чертах и за смуглым лбом мудрость, предания, право, уклад и честь селения.

Стоял весенний вечер, облачный и хмурый. Перед глиняной хижиной родоначальницы сидела не она сама, а её дочь, почти такая же седая и внушительная, как мать, да, пожалуй, и немногим её моложе. Она отдыхала, сидя на пороге, на плоском камне, по случаю холодной погоды накрытом шкурой, а поодаль уселись полукругом, кто на песке, кто на траве, женщины с ребятишками и несколько подростков: они сходились сюда каждый вечер, если не было дождя или мороза, потому что хотели послушать, как дочь родоначальницы рассказывает сказки или напевает изречения. Прежде это делала сама родоначальница, но теперь она слишком одряхлела и чуждалась людей, и на её месте сидела и рассказывала дочь, и как все сказки и речения она

унаследовала от матери, так она унаследовала от неё и голос, и облик, и тихое достоинство осанки, жестов и речи, а слушатели помоложе знали её гораздо лучше, нежели её мать, и уже почти не помнили, что она на месте другой сидела и рассказывала сказки и предания рода. Из её уст струился по вечерам поток мудрости, сокровище рода было сокрыто под её сединами, за её старым лбом, исчерченным тонкими морщинками, жила память и духовность селения. Если кто и сподобился знания и заучил изречения или сказки, он заимствовал всё это у неё. Кроме неё и самой прародительницы, в роду был ещё только один мудрый муж, но он, однако, сторонился людей, и был этот таинственный, крайне молчаливый человек заклинателем грозы и дождя.

Среди слушателей примостился мальчик, его звали Слуга, и рядом с ним — маленькая девочка по имени Ада. Слуга подружился с девочкой, он часто сопровождал её и охранял. Конечно, то не была любовь, о любви он пока ещё ничего не знал, ибо сам был ребёнком, девочка привлекала его тем, что была дочерью заклинателя дождя. После родоначальницы и её дочери мальчик превыше всего почитал заклинателя дождя. Но ведь то были женщины, перед ними можно было

преклоняться, трепетать, но нельзя было даже мысленно, даже втайне лелеять желание им уподобиться. Между тем заклинатель погоды был человеком не слишком общительным, и мальчику трудно было к нему приблизиться; приходилось искать окольных путей, и одним из таких окольных путей была для Слуги забота о дочери заклинателя. Он при любой возможности заходил за девочкой в их стоявшую поодаль хижину, чтобы вечерком посидеть вместе перед хижиной старухи и послушать её рассказы, а потом провожал девочку домой. Так он поступил и сегодня, и вот дети уселись рядышком среди темневшей в сумраке кучки людей и слушали.

Сегодня старуха рассказывала о деревне ведьм. Она говорила:

«Бывает, что живёт в деревне женщина злая-презлая, никому-то она не желает добра. У таких почти никогда и дети не родятся. А бывает иной раз, что такая злюка до того всем опостылеет, что люди не хотят больше терпеть её рядом с собой. Они хватают её ночью, мужа связывают, наказывают женщину розгами, предают её проклятию, а потом прогоняют далеко в леса и болота и там бросают. С мужа после этого снимают путы и, если он ещё не слишком стар, разрешают ему взять себе

другую жену. Тем временем изгнанница, если не погибла, скитается по лесам и болотам, научается звериному языку и, пробродив и проскитавшись долгое время, попадает наконец в маленькую деревушку, это и есть деревня ведьм. Там сошлись все недобрые женщины, которых люди изгнали из своих селений, и они основали свою деревню. Там они живут, творят свои злые дела и занимаются колдовством; особенно им нравится, поскольку нет у них собственных детей, заманивать к себе детей из настоящих деревень, и, если ребёнок заблудится в лесу, не вернётся домой, не думайте, что он завяз в болоте или его растерзали волки: ведьма могла завлечь его в лесную глушь и увести за собой в деревню ведьм. В те времена, когда я была ещё совсем мала и старейшей в роде была моя бабушка, одна девочка отправилась вместе с другими в лес по чернику; уставши, она задремала; она была так мала, что листья папоротника совсем скрыли её, и другие девочки ушли дальше, ничего не заметив; только когда они к вечеру вернулись в деревню, они её хватились. Послали молодых парней, они обшарили весь лес, звали её до самой ночи, так и вернулись ни с чем. Между тем девочка, отдохнувши, проснулась и пошла дальше и дальше в глубь ле-

са. Чем больше забирал её страх, тем быстрее она бежала. Она давно уже не знала, где находится, и только бежала вперёд куда глаза глядят, всё дальше от своей деревни, туда, куда до неё никто не ходил. На шее у девочки висел надетый на тесёмку кабаний зуб, его ей подарил отец, он принёс зуб с охоты, осколком камня просверлил в нём дырочку, чтобы продёрнуть тесёмку, а перед тем три раза выварил его в кабаньей крови и пел при этом мудрые заклинания; и кто носил при себе такой зуб, того не брало никакое колдовство. Но вот из чащи деревьев вышла какая-то женщина, это была ведьма, она с притворной ласковостью обратилась к девочке и сказала: „Здравствуй, милое дитя, ты, видно, заблудилась? Идём со мной, я отведу тебя домой“. Девочка и пошла с нею. Но вдруг она вспомнила, что наказывали ей отец и мать: никогда никому чужому не показывать кабаний зуб; она тихонько сняла зуб с тесёмки и спрятала его в поясок. Много часов вела женщина девочку через лес, уже надвинулась ночь, когда они добрались до деревни, но это было не наше селение, а деревня ведьм. Девочку заперли в тёмный сарай, сама же ведьма ушла ночевать в свою хижину. Наутро ведьма спросила: „А кабаний зуб у тебя есть?“ Девочка ответила, что да,

мол, зуб у неё был, но она потеряла его в лесу, и показала тесёмку, на которой уже ничего не было. Тогда ведьма принесла каменный горшок, полный земли, а в земле росли три травинки. Девочка посмотрела на травинки и спросила, что это такое. Ведьма указала на первую травинку и пояснила: „Это жизнь твоей матери“. Потом показала на вторую: „Это жизнь твоего отца“. Затем указала на третью: „А это твоя собственная жизнь. До тех пор пока травинки будут зеленеть и расти, вы трое будете живы и здоровы. Если одна из них начнёт вянуть, — занедужит тот, чью жизнь она означает. Если вырвать одну травинку, — как я её сейчас вырву, — то должен умереть тот, чью жизнь она бережёт“. Ведьма схватила пальцами травинку, которая означала жизнь отца, и начала тащить её из земли, и когда она вытащила немного и показался кусочек белого корня, травинка жалобно застонала…»

При этих словах девочка, сидевшая рядом со Слугой, вскочила, будто её ужалила змея, вскрикнула и стремглав ринулась прочь. Долго пыталась она побороть страх, внушённый ей сказкой, но теперь не выдержала. Одна из старух засмеялась. Остальные были напуганы не меньше, чем девочка, но терпеливо сидели на месте. Слуга, стряхнул

очарование сказки и отогнав страх, тоже вскочил и побежал за девочкой. Дочь родоначальницы продолжала свой рассказ…

Хижина заклинателя дождя стояла возле пруда, и туда-то Слуга отправился искать беглянку. Манящими успокаивающими словами он старался привлечь её внимание, напевая, мурлыча на разные голоса, как это делают женщины, скликая кур, — тягучим, сладким голосом, как бы желая околдовать их. «Ада, — звал он и пел, — Ада, Адочка, поди сюда. Не бойся, Ада, это я, Слуга». Так он пел снова и снова, и, ещё не услыхав, не увидав подругу, он вдруг почувствовал в своей ладони её маленькую, мягкую ручонку. Она стояла на дороге, прислонившись к стене чужой хижины, и ждала с той минуты, как ушей её достиг зов Слуги. Облегчённо вздохнув, она прижалась к мальчику, который казался ей большим и сильным — уже совсем мужчиной.

— Ты испугалась, да? — спросил он. — Не надо бояться, никто тебя не обидит, все любят Аду. Пойдём домой. — Она всё ещё дрожала и слегка всхлипывала, но мало-помалу успокоилась, благодарно и доверчиво пошла за мальчиком.

Из двери хижины мерцал слабый красноватый свет, внутри, у очага, сгорбившись, сидел

заклинатель дождя, на свисающих волосах играл алый отблеск; старик развёл огонь и варил что-то в двух маленьких горшочках. До того как войти с Адой в хижину, Слуга с минуту, затаив дыхание, наблюдал за ним; мальчик сразу понял, что в горшочках варится не еда, это делалось в другой посуде, да и время было уже позднее. Но заклинатель дождя тотчас же услышал, что кто-то пришёл.

— Кто там стоит за дверью? — спросил он. — Входите поскорей. Это ты. Ада? — Он накрыл горшочки крышками, подгрёб к ним жар и золу и обернулся.

Слуга всё ещё не сводил глаз с таинственных горшочков; как всегда, когда он попадал в эту хижину, его одолевало любопытство, он испытывал глубокое благоговение и какое-то томительное чувство. Он приходил сюда так часто, как только мог, изобретая для этого всяческие предлоги и поводы, и каждый раз его при этом охватывало не то щекочущее, не то предостерегающее чувство лёгкой подавленности, в котором жадное любопытство и радость боролись со страхом. Старик не мог не заметить, что Слуга давно наблюдает за ним и всегда появляется там, где надеется его встретить, что он, как охотник, ходит по его

следам и безмолвно предлагает ему свои услуги и своё общество.

Туру, заклинатель погоды, глянул на него своими светлыми глазами хищной птицы.

— Чего тебе? — холодно спросил он. — Неподходящее время для посещения чужих хижин, мальчик.

— Я привёл Аду, мастер Туру. Она была у праматери, мы слушали сказку про ведьм, и вдруг Ада испугалась, закричала, вот я её и проводил домой. Отец обернулся к девочке.

— Да ты трусишка, Ада! Умным девочкам нечего бояться ведьм. А ты ведь умная девочка?

— Ну да… Но ведьмы знают всякие страшные наговоры, и если у тебя нет кабаньего зуба…

— Вот как? Тебе, значит, хочется иметь кабаний зуб? Посмотрим. Я знаю кое-что получше кабаньего зуба. Я знаю один корень и принесу его тебе; но искать и дёргать его надо осенью, он защищает умных девочек от злых чар и делает их ещё красивее.

Ада радостно улыбнулась, весь страх её как рукой сняло, едва она очутилась среди знакомых запахов хижины, в неярком свете огня. Слуга робко спросил:

— А можно, я сам пойду искать корень? Ты

только расскажи мне, какой он…

Туру сощурил глаза.

— Не одному мальчишке хотелось бы это знать, — промолвил он, но голос его звучал несердито, а чуть насмешливо. — Время терпит. Осенью посмотрим.

Слуга вышел и скоро исчез в том направлении, где стояла хижина мальчиков, в которой он ночевал. Родители его давно умерли, он был круглым сиротой, и это было лишней причиной, почему его так сильно тянуло к Аде и в её хижину.

Заклинатель дождя Туру был и сам не говорлив и не любил слушать других; многие считали его чудаком, а иные — угрюмым брюзгой. Но он не был ни тем, ни другим. Он знал о том, что происходит вокруг него, гораздо больше, нежели можно было предполагать, судя по его учёной и отрешённой рассеянности. Видел он и то, что этот несколько назойливый, но приятный и явно неглупый подросток всюду бегает и наблюдает за ним, он заметил это с самого начала, с год тому назад или больше. Он даже угадывал точно, что это значило. Это значило очень много для мальчика, но и для него, старика, тоже. Это значило, что мальчишка очарован ремеслом заклинателя дождя и ни о чём так не мечтает, как

о том, чтобы ему выучиться. Время от времени в селении встречались такие мальчики. Кое-кто уже пытался приблизиться к Туру. Иных легко было отпугнуть и привести в уныние, другие не падали духом, двоих он несколько лет держал при себе учениками и помощниками, потом они уехали в отдалённые селения, женились там и стали заклинателями дождя либо собирателями целебных трав; с тех пор Туру оставался один, и если он теперь возьмёт ученика, то уж для того, чтобы подготовить себе преемника. Так бывало всегда, и это было правильно и не могло быть иначе: вновь и вновь должен появляться одарённый мальчик, и должен идти в почитатели и ученики к тому мужчине, в котором увидит мастера своего дела. Слуга даровит, в нём есть то, что нужно, мастер видел в нём некоторые признаки, говорящие в его пользу: прежде всего, пытливый, одновременно зоркий и задумчивый взгляд, сдержанность и молчаливость нрава и нечто в выражении лица, в повороте головы, будто он всегда что-то выслеживает, вынюхивает, будто он всегда настороже, тонко улавливает шумы и запахи; было в нём что-то и от птицы, и от охотника. Да, из этого мальчика может выйти знаток погоды, возможно, даже кудесник, из него

будет толк. Но торопиться некуда, он ещё слишком молод, и никак нельзя показывать ему, что на нём остановилось внимание учителя, нельзя облегчать ему задачу, избавлять его от тернистых троп. Если он дрогнет, даст себя отпугнуть, оттолкнуть, если потеряет мужество — туда ему и дорога. Пусть ждёт и служит мастеру, пусть крадётся за ним и завоёвывает его милость.

Слуга, довольный и радостно возбуждённый, бежал сквозь надвигающуюся ночь под облачным небом, лишь две-три звезды мерцали над деревней. Жители селения ничего не знали о наслаждениях, красотах и утончённых удовольствиях, которые нам, современным людям, кажутся столь естественными и необходимыми, которые доступны даже беднейшим, они не знали ни наук, ни искусств, они не знали других построек, кроме покосившихся глинобитных хижин, не знали ни железных, ни стальных орудий, равным образом такие продукты, как пшеница или вино, были им незнакомы, а свеча или лампа показались бы этим людям ослепительным чудом. Но от этого жизнь Слуги и его внутренний мир были не менее богаты, мир был для мальчика необъятной тайной, огромной книжкой с картинками, и с каждым днём он отвоёвывал у мира новую

порцию его тайн, начиная с жизни животных и роста растений до звёздного неба, и между этой немой таинственной природой и его одинокой душой, трепещущей в робкой отроческой груди, было близкое сродство, в ней жили всё напряжение, страх, любопытство и жажда обладания, на какие способна человеческая душа. Пусть в мире, где он рос, не было записанного знания, не было ни истории, ни книг, ни алфавита, пусть всё, что лежало дальше трёх-четырёх часов пути от его селения, было ему совершенно неведомо и недоступно, зато в своём мире, в своём селении он жил единой, цельной и слитной жизнью со всем, что его окружало. Селение, родина, общность рода под властью матерей давали ему всё, что может дать человеку народ и государство: почву с тысячами корней, в сплетении которых и он был маленьким волоконцем, частицей целого.

Довольный, шагал он вперёд, в деревьях шептался ночной ветер, что-то тихонько потрескивало, пахло влажной землёй, тростником и тиной, дымом от сырого дерева, и этот жирный, сладковатый запах более любого другого напоминал о родине; когда же он приблизился к хижине для мальчиков, до него донёсся и её запах, запах юных человеческих тел. Бесшумно прокрался

он под тростниковой циновкой в тёплую, наполненную дыханием темноту и растянулся на соломе, а в голове проплывали мысли о ведьмах, о кабаньем зубе, об Аде, о заклинателе погоды и о его горшочках на огне, пока сон не сморил его.

Туру очень сдержанно шёл на сближение с мальчиком, он не желал облегчать ему путь к себе. Но юноша ходил за ним по пятам, его тянуло к старику, он сам зачастую не знал почему. Порой, когда заклинатель ставил капканы, разнюхивал след, выкапывал корень или собирал семена в каком-нибудь потаеннейшем уголке леса, болота или степи, он вдруг чувствовал на себе взгляд мальчика, который часами неслышно крался за ним и подкарауливал его. Иной раз он делал вид, будто ничего не замечает, иногда сердился и немилосердно прогонял преследователя, а бывало и так, что подзовёт его и водит за собой целый день, принимая его помощь, показывает ему то, другое, заставляет отгадывать, испытывает его, открывает ему названия трав, велит зачерпнуть воды или развести огонь, и, что бы мальчик ни делал, старик обучал его всем лучшим приёмам и хитростям, тайнам и заклинаниям, настойчиво внушая ему: всё это надо держать про себя, никому не рассказывать. И наконец, когда Слуга

подрос, заклинатель дождя совсем оставил его при себе, признал в нём своего ученика и перевёл из хижины мальчиков в свою собственную. Этим он отличил Слугу перед всем племенем: его перестали считать мальчиком, теперь он сделался учеником заклинателя дождя, а это означало, что если он выдержит искус и окажется пригодным, то впоследствии займёт место старика.

С того часа, когда Туру взял Слугу в свою хижину, преграда между ними пала — не преграда преклонения и послушания, а преграда недоверия и замкнутости. Туру сдался, настойчивость юноши покорила его; теперь единственным его желанием было сделать из Слуги настоящего заклинателя погоды и своего преемника. Для такого обучения не существовало ни понятий, ни теории, ни методы, ни письма, ни цифр, и было очень мало слов, и мастер развивал не столько ум, сколько пять чувств Слуги. Предстояло не только овладеть всем огромным богатством преданий и опыта, всем запасом знаний человека той эпохи и умело применять их, но и научиться передавать их дальше. Широкая и богатая система опыта, наблюдений, инстинктов, привычки к исследованиям медленно и пока смутно раскрывалась перед юношей, почти ничего из этого богатого

запаса нельзя было выразить в ясных понятиях, всё приходилось пробовать, изучать, проверять только своими пятью чувствами. Основанием же и средоточием этой науки было учение о луне, о её фазах и воздействиях, о её постепенном росте и постепенном исчезновении, о луне, населённой душами усопших и посылающей эти души для нового рождения, чтобы освободить место для новых умерших.

Помимо того вечера, когда он от сказки родоначальницы бежал к очагу старика с его горшочками, ещё один час запечатлелся в памяти Слуги, глухой час между ночью и утром, когда учитель разбудил его через два часа после полуночи и вышел с ним из дому в непроглядную темь, чтобы показать ему последний восход убывающего лунного серпа. Долго они ждали, стоя на выступе скалы среди лесистых холмов; учитель — в молчаливой неподвижности, юноша — немного испуганный, сонный и дрожащий, пока на точно предуказанном учителем месте, в описанной им заранее форме и наклоне не обозначился тоненький серп, мягко изогнутая линия. Робко и очарованно смотрел Слуга на медленно восходящее светило, тихо выплывавшее из мрака облаков на чистый островок неба.

— Скоро она сменит обличие и опять начнёт расти, тогда придёт пора сеять гречиху, — сказал заклинатель дождя, подсчитывая по пальцам остающиеся дни. И он снова погрузился в молчание. Слуга же словно потерянный стоял на блестящем, покрытом росой камне и дрожал от ночной прохлады, а из чащи леса донёсся протяжный вой совы. Долго молчал старик, задумавшись, потом поднялся, положил руку наголову юноши и вымолвил тихо, как бы сквозь сон:

— Когда я умру, мой дух отлетит на луну. К тому времени ты станешь мужчиною, у тебя будет жена, моя дочь Ада будет твоей женой. Когда она родит тебе сына, дух мой вернётся и вселится в вашего мальчика и ты назовёшь его Туру, как я называюсь Туру.

Ученик в изумлении слушал старика, не смея вставить слово, тонкий серебряный серп месяца поднялся высоко, его уже наполовину поглотили тучи. Души юноши, коснулось дивное предчувствие множества взаимосвязей и сплетений, повторимости перекрещивающихся вещей и явлений; дивным показалось ему, что он поставлен наблюдателем и даже участником того, что происходило на этом чуждом, ночном небе, где

над бескрайними лесами и холмами появился в точности предугаданный учителем острый, тонкий серп; дивным предстал перед ним и сам учитель, окружённый тысячей тайн, человек, думающий о собственной смерти, чей дух улетит на луну и вернётся назад, чтобы вновь вселиться в человека, и этим человеком будет его, Слуги, сын, который должен быть назван именем покойного учителя. Дивно раскрылось перед ним будущее, местами прозрачное, как это облачное небо, раскрылась перед ним вся судьба его, и то, что её можно предвидеть, назвать, говорить о ней, как бы позволило ему заглянуть в необозримые просторы, полные чудес и всё же подчинённые твёрдому порядку. На мгновение ему почудилось, будто всё можно объять духом, всё познать, всё услышать: и безмолвный, точный ход светил наверху, и жизнь людей и животных, их общность и вражду, столкновения и схватки, и всё великое и малое, вместе с заключённой в каждом живом существе смертью, — всё это он увидел или постиг в первом трепетном предчувствии единого целого, увидел и себя самого, включённого в это целое, как нечто, подчинённое порядку, управляемое определёнными законами, доступное пониманию. Первое предчувствие великих тайн, их

значения и глубины, а также возможности их постижения коснулось юноши словно невидимой рукой в этой предрассветной лесной прохладе, на скале, вздымающейся над тысячами шелестящих древесных вершин. Он не смог бы выразить этого словами ни тогда, ни потом, всю свою жизнь, но мыслями он возвращался к этому часу много раз; более того, в дальнейшем его обучении и опыте тот миг и всё пережитое тогда постоянно ему сопутствовали. «Не забывай, — взывал к нему внутренний голос, — не забывай, что всё это существует, что между луной и тобой, и Туру, и Адой возникают лучи и токи, что существует смерть, и страна душ, и возвращение оттуда, что на все явления и образы жизни ты найдёшь ответ в глубине своего сердца, что тебе до всего должно быть дело, что ты обо всём должен знать ни капли не меньше, чем посильно знать человеку». Так примерно говорил этот голос. Слуга впервые услышал голос духа, познал его манящее искушение, его требовательность, его магический зов. Не раз он видел, как странствует по небу луна, не раз доносился до него крик совы, а из уст учителя, при всей его молчаливости, не раз слышал он слова — плод древней мудрости и одиноких раздумий, — но теперь, в этот ночной

час, всё было по-новому, по-иному: его осенило предчувствие целого, общей взаимосвязи и взаимоотношений, порядка, втянувшего и его в свою орбиту, возложившего ответственность и на него. Кто овладеет ключом к этим тайнам, тот должен уметь не только отыскать зверя по следу, распознать растение по корню или семени, он должен уметь объять всю вселенную: небесные светила, духов, людей и зверей, целебные средства и яды, и по отдельным частям этого целого, по отдельным его признакам уметь воссоздать другие его части. Бывают хорошие охотники, они по следу, по помёту, по шерстинке узнают больше, чем любой другой; по нескольким волоскам они узнают не только, какой породы перед ним зверь, но стар он или молод, самка это или самец. Другие по форме облака, по запаху, носящемуся в воздухе, по особенным приметам поведения животных или растений за несколько дней вперёд предсказывают погоду; учитель Слуги был в этом искусстве недосягаем и почти никогда не ошибался. Бывают люди, одарённые врождённой ловкостью: некоторые мальчики с тридцати шагов попадали камнем в птицу, они этому не учились — им это удавалось безо всяких усилий; просто, благодаря волшебству или особому дару,

камень, брошенный их рукой, летел сам собой, куда надо, камень хотел попасть в птицу, птица хотела, чтобы в неё попал камень. Встречаются и люди, умеющие предсказывать будущее: умрёт больной или нет, родит беременная женщина мальчика или девочку; дочь родоначальницы славилась этим, говорили, что и заклинатель стихий владеет подобными познаниями. Следовательно, думалось Слуге в ту минуту, в необъятной сети сцеплений имеется какое-то средоточие, где всё известно, где можно увидеть и прочитать прошлое и будущее. К тому, кто стоит в этом средоточии, стекаются знания, как стекается вода в долину, как бежит заяц к капусте; слово того человека должно быть острым и разить так же безошибочно, как разит камень, брошенный самой меткой рукой; силой своего духа человек этот должен уметь соединить в себе все эти чудесные дарования и способности и заставить их служить себе: вот это был бы совершенный, мудрейший человек, и не было бы ему равных! Стать таким, как он, приблизиться к нему, вечно к нему стремиться — вот путь из всех путей, вот цель, вот что способно наполнить жизнь, придать ей смысл. Таковы примерно были ощущения Слуги, и как бы мы ни пытались выразить их

на нашем, неведомом ему, отвлечённом языке, ничто не в состоянии передать даже ничтожную долю охватившего его священного трепета и восторженности его чувств. Пробуждение среди ночи, путешествие по тёмному, безмолвному лесу, полному опасностей и тайн, ожидание на каменном выступе, наверху, в предрассветном холоде, появление тоненького, призрачного серпика луны, скупые слова мудрого старика, пребывание наедине с учителем в такой необычный час, — всё это Слуга пережил и запомнил как некую мистерию, как праздник посвящения, принятия его в некий союз, в некую религиозную общину, в подчинённое, но почётное положение по отношению к чему-то неизречённому, к мировой тайне. Это переживание или нечто подобное не могло воплотиться в мысль, а тем более в слово; и ещё более далёкой и невозможной, чем любая другая, была бы мысль: «Что это всё — моё собственное переживание или же объективная действительность? Испытывает ли учитель то же, что и я, или же он подсмеивается надо мной? Новы ли, присущи только мне, неповторимы ли эти мысли, связанные с моими переживаниями, или же учитель и ещё кто-нибудь до него пережил и передумал точно то же?» Нет, такого

расчленения, такой дифференциации не было, всё было вполне реально, всё было насыщено реальностью, будто тесто дрожжами. Облака, месяц, изменчивая картина неба, мокрый, холодный известняк под босыми ногами, зябкая, предрассветная сырость в белёсой мгле, уютный запах родного дома, очага и увядшей листвы, ещё державшийся в шкуре, в которую завернулся учитель, оттенок достоинства и слабый отголосок старости и готовности к смерти в его суровом голосе — всё это было более чем реально и чуть ли не насильственно пронизывало все чувства юноши. А для воспоминаний чувственные впечатления являются гораздо более питательной почвой, нежели самые совершенные системы и методы мышления.

Хотя заклинатель дождя принадлежал к немногим избранным, имевшим определённое занятие, хотя он достиг особого, доступного только ему искусства и уменья, внешне жизнь его мало отличалась от жизни остальных его сородичей. Он занимал высокое положение и пользовался почётом, получал свою долю добычи и вознаграждение от племени, когда работал для общины, но это бывало лишь в особых случаях. Его самой важной, ответственной, можно сказать, свя-

щенной миссией было определять весной день сева для всех видов плодов и растений; и строил он свои расчёты на пристальном изучении фаз луны, основываясь отчасти на унаследованных преданиях, отчасти на собственном опыте. Однако торжественная церемония начала сева — высеивание первой горсти семян в общинную землю — уже не входила в обязанности заклинателя дождя, такой чести не удостаивался ни один мужчина, даже самый почитаемый, это собственноручно делала каждый год родоначальница или одна из её ближайших родственниц. Самым значительным лицом в селении мастер становился в тех случаях, когда ему приходилось выступать в своей роли заклинателя погоды. Это происходило тогда, когда длительная засуха, ненастье или холод обрушивались на поля и угрожали племени голодом. В таких случаях Туру прибегал к средствам, способным победить засуху и недород: к жертвоприношениям, заклинаниям, молитвенным шествиям. Согласно преданию, если при упорной засухе или бесконечных дождях все остальные средства оказывались бессильными и духов не удавалось умилостивить ни уговорами, ни молениями, ни угрозами, прибегали к последнему, безошибочному средству,

которое, говорят, нередко применялось встарь во времена прародительниц: община приносила в жертву самого заклинателя. Рассказывали, будто нынешняя родоначальница сама ещё видела это своими глазами.

Помимо заботы о погоде, мастер оказывал и личные услуги отдельным людям: он заклинал духов, изготовлял амулеты, варил волшебные зелья, а в некоторых случаях, когда это не было исключительной привилегией родоначальницы, даже врачевал недуги. Но в остальном Туру вёл такую же жизнь, как все. Он помогал, когда приходила его очередь, обрабатывать общинную землю, а также развёл возле своей хижины собственный небольшой сад. Он собирал плоды, грибы, дрова и запасал их впрок. Он ловил рыбу, охотился, держал одну или двух коз. Как землепашец, он походил на всех остальных, но как охотник, рыболов, собиратель трав он не имел себе равных, тут он был одиночкой и гением, шла молва, будто он знает множество уловок, приёмов, секретов и вспомогательных способов, — некоторые были им подсмотрены у природы, другие похожи на волшебство. Говорили, будто ни одному зверю, попавшему в сплетённую им из ивовых прутьев ловушку, не выбраться из неё ни-

почём, будто он умеет придать наживке для рыб особую пахучесть и сладость, знает, как приманивать раков, кое-кто даже верил, что он понимает язык многих животных. Но подлинным его делом была всё-таки магическая наука: наблюдение за луной и звёздами, знание примет погоды, уменье предугадать погоду и рост посевов — словом, всё, что помогало ему в его магических действиях. Он был славен как знаток и собиратель тех видов растительного и животного царства, из которых можно было готовить целебные снадобья или яды, напитки, обладавшие волшебными свойствами, служившие благословением и защитой от всякой нечистой силы. Он умел отыскать и распознать любое растение, даже самое редкое, знал, где и когда оно цветёт и даёт семена, когда наступает пора выкапывать его корень. Он умел отыскать и распознать все виды змей и жаб, знал, куда употребить рога, когти, шерсть, копыта, знал толк во всевозможных искривлениях, уродствах, причудливых или страшных формах деревьев, в наплывах, утолщениях и наростах на их стволах, на листьях, зерне, орехах, рогах и копытах.

Слуге приходилось учиться не столько разумом, сколько чувствами, руками и ногами, зрением, осязанием, слухом и обонянием, да и Туру про-

свещал его больше своим примером и показом, нежели словами и наставлениями. Учитель вообще очень редко говорил что-нибудь связное, да и то слова были лишь попыткой сделать ещё более понятными его чрезвычайно красноречивые жесты. Ученье Слуги мало чем отличалось от ученья, которое проходит молодой охотник или рыбак у опытного мастера, и такое ученье доставляло мальчику большую радость, ибо он учился лишь тому, что уже было заложено в нём самом. Он учился подстерегать, подслушивать, подкрадываться, наблюдать, быть настороже, не поддаваться сну, обнюхивать и ощупывать; но дичью, которую он и его учитель выслеживали, были не только лисица или барсук, гадюки и жабы, птицы и рыбы, но дух, совокупность, смысл, взаимосвязь явлений. Определить, узнать, отгадать и предсказать смену и прихоти погоды, знать, в какой ягоде, в жале какой змеи таится смерть, подслушать тайну, связующую облака и ветры с фазами луны, влияющую на посевы и их рост, а также на благополучие и гибель человека и зверя, — вот к чему они стремились. При этом они ставили перед собой, собственно, ту же цель, какую стремились достичь в последующие тысячелетия наука и техника, то есть покорение

природы, уменье управлять её законами, но шли они к этому совершенно иными путями. Они не отделяли себя от природы и не пытались насильственно вторгаться в её тайны, они никогда не противопоставляли себя природе и не были ей враждебны, а всегда оставались частью её, всегда любили её благоговейной любовью. Быть может, они лучше её знали и обращались с нею более умно. Одно лишь было для них совершенно невозможно, даже в самых дерзновенных помыслах: подходить к природе и к миру духов без трепета, не чувствовать себя её слугами, а тем более ставить себя выше её. Подобное кощунство не могло бы прийти им в голову, и относиться к силам природы, к смерти, к демонам иначе, как со страхом, казалось им немыслимым. Страх тяготел над жизнью человека. Преодолеть его они были не в силах. Но чтобы смягчить его, держать в известных границах, перехитрить, скрыть, подчинить общему потоку жизни, существовала целая система жертв. Жизнь этих людей протекала под постоянным гнётом страха, и без этого тяжкого гнёта из их жизни ушёл бы ужас, но также и энергия. Кому удалось отчасти облагородить этот страх, превратив его в молитвенное преклонение, много выигрывали, люди такого склада,

люди, чей страх перерос в благочестие, были праведниками и просветителями своего века. Жертв приносили очень много и в самых различных формах, и принесение части этих жертв, как и исполнение связанных с ними обрядов, входило в круг обязанностей заклинателя погоды.

Рядом со Слугой в хижине подрастала маленькая Ада, прелестная девочка, любимое дитя отца, и, когда по его мнению, подоспело время, он отдал её своему ученику в жёны. Отныне Слугу считали подмастерьем заклинателя дождя. Туру представил его праматери селения как своего зятя и преемника и теперь разрешал ему иногда выполнять вместо себя некоторые церемонии и обязанности. Постепенно, по мере того как сменялись времена года и текли года, старый заклинатель дождя окончательно погрузился в присущую старцам созерцательность и передал зятю все свои обязанности, а когда он умер, — его нашли мёртвым у горящего очага, склонившимся над несколькими горшочками волшебного варева, с опалёнными седыми волосами, — его ученик Слуга уже давно был известен селению как заклинатель дождя. Слуга потребовал у старейшин селения, чтобы его учителя похоронили со всеми почестями и, как жертву, сжёг над его

могилой огромную охапку редчайших благовонных целебных трав и корней. И это всё миновало безвозвратно, а среди потомства Слуги, столь многочисленного, что хижина Ады давно стала тесной, был и мальчик, получивший имя Туру: в его облике старец возвратился из своего смертного путешествия на луну.

Со Слугой произошло то же, что в своё время с его учителем. Благочестие и духовность отчасти вытеснили в нём страх. Его юношеские порывы и глубокое страстное томление отчасти сохранились, отчасти постепенно отмирали или исчезали по мере того, как он старился в трудах, в любви и заботе об Аде и детях. По-прежнему он хранил в сердце самую большую любовь свою — любовь к луне — и продолжал усердно изучать луну и её влияние на времена года и перемены погоды; в этом искусстве он сравнялся со своим учителем Туру, а со временем даже превзошёл его. И поскольку нарождение, рост и постепенное исчезновение луны тесно связаны со смертью и рождением людей, поскольку из всех страхов, среди которых живёт человек, страх неизбежной смерти самый сильный, — Слуга, почитатель и знаток луны, вынес из своих тесных и живых связей с этим светилом освящённое и просветлённое

отношение к смерти: достигнув зрелого возраста, он не был столь подвержен страху смерти, как другие люди. Он мог благоговейно разговаривать с луной, порой умоляюще, порой нежно, он чувствовал, что его связывают с луной тесные духовные узы, близко знал её жизнь и принимал самое искреннее участие в её превращениях и судьбах; как мистическую тайну он переживал её уход и нарождение, сострадал ей и приходил в ужас, когда наступало страшное и луне угрожали болезни и опасности, превратности и ущерб, когда она теряла блеск, меняла цвет, темнела до того, что, казалось, вот-вот угаснет. В такие дни, правда, все принимали участие в судьбах луны, трепетали за неё, чувствовали угрозу и близость беды, с тревогой вглядывались в её помрачневший, старый и больной лик. Но именно тогда сказывалось, что заклинатель дождя Слуга теснее связан с луной и больше знает о ней, чем другие; и он тоже сострадал её судьбе, и у него тоже тоскливо теснило грудь, но его воспоминания о подобных происшествиях были точнее и ярче, доверие — более оправданным, вера в вечность и круговорот событий, в возможность преодоления смерти и победы над нею — более незыблемой; глубже была и его самоотдача: в такие часы он

испытывал готовность разделить судьбу светила вплоть до гибели и нового рождения, временами он даже чувствовал в себе какую-то дерзость, какую-то отчаянную отвагу и решимость бросить смерти вызов, противопоставить ей дух, утвердить своё «я», доказав преданность сверхчеловеческим судьбам. Иногда это выражалось в его поведении и делалось заметным даже для посторонних: он слыл мудрым и благочестивым, человеком великого спокойствия, мало боявшимся смерти, состоявшим в дружбе с высшими силами.

Порою эти его способности и добродетели подвергались суровой проверке. Однажды ему пришлось бороться с неурожаем и дурной погодой, длившейся два года, это было тягчайшее испытание за всю его жизнь. Напасти и дурные предзнаменования начались уже во время сева, который пришлось дважды откладывать, а затем на всходы посыпались все мыслимые удары и беды, в конце концов почти полностью их уничтожившие; община жестоко голодала, и Слуга вместе со всеми; и то, что он пережил этот страшный год, что он, заклинатель дождя, не утратил всякое доверие и влияние, а смог помочь своему племени перенести это несчастье смиренно, не

потеряв окончательно самообладания, — уже значило много. Когда же на следующий год, после суровой, отмеченной многими смертями зимы, возобновились все горести и лишения прошедшего года, когда общинная земля высохла и потрескалась от упорной летней засухи, когда несметно расплодились мыши, а одинокие моления и жертвоприношения заклинателя дождя были напрасными и остались без ответа, так же как совместные моления, бой барабанов, молитвенные шествия всей общины, когда с беспощадной ясностью стало очевидно, что заклинатель дождя и на сей раз бессилен вызвать дождь, — это было уже не шуткой, и только такой необыкновенный человек, как он, мог взять на себя всю ответственность и не сломиться перед напуганным и взбудораженным народом. В течение двух или трёх недель Слуга оставался совсем один, на него ополчилась вся община, ополчились голод и отчаяние, и все вспомнили о старом поверье, будто смягчить гнев высших сил можно, только принеся в жертву самого заклинателя погоды. Он победил своей уступчивостью. Он не оказал никакого сопротивления, когда возникла мысль о принесении его в жертву, он даже сам предлагал пойти на это. К тому же, он

с неслыханным упорством и самопожертвованием старался облегчить тяготы племени, не переставал отыскивать новые источники воды: то родничок, то углубление, наполненное водой, не допустил, чтобы в самые тяжёлые дни уничтожили весь скот, а главное — своей поддержкой, советами, угрозами, волшебством и молениями, собственным примером и устрашением — не дал тогдашней родоначальнице селения, дряхлой женщине, впавшей в пагубное отчаяние и душевную слабость, сломиться духом и безрассудно пустить всё по течению. Тогда-то стало ясно, что во дни смут и великих тревог человек может принести тем больше пользы, чем больше его жизнь и мысль направлены на духовные, сверхличные цели, чем лучше он умеет подчиняться, созерцать, молиться, служить и жертвовать собой. Эти два страшных года, едва не сделавших его жертвой, едва не погубивших его, принесли ему в конце концов величайшее признание и доверие, и не только среди толпы непосвящённых, но и среди немногих, несущих ответственность, тех, кто в состоянии был оценить человека такого склада, как Слуга.

Так через эти и разные другие испытания текла жизнь Слуги. И вот он достиг зрелого возраста и

теперь находился в зените жизни. Он похоронил на своём веку двух родоначальниц племени, потерял прелестного шестилетнего сыночка, которого унёс волк, превозмог без чьей-либо помощи тяжёлую болезнь, исцелив себя сам. Не раз страдал он от голода и холода. Всё это оставило следы на его лице и не менее глубокие — в душе. Он познал также на собственном опыте, что люди духа вызывают у остальных своего рода неприязнь и отвращение, что их почитают, правда, на расстоянии, и в случае нужды прибегают к их помощи, но отнюдь не любят, не считают себе равными и стараются их избегать. Он убедился также в том, что больные и обездоленные гораздо охотнее воспользуются перешедшими по наследству или вновь придуманными волшебными заговорами и заклятиями, нежели примут разумный совет, что человек готов скорее терпеть бедствия и притворно каяться, нежели измениться внутренне, а тем паче попытаться себя переделать, что он скорее поверит в волшебство, чем в разум, в заклинания, чем в опыт: всё это обстоятельства, которые за последующие тысячелетия, пожалуй, изменились не настолько, как это утверждают иные исторические труды. Но Слуга понял также, что человек пытливый,

человек духа не должен утрачивать чувство любви; что он должен относиться к желаниям и слабостям людей без высокомерия, хотя и не подчиняться им, что от мудреца до шарлатана, от священника до фокусника, от человека, оказывающего братскую помощь, до корыстолюбивого бездельника — всего один шаг, что люди, в сущности, охотнее платят шарлатану, дают обмануть себя базарному зазывале, чем принимают бескорыстную помощь, не требующую вознаграждения. Они не любят платить доверием и любовью, предпочитая рассчитываться деньгами и добром. Они обманывают других и сами ожидают обмана. Надо было научиться видеть в человеке существо слабое, себялюбивое и трусливое, но в то же время необходимо было признать, что и тебе присущи эти дурные черты и инстинкты, а также верить, верить всей душой, что в человеке живёт также дух и любовь, нечто, противоборствующее инстинктам и стремящееся их облагородить. Эти мысли изложены здесь, конечно, более ясно, сформулированы более чётко, нежели способен был бы сделать Слуга. Скажем только: он был на пути к этим мыслям, его путь вёл к ним и далее — через них.

Идя по этому пути, тоскуя по мысли, но живя

более в мире чувственном, околдованный луной, ароматом цветка, соком корня, вкусом коры, выращивая целебные травы, приготовляя мази, подчиняясь погоде и явлениям атмосферы, он выработал в себе некоторые способности, в том числе такие, которыми мы, потомки, уже не обладаем и которых теперь даже вполовину не понимаем. Важнейшей из этих способностей, конечно, было заклинание дождя. Хотя были особые случаи, когда небо оставалось к нему жестоким и безжалостно издевалось над его усилиями, Слуга всё же сотни раз вызывал дождь и почти каждый раз несколько иным способом. Правда, в церемонию жертвоприношений, в ритуал молитвенных шествий, заклинаний, в барабанную музыку он не осмеливался вносить никаких изменений или что-нибудь пропускать. Но ведь это была лишь официальная, открытая для всех часть его деятельности, её служебная и жреческая показная сторона; и конечно, это было изумительное зрелище, внушавшее прекрасные, возвышенные чувства, когда вечером, после дневных жертвоприношений и процессий, небеса сдавались, горизонт покрывался тучами, ветер приносил запахи влаги и падали первые капли дождя. Но здесь-то и требовалось искусство

заклинателя, надо было правильно выбрать день, а не стремиться напролом к недостижимому; приходилось умолять силы небесные, даже докучать им, но всё это с чувством меры, выражая покорность их воле. И гораздо дороже, чем эти прекрасные, праздничные свидетельства успеха и милости богов, были ему другие переживания, о которых никто, кроме него, не знал, да и он воспринимал их с робостью и не столько своим разумом, сколько чувствами. Иногда бывали такие состояния погоды, такая напряжённость воздуха и тепла, облачности и ветров, такие запахи воды, земли и пыли, такие угрозы или обещания, причуды и капризы демонов погоды, которые Слуга предчувствовал и ощущал всей своей кожей, волосами, всеми своими чувствами, и потому ничто не могло ни поразить, ни разочаровать его, он впитывал в себя погоду и носил её в себе так глубоко, что уже был в силах повелевать тучами и ветром: конечно, не по своему произволу, не по своему усмотрению, а именно вследствие этого союза с природой и связанности с нею, которая совершенно стирала грань между ним и всем миром, между внутренним и внешним. В такие минуты он мог самозабвенно стоять на месте и слушать, самозабвенно замирать на

корточках и не только чувствовать всеми порами тела каждое движение воздуха и облаков, но и управлять ими и воссоздавать их, подобно тому как мы можем пробудить в себе и воспроизвести хорошо знакомую музыкальную фразу. И тогда, стоило лишь ему задержать дыхание, как ветер или гром смолкали, стоило ему склонить голову или покачать ею, как начинал сыпать или прекращался град, стоило выразить улыбкой примирение борющихся сил в собственной душе, как наверху разглаживались складки облаков, обнажая прозрачную, чистую синеву. Порою, будучи в состоянии особенно ясной просветлённости и душевного равновесия, он ощущал в себе погоду ближайших дней, предвидел её точно и безошибочно, словно в крови у него была запечатлена вся партитура, по которой она должна разыграться. То были самые лучшие дни его жизни, в них были его награда, его блаженство.

Когда же эта сокровенная связь с внешним миром нарушалась, когда погода и весь мир становились чужды, непонятны, чреваты неожиданностями, тогда и в его душе рушился порядок и прерывались токи, тогда он чувствовал, что он — не подлинный заклинатель дождя, а работу свою и ответственность за погоду и урожай

воспринимал как тяжкое бремя и обман. В такие дни он любил сидеть дома, слушался Аду и помогал ей, прилежно занимался домашними делами, мастерил детям инструменты и игрушки, возился с изготовлением снадобий, испытывал потребность в любви и желание как можно меньше отличаться от прочих людей, полностью подчиняться обычаям и нравам племени и даже выслушивал неприятные ему в другое время пересуды жены и соседок о жизни, самочувствии и поведении других людей. В счастливые дни его мало видели дома, он подолгу бродил под открытым небом, ловил рыбу, охотился, искал коренья, лежал в траве или забирался на дерево, вдыхал воздух, прислушивался, подражал голосам зверей, разжигал маленькие костры, чтобы сравнить клубы дыма с формой облаков на небе, пропитывал волосы и кожу туманом, дождём, воздухом, солнцем или лунным светом, попутно собирая, как это делал всю свою жизнь его предшественник и учитель Туру, такие предметы, в которых суть и внешняя форма, казалось, принадлежали к различным сферам, в которых мудрость или каприз природы слово приоткрывали свои правила игры и тайны созидания, предметы, в которых самое отдалённое сливалось воедино,

к примеру, наросты на сучьях, похожие на лица людей и морды животных, отшлифованную водой гальку с узором, напоминающим разрез дерева, окаменелые фигурки давно исчезнувших животных, уродливые или сдвоенные косточки плодов, камни в форме почки или сердца. Он умел прочитать рисунок жилок на древесном листке, сетку линий на морщинистой шляпке сморчка, прозревая при этом нечто таинственное, одухотворённое, грядущее, возможное: магию знаков, предвестие чисел и письмён, претворение бесконечного, тысячеликого в простое — в систему и понятие. Ибо в нём были заложены все эти возможности постижения мира с помощью духа, возможности, пока ещё безымянные, не получившие названия, но отнюдь не неосуществимые, не немыслимые, пока ещё скрытые в зародыше, в почке, но свойственные ему, органически в нём растущие. И если бы мы могли перенестись ещё на несколько тысячелетий назад, до того, как жил этот заклинатель дождя, времена которого кажутся нам теперь ранними и первобытными, мы бы и тогда — таково наше твёрдое убеждение — уже в первом человеке встретили бы дух, тот дух, что не имеет начала и извечно содержал в себе то, что он сумел создать в позднейшие

времена.

Заклинателю стихий не было суждено увековечить хотя бы одно из своих предвидений и хотя бы приблизительно доказать его, да он навряд ли в этом нуждался. Он не изобрёл ни письменности, ни геометрии, ни медицины, ни астрономии. Он остался безвестным звеном в цепи, но столь же необходимым, как всякое звено: он передал дальше то, что воспринял от предков, присовокупив к этому то, что приобрёл и чего добился сам. Ибо и у него были ученики. Много лет он готовил двоих к должности заклинателя стихий, и из них один стал впоследствии его преемником.

Долгие годы он занимался своим ремеслом в полном одиночестве, и когда впервые — это было вскоре после тяжёлого неурожая и голода — возле него появился юноша, начал ходить к нему, наблюдать за ним, оказывать ему всяческий почёт и следовать за ним по пятам, один из тех, кого он позднее должен был сделать заклинателем дождя и учителем, у него странно, тоскливо дрогнуло сердце, ибо он вернулся памятью к самому глубокому переживанию своей юности и тут впервые испытал зрелое, суровое, одновременно теснящее грудь и живительное чувство: он понял, что юность миновала, что середина пути

пройдена, цветок превратился в плод. И отнёсся он к юноше, хотя сам ранее не считал этого возможным, точно так же, как в своё время отнёсся к нему старый Туру, и эта неприступность, эта сдержанность, это выжидание получались сами собой, совершенно инстинктивно, а не были подражанием старому кудеснику, и вытекали они отнюдь не из тех нравственных или воспитательных соображений, что молодого человека-де надо долго испытывать, достаточно ли он серьёзен, что никому нельзя облегчать путь к посвящению в тайну, но, напротив, следует сделать его как можно более тернистым и тому подобное. Нет, просто Слуга вёл себя по отношению к своим ученикам так же, как любой начинающий стареть человек, привыкший к одиночеству, как любой учёный чудак вёл бы себя по отношению к своим почитателям и последователям: застенчиво, робко, отстраняясь от них, боясь лишиться своего прекрасного одиночества и свободы, своих прогулок по лесной чаще, возможности без помех охотиться, бродить, собирать, что попадёт под руку, мечтать, прислушиваться, хранить ревнивую привязанность ко всем привычкам и любимым занятиям, к своим тайнам и раздумьям. Он нисколько не поощрял робкого юношу,

приближавшегося к нему с восторженным любопытством, отнюдь не помогал ему преодолеть робость, не подбадривал, не считал его появление радостью и наградой, признанием или дорогим для себя успехом: наконец, мол, мир направил к нему посланца, знак любви, кто-то добивается его внимания, кто-то предан и близок ему и, подобно ему, видит своё призвание в служении тайнам природы. Нет, вначале он воспринял это появление как досадную помеху, как посягательство на его права и привычки, как попытку лишить его независимости, которую он, как только сейчас в этом убедился, горячо любил; он противился этому вторжению, и не было предела изобретательности, с какой он старался перехитрить, спрятаться, замести следы, уклониться от встречи, ускользнуть. Но и тут повторилось то же, что в своё время произошло с Туру: долгое, молчаливое домогательство юноши мало-помалу размягчило его сердце, постепенно подточило и ослабило его сопротивление, и он сам, по мере того как в юноше росла уверенность, неспешно поворачивался к нему лицом и раскрывался, он уже готов был идти навстречу его настойчивым желаниям и признал в этой новой для себя и столь обременительной, обязанности — растить

и направлять ученика — неизбежность, предопределённую судьбой, приказ духа. Всё дальше и дальше отлетала его мечта о наслаждении неисчерпаемыми возможностями, многоликим будущим. Вместо мечты о бесконечном развитии, о суммировании всей мудрости, рядом с ним появился ученик, маленькая, близкая и требовательная реальность, вторгшийся в его жизнь нарушитель спокойствия, которого не прогонишь, от которого не избавишься, единственный путь в реальное будущее, единственный важнейший долг, единственная узкая тропа, идя по которой заклинатель дождя только и мог сохранить от тления свою жизнь, свои дела, помыслы и предчувствия, ибо, только вдохнув жизнь в новую маленькую почку, можно продлить и свою жизнь. Со вздохом, со скрежетом зубовным, с улыбкой возложил он на себя это бремя.

Но и в этой важной, быть может, самой ответственной сфере своей деятельности — в дальнейшей передаче накопленного и в воспитании преемника — заклинатель дождя не избежал очень тяжкого и горького опыта и разочарования. Первый юноша, добивавшийся его благосклонности и ставший после долгого ожидания и препятствий учеником Слуги, звался Маро,

и он-то принёс учителю разочарование, которого тот так и не смог никогда преодолеть до конца. Юноша был угодлив и льстив и долгое время разыгрывал беспрекословное послушание, но ему многого не хватало, прежде всего, мужества: он боялся, например, ночи и темноты, что всячески старался скрыть, а Слуга, уже после того как обнаружил это, ещё долгое время считал остатком ребячества, которое со временем пройдёт. Но оно не проходило. Кроме того, у этого ученика полностью отсутствовал дар самозабвенно и бескорыстно отдаваться наблюдениям, исполнению своих обязанностей и обрядов, размышлениям и догадкам. Он был умён, обладал ясным, быстрым разумом, и тем, чему можно было научиться без самоотдачи, он овладевал легко и уверенно. Но чем дальше, тем больше обнаруживалось, что постичь искусство заклинателя дождя он стремился из себялюбивых побуждений и целей. Превыше всего ему хотелось что-то значить, играть роль, производить впечатление. Ему свойственно было тщеславие человека одарённого, но не призванного. Он гнался за успехом, хвалился перед своими сверстниками вновь обретёнными познаниями и искусством — и это могло быть ребячеством и с годами исчезнуть. Но он искал не

только успеха, он стремился к власти над другими и к выгоде: когда учитель начал это замечать, он ужаснулся и постепенно отвратил от него своё сердце. Уже после того, как юноша несколько лет пробыл в обучении у Слуги, он два или три раза был изобличён в тяжких провинностях. Поддавшись соблазну, он самовольно, без ведома и разрешения учителя, брался за вознаграждение то врачевать больного ребёнка снадобьями, то заклинаниями изгонять крыс из чьей-либо хижины, и поскольку его, невзирая на все угрозы и обещания, не раз ловили на таких проступках, мастер исключил его из числа своих учеников, сообщил о происшедшем родоначальнице и постарался вычеркнуть неблагодарного и недостойного молодого человека из памяти.

Впоследствии его вознаградили два других его ученика, в особенности второй, его собственный сын Туру. Этого последнего и самого юного из своих учеников он любил больше всех других, по его мнению, из сына могло выйти нечто более значительное, чем он сам, ибо в мальчика, совершенно очевидно, переселился дух его деда. Слуга испытывал укреплявшую его дух радость оттого, что ему удалось передать всю совокупность своего опыта и веры будущему, и оттого, что с ним

рядом находился человек, бывший вдвойне его сыном, которому он мог в любой день передать свою должность, когда ему самому она станет не под силу. Но своего первого, неудавшегося ученика ему не удалось всё же окончательно изгнать из своей жизни и из своих мыслей, тот стал в деревне если и не слишком почитаемым, то многими весьма любимым и не лишённым влияния человеком, женился, забавлял людей как своего рода фигляр и шут, стал даже главным барабанщиком в хоре барабанщиков и оставался при этом тайным недругом и завистником заклинателя дождя, нанося ему не раз мелкие и даже крупные обиды. Слуга никогда не тяготел к друзьям, к обществу людей, ему нужны были одиночество и свобода, он никогда не старался заслужить уважение или любовь кого-либо, разве что ещё мальчиком — мастера Туру. Но теперь он почувствовал, что значит иметь врага и ненавистника; не один день его жизни был отравлен из-за этого.

Маро принадлежал к тому роду учеников, к тем очень одарённым юношам, которые, при всей своей одарённости, во все времена были крестом и мукой своих наставников, ибо талант у них — не растущая из глубины, прочно

укоренившаяся органическая сила, не тонкое, облагораживающее впечатление доброй натуры, хорошей крови и хорошего характера, но как бы нечто наносное, случайное, прямо-таки узурпированное или уворованное. Ученик, обладающий ничтожным характером, но высоким умом или блестящей фантазией, неизбежно ставит учителя в затруднительное положение: он должен передать этому ученику унаследованные им знания и методы их изучения, приобщить его к жизни духовной, а между тем чувствует, что его подлинный, высший долг состоит именно в охране наук и искусств от домогательств людей, не более чем одарённых; ибо не ученику должен служить наставник, но оба они — духу. Вот причина, почему учителя испытывают робость и страх перед некоторыми ослепляющими талантами; каждый такой ученик искажает весь смысл служения воспитателя. Выдвижение каждого ученика, способного лишь блистать, но не служить, в сущности, наносит вред этому служению, в какой-то степени является предательством по отношению к духу. Мы знаем периоды в истории некоторых народов, когда, при глубочайшем потрясении духовных основ, такие «не более чем одарённые» бросаются на штурм руководящих постов в об-

щинах, школах, академиях, государствах, и хотя на всех постах оказываются высокоталантливые люди, но все они хотят руководить и никто не умеет служить. Распознать вовремя такого рода таланты, ещё до того, как они успели завладеть фундаментом интеллектуальных профессий, заставить их со всей необходимой твёрдостью свернуть на путь неинтеллектуальных занятий бывает, конечно, порой очень трудно. Так и Слуга совершил ошибку; он слишком долго терпел своего ученика Маро, он уже успел отчасти посвятить легкомысленного честолюбца в некоторые тайны, и сделал это напрасно. Последствия оказались для него лично более пагубными, нежели он мог предвидеть.

Наступил год, — борода Слуги к тому времени уже изрядно посеребрилась, — когда демоны необычайной силы и коварства сместили и нарушили равновесие между небом и землёй. Эти нарушения начались осенью, страшные и величественные, потрясая души до основания, сжимая их страхом, показывая невиданное доселе зрелище неба, вскоре после осеннего солнцестояния, которое заклинатель дождя всегда наблюдал и воспринимал с некоторой торжественностью, благоговением и особым вниманием. Опустился

вечер, лёгкий, ветреный, довольно прохладный, небо было прозрачно-льдистым, лишь несколько беспокойных тучек скользили на огромной высоте, необычайно долго задерживая на себе розовый отсвет закатившегося солнца: торопливые, косматые, пенистые пучки света в холодной, бледной пустыне неба.

Слуга уже несколько дней наблюдал и ощущал нечто более яркое и примечательное, чем всё, что ему доводилось видеть каждый год в эту пору, когда дни начинали становиться короче, — брожение стихий в небесных просторах, тревогу, охватившую землю, растения и животных, какое-то беспокойство, зыбкость, ожидание, страх и предчувствие во всей природе, какое-то смятение в воздухе; и эти долго и трепетно вспыхивающие в тот вечерний час тучки, их неверное порхание, не совпадающее с ветром, дующим на земле, их молящий о чём-то, долго и печально борющийся с угасанием алый отблеск, его охлаждение и исчезновение, после чего вдруг и тучки таяли во мгле. В селении всё было спокойно, гости и дети, слушавшие рассказы родоначальницы возле её хижины, давно разбрелись, лишь несколько мальчишек ещё возились и бегали, догоняя друг друга, все остальные давно поужинали и сиде-

ли у своих очагов. Многие уже спали, вряд ли кто-нибудь, кроме заклинателя дождя, наблюдал закатные багряные облака. Слуга ходил взад и вперёд по небольшому садику позади своей хижины и размышлял о погоде, взволнованный и неспокойный, время от времени присаживаясь на минуту отдохнуть на чурбан, стоявший среди зарослей крапивы и предназначенный для колки дров. Когда в облаках угас последний луч, в ещё светлом, зеленоватом небе внезапно ясней обозначились звёзды, всё ярче разгорались они, всё больше появлялось их на небосводе; там, где только что было две-три, сейчас уже проступило десять, двадцать. Многие из этих звёзд и созвездий были знакомы заклинателю дождя, он видел их сотни раз; в их неизменном возвращении было нечто успокоительное, отрадное; холодные и далёкие, они, правда, не излучали тепла, но незыблемые, всегда на своих местах, они провозглашали порядок, обещали постоянство. Такие, казалось бы, отдалённые и чуждые жизни земной, жизни человека, такие на неё непохожие, такие недосягаемые для людской теплоты, трепета, страданий и восторгов, они возвышались над этой жизнью в своём холодном, презрительном величии, в своей вечности, и всё же они связаны

с нами, быть может, руководят и правят нами, и, если отдельные люди когда-либо достигают вершин знаний, духовных высот, уверенности и превосходства духа над всем преходящим, они уподобляются звёздам, сияют, как они, в холодном спокойствии, утешают своим холодным мерцанием, вечные и слегка насмешливые. Так нередко чудилось заклинателю дождя, и, хотя он не был прикован к звёздам столь тесными узами, волнующими и проверенными в постоянных коловращениях, как к луне, этому великому, близкому, влажному светилу, этой жирной чудо-рыбе в небесном море, он всё же глубоко преклонялся перед звёздами и был связан с ними многими верованиями. Подолгу всматриваясь в них, ощущая на себе их влияние, доверяя свой ум, своё сердце, свои страхи их спокойным, холодным взорам, он словно окунался в воду, словно припадал к волшебному напитку.

И сегодня они, как всегда, взирали на него, но только чрезмерно яркие, будто отшлифованные, вися в колючем, разреженном воздухе, но он не находил в себе обычного спокойствия, чтобы предаться им; из неизведанных просторов к нему тянулась некая сила, впиваясь болью во все поры, высасывала глаза, давила на него без-

молвно и неизбывно, будто поток, будто далёкий, предостерегающий гул. Рядом в хижине тускло тлел слабый, красноватый огонь в очаге, текла маленькая, тёплая жизнь, раздавался возглас, смех, зевок, пахло человеком, тёплой кожей, материнской любовью, младенческим сном, и близость этой простодушной жизни делала павшую на землю ночь ещё чернее, отбрасывала звёзды ещё дальше, в непостижимую, бездонную глубь и высоту.

И в тот миг, когда Слуга прислушивался к голосу Ады, которая баюкала в хижине ребёнка, напевала и бормотала что-то своим мелодичным голосом, в небе начался катаклизм, который селение помнило потом долгие годы. В неподвижной, блестящей сети звёзд то тут, то там стали появляться мерцающие вспышки, словно невидимые до сих пор нити этой сети вдруг воспламенилось; ярко загораясь и тотчас же угасая, отдельные звёзды, будто брошенные камни, наискось пересекали небесные просторы, тут одна, там две, и ещё несколько, и не успела исчезнуть из глаз первая падающая звезда, не успело сердце, окаменевшее от этого зрелища, забиться вновь, как уже замелькали в небе, догоняя друг друга, падающие либо бросаемые пригоршнями звёзды, косо или

по слегка изогнутой кривой; десятками, сотнями, бесчисленными стаями мчались они, будто влекомые немотной бурей, сквозь молчаливую ночь, словно осень вселенной сорвала с небесного древа увядшие листья и беззвучно гонит их далеко, в небытие. Будто увядшие листья, будто несущиеся в пространстве снежинки, они летели тысячами в зловещей тишине вниз и вдаль и исчезали за лесистыми горами на юго-востоке, куда ещё никогда, сколько помнят люди, не закатывалась ни одна звезда, и низвергались куда-то в бездну.

С застывшим сердцем, с пылающими глазами стоял Слуга, вобрав голову в плечи, испуганным, но ненасытным взором впившись в преображённое, заколдованное небо, не веря своим глазам и всё же твёрдо уверенный, что происходит нечто страшное. Подобно всем, кому явилось это ночное видение, ему казалось, что и давно знакомые звёзды заколебались, разлетались во все стороны и падали у него на глазах, и он ждал, что небесный свод, если не поглотит его земля, вскоре предстанет перед ним чёрный и опустошённый. Через короткое время он, правда, понял то, чего не дано было понять другим: знакомые звёзды тут, и там, и повсюду оставались на своих местах, звёздный вихрь бешено метался не среди старых

известных звёзд, а в пространстве между небом и землёй, и эти падающие или брошенные новые огни столь же молниеносно появлялись, как и гасли, и горели они пламенем несколько иного оттенка, нежели старые, настоящие звёзды. Это утешило Слугу и помогло ему овладеть собой, но, хотя звёзды, которые вьюгой неслись по небосводу, были новые, непостоянные, какие-то другие звёзды, они, страшные, злобные, всё равно предвещали несчастье и смятение, и глубокие вздохи вырывались из его пересохшего горла. Он смотрел на землю, прислушивался к звукам вокруг, чтобы узнать, один ли он стал свидетелем этого призрачного зрелища или его видели и другие. Вскоре до него стали долетать из соседних хижин стоны, рыдания, крики ужаса; стало быть, и остальные это увидели, они громко оповещали других, подняли тревогу среди спящих, не подозревавших беды, ещё минута — и страх, паника охватят всё селение. Слуга глубоко вздохнул: его, заклинателя дождя, эта беда касалась прежде всего, — его, ибо он в какой-то мере отвечал за порядок в небесах и в воздухе. До сих пор он заранее предугадывал и предчувствовал великие бедствия: наводнения, градобития, сильные бури; он всегда подготовлял и предостерегал родоначаль-

ницу и старейшин, предотвращая наихудшее, и благодаря своим знаниям, своему мужеству, своему доверию к высшим силам помогал справиться с отчаянием. Почему же он на сей раз ничего не предвидел, ничем не распорядился? Почему он ни с одним человеком не поделился смутным, пугающим, томившим его предчувствием?

Он приподнял полог у входа в хижину и тихо позвал жену. Она вышла, держа у груди младшего ребёнка, он отнял у неё малыша и положил его на соломенную подстилку, потом взял Аду за руку, приложил к губам палец, давая понять, чтобы она молчала, вывел её из хижины и увидел, как её всегда терпеливое, спокойное лицо сразу исказилось от ужаса.

— Пусть дети спят, они не должны этого видеть, слышишь? — прерывисто зашептал он. — Не выпускай никого, даже Туру. И сама сиди дома. Он поколебался, не уверенный, сколько он вправе сообщить ей, какими мыслями поделиться, потом твёрдо добавил:

— С тобой и с детьми ничего не случится худого. Она ему поверила сразу, хотя только что пережитый страх ещё не покинул её.

— Что случилось? — спросила она, не глядя на него и подняв глаза к небу. — Что-нибудь страш-

ное, да?

— Да, страшное,– ответил он мягко, — я думаю, что в самом деле очень страшное. Но это не коснётся ни тебя, ни малышей. Не выходите из хижины, пусть полог будет плотно закрыт. Мне надо пойти к людям, поговорить с ними. Ступай, Ада!

Он подтолкнул её к входу в хижину, тщательно задёрнул полог, постоял ещё несколько мгновений, обратившись лицом к звёздному ливню, который всё не прекращался, потом ещё раз тяжело вздохнул и быстрыми шагами зашагал во мраке в сторону селения, к хижине родоначальницы.

Здесь уже собралось полдеревни, стоял приглушённый гул, все оцепенели, онемели от страха, подавленные ужасом и отчаянием. Были здесь мужчины и женщины, которые отдавались ощущению ужаса и близкой гибели с особого рода бешенством и сладострастием; они стояли, словно одержимые, окаменев на месте, или же неистово размахивали руками и ногами, у одной на губах выступила пена, она отплясывала в одиночку какой-то горестный и в то же время непристойный танец, вырывая у себя при этом целые космы длинных волос. Слуга видел: уже началось, почти

все они были уже во власти дурмана, падающие звёзды свели их с ума, казалось, вот-вот вспыхнет оргия безумия, ярости и самоуничтожения, нужно, не теряя ни минуты, собрать вокруг себя горстку мужественных и благоразумных людей и поддержать их дух. Дряхлая родоначальница хранила спокойствие; она полагала, что наступил конец всему, но не оборонялась и шла навстречу судьбе с каменным, жёстким, почти насмешливым лицом, застывшим в неподвижной гримасе. Слуге удалось заставить старуху выслушать его. Он старался убедить её, что старые, всегда пребывавшие в небе звёзды по-прежнему на месте, но это не доходило до её сознания, то ли потому, что глаза её уже потеряли зоркость, то ли потому, что её представления о звёздах и отношение к ним сильно разнилось от представлений заклинателя дождя, и они не могли понять друг друга. Она качала головой, храня на лице свою неустрашимую насмешливую гримасу. Но когда Слуга стал молить её не бросать на произвол судьбы этих людей, обуянных страхом и злыми демонами, она тотчас же с ним согласилась. Вокруг неё и заклинателя дождя объединилась небольшая кучка людей, испуганных, но не обезумевших от страха, готовых повиноваться Слуге.

Ещё за минуту до этого Слуга надеялся, что ему удастся победить общее волнение своим примером, разумом, словом, разъяснением и советами. Но уже из недолгой беседы с родоначальницей он понял, что пришёл слишком поздно. Он надеялся приобщить своих сородичей к своему переживанию, передать его им в дар, чтобы и они в нём участвовали, он надеялся мудрым словом заставить их понять прежде всего, что не сами звёзды, во всяком случае не все падают с неба и уносятся мировым вихрем, надеялся помочь им тем самым, перейдя от беспомощного страха к деятельному наблюдению, одолеть потрясший их ужас. Но во всём селении, как он скоро убедился, лишь очень немногие ещё были доступны его влиянию, и пока он будет их уговаривать, остальные окончательно впадут в безумие. Нет, здесь, как это нередко бывает, не достичь ничего с помощью рассуждений и мудрых слов. К счастью, имелись и другие средства. Если было невозможно разогнать смертельный страх, осветив его светом разума, то можно было дать этому смертельному страху направление, организовать его, придать ему форму, лицо и превратить это безнадёжное столпотворение в некое твёрдое единство, слить разрозненные, дикие,

беспорядочные голоса в хор. Слуга тут же взялся за дело, и придуманное им средство возымело своё действие. Он встал перед людьми и начал выкрикивать знакомые всем слова молитвы, какой обыкновенно открывались траурные или покаянные собрания: погребальный плач по скончавшейся родоначальнице, праздник жертвоприношения или покаяние в случае грозившей всему племени опасности, вроде повальной болезни или наводнения. Он выкрикивал эти слова ритмично, отбивая такт ладонями, и в таком же ритме, так же крича и хлопая в ладоши, сгибался низко, чуть ли не до самой земли, и опять выпрямлялся и снова сгибался и выпрямлялся; и вот уже десять, двадцать человек повторяют его движения, престарелая родоначальница, стоя, ритмически бормочет что-то, лёгкими наклонами головы намечая ритуальные движения. Те, кто подходил сюда из соседних хижин, немедленно подчинялись ритму и духу церемонии, а несколько одержимых либо свалились, истощив свои силы, наземь и лежали пластом, либо, увлечённые бормотанием хора и ритмическими поклонами молящихся, тоже приняли в них участие. Замысел Слуги удался. Вместо отчаявшейся орды бесноватых перед ним стояла община го-

товых к жертвам и покаянию молящихся, и для каждого было счастьем, каждому укрепляло сердце то, что он не должен таить в себе смертельный испуг к ужас или выкрикивать слова в одиночку, что он может присоединиться к стройному хору, включиться в общую церемонию. Много тайных сил помогают такому действу, его сильнейшее утешение состоит в единообразии, удваивающем чувство общности, его надёжнейшие целительные средства — мера и упорядоченность, ритм и музыка.

Ночное небо всё ещё было покрыто воинством падающих звёзд, как бы беззвучным каскадом крупных капель света, целых два часа истощавшим свои огненные потоки, но уже панический ужас жителей деревни преобразился в сосредоточенность и благочестие, молитву и покаяние, и перед лицом нарушивших порядок небес людские страх и слабость облеклись в порядок и культовое благообразие. Ещё до того, как звездный ливень, уставши, начал падать всё более редкими струйками, свершилось это благостное чудо, а когда небо стало постепенно успокаиваться и исцеляться, истомлённых молящихся преисполнило чувство избавления оттого, что они сумели умилостивить высшие силы и вос-

становить порядок в небесной тверди.

Люди не забывали ту страшную ночь, о ней толковали всю осень и зиму, но говорили уже не заклинающим шёпотом, а будничным тоном, с чувством удовлетворения вспоминая, как мужественно они перенесли несчастье, как успешно справились с опасностью. Услаждали себя подробностями, каждого по-своему поразило небывалое зрелище, каждый якобы первым увидел его, некоторых, особенно трусливых и потрясённых, осмеливались поднимать на смех, и долго ещё в деревне держалось некоторое возбуждение: что-то пережито, случилось нечто огромное, произошло некое событие!

Один только Слуга не разделял этих настроений, он не мог забыть того великого события. Для него эта зловещая картина осталась вечно живым предостережением, неистребимой занозой, от которой он не мог более избавиться, и оттого, что переживание это уже в прошлом, что его удалось победить процессиями, молитвами, покаянием, он не считал его исчерпанным или отвращённым. Напротив, чем дальше, тем событие это приобретало для него всё более глубокое значение, он наполнял его всё новым смыслом, не переставал о нём размышлять и толковать

его. Для него это событие, это волшебное явление природы сделалось необъятно огромной и трудной проблемой со многими последствиями: тот, кто сподобился увидеть его, должен был всю жизнь помнить о нём. Во всём селении один только человек воспринял бы звездопад с теми же мыслями, увидел бы его такими же глазами, как он сам, — и этот человек был его собственный сын и ученик Туру, только этого единственного свидетеля Слуга мог бы признать, только с его мнениями и поправками готов был бы согласиться. Но сына он не позволил тогда разбудить, и чем больше он думал о том, почему он так поступил, почему отказался от единственного достоверного свидетеля и сонаблюдателя, тем больше крепла у него в душе уверенность, что он поступил хорошо и правильно, повинуясь мудрому предчувствию. Он хотел уберечь от этого зрелища своих близких, своего ученика и товарища, в особенности его, ибо никого он так крепко не любил, как Туру. Он скрыл и утаил от него тот звёздный дождь, ибо он, прежде всего, верил в добрых духов сна, особенно юношеского, и, кроме того, если память ему не изменяет, он ещё в тот миг, в самом начале небесного знамения, видел в нём не столько непосредственную опасность

для всех, сколько предостережение о бедствии в будущем, причём о таком бедствии, которое никого не коснётся и не заденет так близко, как его самого, заклинателя дождя. Что-то надвигается, какая-то опасность или угроза из тех сфер, с которыми его связывали обязанности, и в каком бы виде эта опасность ни пришла, она прежде всего и больнее всего поразит его самого. Встретить эту опасность бдительно и смело, душевно подготовиться к ней, принять её, но не уступить, не позволить себя унизить, — вот какой урок, вот какое решение подсказало ему это предзнаменование. Ожидавшая его участь требовала зрелости и мужества, и было бы неразумно увлекать за собой сына, сделать его участником или хотя бы свидетелем своего страдания, ибо как он ни ценил сына, всё же нельзя было знать, проявит ли необходимую стойкость юноша, ещё ничего в жизни не испытавший.

Его сын Туру, безусловно, был очень недоволен тем, что он прозевал, проспал великое зрелище. Как бы его ни толковали, во всяком случае это было нечто грандиозное; кто знает, придётся ли ему хоть раз в жизни увидеть подобное, он лишился чего-то необыкновенного, прозевал мировое чудо, поэтому некоторое время он дулся

на отца. Но потом обида растаяла, тем более что старик старался вознаградить его усиленным вниманием и нежностью и всё больше привлекал к исполнению своих обязанностей: надо полагать, что в предвидении назревающих событий он особенно торопился взрастить в лице Туру наиболее искусного преемника, посвящённого во все тайны ремесла. Он редко говорил с сыном о звёздном ливне, зато всё смелее передавал ему свои секреты, сноровку, опыт, знания, разрешал сопровождать себя в прогулках, допускал присутствовать при попытках подсмотреть тайны природы, что он до сих пор всегда предпочитал делать в одиночестве.

Пришла и пролетела зима, сырая и довольно мягкая. Звёзды больше не сыпались с неба, не наблюдалось никаких выдающихся или необычных явлений, селение успокоилось, охотники прилежно добывали зверя, на кольях хижин в ветреную, морозную погоду гремели замёрзшие шкуры, на длинных отёсанных брёвнах тащили по снегу дрова из лесу. Как раз в этот короткий период сильных холодов в селении умерла одна старая женщина, и её нельзя было сразу похоронить; много дней, пока земля слегка не оттаяла, замёрзший труп стоял прислонённый у входа в

хижину.

Лишь весной частично подтвердились дурные предчувствия заклинателя дождя. То была явно недобрая, лишённая покровительства луны, безрадостная весна, без роста и соков: луна постоянно запаздывала, никогда не сходились различные признаки, необходимые, чтобы назначить день сева, цветы в дикой чащобе расцветали хилыми, безжизненно висели на ветвях нераспустившиеся почки. Слуга был глубоко встревожен, но тщательно скрывал это, только Ада, а в особенности Туру, видели, как гложет его беспокойства. Он не только выполнял обычные заклинания, но приносил особые жертвы от себя лично, варил для демонов благовонные, возбуждающие похоть кашицы и настои, коротко остриг бороду, а волосы сжёг в ночь новолуния, смешав их со смолой и сырой корой, что давало очень густой дым. Насколько возможно, он избегал публичных молений, общих жертвоприношении, молебственных шествий с хорами барабанщиков, сколько возможно, он хотел сам, в одиночестве бороться с проклятой погодой этой немилостивой весны. И всё же, когда обычные сроки сева давно миновали, Слуге пришлось пойти к родоначальнице и доложить ей обо всём, и здесь опять ждали его

неудача и препятствия. Старая родоначальница, его добрый друг, всегда по-матерински благоволившая к нему, не приняла его, она занемогла и не покидала своего ложа, все свои обязанности и заботы она переложила на плечи сестры, а эта сестра относилась к заклинателю дождя весьма неприязненно; она не обладала строгим, но открытым нравом старшей, была склонна к развлечениям и забавам, и эта склонность сблизила её с барабанщиком и шутом Маро, умевшим развеселить её и подольститься к ней. Маро же был врагом Слуги. Уже с первой встречи Слуга почуял холод и неодобрение с её стороны, несмотря на то что он не услышал ни единого слова возражения. Его доводы и предложения — подождать с севом, а также с некоторыми жертвоприношениями и процессиями — она одобрила и приняла, но старуха говорила с ним холодно и обращалась как с низшим, а его желание навестить больную родоначальницу или хотя бы приготовить для неё лекарство было решительно отклонено. Опечаленный, будто обделённый, с дурным привкусом во рту, вернулся он домой после этой беседы и половину лунного месяца употребил на то, чтобы известными ему способами добиться благоприятной для сева погоды. Но стихии, столь часто

сливавшиеся воедино с глубинными течениями его души, на сей раз ответствовали ему упорной издёвкой и враждой; ни чародейство, ни жертвы не помогали. И снова пришлось заклинателю дождя идти к сестре родоначальницы, на сей раз это уже была как бы просьба о терпении, об отсрочке; от него не укрылось, что она, вероятно, говорила о нём и о его деле с Маро, этим скоморохом, ибо в разговоре о необходимости назначить день сева или же устроить торжественное молебствие старая женщина слишком явно делала вид, будто прекрасно разбирается в его делах, причём употребляла некоторые выражения, которые могла заимствовать только у Маро, бывшего его ученика. Слуга выпросил три дня отсрочки, заново определил расположение звёзд, которое сейчас показалось ему несколько более благоприятным, и назначил начало сева на первый день третьей фазы луны. Старуха согласилась, закончив разговор ритуальным изречением; о принятым решении было сообщено жителям деревни, и все стали готовиться к празднику сева. И тут, когда, казалось бы, всё уладилось, злые духи вновь показали свою немилость. Ровно за день до столь желанного и тщательно подготовленного праздника сева скончалась старая

родоначальница, торжество пришлось отложить и вместо него объявить о предании её тела земле и начать к нему приготовления. Погребение было совершено с величайшей пышностью; следом за новой правительницей, её сёстрами и дочерями шёл заклинатель дождя; он шагал в облачении, которое надевал во время самых торжественных молитвенных шествий, на голове — островерхая шапка из лисьего меха; рядом с ним — его сын Туру бил в трещотку из твёрдого дерева. Усопшей, а также её сестре, новой родоначальнице, были оказаны большие почести. Маро, возглавлявший отряд барабанщиков, протолкался далеко вперёд и стяжал внимание и успех. Жители селения рыдали и праздновали, наслаждались причитаниями и торжеством, грохотом барабанов и жертвоприношениями, это был прекрасный день для всех, но сев опять пришлось отложить. Слуга стоял, преисполненный достоинства, сосредоточенный, но глубоко опечаленный, ему казалось, что вместе с родоначальницей он хоронит лучшие дни своей жизни.

Вскоре после этого, по настоянию новой родоначальницы, также с осенённой пышностью, был проведён сев. Процессия торжественно обошла поля, старая женщина торжественно бросила

первые пригоршни зерна в общинную землю, по обе её руки шагали сёстры, каждая несла по мешку с семенами, из которых черпала старшая, Слуга вздохнул с некоторым облегчением, когда эта церемония закончилась. Но посеянные с такой торжественностью семена не принесли ни радости, ни плодов — в тот год природа не знала пощады. Начавшись с возврата к зиме и стуже, погода в ту весну и лето строила людям всё новые козни и каверзы, а когда наконец редкая, низкорослая, жалкая растительность покрыла поля, ей был нанесён последний, самый жестокий удар: началась неслыханная засуха, какой ещё не бывало на памяти людской. Неделя за неделей солнце кипело в белёсой дымке зноя, мелкие ручьи иссякли, а от деревенского пруда осталась лишь грязная лужа — рай для стрекоз и несметных комариных полчищ; в иссохшей земле зияли глубокие трещины, было видно, как чахнет и гибнет урожай. Время от времени наползала на небо туча, но грозы не давали влаги, если же изредка брызгал лёгкий дождичек, то за ним следовали долгие дни знойного суховея с востока, часто молния поражала высокие деревья, и тогда полузасохшие верхушки мгновенно вспыхивали всеуничтожающим пламенем.

— Туру, — сказал однажды Слуга своему сыну, — вот увидишь, добром это не кончится, все демоны против нас. Началось с того звездопада. Думается, это будет стоить мне жизни. Запомни: если придётся принести меня в жертву, ты в тот же час заступишь моё место, и тогда ты прежде всего потребуешь, чтобы тело моё сожгли и пепел развеяли по полям. Зимой вам предстоит жестоко голодать. Но после этого бедствиям придёт конец. Ты должен позаботиться о том, чтобы никто не посмел тронуть семенное зерно, за это надо карать смертью. На будущий год уже станет легче, и люди скажут: «Хорошо, что у нас новый, молодой заклинатель погоды».

Селение было охвачено отчаянием, Маро натравливал людей на Слугу, нередко вслед заклинателю дождя неслись угрозы и проклятия. Ада была больна, её мучили рвоты, трясла лихорадка. Молитвенные шествия, жертвоприношения, потрясающие душу барабанные хоры уже не могли ничего исправить. Слуга руководил ими, то была его обязанность, но когда толпа рассеивалась, он оставался один, ибо все его избегали. Он знал, что надо было делать, знал также, что Маро уже требовал у родоначальницы принесения его, Слуги, в жертву. Дабы сберечь свою честь, а также ради

сына он сделал решительный шаг: надел на Туру парадное облачение, отправился вместе с ним к родоначальнице, рекомендовал сына как своего преемника и сам предложил себя в жертву. На мгновение она впилась в него испытующим, любопытным взглядом, потом кивнула и сказала: «Хорошо».

Жертвоприношение было назначено на тот же день. Все жители селения хотели бы присутствовать при этом, но многие страдали кровавым поносом. Ада тоже лежала тяжелобольная. Туру в его облачении и в высокой лисьей шапке чуть не поразил солнечный удар. В шествии участвовали все достойные именитые жители селения, которые не были больны, родоначальница с двумя сёстрами, старейшины, глава хора — барабанщик Маро. За ними нестройной толпой следовали все прочие. Никто не посмел оскорбить заклинателя дождя, царило подавленное молчание. Шествие направилось в лес и подошло к большой, круглой поляне, которую Слуга сам определил как место священного действа. Большинство мужчин взяло с собой каменные топоры, чтобы помочь нарубить дров для сожжения тела. Когда прибыли на поляну, заклинателя дождя поставили посредине, вокруг него образовался небольшой

круг, подальше, более широким кругом, расположились остальные. Так как толпа хранила нерешительное и смущённое молчание, заговорил сам заклинатель дождя.

— Я был у вас заклинателем дождя, — сказал он, — и долгие годы старался делать своё дело как мог лучше. Теперь демоны восстали против меня, мне больше ни в чём нет удачи. Поэтому я предлагаю в жертву себя. Это умилостивит демонов. Мой сын будет вашим новым заклинателем дождя. А теперь — убейте меня и, когда я буду мёртв, точно следуйте предписаниям моего сына. Прощайте! Но кто же меня убьёт? Я предлагаю барабанщика Маро, он самый подходящий для этого человек.

Он смолк, но никто не двинулся с места. Туру, побагровевший под своей тяжёлой лисьей шапкой, страдальческим взором обвёл стоящих вокруг людей, губы его отца скривились в презрительной усмешке. Наконец родоначальница в бешенстве топнула ногой, жестом подозвала Маро и закричала на него:

— Иди же! Бери топор и делай, что надо!

Маро, держа в руках топор, встал перед своим бывшим учителем, он ненавидел его сейчас более люто, чем когда бы то ни было, насмешливая

улыбка молчаливого старческого рта жестоко оскорбляла его. Он поднял топор, взмахнул им над головой, нацелился и задержал его, пристально глядя в лицо своей жертвы и ожидая, когда заклинатель дождя закроет глаза. Но Слуга не сделал этого, он упорно держал глаза открытыми и смотрел на человека с топором, его лицо было почти лишено выражения, а если что и можно было прочитать на нём, то это было не то сострадание, не то насмешка. В бешенстве Маро отбросил топор.

— Не могу! — пробормотал он, прорвался сквозь круг достойнейших и исчез в толпе.

Кое-кто тихонько засмеялся. Родоначальница вся побелела от гнева, злясь на трусливого, ни на что не пригодного Маро не меньше, чем на этого высокомерного заклинателя дождя. Она кивнула одному из старейшин, почтенному, тихому человеку, который стоял, опираясь на свой топор, и, видимо, стыдился этого недостойного зрелища. Он шагнул вперёд, коротко и дружелюбно кивнул жертве (они знали друг друга с детства), и теперь Слуга с готовностью закрыл глаза и слегка наклонил голову. Старик ударил его топором, жертва рухнула наземь. Туру, новый заклинатель дождя, не в силах был произвести ни звука, лишь

жестами он показал, что надо делать дальше, и вскоре вырос костёр, и на него положили мёртвое тело. Торжественный ритуал извлечения огня с помощью двух освящённых палочек был первым актом Туру на его новом посту.

Исповедник

В те времена, когда святой Иларион[81] был ещё жив, хотя и весьма обременён годами, жил в городе Газа человек по имени Иосиф Фамулус, до тридцатой своей весны ведший жизнь мирскую и читавший языческие книги, однако затем, через женщину, которой домогался, он познал божественное учение и сладость христианских добродетелей, принял святое крещение, отрёкся от своих грехов и долгие годы просидел у ног пресвитеров своего города, с жадным любопытством внимая столь любимым всеми рассказам о жизни благочестивых пустынников, покуда в один прекрасный день, уже тридцати шести лет от роду, не ступил на тот путь, который прошли

---

[81] Примечания: [81]

Имеется в виду Иларион (291–372) — основатель палестинского монашества, перенёсший в палестинские пустыни обыкновения египетских анахоретов.

до него святые Павел и Антоний,[82] а за ними и многие праведники. Он передал остаток своего достояния старейшинам, дабы те разделили его между бедняками общины, простился у городских ворот с близкими своими и ушёл из города в пустыню, из опостылевшего мира — в скудную жизнь кающихся отшельников.

Долгие годы жгло и сушило его солнце, он стирал себе на молитве кожу с колен о камни и песок, он воздерживался от пищи до захода солнца, чтобы затем сжевать свою горстку фиников; бесы донимали его искушениями, насмешками и соблазнами, он оборонялся молитвою, аскезой, отречением от самого себя, подобно тому как мы читаем это в жизнеописаниях святых отцов. Долгие ночи проводил он без сна, следя за звёздами, но и звёзды вводили его в соблазн, и смущение, он узнавал астральные фигуры, по которым некогда научился вычитывать истории богов и подобия человеческого естества, — наука, безусловно

---

[82] Примечания: [82]

Святые Павел и Антоний — первые пустынножители, основатели монашества, жившие в пустынях Египта (III–IV вв. н.э.).
Упомянутый ранее Иларион [81] был учеником Антония.

[81] Примечания: [81]

Имеется в виду Иларион (291–372) — основатель палестинского монашества, перенёсший в палестинские пустыни обыкновения египетских анахоретов.

отвергавшаяся пресвитерами, однако ещё долго досаждавшая ему видениями и мыслями из его языческих времён.

Повсюду, где в тех краях среди голой и бесплодной пустыни бил родник, зеленела трава, виднелся большой или малый оазис, жили тогда отшельники, иные в полном уединении, иные небольшими братствами, как это изображено на одной фреске пизанского Кампо-Санто[83]; ратуя за жизнь в бедности и проповедуя любовь к ближнему, они были приверженцами некой пламенной *ars moriendi*[84] — искусства умирания, умирания для мира и для собственного «я», отшествия к нему, Спасителю, в светлое и нетленное бытие. Их посещали ангелы и демоны, отшельники слагали гимны, изгоняли бесов, врачевали и благословляли, словно бы взяв на себя задачу возместить суетность, грубость, похоть столь многих уже ушедших и столь многих грядущих

---

[83] Примечания: [83]

Пострадавшая во время второй мировой войны фреска XIV в. на стене Кампо-Санто (кладбища) в Пизе изображает наряду со сценами мирской суеты и триумфа смерти пустыню, среди которой размышляют и беседуют анахореты; один из них доит лань, другой в изумлении смотрит на это чудо.

[84] Примечания: [84]

Искусство умирания (лат.) — выражение из лексикона средневековой назидательной литературы. Слово *ars* (искусство) в латыни относится к женскому роду.

веков мощным порывом духовного горения и самоотречения, экстатическим преизбытком воли к подвигу. Кое-кто из них, вероятно, владел старинными приёмами очищения, восходящими к язычеству, средствами и упражнениями уже столетия практиковавшейся в Азии науки одухотворять себя, но об этом не говорилось вслух, да никто уже и не обучал этим приёмам йогов, на них был наложен запрет, которому христианство всё больше и больше подвергало всё языческое.

У некоторых из этих пустынников присущее их жизни духовное горение породило особые дары, дар молитвы и врачевания возложением рук, дар пророчества и изгнания бесов, дар суда и кары, утешения и благословения. И в душе Иосифа дремал некий дар, и с годами, когда волосы его поредели, дар этот созрел. То был дар слушания.[85] Стоило кому-нибудь из отшельни-

[85] Примечания: [85]

Особое служение Иосифа Фамулуса, состоящее в терпеливом выслушивании исповедующихся, описано в явно автобиографических тонах.

Дело в том, что Гессе во второй половине своей жизни и особенно к концу её получал неимоверное количество писем от незнакомых людей — от юных кандидатов в самоубийцы, от зрелых людей, усомнившихся в смысле своей жизни и претерпевающих тяжёлый душевный кризис, от жертв фашизма, ищущих утешения, и от вчерашних правоверных фашистов или националистов, нащупывающих путь к иному, более гуманному миру идей. Все эти корреспонденты обращались к писателю с безотчётным доверием, как к врачу. Таким образом, мучения и искушения Иосифа Фамулуса, были отлично знакомы самому писателю.

ков или гонимому совестью мирянину явиться к Иосифу и рассказать о своих поступках, страданиях, искушениях и ошибках, рассказать о своей жизни, о своём стремлении к добру и своём поражении или о своих утратах, о горе своём и печали, как Иосиф открывал кающемуся слух и сердце, словно хотел вобрать в себя всё горе его и заботы, скрыть их в себе и отпустить его уже освобождённым и успокоенным. Постепенно за эти долгие годы Иосиф целиком ушёл в свою службу, превратившись в орудие, в некое ухо, к которому люди обращаются с доверием. Великое терпение, какая-то завораживающая кротость и молчаливость были его добродетелями. И люди всё чаще стали приходить к нему, чтобы выговориться, скинуть с себя накопившиеся горести, но иному кающемуся так и недоставало смелости, решимости для признания, хоть он и проделал немалый путь до тростникового шалаша Иосифа. Прибыв, он принимался юлить, стыдился, словно дорожил своими грехами, вздыхал и долго отмалчивался после приветствия, а он, Иосиф, бывал со всеми одинаков — охотно или против воли, торопясь или запинаясь, выдавали пришельцы свои тайны, со злобою или гордыней расставались с ними. Для него все были рав-

ны: обвинял ли человек бога или самого себя, преуменьшал или преувеличивал свои грехи и страдания, исповедовался ли в убийстве или всего лишь в нарушении целомудрия, оплакивал ли он измену возлюбленной или загубленное душевное спасение. Иосиф не приходил в ужас, когда посетитель повествовал о близком знакомстве с демонами и по всем признакам был с самим чёртом на «ты», он не сердился, когда другой за длинными и скучными излияниями пытался утаить самое важное, он не выходил из себя, когда гость возводил на себя бредовые обвинения в измышленных грехах. Казалось, всё, что слышал Иосиф: жалобы, признания, обвинения, муки совести — всё впитывал он в себя, как песок пустыни впитывает дождь; казалось, он ни о чём не имеет суждения и нет в нём ни жалости, ни неприязни к исповедующемуся, и всё же, а быть может, именно поэтому, то, что ему поверяли, представлялось сказанным не впустую, но во время самой исповеди, во время слушанья её оно как бы преображалось, становилось легче, а то и вовсе исчезало. Редко когда он увещевал или предупреждал, ещё реже советовал или приказывал, это словно бы и не входило в его обязанности, да и исповедовавшиеся чувствовали, что это не

его дело. Его дело было пробуждать и принимать доверие, терпеливо и любовно слушать, помогать этим ещё не созревшей исповеди окончательно оформиться, дать всему, что застоялось и затвердело в душе посетителя, растаять и стечь, вобрать всё это в себя и облечь в молчание. Только в конце исповеди, будь она страшной или безобидной, смиренной или тщеславной, он велел кающемуся стать на колени рядом с собой, читал «Отче наш» и, прежде чем отпустить грешника, целовал его в лоб. В службу его не входило налагать епитимью или кару, да и давать формальное отпущение грехов он почитал себя не вправе, он не судил и не прощал. Выслушав и поняв, он как бы брал на себя совиновность, помогал нести чужое бремя. Своим молчанием он хоронил и предавал забвению услышанное. Молясь вместе с грешником после исповеди, он представал перед ним как брат и равный. Целуя покаявшегося, он словно благословлял его, но скорее как брат, нежели как духовник, скорее ласково, чем торжественно.

Слава о нём разнеслась по всем окрестностям Газы, его знали далеко в округе и порой даже ставили рядом с высокопочитаемым великим

исповедником Дионом Пугилем,[86] чья известность, впрочем, была лет на десять старее, да и зиждилась совсем на ином; ибо Дион славился именно тем, что читал в душах доверившихся ему быстрее и отчётливее, нежели во внятных словах, часто поражая робко исповедовавшегося, когда высказывал ему напрямик все его невысказанные грехи. Этот сердцевед, о котором Иосиф слышал удивительные рассказы и с которым он сам никогда бы не осмелился сравнить себя, был боговдохновленным наставником заблудших душ, великим судьёй, карателем и устроителем: он налагал епитимьи, обязывал к бичеванию и паломничествам, освящал брачные союзы, принуждал врагов к примирению и пользовался не меньшим авторитетом, чем иной епископ. Жил он неподалёку от Ашкелона, однако встречи с ним искали просители из самого Иерусалима и даже из ещё более отдалённых мест.

Подобно большинству отшельников и пустынников, Иосиф Фамулус долгие годы вёл напряжённую и изматывающую борьбу с собой. Хотя он и покинул мирскую жизнь, отдал своё имущество и свой дом, оставил город с его столь

---

[86] Примечания: [86]

...Дионом Пугилем... — Латинское слово *pugil* означает «кулачный боец».

многоликими соблазнами, но от себя самого он уйти не мог, а в нём жили все страсти души и тела, которые только могут ввергнуть человека в беду и в искушение. Прежде всего он подавил в себе всё плотское, подавил сурово и неумолимо, приучал тело к жаре и холоду, голоду и жажде, рубцам и мозолям, покуда оно не высохло и не увяло; но даже в этой тощей оболочке аскета ветхий Адам не раз неожиданно досаждал ему самыми немыслимыми желаниями и страстями, снами и видениями, ведь хорошо известно, что дьявол особо печётся об отшельниках и аскетах. Так что, когда затем его стали время от времени навещать люди, нуждающиеся в утешении, жаждущие исповеди, он с благодарностью усмотрел в этом зов благодати и воспринял его как некое облегчение своей аскетической жизни: она получила сверхличный смысл, некий сан был ему доверен, теперь он мог служить ближним и служить богу как орудие в его руках для привлечения к себе душ. И это было удивительное и поистине возвышающее чувство. Но позднее он открыл, что и сокровища души принадлежат миру земного и могут стать искусительными ловушками. Ибо случалось, когда путник, пеший или верховой, останавливался перед его кельей,

вырубленной в скале, и просил о глотке воды, а затем и об исповеди, нашим Иосифом овладевало чувство довольства, довольства самим собой, суетное и себялюбивое чувство; он приходил в ужас, коль скоро он распознавал его. На коленях молил он бога о прощении, просил, чтобы никто более не приходил к нему, недостойному, на исповедь: ни монашеская братия из соседних келий, ни миряне из городов и деревень. Но и когда посетители не докучали ему, он всё равно не испытывал облегчения, когда же затем к нему вновь начинали обращаться люди, он ловил себя на новых грехах: слушая те или иные признания, он ощущал какой-то внутренний холод, полное безразличие, даже презрение к исповедующемуся. Со вздохом пытался он побороть и эти искушения, подвергая себя после каждой выслушанной исповеди подвигам истязания и покаяния. Сверх того, он возвёл для себя в закон: ко всем исповедующимся относиться не только как к братьям, но даже с особой почтительностью, тем большей, чем меньше ему нравился тот или иной посетитель; каждого он принимал как божьего вестника, посланного ему в испытание. Не скоро, уже начав стареть, он обрёл с годами известное единообразие в жизни, и тем, кто жил

с ним рядом, он представлялся безупречным праведником, обретшим умиротворение в боге.

Однако ведь и умиротворение есть нечто живое, и, как всё живое, оно должно расти и убывать, должно соотноситься с обстоятельствами, должно подвергаться испытаниям и терпеть перемены. Такова была и умиротворённость Иосифа Фамулуса: она была неустойчивой, она то приходила, то исчезала, то была близка, как свеча, которую держишь в руке, то безмерно далека, как звезда на зимнем небосводе. Но со временем совсем особый, новый вид греха и соблазна стал отягощать его жизнь всё чаще и чаще. То не было сильное, страстное движение, порыв или мятеж помышлений, скорее совсем напротив. Почти неприметное чувство это он на первых порах сносил легко, не испытывая никаких терзаний или нехватки чего-то: это было какое-то вялое, сонное, безразличное расположение духа, которое можно было обозначить лишь отрицательно, некое таяние, убывание и в конце концов полное отсутствие радости. Всё это походило на дни, когда и солнце не светит, и дождь не льёт, а небо затянуто и словно тихо погружается в само себя, какое-то серое и всё же не чёрное, в воздухе духота, однако не та, что несёт с собой

грозу. Вот такие-то дни и настали теперь для стареющего Иосифа; всё меньше ему удавалось отличить утро от вечера, праздники от будней, часы подъёма от часов упадка, жизнь тянулась, над ней висела усталость и безразличие. Пришла старость, думал он с печалью. А печаль овладевала им потому, что он ожидал: приближение старости и постепенное угасание страстей сделает его жизнь просветлённой и лёгкой, станет ещё одним шагом к желанной гармонии и зрелой умиротворённости, а старость разочаровывала и обманывала его, ибо не приносила с собой ничего, кроме этой вялой, серой, безрадостной пустоты, этого чувства неисцелимого пресыщения. Он пресытился всем: самим существованием, тем, что дышал, сном по ночам, жизнью в своей пещере на краю небольшого оазиса, вечной сменой дня и ночи, чередованием путников и паломников на ослах и на верблюдах, а более всего теми людьми, которые приходили ради него самого — этими глупыми и напуганными и притом полными такой детской веры людьми, которым необходимо было поведать ему свою жизнь, грехи и страхи, свои соблазны и самообвинения. Порой ему казалось: вот в оазисе сочится маленький родник, собирает свои воды в ямке, выложенной

камнями, бежит по траве ручейком, затем изливается в песок пустыни, и вот он уже иссяк и умер, — так и все эти исповеди, перечисления грехов, жизнеописания, эти терзания совести, и большие и малые, тяжкие и пустые, стекаются в его ухо дюжинами, сотнями, всё новые и новые. Но его ухо не было мертво, как песок пустыни, оно было живым и неспособно вечно впитывать, глотать и поглощать; он чувствовал, что устал, его силы употребили во зло, он пресыщен, он жаждет, чтобы эти потоки и всплески речей, забот, обвинений, самобичеваний наконец прекратились бы, чтобы место этого неиссякаемого струения заступили покой, смерть, тишина. Да, он желал конца, он устал, он был сыт по горло, жизнь его поблекла и обесценилась, и дошло до того, что Иосиф временами испытывал соблазн положить конец подобному существованию, покарать себя, вычеркнуть из списка живых, как это сделал, повесившись, Иуда Предатель. И если в первые годы монашеской жизни дьявол пытался заронить ему в душу образы и грёзы мирской похоти, то теперь он досаждал ему мыслями о самоуничтожении, так что Иосиф стал приглядываться к каждому суку, не подойдёт ли он, чтобы на нём повеситься, и к каждой скале, достаточно ли она высока и

крута, чтобы броситься с неё. Он противостоял искушению, он боролся, он не поддавался, однако днём и ночью он жил в огне ненависти к себе и жажды смерти, жизнь казалась ему невыносимой и ненавистной.

Так вот обстояло дело с Иосифом. Однажды, снова стоя на крутой скале, он увидел в отдалении между землёй и небом две-три крохотные фигурки: то были путешественники или паломники, а быть может, и люди, намеревавшиеся посетить его, чтобы исповедаться, — и внезапно им овладело неодолимое желание как можно скорее уйти отсюда, прочь от этих мест, прочь от этой жизни. И желание это с такой силой и страстью охватило его, что побороло все остальные мысли, отмело в сторону возражения, сомнения, которых ведь тоже было немало: разве мог благочестивый аскет, не терзая совесть свою, последовать безотчётному порыву? И вот он уже бежал, уже вернулся к своей пещере, обители стольких лет борьбы, сосуду, вместившему столько побед и поражений. В безумной спешке он сгрёб горсть фиников, нацедил воды в сушёную тыкву, запихнул всё это в свою старую котомку, перекинул её через плечо, схватил посох и покинул зелёный покой своей маленькой родины, вновь став беглецом,

не знающим ни мира, ни роздыха, бегущим от бога и от людей и прежде всего от того, что так недавно ещё почитал наивысшим своим долгом и своей миссией.

Сначала он бежал, как затравленный, будто увиденные им со скалы фигурки и впрямь преследовали его и были его врагами. Но по прошествии нескольких часов он преодолел эту боязливую спешку, ходьба принесла благотворное утомление, и на первом же привале, когда он не позволил себе притронуться к финикам — ибо для него уже стало священным правилом не прикасаться к еде до захода солнца, — пробудился его разум, приученный к одиноким раздумьям, снова воспрянул и начал испытующе рассматривать его безотчётные поступки. И разум не осудил этих поступков, сколь бы неразумны они ни казались; нет, он чуть ли не благосклонно взирал на них — ведь впервые после долгого времени он нашёл поведение Иосифа простодушным и невинным. Да, это было бегство, внезапное и необдуманное бегство, и всё же не постыдное. Он покинул свой пост, который стал ему не по плечу, своим бегством он признался себе и тому, кто, быть может, наблюдал за ним, в своём поражении; он прекратил наконец ежедневно возобновляющуюся

бесполезную борьбу и признал себя разбитым и побеждённым. Это было, как говорил ему разум, не бог весть как величественно, не под стать герою или святому, но по крайности это было чистосердечно и казалось неизбежным; Иосиф теперь удивлялся, почему он давно уже не решился бежать, почему так долго, так неимоверно долго терпел? Упорство, с которым он боролся за безнадёжное дело, представлялось ему теперь ошибкой, и ещё того хуже — судорогами его себялюбия, судорогами его ветхого Адама, и ему теперь показалось понятным, почему это упорство привело к столь дурным, прямо-таки дьявольским последствиям, к такой растерзанности и вялости души, к демонской одержимости смертью и самоуничтожением. Хотя христианину и не к лицу видеть в смерти своего врага, подвижнику же и святому подобает смотреть на всю жизнь как на жертву, всё же мысль о добровольном наложения на себя рук была всецело дьявольской и могла родиться лишь в такой душе, наставник и хранитель который уже не ангел господень, но злые демоны. Некоторое время Иосиф сидел убитый и смущённый, а под конец, ужаснулся, взглянув на свою жизнь с расстояния, преодолённого за несколько часов ходьбы, и

осознав её как безнадёжную маету стареющего человека, не нашедшего своей цели и неотступно преследуемого жутким искушением удавиться на первом попавшеюся суку, подобно тому, кто предал Спасителя.[87] Но если он и ужасался так при мысли о добровольной смерти, то в этом уже присутствовало что-то от довременного, дохристианского, древнеязыческого ведения, ведения об исконным обычае принесения в жертву человека, когда для жертвоприношения назначался царь, святой или избранник племени, который нередко должен был совершить всё своею рукой. И ужас вызывала не столько мысль об этом тёмном обычае языческой древности, сколько мысль о том, что в конце концов и крестная смерть Спасителя — не что иное, как добровольное самозаклание. Да и впрямь, стоило Иосифу вспомнить как следует, и смутное сознание этого он обнаруживал уже в первых вспышках тоски по самоубийству; это было озлобленно-упрямое и дикое желание принести себя в жертву и тем самым недозволенным образом повторить дело Спасителя или же недозволенным образом намекать, что Спаситель не так уж преуспел в своём

[87] Примечания: [87]

Ср. евангельский рассказ о конце Иуды Искариота: «И бросив сребреники в храме, он вышел, пошёл и удавился» (Матф., 27, 5).

деле. Иосиф содрогнулся, но тут же почувствовал, что опасность для него уже миновала.

Долго присматривался он к этому отшельнику по имени Иосиф, к тому, в которого он превратился и который, вместо того чтобы следовать примеру Иуды или же, если угодно, примеру Распятого,[88] обратился теперь в бегство, вновь вручив судьбу свою руке божьей. Чем явственней ему представлялся ад, которого он избежал, тем сильнее нарастали в нём стыд и отчаяние, и под конец всё горе его обратилось в невыносимо удушающий комок в горле и вдруг нашло себе выход и разрешение в неудержимом потоке слёз, который принёс удивительное облегчение. О, как давно он не плакал! Слёзы бежали ручьём, глаза уже ничего не видели, но смертельного удушья как не бывало, а когда он пришёл в себя, ощутил вкус соли на губах и понял, что плачет, то на мгновение ему почудилось, будто бы вновь стал ребёнком, не ведающим зла. Иосиф улыбнулся,

[88] Примечания: [88]

Парадоксальное сближение Христа и Иуды характерно для гностической мысли. Иуда повесился, но и Христос в новозаветных, литургических и богословских текстах неоднократно именуется «повещённым на древе» — и притом специально для того, чтобы применить к нему формулу Ветхого завета — «проклят всяк висящий на древе». Христос принял на себя всю полноту тяготевшего над человечеством проклятия, а потому его предельная святость оказывается тождественна предельной сакральной нечистоте.

ему было немного стыдно своих слёз, затем он встал и снова двинулся в путь. Толком он не знал, куда ведёт его бегство и что с ним будет; поистине он казался самому себе ребёнком, в нём уже не было борьбы и воли; он с облегчением чувствовал себя так, как будто его вели, как будто далёкий добрый голос звал и манил его домой, как будто странствие его было возвращением. В конце концов он устал, устал и его разум, который теперь смолк, или успокоился, или ощутил свою бесполезность.

У водопоя, где Иосиф решая остановиться на ночь, он приметил несколько развъюченных верблюдов; но в небольшой группе путешественников оказались и две женщины, и Иосиф ограничился молчаливым приветствуем, избегая вступать в разговор. Однако после того как уже в сумерках он съел несколько фиников, помолился и прилёг, он невольно услышал разговор между двумя путниками, старым и молодым: оба они лежали совсем близко от него. Это была только часть диалога, дольше путники говорили неразборчивым шёпотом. Но и этот отрывок привлёк внимание Иосифа и заставил пролежать без сна почти всю ночь.

— Ладно уж, — услышал он, как сказал старший,

— и то хорошо, что ты решил съездить к такому святому человеку исповедаться. Отшельники — они не только хлеб жуют, они кое-что смыслят и заклинания знают. Стоит такому сказать словечко, и разъярённый лев поджимает хвост, разбойник, и убирается восвояси. Да, да, они способны льва сделать ручным, а одному из них — он был уж очень святой человек — его ручные львы сами могилу выкопали, когда он помер, а потом ровненько так засыпали; долго ещё два льва после этих похорон день и ночь возле могилы сидели, вроде как караул несли. Да и не только львов они умеют приручать. Один такой святой взялся за римского центуриона — зверь был, а не человек, распутник из распутников, во всём Ашкелоне такого поискать, а святой этот так за него принялся, что солдат совсем сник, будто пёс побитый в свою конуру убрался. Никто его после этого и узнать не мог, таким тихим и кротким он стал. Правда, нехорошо тут подучилось, вскоре после этого он возьми да и умри.

— Святой?

— Да нет, центурион. Варрон звали его. После того как отшельник обломал его как следует, солдат весь обмяк, два раза с ним лихорадка приключалась, а три месяца спустя он помер. Что

ж, жалеть его не приходится; но как бы там ни было, а у меня из головы не идёт: должно быть, отшельник не только дьявола из него изгнал, наверное, ещё и слово какое на уме имел, чтоб солдата поскорей в землю упрятать.

— Это ты про святого человека так говоришь? Никогда не поверю!

— Хочешь верь, хочешь нет, дорогой мой. Но с того дня центуриона этого как подменили, чтобы не сказать — околдовали, три месяца прошло и…

Некоторое время оба молчали, затем снова послышался голос молодого:

— Слыхал я про одного отшельника, где-то тут неподалёку он должен быть, совсем один около затерянного родника живёт, в двух шагах от дороги на Газу, Иосиф зовут его, Иосиф Фамулус. Много мне о нём говорили.

— Ну, а что говорили-то?

— Уж больно благочестив, а на женщин — так никогда и не смотрит. Случись около его кельи пройти караване, и если хоть на одном верблюде сидит женщина, то как бы она ни была закутана, отшельник повернётся к ней спиной и тут же исчезнет в своей келье. Многие к нему исповедоваться ходят, очень многие.

— Наверное, болтают больше, а то бы и я о нём

прослышал. Ну, а что ж он умеет, твой Фамулус?

— Исповеди слушать. Не будь в нём ничего благого или не понимай он ничего, люди б не ходили к нему. Между прочим, о нём говорят, будто он никогда и слова не скажет, не бранится, не кричит, кар никаких не налагает, ласковый, говорят, человек, даже робкий.

— А что же он тогда делает, если не бранит, не наказывает и даже рта не открывает?

— Слушает тебя, чудно так вздыхает и крестится.

— Да брось ты! Тоже мне выдумал какого святого! Неужто ты такой дурак, чтобы бегать за молчуном?

— А как же? Непременно надо найти его. Недалеко где-то он обитает. Как стало смеркаться, я тут одного паломника приметил возле водопоя, завтра утром спрошу его, он сам на отшельника похож.

Старик совсем разошёлся:

— Да брось ты этого святошу! Пусть себе в келье сидит! Такие, что только сидят и слушают и вздыхают, да ещё баб боятся, — такие ничего не умеют и ничего не знают. Ты вот лучше меня послушай, я тебя научу, к кому пойти. Правда, далековато отсюда будет, за Ашкелоном, зато уж

всем отшельникам отшельник, лучший, можно сказать, исповедник, какие есть на свете. Дионом его зовут, Дионом Пугилем, а это значит — кулачный боец, потому что он со всеми чертями дерётся. Вот придёт к нему кто-нибудь, скажет свою исповедь, поведает обо всём, что натворил, — Пугиль этот не станет вздыхать да охать, и не молчит, а так набросится на тебя, такую задаст тебе трёпку, что своих не узнаешь. Одного, говорят, даже избил, а других заставил всю ночь на коленях выстаивать, на камнях-то! Да сверх того ещё сорок грошей велит бедным раздать. Вот это исповедник, скажу я тебе, диву дашься! Стоит ему посмотреть на тебя — сразу оторопь берет, насквозь тебя видит. Нет, этот не будет вздыхать, этот всё может. И если ты сон потерял или снится тебе всякая чертовщина, видения тебе являются — Пугиль как рукой снимет! И говорю я тебе это не потому, что так старые бабы болтают, а потому, что сам у него был. Да, сам, хоть и не велика птица, а когда-то и я ходил к Диону — к ратоборцу, к человеку божию. Пошёл я к нему в сокрушении, совесть вся изгажена, а ушёл — чистый и светлый, как утренняя звезда; и всё это верно, как верно, что меня зовут Давидом. Запомни, значит: Дион зовут его, Дион Пугиль. Вот к нему

и ступай, и как можно скорей; такого, как он, ты ещё никогда не видывал. Игемоны, старейшины, епископы и те к нему за советом ходят.

— Буду в тех местах, может, и заверну. Но раз уж я здесь и тут поблизости где-то находится этот Фамулус, о котором я слышал много хорошего…

— Хорошего, говоришь? На что он тебе сдался, этот Фамулус?

— Понравилось мне, что он не ругает, не кидается на тебя, словно зверь лютый, — вот и всё. Я ведь не центурион какой-нибудь и не епископ, я человек маленький, скорей даже робкий, смолы там и серы всякой я много не вынесу; мне куда приятней, чтобы со мной ласково обходились, такой уж я родился.

— Ишь чего захотел! Ласково чтобы с ним обходились! Вот если после исповеди, когда ты освободился от грехов, кару, какую положено, принял, очистился, стало быть, — это я ещё понимаю, чтоб тогда с тобой ласково обошлись, но не тогда же, когда ты только что предстал перед духовником и судьёй своим, а сам весь загажен и воняешь, что твой шакал.

— Ладно уж. Чего ты шумишь, люди вон спать хотят. — Произнёсший эти слова неожиданно захихикал. — А мне про него и смешное расска-

зывали.

— Это про кого же?

— Да про него, про отшельника Иосифа. Так вот, привычка у него такая есть: как только расскажут ему всё про себя и исповедуются, он, значит, того на прощанье благословит и поцелует в щёку или в лоб.

— Неужели? Ишь чего придумал!

— А потом он, значит, женщин очень боится. А к нему однажды возьми да явись блудница, переодетая во всё мужское, а он ничего не приметил, выслушал всю её брехню, всё, что она наврала, а когда она кончила свою исповедь, он поклонился ей в пояс, а потом дал ей лобызание.

Старший громко расхохотался, но спутник его сразу зашикал, и Иосиф ничего более не услышал, кроме этого подавляемого смеха.

Он взглянул на небо. Над кронами пальм висел резко очерченный серп месяца. Иосиф содрогнулся от ночного холода. В вечерней беседе погонщиков верблюдов словно в кривом зеркале и всё же весьма поучительно явилось ему его собственное отражение и отражение той роли, которой он уже успел изменить. Итак, какая-то блудница посмеялась над ним. Что ж, это, конечно, не самое страшное, хотя и неприятно.

Долго ещё Иосиф думал над разговором двух погонщиков. Наконец перед самой зарёй ему удалось уснуть, но только потому, что размышления его оказались не напрасными, они привели к определённому результату, решению, и с этим новым решением в душе он крепко заснул и проспал до самого рассвета.

А решение его было как раз таким, какое младший погонщик не мог бы уразуметь и постигнуть. Решение его состояло в том, чтобы последовать совету старшего проводника и посетить Диона, по прозванию Пугиль, о котором он давно уже знал и которому сегодня при нём пропели такую убедительную хвалу. Этот прославленный исповедник, пастырь и наставник, уж наверное, найдёт для него должный совет, должную кару, верный суть. Ему-то хотел Иосиф вверить себя как наместнику бога, чтобы покорно исполнить всё, что тот ему прикажет.

Рано утром, когда оба погонщика верблюдов ещё спали, он отправился к путь и в этот же день в усердном своём странствии достиг тех мест, где, как он знал, жили святые отцы и откуда он надеялся попасть на большую дорогу, ведущую в Ашкелон.

Подходя в сумерки к оазису, он увидел при-

ветливые кроны пальм, услышал блеяние козы, среди зелёных теней ему почудились крыши хижин, запах человеческого жилья, а когда он нерешительно приблизился, ему вдруг показалось, что кто-то пристально смотрит на него. Иосиф остановился, оглядел всё вокруг и под первыми же деревьями увидел человека, сидевшего там прислонясь к стволу пальмы, старого и прямого, с седой бородой, достойным, но суровым и неподвижным лицом. Этот человек, должно быть, и смотрел на него так пристально и уже довольно давно. Взгляд его был острым, и твёрдым, однако лишённым всякого выражения, как взгляд человека, привыкшего наблюдать, но никогда не проявлявшего ни любопытства, ни участия, взгляд человека, который позволяет людям и вещам проходить мимо себя, пытается понять их, но никогда не привлекает их и не зовёт.

— Хвала Иисусу Христу! — приветствовал его Иосиф.

Старец ответил неразборчивым бормотанием.

— Простите меня, — вновь обратился к нему Иосиф. — Вы здесь тоже чужой, как я, или же обитаете в этом славном селении?

— Чужой, — ответил седобородый.

— Досточтимый, может быть, вы скажете мне, возможно отсюда попасть на ашкелонскую дорогу?

— Скажу, — ответил старик, с трудом поднимаясь. Теперь он стоял во весь свой рост — сухощавый великан — и смотрел в пустынную даль. Хотя Иосиф и почувствовал, что старец не расположен к беседе, он всё же решился задать ещё один вопрос.

— Позвольте мне спросить вас ещё об одном, досточтимый, — произнёс он вежливо, заметив, что взгляд старца словно бы возвратился издалека, вновь обратившись к ближайшему окружению. Холодно и внимательно старец рассматривал его. — Быть может, вы знаете, где обитает отец Дион по прозванию Дион Пугиль?

Великан чуть сдвинул брови, и взгляд его стал ещё холодней.

— Я знаю его, — ответил он сдержанно.

— Вы его знаете? — воскликнул Иосиф. — Тогда скажите, где мне найти отца Диона? Ведь я направляюсь к нему.

Великан испытующе смотрел на него с высоты своего огромного роста. Он заставил Иосифа долго дожидаться ответа. Затем он отошёл к пальме, где сидел до этого, сел как и прежде, прислонившись

к стволу дерева, и скупым жестом пригласил Иосифа присесть.

Иосиф послушно принял приглашение и, когда сел, на мгновение ощутил гнетущую усталость, но вскоре забыл о ней, обратив всё своё внимание на старца. А тот погрузился в раздумье, и на его строгом, важном лице появилось выражение недоступности, а поверх него как бы легло ещё другое выражение, если не другое лицо, словно прозрачная маска, — выражение старого одинокого горя, которому гордость и достоинство не позволяют излиться.

Прошло много времени, прежде чем взгляд досточтимого старца вновь обратился к пришельцу. С особой остротой он взглянул на него, как бы вновь подвергая испытанию, и наконец в повелительном тоне спросил:

— А кто вы такой?

— Пустынник, — ответил Иосиф. — Уже многие годы я веду жизнь отшельника.

— Вижу. Но я спросил: кто вы?

— Меня зовут Иосиф, по прозванию Фамулус.

Как только Иосиф произнёс своё имя, старик, остававшийся всё время недвижимым, так резко сдвинул брови, что глаза его на мгновение почти исчезли; казалось, сообщение Иосифа задело,

ужаснуло или разочаровало его, но, возможно, это была всего лишь усталость глаз, кратковременное ослабление внимания, внезапный приступ немощи, какие часто случаются со стариками. Как бы то ни было, он застыл в полной неподвижности и некоторое время прятал глаза за бровями, а когда вновь открыл их, взгляд его изменился, стал, если только это было возможно, ещё более старым, ещё более одиноким, окаменелым и в то же время выжидающим. Губы медленно раздвинулись, и он спросил:

— Я слышал о вас. Вы тот самый, к кому люди ходят исповедоваться?

Иосиф смущённо кивнул — назвать своё имя было для него подобно мучительному разоблачению, и, вот уже вторично встретившись с молвой о себе, он испытал немалый стыд.

Снова и всё так же кратко старик спросил:

— А теперь вы хотите посетить Диона Пугиля? Зачем он вам?

— Я хотел ему исповедаться.

— И вы многого ожидаете от этой исповеди?

— Не знаю. Я чувствую доверие к нему, более того, мне даже кажется, будто голос свыше посылает меня к нему.

— Ну, а после исповеди что вы намерены де-

лать?

— То, что он мне прикажет.

— А если он вам посоветует или прикажет что-нибудь неправильное?

— Не мне судить, правильно это или неправильно, я буду слушать и повиноваться.

Старец не проронил более ни слова. Солнце почти уже скрылось за горизонтом, в листве закричала птица. Иосиф встал и ещё раз робко спросил так и не нарушившего молчания старца:

— Вы сказали, что знаете, где найти отца Диона. Дозволено мне просить вас назвать место и описать путь к нему?

На лице старца показалось что-то похожее на слабую улыбку.

— И вы уверены, — спросил он мягко, — что ваше появление будет ему приятно?

Поражённый этим вопросом, совсем оробев, Иосиф так и остался стоять, где стоял, не ответив старцу.

Затем он сказал:

— Могу ли я хотя бы надеяться, что увижу вас вновь?

— Я ночую здесь, — сказал старик с приветственным жестом, — и пробуду тут некоторое

время после восхода солнца. А теперь ступайте, вы устали и голодны.

Глубоко поклонившись, Иосиф отправился в путь и с наступлением темноты дошёл до небольшого селения. В нём, как в монастыре, жили так называемые анахореты, христиане из разных мест и городов, создавшие себе в этом уединённом месте нечто похожее на приют, дабы без помех вести жизнь простую и чистую, в тишине и созерцании. Иосифу дали воды, накормили, указали ночлег и, понимая, что он устал, ни о чём не расспрашивали. Кто-то прочитал вечернюю молитву, в которой приняли участие и остальные, опустившись на колени. Заключительное «Аминь» было произнесено хором. В другое время встреча с этой общиной набожных людей подарила бы Иосифу радостное переживание, но теперь у него было только одно на уме, и с первыми же предрассветными сумерками он поспешил туда, где накануне покинул старца. Тот спал на земле, завернувшись в тонкую циновку, дожидаясь его пробуждения, Иосиф сел поодаль под деревьями. Скоро спящий повернулся, открыл глаза, развернул циновку, тяжело поднялся и расправил застывшие члены; затем он стал на колени и сотворил утреннюю молитву. Когда он вновь

поднялся, Иосиф подошёл и молча поклонился.

— Ты уже поел? — спросил незнакомец.

— Нет. Я ем только один раз в день и притом лишь после захода солнца. А вы голодны, досточтимый?

— Оба мы люди уже не молодые, и к тому же в пути. Нам лучше подкрепиться перед дорогой.

Иосиф развязал котомку и предложил старцу фиников. Накануне радушно встретившие его люди дали ему с собой хлебец, испечённый из проса, который он теперь также разделил со старцем. Когда оба они закончили трапезу, тот сказал:

— Теперь можно и в путь.

— Мы пойдём вместе? — воскликнул обрадованный Иосиф.

— Да. Ты же просил отвести тебя к Диону. Пойдём.

— Как вы добры! — воскликнул удивлённый и счастливый Иосиф и хотел уже рассыпаться в благодарностях. Однако старец резким жестом заставил его замолчать.

— Никто не добр, как только один бог, — сказал он. — А теперь пойдём. Говори мне «ты», как и я тебе. К чему такие церемонии между двумя старыми пустынниками?

Высокий старец зашагал вперёд, за ним Иосиф. Солнце уже поднялось. Старец, который, по-видимому, очень хорошо знал дорогу, сказал, что к полудню приведёт в тенистое место, где они и переждут самое жаркое время дня. Больше они в пути не говорили.

Только когда в самый зной они достигли места привала, где и расположились на отдых в тени суровых скал, Иосиф вновь обратился к своему проводнику. Он спросил, сколько дневных переходов понадобится, чтобы добраться до Диона Пугиля.

— Это зависит только от тебя, — отвечал старец.

— От меня? — удивился Иосиф. — Да если бы это зависело от меня, я сегодня же был бы у него.

Однако старец и теперь явно не был настроен продолжать разговор.

— Что ж, посмотрим, — только и сказал он и закрыл глаза. Иосифу не хотелось смотреть на спящего, и он тихо отошёл в сторону, прилёг и нечаянно заснул — ведь он почти всю ночь не спал. Старец разбудил его, когда пришло время снова пуститься в путь.

Перед заходом солнца они подошли к месту привала, где был источник, росли деревья и даже

трава. Они утолили жажду, совершили омовение, и старец сказал, что тут они и заночуют. Иосиф нерешительно пытался протестовать:

— Ты сказал недавно, что только от меня зависит, когда мы доберёмся до отца Диона. Я готов идти ещё многие часы, только бы поскорей увидеть его.

— Нет, нет, — сказал старец, — на сегодня хватит.

— Прости меня, — воскликнул Иосиф, — неужели тебе непонятно моё нетерпение?

— Понятно. Но оно не поможет тебе.

— Зачем же ты тогда сказал, что всё зависит только от меня?

— Как я сказал, так оно и есть. Коль скоро ты уверишься в своём желании исповедаться, почувствуешь, что ты готов, созрел для исповеди, ты сможешь приступить к ней.

— И даже сегодня?

— И даже сегодня.

В изумлении всматривался Иосиф в недвижное старческое лицо.

— Возможно ли? — воскликнул он, поражённый. — Ты — отец Дион?

Старец кивнул.

— Отдохни здесь под деревьями, — сказал он

ласково. — Но не спи, а сосредоточь свой дух, да и я хочу отдохнуть и сосредоточиться. Затем ты мне расскажешь то, что ты жаждешь рассказать.

Так Иосиф понял, что достиг своей цели, и только удивлялся, как это он до сих пор не узнал и не понял досточтимого старца, хотя и провёл с ним рядом целые сутки.

Он отошёл в сторону, стал на колени, сотворил молитву и затем направил все свои мысли на то, что он должен был сказать своему духовнику. Час спустя Иосиф снова подошёл к старцу и спросил, готов ли тот.

Теперь исповедь могла начаться. Теперь всё, что он пережил в эти годы и что, казалось, потеряло для него смысл и цену, вылилось в рассказ, полный жалоб, вопросов и самообвинений: это была история жизни христианина и отшельника, жизни, устремлённой к очищению и просветлению и обернувшейся под конец замешательством, омрачённом и отчаянием. Он не умолчал и о пережитом в самое последнее время, о своём бегстве, о чувстве избавления и надежды, которое принесло ему это бегство, о своём решении пойти к Диону, о встрече с ним и о том, как он, хотя и сразу же проникся к нему, к старшему, доверием и любовью, однако же в течение дня,

проведённого вместе, не раз помыслил о нём как о человеке бесчувственном и странном, даже прихотливом.

Солнце стояло уже низко над горизонтом, когда он кончил свой рассказ. Дион внимательно выслушал его от начала до конца, ни разу не прервав, ни о чём не спросив. И теперь, когда Иосиф окончил свою исповедь, старец не открывал рта. Он тяжело поднялся, ласково взглянул на Иосифа, наклонился к нему, поцеловал в лоб и осенил крестным знамением. Только гораздо позднее Иосифу пришло на ум: это был тот самый безмолвный братский жест, отклоняющий роль судьи, с каким он сам отпустил столько кающихся.

Скоро после этого они вместе поели, сотворили вечернюю молитву и легли спать. Иосиф ещё некоторое время раздумывал над тем, почему в ответ на исповедь он не услышал ни проклятий, ни суровой отповеди, и это не обеспокоило его, не разочаровало — одного взгляда, одного братского поцелуя Диона ему оказалось достаточно: душа его была умиротворена, и скоро он погрузился в благодетельный сон.

На следующее утро старец, не произнеся лишних слов, позвал его, и они проделали вместе

долгий путь. Через четыре или пять дней они достигли кельи Диона. Там они и стали жить. Иосиф помогал старцу в домашней работе, узнал его повседневные дела, мало чем отличавшиеся от тех, что приходилось ему выполнять самому в течение столь долгих лет. Но теперь он не был одинок, он жил словно в тени, под защитой Другого, а потому и его теперешняя жизнь была совсем иной. Из ближайших селений, из Ашкелона и из более далёких мест потекли к ним нуждающиеся в совете, в исповеди. Вначале, как только приходил кто-нибудь, Иосиф убегал и появлялся только тогда, когда чужие уходили. Но Дион то приказывал ему принести воды, то помочь ещё в чём-нибудь и так постепенно приучил Иосифа не прятаться, когда сам исповедовал, если исповедовавшийся ничего не имел против. Да и впрямь, многим, вернее сказать, большинству, бывало приятно не оставаться с глазу на глаз с грозным Пугилем и видеть рядом этого тихого, приветливого и услужливого помощника. Так Иосиф мало-помалу узнал, как исповедовал Дион, как утешал, как вмешивался и устраивал людские жизни, как карал и как советовал. Лишь изредка он позволял себе вопросы, как это случилось после речей одного странствующего учёного или

любителя наук.

У этого человека, как явствовало из его рассказа, были друзья среди магов и звездочётов.[89] Расположившись на отдых, он просидел час или два у старых отшельников, выказав себя гостем вежливым и словоохотливым, и пространно, учено и красноречиво говорил о созвездиях и о странствии человека вместе со своими богами через все дома Зодиака в продолжение мирового эона. Он говорил об Адаме, первом человеке, о его тождестве с Иисусом Распятым, и называл миссию Иисуса Адамовым странствием от Древа Познания к Древу Жизни, а райского змия именовал хранителем священного праисточника тёмной бездны, из ночных вод которой возникают все воплощения, все люди и боги. Дион

---

[89] Примечания: [89]

Рассказ учёного незнакомца содержит подлинные понятия и учения позднеантичного гностицизма, а также стилизованные в гностическом духе моменты доктрины Юнга (см. комм. [9]).

[9] Примечания: [9]

Гностические вероучение, распространённые к началу нашей эры в городах эллинизированного Ближнего Востока и являвшие собой соединение греческой философии и восточной мистики, были её времён работы над романом «Демиан», то есть с конца 10-х гг., предметом живейшего интереса со стороны Гессе (ср. образ гностика-астролога в новелле «Исповедник», входящей в настоящую книгу).

В гностицизме Гессе привлекала попытка схватить целостность бытия в её извечной двуполярности, привести к противоречивому синтезу рациональное и иррациональное, идею порядка и её отрицание и т.п.

внимательно слушал рассказ учёного, сирийская речь которого была сильно уснащена греческими словами, а Иосиф был немало удивлён, даже возмущён: почему Дион не гневается, не ополчается против его языческих заблуждений, не опровергает их, не проклинает, напротив, казалось, этот умный монолог всезнающего паломника доставляет ему удовольствие, как будто даже вызывает его участие, ибо Дион не только весь обратился в слух, но даже улыбался и частенько кивал в ответ речам, словно они были ему по душе.

Когда учёный ушёл, Иосиф, не выдержав, спросил с упрёком:

— Как это у тебя достаёт терпения выслушивать языческие лжеучения? Мне показалось, что ты внимал ему даже с участием, как будто его россказни ласкали твой слух. Почему ты не возражал? Почему не попытался его опровергнуть, обличить в обратить к вере в господа нашего?

Покачивая головой, сидевшей на тонкой, морщинистой шее, Дион ответил:

— Я не опровергал его, ибо это не принесло бы никакой пользы, да я б не смог бы его опровергнуть. В рассуждениях и силлогизмах, в мифологических и астрологических познаниях этот человек намного превосходит меня, я не

справился бы с ним. К тому же, сын мой, не моё и не твоё это дело нападать на чью-либо веру с утверждениями, будто вера эта есть ложь и заблуждение. Поистине я слушал этого умного человека не без удовольствия, ты это правильно подметил. Удовольствие мне доставляло его умение говорить, его обильная учёность, но прежде всего то, что он напомнил мне мою молодость, ибо в молодые годы я занимался этими же науками. Мифы, о которых наш гость так мило с нами беседовал, никоим образом не заблуждения. Это представления и притчи некой веры, в которой мы уже не нуждаемся, ибо мы обрели веру в Иисуса, единственного Спасителя. Для тех же, кто ещё не нашёл нашей веры и, быть может, никогда её не найдёт, их нынешняя вера, берущая начало в мудрости предков, достойна уважения. Разумеется, дорогой мой, наша вера иная, совсем иная. Но если наша вера не нуждается в учении о созвездиях и эонах, ночных водах, мировых материях и прочих подобных символах, это отнюдь не означает, что учения эти ложь и обман.

— Но ведь наша вера, — воскликнул Иосиф, — совершеннее, и Иисус принял смерть ради всех людей: стало быть, мы, познавшие его, должны оспаривать устаревшие учения и ставить на их

место новые, истинные!

— Это мы с тобой, да и многие другие давно уже сделали, — спокойно ответил Дион. — Мы — верующие, ибо нами овладела вера, то есть власть Искупителя и его искупительной смерти. А те, другие, мифологи и теологи Зодиака, адепты древних учений, не подпали под эту власть, ещё не подпали, и нам не дано принуждением привести их под эту власть. Разве ты не заметил, Иосиф, как тонко и умно умеет этот мифолог говорить и выстраивать свою игру подобия и какое он получает от этого удовольствие, как умиротворённо и гармонично живёт, погрузившись в мудрость притч и символов своей мифологии? Видно, что этого человека не гнетёт никакое тяжкое горе, он доволен, ему хорошо. А тому, кто доволен, нам нечего сказать. Чтобы человек взалкал спасения и веры в Спасителя, чтобы он утратил вкус к гармонии и мудрости своих понятий и отважился на великое дерзание веры в искупительное чудо, — для этого надобно, чтобы ему стало плохо, очень плохо, он должен пережить боль и разочарование, горечь и отчаяние, должен почувствовать, что стоит на краю пропасти. Нет, Иосиф, пусть же этот учёный язычник пребывает а своём благополучии, пусть упивается своей премудростью,

своими мыслями и своим красноречием! Быть может, завтра или через год, а то и через десять лет он узнает горе, которое развеет в прах его искусство и его мудрость, быть может, убьют жену, которую он любит, или единственного сына, или его настигнут болезнь и нищета, и если мы тогда встретим его, мы примем в нём участие и поведаем ему, как мы попытались одолеть своё горе. И когда он спросит: Почему же вы не сказали мне этого вчера или десять лет назад?» — мы ответим: «Не знал ты тогда, что такое истинное горе».

Дион умолк, казалось, он над чем-то задумался. Затем, весь уйдя в воспоминания, добавил:

— Я и сам некогда немало поиграл с преданиями отцов и утешался ими, и когда я уже вступил на путь креста, богословствование часто доставляло мне радость, хотя, впрочем, и достаточно горя. Более всего меня занимало сотворение мира, ведь в конце трудов творения всё должно было быть устроено наилучшим образом, ибо написано: «И увидел бог всё, что он создал, и вот, хорошо весьма»[90]. На самом же деле хорошо и совершенно всё было только одно мгновение, мгновение Рая, и уже в следующее мгновение в

[90] Примечания: [90]
Слова ветхозаветной Книги Бытия, 1, 31.

это совершенство вторглись вина и проклятие, ибо Адам вкусил от древа, от коего вкушать ему было запрещено. И вот были духовные учители, говорившие: бог, который сотворил мир и в нём Адама и Древо Познания, — не единый, не всевышний бог,[91] а лишь часть его, или подчинённый бог Демиург, а творение его нехорошо, оно не удалось ему и на целую эру проклято и предано злу, покуда Он сам, единый Бог-Дух, через сына своего не положил конец веку проклятия. И тогда, как учили они, да и я так полагал, началось отмирание Демиурга и его творения, и мир постепенно отмирает и увядает, покуда в новом веке не останется более творения, мироздания, плоти, греха и страстей, плотского зачатия, рождения и умирания, но возникнет мир совершенный, духовный и чистый, избавленный от проклятия Адама, избавленный от вечного проклятия и насилия страстей, зачатия, рождения и смерти. Вину же за недостатки этого мира мы скорее возлагали на Демиурга, чем на первого человека, мы находили, что Демиургу, будь он истинным богом, ничего не стоило бы создать Адама другим или же избавить его от искушения. Так, в итоге

[91] Примечания: [91]

Это учение было введено еретическим епископом Синопы Маркионом (середина II в.) и принято рядом гностических сект.

наших рассуждений, у нас появилось уже два бога — бог-творец и бог-отец, и мы даже смели судить и осуждать первого. Попадались среди нас и такие, что шли ещё дальше и утверждали, что мир сотворён не богом, а дьяволом. Мы считали, что нашим умствованием помогаем Спасителю и грядущей эре Духа и лепили богов, миры и мировые судьбы, спорили и богословствовали, покуда я однажды не слёг в лихорадке и не разболелся до смерти, но и в бреду я не расставался с Демиургом, должен был вести войны и проливать кровь; мои видения делались всё страшней, а в ночь, когда жар дошёл до предела, мне почудилось, что я должен убить свою мать, дабы изгладить своё собственное плотское рождение. Дьявол терзал меня в этих лихорадочных сновидениях как нельзя ужаснее. Однако я выздоровел и, к досаде своих прежних друзей, вернулся к жизни тупым и скучным молчальником, правда, быстро возвратившим себе телесную силу, но утратившим вкус к философствованию. Ибо в дни и ночи выздоровления, когда меня уже не мучили видения и я почти всё время спал, я в каждый миг бодрствования беспрестанно ощущал рядом с собой Спасителя, ощущал силу, исходившую от него и входившую в меня, и когда я выздоровел,

мне сделалось грустно оттого, что я уже не мог так ощущать его близость. Но вместо этого я испытал великое томление по этой близости, и вот открылось: стоило мне послушать прежние споры и диспуты, как я чувствовал, что это томление — тогда лучшее моё достояние — начинало исчезать и растекаться в мыслях и словах, как вода в песке. Вот так, мой друг, я и дошёл до конца своего умствования и богословствования. С тех пор я принадлежу к простецам. И всё же я не хотел бы быть помехой и отказывать в уважении тем, кто знает толк в философствовании и в мифологии, кто играет в те игры, в которые и я когда-то играл. Если уж мне самому когда-то пришлось признать, что Демиург и Бог-Дух, что творение и спасение в своём непостижимом единовременном и неразделимом бытии суть неразрешимая загадка, то мне следует признать и то, что я не в силах превратить философа в верующего. Не моя это обязанность.

Однажды после того, как кто-то на исповеди признался Диону в убийстве и прелюбодеянии, Дион сказал своему келейнику:

— Убийство и прелюбодеяние — это звучит очень страшно и громко, да и поистине это дурно, ещё бы! Но я скажу тебе, Иосиф, в действитель-

ности миряне эти не настоящие грешники. Стоит мне вообразить себя одним из них, словно бы воплотиться в него, как они представляются мне совсем детьми. Они не добры, не благородны, они корыстны, похотливы, надменны, злобны, — всё это верно, но на самом деле, если смотреть в корень, они невинны, невинны именно в том смысле, в каком невинны дети.

— И тем не менее, — заметил Иосиф, — ты сурово призываешь их к ответу и грозишь им всеми муками ада.

— Да, именно поэтому. Ведь они дети, и если в них заговорила совесть и они проходят исповедоваться, то они хотят, чтобы их принимали всерьёз в всерьёз же их отчитывали. Во всяком случае, я так думаю. Ты-то в своё время поступал иначе: ты не бранил, не карал, не накладывал епитимьи, но был с ними ласков и отпускал их с братским поцелуем. Не буду порицать тебя, нет, но я на это не способен.

— Да, — колеблясь сказал Иосиф, — но почему же тогда, когда ты выслушал мою исповедь, ты со мной обошёлся не так, как с остальными, а молча поцеловал, ни слова не сказав в укор?

Дион Пугиль устремил на него свой проницательный взгляд.

— Разве то, что я сделал, было неправильно? — спросил он.

— Я не хочу сказать, что это было неправильно. Это было правильно, иначе исповедь не оказала бы на меня такого благотворного действия.

— Что ж, оставим это. Но я же наложил на тебя тогда строгую кару, хотя и не облёк её в слова. Я взял тебя с собой и обращался с тобой как со слугой, я вернул тебя к тем обязанностям, от которых ты хотел бежать.

И Дион отвернулся, он не любил долгих бесед. Но на сей раз Иосиф не отступал.

— Ты тогда уже знал, что я подчинюсь тебе, я это обещал тебе ещё до исповеди, даже до того, как я понял, кто ты. Нет, скажи мне, ты действительно только потому так повёл себя со мной?

Дион прошёлся несколько раз взад и вперёд, стал перед Иосифом, положил ему руку на плечо и сказал:

— Миряне — дети, сын мой. А святые — святые не приходят к нам исповедоваться. Но мы с тобой и подобные нам, аскеты, ищущие, отшельники, мы не дети и мы не невинны, проповедями нас не переделаешь. Мы, мы — истинные грешники, ибо знаем, мыслим, вкусили от Древа Познания, и не к лицу нам обращаться друг с другом, как с

детьми, которых наказывают розгами и потом снова отпускают побегать. Мы же не убегаем после исповеди и покаяния в ребяческий мир, где празднуют праздники, занимаются делами, а время от времени убивают друг друга; для нас грех — не краткий и страшный сон, который можно отогнать от себя покаянием и жертвой, мы пребываем в нём постоянно, мы никогда не невинны, мы всегда греховны, мы пребываем в грехе и в огне нашей совести и мы знаем, что нашей великой вины нам никогда не искупить, разве что господь после смерти нашей смилуется над нами и примет нас в лоно своё. Вот почему, Иосиф, я не буду читать проповеди и определять епитимьи ни тебе, ни себе. Ведь мы имеем дело не с теми или иными проступками или злодеяниями, но неизменно с самой изначальной виной, поэтому один из нас может только заверить другого в понимании и братской любви, но не исцелять его карой. Разве ты не знал этого?

Иосиф тихо ответил:

— Да, это так. Я знал это.

Тогда старец молвил:

— Не будем же терять времени на пустые речи, — и направился к камню перед кельей, где, как всегда, преклонил колена для молитвы.

Прошло несколько лет. Отец Дион всё чаще страдал приступами немощи, так что Иосиф по утрам должен был помогать ему, ибо сам он не в силах был встать. Затем старец шёл молиться, но и после молитвы он тоже не мог сам подняться. Иосиф помогал ему, а потом Дион весь день сидел на одном месте и смотрел вдаль. Но так бывало не всегда, в иные дни он сам вставал. Однако выслушивать исповеди каждый день он тоже не мог, и когда кто-нибудь исповедовался у Иосифа, Дион подзывая его к себе и говорил: «Дни мои сочтены, сын мой, и конец близок. Скажи людям: этот Иосиф заступит моё место». И если Иосиф пытался высказать своё несогласие, старец устремлял на него свой ужасающий взгляд, от которого леденело сердце.

Однажды, когда Дион поднялся, не опираясь на своего помощника, и казался бодрее, чем обычно, он подозвал Иосифа и повёл его в дальний угол их небольшого сада.

— Вот здесь, — молвил он, — ты похоронишь меня. А могилу мы выкопаем с тобой вместе, время у нас ещё есть. Принеси заступы.

С этого дня они утрами понемногу копали могилу. Когда Дион мог, он сам выкидывал несколько лопат земли, правда, с превеликим трудом,

однако всегда весело, будто труд этот для него удовольствие. Да и весь день потом он бывал весел; с тех пор как они вместе начали копать могилу, безмятежное состояние духа не покидало отца Диона.

Как-то он сказал Иосифу:

— На моей могиле посади пальму. Может быть, ты ещё отведаешь её плодов, а ежели нет, то кто-нибудь другой насладится ими. Время от времени я сам сажал деревья, но мало, слишком мало. Говорят, мужчина, прежде чем умереть, должен посадить дерево и оставить после себя сына. Что ж, я оставлю после себя дерево и тебя: ты же сын мне.

Теперь он всегда был спокоен и как-то светел, не такой, каким его раньше знал Иосиф. Однажды вечером — темнота быстро сгущалась, они уже поужинали и помолились — Дион позвал Иосифа к своему ложу и попросил посидеть с ним.

— Я хочу тебе рассказать кое-что, — сказал он ласково, и Иосифу показалось, что старец вовсе не устал за день, не хочет спать. — Ты помнишь, Иосиф, те дурные времена, когда ты жил в своей келье под Газой, и жизнь тебе опротивела. И как ты пустился в бегство, решив разыскать старого Диона и поведать ему о своей жизни? И как в

селении анахоретов ты повстречал старика и спросил его, где тебе найти Диона Пугиля? Ну так вот — разве не показалось тебе чудом, что старик этот и был сам Дион? Теперь я хочу рассказать тебе, как это всё случилось, — ведь и я воспринял это как чудо.

Ты знаешь, как это бывает, когда к отшельнику и исповеднику приходит старость, и он уже выслушал исповеди многих грешников, которые почитают его безгрешным и святым, не ведая, что он больший грешник, нежели они. И вот ему все дела его вдруг представляются ненужными и суетными, и то, что прежде было для него святым и важным, ибо сам господь удостоил и назначил его выслушивать и врачевать грязь и мерзость душ человеческих, — всё это теперь кажется ему тяжким, непомерно тяжким бременем, подлинным проклятием, и в конце концов ему становится тошно при виде каждого бедняка, идущего к нему со своими ребяческими грехами, он хочет избавиться от него, да и от самого себя, хотя бы через посредство верёвки, перекинутой через сук. Таково-то было у тебя на душе. А теперь настал час моей исповеди, и я признаюсь тебе: и со мной было то же самое, и я казался себе бесполезным и духовно мёртвым, и не в силах я был

терпеть, чтобы люди с доверием несли ко мне всю срамоту и мерзость человеческую, с которыми сами не могли справиться и с которыми я тоже не мог справиться.

В ту пору я часто слышал об одном отшельнике по имени Иосиф Фамулус. И к нему, как и ко мне, люди охотно шли исповедоваться, и многие охотнее к нему, чем ко мне, ибо был он, по слухам, человек мягкий и ласковый, и люди говорили, что ничего-то он не требует от них, не бранит их, а обходится с ними, как с братьями, просто выслушивает и отпускает с лобызанием. Нет, это было не по мне, ты знаешь это, и когда я впервые услышал об этом Иосифе, мне его манера показалась глупой и чересчур уж детской; но в ту пору, когда всё, что бы я ни делал, вызывало у меня сомнения — правильно ли я поступаю сам, — у меня были все основания воздерживаться от осуждения Иосифа. Но какой же силой должен был обладать этот Иосиф? Я знал, что он моложе меня, однако тоже близок к старости, и мне это было приятно, молодому я не мог бы довериться. А к этому меня сразу потянуло. И вот я решил отправиться к Иосифу Фамулусу, поведать ему о своей беде, испросить у него совета, а ежели он и не посоветует мне ничего, почерпнуть у него

утешение, укрепить дух свой. Уже одна эта мысль сказалась на мне благотворно, и мне стало легче.

Итак, я отправился в путь и стал искать место, где, по слухам, стояла его келья. Но тем временем брат Иосиф пережил то же, что пережил я, принял такое же решение, какое принял я, и каждый из нас обратился в бегство, чтобы испросить у другого совета. И когда я, ещё не добравшись до его кельи, встретился с ним, то узнал его с первых же слов, да и был он таким, каким я представлял его себе. Но в то же время он был беглецом, ему было худо, так же худо, как и мне, а то и ещё хуже, он и не помышлял о том, чтобы выслушивать чьи бы то ни было исповеди, — нет, он сам жаждал исповедоваться, сам хотел переложить свою беду на чужие плечи. В тот час это принесло мне большое разочарование, и мне стало очень грустно. Ведь если и этот Иосиф, не знавший меня совсем, устал от своего служения и разуверился в смысле своей жизни, то не значит ли это, что мы оба ничего не стоим, оба прожили бесполезную жизнь и потерпели поражение?

Я буду краток, я ведь рассказываю тебе то, что ты сам пережил. Когда ты после нашей встречи отправился просить ночлега в селении анахоретов, я остался один, углубился в себя, вошёл в

состояние этого Иосифа я подумал: что он будет делать, узнав завтра, что напрасно бежал, напрасно понадеялся на этого Пугиля, что и Пугиль — беглец, гонимый искушениями? И чем больше я входил в него, тем большее сочувствие вызывал он во мне, тем неотвязней преследовала меня мысль, что этот Иосиф ниспослан мне богом, дабы я узнал и уврачевал его, а с ним и себя. Это меня успокоило, и я смог заснуть, ведь полночь уже миновала. На следующий день мы вместе отправились в дорогу, и ты стал мне сыном.

Вот что я хотел тебе рассказать. Я слышу, ты плачешь. Поплачь, это облегчит тебе душу. И раз уж я столь неподобающе разговорчив, то будь любезен, выслушай и сохрани в своём сердце ещё и такие мои слова: человек непостижим, полагаться на него нельзя, а потому не исключено, что настанет время — и прежние муки и соблазны вновь начнут досаждать тебе и попытаются одолеть, и да ниспошлёт тебе тогда господь в утешение столь же ласкового и терпеливого сына и келейника, какого он в твоём лице даровал мне. А что до того сука, о котором искуситель заставил тебя грезить, и смерть злосчастного Иуды Искариота, то я скажу тебе одно: готовить себе подобную смерть не только грех и неразу-

мие, хотя Спасителю нашему ничего не стоит простить и такой грех. Но сверх того, обидно, когда человек умирает, отчаявшись. Отчаяние бог посылает нам не для того, чтобы умертвить нас; он посылает нам его, чтобы пробудить в нас новую жизнь. Но когда он посылает нам смерть, Иосиф, когда он отрешает нас от земли и плоти и призывает к себе, то это великая радость! Если тебе разрешено уснуть, когда ты устал, разрешено скинуть бремя, столь долго тобой носимое, — это прекрасное и удивительное дело. С тех пор как мы с тобой вырыли могилу, — не забудь о пальме, которую я просил тебя посадить, — с тех пор как мы начали копать могилу, я стал таким спокойным и довольным, как ты был уже много лет.

Видишь, как я разболтался, сын мой, ты, должно быть, устал. Ступай, выспись, ступай в свою келью, господь с тобой!

На следующий день старец не вышел к утренней молитве и не позвал Иосифа. Когда тот, встревоженный, тихо вошёл в келью и подступил к одру Диона, он увидел, что Дион уже опочил и его лицо озарено детской, тихо лучащейся улыбкой.

Иосиф предал тело старца земле, посадил на могиле дерево и дожил ещё до того лета, когда

дерево принесло первые плоды.

Индийское жизнеописание

Некий князь демонов, сражённый стрелой, слетевшей с месяцеподобного лука Вишну (или Рамы, в котором воплотилась часть естества Вишну), в одной из неистовых битв того с демонами, вернулся в образе человека в круговорот перевоплощений, носил имя Равана[92] и жил на берегу великой Ганги жизнью воинственного государя. Он и был отец Дасы. Мать Дасы умерла рано, и едва только её преемница, женщина красивая и тщеславная, родила князю сына, как уже маленький Даса стал ей поперёк дороги; вместо него, перворождённого, она мечтала увидеть

---

[92] Примечания: [92]

Имена героев этой новеллы довольно свободно выбраны из сокровищницы имён, фигурирующих в наиболее известных индийских сказаниях. Демон **Равана**, участвовавший в битве демонов с Рамой, известен по «Рамаяне». **Васудева** — имя брахмана, который был министром последнего представителя династии Шунга и в результате переворота сам основал новую династию Канваяна ок. 72 г. до н.э. **Нала**, соперник Дасы в борьбе за власть и за женщину, носит то самое имя, которое со времён Жуковского известно русскому читателю как «Наль». Имя «**Правати**» заставляет вспомнить обольстительную супругу бога Шивы Парвати, любострастными мыслями о которой Камадева пытался отвратить Шиву от аскетического подвига. То же относится и к прочим именам, кроме имени **Дасы**, по своему смыслу соответствующего именам «Кнехт», «Слуга», «Фамулус».

собственного сына Налу восходящим на престол, сумела охладить чувства отца к Дасе к задумала при первом удобном случае убрать пасынка с дороги. Однако от одного из придворных брахманов Раваны, опытного в жертвоприношениях Васудевы, не утаился её замысел, и умному старику удалось его расстроить. Ему было жаль мальчика, и к тому же он усмотрел в нраве маленького царевича унаследованные от матери задатки благочестия и чувства долга. Он стал оберегать Дасу, поджидая, когда представится возможность увезти его от мачехи.

Было у раджи Раваны стадо посвящённых Брахме коров, их блюли в чистоте и от молока и масла их этому богу приносились частые жертвы. На лучших пастбищах страны паслись эти коровы. Однажды ко двору явился пастух священного стада, сдал масло и сообщил, что в тех местах, где они пасут коров, ожидается великая засуха, а потому они, пастухи, сговорились отогнать стадо ближе к горам, где и в самую сушь не иссякают родники и всегда вдоволь свежего корма. Не первый год брахман Васудева знал этого пастуха как человека доброго и верного, а потому и доверился ему, и когда на следующий день маленький Даса, сын Раваны, исчез и не был найден, только Васудева

и пастух знали тайну его исчезновения. Отрока Дасу пастухи увели к дальним холмам, там они нагнали медленно кочующее стадо, и Даса легко и охотно сошёлся с пастухами, рос пастушонком, помогал стеречь и перегонять коров, научился доить, играл с телятами, спал в тени деревьев, пил сладкое молоко, и босые его ноги всегда были вымазаны в навозе. Ему это очень нравилось, он узнал жизнь пастухов, повадки стада, узнал лес с его деревьями и плодами, полюбил манго, дикую смокву и дерево варингу, вылавливал из зелёных омутов сладкий корень лотоса, по праздникам сплетал себе венок из красных цветов пламника, привык остерегаться диких зверей, избегать встреч с тигром, дружить с умной мангустой и весёлым ежом и пережидать время больших дождей в полутёмном шалаше; здесь пастушки играли в свои игры, пели гимны, плели циновки и корзины. Хотя Даса и не до конца забыл свою прежнюю родину и прежнюю жизнь, но вскоре они стали для него далёким сном.

И вот однажды, когда стадо перекочевало на новые пастбища, Даса пошёл в лес, он хотел полакомиться мёдом. С тех пор как он впервые побывал в лесу, он очень полюбил его, а этот лес показался ему особенно красивым: словно

золотые змеи, струились солнечные лучи меж листьев и ветвей, птичий щебет, крик обезьян, шёпот листвы — весь лесной гомон представлялся Дасе тихо сияющим сплетением, и все запахи леса — цветов и листьев, воды и зверей, плодов и ягод, земли и мха, то терпкие, то сладкие, то бодрящие, то дурманящие, то дикие и неведомые, то родные и близкие — тоже как бы сплетались и расплетались, будто солнечные лучи. Порой в непроницаемой глубине оврага слышалось журчание ручья, над белыми зонтиками порхала бабочка с чёрными и жёлтыми крапинками на изумрудных крыльях, в синеватой глубине чащи трещал сук, глухо шуршала опавшая листва, во мраке ревел зверь или неугомонная обезьяна бранилась со своими товарками… Позабыв о мёде, Даса прислушивался к пению переливчато сверкающих райских птичек, и вдруг среди густых зарослей папоротника, росшего как бы маленьким лесом в этом огромном лесу, увидел чей-то след, будто кто-то вытоптал здесь узкую тропинку. Бесшумно, соблюдая осторожность, он пошёл по ней и неожиданно под огромным многоствольным деревом обнаружил шалаш, сплетённый из папоротника и похожий на островерхую палатку, а рядом — очень прямо и неподвижно сидящего

на земле человека, руки которого покоились между скрещённых ног, а из-под седых волос и широкого лба на землю смотрели спокойные невидящие глаза, хотя и открытые, но обращённые только вовнутрь. Даса понял: это святой муж, йог, он и раньше видел таких, — это были люди чтимые, угодные богам, почиталось за благо подносить им дары и оказывать почести. Но этот, сидевший в самоуглублении перед своим столь тщательно скрытым шалашом из папоротника так прямо и спокойно опустив руки, полюбился мальчику особо и показался ему удивительней и почтеннее всех виденных им дотоле. Этого человека, невесомо восседавшего и своим отрешённым взглядом, казалось, всё видевшего и проницавшего, окружала некая аура святости, запретный круг достоинства, огненная волна йогической силы, которую мальчик не смел ни преступить, ни разорвать приветствием или восклицанием. Величие и достоинство йога, его облика, внутренний свет, которым светилось его лицо, сосредоточенность и железная неуязвимость всех его черт излучали волны и лучи, в средоточии которых он плавал подобно луне, и сгусток духовной силы, безмолвно сосредоточенная воля во всём его облике образовывали окрест

него такой магический круг, что чувствовалось: не поднимая глаз, одним желанием, одной мыслью своей этот человек способен убить и вновь вызвать к жизни.

Неподвижнее дерева, ибо ветви его всё же дышат и листья колышутся, неподвижно, как каменный истукан, сидел йог, и так же неподвижно, словно закованный в цепи, застыл перед ним мальчик с того мгновения, как заметил его, не в силах сойти с места, не в силах пошевельнуться и нарушить очарование. Он стоял и смотрел на йога, видел солнечный блик на его плече и ещё один на покоящихся руках, видел, как блики медленно передвигаются, как возникают новые, начал в изумлении понимать, что эти блики никак не связаны с йогом, да и птичий гомон вокруг, и крики обезьян в глубине леса, и мохнатая лесная пчёлка, севшая аскету на лицо, понюхавшая кожу, пробежавшая по щеке, а затем поднявшаяся и улетевшая, — вся многоликая жизнь леса, всё это, чувствовал Даса, всё, что видит глаз, слышит ухо, всё красивое и безобразное, всё приятное и устрашающее — всё это не имело никакого отношения к святому мужу: дождь не мог бы охладить его и досадить ему, огонь не мог его обжечь, весь окружающий мир для него

лишь поверхность, лишённая всякого значения. Догадка о том, что весь мир и впрямь лишь поверхность, дуновение ветра и зыбь волны над неизведанными глубинами, возникла у засмотревшегося царевича-пастушка не мыслью, но лёгкой дрожью пробежала по его телу, как что-то похожее на головокружение, как чувство ужаса и грозящей опасности, а вместе с тем и как великая тоска и притягательная сила. Ибо, представилось ему, йог сквозь поверхность мира, сквозь мир поверхности погрузился в основание сущего, в тайну всех вещей, он прорвал колдовские тенёта чувств, обманы света, звуков, красок, ощущений, он скинул их с себя и теперь прочно укоренился в сущностном и незыблемом. Мальчик, хотя и побывал в школе у брахманов и воспринял от них толику духовного света, понял это не разумом, и словами он ничего не смог бы сказать об этом, — он ощутил это, как в блаженный час ощущаешь близость божественного, как трепет почитания и удивления перед этим человеком, как любовь к нему, как тоску по жизни, какой, казалось, жил этот йог в своём самоуглублении. Даса стоял всё на том же месте, и в памяти его, благодаря йогу, чудесным образом всплыло воспоминание о его княжеском и царском достоинстве, душа его тре-

петала, и здесь, на краю папоротниковой рощи, он не слышал ни птиц, ни шелестящей беседы деревь, он позабыл и о лесе, и о далёком стаде — он подпал под власть волшебства и смотрел на отшельника, захваченный непостижимой тишиной и неприкосновенностью всей его фигуры, светлым покоем лица, силой и средоточием осанки, ибо старец воплощал для него служение службе своей.

Сказать потом, провёл ли он возле шалаша час или два, день или неделю, — он не мог. И когда очарование исчезло, когда он бесшумно скользил по тропе через заросли папоротника, затем отыскал путь, выведший его из леса, и наконец вновь очутился на пастбище вблизи от стада — он проделал это, не сознавая, что делает, и душа его всё ещё была зачарована, и пробудился он лишь, когда кто-то из пастухов его окликнул. Пастух сразу набросился на него с бранью за столь долгое отсутствие, но Даса только удивлённо посмотрел на него широко раскрытыми глазами, и пастух умолк, он был сражён столь необычным и отчуждённым взглядом и всем торжественным видом мальчика. Немного спустя он спросил:

— Где же это ты был, дорогой? Может, бога какого увидел или демона повстречал?

— Я был в лесу, — ответил Даса, — меня потянуло туда, я хотел собрать мёду. А потом увидел там человека, отшельника, и забыл обо всём, а он сидел, задумчивый такой, или, может быть, это он молился, а я, как увидел его светящееся лицо, так и застыл и долго-долго не мог оторвать глаз. Можно, я вечером опять пойду к нему и отнесу ему что-нибудь, — он святой человек.

— Так и сделай, — ответил пастух, — отнеси ему молока и масла: святых надо чтить и надо им подавать.

— А как мне называть его?

— Никак. Поклонись ему, да поставь, что принёс, вот и всё.

Так Даса и сделал. Он довольно долго плутал, прежде чем снова нашёл то место. Перед шалашом никого не было, а войти Даса не посмел, и он поставил всё, что принёс, прямо на землю перед входом и удалился.

Каждый вечер, покамест они пасли стадо в тех краях, Даса относил дары к шалашу, а однажды побывал там днём и вновь увидел отшельника в состоянии самоуглубления; оцепенев, он опять не устоял перед соблазном воспринять луч от сияния, излучаемого благостной силой святого. И ещё долго после того, как они покинули этот

край и Даса помогал перегонять стадо на новые пастбища, он не мог забыть всего пережитого в лесу, а порою, как это часто бывает с мальчиками, оставаясь один, он предавался мечтам и видел себя на месте отшельника и мудрого йога. Но мало-помалу воспоминания и мечты поблекли, и блекли они тем быстрей, чем больше Даса подрастал, становился сильным юношей, с радостной жаждой отдававшимся играм и состязаниям со сверстниками. Но в глубине его души ещё жил какой-то отблеск, смутная догадка: наука йогов, величие её и мощь вернут ему его утерянное княжеское достоинство, и он опять станет царевичем. Однажды, когда они пасли стадо неподалёку от города, пастух, вернувшись из него, рассказал, что горожане готовятся к большому празднику: престарелый князь Равана совсем лишился своей былой силы, одряхлел и назначил день, когда сын его Нала заступит его место и будет провозглашён государем. Дасе захотелось побывать на празднике, посмотреть город, о котором с детских лет он не сохранил почти никаких воспоминаний, послушать музыку, поглазеть на праздничное шествие и состязания благородных, хотелось хоть раз побывать в том неведомом мире горожан и власть имущих, о котором так

часто рассказывается в легендах и сказаниях и о котором он знал — или это тоже было легендой, сказкой, а то и того меньше, — что когда-то в незапамятные времена это был его мир.

Пастухи получили приказ доставить ко двору масло для праздничных жертвоприношений, и, к радости Дасы, старший пастух назначил его и двух других для поездки в город.

Накануне праздника они прибыли ко двору и сдали масло брахману Васудеве: именно он был главным устроителем жертвоприношений, однако юношу он, конечно, не узнал. С жадностью пастухи приняли участие в празднестве, видели, как рано утром под руководством брахмана начался обряд, как золотисто-жёлтое масло предали огню, как пламя вознеслось к небу, ввысь, в бесконечное, а напоённый жиром дым обратился благовонием для трижды десяти богов. Они видели шествие слонов с золочёными балдахинами, под которыми восседали воины, видели украшенную цветами княжескую колесницу и в ней молодого раджу Налу, они слышали оглушительную музыку барабанов. Всё было великолепно, пышно и немного смешно, во всяком случае, так это казалось юному Дасе; опьянённый и оглушённый непривычным шумом, грохотом

колесниц, разукрашенными конями, всей этой роскошью и хвастливой расточительностью, Даса пришёл в восторг от танцовщиц, танцевавших перед княжеской колесницей, стройных и гибких, как стебли лотоса, восхищался таким огромным и красивым городом, и всё же, наперекор этому опьянению, этой радости, смотрел на всё трезвым умом пастуха, который в душе презирает горожан. Но о том, что на самом-то деле он был перворождённым, что сейчас перед ним его сводного брата Налу, которого он совсем уже не помнил, помазали и возвели в государи и это Налу чествовали, а на самом-то деле он, Даса, должен был ехать в украшенной цветами колеснице, — нет, об этом он не думал. Однако молодой раджа очень ему не понравился, он показался ему глупым, злым и вместе с тем изнеженным, невыносимо тщеславным в своём раздутом самопоклонении, и он, Даса, не прочь был бы сыграть шутку с этим мальчишкой, разыгрывавшим из себя государя, да и проучить его было бы хорошо, но такого случая не представилось, и Даса скоро забыл об этом, — уж очень много было тут на что посмотреть, что стоило послушать, чему посмеяться и порадоваться. Горожанки оказались очень красивыми, дерзкими были их взгляды, и

походка, и речь; все три пастуха в тот день понаслушались такого, что ещё долго звенело у них в ушах. Правда, женщины заговаривали с ними насмешливо, — ведь горожанин относится к пастуху, как и тот к горожанину, с презреньем, — но всё же красивые и сильные, выросшие на молоке и сыре, почти весь год живущие под открытым небом, юноши очень понравились горожанкам.

С праздника Даса вернулся уже не юношей, а мужчиной, стал бегать за девушками, и не раз ему приходилось кулаками отстаивать свои права перед другими. Не много прошло времени, как они перекочевали на новое место, где были обширные луга и много озёр, заросших тростником и бамбуком. Здесь Даса встретил девушку, звали её Правати, и воспылал к красавице безумной любовью. Она была дочерью арендатора, и Даса так сильно полюбил её, что всё позабыл и забросил, лишь бы добиться её любви. А когда некоторое время спустя пастухи погнали стадо дальше, он не внял их предостережениям и советам, а простившись с ними, да и со всей пастушеской жизнью, которая ему до этого нравилась, осел на земле и достиг своего: Правати отдали ему в жёны. Он убирал просо и рис с полей своего тестя, помогал на мельнице и в лесу, построил своей

жене бамбуковую хижину, обмазал её глиной и держал Правати взаперти. Какой необоримой должна быть сила, что заставляет молодого человека отказаться от всех прежних радостей, товарищей и привычек, изменить жизнь и взять на себя незавидную роль зятя среди чужих ему людей! Столь велика была красота Правати, столь велико искусительное обещание радостей любви, излучаемое её лицом, её телом, что Даса ослеп для всего другого и, весь отдавшись этой женщине, впрямь узнал в её объятиях великое счастье. Рассказывают, будто некоторые боги и святые, околдованные прельстительной женщиной, забывали обо всём, слившись с нею, и не выпускали её из своих объятий дни, месяцы и годы, всецело предавшись упоению, отрешившись от всего. Вот такой-то желал себе свою судьбу Даса, такой — свою любовь. Но ему было суждено другое, и счастье его длилось недолго. Оно длилось не больше года, да и этот год не весь был наполнен одним только счастьем — и для другого оставалось время: для докучливых притязаний тестя, для придирок шурьёв, для причуд молодой жены. Но всякий раз, как он был с ней на ложе, всё это забывалось и обращалось в ничто — так притягивала его её колдовская улыбка, так сладко

было ему ласкать её гибкие члены, так расцветал всеми своими цветами, маня прохладой и ароматом, сад вожделения у её молодого тела.

Счастье Дасы не длилось и года, как в тех местах возникло беспокойство и тревога. Явились верховые гонцы и возвестили о прибытии молодого раджи, а за гонцами прибыли сам раджа Нала, с конями, охотниками и всем обозом, чтобы поохотиться в тех местах; слуги разбили палатки, кони ржали, рога трубили. Даса работал в поле, потом на мельнице, всячески избегая встреч с охотниками и людьми раджи. Как-то вернувшись в хижину и не застав в ней жены, которой он в эти дни строго-настрого наказал не выходить, он почувствовал укол в сердце и понял, что приближается беда. Он тут же поспешил к тестю, но и там не нашёл Правати, никто её не видел. Сердце Дасы сжалось ещё мучительней. Он обошёл огород, поля, — день, затем другой только и делал, что бегал между своей хижиной и домом тестя, подкарауливал на пашне, спускался в колодезь, молился, выкрикивал её имя, уговаривал, проклинал, выискивал её следы. Наконец самый младший из шурьёв, мальчишка ещё, рассказал ему, что Правати — у раджи, она живёт у него в палатке, её видели скачущей на

его коне. Захватив с собой пращу, оставшуюся у него ещё с тех пор, когда он был пастухом, Даса отправился к лагерю Налы и стал выжидать. Как только он замечал, что княжеская палатка никем не охранялась, будь то днём или ночью, он подкрадывался к ней, но всякий раз показывалась стража, и он вынужден был отступать. Спрятавшись в ветвях большого дерева, он следил за палаткой и однажды увидел раджу, лицо которого было ему знакомо и ненавистно ещё с большого праздника в городе; раджа вскочил на коня и ускакал, а когда он через несколько часов вернулся, спрыгнул на землю и откинул полог палатки, Даса успел заметить молодую женщину, приветствовавшую вернувшегося. Узнав в этой женщине свою жену, Правати, Даса чуть было не упал с дерева. Теперь-то он удостоверился, и на сердце его легла ещё большая тяжесть. И если счастье его любви с Правати было велико, то не менее велико, если не больше, были теперь горе, бешенство, чувство утраты и оскорбления, нахлынувшие на него. Так оно и бывает, когда человек сосредоточивает всю свою любовь на чём-нибудь одном, а утратит это одно — всё у него рушится, и остаётся он один среди развалин.

Целый день и целую ночь бродил Даса средь

окрестных лесов, и стоило ему остановиться и передохнуть, как великое горе его сердца гнало его, замученного, вперёд: он не мог не двигаться, он должен был куда-то бежать, хоть на край света, хоть прочь из этой жизни, ибо она утратила для него свою прелесть и всякую цену. И всё же он никуда не убежал, а кружил и кружил поблизости от места, где его застигло горе, — около своей хижины, мельницы, пашни и княжеской палатки. В конце концов он вновь спрятался в листву дерева, высившегося над палаткой, сидел и подстерегал, исполненный жажды и горечи, подобный голодному хищнику, притаившемуся в засаде, покуда не настал тот миг, ради которого он и копил все свои силы: раджа вышел из палатки. Неслышно Даса соскользнул на землю, разогнал пращу и камнем попал прямо в лоб ненавистного: Нала упал и остался лежать недвижимым. Кругом — никого, бурю сладостной мести, бушевавшую в груди Дасы, на миг сменила странная и пугающая глубокая тишина. И прежде чем около убитого засуетились слуги и поднялся шум, Даса кустами выбрался из лагеря и скрылся в зарослях бамбука, росшего в низине.

В то время, когда он спускался с дерева, когда, словно в опьянении, размахивал пращой, посы-

лая смерть, он чувствовал, будто он расстаётся и со своей жизнью, будто это последние силы уходят от него, будто вместе с камнем, несущим смерть, он и сам летит в пропасть, и он был согласен погибнуть, лишь бы ненавистный враг хоть на миг погиб бы раньше его. По теперь, когда вслед за деянием столь неожиданно наступил миг тишины, жажда жизни, о которой он до этого и не подозревал, увела его от края разверстой пропасти, а всеми его членами, всеми его помыслами овладел некий первичный инстинкт, заставивший его ускользнуть в лес, в бамбуковую рощу, приказавший пуститься в бегство, стать невидимым. И только уже скрывшись, избежав первой опасности, он осознал, что произошло. И когда он, измученный, задыхающийся, припал к земле, опьянение стало рассеиваться, уступив место трезвой мысли, и он прежде всего почувствовал разочарование и отвращение: как же сам-то он остался жив? Но стоило дыханию его успокоиться и головокружению, вызванному чрезмерной усталостью, исчезнуть, как это противное и расслабляющее чувство сменилось упрямой жаждой жизни, и вновь к нему вернулась дикая радость от содеянного.

Вскоре неподалёку от него поднялась тревога,

начались поиски, погоня за убийцей, и длились они весь день; его не нашли только потому, что он пролежал всё время, не шелохнувшись, в зарослях, а искавшие не были расположены рыскать в самой глубине чащи, боясь тигра. Даса заснул ненадолго, затем снова лежал, весь обратившись в слух, пополз дальше, опять дал себе роздых, а на третий день уже перебрался через гряду холмов и без устали продолжал своё бегство в горы.

Бездомная жизнь заставила Дасу побывать в самых разных краях, она ожесточила его, сделала равнодушней, но и умней, умиротворенней, и всё же ночами ему снилась Правати, его минувшее счастье с ней или то, что он так называл; часто он видел во сне своё бегство и погоню — страшные тягостные сны. Например, такой: он бежит через лес, за ним погоня, слышна барабанная дробь, трубят трубы, а он, пробираясь через чащу по кочкам, через колючие заросли, по рушащимся мосткам, что-то несёт, какую-то поклажу, что-то спелёнатое, укрытое, неведомое, о чём только и знает, что оно очень дорого ему и ни в коем случае не должно попасть в чужие руки, нечто бесценное и хрупкое, какое-то сокровище, быть может, ворованную добычу, завёрнутую в плат, в яркую ткань с красными и голубыми узорами,

такими же, как на праздничном платье Правати, — и с этой поклажей, сокровищем или добычей, он бежит, подвергаясь опасности, мучимый страхами, прокрадывается под нависшими ветвями и скалами, мимо шипящих змей, а то и на головокружительной высоте по шатким мосткам через бурные реки, полные крокодилов, и под конец, затравленный и измученный, останавливается, теребит тесёмки узлов, развязывает один за другим, разворачивает ткань, и сокровище, которое он достаёт, оказывается собственной головой.

Он жил в бесконечных странствиях, скрываясь, не то чтобы по-настоящему убегая от людей, но избегая их. И вот однажды странствия привели его в зелёный холмистый край, показавшийся ему таким прекрасным и радостным, как будто всё здесь приветствовало его, словно старого знакомого: он узнавал то поле в долине, где колыхались цветущие травы, то тучные луга — всё напоминало ему весёлое и невинное время, когда он не знал любви и ревности, злобы и мести. Это был тот край, где когда-то с товарищами он пас коров: лучшее время его юности глядело на него из далёких глубин невозвратного. Сладкой печалью отозвалось сердце Дасы на приветствовавшие его голоса: ласкового ветерка, шелестевшего в сереб-

ристой листве ивы, быстрого ручья, напевавшего такую задорную и весёлую походную песню, на звонкие голоса птиц и басовитое жужжание золотых шмелей. Всё здесь звучало прибежищем, родиной, и для него, привыкшего к бродячей жизни пастухов, ещё ни один край не казался таким родным.

Сопровождаемый этими голосами, звучавшими уже у него в душе, влекомый ими, с чувствами, похожими на чувства возвратившегося на родину, бродил он по землям этой приветливой страны, впервые за многие страшные месяцы не как чужой, не как гонимый, осуждённый на смерть беглец, а с открытым сердцем, ни о чём не думая, ничего не желая, весь отдавшись тихой радости настоящего, впитывая всё, что окружало его сейчас, с глубоким чувством благодарности и некоторого удивления перед этим новым, непривычным, впервые и с восхищением пережитым состоянием души, перед этой открытостью без желаний, этой весёлостью без страстей, перед этой радостной и благодарной готовностью к созерцанию. С зелёных лугов его повлекло в лес, под сень деревьев, в забрызганный солнечными пятнами сумрак; чувство возвращения на родину там ещё усилилось и повело его по тропинкам,

которые ноги его, казалось, сами находили, покамест он, пробравшись через заросли папоротника — этот маленький лес, росший в большом лесу не увидел шалаш, а перед ним сидящего недвижимо йога — того самого, за которым он когда-то подсматривал и которому носил молоко.

Даса стоял, словно пробуждаясь от сна. Здесь всё было как прежде, здесь время не шло, здесь никто не убивал и не страдал; здесь жизнь и время застыли, подобно кристаллу, в незыблемом покое. Он смотрел на старика, и в его сердце возвращались те же восхищение, любовь и томление, какие он ощутил здесь, увидев его в первый раз. Он смотрел на шалаш и думал, что до начала больших дождей его следовало бы немного поправить. Затем он отважился осторожными шагами приблизиться к шалашу, вошёл в него, огляделся и увидел, что в нём почти ничего не было: ложе из листвы, высушенная тыква с водой и пустая плетёная котомка. Он взял котомку, вышел и принялся искать в лесу что-нибудь съестное, нашёл несколько плодов и сладких корней, вернулся, взял тыкву и принёс свежей воды. Вот он и сделал то, что здесь надо было сделать. А как мало нужно человеку, чтобы жить! Даса сел на землю и скоро погрузился в мечты. Он

был доволен этим молчаливым, мечтательным покоем в лесу: он был доволен голосом в его душе, который привёл его сюда, где он ещё юношей ощутил нечто похожее на мир, счастье и родину.

Так он и остался у молчаливого. Менял подстилку из листьев, собирал в лесу плоды и коренья, потом поправил старый шалаш и неподалёку начал строить новый, уже для себя. Казалось, старик терпит его, однако заметил ли он его вообще, понять было никак нельзя. Вставая после самопогружения, йог уходил в шалаш и ложился спать, либо принимал немного пищи, или гулял по лесу. Даса жил подле досточтимого, как слуга подле великого господина, вернее даже, как домашнее животное, приручённая птица или мангуста живёт подле людей, почти незамечаемая и приносящая какую-то пользу. Дасе, который был в бегах и долго жил, таясь, с нечистой совестью, неуверенный в завтрашнем дне, ежеминутно ожидая погоню, эта спокойная жизнь, лёгкий труд и соседство человека, казалось бы, не замечавшего его, некоторое время были благодетельны: он спал, не видя страшных снов, а выпадали дни, когда он ни разу и не вспоминал о случившемся. О будущем он не думал, а если и возникали у него желания или тоска по

чему-нибудь, так это о том, чтобы остаться здесь, чтобы йог посвятил его в тайны отшельнической жизни, чтобы он и сам стал одним из йогов, приобщался бы к их горделивой невозмутимости. Он стал подражать позе досточтимого, пытался, скрестив ноги, как он, сидеть неподвижно, как и он, созерцать неведомый мир, смотреть за грани действительности и не воспринимать того, что находится в непосредственной близости. При этом он быстро уставал, затекали ноги, ныла спина, досаждали комары или вдруг начинала зудеть кожа, это заставляло его ёрзать, чесаться и в конце концов вставать. Но бывало и так, что он чувствовал нечто другое, похожее на опустошение, на необычайную лёгкость, и словно парил, как парят во сне: стоит только чуть-чуть оттолкнуться от земли, и ты уже летишь, будто пушок. В такие мгновения его осеняло предчувствие того, как это будет, когда он всё время станет так парить, когда тело и душа скинут свою тяжесть и будут возноситься в дыхании большой, чистой и солнечной жизни, возвысившись и растворившись в потустороннем, безвременном и непреходящем. Однако мгновения эти так и оставались мгновениями и предчувствия — только предчувствиями. Разочарованный, вновь

возвращаясь в свою обычную жизнь, он думал о том, как хорошо было бы, если бы мастер взял его в ученики, посвятил в свои упражнения, в тайну своего искусства и сделал бы из него йога. Но как этого достичь? Казалось, отшельник никогда и не увидит его, как видят глазами, никогда и словом с ним не перемолвится. Казалось, дни и часы, лес и шалаш — всё это было для него по другую сторону, как и он сам был по другую сторону слов.

И всё же однажды он произнёс одно слова. Для Дасы опять, настало такое время, когда он ночь за ночью видел страшные сны, то завораживающе сладкие, то завораживающе страшные, то Правати являлась ему, то он вновь переживал все страхи беглеца. И днём он не добивался никаких успехов, долгого неподвижного покоя и углубления в себя он не выдерживал, думал о женщинах, о любви и подолгу без всякого дела бродил по лесу. Быть может, была виновата погода: стояла духота, налетали порывы горячего ветра. И вот снова наступил один из таких дурных дней, когда звенели комары и накануне ночью Даса опять увидел сон, гнетущий и страшный, о чём, собственно, он уже не помнил, но теперь наяву сон показался Дасе недозволенным, жалким и постыдным возвращением в прежнюю жизнь,

на ранние её ступени. Весь этот день он топтался вокруг шалаша, встревоженный и мрачный, работа валилась из рук, несколько раз он садился, желая упражняться в самоуглублении, но его тут же охватывала какая-то лихорадочная тревога, руки и ноги дёргались, будто тысячи муравьёв ползали по его телу, в затылке горело, и минуты он не выдерживал подобного состояния; сконфуженный и пристыженный, он косился на старца, сидевшего в совершенной позе, глаза обращены вовнутрь, а сияющее отрешённой радостью лицо покачивается словно цветок на стебельке.

Когда йог поднялся и направил свои стопы к шалашу, Даса, давно уже подстерегавший этот миг, заступил ему дорогу и с отчаянием гонимого страхом сказал:

— Прости, досточтимый, что я вторгся в твою тишину. Я ищу мира, ищу покоя. Я хотел бы жить, как ты, и стать, как ты. Я ещё молод, но изведал уже много горя, судьба жестоко обошлась со мной. Я родился князем, но меня изгнали к пастухам, и я вырос пастухом, сильным и весёлым, как молодой бычок, и я был чист сердцем. Потом я узнал женщин, и когда увидел самую красивую из них, я всю свою жизнь подчинил ей и умер бы, не пойди она за меня, бросил то-

варищей-пастухов, посватался к Правати и стал зятем. Я служил эту службу, тяжело работал, но ведь Правати была моей, любила меня, или я думал, что она меня любит, и каждый вечер я возвращался в её объятия, и она прижимала меня к своему сердцу. И вдруг в наши края приходит раджа, тот самый, из-за которого меня ещё ребёнком изгнали, пришёл и отнял мою Правати, и я увидел Правати в его объятиях. Это была самая страшная боль, какую я испытал, и она преобразила меня и всю мою жизнь. Я убил раджу, да, я убил и стал жить жизнью преступника, беглеца, меня преследовали, ни часу я не был спокоен за свою жизнь, покуда не добрался сюда. Я человек безрассудный, о, досточтимый, я убийца, быть может, когда-нибудь меня схватят и четвертуют. Не могу я больше жить этой ужасной жизнью, я хочу избавиться от неё.

Йог невозмутимо выслушал эти излияния, прикрыв глаза. Теперь он раскрыл их и устремил свой взгляд на лицо Дасы, ясный, пронизывающий, почти невыносимо твёрдый, сосредоточенный и лучащийся взгляд и, в то время как он рассматривал лицо Дасы и размышлял над торопливым рассказом, его рот медленно искривился для улыбки и для смеха и с беззвучным смехом он

затряс головой и повторял, смеясь:

— Майя, майя[93]!

Вконец смущённый и пристыженный, Даса так и застыл, а старец поднялся и перед трапезой погулял немного по узкой тропе между зарослями папоротника, словно выдерживая такт, размеренными шагами прошёлся взад и вперёд и, сделав так шагов сто, вернулся в свой шалаш, и лицо его снова стало таким, каким оно было всегда, обращённым куда-то ещё, а не к миру явлений. Что же это была за улыбка, показавшаяся на этом всегда таком неподвижном лице в ответ на все сказанные Дасой слова? Придётся ему поломать над этим голову. Был ли доброжелательным или издевательским смех, так ужасно прозвучавший вмиг отчаянного признания Дасы, его мольбы, был ли он утешительным или осуждающим, божественным или демоническим? Был ли он циничным хихиканьем старика, ничего уже не способного принимать всерьёз, или же смехом мудреца над чужой глупостью? Означал ли он отказ, прощание или приказание удалиться? И,

---

[93] Примечания: [93]

Майя — в индийской религиозной философии понятие мирозиждительной, космической иллюзии, которая должна быть преодолена усилием самоуглубления. «Для того, кто достиг состояния истины и действителъности, весь видимый мир исчезает» («Веданта — сутра — бхашья», II, 1, 14).

может быть, это был совет, предложение Дасе подражать и тоже смеяться? Никак он не мог уяснить себе этого смеха. И ночью, долго лёжа без сна, он всё думал об этом смехе, в который для старца превратилась вся жизнь, всё счастье и всё горе Дасы. С мыслью об этом смехе Даса не расставался, как не расстаются с сухим и жёстким корнем, его грызут потому, что он что-то ещё напоминает, чем-то ещё пахнет, и точно так же Даса цеплялся за слово, которое старик выкрикнул на такой высокой ноте, так радостно и с таким непостижимым удовольствием: «Майя, майя!» Что именно означало оно, он наполовину знал, наполовину догадывался, да и то, как имеющийся старец выкрикнул его, позволяло догадываться о смысле этого слова. Майя — это была жизнь Дасы, юность Дасы, сладчайшее счастье и горькое горе его, майя — это была прекрасная Правати, майя — это любовь и её радости, майя — это вся жизнь. Это была жизнь Дасы и всех людей, какой её видел йог, и было в ней для него что-то детское, скоморошье, какой-то театр, игра воображения, Ничто в пёстрой оболочке, мыльный пузырь, что-то, над чем с удовольствием можно посмеяться, но к чему вместе с тем следует отнестись презрительно и что уже ни в коем случае нельзя

принимать всерьёз.

Но если для старого йога этот смех и это его словечко «майя» означали, что о жизни Дасы сказано всё, то о самом Дасе этого никак нельзя было утверждать, и как бы он ни желал превратиться в смеющегося йога, как бы ни желал не видеть в своей жизни ничего, кроме майи, в нём, начиная с тех тревожных дней и ночей, вновь пробудилось и ожило всё, о чём он, изнеможённый бегством, найдя здесь прибежище, казалось бы, давно забыл. Надежды овладеть искусством йогов, а то и сравниться в нём со старцем было у него куда как мало. Но тогда какой же смысл оставаться в этом лесу? Он был для него прибежищем, здесь он немного отдышался, накопил сил, немного пришёл в себя, и это было ценно, это было кое-что. А вдруг тем временем там, в стране, уже никто не гонится за убийцей князя, и он, Даса, ничего не опасаясь, может продолжать свой путь? Так он и решил сделать, на следующий же день отправиться в дорогу: мир ведь велик, нечего ему прятаться тут, как в норе. Решение это немного успокоило его.

Даса намеревался уйти рано утром, однако, проснувшись после долгого сна, увидел, что солнце поднялось высоко и старец уже начал

своё самопогружение, не простившись же Даса не хотел уходить, да и надо было ещё кое о чём спросить йога. Даса ждал час, ждал другой, покуда старец не поднялся, не расправил члены и не стал прохаживаться взад и вперёд. Даса заступил ему дорогу, поклонился и до тех пор не отступал, пока йог не поднял глаза и не посмотрел на него.

— Учитель! — смиренно обратился Даса к нему. — Я пойду своей дорогой и не буду больше нарушать твой покой. Но ещё один раз, досточтимый, позволь мне обратиться к тебе с просьбой. Когда я рассказал тебе о своей жизни, ты рассмеялся и воскликнул «майя!». Умоляю, скажи мне что-нибудь о майе.

Старик направился к шалашу, взглядом приказав Дасе следовать за ним. Там он взял высушенную тыкву с водой, подал её Дасе и велел ему вымыть руки. Даса послушно выполнил приказание. Тогда учитель выплеснул остаток воды в папоротник, подал пустой сосуд молодому человеку и велел принести свежей воды. Даса послушно отправился за водой. По дороге ему стало грустно: вот он в последний раз спускается по узкой тропе к источнику, в последний раз подносит лёгкий сосуд со стёртыми от рук краями к небольшому зеркальцу воды, в кото-

ром отражаются и стоножник, и кроны деревь, и разбившаяся на светлые блики сладостная голубизна небес, а когда он наклонился, то увидел и своё собственное лицо в буроватом сумраке. Медленно и задумчиво Даса опустил сосуд в воду и почувствовал неуверенность, он не мог понять, почему у него так странно на душе, почему, раз уж он решился вновь пуститься в путь, ему причинило такую боль то, что йог не пригласил его остаться, быть может, остаться навсегда.

Он присел на корточках возле родника, зачерпнул немного воды, медленно, боясь расплескать, поднялся с сосудом в руках и хотел было направиться к шалашу, как неожиданно услышал странный звук, воспринятый им с восторгов и вместе с ужасом, — это был голос, который он не раз слышал во сне и который с такой горчайшей тоской мечтал услышать наяву. Как сладок он был, как сладко, по-детски нежно звучал, как влюблённо призывал в лесном сумраке, — сердце Дасы замерло от страха и желаний. Это был голос Правати, голос его жены. «Даса» — манила она. Всё ещё не веря, он оглянулся с сосудом в руках, и вдруг она появилась, вышла из-за деревьев, стройная, гибкая, длинноногая Правати, возлюбленная, незабвенная, неверная. Он отшвырнул

сосуд и бросился к ней. Улыбаясь, чуть застыдившись, она стояла перед ним, глядя на него своими огромными глазами лани, и теперь вблизи он заметил, что на ней были сандалии из красной кожи и красивое, богатое платье, на руке золотой браслет, а в чёрных волосах — сверкающие всеми цветами драгоценные камни. Даса отпрянул. Неужели она всё ещё княжеская шлюха? Но разве он не убил этого Налу? А она всё ещё носит его подарки. Да как она смела с этими браслетами и камнями выйти к нему и произнести его имя!

Но она была прекраснее, чем когда-либо, и прежде чем потребовать от неё ответа, он должен был обнять её, зарыться лбом в её волосы, приподнять её лицо, поцеловать в губы, и при этом он чувствовал, как к нему вернулось всё, что когда-то принадлежало ему: счастье, любовь, вожделение, восторг, страсть. И вот в мыслях своих он уже далеко от этого места и старого отшельника, лес, шалаш, одиночество, медитация, старый йог — всё это отброшено, превратилось в ничто и забыто; даже о сосуде, который он должен был отнести старику, наполнив его водой, он забыл. Тыква так и осталась лежать у родника, а Даса уже спешил с Правати к опушке леса. Торопливо, сбиваясь, она рассказывала ему, как она попала

сюда, что привело её в этот лес.

Удивителен был её рассказ, удивителен, непостижим и похож на сказку, и словно в сказку вошёл Даса в свою новую жизнь. Не только Правати была снова с ним, не только ненавистный Нала был мёртв и поиски убийцы давно прекращены, но сверх того его, Дасу, княжеского сына, выросшего среди пастухов, провозгласили в столице законным наследником и государем; старый пастух и старый брахман рассказали почти всеми забытую историю об изгнании Дасы, и теперь того самого человека, которого некоторое время все искали как убийцу раджи Налы, чтобы пытать и казнить, теперь его принялись искать с ещё большим рвением, чтобы провозгласить новым раджой и торжественно ввести в город и во дворец отца. Всё это походило на сон, и самым приятным для Дасы было то, что из многочисленных гонцов, рыскавших по всей стране, Правати первая нашла и приветствовала его.

На опушке леса они увидели палатки, от них тянуло дымом и жареным мясом. Слуги встретили Правати громкими возгласами, а когда она сказала, что это — Даса, её супруг, тут же был устроен большой праздник. Среди спутников Правати был человек, который давно когда-то вместе

с Дасой пас священных коров, он-то и привёл Правати и всех остальных сюда, в этот край, где некогда протекала прежняя жизнь Дасы. Узнав Дасу, пастух рассмеялся от радости, бросился было к нему и хотел хлопнуть по плечу или обнять, но спохватился: товарищ-то стал теперь раджой, и пастух так и застыл на полпути, затем медленно и почтительно приблизился и приветствовал Дасу низким поклоном. Даса поднял его, заключил в объятия, ласково назвал по имени и спросил, что ему подарить. Пастух попросил себе тёлку, и ему выдали трёх из лучшей породы. Новому князю представляли всё новых и новых людей: чиновников, охотников, придворных брахманов, и он принимал их приветствия как нечто должное; затем подали кушанья, загремели барабаны, послышались звуки цитр и флейт, однако весь этот шум, вся эта роскошь представлялись Дасе как бы во сне, он не мог поверить в это, и явью для него была только Правати, его молодая жена, которую он держал в своих объятиях.

Небольшими переходами шествие приближалось к городу, вперёд были высланы гонцы, которые и сообщили радостную весть о том, что нашли наконец молодого раджу и он скоро прибудет в город, а когда Даса издали, увидел городские

стены, оттуда понеслись звуки гонгов, барабанов и навстречу торжественно вышли брахманы в белых одеждах. Во главе их шествовал преемник того Васудевы, который лет двадцать тому назад отправил Дасу к пастухам и только недавно умер. Они приветствовали его, пели гимны, а перед дворцом, куда направилось шествие, разложили огромные жертвенные костры. Во дворце, где теперь предстояло жить Дасе, его встретили новыми приветствиями, раздались хвалебные песнопения, бесконечные здравицы. До глубокой ночи продолжалось празднество.

Ежедневно Дасу обучали два брахмана, и он очень скоро постиг необходимые науки, присутствовал при жертвоприношениях, судил и овладевал воинским и рыцарским искусством. Брахман Гопала ввёл его в политические дела, рассказав, каковы его права, права его рода и его наследников, и какие у него враги. Это была прежде всего мать Налы, та самая, которая когда-то лишила царевича Дасу всех прав, а хотела лишить и жизни, теперь же должна была ненавидеть его как убийцу своего сына. Она бежала под покровительство соседнего князя, по имени Говинда, жила в его дворце, а сам Говинда и его род издавна слыли опасными врагами, они

воевали ещё с предками Дасы, требуя уступки некоторых земель его княжества. Другой сосед, южный князь Гайпали, состоял в дружбе с отцом Дасы и неоднократно выказывал свою неприязнь к Нале; посему важной обязанностью почиталось побывать у него в ближайшее время, поднести ему дары и пригласить на следующую же охоту.

Госпожа Правати быстро освоилась со своим высоким положением, и когда в богатых одеяниях, украшенная драгоценностями, во всей красе она выступала рядом со своим высокородным супругом, то казалась ничуть не менее благородного происхождения. Счастлива, была их любовь и длилась многие годы, и счастье придавало им некий блеск и сияние, как будто они были любимцами богов, и народ уважал и любил их. А когда после долгих напрасных ожиданий Правати родила наконец Дасе сына, названного им в честь отца Раваной, счастье его стало полным, и с тех пор всё, чем он владел — земля, власть, дома, хозяйственные постройки, скотные дворцы, самый скот, — приобрело в его глазах ещё большее значение и важность, засверкало и повысилось в цене: все эти владения радовали его, ибо они служили Правати, наряжали и украшали её, но теперь они стали ещё прекрасней, ещё радостней

и важней, ибо предназначались в наследство сыну, Раване, на них зиждилось его будущее, счастье.

Если Правати больше всего радости доставляли празднества, шествия, роскошь и богатство одежд, украшений, многолюдность свиты, то Даса всем этим радостям предпочитал сад, где он велел посадить редкие и дорогие деревья и цветы, завёл попугаев и других пёстрых птиц, кормить их и болтать с ними стало ежедневной привычкой. Радовали его и занятия науками, благодарный ученик брахманов, он выучил много гимнов и речений, овладел искусством читать и писать, стал держать при себе писца, знавшего, как приготавливать пальмовый лист для письма, и постепенно под заботливым попечительством была создана небольшая библиотека. В ней-то среди книг, в небольшом роскошно отделанном покое со стенами из благородного дерева, украшенными резными фигурами, частью позолоченными и представлявшими жизнь богов, он слушал споры приглашённых брахманов, лучших из лучших учёных и мыслителей-жрецов о священных делах, о сотворении мира и о майе великого Вишну, о святых Ведах, о силе жертвоприношений и ещё большем могуществе

аскезы, благодаря которому смертный человек делается способным нагонять страх даже на богов. Брахманы, убедительнее всех выступавшие в диспутах, щедро вознаграждались дарами, и кое-кто из них в награду за победу в споре уводил с собой хорошую корову. Было что-то смешное и трогательное в том, как учёные мужи, только что цитировавшие стихи из Вед и мудро рассуждавшие о них, превосходно разбиравшиеся в созвездиях, морях и океанах, гордые и надутые, расходились по домам со своими наградами, а то и затевали из-за них перебранку друг с другом.

Да и вообще радже Дасе, с его счастьем, богатством, садом, книгами, всё связанное с жизнью и человеческой природой время от времени представлялось странным, сомнительным, одновременно трогательным и смешным, как те мудрые тщеславные брахманы, одновременно светлым и тёмным, желанным и презренным. Наслаждался ли он цветком лотоса на прудах своего сада, переливом красок в оперении павлинов, фазанов и удодов, позолоченной резьбой на стенах дворца — всё это иногда представлялось ему то божественным и как бы пронизанным теплом вечной жизни, а иногда или даже одновременно он ощущал во всём этом нечто ненастоящее,

ненадёжное, сомнительное, какую-то тягу к бренности и исчезновению, готовность к возврату в безобразное, в хаос. Ведь и он сам, князь Даса, был царевичем, а стал пастухом, убийцей и бродягой, а потом опять возвысился в князья, не понимая, какие силы вели его по этой стезе, не ведая ни завтрашнего, ни послезавтрашнего дня; так и вся обманчивая игра жизни есть повсюду одновременно возвышенное и низкое, вечное и тленное, великое и смешное. Даже она, многолюбимая, даже прекрасная Правати порой на несколько мгновений казалась ему лишённой всякого волшебства, смешной: слишком много на её руках было браслетов, слишком много гордыни и торжества во взоре, тщания о достоинстве походки.

Но ещё больше, чем сад и книги, Даса любил Равану, сыночка своего, воплощение любви своей, цель жизни, предмет его ласки и забот — нежного и красивого ребёнка, принца крови, с глазами лани, как у матери, склонного к задумчивости и мечтаниям, как отец. Порой, когда малыш, сидя на ковре и чуть подняв брови, глядел тихим, отсутствующим взглядом на драгоценный камень, резную игрушку, или пёстрое пёрышко, или, бегая по саду, вдруг застывал перед каким-нибудь причудливым деревом, Дасе казалось, что

он похож на него. А как сильно он его любил, Даса понял только, когда впервые вынужден был расстаться с ним на неопределённое время.

Ко двору прибыл гонец из тех мест, где княжество Дасы соседствовало с княжеством Говинды, и сообщил, что люди Говинды напали на земли Дасы, угнали скот, нескольких жителей захватили в плен и увели с собой! Даса тотчас же собрался, приказал начальнику личной стражи и нескольким десяткам верховых следовать за ним и пустился в погоню за разбойниками; но в тот миг, когда перед отъездом он взял на руки и поцеловал сына, любовь в сердце его разгорелась жгучей болью. И эта жгучая боль, поразившая и озадачившая его с неожиданной силой, словно напоминание, пришедшее из неведомых глубин, стала чем-то осознанным и понятным в то время, когда он спешил к рубежам своего княжества. В пути его занимали размышления о том, по какой причине он так спешно и решительно скачет на коне в такую даль, какая сила заставила его поступить именно так, а не иначе. Он долго думал и наконец понял, что в глубине души ему безразлично и не может причинить боли, угнал ли кто-нибудь на границе скот и людей, что разбоя этого и попрания княжеских прав было

недостаточно, чтобы вспыхнул его гнев и вызвал бы определённые поступки, и что для него было бы гораздо естественней встретить известие о нападении сострадательной усмешкой. Но тогда — и это он хорошо понимал — он совершил бы тяжкую несправедливость по отношению к гонцу, доведшему себя до полного изнеможения ради передачи этого известия, и не менее несправедлив он был бы к тем людям, которых ограбили, к тем, кого взяли в плен, вырвав из мирной жизни и угнав в рабство на чужбину. Да и другим своим подданным, которых никто не обижал, он нанёс бы своим отказом от бранной мести обиду, они были бы оскорблены, они никогда не смогли бы понять, как же это князь не защитил их страну, и когда на него самого нападут, он не сможет ожидать от них ни помощи, ни отмщения. И он понял, что его долг — мчаться в те края и мстить. Но что такое долг? И сколько у нас долгов, которыми мы так часто и без всякого сожаления пренебрегаем? И почему же этот долг мести не был одним из тех, которыми он мог бы пренебречь, и почему он сейчас выполняет его не в полсилы, а ревностно и со страстью? Не успел он задать себе этот вопрос, как сердце уже ответило на него — вновь его пронзила та глубокая боль, которую он испытал

при расставании с принцем Раваной. И он понял: если бы он, князь Даса, не противясь, позволил грабить свои земли, угонять скот и людей, то разбой и насилие проникали бы всё глубже в его страну и в конце концов поразили бы его самого, причинив наигорчайшую боль. Они отняли бы у него сына, похитили бы Равану, наследника, похитили бы и убили, быть может, даже под пыткой, что было бы верхом его страданий и куда более страшным ударом, чем даже смерть Правати. Вот почему он так спешил, погоняя коня, вот почему он так верен своему долгу князя и раджи. И вовсе он не был таким потому, что кто-то угнал скот, отнял у него полоску земли, и не потому что он так жалел своих подданных, так дорожил честью отцовского имени и княжеского своего достоинства, а потому лишь, что так до боли сильно, так безумно любил сына и что так сильно, безумно боялся боли, какую могла бы ему причинить потеря его.

Вот до чего Даса додумался во время своего похода. Но тогда ему так и не удалось настигнуть и наказать людей Говинды — они уже скрылись с награбленным добром, и, чтобы доказать свою храбрость и непреклонную волю, Дасе пришлось самому перейти границу, разорить деревню сосе-

да и угнать скот и пленников. Много дней его не было в столице, и всё же на обратном пути, после одержанной победы, он снова погрузился в глубокие размышления, был тих и вернулся во дворец словно чем-то опечаленный, ибо раздумья его привели к мысли о том, как прочно, без всякой надежды вырваться, всем своим существом, всеми поступками запутался он в коварных тенётах. И в то время как его склонность к размышлению, потребность в безмятежном тихом созерцании, бездеятельной и безвинной жизни всё росла, с другой стороны, из его любви к Раване и из страха за него и забот о его жизни и будущем точно также вырастала необходимость действий, и он запутывался всё больше: из ласки вырастал спор, из любви — война; вот он уже — будь это даже ради справедливого возмездия — похитил стадо, нагнал смертельный страх на целую деревню, увёл в плен бедных, ни в чём не повинных людей, а это повлечёт за собой новые набеги, месть и насилие, и так чем дальше, тем больше, покуда вся его страна не будет охвачена войной и всё не потонет в грохоте оружия. Именно это уразумение и предвидение и заставило его так притихнуть и даже опечалиться при возвращении во дворец.

Дерзкий сосед и впрямь не давал покоя Дасе.

Один разбойничий набег следовал за другим. В наказание, и ради обороны Даса вынужден был вновь выступить, и когда врагу удавалось уйти за свою границу, он позволял солдатам и охотникам преследовать соседа и наносить ему всё новый урон. В столице больше и больше появлялось вооружённых верховых, в некоторых пограничных деревнях Даса теперь постоянно держал отряды воинов, дни сделались беспокойными от бесконечных военных советов и приготовлений. Даса не мог понять, какой смысл, какая польза от этих непрекращающихся стычек, он жалел всех, кто страдал от них, жалел убитых, свой сад и свои книги, которые теперь забросил, жалел об утраченном покое своей жизни и своей души. Об этом он часто говорил с брахманом Гоналой и несколько раз со своей супругой Правати. Следовало бы, сказал он, призвать в судьи кого-нибудь из уважаемых князей по соседству, дабы установить мир, и он сам, со своей стороны, охотно пошёл бы на уступки, отдал бы и пастбища, и две-три деревни, только бы это помогло делу мира. Но ни жрец, ни Правати и слышать об этом не желали, и Даса был глубоко разочарован и раздосадован.

С Правати разговор вышел весьма бурными привёл к размолвке. Настойчиво, заклиная её,

он приводил свои доводы, излагал свои мысли, а она каждое слово воспринимала как направленное не против войны и бессмысленной бойни, а против неё самой. В том-то как раз и дело, поучала она его в своей пространной и пылкой речи, что неприятель намерен обратить добродушие и миролюбие Дасы, чтобы не сказать его страх перед войной, о свою пользу, он заставит Дасу заключить мир ради самого мира, и всякий раз надо будет платить за это уступками, отдавать земли и людей, но это вовсе не успокоит неприятеля, напротив, как только враг таким образом ослабит Дасу, он перейдёт к большой открытой войне и отнимет у них последнее. Речь ведь не о стадах и деревнях, а о самом княжестве, быть ему или не быть. И если он, Даса, сам не знает, в каком он долгу перед своим сыном, — что ж, её обязанность наставить его. Глаза её горели, голос дрожал, давно уже Даса не видел её такой красавицей, полной страсти, но он испытал от этого только печаль.

Тем временем разбойничьи набеги, нарушения мира на границе продолжались и только на период больших дождей немного утихли. Всё окружение Дасы разделилось теперь на две партии. Первая — партия мира — была малочис-

ленной; кроме самого Дасы, к ней примыкали только несколько старых брахманов — люди учёные, целиком погрузившиеся в медитацию. На стороне партии войны, партии Правати и Гопалы, было большинство жрецов и все военачальники. Страна спешно вооружалась, и все знали, что враждебно настроенный сосед делал то же самое. Маленького Равану старший лучник обучал стрельбе из лука, а мать возила его на все смотры войск.

В то время Даса иногда вспоминал лес, где он, несчастный беглец, нашёл себе прибежище на несколько недель, седоволосого старика, жившего там ради самоуглублений. Даса думал о нём и чувствовал, как у него рождается желание вновь повидать его, выслушать его совет. Но он не знал, жив ли ещё старец, да и пожелает ли выслушать его, дать ему совет, и даже если он жив и посоветует ему что-нибудь, ведь всё равно — всё пойдёт своим чередом и ничто не изменится. Самоуглубление и мудрость — это хорошие и благородные вещи, находятся они, должно быть, только, в стороне от игры, на краю жизни, а если ты плывёшь в потоке жизни, борешься с его волнами, твои дела и муки ничего общего не имеют с мудростью, они приходят сами собой и становят-

ся роком, их надо совершить и выстрадать. Даже боги не пребывали в вечном мире и вечной мудрости, и они знали, что такое опасность и страх, знали борьбу и сражения. Даса слышал много рассказов об этом. И он сдался, перестал спорить с Правати, делал смотр войскам, чувствовал, как надвигалась война, переживал все её страсти в лихорадочно томительных снах, и покуда он худел и лицо его темнело, он видел, как блекли и счастье, и вся радость его жизни. Осталась только любовь к сыну, и она росла вместе с заботой, росла вместе с военными приготовлениями, она красным цветком горела в его опустевшем саду. Даса диву давался, сколько человек способен вынести пустоты, отсутствия радости, как он привыкает к заботам и неудовольствию; как такое, казалось бы, ставшее бесстрастным сердце может быть охвачено столь горячей и всеобъемлющей, столь боязливой и озабоченной любовью. Быть может, жизнь его и была лишена всякого смысла, но она не была лишена ядра, сердцевины — вся она вращалась теперь вокруг его любви к сыну. Ради него он вставал по утрам, ради него трудился весь день, ради него отдавал распоряжения, целью которых была война и каждое из которых было ему неприятно. Ради него он

терпел бесконечные совещания военного совета, ради него лишь настолько противился решениям большинства, чтобы заставить его занять хотя бы выжидательную позицию и не бросаться очертя голову в безрассудные авантюры.

Как и сама радость жизни, его сад, его книги постепенно стали ему чуждыми, изменили ему, или он им, так постепенно делалась чужой и неверной ему и та, что была долгие годы счастьем и упоением его жизни. Всё началось с политики, и тогда, когда Правати произнесла перед ним свою пылкую речь, почти открыто назвав его нежелание совершить несправедливость, его любовь к миру — трусостью, и когда она с раскрасневшимися щеками бросила ему в лицо жгучие слова о княжеском достоинстве, геройстве, позоре, — именно тогда его охватило чувство, похожее на головокружение, и он вдруг увидел, насколько отдалилась от него жена или он от неё. С тех пор пропасть между ними всё ширилась и ширилась, и ни он, ни она ничего не предпринимали, чтобы перекрыть её. Вернее, самому Дасе следовало бы что-то предпринять, ведь пропасть эту видел он один и это в его представлении она всё ширилась и ширилась и наконец стала непроходимой бездной, пропастью между двумя мирами, между

миром мужчины и миром женщины, между «да» и «нет», между душой и телом. Оглядываясь назад, он видел всё очень ясно и чётко: давно когда-то Правати, прекрасная Правати, влюбила его в себя, играла им, покуда не добилась, что он расстался со своими товарищами и друзьями и всей тихой, радостной пастушеской жизнью и ради неё поселился на чужбине, стал служить, стал зятем в доме недобрых людей, которые использовали его любовь и заставили тяжко трудиться. Потом появился этот Нала, и начались все беды Дасы. Нала отнял у него жену — он ведь был раджой, его нарядные одежды, шатры, слуги, кони соблазнили бедную, не привыкшую к роскоши женщину, и вряд ли это стоило ему хоть какого-нибудь труда. Однако мог ли бы он соблазнить её так быстро и легко, будь она в глубине души целомудренна и верна? Ну что ж, раджа соблазнил её или просто овладел ею и причинил Дасе самую горькую боль, какую Даса знал до тех пор. Но он, Даса, ответил, умертвив того, кто похитил его счастье, и это было великое торжество. Ему сразу же пришлось бежать. Многие дни, недели, месяцы он прятался в зарослях и тростнике, не доверяя никому, поставленный вне закона. Но что делала всё это время Правати? Никогда она

не говорила ему об этом. Как бы то ни было, она не побежала за ним, а стала искать Дасу только тогда, когда его, как перворождённого, провозгласили князем, и он ей понадобился, чтобы взойти на престол и поселиться во дворце. Да, да, тогда-то она нашла его и увела из леса, оторвала от досточтимого отшельника. Дасу нарядили в богатые одежды, провозгласили раджой, но всё это были лишь пустой блеск, лишь видимость счастья, а на самом деле, от чего он ушёл тогда и на что променял свою жизнь в лесу? Променял на блестящее княжество, на обязанности князя, вначале показавшиеся ему лёгкими, но постепенно становившиеся всё тяжелей и тяжелей, променял на свою прекрасную супругу, на сладостные часы любви с ней и на сына, на любовь к нему, но и на тревогу о его жизни, о его счастье, — война ведь стояла у порога! Вот что принесла с собой Правати после того, как увидала его у источника в лесу. Но чего он лишился, что покинул? А лишился он лесной умиротворённости, благочестивого одиночества, соседства и примера святого старца, надежды на ученичество и права стать преемником, надежды на обретение глубокого, сияющего, непоколебимого душевного покоя мудреца, надежды освободиться от

борьбы и страстей, всегда сопутствующих жизни. Соблазнённый красотой Правати, очарованный женщиной, он заразился её тщеславием и покинул тот единственный путь, который только и может привести к освобождению и покою. Вот какой теперь представлялась ему его жизнь, да и впрямь её легко было истолковать именно таким образом, стоило только чуть-чуть её подкрасить и кое-что опустить. А опустил он, между прочим, то, что ещё вовсе не был учеником отшельника, а напротив, сам же намеревался покинуть его. Как легко всё смещается когда оглядываешься назад!

Правати смотрела на это всё, разумеется, по-иному, хотя она гораздо меньше думала об этом, чем её супруг! О Нале она вообще не думала. Если воспоминания не обманывали её, она одна и составила счастье Дасы, она добилась этого счастья и основала его, это она сделала его снова раджой, подарила ему сына, отдала ему свою любовь, осчастливила его и в конце концов вынуждена была признаться себе: он недостоин её величия, её гордых замыслов. Ведь она была убеждена, что будущая война приведёт только к поражению Говинды, а тем самым и к удвоению её могущества, её богатств. Но вместо того, чтобы радоваться этому и самому ревностно трудиться

над достижением этой цели, Даса недостойным князя образом противился войне, словно ничего так страстно не желал, как состариться в покое среди своих цветов, деревьев, попугаев и книг. Разве можно поставить его рядом с начальником конницы Вишвамитрой, вместе с ней Вишвамитра — самый ярый сторонник войны и скорой победы. Сколько она ни сравнивала его с Дасой, победителем всегда выходил этот храбрый воин.

Сам Даса прекрасно видел, что жена его сблизилась с Вишвамитрой, видел, как она восхищалась им и позволяла восхищаться собой этому весёлому, дерзкому, быть может, не очень умному и несколько поверхностному военачальнику, который всегда так громко смеялся, у которого были прекрасные крепкие зубы и холёная борода. С горечью смотрел на это Даса, но вместе с тем и с презрением, с тем насмешливым равнодушием, которое он сам на себя напускал. Он не выслеживал их, да и не желал знать, перешагнула ли дружба этих двоих границы дозволенного, границы приличия. На эту влюблённость Правати и красивого полководца, на то, что она предпочла его чересчур уж негероическому супругу, Даса смотрел с тем же внешне безразличным спокойствием, однако с внутренним ожесточением и

горечью, с какими он приучил себя смотреть на всё, происходящее вокруг. Намеревалась ли она изменить ему, предать его, или это было только выражением её презрения к образу мыслей Дасы — было не так уж важно, но что-то росло и развивалось, надвигаясь на него, как надвигалась война, как сам рок, и не существовало ничего, способного остановить это, не было другого выбора, как принять это и смиренно сносить свою участь, ибо в этом и заключался героизм и мужество Дасы, а совсем не в воинственных набегах и не в желании захватить чужие земли.

Оставалось ли восхищение Правати полководцем или его ею в пределах дозволенного, в пределах приличия или нет, во всяком случае — и он понимал это — Правати приходилось тут винить куда меньше, чем его самого. Он, Даса, мыслитель, мучимый сомнениями, был склонен приписывать женщине вину за растаявшее своё счастье или хотя бы считать её в ответе за то, что сам запутался во всём: в любви и тщеславии, в стремлении отомстить и в разбойничьих набегах на земли соседа; да, в мыслях он считал женщину, любовь, сладострастие в ответе за всё на земле, за всю эту дикую пляску, лихорадку страстей и желаний, за прелюбодеяние, смерть, убийство

и войну. Но при этом он хорошо сознавал, что Правати вовсе не виновница и не причина всего этого, она сама жертва, ни её красота, ни его любовь к ней не сделали её тем, чем она была, она лишь пылинка в Солнечном луче, капля в потоке, и это был его долг уклониться от встречи с этой женщиной, от любви к ней, от жажды счастья, от тщеславных мыслей и либо остаться пастухом, довольным своей судьбой, либо пойти тайными путями йогов и преодолеть в себе несовершенное. Он упустил эту возможность, он потерпел поражение, к великому он не был призван или же сам изменил своему призванию, и жена его не так уж не права, называя его Трусом. Но зато у него есть сын от неё, красивый ласковый мальчик, за которого он так боится и само существование которого всё ещё придаст его собственной жизни смысл и цену, порождает ощущение великого счастья. Правда, такое счастье причиняет боль, внушает страх, но всё же это счастье, его счастье. И за это счастье он расплачивается страданиями и горечью в сердце, готовностью идти на войну, на смерть, сознавая, что идёт навстречу року. Там, по ту сторону границы, сидел раджа Говинда и мать убитого Налы, этого недоброй памяти соблазнителя, она без конца подстрекала Говин-

ду на новые и новые набеги, и тот делался всё наглей; только союз с могущественным раджой Гайпали придал бы Дасе достаточно сил, чтобы заставить злого соседа хранить мир. Но Гайпали, хотя и был расположен к Дасе, состоял в родстве с Говиндой и самым вежливым образом уклонялся от всех попыток заключить подобный союз. Нет, некуда Дасе деваться, нечего ему надеяться на разум и человечность, судьба надвигалась и надо было её выстрадать. Даса сам уже почти желал прихода войны, хотел, чтобы низверглось наконец это скопище молний, ускорились бы все события, которых всё равно не избежать. Он ещё раз побывал у князя Гайпали, без всякого успеха обменялся с ним любезностями, предлагал в совете проявлять терпение и осторожность, но делал всё это уже без особой надежды и — вооружался. В совете мнения теперь расходились только в одном: ответить ли на очередной набег врага походом в его страну или же дожидаться, когда враг сам начнёт войну, чтобы тот предстал перед народом и всем светом в роли нападающего и нарушителя мира.

Однако враг не отягощал себя подобными вопросами и в один из дней положил конец всем этим рассуждениям, советам и колебаниям,

напав на княжество Дасы. Сперва он инсценировал крупный набег на пограничные земли, заставивший Дасу и его начальника конницы в сопровождении лучших воинов поспешить к рубежам страны, и когда Даса был ещё в дороге, неприятель ввёл в бой главные силы, подошёл к столице, ворвался в ворота и осадил дворец. Узнав о том, Даса немедленно повернул и поскакал обратно, и сердце его сжималось от жгучей боли, когда он думал, что сын его и жена заточены в осаждённом дворце, что над ними нависла смертельная опасность и на улицах идёт кровавый бой. Теперь его уже никак нельзя было назвать миролюбивым, осмотрительным военачальником — он обезумел от боли и ярости и в дикой скачке понёсся со своими людьми к столице, застал на всех улицах кипящий бой, пробился к дворцу, вступил в рукопашную схватку с врагом и бился, словно бешеный, покуда наконец на закате этого кровавого дня в изнеможении и весь израненный не рухнул наземь.

Когда сознание вернулось к нему, он уже был пленником, сражение проиграно, а город и дворец заняты врагом. Связанного Дасу подвели к Говинде, тот с насмешкой приветствовал его и велел отвести в покои, те самые, что были с

резными стенами и позолотой и где хранились многочисленные свитки. На ковре, прямая, с окаменелым лицом, сидела его жена Правати, за ней стояли стражи, а на коленях у неё лежал его сын Равана.[94] Сломанным цветком поникло его безжизненное тело, лицо посеревшее, платье в крови. Жена не обернулась, когда ввели Дасу, она и не взглянула на него, без всякого выражения, не отрываясь, она смотрела на маленького мертвеца. Дасе она показалась странно изменившейся, и только немного спустя он заметил, что в волосах её, несколько дней назад ещё иссиня-чёрных, повсюду сквозила седина. Должно быть, она уже давно так сидела, застывшая, с лицом, превратившимся в маску, а мёртвый мальчик лежал у неё на коленях.

— Равана! — закричал Даса. — Равана, сын мой, цветок мой! — Он упал на колени, прильнув лицом к голове мальчика; как на молитве, стоял он коленопреклонённый перед умолкнувшей женой и сыном, оплакивая обоих, поклоняясь

---

[94] Примечания: [94]

Образу Правати с мёртвым сыном на коленях Гессе придаёт явственные черты изученного Юнгом архетипа Великой Матери, которая вновь и вновь рождает своё Дитя, губит его в своих смертоносных объятиях и застывает в плаче над его окровавленным телом. Эта всерождающая и всегубящая, беспредельно ласковая и беспредельно жестокая Мать, лгущая самим своим бытием, — символ всё той же «майи».

обоим. Он чувствовал запах крови и тлена, смешавшийся с ароматом розового масла, которым были умащены волосы ребёнка. Ледяным взглядом смотрела Правати на обоих.

Кто-то тронул Дасу за плечо — это был один из военачальников Говинды, он приказал ему встать и увёл прочь. Ни единого слова не сказал Даса Правати, ни единого она ему.

Связанным его бросили на повозку и доставили в столицу княжества Говинды, где заточили в темницу; здесь с него сняли часть оков, солдат принёс кувшин с водой, поставив его на каменный пол, и удалился, замкнув дверь на засов. Одна из ран на плече горела огнём. Ощупью Даса нашёл кувшин, смочил руки и лицо. Его мучила жажда, но он не стал пить — так он скорее умрёт, решил он. Когда же это всё кончится, когда же? Он жаждал смерти, как его пересохшая глотка жаждала воды. Только смерть избавит его сердце от пытки, только смерть навсегда сотрёт в его душе образ матери с мёртвым сыном на коленях. Но среди всей этой муки слабость и полное изнеможение как бы пришли ему на помощь, он опустился наземь и тут же задремал.

Пробудившись от короткого сна, ещё ничего не сознавая, он хотел было протереть глаза, но не

смог, обе руки оказались занятыми, они что-то держали. Тогда он окончательно проснулся, открыл глаза и не увидел никаких стен — повсюду был разлит яркий, ликующий свет: на деревьях, на листве, на мху. Даса долго моргал, этот свет ударил его бесшумно, но с огромной силой, и страшная дрожь пронизала его с головы до пят, он моргал и моргал, лицо его исказилось, словно в приступе плача, и наконец он вновь широко открыл глаза. Он стоял в лесу и держал в руках наполненный водой сосуд, у его ног переливался родник то зелёным, то бурым цветом, там, за папоротниковой чащей, он знал, находится шалаш и там его ждёт йог, пославший его за водой, тот самый, который так странно смеялся, когда он просил рассказать ему о майе. Так, значит, он не проиграл сражения, не потерял сына, не был князем, не был отцом, и всё же йог исполнил его желание и показал ему, что такое майя: дворец и сад, книги и птицы, княжеские заботы и отцовская любовь, война и ревность, любовь к Правати и мучительное недоверие к ней — всё это было Ничто. Нет, не Ничто, всё это было майя! Даса стоял потрясённый, слёзы катились по щекам, в руках дрожал и колебался сосуд, которым он только что зачерпнул воды для отшельника,

влага плескалась через край и сбегала по ногам. Ему почудилось, будто от него что-то отрезали, что-то изъяли из головы, и образовалась пустота: так внезапно он потерял столь долгие прожитые годы, оберегаемые сокровища, испытанные радости, перенесённую боль, пережитый страх и отчаяние, которые он изведал, дойдя до самого порога смерти, — всё это у него отнято, сгинуло, стёрто, превратилось в Ничто и всё же не в Ничто! Остались воспоминания, целые картины запечатлелись в мозгу, он всё ещё видел: вот сидит Правати, огромная и застывшая, с поседевшими в один миг волосами, а на коленях лежит сын, и кажется, будто это она сама задушила его, будто это её добыча, а руки и ноги ребёнка, словно завядшие стебельки, свисают с её колен. О, как быстро, как чудовищно быстро и страшно, как основательно ему показали, что такое майя! Всё куда-то отодвинулось, долгие годы, полные столь значительных событий, оказались сжатыми в мгновенья, и всё, что представлялось ему такой насыщенной реальностью, всё это он видел только во сне. А вдруг и всё остальное, что было до этого, вся история о княжеском сыне Дасе, его пастушеской жизни, его женитьбе, его мести, его бегстве к отшельнику — вдруг всё это были

только картины, какие можно увидеть на резных стенах дворца, где среди листьев изображены цветы и звёзды, птицы, обезьяны и боги! А то, что он, пробудившись, переживал и видел сейчас, после утраты княжества, после сражений и плена, то, что он стоит сейчас у источника с сосудом в руках, из которого опять выплеснулось немного воды, все его мысли — не из того же ли они материала, не сон ли всё это, не мишура, не майя? А всё, что ему ещё предстоит пережить, увидеть глазами, трогать руками, пока наконец не наступит смерть, — разве это будет из другого материала, разве это будет что-то другое? Нет, вся эта прекрасная и жестокая, восхитительная и безнадёжная игра жизни, с её жгучими наслаждениями и её жгучей болью, — только игра и обман, только видимость, только майя.

Даса всё ещё стоял ошеломлённый. Сосуд в его руках опять дрогнул, выплеснувшись, вода сбегала по пальцам ног на землю. Что ж ему делать? Снова наполнить сосуд, отнести йогу, чтобы он посмеялся над ним, над всем тем, что Даса пережил во сне? Это было мало привлекательно. Он опустил сосуд, вылил воду и отшвырнул его в мох. Сел и стал размышлять. Хватит с него снов, этого демонического переплетения событий,

радостей и страданий, разрывающих сердце и заставляющих стынуть кровь, а потом вдруг оказывающихся майя и одурачивших тебя, хватит с него всего этого, не надо ему ни жены, ни детей, ни трона, ни побед, ни мести, ни счастья, ни ума, ни власти, ни добродетелей. Ничего ему не надо, кроме покоя, он жаждет конца, хочет остановить вечно крутящееся колесо, эту бесконечную смену видений, он жаждет стереть их. Для себя он жаждет остановить и стереть, как он жаждал этого, когда в том последнем сражении набросился на врагов, рубил и крушил, когда рубили и крушили его самого, и он наносил раны и получал их в ответ, покуда не рухнул на землю. А что же было потом? Потом наступил провал беспамятства, или дремоты, или смерти. И тут же опять пробуждение, и в сердце вновь врывается волна жизни, поток чудовищных, прекрасных и страшных видений, бесконечный, неотвратимый, и ты не увернёшься от него до следующего беспамятства, до следующей смерти. Да и она, возможно, будет лишь кратким перерывом, недолгим роздыхом, чтобы ты перевёл дух и снова стал одной из тысяч фигур в этой дикой, дурманящей и безнадёжной пляске жизни. Нет, это неизгладимо, этому нет конца.

Какое-то беспокойство заставило его вскочить. Если уж в этой проклятой круговой пляске не дано покоя, если его единственное заветное желание нельзя исполнить, что ж, ничто не мешает ему снова зачерпнуть воды и отнести её старику, как тот ему приказал, хотя никакого права не имел что бы то ни было приказывать. Это была услуга, какую от него потребовали, поручение, и его можно было послушно выполнить, это лучше, чем сидеть тут и выдумывать различные способы самоубийства, вообще послушание и служение куда легче и лучше, куда невинней и полезней, нежели власть и ответственность — это-то он хорошо знал. Итак, Даса, возьми-ка сосуд, зачерпни воды и отнеси её своему господину!

Когда он подошёл к шалашу, учитель встретил его каким-то странным взглядом, и были в этом взгляде и вопрос, и сочувствие, и весёлое понимание: это был взгляд, каким юноша встречает подростка после того, как тот пережил трудное и вместе с тем немного постыдное приключение, какое-нибудь испытание мужества. Этот царевич-пастух, этот приблудный горемыка, хоть и бегал сейчас только к источнику, да и отсутствовал всего каких-нибудь четверть часа, но за это время успел побывать в темнице, потерять

жену, сына, целое княжество, завершить целую человеческую жизнь, узреть вечно вращающееся Колесо. Скорей всего этот молодой человек и раньше пробуждался один или несколько раз и вдыхал глоток истины, иначе он не пришёл бы сюда и не оставался бы так долго; но теперь он пробудился по-настоящему, теперь он созрел для долгого пути. Нужен будет не один год, чтобы только поставить ему дыхание, научить его правильно сидеть.

И этим одним взглядом, содержащим лишь намёк на участие, на возникшие между ними узы, узы учителя и ученика, — только этим одним взглядом йог совершил обряд приёма Дасы в учение. Этот взгляд изгонял ненужные мысли из головы ученика и призывал его к покорности и служению.

Больше нам нечего рассказывать о жизни Дасы, всё остальное произошло по ту сторону образов и действий. Леса он больше не покидал.[95]

---

[95] Примечания: [95]

Леса он больше не покидал. — Эта фраза, замыкающая не только новеллу, но и всю книгу в целом, намечает, наряду с главным движением рассказа о Кнехте, то есть движением от касталийской духовности к «миру», встречное, обратное движение и возвращает нас к эпиграфу, возвещавшему желательность Касталии как оплота «истинной духовности» и бескомпромиссных поисков смысла жизни.